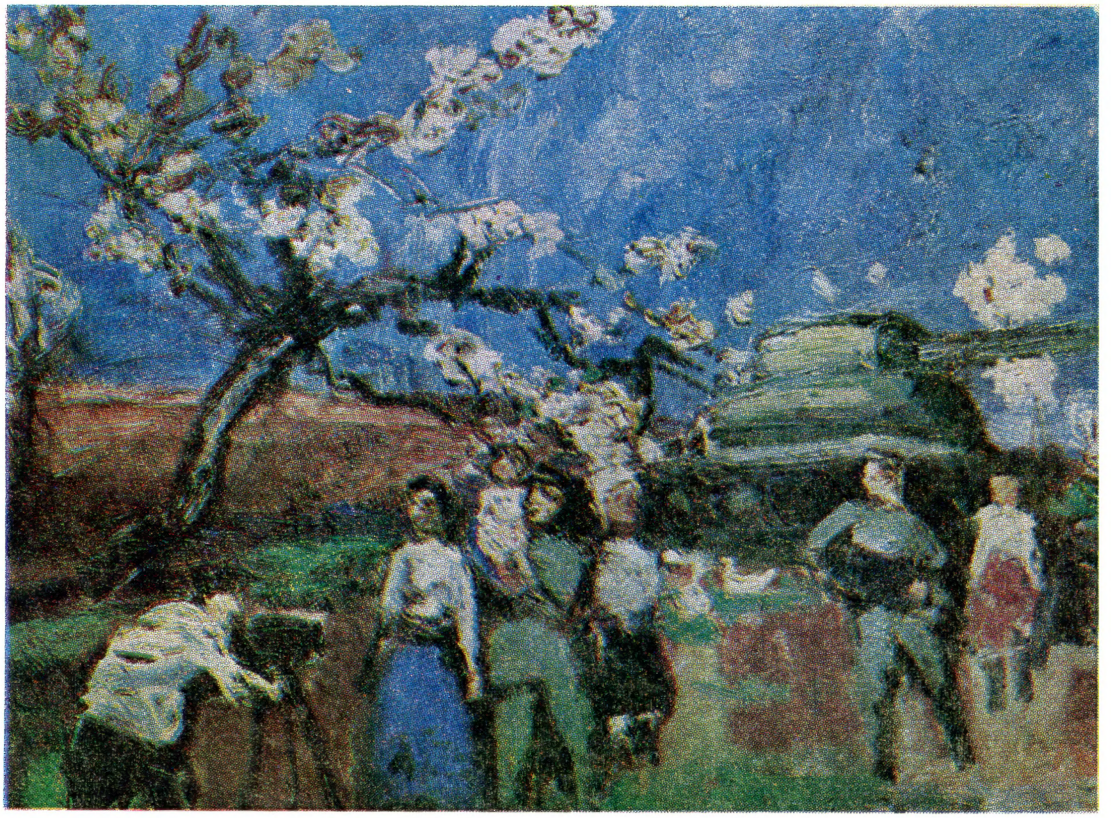
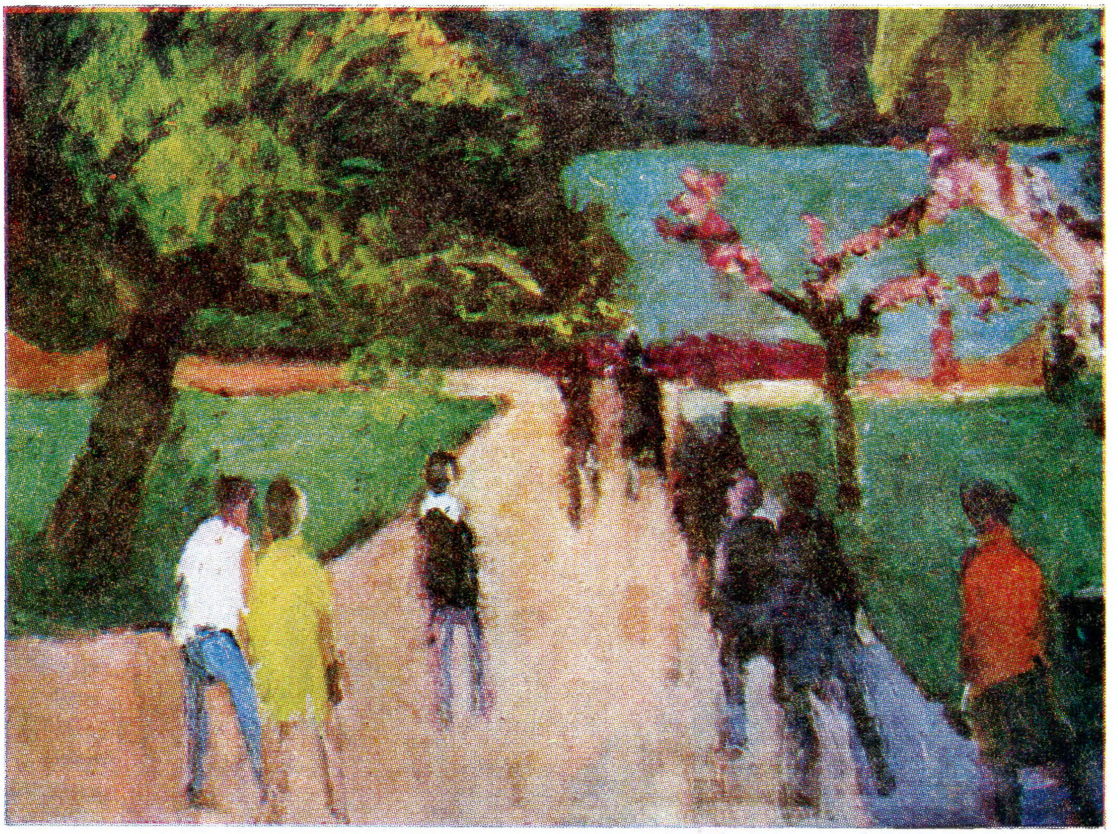
ISSN 0130–6545

5. 1982

Иностранная литература





ВОСКРЕСЕНЬЕ НА ПЕТРШИНЕ

Цветные иллюстрации номера
работы художника Йозефа Б

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

5 май 1982

Содержание

Рассказы греческих писателей *(Переводы Е. Колесова, Е. Кричевской, Т. Кокуриной, Виктора Соколюка. Послесловие Виктора Соколюка)* 3

Из монгольской лирики *(Перевод с монгольского Людмилы Букиной)* 24

ХУЛИО КОРТАСАР — Рассказы *(Перевод с испанского А. Борисовой)* 28

ПЕТЕР ЯРОШ — Тысячелетняя пчела *(Главы из романа. Перевод со словацкого Нины Шульгиной)* 63

ЛЕДУ ИВУ — Стихи *(Перевод с португальского Владимира Резниченко)* 100

ЭММА СМИТ — Только раз в жизни *(Роман. Перевод с английского Ф. Флорич. Послесловие Джеймса Олдриджа)* 104

Критика

Анкета «Иностранной литературы»

Ответственность таланта. Слово — писателям мира *(Ян Козак, Арман Лану, Мулк Радж Ананд, Криста Вольф, Михай Бенюк, Джеймс Олдридж)* 178

И. БОГДАНОВА, Ю. БОГДАНОВ — История и современность в творчестве Петера Яроша 182

Литературные портреты

Т. БАЛАШОВА, А. СЕРЕБРЯННИКОВА — Поэтическое кредо Рене Шара 187

Возвращаясь к напечатанному

Ю. КАРЯКИН—«Взорвать воображение третьих лиц...» *(О романе Кэндзабуро Оэ «Записки пинчраннера»)* 194

Культура и современность

А. МУЛЯРЧИК — Судьбы «литературного истеблишмента» в США. Ю. ДАВЫДОВ — Внутренняя жизнь и чуточку о Гёте 201

Публицистика

Запад: права человека

ГАРРИ МАУРЕР — Без работы. История безработных — из первых уст *(Перевод с английского В. Воронина и Н. Киямовой)* 210

Контакты культур

ДМИТРИЙ УРНОВ — Дороги, где проходят времена *(Из английского дневника)* 222

Антирубрика

ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР — Рассказы *(Перевод с французского и вступление Льва Токарева)* 234

Среди книг

Издано в СССР

Илья Фоняков — Сын Хорватии. ✦ Джемс Паттерсон — Гордые птицы поэзии Конго 241

Издано за рубежом

Олег Малевич — Аппассионата под гильотиной. ✦ Г. Смирнов — «Маленькие бродяги» Джанни Родари. ✦ Н. Литвинец — Начало отсчета, начало пути 244

Из месяца в месяц

250

На 1-й и 4-й страницах обложки — работы художника ЙОЗЕФА БРОЖА (ЧССР) «Май 1954» и «Вечер в Сорренто».

© «Иностранная литература», 1982.

КОСТАС ВАЛЕТАС

Орден

Он почувствовал, что держит что-то в ладони. Разжал пальцы: это был орден...

Он брился, когда в дверь постучали.

— Кто там?

— Из дворца!

— Откуда?..

Он открыл дверь, все еще думая, что его разыгрывают. В дверях стоял жандарм, который вручил ему перевязанный голубой лентой конверт — приглашение во дворец.

Первым делом он бросился обзванивать всех знакомых, чтобы сообщить им о столь невероятном событии.

Для визита во дворец, однако, был нужен костюм. В приглашении было указано: «*Форма одежды — утренний костюм*».

На поиски костюма он потратил целый день. В половине восьмого утра поехал на такси к некоему Ф., чтобы взять у него костюм. Костюм этот сидел на нем мешком. Позвонил портному. Другому, третьему... Где найти такого, чтобы согласился подогнать костюм за один вечер?

Наконец один согласился. За двойную цену. Это был портной высшего разряда. Пришлось еще дать непомерные чаевые.

Без четверти одиннадцать он был уже во дворце. В приглашении сказано: «*...просят Вас пожаловать в 11 часов*».

Костюм сидел не лучше прежнего. Хотя портной высшего разряда трудился над ним всю ночь...

Ливрейный лакей провел его в большой зал, где какое-то раззолоченное, очень официальное лицо (церемониймейстер?) в наполеоновской треуголке сообщило ему:

— Обождите здесь, вас вызовут.

(Хорошо, что вечно торчащий в подъезде привратник его не заметил: удалось проскользнуть мимо и сразу поймать такси. Что бы он подумал, увидев его в таком наряде?..)

Он присел на диван рядом с пожилым господином, лицо которого показалось ему знакомым.

— Простите, вы... вы не профессор Тамвакидис?

— Ну, положим, это я...— пробормотал старик,— но здесь не время и не место. Не нужно разговаривать, а то мы не услышим, как нас вызовут.

— А вы тоже на награждение?

— Как, и вы?.. Такой молодой человек...

— Да, мне только шестьдесят два,— с гордостью объявил он, напрягая голос: профессор был глуховат.

— Тс-с... Уже начинают. Молчите и слушайте!..

Он встал, походил немного по залу. В зале было человек пятнадцать, все уже в возрасте — он среди них был самый молодой. Они сидели и ждали, видимо, того же, что и он, и костюмы на них тоже были мешковатые.

Он посмотрелся в большое зеркало и почувствовал себя увереннее: вид у него был вполне приличный. Потом он заметил писателя Н. К., известного противника монархии. Что же он-то тут делает?.. Он двинулся было в его сторону, но тот, видимо узнав его, поспешил скрыться за каким-то бородачом в широких рясоподобных штанах.

«Ладно,— подумал он, возвращаясь в глубь зала,— так даже лучше». Снова посмотрелся в зеркало. Но теперь он себе как-то не понравился.

— Вас вызывают, слышите? Вас вызывают!..— схватил его за руку профессор Тамвакидис.— Идите!..

Он проследовал за очень официальным лицом в треуголке по длинному, ярко освещенному коридору. Они вошли в еще более огромный, ярко освещенный роскошный зал. В глубине его он различил нечто вроде пьедестала, вокруг которого сидело и стояло еще с полдюжины каких-то официальных лиц. Ноги у него задрожали — куда идти? Он не знал. Остановился, растерянно озираясь.

— Сюда,— легонько подтолкнул его проводник, следовавший за ним на положенном расстоянии.

Он подошел к пьедесталу. В мозгу был сплошной кавардак. Оступаясь, подошел ближе. На пьедестале стояла его работа! Ему подали руку, и он пожал ее как можно почтительнее.

— Поздравляю,— раздалось откуда-то из поднебесья.

— Благодарю вас,— промямлил он, стесняясь и давясь своими же словами.

Наконец он снова очутился в коридоре. Остановился. Вытащил мятый носовой платок и вытер взмокшее лицо. Почувствовал, что держит что-то в ладони. Разжал пальцы: это был орден...

Скульптор Ф. Л., которого называли «Фидием Новой Греции», не разбирая дороги, выбежал на пустынную улицу.

На лице у него появилась жалкая улыбка...

Перевод Е. КОЛЕСОВА

ЙОРГОС ИОАННУ

Коврик у двери

Вернувшись с работы совершенно разбитым, он увидел, что коврик у его двери снова сдвинут с обычного места. А вставляя в замок ключ, обнаружил уже знакомый клочок бумаги, похожий на вчерашний, исписанный тем же убористым почерком: «Для выяснения дела, касающегося общественной безопасности...»

Итак, его настойчиво приглашали. Попробуй не пойди...

Есть он ничего не стал, даже отдохнуть не прилег. Все пытался понять, чего же они от него хотят. К этой второй повестке придется отнестись серьезнее. Никогда еще он не получал два вызова подряд по одному и тому же делу. На этот раз они, видимо, не ограничатся выяснением новых деталей, ради чего его уже приглашали миллион раз, но и объяснят причину столь частых вызовов. Так или иначе, надо тщательно продумать ответы.

Сколько он ни старался, он так и не мог вспомнить за собой никакой особой вины, кроме разве что двух-трех соленых шуточек, которые он отпускал в кругу друзей, да еще газеты: он читал ее много лет и менять не собирался. Конечно, сегодня от нее осталось одно название, но и это уже кое-что.

Это было как знамя, что развевается на ветру. Никогда в жизни он не видел на улицах столько людей сразу с газетами в руках. Все читали передовицу, как и в первые дни переворота.

Один из них не мог держать ни знамя, ни газету — он подставил ветру свои волосы, все свое тело. Его везли на заднем сиденье джипа куда-то в сторону выставки. Волосы его развевались, рвались из машины, точно хотели долететь до людей, коснуться их.

Не всем еще, конечно, были заметны перемены. Его коллеги на работе подходили к нему и встревоженно шептали, что это безумие — читать на работе такую газету. В ней, конечно, сейчас печатают только то, что пропускает цензура, но название — название ее воскрешает вполне определенные воспоминания. Почему бы ему не читать правительственную газету? Что он, собственно, теряет? Тогда бы он смог открыто читать ее на работе, и не только читать, но и оставлять на своем столе: пусть все видят!

«Мы думаем так же, как и ты, только не хотим осложнений».

«Э, нет, газета газетой, но не дальше»,— говорил он про себя, не признаваясь никому, какие угрызения совести испытывал: ведь и до диктатуры, покупая эту газету, он старался побыстрее сложить ее, спрятать.

Был, правда, за ним еще грешок. Однажды на именинах приятеля он немного выпил и, не удержавшись, выпалил: «Да здравствует избавление!» И прежде чем он понял, почему побледнел именинник и почему никто из присутствующих не засмеялся, дверь из прихожей с грохотом захлопнулась. Кто-то в бешенстве выскочил из дома. «Ладно, не расстраивайся, я все улажу»,— с укоризной в голосе сказал ему хозяин, который считался демократически настроенным человеком.

Ну, а что касается листовок, так о них вообще никто ничего не знал.

Тогда зачем же его все-таки вызывают? Повышения, судя по всему, не предвидится. В последний раз, когда его опять вызывали давать показания, он отважился задать вопрос: «Зачем я вам снова понадобился?» — «Вас хотят повысить»,— ответил с готовностью следователь. «Но я ничего подобного не ожидаю!» — «Это неважно, вы получите повышение»,— и следователь начал листать лежавшее перед ним досье.

«Сегодня предстоит нечто очень серьезное»,— думал он, входя в ванную. По ночам он слушал иностранные «голоса» и был поэтому в курсе всех новостей. Вымылся, хорошенько поскоблил заскорузлые от солдатских ботинок пятки. Пальцы у него с тех времен, когда он воевал на горе Крусиа и у деревни Кердилия, были изуродованы мозолями. И потому казались вечно грязными. А он не хотел вдобавок ко всему выслушивать еще и иронические комментарии насчет своей внешности.

В тот момент, несмотря на тревогу, ему вспомнился один старый анекдот: молодой человек назначает девушке свидание и говорит, что вечером у них будет конверсасьон. Та, не зная, что означает слово «конверсасьон», на всякий случай моется перед встречей.

Он сразу же разозлился на себя. По натуре он был веселым человеком и всегда умел отыскать смешное в любой ситуации. А уж чистоплотен был до чрезвычайности. Однажды, помнится, почти с гордостью выслушал похвалы одной женщины (она обряжала и обмывала в больнице покойников): когда ее позвали к его внезапно скончавшемуся родственнику, женщина долго изумлялась, увидев чисто вымытое тело покойника. Перед самым приступом тот мылся в этой же ванне, тихо напевая какую-то песенку, а ночью схватило сердце, и больше он уже не встал.

Вечер. Чем ближе он подходил к «Храму муз», тем меньше прохожих попадалось ему навстречу. Многие избегали этого места и, даже едучи на машине, старались проскочить его как можно быстрее. И правда, было в нем что-то отталкивающее. И уж совсем ему не хотелось встретить здесь кого-нибудь из знакомых, хоть и шел он не на

прогулку, а на допрос. «Представь-ка себе, что это местечко через много-много лет назовут твоим именем»,— подумал он, вспомнив прежние мечты о почестях и славе.

В приемной сидеть было, естественно, не на чем. Он отдал свою повестку и прислонился к стене. Подошли еще какие-то люди. Всего их собралось около двадцати. «Раз столько народу, бить не будут. Все-таки утешение». Из своего угла он разглядывал товарищей по несчастью. Почти все — совсем желторотые птенцы — стояли с хмурыми лицами. Он надеялся увидеть в их глазах немой протест, едва покажется следователь, но нет — почти все разом заулыбались. Вошел вечно заспанный начальник управления. Его не смягчил даже покорный вид присутствующих: остановившись возле какого-то рабочего, пришедшего сюда в своей робе, он грубо заорал: — Это еще что?! Живо одеться как полагается! Ты что, обалдел, являться сюда в таком виде?

Все мгновенно очнулись. Рабочий кинулся вон со всех ног и вернулся через некоторое время в выходном костюме.

Прошло два часа, а его все еще не вызывали, хотя он отдал свою повестку одним из первых. Ясно, что его приберегают на закуску. Он забылся, глядя в окно на ночную Судейскую площадь — площадь, где было все, кроме судов. Когда-то власти проявили к ней интерес: хотели благоустроить ее, выстроив судилища на священных развалинах древней агоры и стадиона, неподалеку от улицы Святого Димитрия.

Но святотатство было предотвращено. Времена изменились. И остался от судов только зияющий котлован, в котором, правда, со временем разрослись высокие акации. В новолуние акации цветут особенно пышно, и тогда из котлована доносится сладко-пьянящий запах. А вообще слово «акация» кажется ему какой-то злой шуткой. Когда он пытается не смотреть в их сторону, является дьявол и шепчет ему в ухо: «Акакий, Акакий...» Он страшно злится, когда слышит это имя, боится, что оно ему очень подходит. Хотя дело совсем не в этом. Корни деревьев покоятся на древней арене гладиаторов и мучеников, верхушки их раскачиваются над сегодняшним миром. Иногда он замирает и смотрит с высоты улицы Олимпа на этот изумительный котлован — приют влюбленных, который так ни за что пропадает. Ему хочется упасть в него, зарыться как собаке в листву, спрятаться от всего света, от равнодушных безглазых домов вокруг площади.

Летнее утро. Оккупация. Вдруг — облава на площади. Немцы и полиция перекрыли все входы и выходы, и выбраться из этой западни нет никакой возможности. Много часов провел он под палящим солнцем, пока не закончился отбор. С площади был ясно виден его дом и родные, испуганно, точно птицы, глядящие из окон. Бедная бабушка каждую минуту протирала запотевшие очки. И сейчас его с нетерпением ждут дома, только сегодня их уже гораздо меньше. Тогда его в конце концов отпустили: слишком уж был мал, чтобы взять его как заложника, чтобы он жизнью своей охранял железнодорожные пути от диверсий. Тогда он вернулся домой и выпил столько воды, сколько не пил никогда в жизни. Во времена его детства эта площадь была двором, и он никогда не думал, что увидит ее когда-нибудь глазами узника.

Один из его друзей пережил и кое-что похуже. Трибунал, вынесший ему приговор, заседал в доме его деда. В большом зале они устроили суд. Очень сомнительно, чтобы друг его мог сквозь лес разом нахлынувших воспоминаний различить лица судей и услышать, что они ему говорили.

Когда наконец выкрикнули его имя и затем ввели в кабинет, он уже ощущал себя другим человеком. Он смотрел на этих жалких человечков, которые спрашивали его о совершенно очевидных вещах, и еле сдерживался, чтобы не расхохотаться.

— Итак, вы интересовались вопросами мира и разоружения? — иронически сказал ему один из них.

— Это вы о чем? — переспросил он ровным голосом. Черт дернул его так сказать! Эти двое стали орать, ударяя себя, точно гориллы, кулаком в грудь. Сразу куда-то исчезло и «вы», и все другие вежливые слова. Он взглянул на их стол: чем же они могут запустить ему в голову?

— У нас есть доказательства! — неистовствовали они, потрясая какими-то бумагами.

— Ну и хорошо,— упрямо держался он.— Я-то ведь ничего не подписывал.— Здесь что-то было не так, он это сразу понял. Но он не хотел давать им в руки даже самой тоненькой нити. Да и как объяснить им, профанам, что всё без исключения, даже подписи под протестами и листовками, монополизировали Афины, а на долю провинции почти ничего не осталось.

— Мы тебя вызовем еще раз, и тогда держись. Не забывай: ты ведь государственный служащий. За все ответишь,— сказали ему в конце.

Он сразу пошел домой к матери.

— Меня уволят,— сказал он ей.

— Пусть увольняют, что-нибудь придумаем,— ответила она, а ведь раньше любой пустяк приводил ее в ужас. Впрочем, теперь у него не было даже и пятисот драхм на черный день. Посидев еще немного, он пошел в кино. «Хвост» уже поджидал его на тротуаре. «Что ж, устрою ему славную прогулку»,— подумал он и направился по улице Святого Димитрия к улице Кафандариса. Молодой человек за ним не последовал — то ли это был не «хвост», то ли у него просто не было инструкции ходить за ним. Сначала он остановился у того места, где когда-то давно стоял кинотеатр «Ахиллион» с железной крышей. Его разрушили итальянские бомбардировщики, приняв, видимо, за какой-нибудь завод. В это кино он хотел бы пойти, посмотреть «Марс против Земли» или «Кармен» с участием знаменитой Аржентины. Как раз напротив кинотеатра он жил в 1940 году. Когда он явился по первому вызову, писарь управления спросил его: «Где вы жили в сороковом году?» — «Но в сороковом году мне было всего двенадцать лет!» — уклонился он от прямого ответа. «Это не имеет значения»,— ядовито процедил писарь. Он стал называть адреса, по которым жил с сорокового года и до сегодняшнего дня, нарочно путая номера, чтобы не осквернить дорогих воспоминаний. Впрочем, на месте этих домов понастроили новых многоэтажек, и никто не смог бы найти никаких концов. Писарь, всем своим видом выражая профессиональное сомнение, записывал. И вдруг, называя адреса, он ощутил такую невыносимую тоску по всем этим старым домам, людям, ощутил физическую потребность спрятаться в самые темные уголки своих воспоминаний. В этом доме он жил до тех пор, пока первые бомбы не разрушили соседних улиц. Сразу изменилось освещение, дома выглядели какими-то дикими, первобытными. Никто не пострадал от этих бомб, но квартал опустел. Тогда он переселился в свой второй дом, где и жил с сорок первого года и где он провел всю оккупацию и гражданскую войну, дом около церкви Панагии Халкеон. Этот дом был более счастливым: опасности обходили его стороной.

Подойдя к закрытой теперь старой начальной школе на углу улиц Софокла и Святого Димитрия, он остановился. Этот дом и через много-много лет кажется ему новеньким, пахнущим свежим деревом и смолой. Он здесь, конечно, не жил, но проучился в этой школе целых два года, что, в сущности, одно и то же. Потом этот дом стал полицейским участком. Здесь как раз находился тот участок, который потом перевели в здание, где его сегодня допрашивали. Он-то знает здесь всё гораздо лучше тех незрелых юнцов, что пытались его сегодня запугать. Здесь служил когда-то любовник всем известной жандармихи. Недавно он увидел, как тот вытряхивал коврик во дворе многоэтажного дома. Да и в его собственном доме привратником служил бывший по-

лицейский: они там все грызутся между собой за такие места. «Суета сует...» Он так и не знал, обвенчалась та жандармиха со своим любовником или нет... Много лет назад он видел мать и дочь, шедших под руку с кавалерами к еврейскому кладбищу, обычному месту расстрелов. Впереди шла дочь под руку с лейтенантом, позади — мать под руку с сержантом. Не хватало только бабки и прабабки для полноты родословной. Тогда, увидев их в полумраке, он не мог не вспомнить знаменитых строк: «Впереди — Никитарас, позади — Колокотронис, а за ними — эллины с мечами...» [1] Чего они только не натерпелись от мамаши и дочки, всем известной Кулы. Каждое утро квартал гудел от криков жандармихи: «Кула, иди есть яйцо!» Все должны были знать, что у Кулы сегодня на завтрак яйцо. Потом яичные скорлупки она насаживала на палочки и втыкала в свои бесчисленные цветочные горшки, ну точь-в-точь как царицы-людоедки, насаживающие головы своих жертв на колья вокруг дворцов. Мамаша сначала вела себя довольно смирно: ведь она не была обвенчана с ним и потому таилась. Но когда увидела, что ей ничто не грозит, показала свой «ангельский» характер. «Вы — бездельники!» — с пренебрежением кричала она соседям. Никто и не думал доносить на нее за незаконное сожительство. Хотя не только считали такое сожительство неприличным, но и видели в этом тяжкий грех. Однако парочка не желала оценить по достоинству благородство соседей.

Постепенно в квартале передохли все кошки, вернее, таинственным образом исчезли. 4 августа участковый полицейский донес на жандармиху, что флаг на их балконе меньше по размерам, чем предусмотрено инструкцией. Тот же полицейский упоминал в своем донесении и о другой соседке, которая, чтобы не задеть электрические провода, сильно наклонила древко флага, «точно погибла вся Греция», как выразился полицейский. Внезапно к ним нагрянули санитары, выискивавшие больных малярией, и опрыскали бензином два огромных глиняных сосуда с дождевой водой, стоявших у них на заднем дворе. Как все это произошло? Только когда умер их сын, жандармиха заговорила другим голосом и долго-долго причитала над его телом, проклиная свою жизнь. Несчастный жандарм не решился прийти на похороны, чтобы не выдать себя. Только тогда квартал посочувствовал им и немного смягчился.

Опустив голову, он направился к церкви Панагии Халкеон. Зачем ему вспоминать сейчас все эти мелочи? Потому что та жизнь исчезла безвозвратно? Когда мама видела, что он расстроен, она всегда говорила: «Что, папаша Йоргос, твои корабли тонут?» Да, сегодня жизнь его в опасности, корабли его тонут, дома горят. Единственное, что у него осталось,— это работа, которую тоже грозят отнять. Ладно, пусть будет так, пусть он потеряет все сразу, даже воспоминания. Другого дела он не знает, других доходов у него нет. Сколько же он терпел! Столько лет он слышал, что других увольняют без всякого основания, и не придавал этому должного значения. Он видел их — бледных и оцепеневших от горя, и они казались ему холодными и высокомерными. Вокруг шептались: «Им не отдают даже трудовые книжки». Сейчас все это, естественно, сразу вспомнилось. Сколько страданий, сколько трудов — и все напрасно.

На следующий день на работе он ничего не сказал, да и вообще нигде никому. Зачем приставать к другим со своими маленькими неприятностями? Ведь есть такие, что гнили в тюрьмах, жили в каждодневном кошмаре, подвергались пыткам. Кстати, он заметил, что коллеги боятся с ним разговаривать, а те, что побогаче, смотрят подозрительно, точно ждут, что он вот-вот попросит взаймы. А еще он тут же понял, что шкатулку с самыми дорогими ему вещами некому будет доверить.

[1] Слова из греческой народной песни. Никитарас и Колокотронис — видные полководцы времен греческой национально-освободительной революции 1821—1829 гг.

Однажды воскресным утром в прихожей позвонили. Вошел какой-то субъект.

Присев на стул, снова стал расспрашивать все о том же. И вдруг, переменив тон, заметил: «Я, собственно, пришел сказать, что, если вам вдруг захочется сменить квартиру, сообщите нам об этом немедленно». Он оцепенел. Действительно, два-три дня назад, разговаривая с приятелем по телефону, он сказал, что намеревается переменить квартиру. Из слухового окошка доносился голос студента, распевавшего: «В Монастираки варвары жандармы...»

— Не обращайте внимания,— великодушно разрешил неизвестный,— пусть поет.— И, уходя, тщательно вытер ботинки о коврик у двери.

«Черт возьми, неужели в моем доме так грязно?»

С тех пор он все чаще находил коврик у своих дверей сдвинутым с обычного места. В полиции его заставляли рассказывать о каждой мелочи, о каждом пустяке. Какие сигареты он курит, скольких зубов у него не хватает, сколько он весит, обувь какого размера носит... На улице он с ними никогда не здоровался, хотя эти молодчики смотрели на него как на старого знакомого. Он не знал их имен, а если бы и узнал, что́ ему с того? А они, чтобы отомстить ему за холодность, никогда не угощали его ни кофе, ни прохладительными напитками, как, насколько он знал, угощали других. Хотя и глубокомысленных бесед о религии, обществе, сексе они с ним не вели. Знали, что услышат в ответ только «да» или «нет», а это портило им все удовольствие. И потом, что могли дать эти отношения с бедным парнем, государственным служащим? Ни взаймы без отдачи у него не попросишь, ни с работой он им в случае чего не поможет.

Может быть, диктатуры больше нет, но он в это не очень-то верит. Каждый вечер, возвращаясь с работы, где ему никто не мешает читать его газету, он беспокойно смотрит на коврик у двери. Однажды, увидев его опять сдвинутым, он чуть не лишился чувств. И только когда открыл дверь и заметил рекламу стиральных порошков, немного успокоился. В ней было написано: «Смывай свои грехи — тайные и явные — только нашими порошками!» «Это, наверное, какая-нибудь новая фирма,— подумал он.— О таких я еще не слыхал!» Он взял рекламу и приклеил ее на стену рядом с многочисленными повестками.

Перевод Е. КРИЧЕВСКОЙ

ЭЛЕНИ ВОИСКУ

«Энтерпрайз»

Все началось с «Энтерпрайз». Потому что, если бы не было «Энтерпрайз», Ангелики не осталась бы на второй год. Ее никогда не оставили бы из-за незнания событий греческой революции или традиционных товаров греческого экспорта. А вот из-за «Энтерпрайз» ей пришлось потерять год.

Однажды учитель, который не выносил разговоров на политические темы и учил их «в национальном духе», роздал им — или, лучше сказать, ему дали, чтобы он роздал,— отпечатанные на ротаторе листки с вопросами и ответами об «Энтерпрайз». Это был из ряда вон выходящий случай, и стихотворение Паламаса можно было отложить. Не к спеху. Ребята вздохнули с облегчением, когда им скостили одно из домашних заданий. Ведь они еще не уразумели как следует, что надо будет делать с «Энтерпрайз». Одна только Ангелики встала с места и сказала:

— А я уже выучила стихотворение. Если хотите, могу прочесть.

— Ты выучила, а другие нет. И не будут учить. В этом году мы прошли два стихотворения Паламаса, этого вполне достаточно. Ответы

на вопросы об «Энтерпрайз», напечатанные на этих листках, все должны знать наизусть. Буду спрашивать во вторник на втором уроке. Понятно?

Во вторник в начале второго урока Мицос и Йоргакис из первого ряда быстренько нацарапали на парте какие-то цифры и прикрыли их учебником истории. У Катины с третьей парты было что-то написано на ладошке, и она то и дело раскрывала ее, бормоча про себя. Ее соседка Марьо держала на коленях журнал и разгадывала кроссворд. Костис с Димосом на последней парте толкали друг друга ногами, а девчонки справа от них хихикали. Мальчик с веснушками рисовал домик на последней странице тетради по грамматике. Ангелики читала книгу стихов, а Персефона с Катериной шепотом разговаривали про кино.

Учитель сел, раскрыл журнал и листок, отпечатанный на ротаторе.

Деспина наклонилась к соседке и шепнула:

— Он и сам учит про «Энтерпрайз».

Учитель читал, постукивая карандашом по столу и повторяя время от времени:

— Тише, тише. Не шумите, а то накажу.

Шум ненадолго стихал, потом снова усиливался. Так прошло почти четверть часа после звонка. Наконец учитель закрыл журнал, положил на него листок и встал.

— Внимание,— сказал он,— не болтать. Начинаем. Ангелики, закрой книгу. Наверняка опять какая-нибудь антология. Как называется самое большое судно в мире? Георгиу.

— Самое большое судно в мире — «Энтерпрайз».

— Что это за судно?

— Авианосец.

— Это французский корабль?

— Нет, кубинский! — выкрикнул кто-то.

В классе засмеялись.

— Кто это сказал? Прошу без смеха, иначе мне придется кое-кого отправить за дверь. И пусть знает тот, кто это сказал, что кубинцам еще ох как далеко до такого «Энтерпрайза». Ни глупостей, ни шуток я не потерплю. Понятно? Излишне спрашивать, кто это сказал, я сам прекрасно знаю. Итак, Георгиу, это французский корабль?

— Нет, господин учитель. Американский.

— Какая у него длина?

— Триста семьдесят метров.

— Или... Или... Георгиу, ты учила?

— Конечно, господин учитель.

— Так что же говорится дальше?

Молчание.

— Кто знает? Никто? Почему никто не поднимает руки?

Дети не отвечали. В классе стояла тишина.

— Его длина триста семьдесят метров, а это значит, что он в пять с половиной раз длиннее Парфенона,— уточнил учитель.

— Какое отношение имеет одно к другому? — Это Ангелики с места.

— Если еще раз перебьешь, выйдешь из класса. Теперь о высоте. Никос, убери листок, вечно ты ничего не учишь. Итак, какая у него высота?

Мицос в первом ряду заглянул в цифры, нацарапанные на парте, а Катина раскрыла ладошку.

— Никос! Я спрашиваю, какая у него высота.

— Двадцать три,— прошептал кто-то за спиной Никоса.

— У него такая же высота,— заговорил наконец Никос,— как у здания в двадцать три этажа.

— Правильно. А скорость?

— Восемьдесят,— зашептали за спиною Никоса.

— Восемьдесят,— повторил Никос.

— Восемьдесят — чего?

— Восемьдесят метров.

— Метров? Ты в своем уме? Восемьдесят километров. Восемьдесят километров в час. Садись. Повторим все вместе: восемьдесят километров в час. Никос, а ну-ка встань снова и повтори три раза: восемьдесят километров в час.

— Восемьдесят километров в час. Восемьдесят километров. Восемьдесят в час.

— К завтрашнему дню напишешь мне это сто раз, чтобы научился говорить: восемьдесят километров в час. Ница, сколько самолетов он может нести?

— Девяносто шесть.

— Не «девяносто шесть», а «он несет девяносто шесть самолетов».

— Он несет девяносто шесть самолетов.

— Отвечать надо полными предложениями. Понятно? А теперь вопрос ко всему классу. Как взлетают самолеты?

Неожиданно ответили сразу трое. Один сказал «с воды», другой «с трапа», а третий еще что-то несуразное.

— Нашла,— сказала Марьо Катине.— Слово, которое я искала,— «трап».

Она быстро наклонилась и заполнила пустые клетки кроссворда по вертикали.

Учитель старался не терять самообладания.

— Кто создает такую атмосферу, мне известно. И решение мое будет скорым, как катапульта. Каким образом действуют катапульты на «Энтерпрайз», Ангелики?

— Я учила стихотворение Паламаса.

— Ладно, садись. Я тоже кое-чему научу тебя после урока. Катапульты, дети, действуют при помощи пара. Как паровая машина.

Наступила небольшая пауза. Учитель сел за стол и стал быстро просматривать листок — что там дальше. Мальчик с веснушками стал рисовать автомобиль на предпоследней странице тетради по грамматике. Костис с Димосом продолжали пинаться ногами, а Персефона с Катериной листали на коленях журнал «Тайны кинозвезд».

Но вот учитель поднялся со своего места и спросил:

— Сколько катапульт на «Энтерпрайз», Адамандия?

— Четыре катапульты, которые могут посылать в воздух четыре самолета каждые пятнадцать секунд.

— Молодец, Адамандия. А какая у них мощность?

— Мощность такая, что они могли бы подбросить «кадиллак» на высоту двух километров.

— А какого размера взлетная палуба на «Энтерпрайз»?

— Она так велика, что могла бы вместить одновременно «Королеву Марию» и «Королеву Елизавету». Я имею в виду корабли.

— Жаль, что она не вмещает больше.

— Ангелики, без намеков. Обрати лучше внимание на катапульту. Я же держу себя в руках и урок закончу вовремя. А теперь, Ангелики, вопрос к тебе: есть на этом судне пушки?

— Нет. Но, к сожалению, его разрушительная сила больше, чем сила всех армий во второй мировой войне.

— Ты все же кое-что знаешь, Ангелики, только твое «к сожалению» ни к чему. Ты еще мала, чтобы судить, для чего необходимы такие суда, как «Энтерпрайз». А тот, кто морочит тебе голову, получит по заслугам. Георгиу, сколько человек на судне?

— Четыре тысячи шестьсот, господин учитель.

— Целый город, не правда ли?

— Да, только без женщин.

— Поэтому у них нет никаких хлопот.

Об этом тоже говорилось в отпечатанном на ротаторе листке.

Учитель и ученики постепенно выучили почти все вопросы и ответы наизусть. Наконец учитель вынул платок, высморкался и сел за стол.

— Господин учитель,— раздался вдруг голос Ангелики.— Мне хотелось бы сказать...

— О чем?

— Об «Энтерпрайз».

— Все, что нужно было, уже сказано. Остальное узнаем, когда пойдем туда на экскурсию.

Но Ангелики без разрешения учителя заговорила быстро-быстро:

— Я слышала, что на деньги, потраченные на «Энтерпрайз», можно было построить двадцать шесть тысяч удобных американских домов, а шестьдесят восемь тысяч молодых людей смогли бы поступить в университет. Так я слышала.

— Наверняка от шпиона...

— Не от шпиона, а от американки, которая преподает на курсах, куда я хожу заниматься английским языком. А один человек в Женеве...

— Сейчас же садись...

— Вот скажу, тогда сяду. Один человек в Женеве говорил, что, если приостановить вооружение хотя бы на один час, можно сэкономить столько денег, что хватило бы на уничтожение проказы на всей земле. И я, господин учитель, тысячу раз предпочитаю Парфенон, хотя его длина в пять с половиной раз меньше.

Теперь уже и Персефона с Катериной закрыли «Тайны кинозвезд». Костис с Димосом перестали пинаться, а мальчик с веснушками не дорисовал четвертое колесо у автомобиля в тетради по грамматике. В классе воцарилась тишина, дети с интересом слушали Ангелики. Встав и помолчав несколько секунд, учитель заявил официальным тоном:

— А я предпочитаю... Я предпочитаю выставить тебя из класса. И буду требовать, чтобы тебя выгнали из школы. Ибо школа не место для пропаганды.

Ангелики немного постояла в нерешительности. Сердечко ее колотилось, маленькие руки дрожали. Покраснев, она подбежала к двери и, обернувшись к классу, продекламировала:

Пусть голубь мира не боится,
что его песня не допета,
что войн Эриния ярится,—
Эллада навсегда бессмертна![1]

Я выучила стихотворение Паламаса, господин учитель.

3 декабря 1965 года газеты писали: «По официальным сообщениям из Сайгона, со вчерашнего дня в военных операциях против Вьетнама принимает участие гигантский ядерный авианосец «Энтерпрайз» водоизмещением 75 700 тонн. Два самолета были сбиты при возвращении на авианосец».

Я не знаю, как обстояли потом школьные дела у Ангелики. То, о чем я рассказала, произошло в марте 1963 года, незадолго до нашего национального праздника[2]. Ей в то время было лет двенадцать.

Перевод Т. КОКУРИНОЙ

[1] Перевод Е. Колесова.

[2] 25 марта в Греции празднуется День независимости.

СОТИРИС ПАТАДЗИС

Камеры молчания

Лестница со множеством ступеней вела в длинный подземный коридор, где справа и слева были расположены камеры с тяжелыми засовами и зарешеченными круглыми окошечками на дверях.

У двери с номером одиннадцать меня остановили и, открыв ее, втолкнули внутрь.

В каждой из таких подземных камер содержалось только по одному заключенному. В полном одиночестве ему приходилось вести бой с самим собою и со смертью... Обычно здесь держали несколько дней, рассчитывая, что абсолютное безмолвие в конце концов сломит узника. А если не сломит, то однажды утром его выведут отсюда и — наконец-то! — подарят ее, смерть.

Я дотронулся до внешней стены. Пальцы заскользили словно по опутанным водорослями камням, на которые иногда натыкаешься на дне моря. Боковые же стены, отделяющие камеры от соседних, были из кирпича. Прислонившись к одной из них, я предался размышлениям.

Была ночь. Там, наверху, своим чередом текла жизнь. Сюда же не доносилось ни звука, будто по всей земле расстелили мягкий ковер и напуганные люди, спотыкаясь, бродят по нему.

Вначале тишина меня не смущала. Я даже считал, что это неплохая подготовка, поскольку и сама смерть более или менее походит на нее. Но очень скоро я устал. Днем и ночью не слышать ничего, кроме собственного дыхания и своих мыслей, которые движутся медленно, как крылья утомленной чайки.

Иногда на заре раздается скрежет засова. И тогда по мрачному коридору разносится звук, похожий на траурный звон: «граннн». Невольно вспоминаются жуткие рассказы о том, как вурдалаки сходят по мраморным ступеням гробниц, волоча за собой тяжкие цепи.

Однажды — просто так, чтобы убедиться, что у меня еще есть голос,— я стал потихоньку напевать немудреную песенку, которая, по моим представлениям, не должна была вызвать гнев тюремщиков:

Вы, майские птички,
майские птички,
вы, вестники весны...

Прибежал часовой.

— Поешь?

Между прочим, вид у него был совсем не свирепый. И если бы в его лице хоть что-то шевельнулось, можно было бы предположить, что где-то на самом дне его души еще теплится огонек доброты. Но нет. Черты его лица выражали такую же идиотскую безмятежность, как и застывшие физиономии деревянных идолов у дикарей.

— Пою,— ответил я.— Эту песенку очень любила моя мать. Она ждет меня... Эх, да что говорить... А у тебя есть мать?

Некоторое время он молча разглядывал меня, а мне так даже глаза его показались деревянными. Наконец он пробормотал без всякого выражения:

— Еще раз разинешь пасть — попадешь в карцер.

Карцер — это узкая, как колодец, камера. Лечь невозможно. Там тебя оставляют без воды, и ты ночи напролет слизываешь влагу с сырых стен.

Э, нет, деревянная морда... Я не доставлю вам удовольствия снова пытать меня, хотя теперь, пожалуй, я бы и пытки не испугался. Ничего я больше не боюсь, потому что случилось то, о чем когда-то говорил «Отелло»: я увидел истинное лицо смерти...

«Отелло», мой странный друг!

Его звали Василисом, но я окрестил его Отелло, потому что он был ревнив, как кот, и однажды из ревности чуть не удавил меня полотенцем.

В ту пору мы учились на курсах связистов и вместе снимали комнатушку в доме некой госпожи Катерины в Гизи. Наша хозяйка была толстая, веснушчатая и ворчливая. И еще я отчетливо помню, что в уголках верхней губы у нее росли рыжие усы.

Василис, страшный подхалим, все время к ней подлизывался, носил ей конфеты с мармеладной начинкой, которые она обожала. Он умел польстить ей даже по поводу ее усов, утверждая, что это признак женской силы и что точно такие же усики были у ее тезки Екатерины Медичи.

Но хозяйку такими штуками, конечно, было трудно провести. Она заметила, что мы оба заглядываемся на ее единственную дочку Гаруфаллицу, и старалась делать все, чтобы унизить нас в ее глазах. Так, например, она заставляла нас по три раза в неделю мыть туалет.

Вначале я был уверен, что госпожа Катерина права в своих опасениях, потому что сама Гаруфаллица вела себя очень уж вызывающе: когда ей случалось гладить во дворе, она не спускала глаз с нашего окна, распевая страстные танго. А садясь на стул, принимала весьма непристойные позы.

Потом мне стало казаться, что все это делается ради меня. Я даже собирался как-нибудь в отсутствие Василиса зазвать ее к себе, схватить за руки и молча крепко сжать в объятиях.

Однако в дальнейшем оказалось, что, когда меня не бывало дома, она проделывала то же самое и в отношении Василиса.

— Знаешь, Василис,— сказал я ему однажды,— мне кажется, эта чертовка считает нас обоих круглыми дураками.

— Обоих? — отозвался он насмешливо.— В этой истории действительно замешан один дурак. Только это не я...

Потом он медленно сцепил пальцы, оперся на них подбородком и изрек серьезным и решительным тоном:

— Через несколько недель она станет моей женой.

С тех пор я стал избегать ее, а она по отношению ко мне становилась все более смелой. В один прекрасный день она заявилась к нам в комнату, кокетливо прислонилась к притолоке и томно произнесла, обращаясь ко мне,— при Василисе:

— Лучше бы ты снимал эту комнату один.

— Это почему же? — спросил я.

— Ты бы видел по ночам такие чудные сны...

Василис, стоявший над деревянным ящиком, наклонился всем телом и уставился на меня с идиотской улыбкой. А когда она ушла, прошептал:

— А ведь она неспроста тебе это сказала.

— Я тоже так думаю.— Теперь уже у меня в голосе звучала насмешка.

Он еще немного постоял над ящиком все с той же улыбкой, не до конца сошедшей с его лица. Потом, не спеша, подошел ко мне и, казалось, страшно удивился, увидев книгу, которую я читал.

— Слушай, ты,— проговорил он тихо. И вдруг с силой стукнул кулаком по книге. Чуть ли не упираясь носом в мое лицо, он рычал: — Сколько раз говорил, не бери мои книги!..

Всю ту ночь он ворочался, и, как потом сам рассказывал, у него возникла мысль задушить меня полотенцем, благо оно было под рукой — висело на спинке кровати. Но прежде чем эта идея успела созреть, Гаруфаллица вышла замуж за краснорожего фельдфебеля.

Меня направили работать в Северную Грецию. Василис получил

назначение сперва на какой-то остров, но через несколько месяцев его перевели в тот же район, где работал я.

Каждое утро, не успев как следует усесться за рабочим столом, я уже принимал от него депешу — всегда одного и того же содержания: «Отелло — добрый день — да здравствует фельдфебель».

Мы часто встречались в свободные от работы часы или во время забастовок. Ходили пешком до ручья, а иногда еще дальше — до самого холма, где у немцев были сторожевые посты.

— Василис,— обратился я к нему в один из таких дней.— Ты не думаешь, что тебя могут вдруг арестовать и поставить к стенке?

— Как же, думаю,— ответил он.

— А я никак не могу себе этого представить. Мне все кажется, что у меня хватит сил остановить их каким-нибудь образом. Кинусь на них, что ли, и стану царапать ногтями или брошусь на землю и вопьюсь в нее зубами, прогрызу дыру и убегу. Во всяком случае я что-нибудь да сделаю. *Надо* что-то делать, Василис, если не хочешь умирать. А я не хочу, понимаешь?

— Понимаю,— ответил он очень спокойно.

Усевшись на мраморном парапете, он некоторое время в рассеянности болтал ногами, а потом произнес:

— Люди боятся смерти потому, что не знают ее. Если же оказаться перед лицом смерти, хорошо зная ее, бояться уже не будешь. Ведь смерть — друг людей.

О да, Василис. Ты был прав.

Всякий раз, теряя сознание во время пыток, я видел около себя эту смерть. Она не была злой и не держала в руках косы. Она стояла передо мною, прекрасная и величественная, и лицо у нее было бледное и печальное. Она протягивала пальцы к моим ранам — казалось, вот-вот она прикоснется к ним и нестерпимые боли сразу утихнут. Но нет, она не торопилась. Она ждала, когда все мое тело позовет ее, когда каждая моя клеточка поверит ей и полюбит ее. Она смотрела на меня дружелюбно и улыбалась с бесконечной нежностью и добротой. Насколько же она была красивее окружавших меня немцев!

Всего этого, друг мой, ты, конечно, не знаешь. Наверняка ты даже не представляешь себе, где я сейчас нахожусь. Я же иногда думаю о том, какое выражение лица могло быть у тебя в то утро, когда ты, ничего не подозревая, снова отстучал на своем аппарате депешу: «Отелло — добрый день — да здравствует фельдфебель». Интересно, кто ее принял? Мне дьявольски хотелось бы, чтобы это была хмурая обезьяна — мой начальник. Воображаю, как он сразу бросился к столу, издавая звуки, похожие на ржание, и начертал своим кругленьким бисерным почерком великолепный донос: «О загадочных позывных некоего Отелло...» Старый хрыч!

Часовой с деревянной мордой опять остановился у моей двери. Я даже не обернулся. Когда он отошел, я, будучи погруженным в свои мысли, стал рассеянно выстукивать морзянкой по кирпичной стене слова из депеши моего друга: «Отелло, Отелло. Точка. Да здравствует фельдфебель...»

Было уже за полночь. Я не мог дождаться, когда же, наконец, сон сомкнет мне веки. Боже мой, закрыть глаза, не видеть больше красных нитей лампочки, которая неподвижно висит прямо над головой. Но сну нелегко пробраться сюда.

По-моему, мысли мои остановились. Только рука автоматически продолжала выстукивать все то же: «Отелло, Отелло. Точка...»

Но что это? Мне послышалось, будто кто-то отвечает из соседней камеры — тоже при помощи азбуки Морзе! Я еще раз отчетливо отстучал депешу и стал ждать. И вдруг услышал:

— Эй, дружок. Ты что там?

Сердце у меня бешено заколотилось... Господи! Ведь это же все

равно что погибать в океане, потеряв всякую надежду на спасение, и вдруг услышать за спиною зычный гудок парохода!

— Ты знаешь азбуку Морзе? — спросил я.

— Знаю.

— Браток! Ты телеграфист?

— Да.

Боже мой! Я вскочил и прошелся до двери. Кусал руки, чтобы не закричать, и поцеловал стену. Я хотел было тут же подробно расспросить, кто он, как вдруг мой мозг пронзила мысль: «Это же Отелло!» Я произнес это вслух, весь дрожа.

А друг с той стороны все выстукивал:

— Да говори же наконец, что с тобой?

Я стиснул зубы и попытался унять дрожь в пальцах.

— Отвечай четко и ясно: ты — Отелло?

Ответа не было. Я постучал снова.

— Ради бога. Ответишь ты или нет?

— Не могу.

— Почему?

— Я смеюсь...

— Смеешься! Раз смеешься, значит, ты не Отелло.

— Я и так знаю, что я не Отелло.

— А кто же ты?

— Дездемона.

— Не шути, браток. Я расскажу тебе про Отелло, и ты поймешь... Впрочем, не время сейчас для болтовни. Сколько ты уже здесь?

— Шестнадцать дней.

— А я пять. Знал бы ты, как у меня сердце бьется... Если бы мы разговаривали как обычно, я не смог бы и слова сказать... Да и морзянка эта тоже... Ты, например, плачешь: «А-а-а...», а она отстукивает альфу, и все. Или ты смеешься: «А-а-а...», а она снова отстукивает просто альфу. Она холодна, как голос крупье. Верно, дружок?

— Я же сказала: меня зовут Дездемона. Ты что, не понял?

— О-о-о... Может, ты девушка?

— Да.

Моя рука повисла в воздухе. А она все спрашивала, где я служил и как меня забрали.

— Не отвечаешь. Ты что, заснул?

— Нет. Размышляю.

— О чем?

— Так, о смерти.

— Ерунда какая,— выстукивает она.— Нашел о чем думать.

Внезапно тишину прорезал скрежет отодвигаемого засова.

— Слышишь? — спросил я.

— Да. Кого-то уводят. Молчи.

— Но ведь еще ночь...

— Молчи, говорю,— повторила девушка.

Я прижался ухом к стене. По коридору, как кони по мостовой, протопали солдаты. Время тянулось бесконечно долго. Незаметно подкрался сон и коснулся моих век как раз в тот момент, когда я меньше всего этого хотел. И какие же удивительные сны снились мне в ту ночь!

Время не тащится больше, как турецкая арба. Мы то и дело перестукиваемся до самой зари, обсуждаем тысячи разных пустяков. Мы — как два человека, которые случайно встретились в поезде и завели бесконечный разговор о погоде, о книгах, о горах и лесах, о любви и ностальгии. Вдруг один из них поднимается с места, берет чемодан и, попрощавшись, сходит на какой-то станции.

Она была дочерью моряка и, наверно, поэтому так любила море,

что могла часами говорить о ветрах с нездешними названиями, об устрицах, рыбах и губках.

Однажды вечером она спросила меня, знаю ли я, как ловят морских крабов в скалах. Я не знал.

— Такие вещи меня не интересуют,— ответил я.— Я вот о другом думаю: сколько тебе лет?

— Попробуй угадать.

— Тебе... двадцать два.

— Прибавь еще восемь... Я красива?

— Ты очень красивая.

— Какие у меня волосы? Ни за что не угадаешь!

— Волосы... Погоди. Они у тебя не черные и не светлые. Они вьются, очень длинные и свободно спадают на плечи. Ты разделяешь их на прямой пробор и расчесываешь так осторожно, будто ласкаешь.

— Смешной ты...

— Почему?

— Да потому, что у меня нет расчески, мой романтический друг.

— Нет? Жаль. А я тебя именно так себе и представляю. Скажи, почему я так много думаю о тебе?

— Потому что ты фантазер.

— Не шути. Это поразительно. А ты обо мне думаешь?

— Нет.

И замолчала.

На следующий вечер я опять завел разговор о ее волосах. Она притворилась сердитой.

— Что ты привязался к моим волосам? Это невежливо.

— Почему?

— Да так. Я ведь не спрашиваю, какая у тебя борода.

— Интересно, что можно спросить о бороде?

— Как что... Я могу, например, спросить, не колется ли она. Отросла небось за столько дней.

— Верно. Отросла.

— Вот видишь. Если она к тому же русая, как я себе представляю...

— Ага... Значит, и ты обо мне думаешь? И ты? Скажи, я опять смешон?

Она не отвечала. Я снова стал стучать.

— Ты считаешь меня смешным?

— Нет.

— Ах... Ты золотая девушка. Значит, и ты... Борода у меня не совсем русая. Я... Я не знаю, какой я теперь. К тому же морзянка такая холодная. И все-таки люди — удивительные существа. Я тебя не видел. Может, мы вообще никогда не увидимся. И все же... Я так радуюсь тому, что ты мне сказала! Ведь это все равно что... Понимаешь?

— Понимаю.

— Вот видишь. Разве это не удивительно?

— Скажи мне вот о чем: у тебя в жизни была любовь?

Ответить я не успел. Дверь приоткрылась, и в камеру просунулась голова часового, но не деревянная морда. Этот помоложе. Лихой чуб прикрывает левый глаз. Он ходит по коридору легкими шагами, беспрерывно насвистывая. В его свисте нет ни высоких, ни низких нот. Он монотонен, как молчание, поглотившее нас, и вызывает дрожь. Можно подумать, что невесть откуда взявшаяся гадюка с шипением ползет и ползет по узкому коридору.

Маленькие глазки часового пристально вглядывались в меня.

— Какой у тебя номер? — спросил он.

А та продолжала выстукивать: «Почему не отвечаешь? Почему не отвечаешь?»

Я встал и крикнул как можно громче, чтобы и она могла услышать:

— Ты меня спрашиваешь, часовой?

— Чего разгавкался. Тебя, кого же еще.

— Одиннадцатый.

Он поднес к глазам какую-то бумагу и стал читать. Потом снова пробурчал:

— Как тебя зовут?

Я назвал свое имя.

Он опять заглянул в бумагу:

— М-м-м-м...

Потом поднял глаза. Видно, собирался что-то мне сказать. Но я глядел на него с таким холодным презрением, что он только пожал плечами и не спеша удалился. И опять по коридору пополз его свист.

Я тут же все рассказал ей. Не знаю, испугалась она или огорчилась. Помню, что я разглагольствовал о стене, которая нас разделяет. Ах, кому понадобилось возводить эту стену между двумя молодыми людьми? Им бы нежиться сейчас на солнышке, как ящерицам в период любви...

Наконец я кончил. Она молчала. И тогда в первый раз я почувствовал, что не знаю, о чем еще говорить. После долгой паузы я спросил — так, между прочим, скорее чтобы узнать, не спит ли она:

— А у самой-то у тебя была любовь?

— Тебе пора спать,— ответила она.

— Хм... Я-то засну,— с горечью отстукал я.— Он записал мое имя. С завтрашнего дня буду спать вволю.

— Не говори так. Вот ты спрашивал меня про любовь.

— Да, да.

— Я тебя обманула. Мне не тридцать лет.

— А сколько?

— Девятнадцать.

— Ну, и...

— Не было у меня никакой любви...

— Если бы не стена, я бы упал на колени и поцеловал твои ноги.

— Ноги мне целовать! Ты можешь сделать кое-что получше.

— Говори. Я сделаю все, как скажешь.

— Я хочу, чтобы ты пел. Понимаешь... Если завтра тебя уведут, было бы здорово услышать, как ты поешь. Запоешь?

Я не ответил.

— Скажи, запоешь? — не отставала она.

— Запою,— пообещал я.

Всю ночь я не спал, не сводя глаз с двери. Утром снова раздался скрежет засова. Какие-то люди быстрым шагом прошли по коридору. И опять наступила тишина. Только невнятный шепот донесся до моей камеры. Потом опять послышались торопливые шаги, проскрежетало еще три засова. Последний совсем близко; я решил, что это мой, и встал. Я почти улыбался и приготовился запеть. Но дверь не заскрипела, а шаги постепенно стихли. Леденящий свист часового заглушил их последний шорох.

И тогда произошло непостижимое: свист часового показался мне далекой, давно умершей мелодией, которую я слышал много лет назад и которая вдруг воскресла, наполнив все мое существо непонятным блаженством. Сердце мое встрепенулось, в нем вспыхнули безумные надежды. Верно говорят, что надежда — как воздух: найдя у нас в душе хоть малюсенькую щелку, она вторгается туда, стремясь заполонить собою все...

Я мечтал о том, что когда-нибудь наступит день и немцы исчезнут, как исчезают чудовищные тени, давящие на грудь в ночных кошмарах.

А еще могут прилететь самолеты, и все будет как в сказке: упа-

дет бомба, убьет часовых и разрушит стены. Тогда — это случится ночью — я одним прыжком окажусь в соседней камере, схвачу ее за руку и крикну: «Бежим!» Мы будем бежать, пригибаясь среди развалин, пока не добежим до ручья. Там мы остановимся передохнуть. «Говори, я хочу слышать твой голос»,— скажу я ей. А она, не в силах вымолвить ни слова, только тряхнет кудрями и сильно сожмет мне пальцы, очень сильно.

Я поделился с нею своими сумасшедшими надеждами. Она не выразила никакого восторга.

— Радуешься, что не тебя забрали?

— Я радуюсь тому, что не потерял тебя,— ответил я.— Ты не смеешься?

— Надо бы смеяться. А я... плачу.

— Плачешь? Почему?

— Вижу, что не надо нам больше разговаривать.

— Ты что, с ума сошла?

— Не надо.

— Но почему? Почему?

— Слушай: до того как появился ты, смерть была здесь, рядом, и я разговаривала только с нею. Я близко узнала ее и больше не страшилась. А теперь я опять начинаю ее бояться.

— Да, да, понимаю. И Отелло то же самое говорил.

— Даешь слово, что не будешь больше мне стучать?

— Что ты... Как я могу дать такое обещание?

— Во всяком случае я не стану отвечать. Если же вдруг нам удастся выжить, я найду тебя и...

Она остановилась.

— Договаривай, говори же, любимая...

— Не могу... Разве все выскажешь? Ты сам говорил: морзянка холодна, как голос крупье...

Это были ее последние слова. Когда ее уводили, она запела. И расстреляли ее непричесанной.

Перевод Т. КОКУРИНОЙ

АНТОНИС САМАРАКИС

Улица Стадиу. Канун Нового года

Она шла и шла. Затем обогнула Овощной рынок и оказалась в лабиринте пустынных темных улочек.

Тротуары из стертых, потрескавшихся плиток были все в выбоинах. Настоящая западня для прохожего. Впрочем, по тротуару лучше не ходить. Она сошла на дорогу, где не было асфальта, и пошла медленным шагом. Да и куда торопиться? У нее не было никаких планов, ничего определенного в эту предновогоднюю ночь.

Влажная земля заглушала шаги. Недавно прошел дождь. Короткий, но сильный ливень начался внезапно, когда на город уже опустились первые сумерки.

Гроза, как всегда, вызвала суматоху в Афинах. Хорошо еще, что непогода быстро кончилась, минут через двадцать уже упали последние капли. Дождь почти совсем перестал, и она отправилась бесцельно бродить по афинским улицам.

Она была в отличном настроении, как говорится, «в форме». Только вот шляпа немного великовата. Большая, с широкими полями шляпа то и дело сползала на лоб и лезла на самые глаза. Она остановилась, чтобы приподнять ее немного. Но шляпа слетела и покатилась в самую грязь. Повернув голову, она увидела, что шляпа лежит

в луже. Она было потянулась за ней, но потом передумала и двинулась дальше.

Кто-то шел по противоположной стороне улицы. Кто-то, кто чувствовал себя уверенно на этом тротуаре, несмотря на все выбоины и колдобины. Она услышала, как неизвестный что-то сказал, достаточно громко, но так и не поняла, к ней ли были обращены его слова, и ускорила шаг.

Она озябла. В ночном воздухе чувствовалась сырость, дул упрямый северный ветер. Она все прибавляла шагу, уже почти бежала. Вскоре она согрелась.

Впереди она увидела много огней: желтых, зеленых, лиловых... Где-то там, далеко, темные пустынные улочки пропадали.

Навстречу ехала машина, но она на бегу ее не заметила. Машина ехала очень быстро, и они чуть не столкнулись. Из машины что-то крикнули, засмеялись...

На углу следующего квартала было светло. Она подошла ближе. Небольшая таверна, всего несколько мраморных столиков. А на окне, у самого стекла,— клетка с канарейкой.

Птицы всегда вызывали у нее какую-то особую нежность. Она подошла поближе к окну, чтобы рассмотреть дремавшую канарейку получше.

Лошадь поставила на тротуар одну ногу, затем другую и почти сразу же — обе задние. Вот тогда-то и началась суматоха.

— Лошадь! — закричали люди, выбегавшие из кабачка и соседних лавок.— Смотрите, лошадь!

Собралась толпа, впрочем небольшая, ведь улица была не очень оживленной. Но, испугавшись криков и хлопанья распахивающихся ставен, лошадь бросилась бежать.

Подстегиваемая криками толпы и гудками автомобилей, она выскочила на Пирейскую улицу. Лошадь не понимала, что, собственно, происходит, но какой-то могучий инстинкт заставлял ее мчаться изо всех сил, петляя среди сотен автомобилей, мчаться и мчаться к площади Омония.

Множество разноцветных огней, огромные неоновые рекламы усиливали ее страх. Но она не останавливалась ни на секунду. Даже когда увидела фонтан на площади, хотя ей так хотелось пить, так хотелось остановиться и утолить жажду.

Вот она на одном дыхании уже несется по улице Стадиу.

— Лошадь на Стадиу!

Весть передавалась из уст в уста. На тротуарах теснилась взбудораженная толпа, автомобили отчаянно сигналили... Из переулков на Стадиу спешили все новые и новые зеваки. Так много народа не собиралось даже на предвыборные митинги. Нагруженные праздничными подарками и множеством забот, прохожие возбужденно кричали, размахивали руками:

— Лошадь на Стадиу!

Разве могла она вообразить такое, когда развязалась набухшая от дождя веревка, которой привязал ее хозяин на темной улочке за рынком — разве могла она вообразить, что станет в эту ночь героиней улицы?

Они приехали из Месоя после обеда, и хозяин мигом распродал привезенную капусту. Потом он купил лошади шляпу, совсем дешевую. Ведь в последнее время она так легко простужалась. Как только холодало, у нее сейчас же начинался насморк и она то и дело чихала.

Нахлобучив ей на голову шляпу, хозяин привязал ее к фонарному столбу и пошел с приятелями пропустить по маленькой.

— Лошадь на Стадиу!

Фантастическим зрелищем была эта лошадь, скакавшая по улице Стадиу в предновогоднюю ночь неизвестно откуда и куда. Словно

образ далекого детства, которое для многих стало чем-то давно забытым, пропахшим пылью и нафталином.

— Лошадь на Стадиу!

— Лошадь! Да что же это делается?!

— Полиция! Позвоните в полицию!

И в самом деле: нашлось немало охотников сообщить в полицию о необыкновенной нарушительнице уличного движения. Эта лошадь и впрямь оказалась серьезным нарушением обыденной размеренности, огражденной законами и правилами. Она нарушала всю эту привычную жизнь, задыхающуюся от выхлопных газов и избытка рационализма.

— Лошадь на Стадиу!

А в больших магазинах и маленьких лавочках на Стадиу, мимо которых она стремительно проносилась, люди считали и пересчитывали деньги, много денег...

И все считали, считали на калькуляторах самой последней марки... Но вдруг на мгновение все перестали считать и пересчитывать. Всего лишь на одно мгновение.

— Лошадь на Стадиу!

— Лошадь! Что же это делается?!

А лошадь, рассекая грудью воздух, ломала новогодний сценарий. Да, все это скоро кончится. Вот-вот появятся полицейские машины, погонятся за ней, окружат, загонят... Ведь нужно удалить — и чем быстрее, тем лучше — эту лошадь, столь внезапно нарушившую спокойствие. Нет, совсем она не к месту на такой нарядной, такой новогодней, такой рациональной улице Стадиу.

— Лошадь на Стадиу!

— Лошадь! Да что же это делается?!

И все торопились скорее забыть эту лошадь: с глаз долой — из сердца вон.

Вот что еще произошло в это время: в продажу поступили праздничные выпуски новогодних газет со стандартным, на всю первую страницу заголовком:

С НОВЫМ ГОДОМ!

Со стандартными, на всю последнюю страницу шапками:

ВЬЕТНАМ — УГРОЗА МИРУ

КИПРСКАЯ ПРОБЛЕМА СНОВА В ТУПИКЕ

В УХОДЯЩЕМ ГОДУ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ УМЕРЛИ ОТ ГОЛОДА

ОГРОМНЫЕ ЗАПАСЫ ЗЕРНА УНИЧТОЖЕНЫ РАДИ СОХРАНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН

ЧЕЛОВЕК НА ПОРОГЕ ЗАВОЕВАНИЯ ВСЕЛЕННОЙ

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС: ЕСЛИ РАЗРАЗИТСЯ ЯДЕРНАЯ ВОЙНА, ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОГИБНЕТ

А лошадь все бежала и бежала и не могла остановиться даже у кинотеатра «Аполлон», чтобы рассмотреть как следует огромную сияющую рекламу широкоэкранного фильма:

ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ МИР.

Перевод ВИКТОРА СОКОЛЮКА

■

В Греции — издательский бум. Прилавки книжных магазинов пестрят самой разнообразной продукцией. В последнее время греки жадно потянулись к книге, находившейся под запретом в мрачные годы фашистского режима (1967—1974).

Весьма примечательно, что огромным успехом у читателя пользуется проза. А ведь раньше, до 1967 г., романам, повестям, рассказам в Греции предпочитали стихи. Послевоенной греческой прозе не суждено было снискать такую славу и известность, как поэтическим произведениям. Слишком уж затянулось ее мучительное становление. Но главное, видимо, в том, что национальная проза 50—60-х годов не

обладала достаточным опытом социального анализа сложной и противоречивой действительности.

Если для того, чтобы осмыслить могучее антифашистское Сопротивление, трагическое поражение демократических сил в гражданской войне 1946—1949 гг., послевоенной прозе потребовалась значительная временная дистанция, то реакция на «черное семилетие» диктатуры в прозе 70-х годов, и прежде всего в ее малой повествовательной форме, была незамедлительной и точной — факт, свидетельствующий о том, что проза, этот «великий хромой греческой культуры», по меткому определению В. Василикоса, вступила в пору зрелости.

Осознание человеконенавистнической сущности диктатуры, чувство общей ответственности за происходящее, ощущение причастности к борьбе и страданиям народа сплотили в кризисный период 1967—1974 гг. писателей разных поколений, разных политических взглядов, сторонников различных литературных тенденций, определив общность антидиктаторской проблематики и гуманистическую направленность их художественного поиска. Хунте не удалось склонить на свою сторону ни одного из известных деятелей греческой литературы и искусства.

Образ одного из немногих, кто поверил фашистской пропаганде, кого удалось соблазнить диктаторскому режиму, создает в рассказе «Орден» Костас Валетас (род. в 1939 г.). С нескрываемой иронией, гротескными мазками писатель рисует неприглядную картину морального и творческого краха скульптора, решившегося на компромисс со своей совестью.

Имя Костаса Валетаса уже знакомо читателям «Иностранной литературы» [1]. Его перу принадлежат несколько сборников рассказов (один из них, «Китайская стена», в 1974 г. был удостоен Государственной литературной премии), три романа — «Эмиграция» (1972), «Избиение старцев» (1977), «Подчинение» (1979), ряд пьес, литературно-критических статей, переводов. Вместе со своим отцом, известным писателем Йоргосом Валетасом, вице-президентом Общества греко-советской дружбы, Костас Валетас издает два литературных журнала — «Эолика граммата» и «Эмос». Один из номеров последнего был целиком посвящен советской литературе. В нем, в частности, были опубликованы произведения наших поэтов и прозаиков, посвященные Греции.

В годы диктатуры К. Валетас, как и многие его коллеги, жил в эмиграции. Но в его творчестве тематика сопротивления фашистскому насилию нашла самый непосредственный отклик. Известность в стране и за рубежом писателю принес роман «Эмиграция», посвященный одной из наиболее животрепещущих проблем современной Греции, еще более обострившейся в годы правления хунты,— эмиграции сельского населения в страны Западной Европы. Повествуя о злоключениях греков, итальянцев, испанцев на промышленных предприятиях ФРГ, К. Валетас в этом романе, а также в последнем своем романе «Подчинение» разворачивает перед читателем страшную картину жизни отверженных «цивилизованного и добропорядочного» капиталистического общества. В романе «Избиение старцев» в аллегорической форме воссоздана драматическая социальная реальность Греции периода диктатуры.

«Глубокая рана, которую оставила в нашем сознании диктатура, будет кровоточить еще долго»,— заметил в одном из интервью известный прозаик Спирос Пласковитис. Боль незаживших ран, горечь потерь и переоценок, нашедшие свое отражение в греческой прозе, усугублялись еще и тем, что кошмары прошлого то и дело напоминали о себе. Глубокой обеспокоенностью рецидивами «черного семилетия» отмечен рассказ «Коврик у двери» признанного мастера малой прозы Йоргоса Иоанну (род. в 1927 г.), автора сборников рассказов «Достоинства ради» (1964), «Саркофаг» (1971), «Единственное наследство» (1974), «Надгробное рыдание» (1980) и других. За сборник «Наша кровь» (1977) писатель получил Государственную литературную премию. В рассказе «Коврик у двери» Й. Иоанну раскрывает психологическую атмосферу, возникшую в стране после падения диктатуры, через неповторимую конкретность человеческой судьбы. Гнетущие мысли, мрачные ощущения и переживания героя весьма точно передают состояние страха и неуверенности, которыми были охвачены многие в Греции после 1974 г. Диктатура пала, но в это верится с трудом: ведь продолжает действовать созданный ею военно-политический аппарат. Тотальная слежка, всеобщая подозрительность, постоянный страх перед вызовом в полицию медленно разрушают человеческую индивидуальность, обезличивают ее, культивируют опасный вирус инфантильности и конформизма.

«Я не могу писать о том, чего не пережил сам. Мои рассказы — это простые примеры из жизни»,— говорит Йоргос Иоанну. В этой творческой установке заметно влияние поэтической манеры Янниса Рицоса. Только активная жизненная позиция, участие в общественной жизни страны позволяют литератору быть «истинным гражданином и настоящим писателем». Так считает Й. Иоанну.

Так считают и многие другие писатели, которые, как и Й. Иоанну, сегодня развивают лучшие традиции греческой документально-репортажной прозы. Ее творческая ориентация оформилась к середине 60-х годов. В основу литературного сюжета, утверждали сторонники этого направления и, в частности, В. Василикос, должно ложиться прочитанное в газете, увиденное и услышанное на улице, в кофейне, в магазине.

Примером такой литературы является рассказ Элени Воиску (род. в 1921 г.) «Энтерпрайз» из ее сборника «Девять историй», удостоенного в 1974 г. Государственной литературной премии. Этот рассказ был написан еще до диктатуры, но увидел

[1] «ИЛ», 1979, № 3. с. 248—249; 1980, № 5, с. 259—260.

свет лишь после восстановления демократии. Писательница, которая не один месяц провела в застенках асфалии [1], в годы «черного семилетия» в знак протеста нигде не публиковала свои произведения.

Э. Воиску — талантливый прозаик и драматург. Опубликованный в 1963 г. сборник рассказов «Маленькие и большие события» прочно утвердил ее в литературе как самобытного художника, зоркого наблюдателя и тонкого стилиста. Критика уже тогда отметила умение писательницы видеть типичное в, казалось бы, случайном и мимолетном, мастерски строить диалог.

Экономно и точно используя изобразительные средства, Э. Воиску в рассказе «Энтерпрайз» добивается репортажной выразительности. И этой установки она не скрывает, скрупулезно фиксируя подробности случая с маленькой Ангелики и даже вводя в рассказ газетную информацию от 3 декабря 1965 г.

Написанный на злобу дня, по законам документально-репортажной прозы, рассказ «Энтерпрайз» не потерял своей актуальности. И сегодня, после победы в стране левых демократических сил на последних парламентских выборах, он выражает антиамериканские настроения греков, протестующих против размещения американского ядерного оружия в Западной Европе, требующих ликвидации американских военных баз на территории Греции и превращения Средиземноморья в зону мира.

В последнее десятилетие реалистической тематикой заметно обогатилась и греческая лирическая проза, которая в 50—60-е годы прозябала в сентиментальности и морализаторстве. Ныне лирическая проза стремится к отображению ситуаций общественно значимых, которые, как правило, соотнесены с опытом социальных и психологических катаклизмов периода антифашистского Сопротивления, гражданской войны 1946—1949 гг., «черного семилетия» военно-фашистской диктатуры. Возникающие при этом неожиданные ракурсы сообщают повествованию дополнительную эмоциональность, лирическая тема приобретает драматическое звучание. Это видно из рассказа Сотириса Патадзиса (род. в 1914 г.) «Камеры молчания», где подлинные человеческие чувства обнажаются на резко контрастном, мрачном фоне фашистского застенка.

С. Патадзис заявил о себе в 1946 г. сборником рассказов о Сопротивлении «Кровавые годы». Тогда весь тираж книги был конфискован. Впоследствии этот сборник неоднократно переиздавался. Рассказы писателя, его пьесы, романы «Пьяный город» (1948), «Траурный марш» (1976) и др. пользуются популярностью не только в Греции, но и за рубежом, в частности в Скандинавских странах. В настоящее время С. Патадзис работает в афинском издательстве «Акадимос», где заведует отделом перевода Большой советской энциклопедии.

Стремление к максимальной убедительности, столь свойственное С. Патадзису, отличает и Антониса Самаракиса (род. в 1919 г.) — одного из самых читаемых в стране прозаиков. Тираж вышедшего в 1978 г. двадцать второго издания его повести «Ошибка» (1965), в которой писатель вскрывает механизм изощренной системы полицейского насилия, анализирует психологические истоки человеческой солидарности в условиях поединка со злом и коварством, достиг астрономической для Греции цифры — 120 тыс. экземпляров.

В годы диктатуры эта повесть, отмеченная многими премиями, переведенная на многие языки, а также другие книги писателя — сборники рассказов «Требуется надежда» (1954), «Я отказываюсь» (1961), роман «Сигнал опасности» (1959) — были запрещены и изъяты из книжных магазинов и библиотек. В 1973 г. А. Самаракису удалось издать сборник рассказов антидиктаторской направленности под названием «Паспорт». Сюжеты ряда рассказов основаны на личном опыте писателя, подвергавшегося травле, гонениям, унизительным допросам в асфалии.

В этом сборнике, как и во всем творчестве А. Самаракиса, рельефно проявилась еще одна характерная особенность греческой прозы последнего десятилетия — стремление выделить в национальной проблематике общечеловеческие аспекты, затронуть жгучие проблемы современности (экологический кризис, угроза новой войны и т. д.). Против разобщенности людей в современном капиталистическом городе, задыхающемся «от выхлопных газов и избытка рационализма», против распада тесных социальных связей, духовной скудости и безликости протестует А. Самаракис в рассказе «Улица Стадиу. Канун Нового года», полном щемящей тоски по подлинным ценностям жизни.

Серьезная озабоченность делами мира, искреннее стремление разобраться в общественных и духовных потрясениях национальной жизни, острота и глубина художественной реакции — вот, пожалуй, то главное, что следует выделить, говоря о греческой прозе 70-х годов. Процесс самоутверждения прозы в греческой литературе продолжается, и ей предстоит еще проверить временем жизненность своего художественного опыта, выстраданного в ходе долгих исканий.

ВИКТОР СОКОЛЮК

---

[1] Греческая охранка *(прим. автора)*.

Из монгольской лирики

Перевод с монгольского ЛЮДМИЛЫ БУКИНОЙ

БЭГЗИЙН ЯВУУХУЛАН

Роща у реки Толы

Дуновения ветра —
Как зайца порывистый бег!
И колышется роща, шумя,
На ветру этом чудном.
Приручила любовь мою
Ты незаметно к себе,
Словно горную лань,
Что в краю обитает безлюдном.

По волне серебристой
Размашистый ветер прошел,
Рябь реки полосатую
Спину коня повторяет.
Я любовью свечусь,
Что нежна и надежна, как шелк,—
В сердце Млечным Путем
Это первое чувство сияет.

Дышат девственно степи...
Ты их превзошла красотой.
Вздох восторга невольный,
Увидев тебя, подавляю,
Этой песни мелодия —
Точно цветочный настой.
Откровенье души,
Что летит над зеленою далью.

Набери мне из Толы
Холодной лазури воды,
Дай испить
Из серебряной чаши ладоней!
Пусть весенней порой
Расцветут молодые сады
Там, где степью владели
Лишь солнце да дикие кони!

Дуновения ветра —
Как зайца порывистый бег.
И колышется роща, шумя,
На ветру этом чудном.
Приручила любовь мою
Ты незаметно к себе,
Словно горную лань,
Что в краю обитает безлюдном.

БЭГЗИЙН ЯВУУХУЛАН (1929—1982).

Монгольский поэт. Лауреат Государственной премии МНР, заслуженный деятель культуры. Начал печататься в 1954 г. и приобрел известность как автор поэтических сборников «Наше желание» (1954), «Под голубым куполом неба» (1954), «Звон серебряной уздечки» (1961), «Камыши на озере Хар-Ус» (1965), «Полуденное небо» (1973), «Счастливая сабля» (1978), «Мир» (1979) и др. В русском переводе в 1960 г. вышла книга его стихов под названием «Лирика», стихи печатались также в периодической печати, в том числе в «ИЛ», и вошли во многие сборники и антологии монгольской поэзии разных лет. Стихи Б. Явуухулана взяты из сборника «Серебряное утро осени» (1977), а также получены в рукописи.

Цвета планеты

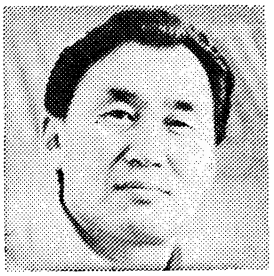
Синий-синий
Купол неба!
Солнца
Золотой желток!
Вся природа,
Вся планета —
Желто-голубой
Цветок!

Зимняя ночь

Светлою полночью
Спит безмятежно земля.
Снежным покровом
Укутаны плотно поля.

Ветер вздохнет,
Заблудившийся в лисьей норе.
Гривою дыбятся сосны
На сонной горе.

Зимнюю ночь
Под луной коротая в пути,
Сплю и не сплю...
Сновиденье к тебе летит!



ШАРАВЫН СУРЭНЖАВ

Гнев

Гнев — это черная туча
в душе на кочевье застыла.
Тщетные поиски
выхода в юрте,
что к северу дверь обратила[1].
Гнев — это медью в тумане
луны отливает свеченье.
Всадник, что сброшен конем
среди стаи волков
и уже не считает мгновенья.

[1] Согласно древнему обычаю, юрта ставится входом на юг. *(Здесь и далее — прим. перев.).*

ШАРАВЫН СУРЭНЖАВ (род. в 1938 г.).

Монгольский поэт. Автор нескольких сборников стихов, в том числе «Ночной цветок» (1963), «Десятая весна» (1972), «Город беспокойной судьбы» (1975), «Цветы, выросшие на поле боя» (1979) и др.
Переводы его стихов представлены в сборнике «Молодые поэты Монголии» (М., 1973), в антологии «Из монгольской поэзии XX в.» (1981), печатались в периодических изданиях.

Гнев — это мутный поток
подо льдом свою силу скрывает.
Крик журавлей в поднебесье
тревогой в груди замирает.
Гнев — неприкаянность серой колючки,
что катится полем,
ветром гонима беспечным
на вечную волю.
Гнев — это дом нежилой,
в тесноте дымохода
воет, беснуется, плачет,
грозит непогода!

■ ■ ■

Время расставило сети —
Ты в них угодил, старик:
Пыль многих десятилетий
Въелась в твой темный лик.

Морщины — звездное племя,
Что смотрит вниз с высоты:
Медленно движется время,
Меняя твои черты.

ОЧИРБАТЫН ДАШБАЛБАР

На моей ладони — города, деревни,
След вожжей ременных, кольца змей — судьба...
Здесь пылал огонь и розы пламенели,
Пальцы помнят локон, что отвел со лба...
Черенок лопаты след оставил вечный
На ладони этой, что вместила мир —
Мир, в котором места нет войне и мести,
Всем, кто затевает смертоносный пир,
Серебрится чаша с молоком священным —
Синий купол неба отразился там.
Тысячи дорог стекаются к запястью —
Сыну своему я все пути отдам.
Пусть он, ловкий, мчится выбранной дорогой,

ОЧИРБАТЫН ДАШБАЛБАР (род. в 1956 г.).

Монгольский поэт. Начал печататься в 1972 г. в монгольских газетах и журналах. Его стихи вошли в сборник молодых поэтов «Тропа к вершине». На русском языке переводы его стихов напечатаны в журнале «Дружба народов» (1981, № 11).
Публикуемые стихи получены в рукописи, они войдут в первую книгу поэта «Мелодия звезд», готовящуюся к изданию в Улан-Баторе.

Пусть расправит крылья, устремляясь вдаль,
На ладони этой пусть он взвесит строго
Счастье и потери, радость и печаль.
На мою ладонь любимая с улыбкой
Положила руку — краешек огня!
Стан ее ласкаю молодой и гибкий —
И глаза Вселенной смотрят на меня!

ТАНГАДЫН ГАЛСАН

Поклон Алтаю

Горы из гор вырастают,
Как субурганы [1] из ветра.
Скалы из скал прорастают,
Будто у дерева ветви.
Солнечной стороною,
Там, где уходят утесы
В небо, подобно Сумеру [2],
Снегом сверкая на солнце,
Бродят тропой кружевною
Гордые горные козы.
И под полуденным зноем
Ввысь, точно птица, взлетая,
Вольное стадо несется
К вечному снегу Алтая.

Там, у высоких подножий,
Стадо, в снегу утопая,
Лижет молочную пену
Царственного Алтая.
Вздрогнув от тени орлиной,
Хищно скользящей по кругу,
Высится над стремниной
Тучный вожак белогрудый.
Пред молоком материнским
Стал на колени козленок.
Рядом в покорном поклоне
Замер вожатый на склоне,
Всем естеством припадая
К светлому снегу Алтая!

---

[1] Субурган — в культовом зодчестве Монголии многоярусное монументальное сооружение для хранения реликвий.

[2] Сумеру — мифическая гора (монгольский Олимп).

ТАНГАДЫН ГАЛСАН (род. в 1932 г.).

Монгольский поэт. Родился в аймаке Загского сомона, в семье пастуха. Получил университетское образование. Опубликовал сборники «Стихи и поэмы» (1975), «Восемьдесят лет» (1977), «Думы отца» (1980).

На русский язык переводится впервые. Предлагаемое стихотворение взято из антологии современной монгольской поэзии (Улан-Батор, 1981).

БУКИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА.

Советский поэт, переводчик с монгольского. Ее переводы печатались в антологии «Из монгольской поэзии XX в.» (1981), а также в периодических изданиях.

ХУЛИО КОРТАСАР

Рассказы

■

Перевод с испанского А. БОРИСОВОЙ

Записки в блокноте

Что касается учета пассажиров, то сама тема возникла — сейчас уместно вспомнить об этом,— когда мы разговаривали о неопределенности всякого бессистемного анализирования. Хорхе Гарсиа Боуса сначала заговорил о метро в Монреале, а потом уже перешел непосредственно к линии «Англо» в Буэнос-Айресе. Он, правда, не сказал, но я подозреваю — это как-то связано со специальными исследованиями, которые проводила его фирма, если только она занималась учетом. Каким-то особым способом — по незнанию своему я могу охарактеризовать его только так, хотя Гарсиа Боуса настаивал на его необыкновенной простоте,— было установлено точное количество пассажиров, в течение целой недели ежедневно пользующихся метро. Поскольку интересно было узнать наплыв людей на разных станциях линии, а также процент тех, кто ездит из конца в конец или по определенному участку дороги, учет производился с максимальной тщательностью у каждого входа и выхода, от станции «Примэра Хунта» до «Плаца де Майо»; в те времена — я говорю о сороковых годах — линия «Англо» еще не соединялась с сетью новых станций подземки, и это облегчало дело.

В понедельник намеченной недели общая цифра была самой большой; во вторник — приблизительно такой же; в среду результаты аналогичных исследований были неожиданными: из вошедших в метро 113 987 человек на поверхность вышли 113 983. Здравый смысл подсказывал ошибку в расчетах, так что ответственные за проведение операции объехали все места учета, выискивая возможные упущения. Старший инспектор Монтесано (сейчас у меня есть данные, о которых не знал Гарсиа Боуса,— я добыл их позже) самолично прибыл «нака-

© Julio Cortázar. 1981.

ХУЛИО КОРТАСАР — Julio Cortázar (род. в 1914 г.).

Аргентинский писатель. Его книги переведены на многие языки мира. Дебютировал в литературе в 1949 году драматической поэмой в прозе «Короли» («Los reyes»). Автор многих книг, в том числе сборников рассказов «Зверинец» («Bestiario», 1951), «Конец игры» («Final del juego», 1956), «Секретное оружие» («Las armas secretas», 1959), «Тот, кто здесь бродит» («Alguien que anda porahi», 1977), романов «Выигрыши» («Los premios», 1960), «62. Образец для построения» («62 Modelo para armar», 1962), «Игра в классики» («Rayuela», 1963), «Книга Мануэля» («Libro de Manuel», 1973) и др.

На русском языке произведения Х. Кортасара публиковались в «Иностранной литературе» (1970, № 1; 1978, № 9), а также выпускались многими издательствами нашей страны.

Предлагаемые рассказы взяты из книги «Мы так любим Гленду и другие рассказы» («Queremos tanto a Glenda y otros relatos». Madrid, Ediciones Alfaguara, 1981).

чать» сотрудников, занимавшихся учетом. Не колеблясь ни секунды, он «пропахал» подземку из конца в конец, причем рабочие и машинисты поездов должны были при выходе предъявлять ему удостоверения. Все это заставляет меня думать, что старший инспектор Монтесано уже смутно догадывался о том, что хорошо известно нам обоим теперь. Нет необходимости добавлять, что никто не обнаружил мнимой ошибки, из-за которой предполагались (и одновременно исключались) четверо исчезнувших пассажиров.

В четверг все было в порядке; сто семь тысяч триста двадцать восемь жителей Буэнос-Айреса, как обычно, появились, готовые к временному погружению в подземелье. В пятницу (теперь, после произведенных операций, считалось, что учет ведется безошибочно) число людей, вышедших из метро, превышало на единицу число вошедших. В субботу цифры были одинаковыми, и фирма посчитала свою задачу выполненной. Отклонения от нормы не были доведены до сведения общественности, так что кроме старшего инспектора Монтесано и операторов счетных машин на «Плаза Онсе» мало кто знал обо всем происшедшем. Полагаю, однако, что эти немногие (кроме, я настаиваю, старшего инспектора) сочли за лучшее об этом забыть как о простой ошибке в расчетах машины или оператора.

Произошло это в 1946 году, может быть, в начале 1947-го. В последующие месяцы мне пришлось часто ездить по линии «Англо»; поскольку ехать было долго, порой я вспоминал разговор с Гарсиа Боусой и, с иронией поглядывая на людей вокруг — они либо сидели, либо, держась за кожаную ручку, мотались из стороны в сторону, словно бычьи головы на крюках,— вот что открыл. Дважды на станции «Хосе Мариа Морено» мне представилось, как бы это ни было неправдоподобно, что кое-кто (один мужчина, потом две пожилые женщины) был не просто пассажиром, как остальные. Однажды, в четверг вечером, на станции «Медрано», сразу после бокса, где я видел, как победил Хасинто Льянес, мне показалось, что девушка, дремавшая на второй скамейке платформы, здесь совсем не для того, чтобы дожидаться следующего поезда. Она, правда, вошла в тот же вагон, что и я, но только для того, чтобы выйти на «Рио-де-Жанейро» и остаться на перроне — будто засомневалась в чем-то, или очень устала, или была раздражена.

Об этом я говорю сейчас, когда уже нет ничего невыясненного; так бывает, если случится кража,— все вдруг вспоминают, что и в самом деле какие-то подозрительные молодые люди крутились возле лакомого куска. Но в этих расплывчатых фантазиях, которые рассеянно переплетались в моем воображении, что-то с самого начала вело меня все дальше, создавая ощущение чего-то подозрительного; поэтому в тот вечер, когда Гарсиа Боуса вскользь упомянул о любопытных результатах учета, я соединил одно с другим и с удивлением, почти со страхом понял, что картина начинает проясняться. Возможно, из всех, кто наверху, я был первым, кто знал об этом.

Затем следует смутный период, когда смешиваются растущее желание утвердиться в своих подозрениях, ужин в «Пескадито», сделавший близким мне Монтесано с его воспоминаниями, осторожные и все более частые погружения в метро, воспринимаемое теперь как нечто совершенно другое, как чье-то медленное, отличное от жизни города дыхание, как пульс, который незаметно перестал биться для города, как нечто, переставшее быть только одним из видов городского транспорта. Но прежде чем действительно погрузиться (я имею в виду не обычную поездку в метро, как это делают все люди), было время раздумий и глубокого анализа. На протяжении трех месяцев, когда я предпочитал ездить 86-м трамваем, чтобы избежать и подтверждений и обманывавших случайностей, меня удерживала на поверхности одна достойная внимания теория Луиса М. Бодиссона. Както полушутя я упомянул при нем о том, что рассказал мне Гарсиа

Боуса, и как возможное объяснение этого явления он выдвинул теорию некоей разновидности атомного распада, могущего произойти в местах большого скопления людей. Никто никогда не считал, сколько людей выходит со стадиона «Ривер Плейт» в воскресенье после матча, никто не сравнивал эту цифру с количеством купленных билетов. Стадо в пять тысяч буйволов, которое несется по узкому коридору,— кто знает, разве их выбежало столько же, сколько вбежало? Постоянные касания людей друг о друга на улице Флорида незаметно стирают рукава пальто, тыльную сторону перчаток. А когда 113 987 пассажиров набиваются в переполненные поезда, их трясет и трет друг о друга на каждом повороте или при торможении, в результате это может привести (благодаря процессу исчезновения индивидуального и растворению его во множественном) к потере четырех единиц каждые двадцать часов. Что касается другой странности, я имею в виду пятницу, когда появился один лишний пассажир, тут Бодиссон всего лишь согласился с Монтесано и приписал это ошибке в расчетах. После всех этих предположений, достаточно голословных, я снова почувствовал себя очень одиноким, у меня не только не было собственной теории — напротив, я ощущал спазмы в желудке всякий раз, когда подходил к метро. Поэтому-то я по собственному усмотрению приближался к цели, двигаясь по спирали,— вот почему я столько времени ездил на трамвае, прежде чем оказался в состоянии вернуться на «Англо», погрузиться в буквальном смысле, и не только для того, чтобы просто ехать, в метро.

Здесь следует сказать, что от них я не видел ни малейшей помощи; даже наоборот — ждать или искать ее у них было бы бессмысленно. Они там даже и не знают, что с этой самой главы я начинаю писать их историю. Со своей стороны, мне бы не хотелось их выдавать, в любом случае я не назову те немногие имена, ставшие мне известными за несколько недель, которые я прожил в их мире; если я и делал все это, если пишу сейчас эти заметки, так только из добрых побуждений — я хотел помочь жителям Буэнос-Айреса, вечно озабоченным проблемой транспорта. Но речь теперь даже не о том, сейчас мне просто страшно спускаться туда, но ведь это несправедливо — тащиться в неудобном трамвае, когда в двух шагах метро, и все на нем ездят, и никто не боится. Я достаточно честен, чтобы признать: если они выброшены из общества без огласки и никто особенно этим не заинтересуется, мне будет спокойнее. И не только потому, что чувствую угрозу для своей жизни, пока нахожусь внизу,— ни на одну минуту я не ощущаю себя в безопасности, даже когда занимаюсь своими исследованиями уже столько ночей подряд (там всегда ночь, нет ничего более фальшивого, искусственного, чем солнечные лучи, врывающиеся в маленькие окна на перегонах между станциями или до половины заливающие светом лестницы); вполне вероятно, дело кончится тем, что я себя обнаружу, они узнают, для чего я столько времени провожу в метро, так же как я безошибочно различаю их в густой толпе на станциях. Они такие бледные, действия их четко налажены; они такие бледные и такие грустные, почти все такие грустные.

Любопытно, что с самого начала мне очень хотелось разузнать, как они живут, хотя узнать, почему они так живут, было бы более важно. Почти сразу я оставил мысль о тупиках и заброшенных туннелях; их существование было открытым и совпадало с приливом и отливом пассажиров на станциях. Факт тот, что между «Лориа» и «Плаза Онсе» смутно просматривалось нечто, похожее на Hades[1], заполненное кузнечными горнами, запасными путями, хозяйственными складами и странными ящиками из темного стекла. Это подобие депо я разглядел в те несколько секунд, пока поезд отчаянно встряхивал

[1] Преисподняя *(англ.). (Здесь и далее прим. перев.).*

нас на поворотах при подъезде к станции, ярко сверкающей по контрасту с темнотой. Но достаточно было подумать, сколько рабочих и служащих снуют по этим грязным туннелям, чтобы отбросить мысль о них как о пригодном опорном пункте; разместиться там, по крайней мере на первых порах, они не могли. Достаточно было понаблюдать в течение нескольких поездок, чтобы убедиться — нигде, кроме как на самой линии, то есть на перронах станций и в почти постоянно движущихся поездах, нет ни места, ни условий, где они могли бы жить. Отбросив тупики, боковые ветки и склады, я пришел к ясной и ужасающей истине методом исключения; там, в этом сумрачном царстве, то и дело возвращалось ко мне осознание единственной правды. Это существование, которое я описываю сейчас в общих чертах (кое-кто скажет — предполагаемое), было обусловлено для меня жестокой и непреклонной необходимостью; последовательным исключением различных вариантов была выведена единственная возможность. Они — теперь это совершенно ясно — размещались нигде: они жили в метро, в поездах метро, в постоянном движении. Их существование, жизнедеятельность их лейкоцитов — они такие бледные! — обусловлены безымянностью, защищающей их по сей день.

Поняв это, остальное было нетрудно установить. Кроме как на рассвете или глубокой ночью, поезда на «Англо» никогда не бывают пустыми, поскольку жители Буэнос-Айреса—полуночники и всегда кто-нибудь входит или выходит перед самым закрытием станций. Может, и можно было бы считать последний поезд ненужным, просто следующим в силу расписания, потому что в него уже никто не садится, но я никогда такого не видел. Или нет, видел несколько раз, но он был по-настоящему пустой только для меня; его странными пассажирами были те из них, кто проводил здесь ночь, выполняя нерушимый устав. Я так и не смог найти место их вынужденного укрытия в течение трех глухих часов, когда «Англо» закрыта,— с двух ночи до пяти утра. Остаются ли они в поезде, который идет в тупик (в этом случае машинист поезда должен быть одним из них) или смешиваются на время с группами ночных уборщиков? Последнее наименее вероятно из-за проблемы спецодежды и личных отношений, так что я склоняюсь к мысли, что они используют туннель, неизвестный обычным пассажирам, который соединяет «Пласа Онсе» с портом. Кроме того, почему в помещении станции «Хосе Мариа Морено», где на дверях написано «Вход воспрещен», полно бумажных свертков, не говоря уж о том, что там есть странный ящик, где можно хранить всякую всячину? Очевидная ненадежность этих дверей наводит на самые худшие подозрения; в общем, как бы то ни было, хотя иногда это кажется невероятным, мое мнение таково: каким-то образом они живут, как я уже говорил, в поездах или на перронах станций; в глубине души я уверен в этом в силу какой-то эстетической потребности, а может быть, благодаря здравому смыслу. Постоянная циркуляция туда и обратно, от одной конечной станции до следующей, не оставляет другой, сколько-нибудь подходящей возможности.

Я сказал об эстетической потребности, но, возможно, соображения мои носят скорее прагматический характер. Их план должен быть гениально простым, чтобы каждый в любой момент их постоянной жизни под землей действовал четко и безошибочно. Допустим, как я убедился благодаря своему долготерпению, каждый из них знает, что больше одной поездки в одном и том же вагоне делать нельзя, чтобы не привлекать внимания; с другой стороны, на конечной станции «Пласа де Майо» нужно занять место, поскольку из-за транспортных затруднений на станции «Флорида» садится огромное количество людей, которые тоже хотят занять место и ехать так до конечной, где ожидающих не меньше. На «Примэра Хунта» другая операция: достаточно выйти, пройти несколько метров и смешаться с толпой пассажиров, которые едут в противоположную сторону. В любом случае

они ставят наверняка, потому что подавляющее большинство пассажиров проезжают только часть линии. А когда через некоторое время люди снова поедут на метро — разница между короткой получасовой поездкой и восьмичасовым рабочим днем служащего или рабочего велика,— едва ли они узнают тех, кто был с ним рядом там, внизу, тем более что вагоны и поезда каждый раз разные. Мне стоило труда удостовериться в последнем, соображение это очень тонкое и вполне отвечает твердой схеме, которая призвана устранить возможные узнавания в лицо со стороны служителей или тех пассажиров, которые сядут в тот же поезд (от двух до пяти случаев, в зависимости от часа и наплыва людей). Сейчас я, например, знаю, что девушка, которая в тот вечер ждала на «Медрано», сошла с предыдущего поезда и села в мой, чтобы ехать до «Рио-де-Жанейро», и что там она сядет в следующий; как и все они, она располагала точными указаниями до конца недели.

Привычка научила их спать сидя, причем самое большее пятнадцать минут. Даже мы, те, кто периодически ездит по «Англо», в конце концов цепко держим в памяти малейшие изгибы пути, любой незначительный поворот безошибочно подскажет нам, едем ли мы от «Конгресо» до «Саэнс Пенья» или направляемся к «Лориа». В них же привычка сильна настолько, что они просыпаются именно в тот момент, когда нужно выйти и пересесть в другой поезд. Они сохраняют достоинство даже во сне — сидят прямо, чуть склонив голову на грудь. Двадцать раз по пятнадцать минут им достаточно, чтобы отдохнуть, кроме того, у них есть еще те непостижимые для меня три часа, когда «Англо» закрыта. Когда я было подумал, что в их распоряжении какой-то один целый поезд — это как раз подтверждало гипотезу о тупике в ночные часы,— я сказал себе, что в их жизни есть такая ценность, как общение, даже приятное, если они могут ездить в этом поезде все вместе. Быстрая, зато непринужденная совместная еда на перегонах между станциями, непрерывный сон во время пути из конца в конец, прелесть разговора и дружеских, а может и родственных, контактов. Однако я убедился, что они строго придерживаются правила не собираться в своем поезде (если только он один, поскольку их число медленно, но верно растет); они слишком хорошо знают, что любое узнавание будет для них роковым и что три лица, вместе увиденные одновременно, память удерживает лучше, чем когда видишь троих людей порознь и в разное время, во всяком случае, это следует из практики допросов.

В своем поезде они видятся только мельком, чтобы получить, с последующим выполнением, новое расписание на неделю, которое Первый из них пишет на листках из блокнота и каждое воскресенье раздает руководителям групп; там же они получают деньги на недельное пропитание, и там же помощник Первого выслушивает каждого из них — что кому надо из одежды, или нужно что-то передать наверх, или кто-то жалуется на здоровье. Программа состоит в следующем: надо так состыковать поезда и вагоны, чтобы встречи стали практически невозможны, и судьбы их расходятся до конца недели. Итак, можно сказать — кстати, все это я вывел благодаря напряженной работе мысли, я представлял себя одним из них, я страдал и радовался, как они,— так вот, можно сказать, что они ждут воскресенья так же, как мы наверху ждем нашего,— оно приносит отдых. Почему Первый выбрал именно этот день? Вовсе не из уважения к традиции — это как раз могло бы в них удивить; просто он знает, что по воскресеньям в метро ездят другие пассажиры и любой поезд менее узнаваем, чем в понедельник или в пятницу.

Осторожно соединив куски мозаики, я понял первичную фазу операции и начал с поезда. Те четверо, согласно результатам учета, спустились в метро во вторник. Вечером того же дня на станции

«Саэнс Пенья» они изучали лица проезжающих машинистов в раме окна. Первый подал знак, и они сели в поезд. Теперь надо было ждать до «Плаза де Майо» и, пока поезд проезжает тринадцать последующих станций, устроиться как-то так, чтобы не попасть в один вагон со служителем. Самое трудное — поймать момент, когда, кроме них, в вагоне никого не будет; им помогло джентльменское распоряжение Транспортной корпорации Буэнос-Айреса, которое отводит первый вагон для женщин и детей, и по укоренившейся привычке жители города не жалуют этот вагон своим вниманием. Начиная со станции «Перу», в вагоне ехали две сеньоры, которые говорили о распродаже в «Доме Ламота» («Карлота одевается только там»), и мальчик, погруженный в неподходящее для него чтение *«Красного и черного»* (журнал, а не Стендаль). Служитель был приблизительно в середине состава, когда Первый вошел в вагон для женщин и негромко постучал в дверь кабины машиниста. Тот открыл с удивлением, но пока еще ничего не подозревая, а поезд уже приближался к «Пьедрас». «Лиму», «Саэнс Пенья», «Конгресо» проехали без происшествий. На «Паско» была задержка с отправлением, но служитель был на другом конце состава и беспокойства не проявил. Перед «Рио-де-Жанейро» Первый вернулся в вагон, где его ждали трое остальных. Через сорок восемь часов машинист, одетый в штатское — одежда была ему немного велика,— смешался с толпой, выходившей на «Медрано», и послужил причиной неприятности для старшего инспектора Монтесано, увеличив на единицу число пассажиров в пятницу. А Первый тем временем уже вел состав, тайком обучая этому делу остальных троих, чтобы они могли заменить его, когда придет момент. Полагаю, они проделали то же самое и со служителями в тех поездах, которые использовали.

Хозяева нескольких поездов, они располагали движущейся территорией, где могли действовать в относительной безопасности. По-видимому, я никогда не узнаю, чем Первый брал машинистов «Англо» — вынуждал их или подкупал — и как они ускользали от возможного разоблачения, когда встречались с другими служащими, получая зарплату или расписываясь в ведомости. Я могу только отдаленно догадываться, непосредственно вскрывая один за другим механизмы их жалкого существования, постигая внешнюю сторону их поведения. Тяжело было представить, что едят они почти исключительно то, что продается в станционных киосках, пока я не понял, что самое жуткое в их жизни — отсутствие привязанностей. Они покупают шоколадки и медовые пряники, сладкие молочные и кокосовые пастилки, халву и питательные карамельки. Едят их с безразличным видом человека, решившего полакомиться, но когда они едут в одном из своих поездов — на пару решаются купить огромный медовый пряник с орехами и миндалем, пропитанный сладким молоком, и едят его стыдливо, маленькими кусочками, испытывая удовольствие как от настоящей еды. Полноценное питание — неразрешимая проблема для них; сколько раз их будет мучить голод, и сладкое станет противно, и воспоминание о соли тяжелой волной поднимется во рту, наполняя все их существо мучительным наслаждением, а с солью — вкус недостижимого жаркого и супа, пахнущего петрушкой и сельдереем. В то время на «Плаза Онсе» как раз устроили закусочную, и порой запах дымящихся колбасок и сандвичей с вырезкой доходил до платформы метро. Но они не могли посещать ее, поскольку закусочная помещалась по другую сторону турникетов, на платформе, откуда поезда идут на «Морено».

Другой тяжелый момент их жизни — одежда. Брюки, юбки, нижние юбки изнашиваются. В меньшей степени — пиджаки и блузки, но их надо время от времени менять, хотя бы из соображений безопасности. Однажды утром, когда я следил за одним из них, пытаясь лучше понять их порядки, я обнаружил способ, каким они поддерживают

отношения с теми, кто наверху. Это происходит так: они приезжают по одному на указанную станцию в указанный день и час. Из внешнего мира является некто со сменой одежды (позже я убедился, что обслуживание осуществлялось полностью, белье каждый раз отдавалось в стирку, а костюм или платье периодически отдавали гладить), и двое садятся в один и тот же вагон подошедшего поезда. Там они могут поговорить, сверток переходит из рук в руки, и на следующей станции они переодеваются — это самая трудная часть — в туалетах, всегда пустых. Через станцию тот же самый агент ждет их на перроне; они вместе едут до ближайшей станции, и агент выходит на поверхность со свертком заношенной одежды.

Чисто случайно, уже когда я убедился, что ориентируюсь почти во всех вопросах этого мира, я обнаружил, что кроме периодического обмена одежды у них есть склад, где весьма ненадежно хранятся кое-какие носильные и другие вещи для непредвиденных ситуаций, возможно, чтобы на первых порах снабдить новичков, число которых определить не берусь, но думаю — оно велико. Один мой приятель показал мне на улице старика, что-то вроде «букиниста» под арками Кабильдо — ратуши колониальных времен. Я разыскивал старый номер журнала «Сур»; к моему удивлению, а возможно благодаря моей готовности принять неизбежное, букинист посоветовал мне спуститься на станцию метро «Перу» и повернуть налево от платформы, где начинается туннель, оживленный и, как полагается в метро, очень душный. Вот там-то и были беспорядочно навалены груды книг и журналов. «Сур» я не нашел, но зато увидел неплотно прикрытую дверцу в соседнее помещение; кто-то стоял спиной ко мне, затылок и шея его были бледные-бледные, как это бывает только у них; на полу, мне показалось, лежали какие-то пальто, платки, шарфы; букинист принимал этого человека за бродячего торговца или перекупщика наподобие его самого; я не стал разубеждать и купил у него «Трильсе»[1] в прекрасном издании. Но вот относительно одежды я узнал нечто ужасное. Поскольку у них есть лишние деньги и они стремятся их истратить (думаю, в тюрьмах слабого режима то же самое), то удовлетворяют свои капризы с такой невероятной настойчивостью, что это поразило меня. Однажды я следил за молодым блондином, которого всегда видел в одном и том же коричневом костюме; он менял только галстуки, два-три раза в день он входил в туалет специально для этого. В полдень он выходил на станции «Лима», чтобы купить галстук в киоске на платформе, он долго выбирал, не решаясь, это был его праздник души, его субботняя радость. Я увидел, что карманы его куртки оттопырены — там были галстуки,— и почувствовал, что закричу от ужаса.

Их женщины покупают платочки, маленькие безделушки, брелоки — все, что помещается в киоске и в сумочке. Иногда они выходят на станциях «Лима» или «Перу» и остаются на платформе посмотреть витрины, где выставлена мебель, долго разглядывают шкафы и кровати, смотрят на них, скромно подавляя желание купить, а когда покупают какую-нибудь газету или журнал «Марибель», надолго углубляются в объявления о распродаже, рекламы духов, модной одежды, перчаток. Они почти готовы забыть инструкции по поводу безразлично-отрешенного вида, когда видят матерей, везущих детей на прогулку; две из них несколько дней сохраняли равнодушный вид, но в конце концов встали со своих мест и начали ходить около детей, почти что касаясь их; я бы не очень удивился, если бы они погладили их по головке или дали бы им конфету, в метро Буэнос-Айреса обычно такого не увидишь, да, наверное, ни в каком ином метро.

Долгое время я спрашивал себя, почему Первый спустился с тремя спутниками именно в тот день, когда производился учет. Зная его

[1] Сборник стихов перуанского поэта-коммуниста Сесара Вальехо (1892—1938).

методы, было ошибкой объяснить это желанием произвести впечатление — совсем не в его духе нарываться на скандал в случае обнародования разницы в цифрах. В большем соответствии с его тонким чутьем было другое предположение: в эти дни внимание персонала «Англо» было приковано целиком и полностью к операциям учета. Захват поезда представлялся поэтому более выполнимым, и даже возвращение на поверхность подмененного машиниста не могло привести к опасным последствиям. Только через три месяца случайная встреча бывшего машиниста со старшим инспектором Монтесано в парке «Лесама» и выводы, молча сделанные последним, смогли приблизить его и меня к истине.

Как он считал тогда — это, кстати, было совсем недавно,— они владеют тремя поездами, и думаю, правда не уверен, что у них есть свой человек в диспетчерской на «Примэра Хунта». После случившегося самоубийства рассеялись мои последние сомнения. В тот вечер я следил за одной из них и видел, как она вошла в телефонную будку на станции «Хосе Мариа Морено». Перрон был почти пуст, и я оперся подбородком о боковую перегородку, как усталый человек, едущий с работы. В первый раз я видел кого-то из них в телефонной будке и не удивился таинственному и немного испуганному виду девушки, тому, что она на секунду заколебалась, прежде чем войти в кабину, и огляделась вокруг. Услышал я немного — всхлипывание, звук открываемой сумочки, сморкание и потом: «Как там канарейка, ты приглядываешь за ней, да? Ты даешь ей по утрам канареечное семя и чуть-чуть ванилина?» Такая тривиальность меня удивила — голос был непохож на тот, каким дают указания, что бы там ни были за отношения,— слезы слышались в этом голосе, душили его. Я сел в поезд раньше, чем она могла меня заметить, и сделал полный круг, продолжая изучать стыковки и организацию смены одежды. Когда мы снова оказались на «Хосе Мариа Морено», она уже застрелилась (сначала, говорят, перекрестившись); я узнал ее по красным туфлям и светлой сумочке. Собрался народ, многие толпились около машиниста и служителя в ожидании полиции. Я увидел двоих из них (они такие блеклые) и подумал, что случившееся послужит испытанием на прочность планов Первого, потому что одно дело, сидя на глубине, переиначить чью-то жизнь и другое дело — полицейское расследование. Неделя прошла без всяких новостей, никаких последствий — обычное, чуть ли не ежедневно случающееся самоубийство; я тем временем стал бояться метро.

Я понимаю — мне нужно еще многое узнать, может быть главное, но страх сильнее меня. Теперь я только подхожу ко входу «Лимы» — это моя станция,— вдыхаю спертый воздух, этот запах «Англо», который поднимается снизу, слушаю шум поездов. Сижу в каком-нибудь кафе как последний дурак и спрашиваю себя, можно ли отказаться — всего в двух шагах — от полного их разоблачения. Я столько знаю — и смог бы быть полезным обществу, если бы открыл все происходящее. Я знаю, что в последние недели у них было уже восемь поездов и что число таких, как они, быстро увеличивается. Новичков пока трудно узнать, поскольку обесцвечивание кожи — процесс медленный и, кроме того, они, без сомнения, принимают меры предосторожности. Едва ли в планах Первого есть просчеты, и мне представляется невозможным установить их количество точно. Чутье мне подсказало, еще когда я спускался и следил за ними, что в большинстве поездов их полно, что в любой час обычных пассажиров встречается все меньше и меньше; и я не удивляюсь, почему газеты кричат, что нужны новые линии, не хватает поездов и надо принимать срочные меры.

Я повидался с Монтесано и кое-что ему рассказал, надеясь услышать о том, что известно ему. Мне показалось — он не поверил, возможно, он сам напал на след, а более вероятно, что он предпочитает вежливо не вникать во что-либо, выходящее за рамки его воображе-

ния, не поговорив предварительно с кем-нибудь из начальства. Я понял, что бесполезно снова говорить ему об этом, он может обвинить меня в том, что я усложняю ему жизнь своими чуть ли не шизофреническими фантазиями, особенно когда он, похлопав меня по плечу, сказал: «Вы устали, вам бы нужно попутешествовать».

Единственно, где я мог попутешествовать,— это по «Англо». Меня немного удивило, что Монтесано не принимает никаких мер, по крайней мере против Первого и остальных троих, чтобы срубить верхушку этому дереву, корни которого все глубже и глубже проникают в землю сквозь асфальт. Затхлый воздух, лязг тормозов останавливающегося поезда, и вот на лестницу хлынул поток усталых людей, обалдевших от того, что ехали всю дорогу стоя, в битком набитых вагонах. Я бы должен подойти к ним, оттащить по одному в сторону и все объяснить каждому, но в этот момент я слышу шум приближающегося поезда и меня охватывает страх. Когда я узнаю в лицо кого-нибудь из агентов, который спускается или поднимается со свертком одежды, я скрываюсь в кафе и долго не решаюсь выйти. За стопкой джина я думаю о том, что, как только мужество вернется ко мне, спущусь и выясню их количество. Полагаю, в их руках сейчас все поезда, сотрудники многих станций и частично ремонтных мастерских. Продавщица кондитерского киоска на станции «Лима» могла бы подметить, что товаров у нее расходится все больше. С огромным усилием преодолев спазмы в желудке, я спустился на перрон, повторяя себе, что в поезд садиться не надо, не надо смешиваться с ними; всего пару вопросов — и на поверхность, в безопасность. Я бросил монетку в вертушку, подошел к киоску и, делая покупку, заметил, что продавщица пристально смотрит на меня. Красивая, но такая бледная, очень бледная. В отчаянии я бросился к лестнице и побежал наверх, расталкивая всех. Сейчас мне кажется, я никогда не смогу спуститься снова — меня уже знают, кончилось тем, что меня узнали.

Я провел в кафе целый час, прежде чем решил снова ступить ногой на верхнюю ступеньку лестницы, постоять там среди людей, снующих вверх-вниз, не обращая внимания на то, что на меня поглядывают, не понимая, почему я застыл там, где все движется. Мне казалось почти немыслимым завершить анализ их общих методов и не сделать окончательного шага, который позволил бы разоблачить их самих и их намерения. Не хочется думать, что страх до такой степени будет сдавливать мне грудь; возможно, я решусь, возможно, лучше, если я, ухватившись за лестничные перила, буду кричать, что знаю все об их планах, знаю кое-что о Первом (я скажу это, хоть Монтесано и не понравится — тем самым я испорчу ему расследование, которое он ведет) и особенно о последствиях всего этого для населения Буэнос-Айреса. Я все пишу и пишу, сидя в кафе. Ощущение безопасности — ведь я на поверхности и в нейтральном месте — наполняет мою душу покоем, которого я лишаюсь, когда спускаюсь и дохожу до киоска. Я чувствую, что каким-нибудь образом я все-таки спущусь, я заставлю себя спуститься по лестнице шаг за шагом, но будет лучше, если я прежде закончу свои записки и пошлю их префекту или начальнику полиции, а копии — Монтесано, потом заплачу за кофе и обязательно спущусь, хотя не знаю пока, как я это сделаю, где я возьму силы, чтобы спуститься ступенька за ступенькой сейчас, когда меня знают, сейчас, когда меня в конце концов узнали, но это уже неважно, записки будут закончены, и я скажу: господин префект или господин начальник полиции, есть кто-то, кто ходит там, внизу, кто-то, кто ходит по перрону и, когда никто не отдает себе отчета, когда знаю и слышу только я, заходит в едва освещенную кабину и открывает сумочку. И тогда плачет, совсем немного плачет, а потом, господин префект, говорит: «Как там канарейка, ты приглядываешь за ней, да? Ты даешь ей по утрам канареечное семя и чуть-чуть ванилина?»

Танго возвращения

Ты начинаешь фантазировать, увлекаемый собственным воображением; толчком могли послужить слова Флоры, или скрип открываемой где-то двери, или крик ребенка — и вот странная потребность разума призывает тебя заполнить пустоту, сплетая сложную паутину, создавая нечто новое. Но как тут не сказать, что выдуманная паутина, пожалуй, то и дело, нить за нитью, совпадает с хитросплетениями жизни, впрочем, говоришь это скорее от страха, потому что, если не верить в это хоть немного, не останется сил противостоять этим самым жизненным хитросплетениям. Так вот, именно Флора рассказала мне все вскоре после того, как мы с ней сошлись — она, разумеется, не работает больше у сеньоры Матильды (так она всегда называла ее, хотя уже не было нужды в подобных знаках уважения со стороны служанки на все руки),— и я любил слушать воспоминания о прошлом приехавшей в столицу провинциалки из Ла-Риохи[1], с большими испуганными глазами и маленькими грудками, которые в результате сослужили ей куда большую службу, чем умение орудовать метлой и примерное поведение. Мне нравится сочинять для себя, исписывать тетради одну за другой, сочинять стихи и даже целый роман, мне нравится сам процесс, и, завершая его, я чувствую освобождение, как после любви, когда приходит сон, а на другой день уже что-то новое стучится в твое окно, писать и значит открыть все двери, и пусть войдет, и так одну тетрадь за другой; работаю я в больнице и не заинтересован в том, чтобы кто-нибудь читал все, что я пишу, ни Флора, ни кто другой; мне нравится, когда тетрадь кончается — будто ты уже опубликовал это, опубликовать же по-настоящему у меня как-то не доходят руки, опять что-то стучится в мое окно, и снова все повторяется, то больница, то новая тетрадь. Флора рассказала мне множество всяких историй из своей жизни, не подозревая, что я еще раз мысленно пересматривал их перед сном, а некоторые из них попали в тетрадь, попали Эмилио и Матильда — жаль было бы, если бы такое осталось только в слезах и обрывочных воспоминаниях Флоры, она никогда не говорила мне об Эмилио и Матильде без того, чтобы в конце не расплакаться; на несколько дней я оставлял ее в покое, предложив сменить тему, а через некоторое время снова начинал вытягивать из нее ту самую историю, и Флора бросалась рассказывать, будто уже позабыла все, что говорила мне раньше, начинала сначала, и я не перебивал — она часто вспоминала все новые подробности, одна мелочь дополняла другую, я же стежок за стежком сшивал разрозненные и только угадываемые куски в единое целое, над чем я ломал голову в бессонные ночи или сидя перед своей тетрадью; наконец, наступил день, когда уже невозможно было отличить то, что рассказывала мне Флора, от того, что насочиняли мы с ней вдвоем, потому что мы оба, каждый на свой лад, как все, хотим, чтобы все было совершенным и законченным, чтобы для каждой мелочи нашлось свое место и цвет и была поставлена точка в конце той линии, которая ведет свое начало от чьей-нибудь ножки, какого-нибудь слова или какой-то лестницы.

Человек я обязательный, поэтому начну с самого начала, кроме того, когда я пишу, я стараюсь представить себе то, о чем пишу, я вижу все происшедшее — то утро, когда Эмилио Диас прибыл в Эсейсу[2] из Мехико и поселился в гостинице на улице Кангажжо, как провел два-три дня, обходя улицы, кафе и приятелей былых времен, избегая некоторых встреч, но особенно и не скрываясь, поскольку тогда ему не в чем было себя упрекнуть. Наверно, он медленно бродил

[1] Ла-Риоха — аргентинская провинция у подножия Анд.
[2] Аэропорт в Буэнос-Айресе.

вокруг Вилья дель Парке, гулял по Мелинкуэ и улице Генерала Артигаса, подыскивал гостиницу или пансион подешевле и не спеша обживался, днем потягивая мате[1] у себя в комнате, а вечера просиживая в тавернах или кино. В нем не было ничего от призрака, хотя он говорил мало и с немногими, носил башмаки на каучуке, одевался в черную куртку и терракотового цвета брюки, он быстро взглядывал на собеседника и так же быстро отводил глаза, в этом было что-то, что хозяйка пансиона называла таинственным; в нем не было ничего от призрака, но издалека чувствовалось, что одиночество окружает его словно потусторонняя тишина, похожая на белый шейный платок, на дым сигареты, иногда слетающий с его тонких губ.

В первый раз Матильда увидела его — в этот новый первый раз — из окна спальни наверху. Флора пошла за покупками и взяла с собой Карлитоса, чтобы тот не мешал своим хныканьем отдыхать во время сьесты; стояла невыносимая январская жара, Матильда дышала воздухом у окна и красила ногти в любимый цвет Хермáна, хотя Херман был в Катамарке[2], причем поехал на машине. Матильду раздражало, что до центра или Бельграно[3] надо добираться без машины, отсутствие Хермана было для нее привычным, а вот когда не было машины, она теряла покой. Он обещал купить еще одну, специально для нее, после слияния фирм, она ничего не понимала во всех этих торговых операциях, кроме того, что фирмы, по-видимому, еще не слились; не пойти ли вечером в кино с Перлой, надо извиниться перед ней, они поужинают где-нибудь в центре, что же касается гаража — Херман просто не хочет этим заниматься, у Карлитоса на ногах сыпь, и надо бы показать его педиатру, при одной мысли об этом делается еще жарче, Карлитос со своими истериками пользуется тем, что нет отца — некому надавать ему оплеух, мальчишка становится невыносимым, когда Херман уезжает, все время что-то канючит, Флора с трудом утихомиривает его ласками и мороженым, кстати, после кино можно будет зайти с Перлой в кафе-мороженое. Она увидела его у дерева — в это время улицы пустынны,— в надежной тени густой листвы; на фоне дерева вырисовывался его силуэт, дымок сигареты окутывал лицо. Матильда отпрянула от окна, ударившись спиной о кресло, чтобы не вскрикнуть, зажала рот рукой, пахнущей лаком, и отступила к противоположной стене комнаты.

«Мило»,— подумала она, если это называется «подумать», когда за одну секунду тебя вырвало твоим прошлым и ушедшими вместе с ним образами. «Это Мило». Когда она снова была в состоянии посмотреть в окно, на противоположном углу не было никого, вдалеке шли два мальчика, играя с черной собакой. «Он меня увидел»,— поняла Матильда. Если это был он, то он увидел ее, он был здесь, чтобы видеть ее, он был здесь, а не на каком-нибудь другом углу, под другим деревом. Да, он видел ее, раз он был, значит, знал, что она дома. И то, что он ушел в тот момент, когда она его узнала, видел, как она отступила, зажимая рукой рот, было хуже всего; теперь на углу пусто, не осталось и сомнений, ничего уже не решавших, полная определенность и угроза, одинокое дерево и ветер в листве,

Она снова увидела его, когда наступил вечер, Карлитос играл с электрической железной дорогой, Флора внизу напевала какую-то чепуху, оживший дом, казалось, защищал ее, вновь будил сомнения, она говорила себе, что Мило повыше и покрепче, возможно, это просто привиделось ей в забытьи сьесты, в слепящем свете. Она то и дело отходила от телевизора и с возможно более далекого расстояния смотрела в окно, и только со второго этажа, потому что прямо выглянуть на улицу было страшно. Когда она снова увидела его, он

[1] Напиток из высушенных листьев вечнозеленого дерева жерба-мате.
[2] Провинция в Аргентине.
[3] Район Буэнос-Айреса.

стоял почти на том же месте, только по другую сторону дерева; уже смеркалось, и контуры фигуры расплывались, растворялись среди других, тех, что шли мимо, разговаривая, смеясь,— Вилья дель Парке, воскресшая от летаргического сна, отправлялась в кафе и кино, в квартале постепенно начиналась обычная вечерняя жизнь. Это был он, и нечего сомневаться, его совсем не изменившаяся фигура, жест, которым он подносил сигарету ко рту, концы белого платка; это был Мило, которого она убила пять лет назад, по возвращении из Мехико, Мило, почивший согласно фальшивой бумаге, она достала ее с помощью подкупа и с большими трудностями в одной из адвокатских контор Ломас де Саморы[1], у нее там был друг детства, за деньги делавший все что угодно, и из дружеских чувств тоже, как в данном случае; Мило, сраженный сердечным приступом по ее прихоти,— и все ради Хермана, потому что Херман такой человек, для которого другое не годится, ради Хермана и его карьеры, его коллег, его клуба, его родителей, ради Хермана — чтобы выйти за него замуж, чтобы была семья, свой дом, и Карлитос, и Флора, и машина, и дача в Мансанаресе, Херман и его деньги, и чувство уверенности; она решилась тогда почти не размышляя, по горло сытая нищетой и ожиданием, после второй встречи с Херманом в доме Реканати, поездка в Ломас де Самору для разговора по душам, сначала он сказал «нет», это, мол, чудовищно, он никогда не пойдет на такое, не возьмет греха на душу, ну ладно, через две недели, хорошо, согласен, Эмилио Диас умер в Мехико от сердечного приступа, что было, кстати, почти правдой, ведь они с Мило были как неживые в те последние месяцы в Койоакане[2], пока самолет не вернул ее на круги своя в Буэнос-Айрес, ко всему тому, что когда-то тоже было связано с Мило, еще до их отъезда в Мехико, где все начало понемногу разваливаться среди взаимного молчания, и обманов, и бесполезных примирений, которые ни к чему не вели, просто наступали антракты между действиями, и снова «ночь длинных ножей».

Прислонившись к дереву, Мило не отрываясь смотрел на окна дома, и сигарета у него во рту медленно догорала. «Как он узнал?» — подумала Матильда, безуспешно пытаясь ухватиться за какую-то другую мысль кроме «Он здесь!», которая опережала и сопровождала любую другую. Так и вышло, он в конце концов узнал, что умер для Буэнос-Айреса, для Буэнос-Айреса он умер в Мехико; унизительным было узнать это, волна гнева будто ударила его, исказив лицо, она же заставила его сесть в самолет и вернуться, чтобы навести предварительные справки, пробираясь сквозь путаницу сведений, полученных, может, у Чоло и Марины, может, у матери Реканати, у стариков на лавочках, в ближайших кафе; сначала догадки, и вот — достоверная новость: она вышла замуж за Хермана Моралеса, так-то, дружище, да что вы мне говорите, ведь это невозможно, говорю тебе, вышла замуж, в церкви и все такое, те самые Моралесы, знаешь, текстильная промышленность, недвижимость, одним словом, уважаемые люди, старина, уважаемые, но как же это возможно, да ведь она сама сказала, все поверили, что ты... не может такого быть, приятель. Да, этого действительно не могло быть, и потому было еще хуже, была Матильда, которая следила за ним из-за занавески, время, неподвижно застывшее в настоящем, а в нем было все — Мехико, и Буэнос-Айрес, и послеобеденная жара, и сигарета, которую он то и дело подносил к губам; в какой-то момент снова пусто на углу, никого, Флора зовет ее, потому что Карлитос не хочет мыться, звонит обеспокоенная Перла; что-то с желудком, сходи одна или с Негрой, у меня сильные боли, я лучше лягу, а завтра тебе позвоню, и все это время — нет, не может быть, они бы предупредили Хермана, если б знали, это не они показали дом, не может быть,

[1] Пригород Буэнос-Айреса.
[2] Район г. Мехико.

не они, мамаша этих Реканати тут же позвонила бы Херману из одного желания разыграть трагедию, первой объявить ему — она всегда считала ее неподходящей женой для Хермана, представляешь, какой кошмар, двоемужество, я всегда говорила — ей нельзя доверять, но, может, никто и не звонил Херману или, скорее всего, звонили, но и контора, и Херман так далеко, наверняка мамаша Реканати ждет его, чтобы сообщить лично, чтобы ничего не упустить, она, и никто другой; от кого Мило узнал, где живет Херман, не мог же он найти их дом случайно, не мог случайно стоять здесь под деревом и курить? И если его сейчас там нет, это ничего не значит, и закрывать двери на все запоры тоже бесполезно, Флора даже немного удивилась: единственным надежным средством было снотворное, после многих часов раздумий она провалилась в забытье, прерываемое снами, Мило в них не было, а утром — ее крик, когда она почувствовала руку Карлитоса, он хотел сделать ей сюрприз, плач обиженного Карлитоса, Флора тащит его на улицу, закрой дверь как следует, Флора. Встать и снова его увидеть там — он стоит неподвижно и не отрываясь смотрит на ее окна,— отпрянуть назад, а немного позже следить за ним из кухни, и ничего больше, сообразить наконец, что находишься в запертом доме и что так больше продолжаться не может, когда-нибудь придется выйти, для того хотя бы, чтобы отвести Карлитоса к педиатру или встретиться с Перлой, которая каждый день звонит, проявляет нетерпение и ничего не понимает. Удушливым оранжевым вечером — Мило, прислонившись к дереву, в черной куртке в такую жару, тонкий дымок вьется будто нитка. Или одно дерево, но все равно там Мило, все время Мило, в любую минуту, за исключением тех немногих, когда действует снотворное или телевизор работает до конца последней программы.

На третий день без предупреждения пришла Перла, чай с печеньем, тут же Карлитос, Флора улучила момент, чтобы сказать Перле наедине: так же нельзя, сеньоре Матильде нужно отвлечься, она целыми днями сидит взаперти, ничего не понимаю, сеньорита Перла, говорю вам, хоть меня это и не касается; и Перла холодно улыбается ей: ты права, моя дорогая, знаю, ты любишь Матильду и Карлитоса, думаю, ее угнетает отсутствие Хермана; а Флора свое, опустив голову: сеньоре нужно отвлечься, я все время ей говорю, хоть меня это и не касается. Чай и всегдашние сплетни, в поведении Перлы нет ничего, что могло бы вызвать подозрения, но как же тогда Мило смог... невозможно представить себе, что мамаша Реканати столько времени молчит, если знает, даже ради удовольствия дождаться Хермана и поклясться ему именем господним или чем-нибудь в этом роде: она обманула тебя, чтобы притащить к алтарю,— именно так бы и сказала эта ведьма, и Херман падает с облаков на землю, нет, не может быть, не может быть... Впрочем, может быть, а сейчас ей не осталось ничего другого, как удостовериться, что все это ей приснилось, достаточно подойти к окну, только не с Перлой: еще чаю, завтра мы пойдем в кино, я тебе обещаю, заезжай за мной на машине, не знаю, что на меня нашло все эти дни, лучше приезжай за мной на машине, и поедем в кино,— окно там, рядом с креслом, только не с Перлой, подождать, когда Перла уйдет, и тогда — на углу Мило, спокойно прислонившись к стене, будто ждет компанию, черная куртка и шейный платок, и опять никого до следующего прихода Мило.

На пятый день она увидела, что он идет за Флорой — та пошла за покупками,— и все, что произойдет, будто уже случалось, что-то вроде недостающих страниц в брошенной ею книге, Матильда ничком лежит на диване — читать уже не нужно, потому что все свершилось еще до того, как было написано, в жизни все произошло прежде, чем произойти в книге. Она видела, как они возвращаются болтая, у Флоры смущенный и как будто недоверчивый вид, она проща-

ется на углу и быстро переходит улицу. Перла приехала за ней на машине, Мило нет, не было его и когда они возвращались поздно вечером, но утром она увидела, что он ждет Флору — та собралась на рынок, он сразу же подошел к ней, и Флора подала ему руку, они улыбнулись друг другу, он взял у нее корзинку, а потом нес ее обратно с зеленью и фруктами, провожая Флору до дома; она видела их на тротуаре с балкона, но Флора все не приходила, они задержались поболтать у дверей. На другой день Флора пошла за покупками и взяла с собой Карлитоса, она видела, как все трое улыбаются и Мило гладит Карлитоса по голове, вернулся Карлитос с вельветовым львом и сказал, что это подарок Флориного жениха. Так у тебя есть жених, Флора? — они вдвоем в гостиной. Не знаю, сеньора, он такой милый, мы встретились так неожиданно, он проводил меня, когда я ходила за покупками, он так добр с Карлитосом, это не помешает вам, сеньора, правда? Сказать ей: нет, не помешает, это твое дело, но будь осторожна, ты еще так молода; и Флора, опустив глаза: конечно, сеньора, он только провожает меня, и мы разговариваем, у него ресторан в Альмагро[1], его зовут Симон. А у Карлитоса журнал с картинками: мне его купил Симон, мама, он Флорин жених.

Позвонил из Сальты[2] Херман, сказал, что приедет через десять дней: дорогие мои, у меня все в порядке. В словаре было написано: «Двоебрачие — брак, заключенный вторично супругом, считающим себя вдовцом». Говорилось о мужчине, женатом на двух женщинах, или о женщине, которая замужем за двумя мужчинами. Еще там было «допустимое двоебрачие» — если первый брак был заключен с женщиной, потерявшей невинность, если женщина занималась проституцией или если было объявлено об аннулировании первого брака. И еще: «Двоеженец — тот, кто женится вторично при жизни первого супруга». Она взяла словарь, сама не зная почему, как будто это могло что-то изменить, ведь она знала — уже ничего не изменишь, невозможно выйти на улицу и поговорить с Мило, невозможно выглянуть в окно и позвать его, помахав рукой, невозможно сказать Флоре, что Симон — никакой не Симон, невозможно отобрать у Карлитоса вельветового льва и журнал, невозможно все рассказать Перле, только стоять здесь и смотреть на него, зная, что брошенная на диван книга дописана до последнего слова, и ничего нельзя изменить, читай она ее или нет, или даже сожги, или запрячь в самый дальний угол библиотеки Хермана. Десять дней, и тогда все; допустим, Херман вернулся в свою контору и к своим друзьям, а мамаша Реканати или Чоло, да любой из друзей Мило, из тех, что дали ему адрес дома: мне нужно поговорить с тобой, Херман, дело серьезное, старина,— и пойдет, и пойдет, одно за другим, но сначала Флора с порозовевшими щеками: сеньора, вам не помешает, если Симон зайдет сегодня вечером на минутку выпить кофе в кухне? Разумеется, ей не помешает, как это может помешать, если на минутку и при ярком свете, Флора имеет право принимать его в кухне и угощать кофе так же, как Карлитос — играть с Симоном, который принес ему веревочного утенка, умеющего ходить, и все такое. Оставаться наверху и услышать стук в дверь, Карлитос принес утенка; Симон мне сказал, что он за «Ривер» — какое вранье,— мама, а я за «Сан-Лоренсо»[3], посмотри, что он мне подарил, посмотри, он умеет ходить, ну смотри же, мам, как настоящий утенок, это Симон мне подарил, Флорин жених, почему ты не спустишься поздороваться с ним?

Теперь она могла смотреть в окно без долгих и бесполезных мер предосторожности, Мило не стоял больше под деревом, он приходил каждый день в пять часов и полчаса проводил в кухне с Флорой и почти всегда с Карлитосом, иногда Карлитос возвращался до его ухо-

[1] Район Буэнос-Айреса.
[2] Главный город одноименной провинции Аргентины.
[3] «Ривер» и «Сан-Лоренсо» — популярные аргентинские футбольные команды.

да, и Матильда знала почему, знала, что в короткие минуты, когда они остаются одни, готовится то, что должно произойти, то, что было уже здесь, в той книжке на диване, это назревает в кухне, в любом другом доме, у мамаши Реканати или у Чоло; прошла неделя, и из Кордобы[1] позвонил Херман, подтвердил, что скоро приедет, Карлитосу — медовые пряники, а для нее сюрприз — он возьмет пять дней отпуска, и они смогут вместе провести время, походить по ресторанам, поездить верхом в Мансанаресе. Вечером она позвонила Перле, просто чтобы слышать чей-то голос, висеть на телефоне больше часа было невозможно — Перла догадалась бы, что тут нечисто, с Матильдой что-то происходит: тебе надо сходить к врачу на Грасиэла, с тобой что-то странное, Матильда, послушайся меня. Когда она повесила трубку, то даже не подошла к окну, знала, что нынешней ночью это уже не нужно, она не увидит в сумерках Мило на углу. Спустилась в кухню, чтобы побыть с Карлитосом, пока Флора кормила его ужином, слушала его протесты по поводу супа, потом Флора смотрела на нее в ожидании, что она вмешается и поможет ей хотя бы затащить его в постель, поскольку Карлитос упирался, не желая уходить из гостиной,— он играл с утенком и смотрел телевизор. Первый этаж был как бы чужой территорией, она никак не могла понять, почему Херман настаивал на том, чтобы спальня Карлитоса была рядом с гостиной, так далеко от них, но Херман не терпел шума по утрам, когда Флора собирала Карлитоса в школу, а Карлитос орал или пел; она поцеловала его в дверях спальни и вернулась в кухню, хотя там совершенно нечего было делать, посмотрела на дверь в комнату Флоры, подошла к ней и взялась за ручку, немного приоткрыла и увидела постель Флоры, шкаф, оклеенный фотографиями Мерседес Сосы[2] и разных исполнителей рока, ей показалось — Флора вышла из спальни Карлитоса, она быстро закрыла дверь, стала что-то искать в холодильнике. Я приготовлю грибы, сеньора Матильда, вам понравится, и принесу ужин через полчаса, чтобы вам уже больше не выходить, а на сладкое — тыкву, как готовят у нас в деревне, на редкость удачно вышло, сеньора Матильда.

Лестница была освещена слабо, но широких ступенек немного, она поднималась, почти не глядя под ноги, из неплотно прикрытой двери спальни — полоса света, бликами отражаясь на натертом полу лестничной площадки. Уже столько дней она ела за маленьким столиком у окна, гостиная внизу уныло-торжественна без Хермана, на подносе все умещается, и Флора такая проворная, похоже, ей даже нравилось, что сеньора Матильда ест у себя наверху, когда сеньор в отъезде, она ненадолго оставалась с ней, и они разговаривали, Матильда хотела, чтобы Флора ела вместе с ней, но Карлитос все скажет Херману, а Херман — сразу лекцию о дистанции и уважении, да Флора и сама боится, ведь дело кончается именно тем, что Карлитос всегда все узнает и тут же докладывает Херману. А сейчас о чем говорить с Флорой, когда все, что осталось,— это найти бутылку, спрятанную за книгами, и выпить одним махом полбокала виски — перехватило дыхание, задохнулась,— потом снова налить и выпить, почти у окна, открытого в ночь, в ничто, где ничего не произойдет, где под деревом уже не появится тень, огонек сигареты не будет опускаться и подниматься в руке, будто неразгаданный знак, такой понятный.

Она выбросила грибы за окно, пока Флора готовила поднос с десертом, догадалась, что Флора приближается, по какому-то раздражающему позвякиванию, которое всегда сопровождало ее, когда она поднималась по лестнице, она похвалила грибы, сказала, что сладкое из тыквы, судя по внешнему виду, замечательное, попросила крепкий двойной кофе и пачку сигарет из гостиной. Жарко, сеньора Матиль-

[1] Главный город одноименной провинции Аргентины.

[2] Популярная аргентинская исполнительница народных песен.

да, на ночь надо оставить все окна открытыми, перед сном я все опрыскаю от насекомых, у Карлитоса я это уже сделала, он моментально уснул, вы видели сегодня, как он упирался, он соскучился по отцу, бедняжка, Симон каждый вечер рассказывает ему сказки. Вам что-нибудь нужно, сеньора Матильда? Слушаю вас, я бы хотела пораньше лечь спать, если вы не возражаете. Она, разумеется, разрешила, прежде Флора никогда не спрашивала об этом — заканчивала работу и закрывалась у себя в комнате, слушала радио или шила; с минуту она смотрела на нее, и Флора улыбнулась, довольная, взяла поднос с чашкой и пошла искать жидкость от насекомых: лучше я оставлю ее здесь, на комоде, сеньора Матильда, вы сами опрыскаете перед сном, что уж говорить, пахнет она противно, так что лучше уж вы сделаете это перед тем, как лечь спать. Она закрыла дверь, легкое позвякивание спустилось с лестницы, затем завершающий звон посуды; ночь началась как раз в тот момент, когда Матильда шла в библиотеку за бутылкой, чтобы поставить ее у кресла.

Свет низко опущенной лампы едва доходил до постели в глубине спальни, виднелся столик и диван с брошенной на нем книгой, но теперь ее там не было, Флора решила ее убрать на полку — она валяется так давно. За вторым бокалом виски Матильда услыхала, как где-то далеко часы бьют десять, подумала, что никогда раньше не слышала этих часов, сосчитала удары и взглянула на телефон, лучше всего позвонить Перле, хотя нет, сейчас Перле не надо, она может не так истолковать звонок, или ее нет дома. Может, Альсире? Позвонить Альсире и сказать ей, сказать только ей, что она боится, глупо, конечно, но на всякий случай, пусть твой Марио не уезжает на машине, что-нибудь в этом роде. Она не слыхала, как открылась входная дверь, но все равно можно быть абсолютно уверенной, что входная дверь открыта или вот-вот откроется, и ничего нельзя сделать, нельзя выйти на лестничную площадку с ночником в руке и пойти в гостиную, нельзя позвонить в колокольчик и позвать Флору, аэрозоль здесь, вода — запить таблетку или просто попить — тоже здесь, постель разобрана и ждет ее. Она подошла к окну и посмотрела на пустынную улицу, возможно, выгляни она раньше, она увидела бы, как идет Мило, как он переходит дорогу и исчезает под балконом, впрочем, могло быть еще хуже, она бы закричала, желая задержать Мило, не дать ему войти в тот момент, когда Флора открывала ему дверь, чтобы принять у себя в комнате, в этом случае Флора еще опаснее, чем Мило, Флора все узнает, будет мстить за Мило, который сейчас мстит ей, Матильде, она вываляет ее в грязи, тут же Херман, разразится жуткий скандал. Но сделать уже ничего нельзя, нет ни малейшей возможности, нельзя даже прокричать правду, в этой полной безысходности оставалась одна нелепая надежда, что Мило придет только ради Флоры, что какое-то невероятное стечение обстоятельств сделало для него Флору превыше всего остального, что эта улица все равно что любая другая для него, для Мило, вернувшегося в Буэнос-Айрес, может, он и не знает, что это дом Хермана, не знает, что сам он умер в Мехико, и не ее он пришел искать здесь, ложась с Флорой в постель. Шатаясь от выпитого виски, она дошла до кровати, сдернула с себя одежду, прилипавшую к телу, голая бросилась на кровать и поискала капсулу с таблетками — последнее розово-зеленое убежище на расстоянии вытянутой руки. Таблетки вынимались с трудом, и Матильда не глядя высыпала их на ночной столик, мутными глазами обвела книжный шкаф, где была книга, она очень хорошо видела ее, лежа ничком, на единственной пустой полке, куда Флора положила ее, даже не закрыв, видела малайский нож, который Чоло подарил Херману, хрустальный шар на салфетке из красного бархата. Она была уверена, что дверь уже давно открыта, Мило вошел в дом, в комнату Флоры, наверное, он разговаривает с ней, а может, уже раздевает ее, для этой самой Флоры единственная при-

чина его прихода — добиться своего, раздеть ее, ласкать, целовать: оставь меня, не надо, не трогай меня — Флора сопротивляется,— не сегодня, Симон, я боюсь, оставь меня; а Симон медленно, настойчиво подталкивает ее к постели, целует волосы, ласкает под кофтой ее груди, прижимается ногой к ее бедру и, будто играя, снимает туфли, что-то шепчет на ухо и целует все ближе к губам: я люблю тебя, моя дорогая, дай я тебя раздену, дай я посмотрю на тебя, какая ты красивая,— гасит лампу, окутывая ее темнотой и ласками; Флора в слезах отдается ему, страх, что услышат наверху, сеньора Матильда или Карлитос,— да нет же, мы говорим шепотом,— одежда, брошенная как попало, слившиеся губы, стоны: не надо так, Симон, пожалуйста, не надо, ведь это первый раз; Симон: я знаю, дорогая, лежи так, молчи, молчи, не надо кричать, любовь моя, не надо кричать.

Она вскрикнула, а потом заплакала в объятиях Симона, ласкавшего ее, все повторяя «мама, мама», будто жаловалась, задыхаясь от беззвучных сладких слез, «любимый мой, любимый», блаженная истома соединившихся тел, горячее дыхание ночи. Много позже — две сигареты; Флора, опираясь локтем на подушку, шепчет как во сне, надеясь, что Симон с улыбкой слушает ее, все полно стыдливости, слова, планы, он целует ее груди, рука его медленно ласкает живот — пусть она засыпает: поспи немного, я пойду в ванную и вернусь, света не надо, я вижу в темноте, как кошка, я знаю куда; а Флора: что ты, а если тебя услышат; Симон: не будь глупышкой, говорю тебе, я вижу в темноте, как кошка, я знаю, где дверь, поспи немного, пока я не приду, засыпай спокойно.

Он закрыл дверь, и этот звук присоединился к другим, мешавшим тишине ночи, голый, прошел кухню и гостиную, подошел к лестнице и поставил ногу на нижнюю ступеньку, проверив ее на прочность. Отличное дерево, отличный дом у Хермана Моралеса. На третьей ступеньке он увидел полоску света из-под двери спальни; он прошел остальные четыре ступеньки, взялся за ручку двери и открыл ее рывком. Удар о комод разбудил чутко спавшего Карлитоса, он сел на кровати и заплакал — мальчик часто просыпался по ночам, и Флора вставала его успокаивать, давала ему попить, пока Херман не проснулся и не стал ругаться. Она знала — надо непременно утихомирить его, пока сеньора Матильда не забеспокоилась, надо утихомирить его, потому что Симон еще не вернулся, закутавшись в простыню, она побежала в комнату Карлитоса—он сидел в ногах кровати, глядя в темноту, и кричал от страха, она взяла его на руки, шепча ему, что все хорошо, что она здесь, сейчас она принесет ему шоколадку, она оставит гореть свет, и вдруг услышала непонятный крик, вышла в гостиную с Карлитосом на руках, на лестнице горел верхний свет, она подошла к ней и увидела их — они, шатаясь, стояли в дверях, два обнаженных тела, слившиеся воедино, оседали на пол, на площадке они поскользнулись и, сплетенные, кубарем покатились по лестнице, пока не замерли неподвижно на ковре гостиной, Симон — с ножом в груди. Матильда, как впоследствии показало вскрытие,— приняв смертельную дозу снотворного, убившего ее через два часа, как раз когда я приехал на «скорой помощи» и делал Флоре укол, поскольку с ней была истерика, Карлитосу я дал успокаивающего и попросил медсестру побыть с ним, пока не придет кто-нибудь из родственников или друзей.

Граффити

Столько всего начинается, а может, и кончается шуткой; думаю, тебе приятно было увидеть рисунок рядом с твоим, ты объяснил это случайностью или чьим-то капризом и только во второй раз понял, что это было намеренно, и тогда ты по-

тихоньку стал разглядывать его, даже вернулся попозже, чтобы посмотреть еще раз, приняв обычные меры предосторожности: в момент, когда улица наиболее пустынна, на ближайших углах нет полицейских машин, приблизиться с видом полного безразличия и никогда не рассматривать граффити в лоб, лучше с противоположного тротуара или по диагонали, заинтересовавшись для виду стеклянной витриной, мимо которой идешь.

Сам ты затеял эту игру со скуки, это не было настоящим протестом против существующего положения вещей в городе, против комендантского часа и грозного запрета расклеивать или писать воззвания на стенах. Ты просто развлекался, делая рисунки цветными мелками (тебе претил термин «граффити», слишком научный), и время от времени приходил посмотреть на них, тебе даже немного льстило, что это из-за тебя приезжала муниципальная машина и служащие стирали рисунки, ругаясь впустую. Им неважно было, что рисунки не политические — запрещение касалось любых, и если какой-нибудь ребенок осмеливался нарисовать дом или собаку, они все равно с оскорблениями и угрозами стирали это. Обстановка в городе создалась такая, что уже неизвестно было, откуда ждать опасности; возможно, поэтому тебе и нравилось утверждать себя, делая рисунки, каждый раз подыскивая для этого подходящее место и время.

Ты никогда не попадался, потому что умел выбрать момент: еще до появления машин, которые убирали улицы, тебе открывалось пространство настолько чистое, что оно вселяло надежду. Глядя издалека на свой рисунок, ты видел, как прохожие мельком смотрят на него, конечно, никто не задерживался, но никто и не проходил не взглянув,— это могла быть наскоро сделанная абстрактная композиция в двух цветах, или контуры птицы, или две соединенные фигуры. Только один раз ты написал черным мелом фразу: «Мне тоже больно». Не прошло и двух часов, как полиция, на этот раз лично, заставила ее исчезнуть. После случившегося ты продолжал делать только рисунки.

Когда рядом с одним из твоих появился чужой, ты почти испугался, ощущение опасности удвоилось — еще кому-то, как и тебе, нравилось развлекаться на краю пропасти или чего похуже, и этот кто-то ко всему прочему — женщина. Тебе так не сделать, тут было другое, лучшее, чем самые смелые твои попытки: линия, преобладание теплых тонов, воздух. Поскольку ты до сих пор действовал один, тебе это показалось вознаграждением; ты восхищался ею, тревожился за нее, боялся, не будет ли этот раз единственным, почти выдал себя, когда рядом с другим твоим рисунком она еще раз сделала свой,— тебе захотелось стоять перед ним и смеяться, как будто полицейские были слепыми или идиотами.

Началась другая жизнь, таинственная, прекрасная и полная опасности одновременно. То и дело ты сбегаешь с работы в надежде застать ее врасплох, выбираешь для рисунков улицы, которые можно обойти простым, коротким путем, возвращаешься на рассвете, в сумерках, в три часа утра. Это было время душевных мучений, разочарований, когда обнаруживаешь новый ее рисунок рядом со своим, а улица пуста и ты никого не нашел, от этого она кажется еще более пустой. Однажды вечером первый рисунок сделала она, ты увидел его: красными и голубыми мелками на воротах гаража, используя структуру изъеденного жучком дерева и шляпки гвоздей. В нем была вся она — манера, краски,— но, кроме того, это была просьба или вопрос, способ обратиться к тебе. Ты снова пришел на рассвете, когда патрули совсем редки — глухие ко всему, они уже проделали свой дренаж,— и на оставшемся месте на дверях бегло нарисовал пейзаж с парусами и дамбами; если не вглядываться, то можно было принять это за случайную игру линий, но она сумеет его увидеть. В тот вечер тебе едва удается удрать от полицейского патруля, у себя в комнате ты пьешь джин и разговариваешь сам с собой, говоришь, что приходит

на ум, все это похоже на звучащий рисунок, еще один порт с парусами, ты представляешь ее смуглой и молчаливой, придумываешь ей губы, грудь, немного хочешь ее.

Вдруг тебе приходит в голову, что она явится за ответом, вернется к своему рисунку, как ты наведываешься к своим, и, хотя после покушения на рынке в городе стало еще опаснее, ты решился приблизиться к гаражу, ты кружил по соседним улицам и пил нескончаемое пиво в закусочной на углу. На рассвете следующего дня на развалинах серой стены ты нарисовал белый треугольник, окруженный пятнами в виде листьев дуба; развалины были видны из окон кафе (двери гаража уже отмыли, и разозленный патруль возвращался снова и снова), в сумерках ты отошел подальше, чтобы посмотреть на рисунок с разных точек, переходя с места на место, покупая в лавках всякую всячину, чтобы не привлекать излишнего внимания. Был уже поздний вечер, когда ты услышал сирену и увидел свет фар прямо перед собой. У развалин — какое-то, едва различимое скопление людей, вопреки всякому благоразумию ты побежал туда, тебя спас случай — какая-то машина выруливала из-за угла, и, затормозив перед полицейской, она загородила тебя, и ты увидел борьбу, руки в перчатках тащат кого-то за черные волосы, пинки ногой, отчаянные крики, мелькнули синие брюки, а потом ее потащили в машину и увезли.

Много позже (ужасно было дрожать вот так, ужасно думать, что все это из-за твоего рисунка на серой полуразвалившейся стене) ты смешался с толпой и сумел разглядеть набросок в голубых тонах — изображение апельсина, похожее на ее имя или ее рот, она была здесь, в этом изуродованном рисунке, который полицейские замазали, перед тем как ее увезти; осталось достаточно, чтобы понять ее ответ на твой треугольник,— это был круг, может быть спираль, совершенной и прекрасной формы, похожей на «да», или «сейчас», или «всегда».

Ты хорошо понимал — у тебя будет достаточно времени, чтобы во всех подробностях представить то, что произойдет в центральной тюрьме; в город понемногу просачивались слухи, люди узнавали о судьбе арестованных, и если кого-то из них встречали снова, то предпочитали не замечать, так что они будто исчезали в этом заговоре молчания, которое никто не решался нарушить. Ты прекрасно знал это, в ту ночь тебе не помогли ни джин, ни что другое — ты кусал себе руки, топтал цветные мелки, пока не забылся в пьяных слезах.

Да, шли дни, но ты уже не мог жить по-другому. Ты снова стал уходить с работы и бродить по улицам, тайком глядя на стены и двери, где вы с ней рисовали. Все вымыто, все чисто; хоть бы цветок, нарисованный какой-нибудь невинной школьницей, которая ворует в классе мел и не может удержаться, чтобы его не испробовать. Ты тоже не смог удержаться, и месяц спустя встал на рассвете, и отправился на улицу, где гараж. Патрулей не было, стены абсолютно чисты; из парадного на тебя подозрительно посмотрел кот, когда ты достал мелки и на том же самом месте, где она оставила свой рисунок, заполнил деревянные доски зеленым криком, красным порывом признательности и любви, обвел рисунок овалом — это были твои губы и ее губы, это была надежда. Шаги на углу обратили тебя в бесшумное бегство, ты спрятался за штабелем пустых ящиков; какой-то пьяный приближался, покачиваясь и напевая себе под нос, хотел было пихнуть ногой кота и упал ничком под самым рисунком. Успокоенный теперь, ты ушел не торопясь и с первыми лучами солнца заснул так, как не засыпал уже давно.

В то же самое утро ты полюбопытствовал издалека: еще ничего не стерли. Ты пришел в полдень: невероятно, но все оставалось по-прежнему. Волнения в предместьях (ты слышал по живому радио) отвлекли патрулей от их обычных занятий; в сумерках ты вернулся посмотреть сколько же людей увидели его в течение дня. Ты дождался трех часов ночи и пришел опять, улица была пустой и черной. Еще из-

далека ты увидел другой рисунок, различить его смог только ты, таким он был маленьким и так высоко, слева от твоего. Ты подошел ближе, испытывая жажду и ужас одновременно, увидел оранжевый овал и фиолетовые пятна, в которых угадывалось чье-то распухшее лицо, один заплывший глаз, рот, изувеченный ударами кулака. Ну конечно, конечно, что же еще можно было нарисовать?! Какую весть послать тебе сейчас? Вот так попрощаться с тобой и просить, чтобы ты продолжал рисовать. Что-нибудь нужно было тебе оставить, прежде чем вернуться в свое убежище, где не было даже зеркала, только ниша для него, в которой можно окончательно спрятаться, окутанному темнотой, вспоминая разное, а порой думая о твоей жизни, представляя себе, как ты вновь делаешь рисунки, как выходишь из дому по ночам, чтобы снова рисовать.

Истории, которые я сочиняю

Перед сном я всегда сочиняю истории — и когда сплю один, тогда постель кажется больше, чем она есть, и ужасно холодная, и когда Ньягара спит рядом, шепча во сне что-то приятное, будто тоже сочиняет какую-нибудь историю, сколько раз мне хотелось разбудить ее, чтобы узнать, что там у нее за история (шепчет она только во сне, и это никоим образом историей не назовешь), но Ньягара всегда возвращается с работы такая усталая, что было бы несправедливо и неэтично будить ее, когда она только что заснула и кажется — ей больше ничего не нужно, она спряталась в раковину шепота и духов, так что пусть спит,— я рассказываю истории самому себе, точно так же, как в те дни, когда у нее ночная смена и я сплю один на этой кошмарно огромной кровати.

Истории, которые я сочиняю, бывают самые разные, но почти всегда главную роль в них играю я, что-то вроде Уолтера Митти [1] буэносайресского образца, который представляет себя в ситуациях необычных, нелепых или полных напряженного драматизма, достаточно вымученного, потому что тот, кто рассказывает истории, развлекает себя либо мелодрамой, либо стремлением казаться утонченным, а то еще юмором, который вводит сознательно. А поскольку кроме Уолтера Митти есть еще Джекил и Хайд [2], то уже впору говорить о вреде, который приносит англосаксонская литература, невольно разумеется, подобные истории почти всегда такие условные, будто и печатать их будут в какой-то воображаемой типографии. Мысль записать их по утрам кажется мне неприемлемой, и потом — может человек позволить себе маленькую роскошь, тайное излишество, другие из этого просто не вылезают. И еще — я суеверен, всегда говорю себе, что, если запишу на бумаге хоть одну из тех историй, которые я сочиняю, она будет последней, мне трудно объяснить почему, для меня это все равно что нарушить закон и понести наказание; итак, невозможно представить себе, что перед сном, лежа рядом с Ньягарой или один, я не рассказываю себе историю, а тупо считаю слонов или, того хуже, перебираю события прошедшего дня, мало чем примечательные.

Все зависит от настроения в данный момент, мне никогда не приходило в голову заранее выбирать историю определенного типа, только я погашу свет или мы погасим, завернусь в другую, прекрасную накидку из темноты, которую дарят мне мои веки,— и история тут как тут; начало почти всегда захватывающее: это может быть пустынная улица, по которой издалека едет машина, или физиономия Марсело Масиаса, узнавшего, что его повысили по службе — вещь сама по себе немыслимая, если учесть его некомпетентность,— или это может

[1] Герой рассказа современного американского писателя Джеймса Тэрбера «Тайная жизнь Уолтера Митти».

[2] Герои «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» Р. Л. Стивенсона.

быть какое-нибудь слово, звук, который повторится пятьдесят раз и послужит толчком для создания еще неясных образов будущей истории. Меня самого иногда удивляет, что какой-нибудь эпизод, про который можно сказать, что он, допустим, из области бюрократии, послужит толчком для вечерней истории эротического или развлекательного характера; без сомнения, я наделен воображением, хоть и проявляется оно только перед сном,— мир фантазий моих так широк и разнообразен, что я сам не перестаю удивляться. Вот, например, Дилия, поскольку именно Дилия появится в этой истории, и именно в этой истории, и именно потому, что меньше всего можно представить себе в этой истории такую женщину, как Дилия.

С давних пор я решил не спрашивать себя, почему Дилия, или Мухаммед Али, или транссибирский экспресс, или любые другие подмостки, где ставятся истории, которые я сочиняю. Если я в этот момент вспоминаю о Дилии уже вне истории, а в связи с чем-то другим, не имевшим и не имеющим отношения к истории, с чем-то, что уже не есть история, то, возможно, именно поэтому она заставляет меня поступать так, как я не хотел и не мог поступать в историях, которые я сочиняю. Место действия той самой истории (лежу один, Ньягара придет из больницы в восемь утра)— горы, дорога, по которой страшно ехать, приходится вести машину осторожно, на каждом повороте освещая фарами то и дело возникающие перед глазами ловушки, полночь, и я — в этом огромном грузовике, которым так трудно управлять, на дороге, круто обрывающейся вниз. Мне всегда представлялась завидной доля быть водителем грузовика, по-моему, это одна из самых простых форм обретения свободы, переезжай себе с места на место в грузовике, который для тебя как дом: есть матрас для ночевки где-нибудь на дороге, под деревьями, лампа—при ее свете можно почитать, консервы, пиво в банках, транзистор — послушать джаз среди полной тишины — и, наконец, чувство, что остальной мир не знает о тебе, никто не знает, что мы выбрали именно эту дорогу, а не другую, и столько возможностей, и деревни, и дорожные приключения, даже нападения и опасные случайности, они-то всегда и есть лучшая часть истории, как и полагается по Уолтеру Митти.

Иногда я спрашиваю себя, почему водитель грузовика, а, скажем, не пилот и не капитан трансатлантического лайнера, зная в то же время, что ответ прост, проще некуда, и что я должен все больше и больше скрывать это при свете дня, водитель грузовика — это человек, который разговаривает с другими водителями, это места, по которым он ведет свой грузовик, так что, когда я сочиняю историю вольную, она часто начинается в грузовике, пересекающем пампу или какой-нибудь другой воображаемый ландшафт, вот как сейчас, Анды или Скалистые горы, во всяком случае, какая-то извилистая дорога, по которой я ночью поднимался в горы, как вдруг увидел неясный силуэт Дилии у подножия скал, резко вырванных из мрака светом фар, у фиолетовых камней, делавших фигурку Дилии совсем маленькой и потерянной, она махала рукой — так просит о помощи человек, который долго шагал по дороге с рюкзаком за спиной.

Если главный герой историй, которые я сочиняю,— водитель грузовика, значит, ему неизбежно встретится женщина, которая попросит подвезти как это делала Дилия, в общем, это давно известно, истории подобного рода почти всегда полны фантазии, где ночь, грузовик и одиночество — тот необходимый набор, который приведет к недолговечному счастью в конце пути. А иногда нет, иногда с гор спускалась лавина, и я неведомо как спасался от нее, или тормоза отказывали на спуске, и тогда все начинало кружиться в вихре сменяющих друг друга видений, это заставляло меня открыть глаза и остановиться, попытаться заснуть, обняв за талию теплую со сна Ньягару, чувствуя себя человеком, только что избежавшим опасности. Когда же по ходу истории на обочине дороги появляется женщина, она всегда —

незнакомка, неожиданные повороты истории могут предположить какую-нибудь рыжеволосую девушку или мулатку, возможно, увиденную когда-то в фильме или журнале, но забытую среди повседневной суеты до тех пор, пока моя история не поставит передо мной ее неузнанной. Но увидеть Дилию — это, мало сказать сюрприз, целый скандал, потому что Дилии нечего было делать на этой дороге и в какой-то степени портить историю своим жестом — нечто среднее между мольбой и угрозой. Дилия и Альфонсо — наши с Ньягарой приятели, с которыми мы видимся время от времени, вращаемся мы на разных орбитах, нас объединяет только верность университетским временам, общие темы разговоров, вкусы, иногда мы вместе ужинаем у них или у нас, мы наблюдаем со стороны их супружескую жизнь, основные составляющие которой, кроме всего прочего,— маленький ребенок и приличные доходы. Какого черта делать Дилии здесь, в этой истории, где можно представить любую другую девушку, но не Дилию, ведь с самого начала было ясно, что по дороге я встречу девушку и тут произойдут разные вещи, которые могут произойти, когда мы доберемся до равнины и наконец остановимся после длительного напряжения бесконечных поворотов; все так ясно с первого появления — ужин в компании других шоферов в деревенском трактире у подножия гор, история, в которой нет ничего особенного, зато приятная, в ней есть свои варианты и свои незнакомки, а теперь незнакомка была непохожа на прочих — это была Дилия, и не было ни малейшего смысла в том, что она стоит тут, на повороте дороги.

Может, если бы рядом была Ньягара, шепчущая и сладко посапывающая во сне, я бы не стал подвозить Дилию, перечеркнул бы ее, и грузовик, и всю историю — достаточно было открыть глаза и сказать Ньягаре: «Странно, но я чуть было не переспал сейчас с одной женщиной, и это была Дилия»,— и Ньягара, возможно, в свою очередь открыла бы глаза, поцеловала меня в щеку, сказала бы, что я глупый, или в шутку отослала бы меня к Фрейду, или спросила, хотел ли я когда-нибудь Дилию, ну, может, когда был пьян, чтобы услышать от меня правду, хотя тогда снова будет Фрейд или что-нибудь в этом роде. Но я чувствовал себя таким одиноким в своей истории, таким одиноким, каким я там действительно и был — водитель грузовика в полночь, на извилистой горной дороге, у меня не хватило духу проехать мимо, я медленно затормозил, открыл дверцу и помог Дилии залезть в машину, она чуть слышно прошептала «спасибо» — от усталости ее клонило в сон — и вытянулась на сиденье, положив под ноги дорожный мешок.

Правила игры в историях, которые я сочиняю, соблюдаются с первой минуты. Дилия-то была Дилия, но я в истории был шофером, Дилия знала только это, мне бы в голову никогда не пришло спросить ее, что она тут делает среди ночи, или назвать ее по имени. В общем, эта история была необыкновенна тем, что какая-то девушка приняла облик Дилии это ее прямые светлые волосы, ясные глаза, ее ноги, сразу возникшие у меня в памяти,— слишком длинные для такого роста, как у жеребенка; кроме этого история была как всякая другая — ни имен, ни прежних отношений, неожиданный случай, только и всего. Мы обменялись двумя-тремя словами, я дал ей сигарету и зажег другую, мы стали спускаться по откосу, как это полагается делать на груженой машине. А Дилия тем временем расположилась поудобнее, закурив после стольких часов ходьбы по горам, среди затерянности, тяжелого забытья, может быть страха.

Я подумал, что она сейчас заснет и что мне приятно представлять ее себе так, пока мы не доедем до равнины, подумал, может, было бы любезно с моей стороны предложить ей перебраться в кузов и лечь на настоящую кровать, но ни одна история мне этого делать не позволяла, потому что любая девушка посмотрела бы на меня с этаким выражением горечи и гнева, представив себе мои ближайшие намерения.

и почти во всех случаях дернула бы ручку дверцы — бегство было неизбежным. В историях, как и в предполагаемой реальной жизни водителя грузовика, так быть не может — надо разговаривать, курить, становиться друзьями и после всего получить согласие, обычно спокойное, на остановку где-нибудь в лесу или в каком-нибудь укрытии, согласие на то, что произойдет потом, но теперь, уже без горечи и гнева, просто принять то, что уже принято после разговоров, сигарет и первой бутылки пива, выпитой прямо из горлышка между двумя виражами.

Однако я дал ей заснуть, история развивалась своим путем, мне всегда нравилось это в историях, которые я сочиняю,— подробное описание каждого шага и каждого действия, длиннющий фильм, от которого чем дальше, тем больше получаешь удовольствия, оно разливается по всему телу, оно в словах и в молчании. Я, правда, спросил себя, почему именно Дилия в эту ночь, но тут же отступил — мне вдруг показалось таким естественным, что рядом со мной дремлет Дилия, выкуривая время от времени сигарету или шепча что-нибудь вроде «почему здесь, в горах», и что история хитро запутывается среди зеваний и отрывочных фраз, поскольку не было ни одного разумного объяснения, почему Дилия здесь, в самом глухом месте дороги, в полночь. Был момент, когда она замолчала и посмотрела на меня, улыбаясь своей девчоночьей улыбкой, которую Альфонсо называл подкупающей, и я сказал ей, как меня зовут, во всех историях — Оскар, а она сказала «Дилия» и прибавила, как всегда прибавляла, что имя идиотское и виновата в этом ее тетка, любительница сентиментальных романов, а я подумал: почти невероятно, что она меня не узнала, в истории я был Оскаром, и она меня не узнала.

Дальше все было так, как всегда подсказывает мне моя история — сам я так рассказывать не умею: только отдельные фрагменты, связующие нити, возможно неверно угаданные, фонарь, освещающий складной столик в кузове грузовика, остановленного под деревьями в укромном уголке, шипение яичницы; после сыра и сладкого Дилия смотрит на меня так, будто хочет что-то сказать, но решает не говорить, поскольку не нужно ничего объяснять перед тем, как выйти из машины и затеряться под деревьями, я стараюсь разрядить обстановку с помощью кофе, который уже почти готов, и стопки грапы [1]; глаза Дилии, с каждым глотком она прикрывает их перед очередной фразой, моя неосторожная привычка ставить лампу на табуретку рядом с матрасом, надо принести еще одно одеяло — ночью будет холодно,— сказать ей, что пойду проверю дверцы на всякий случай, никогда не знаешь, что может случиться на этих пустынных дорогах, а она опускает глаза и говорит: «Знаешь, ты не уходи спать в кабину, не будь идиотом»,— а я отворачиваюсь, чтобы она не видела моего лица, на котором мелькает смутное удивление тому, что это говорит Дилия, хотя, с другой стороны, это всегда случалось так или иначе — то маленькая индеаночка говорила «давай спать на полу», то цыганка укрывалась в кабине, а я обнимал ее за талию, и относил в кузов, и укладывал в постель, даже если она плакала и сопротивлялась, а Дилия— нет, Дилия медленно идет от столика к постели, на ходу расстегивая молнию на джинсах, в истории я могу видеть это движение, хоть и стою спиной, я иду в кабину, чтобы дать ей время, чтобы подтвердить — да, все будет, как должно быть, как было не раз, одно следует за другим в непрерывном, напоенном запахами повторении, медленное движение от неподвижного силуэта, освещенного фарами на повороте дороги, до Дилии, сейчас почти скрытой шерстяным одеялом, и тогда последнее — погасить лампу, и останется только неясная пепельная ночь, заглядывающая в заднее окошко жалобными вскриками ночной птицы где-то рядом.

[1] Дешевое спиртное из виноградных выжимок.

В этот раз история длилась бесконечно, потому что ни я, ни Дилия не хотели, чтобы она кончалась, бывают истории, которые мне хотелось бы продолжать, но девушка-японка или холодно-надменная туристка из Норвегии ее прекращают, несмотря на то, что мне решать, подошла ли история к моменту, когда больше нет ни сил, ни желания ее продолжать, потому что после наслаждения начинаешь постепенно ощущать незначительность происшедшего — тут надо изобрести какую-то альтернативу или неожиданную случайность, чтобы история могла жить дальше, вместо того чтобы погружаться в сон с последним небрежным поцелуем или затихающими, уже ненужными всхлипываниями. Но Дилия не хотела, чтобы история кончалась, с первого ее движения, когда я скользнул к ней под одеяло, я почувствовал, вопреки ожиданию, что она сама ищет меня, и после первых взаимных ласк понял, что история только начинается, что ночь истории будет такой же длинной, как та, в которой я ее сочиняю. Есть только одно, ничего другого нет, только слова, которыми история рассказана; слова как спички, стоны, сигареты, улыбки, мольбы, просьбы, кофе на рассвете, глубокий сон, в котором смешалась ночная роса, и снова ласки, и снова отдаление, до первого солнечного луча, проникшего сквозь окошко и ласкающего спину Дилии, распростертой на мне,— он ослепил меня, когда я крепко прижимал ее к себе, чтобы еще раз почувствовать, как она раскрывается мне навстречу, вскрикивая и лаская.

На этом кончилась история, без непременных прощаний в ближайшем придорожном селении, как это почти всегда бывает,— от истории я перешел ко сну, чувствуя только тяжесть тела Дилии, которая тоже засыпала и все еще что-то шептала, как вдруг Ньягара сказала мне, что завтрак готов и что вечером мы идем в гости. Я чуть было ей все не рассказал, но что-то меня остановило, может, руки Дилии, пришедшие ко мне из ночи и не пустившие слова, которые бы все испортили. Да, я прекрасно спал, да, понятно, в шесть встречаемся на площади, на углу, и идем к Марини.

Альфонсо как-то говорил нам, что у Дилии серьезно заболела мать и она поехала к ней в Некочеа [1], Альфонсо пришлось возиться с малышом: масса забот, теперь увидимся, должно быть, когда вернется Дилия. Больная умерла через несколько дней, и Дилия два месяца вообще никого не хотела видеть; мы отправились к ним ужинать, прихватив коньяк и погремушку для малыша, и все было хорошо, Дилия — при своих функциях, от утки до апельсинов, Альфонсо — у столика для игры в канасту. Ужин протекал очень мило, как и должно быть,— Альфонсо с Дилией умеют жить, разговор хоть и начался с тяжелого, с матери Дилии, но тему быстренько прикрыли, а потом будто мягко раскрылся занавес и мы вернулись в наше обычное настоящее, всегдашние развлечения с привычными шутками и своим гвоздем программы, среди всего этого так приятно бывает провести вечер. Было уже поздно, и мы достаточно выпили, когда Дилия коснулась поездки в Сан-Хуан, ей необходимо было успокоиться после смерти матери, к тому же вечные проблемы с этими родственниками, которые всегда все усложняют. Мне показалось, она говорит это для Альфонсо, хотя Альфонсо, должно быть, знал, в чем дело, потому что спокойно улыбался, наливая нам коньяк,— поломка машины среди гор, кромешная тьма и нескончаемое ожидание на обочине дороги, где каждая пролетавшая птица таила в себе опасность, а вокруг полно страшных призраков времен детства, наконец, огни машины, страх, что шофер тоже может испугаться и проехать мимо, слепящий свет фар, пригвоздивший ее к крутому обрыву, и тут — волшебный скрип тормозов, уютная кабина, путь к долине, разговор, может быть не очень нужный, но все-таки чувствуешь себя как-то лучше.

[1] Курортный приморский город в провинции Буэнос-Айрес.

— Все это ее травмировало,— сказал Альфонсо.— Ты ведь мне это уже рассказывала, дорогая, каждый раз я узнаю все новые подробности твоего освобождения, о твоем святом Георгии Победоносце, спасающем тебя от ночного чудовища — дракона.

— Это не так просто забыть,— сказала Дилия,— оно возвращается и возвращается ко мне, не знаю почему.

Она-то, может, и нет, Дилия, может, и не знает, но я — да, я залпом выпил коньяк и снова налил себе, Альфонсо даже удивленно поднял брови, он не предполагал за мной такой несдержанности. С другой стороны, его шутки были более чем похожи на правду, он сказал Дилии, чтобы она решилась наконец закончить свой рассказ, первая часть ему хорошо известна, но ведь есть еще и вторая, это так обычно и понятно — грузовик, ночь и все то, что так естественно в нашей жизни.

Я пошел в ванную и посидел там немного, не решаясь посмотреть в зеркало, чтобы не увидеть нечто ужасное — собственное лицо, каким оно бывает, когда я сочиняю историю, а сейчас я именно такой. здесь, в этот вечер, это начинает медленно заполнять мое тело — то, о чем я никогда не думал как о возможном на протяжении стольких лет знакомства с Дилией и Альфонсо, две наши дружеские пары, вместе по праздникам и в кино, поцелуи в щечку... Сейчас все было по-другому, Дилия была для меня иной — снова желание, но теперь уже реальное; из гостиной до меня донесся голос Дилии, они с Ньягарой смеялись, грозя надрать Альфонсо уши за его занудную ревность. Было уже поздно, мы выпили еще коньяку по последней, сверху послышался плач малыша, и Дилия побежала наверх, принесла его на руках: он весь мокрый, поросенок этакий, я пойду в ванную, переодену его,— Альфонсо в восторге, поскольку у него есть еще полчаса времени обсудить с Ньягарой преимущества Виласа против Борга: детка, еще коньяку,— в общем, все уже прилично набрались.

А я — другое, я пошел за Дилией в ванную, она положила сынишку на столик и что-то искала в стенном шкафу. И вышло так, будто она поняла, когда я сказал ей: «Дилия, я знаю вторую часть», когда я сказал ей: «Я понимаю, это невозможно, но ты же видишь, я знаю»; Дилия отвернулась, чтобы раздеть малыша, я чувствовал, что она наклонилась над ним не просто, чтобы расстегнуть крючки и вытащить пеленку, а словно придавленная неожиданной тяжестью, от которой надо освободиться, она и освободилась, когда, выпрямившись и глядя мне прямо в глаза, сказала: «Да, это было, это идиотизм и не имеет никакого значения, но это было, я переспала с шофером, пойди скажи Альфонсо, если хочешь, все равно он на свой манер убежден в этом, он не верит и все-таки совершенно уверен».

Вот так и было — ни я ей ничего не сказал, ни она меня не поняла, даже если и сказала все это, а ведь я ничего у нее не спрашивал, наоборот, сказал ей то. чего она знать не могла, будучи на своей половине истории. Я чувствовал, что мои глаза, будто пальцы, скользят по ее лицу, шее, груди, которую черная блузка обнимала именно так, как это делали мои руки всю ночь, всю историю. Острое желание охватило меня, я чувствовал полное право привлечь ее к себе, искать под блузкой ее грудь, сжать ее в первом объятии. Я увидел, как она повернулась спиной и снова склонилась, но теперь ей было легко, она освободилась от молчания; она быстро вынула пеленку, запах детской мочи дошел до меня вместе с шепотом Дилии, успокаивающей ребенка, я видел ее руки — они искали вату, потом положили ее между поднятыми ножками малыша. видел, как ее руки мыли ребенка, вместо того чтобы быть со мной, как это было в темноте грузовика, столько раз служившего мне в историях, которые я сочиняю.

Клон

Кажется, все завертелось из-за Джезуальдо[1] — имел ли он право делать то, что сделал, или должен был наказать самого себя, вместо того чтобы мстить жене. В перерыве между репетициями спустились в бар отеля немного отдохнуть, Паола спорила с Лючо и Роберто, остальные играли в канасту или разошлись по комнатам. Он прав, настаивал Роберто, что тогда, что сейчас, жена его обманула, и он ее убил, танго втроем, Паолита. Брось заливать, говорит Паола, что втроем—это понятно, и сейчас есть женщины, которые устраивают себе танго, но не всем приходится платить той же монетой. Тут надо смотреть глубже, робко вставляет Лючо, не всегда просто понять, почему изменяют и почему убивают. В Чили — возможно, говорит Роберто, вы там все такие утонченные, а мы, из Ла-Риохи,— нож в сердце, и все дела. Они смеются, Паола хочет джина с тоником, конечно, надо понять, что за этим кроется,— Карло Джезуальдо застал свою жену в постели с другим мужчиной и убил их или приказал, чтобы их убили, вот суть, известная полиции, flash[2] в половине первого, до остального же (хотя в остальном-то и заключается, без сомнения, настоящая суть) надо доискиваться, а это нелегко через четыре столетия. О Джезуальдо есть большая библиография, напоминает Лючо,— если тебя интересует, можешь покопаться, когда в марте вернемся в Рим. Прекрасная мысль, соглашается Паола, остается выяснить, вернемся ли мы в Рим вообще.

Роберто молча смотрит на нее, Лючо опускает голову, потом зовет официанта, снова заказывает выпить. Ты имеешь в виду Сандро? — говорит Роберто, видя, что Паола опять не то ушла в Джезуальдо, не то следит за мошкой в синем небе. Конкретно нет, говорит Паола, но ты сам, надеюсь, видишь, у нас что-то не так. Пройдет с ним это, говорит Лючо, покапризничает и перестанет, дальше этого у Сандро не зайдет. Да, соглашается Роберто, но отдуваться приходится всей группе, мы репетируем мало и плохо, в конце концов это становится заметным. Вот именно, говорит Лючо, поем как в судорогах, все время боимся сбиться. Мы уже сбились в Каракасе, говорит Паола, хорошо еще, что публика почти не знает Джезуальдо, исполнение Марио они приняли за новое решение темы. Хуже будет, если кто-нибудь из нас сделает то же самое с Монтеверди[3], бормочет Роберто, его-то уж знают наизусть, будьте спокойны.

Продолжает оставаться невероятным, но единственная постоянная пара в ансамбле — это Франка и Марио. Издалека глядя на Марио, беседующего с Сандро за партитурой и двумя бутылками пива, Паола сказала себе, что эти скоропалительные связи, парочки на приятный момент — все это достаточно поверхностно, вот, скажем, где-то в конце недели Карен с Лючо (или Карен с Лили, за Карен это водилось — уже знали, а Лили — по доброте душевной или просто чтобы знать, как это, хотя Лили с Сандро тоже — безграничная широта Карен и Лили, кроме всего). Да, надо признать, единственная постоянная пара, которая заслуживает этого названия,— Франка и Марио, с кольцом на пальце и всем прочим. Что касается ее самой, как-то раз в номере отеля в Бергамо она, едва прикрытая кружевами, оказалась в белоснежной, как лебедь, постели вместе с Роберто — быстрая интерлюдия без утра, они как и раньше друзья — так естественно. между двумя концертами, чуть ли не между двумя мадригалами: Карен и Лючо, Карен и Лили, Сандро и Лили. И все между собой друзья, потому что на самом-то деле настоящие пары составлялись после окон-

[1] Карло Джезуальдо ди Веноза (ок. 1560 — ок. 1613) — итальянский композитор.
[2] Краткое телеграфное сообщение в газете *(амер.)*.
[3] Клаудио Монтеверди (ок. 1567—1643) — выдающийся итальянский композитор.

чания гастролей, в Буэнос-Айресе или Монтевидео, где ждали жены, и мужья, и дети, и дом, и собака, до следующих гастролей, жизнь как у моряков, с неизбежным, как у моряков, «между делом», ничего серьезного, современные люди. До поры до времени. Теперь все изменилось, с некоторых пор. Что-то со мной не то, подумала Паола, какие-то обрывки фраз. Мы все время в напряжении, damn it[1]. Ну-ка, быстро посмотреть другими глазами на Марио и Сандро, которые спорят о музыке, как будто под этим подразумевается совсем другой спор. Но нет, об этом они не говорят, именно об этом они наверняка не говорят. Итак, единственная настоящая пара — Франка и Марио, пусть сейчас вовсе и не об этом говорят Марио и Сандро. Хотя это, конечно, подразумевается, подразумевается, как всегда.

Втроем они пойдут на пляж в Ипанеме[2], вечером группа поет в Рио, и надо пользоваться моментом. Франка любит гулять с Лючо, у них одинаковая манера смотреть на вещи, будто слегка касаясь их взглядом, как пальцами, им так весело друг с другом. Роберто в последнюю минуту отвертится — жаль, что он все воспринимает всерьез и требует слушателей,— они оставят его в тени за чтением «Таймс», будут играть в мяч на песке, плавать и разговаривать, пока задремавший Роберто видит во сне Сандро, медленное разрушение связи Сандро с группой, его приступы упрямства, причинявшие всем остальным немало зла. Сейчас Франка бросит бело-красный мяч, Лючо подпрыгнет, чтобы поймать, при каждом броске они будут смеяться как ненормальные, трудно сосредоточиться на «Таймс», трудно сохранить слаженность, когда дирижер теряет контакт с группой, как это происходит с Сандро, и Франка в этом не виновата, как, без сомнения, не виновата и в том, что мяч попал прямо в бокалы с пивом сидящих в тени людей и надо бежать извиняться. Отложив «Таймс», Роберто вспомнит о разговоре с Паолой и Лючо в баре; если Марио не решится на что-нибудь, если не скажет Сандро, что Франка никогда не перейдет в другой ансамбль,— все полетит к черту, Сандро не только плохо дирижирует на репетициях, он и петь стал плохо, в нем нет собранности, которая передавалась группе, обеспечивая единство и ту особую окраску тембра, о которой столько говорили критики. Мяч в воде, оба бегут, Лючо первый, за ним Франка бросается с головой в воду. Да, Марио должен бы понять (не может быть, что он до сих пор не понял) — группа полетит к чертям самым непростительным образом, если он не решится пресечь это, пока не поздно, но что значит «поздно» и что пресечь, если ничего не произошло, разве кто-нибудь может сказать, что что-то произошло?

Они начинают подозревать — я знаю, но что я могу сделать, это как болезнь, я не могу посмотреть на нее, не могу сделать ей знак вступать, чтобы снова не почувствовать сладкой щемящей боли, все зыбко и скользит как песок, на сцену врывается ветер, я будто плыву по реке. Ах, если бы дирижировал кто-нибудь другой из нас, если бы Карен или Роберто дирижировали, а я мог раствориться в ансамбле, просто тенор среди прочих голосов, тогда, может быть, может быть, наконец... Ты же видишь, у нас теперь всегда так, говорит Паола, ты грезишь наяву, посередине самого растреклятого Джезуальдо, когда надо все рассчитать до миллиметра, чтобы не получилось вразнобой,— именно тогда ты начинаешь витать в облаках, черт бы тебя побрал. Детка, говорит Лючо, приличные женщины не поминают черта. Но под каким предлогом совершить замену, как поговорить с Карен или Роберто, если ничего не рассказывать? Вряд ли они согласятся. Я давно дирижирую ансамблем, да и не делаются такие замены, и все тут, не говоря уж о технике. Вчера вечером было очень

[1] Черт побери! *(англ.)*.

[2] Район в г. Рио-де-Жанейро.

тяжело, был момент, когда я подумал — в антракте они мне все скажут, было заметно, что им уже невмоготу. Если разобраться, у тебя есть причины распуститься, говорит Лючо. Если разобраться — да, но он же идиот, говорит Паола, Сандро — самый музыкальный из всех нас, без него мы уже не будем тем, что мы есть. Чем мы были, шепчет Лючо.

Еще бывают вечера, когда все уходит куда-то бесконечно далеко и начинается старинный праздник, сначала немного сдержанно, но вот уже все кружится в ликующем вихре каждой мелодии, слышится церковное пение, мало-помалу заполняющее все вокруг, трусишь, натягивая перчатки, резко говорит Роберто, и поднимаешься на ринг, зная, что сейчас тебе будут бить морду. Очень изящное сравнение, отзываются Лючо и Паола. Он прав, все дерьмово, петь — для меня всегда было как любовь, а сейчас наоборот, какая-то никому не нужная дребедень. Теперь ты со своими сравнениями, смеется Роберто, но это правда, мы изменились, вот смотри, однажды в какой-то научной фантастике я нашел точное слово: мы — *клон*[1]. Мы — что? (Паола.) Я тебя понимаю, вздыхает Лючо, действительно так: пение, жизнь, даже мысли — все повторяется в каждом из нас восьмерых. Как у трех мушкетеров? — спрашивает Паола, один за всех и все за одного? Именно, моя девочка, подтверждает Роберто, но сейчас это называют «клон» — более тонко. Мы пели и жили как один человек, шепчет Лючо, не то что сейчас — тащимся на репетиции, на концерты нога за ногу, программа тянется бесконечно, бесконечнейше. И постоянный страх, говорит Паола, каждый раз боюсь, что кто-нибудь опять собьется, смотрю на Сандро как на спасителя, а этот кретин уставится на Франку, а та, что еще хуже, когда может, смотрит на Марио. Правильно делает, говорит Лючо, если она и должна на кого смотреть, так это на Марио. Правильно-то правильно, только все летит к черту. Медленно, постепенно, то есть что может быть хуже? — кораблекрушение замедленной съемкой, говорит Роберто.

Джезуальдо стал почти манией. Потому что они, конечно, любили его, раз исполняли его неисполняемые мадригалы, вкладывая в работу все силы, изучая текст, в поисках лучшего способа соединить стихи и мелодию, как это сделал князь Венозы в своей мрачной, гениальной манере. Каждый голос, каждый звук должны найти для себя такую форму выражения, которая отвечала бы сути мадригала, а не была бы одним из механических воспроизведений, великое множество которых они слушали на пластинках, сравнивая, изучая, чтобы самим стать немного Джезуальдо, князем-убийцей, повелителем музыки.

Они тогда много спорили, почти всегда Роберто и Паола, Лючо более спокойный, зато всегда попадал в точку, каждый по-своему чувствовал Джезуальдо, с трудом подчиняясь версии другого, однако минимально, но отклоняясь от желаемого, Роберто был прав, клон распадался, чем дальше, тем больше, каждый сам по себе, со своим несогласием и настойчивостью; Сандро обычно прекращал дискуссию, никто не оспаривал его восприятие Джезуальдо, кроме Карен и иногда Марио, на репетициях они были единственными, кто вносил предложения и находил недостатки, Карен — почти злобно (старая безответная любовь — предположение Паолы), и Марио — блистая сравнениями, примерами, знанием законов композиции. Подобно восходящей модуляции, разногласия длились часами, наконец, шли на уступки друг другу или приходили к временному соглашению. Каждый мадригал, который они включали в репертуар, был новой борь-

[1] Генетически однородное потомство живых организмов, образовавшееся в результате вегетативного размножения от одного общего предка.

бой мнений, возвращением, может быть, в ту ночь, когда князь вынул из ножен кинжал, глядя на обнаженных спящих любовников.

Лили и Роберто слушают Сандро и Лючо, которые упражняются в эрудиции после двух стаканов виски. Они говорят о Бриттене[1] и Веберне[2] и, наконец, как всегда, о ди Венозе: вот эти акценты нужно сделать ярче, вот здесь «O voi, troppo felici»[3] (Сандро), наоборот, здесь мелодия льется, неся в себе джезуальдовскую недосказанность (Лючо). Один — да, другой — нет, надо так, а не этак, пинг-понг ради удовольствия получить очко, колючие слова. Увидишь, когда начнем репетировать (Сандро), сомневаюсь, что будет удачно (Лючо), хотелось бы мне знать почему, но Лючо сыт по горло, открыл было рот, чтобы сказать то, что могли бы сказать Роберто и Лили, если бы Роберто, сжалившись, не перебил Лючо, предложив Лили выпить еще, Лили согласилась, другие тоже, побольше льда.

Но возвращается одержимость, своего рода «cantus firmus»[4], на которой держится жизнь группы. Сандро — первый, кто это чувствует, музыка тогда становится для них центром, а вокруг — свет восьми жизней, восьми участников, восьми маленьких планет вокруг солнца Монтеверди, солнца Жоскена Депре[5], солнца Джезуальдо. А тут Франка, которая вот-вот вознесется в рай звуков, зеленые глаза внимательно ждут момента вступления, следят за едва уловимыми указаниями ритма — она невольно искажает, нарушает, не желая того, единство клона,— Роберто и Лили оба думают об этом, пока Лючо и Сандро вновь возвращаются, уже успокоившись, к проблеме «O voi, troppo felici», пытаясь найти путь к познанию, на который они наверняка выберутся после третьего стакана виски за вечер.

Почему он убил ее? Опять за свое, говорит Роберто Лили, он застал ее голой в объятиях другого, как в танго Риверо, весьма в духе ди Венозы было всадить кинжал лично или приказать своим палачам, а затем, спасаясь от мести братьев убитой, укрываться в своих дворцах, сплетая на протяжении многих лет изысканную паутину мадригалов. Роберто и Лили развлекаются, выдумывая детали драматического и эротического характера, потому что им надоела проблема «O voi, troppo felici»,— дебаты на эту тему, полные глубоких познаний, все еще продолжаются рядом с ними, на диване. Сандро понял, что ему сейчас скажет Лючо, это носится в воздухе; если репетиции пойдут так и дальше, с каждым разом исполнение будет все более механическим, точное воспроизведение партитуры и текста — больше ничего, Карло Джезуальдо без любви и ревности, Карло Джезуальдо без кинжала и мести — в конце концов, всего лишь прилежный мадригалист среди стольких прочих.

— Давай репетировать с тобой,— предложил Сандро на следующее утро.— В самом деле лучше, если сегодня будешь дирижировать ты, Лючо.

— Не валяйте дурака,— скажет Роберто.

— Вот именно,— скажет Лили.

— Давай репетировать с тобой, посмотрим, что получится, и если остальные не возражают, так будет и дальше.

— Нет,— скажет Лючо, покраснев и ненавидя себя за то, что покраснел.

— Дело не в том, чтобы сменить дирижера,— скажет Роберто.

— Вот именно,— скажет Лили.

---

[1] Бенджамин Бриттен (1913—1976) — современный английский композитор.

[2] Антон Веберн (1883—1945) — австрийский композитор, дирижер и педагог.

[3] «О вы, слишком счастливые» *(итал.)*.

[4] В старинной многоголосой музыке мелодия (большей частью заимствованная), повторяющаяся без изменений в одном из голосов и служащая основой для сочетания других голосов.

[5] Жоскен Депре (ок. 1440 — ок. 1520) — композитор нидерландской школы.

— Он справится,— скажет Сандро,— справится, и всем будет лучше.

— Я ни за что не буду,— скажет Лючо.— Не понимаю, чего ты добиваешься. Я думаю так же, как все, но я знаю свои возможности.

— Просто прелесть, этот чилиец,— скажет Роберто.

— Вот именно,— скажет Лили.

— Решайте сами,— скажет Сандро,— я пошел спать.

— Утро вечера мудренее,— скажет Роберто.

— Вот именно,— скажет Лили.

Он искал его после концерта — не то чтобы все прошло плохо, но опять эта натянутость как скрытая угроза опасности, ошибки, Карен и Паола поют без воодушевления, Лили бледна, Франка почти не смотрит на него, мужчины какие-то собранные и отсутствующие одновременно; у него самого что-то с голосом, дирижировал равнодушно, но чем дальше подвигалась программа, тем больше его охватывал страх, гондурасская публика восторженна, недостаточно, чтобы просто не было дурного привкуса во рту, вот поэтому он искал Лючо после концерта; там, в баре гостиницы, вместе с Карен, Марио, Роберто и Лили они пили, почти не разговаривая, коротая время с помощью пресных анекдотов, Карен и Марио сейчас же ушли, но Лючо, казалось, не спешил расставаться с Лили и Роберто, заставил себя остаться, молча потягивая из спасительного стакана. В конце концов будет лучше, если мы вернемся ко вчерашнему разговору, сказал Сандро, как в воду головой бросился, я искал тебя, чтобы повторить то, что я уже говорил. А-а, сказал Лючо, а я тебе отвечу то, что уже ответил. Роберто и Лили опять стараются все сгладить, есть другие варианты, дружище, зачем настаивать на Лючо. Как хотите, мне все равно, говорит Сандро, выпив виски залпом, поговорите между собой, когда решите — скажете. Я голосую за Лючо. Я — за Марио, сказал Лючо. Да не в голосовании дело, чтоб вас... (Роберто раздражен, Лили согласна с ним.) Ладно, время у нас есть, следующий концерт в Буэнос-Айресе через две недели. Я двину в Ла-Риоху повидать старушку (это Роберто), а Лили: мне нужно купить сумку. Ты ищешь меня, чтобы сказать мне это, говорит Лючо, прекрасно, но есть вещи, которые требуют объяснений, у каждого из нас свои соображения, у тебя, разумеется, тоже, настал момент, когда надо поставить вопрос ребром. Во всяком случае не сегодня, отрезал Роберто (Лили туда же: я падаю от усталости; Сандро бледен, смотрит, не видя, на пустой стакан).

«Ну и наворотил он дел,— подумала Паола после ни к чему не приведших переговоров и консультаций с Карен, Роберто и еще кое с кем,— следующий концерт мы завалим, тем более в Буэнос-Айресе, не знаю почему, но что-то мне говорит — мы провалимся, конечно, семья поддержит, на худой конец поживу с матерью и сестрой, пока что-нибудь не подвернется».

«По-видимому, у каждого на уме свое,— подумал Лючо, сам он говорил немного, пытаясь прозондировать почву у остальных.— И каждый будет стараться делать по-своему, раз уж нет единства клона, как сказал бы Роберто, но в Буэнос-Айресе мы сожжем за собой мосты, у меня предчувствие. Все зашло слишком далеко».

Cherchez la femme. La femme?[1] Роберто понимает, что скорее надо искать ее мужа, если уж говорить о чем-то надежном и определенном; Франка, как обычно, ускользнет, будто рыба в аквариуме, огромные невинные зеленые глаза — выглядит она, в общем, ни в чем не виноватой, значит, надо искать Марио и найти его. Окутан-

[1] Ищите женщину. Женщину? *(франц.).*

ный дымом сигареты, Марио, кажется, улыбается: старый друг, конечно, имеет право, верно, все так и есть, это началось в Брюсселе полгода назад, Франка сказала мне сразу же. А ты? Роберто из Ла-Риохи — кинжал в сердце, и точка. М-да, я Марио Спокойный, мудрый любитель тропического табака и огромных зеленых глаз, я ничего не могу сделать, старина, что сделано, то сделано. «Но она»,— хочет сказать Роберто и ничего не говорит.

А вот Паола — наоборот, кто может помешать Паоле в час истины? Она тоже разыскала Марио (накануне они прибыли в Буэнос-Айрес, до концерта оставалась неделя, первая после перерыва репетиция — настоящий провал, что Жанекен[1], что Джезуальдо — все одно, выступали отвратительно). Делай же что-нибудь, Марио, не знаю что, но делай хоть что-нибудь. Единственное, что можно делать,— это не делать ничего, сказал Марио, если Лючо откажется дирижировать, не вижу, кто бы мог заменить Сандро. Ты придурок. Да, но не буду. Значит, надо полагать, что ты делаешь это сознательно, закричала Паола, ты не только позволяешь, чтобы у тебя все проплывало мимо носа, мало этого, ты и нам ничем не хочешь помочь. Не повышай голоса, сказал Марио, я прекрасно тебя слышу, поверь...

Так и было, как я тебе рассказываю, я выкрикнула ему это в лицо, а теперь видишь, что мне ответил этот... Тихо, детка, говорит Роберто, рогоносец — слово нехорошее, если бы ты про меня так сказала, здорово бы заработала. Я не то хотела сказать, Паола немного раскаивается, никто не знает, спят они или нет, в конце концов какая разница, спят или смотрят друг на друга так, будто занимаются этим прямо посреди концерта,— не в этом дело. Ты несправедлива, говорит Роберто, уж кто смотрит, кто совершенно ушел в себя, летит, как мотылек на свет, так это ненормальный идиот Сандро, никто не может упрекнуть Франку в том, что он сверлит ее глазами, как только увидит перед собой. А Марио? — не унимается Паола. Как он может терпеть? Думаю, он верит ей, говорит Роберто, он любит ее, и ему не нужно приставать к ней как пиявка или ходить с убитым видом. Допустим, соглашается Паола, тогда почему он отказывается дирижировать, хотя Сандро первый, кто его об этом попросил, и Лючо просил, и все мы?

Поскольку месть — тоже искусство, в поисках ее формы стремятся найти что-нибудь утонченно-прекрасное. «Все-таки любопытно,— думает Марио,— человек, способный вместить в себя целый мир звуков и вернуть его нам, создав мадригалы, мстит так жестоко, так по-мужицки; ему дано сплетать звуки в искусные кружева, а он наблюдает, как падают его жертвы, как они медленно истекают кровью, он вынашивает эту пытку, будто мадригал, неделями, даже месяцами». Он смотрит на Паолу, отрабатывающую пассаж «Poiche l'avida sefe»[2], и дружески улыбается ей. Он прекрасно знает, почему Паола снова заговорила о Джезуальдо, почти все они смотрят на него, опускают глаза и переводят разговор на другую тему. Sefe, говорит он ей, не напирай так на sefe, Паолита, жажду почувствуют сильнее, если ты произнесешь это слово тихо, не забывай, какое было время, тогда много чего говорили без слов и даже много чего делали.

Их видели, как они вместе вышли из отеля, Марио обнимал Франку за плечи, Лючо и Роберто наблюдали из бара, как они не торопясь удаляются в обнимку, Франка — обхватив Марио за талию,

---

[1] Клеман Жанекен (ок 1480 — ок. 1568) — французский композитор эпохи Возрождения.

[2] «Ибо неутолимая жажда...» *(итал.)*.

он что-то говорит ей, слегка наклонив голову. Они сели в такси, и вереница машин центральных улиц медленно зазмеилась дальше.

— Знаешь, старик, я ничего не понимаю,— сказал Роберто, обращаясь к Лючо,— вот клянусь тебе, я ничего не понимаю.

— О чем я тебе и говорю, дружище.

— Это никогда не было так ясно, как сегодня утром, по одному взгляду все было понятно, если уж говорить только о взглядах, эти бесплодные попытки Сандро все скрыть — до этого дурака поздновато дошло, что такие вещи надо скрывать,— так теперь она — первый раз она пела для него, и только для него.

— А мне Карен показала на них, ты прав, в этот раз она на него так смотрела, просто пожирала глазами, такими глазами можно что хочешь сделать.

— Вот теперь и думай,— сказал Роберто,— у нас никогда не было так плохо за все время, что мы выступаем вместе, а через шесть часов концерт, и какой концерт, здесь нам не простят, сам знаешь. Так вот, с одной стороны, дело сделано — это очевидно, чувствуешь это кожей или печенкой, не знаю чем, от меня такие вещи не укрываются.

— Почти то же самое говорят Карен и Паола, разве что печенку не упоминают,— сказал Лючо.— Я такие вещи чувствую меньше вас, но в этот раз все было достаточно прозрачно даже для меня.

— И с другой стороны, существует Марио, всем довольный, который идет с ней за покупками или пропустить стаканчик,— образцовые супруги.

— Теперь уже не может быть, чтобы он не знал.

— И позволял бы ей эти ужимки дешевой потаскухи.

— Пошли, Роберто.

— Иди ты к дьяволу, чилиец, дай хоть немного отдохнуть.

— Это ты правильно делаешь,— сказал Лючо.— Перед концертом надо.

— Перед концертом,— сказал Роберто,— я только о нем и думаю.

Они посмотрели друг на друга — как все перепуталось,— оба пожали плечами и закурили.

Никто их не видит, но тем не менее они почувствуют себя неловко, столкнувшись в вестибюле, Лили посмотрит на Сандро, будто собираясь что-то сказать, но не решится, помедлит у витрины, а Сандро, вяло помахав рукой в знак приветствия, отвернется к киоску с сигаретами и попросит «Кэмел», затылком чувствуя взгляд Лили, расплатится и ринется к лифтам. Лили в это время отлепится от витрины и близко пройдет мимо него, будто из других времен, из другой промелькнувшей встречи, которая снова ожила сейчас и причиняет боль. Сандро пробормочет «привет» и опустит глаза, открывая пачку сигарет. Сквозь двери лифта он увидит, как она остановится у входа в бар, повернется к нему. Он старательно зажжет сигарету и поднимется переодеться для концерта. Лили подойдет к стойке и попросит коньяку, не слишком подходящего в такое время, как и две сигареты «Кэмел» подряд, когда впереди у тебя пятнадцать мадригалов.

Как всегда в Буэнос-Айресе, друзья, и не только в зале, но и за кулисами, и в артистической, встречи, приветствия, рукопожатия, наконец-то вернулись, старина, какая ты красивая, Паолита, познакомься — это мама моего жениха, Роберто, друг мой, что-то ты растолстел, привет, Сандро, читал, читал, что о вас пишут в Мехико; доносится шум переполненного зала, Марио здоровается со старым приятелем, который спрашивает его о Франке, она где-то тут, публика рассаживается по местам, еще десять минут, Сандро не очень усердно пытается всех собрать, Лючо старается отделаться от двух

прилипчивых чилийцев — собирателей автографов, Лили — почти бегом, все это очень мило, но со всеми переговорить невозможно, Лючо рядом с Роберто, он поглядывает по сторонам и что-то быстро говорит Роберто, в ту же секунду Карен и Паола в один голос: где Франка? Все на сцене, но куда девалась Франка? Роберто к Марио, Марио: откуда я знаю, мы расстались в центре в семь, Паола: где Франка? И Лили и Карен, Сандро смотрит на Марио: говорю тебе, она возвращалась сама, наверно, вот-вот придет; остается пять минут, Сандро подходит к Марио и Роберто, который безучастно молчит, что происходит, ты должен знать, а Марио: говорю тебе, не знаю, он бледен, смотрит в пространство, распорядитель что-то говорит Сандро и Лючо, беготня за кулисами, ее нет, сеньор, никто не видел, чтобы она приходила, Паола сжимает голову руками, ее корежит, будто сейчас вырвет, Карен поддерживает ее, и Лючо: ну пожалуйста, Паола, возьми себя в руки — две минуты, Роберто смотрит на Марио, безмолвного и бледного, может быть, такой же безмолвный и бледный был Карло Джезуальдо, когда вышел из спальни, в программе пять его мадригалов, нетерпеливые аплодисменты, но занавес не поднимается, ее нет, сеньор, мы везде посмотрели, она не приходила в театр, Роберто вплотную подходит к Сандро и Марио: ты это сделал, где Франка? — во весь голос, недоуменный шум по другую сторону занавеса, импресарио бьет лихорадка, он перед зрителями: господа, просим минуту терпения, истерический крик Паолы, Лючо с усилием сдерживает ее, Карен поворачивается спиной и медленно, шаг за шагом, уходит, Сандро, кажется, без сил, Роберто поддерживает его, похожего на манекен, и смотрит на бледного, неподвижного Марио, Роберто понял, что здесь это должно было произойти, здесь, в Буэнос-Айресе, здесь, Марио, не будет концерта, уже никогда не будет концерта, последний мадригал они поют в ничто, без Франки, они его поют для публики, которая их не слышит и начинает растерянно расходиться.

ПОЯСНЕНИЯ НА ТЕМУ О КОРОЛЕ И МЕСТИ ПРИНЦА.

Когда нужно что-то написать как под диктовку — это для меня просто; поэтому иногда по точно выработанным правилам я разрабатываю параллельный вариант какого-то сюжета, который в обычном виде мог бы показаться сухим и однообразным. В данном случае такой «разработкой» является точная подгонка рассказа, которого я еще не написал, к пьесе «Музыкальное приношение» Иоганна Себастьяна Баха.

Известно, что тема этих вариаций в формах канона и фуги была предложена Баху Фридрихом Великим и что после сымпровизированной в его присутствии фуги маэстро — неблагодарный и ершистый — написал «Музыкальное приношение», где заданная тема трактуется в невероятно сложной и разнообразной манере. Состав инструментов для этой вещи Бах не указал, за исключением «Трио-сонаты» для флейты, скрипки и клавира; долгое время даже порядок частей зависел от воли музыкантов, исполняющих это произведение. В своем случае я использовал вариант Миллисент Сильвер для восьми современных Баху инструментов, который позволяет детально изучить разработку каждого пассажа и который был записан группой «Лондон харпсикорд ансамбль» на пластинку «Сага XID 5237».

Когда я выбрал именно эту трактовку (или она меня выбрала, поскольку мысль написать рассказ, точно соответствующий течению музыки, пришла мне в голову, пока я слушал), я решил — пусть пройдет время, ничто не должно торопить процесс сочинительства и кажущегося забывания — отвлечения, сны, разного рода случайности неуловимо ткут свой будущий ковер. Я отправлялся на пляж с фотокопией обложки пластинки, где Фредерик Йонс дает анализ основ-

ных частей «Музыкального приношения»; смутно начинал вырисовываться рассказ, который вначале казался мне слишком «от ума». Правила игры были рискованными: восемь инструментов должны быть представлены восемью персонажами, восемь звуковых рисунков, перекликающихся, чередующихся или противостоящих друг другу, должны соотноситься с чувствами, поведением и отношениями восьми человек. Изобразить литературный дубликат «Лондон харпсикорд ансамбль» мне показалось довольно глупым — ведь скрипач или флейтист не подчиняет свою частную жизнь музыкальным темам, которые исполняет; в то же время понятие общности, объединенности должно было каким-то образом присутствовать с самого начала. Стоило чуть расширить рамки рассказа, и восемь человек уже не составляли бы столь активную группу, если бы не были связаны между собой какими-то отношениями и контактами до того, как начался рассказ. Случайный разговор напомнил мне историю Карло Джезуальдо, гениального мадригалиста и убийцы своей жены; вмиг все прояснилось, и восемь инструментов представились мне восемью исполнителями вокального ансамбля; с первых слов должна быть очевидна связь между ними, все они должны знать друг друга, любить или ненавидеть «до того» и кроме всего должны, разумеется, исполнять мадригалы Джезуальдо, положение обязывает. Вообразить драматическую ситуацию в таком контексте не составляло труда; последовательно наложить его соответствующим образом на «Музыкальное приношение» и содержало в себе вызов, то есть, я хотел сказать, удовольствие, о котором автор и свидетельствует прежде всего.

Такова литературная «кухня» в общих чертах; глубинные процессы выявятся в свое время — так бывает почти всегда. Итак, состав инструментов Миллисент Сильвер соответствует восьми певцам, а вокальный регистр каждого из них также совпадает с музыкальным инструментом. Получилось следующее:

Флейта: Сандро, тенор.
Скрипка: Лючо, тенор.
Гобой: Франка, сопрано.
Английский рожок: Карен, меццо-сопрано.
Альт: Паола, контральто.
Виолончель: Роберто, баритон.
Фагот: Марио, бас.
Клавир: Лили, сопрано.

Персонажей своих я представил латиноамериканцами, в основном из Буэнос-Айреса, где у них должен быть последний сольный концерт после продолжительных гастролей в разных странах. Я представил их в начале кризиса, еще непонятного (скорее для меня, чем для них), единственное, что было ясно,— появилась трещина, разрушавшая тесную спаянность группы мадригалистов. Я написал первые абзацы «на глазок», но менять ничего не стал, по-моему, я никогда не менял расплывчатого начала стольких моих рассказов, потому что чувствовал, что предам в себе что-то, и я понял невозможность воспроизведения «Музыкального приношения» средствами рассказа, если не знать точно, когда какие инструменты звучат, то есть какие персонажи в какой сцене действуют, до самого конца И тогда с удивлением, которое, к счастью, я еще способен испытывать, когда пишу, я увидел, что в финале участвуют все персонажи, кроме одного. И этот один с первых уже написанных мною страниц должен явиться причиной, тогда еще неопределенной, той самой трещины, разрушающей единство, которое другой персонаж назовет «клоном». В ту же секунду вынужденное отсутствие Франки и история Карло Джезуальдо, завладевшая моим воображением, стали мухой и паутиной в материи рассказа. Теперь я мог продолжать — все окончательно сложилось.

Что касается самого написания: фрагменты расположены в том

порядке, в каком их дает трактовка «Музыкального приношения» Миллисент Сильвер; затем каждый пассаж должен совпадать с соответствующей музыкальной формой (канон, трио-соната, каноническая фуга и т. д.), а все персонажи, заменяющие собой инструменты, должны соответствовать им в суперстепени. Так что будет полезно (полезно для интересующихся, а все, что вызывает интерес, почти всегда полезно) указать здесь последовательность, как это делает Фредерик Йонс, и состав инструментов, выбранных госпожой Сильвер:

«Терцет»: скрипка, альт и виолончель.

«Бесконечный канон»: флейта, альт и фагот.

«Канон в унисон»: скрипка, гобой и виолончель.

«Канон в обращении»: флейта, скрипка и альт.

«Канон в увеличении и в обращении»: скрипка, альт и виолончель.

«Спиральный канон восходящей модуляции»: флейта, английский рожок, фагот, скрипка, альт и виолончель.

«Трио-соната»: флейта, скрипка и continuo (виолончель и клавир):

1 Largo
2 Allegro
3 Andante
4 Allegro[1]

«Бесконечный канон»: флейта, скрипка и continuo.

«Канон ракоходный»: скрипка и альт.

«Канон загадочный»:

a) Фагот и виолончель,
b) Альт и фагот,
c) Альт и виолончель,
d) Альт и фагот.

«Канон четырехголосный»: скрипка, гобой, виолончель и фагот.

«Фуга каноническая»: флейта и клавир.

«Секстет»: флейта, английский рожок, фагот, скрипка, альт и виолончель, в сопровождении клавира.

(В финале, озаглавленном «Секстет», клавир, исполняющий continuo, является седьмым участником.)

Поскольку пояснения получились почти такими же пространными, как и рассказ, у меня нет сомнений, продолжать их или нет. Я абсолютно несведущ в вопросах вокальных ансамблей, так что у профессионалов будет масса поводов для ликования. В самом деле, почти все, что я знаю о музыке и музыкантах, я нашел на обложках пластинок, которые прочитываю всегда с большим вниманием и пользой. Это относится также и к ссылкам на Джезуальдо, мадригалы которого я слушаю с давних времен. Что он убил жену — это точно; что до остального, других возможных совпадений у меня в тексте,— спросите у Марио.

---

[1] Медленно, быстро, умеренно, быстро *(итал.)*.

БОРИСОВА АЛЛА КОНСТАНТИНОВНА.

Советский переводчик с испанского и французского языков. В ее переводе публиковались повесть французской писательницы Ф. Саган «Смутная улыбка», рассказы кубинских писателей Рафаэля Солера, Арнольдо Таулера Лопеса и др.

ПЕТЕР ЯРОШ

Тысячелетняя пчела

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

Перевод со словацкого НИНЫ ШУЛЬГИНОЙ

Настала суббота, вот и поднялись чуть свет, в полтретьего. Мартин Пиханда рывком сбросил ноги с кровати — жена проснулась, заворчала:

— Нет от тебя покою!

— Тише, душа моя, спи! — успокоил он Ружену; протянув руку, легонько коснулся ее оголенного плеча и встал. Постель скрипнула, жена в перинах потянулась, зевнула. Мартин ощупью оделся, вышел из горницы и, отомкнув дверь, ступил на веранду. Почудилось ему, будто под окном дочери Кристины мелькнула чья-то тень. Прислушался, но, кроме тихого, незлобивого урчанья собаки, ничего не услышал. Он поглядел на небо: развиднело, звезды померкли. Кругом помалу светало, но в доме еще было сумеречно. Он вошел в горницу к сыновьям — потряс обоих за плечи. Они что-то бурчали, похныкивали, постанывали. Пробуждались с трудом, без охоты размыкая слипшиеся веки.

— Завтра отоспитесь, хлопцы!

Поднявшись наконец, они сонно бродили в полутьме дома, искали одежду, натыкались друг на друга, огрызались, глухо чертыхались, а пару раз перекинулись такими суровыми взглядами, того и жди — сцепятся. В сенях жадно напились воды и, только выйдя во двор, заулыбались. Отец тем временем запряг коров в решетчатую телегу, погрузил в нее рюкзак с провизией, пилу, багор, топоры и, опершись о ярмо, с кнутом в руке, стал поджидать сыновей. Само и Валент впрыгнули в телегу, отец щелкнул кнутом, и буренки тронулись. Обитые шипами колеса приглушили птичье попискивание. Высоко над головой, над домами и деревьями занялись зори.

Все утро рубили лес.

© Peter Jaroś, 1979.

ПЕТЕР ЯРОШ — Peter Jaroš (род. в 1940 г.).

Словацкий писатель. Свою первую книгу — новеллу «Послеобеденный час на террасе» («Popoludnie na terase») опубликовал в 1963 г. В последующие годы выходили повести: «Весы» («Váhy», 1966), «Путешествие в неподвижность» («Putovanie k nehybnosti», 1967), «На крови» («Krvaviny», 1970), сборники рассказов «Пырей» («Pýr», 1971), «Моток пряжи» («Pradeno», 1974) и др. Многие его произведения отмечены литературными премиями. В русском переводе издан сборник избранных рассказов под названием «Визит» (М., «Прогресс», 1975).

За роман «Тысячелетняя пчела» («Tisícročná včela». Bratislava. «Slovenský spisovateľ», 1979) П. Ярош удостоен премии издательства «Словенски списователь» и Государственной премии имени Клемента Готвальда. В полном объеме роман будет напечатан в издательстве «Радуга».

Статью о творчестве П. Яроша см. в разделе «Критика» этого номера.

Сперва, разумеется, подпилили и вырубили заранее помеченные деревья. Длинные, стройные стволы, не окоряя, распилили на четырехметровые бревна и погрузили на телегу. А к обеду, когда телега была уже полнехонька, Пиханды запрягли коров в ярмо и, притормозив надежно колеса, стали спускаться к берегам Вага. У брода, зайдя по колени в воду, разгоряченные буренки остановились и вдосталь нахлебались — животы у них раздулись, провисли.

— Пошли, пошли! — крикнул погонявший их Валент.

— Ну-тка, ну-тка! — подбодрил коровушек и старый Пиханда.

Коровы поднатужились, уперлись ногами в щебнистое дно, потоптались на месте, но телега не стронулась.

— Подтолкните-ка, а то, ей-ей, увязнем! — рявкнул Мартин Пиханда и подпер плечом грядку телеги. Возле него толкал воз Само, а у передних колес усердствовал Валент. Буренок они не хлестали, не пинали в пах, а разве что ласково покрикивали на них, подбадривали, уговорами понуждая тянуть — и вот подвода уже на другом берегу. Они вылили воду из башмаков, отжали брюки, похлопали коровушек по холкам, потрепали за уши, погладили по головам и побрели дальше.

— Я задержусь малость! — сказал Валент.

— А зачем?

— Форель изловлю!

— Надо больно! Чтоб тебя лесничий зацапал?

— Не бойся, отец, я с оглядкой.

— Только не долго! — уступил сыну Пиханда и зорко поосмотрелся.

— Трогай! — кивнул он Само, и коровы опять двинулись. В телеге затрещало, дрова заскрипели, воз, поднимаясь по отлогой дороге, развизжался. После получасовой однообразной, нередко прерываемой ходьбы отец с сыном перевалили Глинище и зашагали вниз куда резвее. Так подошли они к первым сельским гумнам и домам. Гуси, утки шарахались от них врассыпную. В лесной чаще у ручья воробьи сперва стихли, а потом разлетелись во все стороны. Промеж ивовых прутьев просунулось несколько детских головок, и следом раздалось два-три одинаковых выкрика:

— Гори-гори, глобус! Гори-гори, глобус...

Старый Мартин Пиханда вздрогнул, резко обернулся к кустарнику и уж хотел было, ухватив ближайшую орясину, кинуться на голоса. Но в зарослях лишь резко взметнулись ветви, взвизгнул смех, приглушенно донесся взволнованный детский говорок, а потом все поглотили кусты.

Во двор въехали с превеликим шумом. Покрикивали, радостно гомонили, свистали. Не успели распрячь коровок, а уж из дому выбежали обе женщины. Мать Ружена бережно несла в руке бутылку палинки и стопки. Молодая девка Кристина семенила босая с пузатым горшком хорошо взболтанной простокваши. А тут и Валент заявился. Загадочно улыбаясь, он незаметно достал из-под рубахи три крупные форели.

— У-ух! — выдохнула мать.

— Разбойник ты экий! — улыбнулся отец.

— А что было делать? — отозвался Валент.— Сунул руку в воду — маленько остудиться, а форели сами лезут промеж пальцев. Я и отгонял их, и обратно в воду кидал, а они знай ко мне тянутся. Не забери я их, глядишь, и допрыгали бы за мной аж сюда на хвостах...

— Видали какой! — погрозила Валенту мать.

— Ну женки, уж попотчуйте нас! — крикнул отец Пиханда.— Оголодали мы, в горле пересохло, а вы стоите тут, точно пни колоды. Форель надобно испечь! Да немедля! И сальца порезать!

Мать налила в рюмки палинки, а Кристина поспешила загасить мужскую жажду кислым молоком. Когда подала горшок отцу, тот, наклонившись, строго шепнул ей в ухо:

— Это кто ж такой под утро лез из твоего оконца?

— Из моего, отец? — вспыхнула Кристина.

— Смотри не принеси в подоле, уж лучше сразу тебя просватаю! — Подтолкнув ее, отец высоко поднял горшок и большими глотками напился. Потом, посмотрев на дочь, стыдливо отводившую взгляд в сторону, сказал примирительно: — Ну, ладно, ладно! На, угости и братьев...— и подал ей горшок.

Освежившись, взялись разгружать подводу. Складывали душистые бревна у изгороди, оглаживали их и похлопывали, будто привязчивую собачонку, возились с ними, словно с налитым колосом. А когда дело сделали, в ход опять пошли пилы и топоры. Само и Валент поставили козлы и, укрепив на них первый ствол, распилили его на поленья. Отец принес из амбара деревянные клинья и колун, сложил два полена крест-накрест, в верхнее вколол топор. Оно треснуло, обнажив нутро. Отец вставил в трещину деревянный клин, ударил по нему колуном, и полено, раскалываясь, гулко застонало. Распалось оно на две гладкие половинки. Мартин Пиханда вдруг склонился над половинками и стал быстро их ощупывать да оглядывать.

— Ну-ка, гляньте!

Ребята подошли к отцу, нагнулись к поленьям.

— И впрямь, эта плаха точь-в-точь рыба! — удивился Само.

— Да это же та самая форель, что я в реке оставил,— попытался пошутить Валент.— Вот ведь — прискакала сюда и схоронилась в полене...

Все трое ощупывали суковатую рыбу в полене, но то была рыба не из мяса — костистая, скользкая и верткая, с глазами, хвостом и плавниками, а рыба деревянная, хотя и донельзя похожая на настоящую.

— Захворало деревце, трухляветь стало... Сруби мы его через пару годков, нашли бы в нем дупло, а в дупле озерцо, полное рыб! — размечтался Валент.

— Уж ты нагородишь! — хохотнув, добродушно хлопнул брата Само.— Отец, в ученье надо отдать нашего балабона, в хорошую школу послать, пусть-ка там ума-разума наберется!

— Это ты дело сказал,— засмеялся Валент.— Вот сразу по осени и поеду! А ты как на этот счет, отец?

— Что сказано, то свято. Не люблю менять слово. Получишь аттестат и в путь-дорогу! А теперь айда есть! У меня нынче с утра маковой росинки во рту не было. Давай-ка и вы, хлопцы, после обеда докончим.

— Сейчас, только вот это бревно распилим,— пообещал Само.

Парни пилили, и Мартин Пиханда меж тем вошел в кухню. Вымыл руки, вытер их досуха и сел к столу. Жена поставила перед ним полную тарелку гороховой похлебки, положила кусок мягкого хлеба. Он сжал пальцами хлеб, понюхал его и довольно улыбнулся. Взял ложку, начал есть. Все пришлось по вкусу.

— Рыбу сам себе положи,— сказала ему жена,— и ребята пусть угощаются. Мы с Кристиной обещались к Гунарам. Поможем им сгребать сено за Горкой. Рыба в духовке, молоко в кладовке, да и палинкой побалуйтесь, она тут, под чердачной лестницей, да не всю испейте, малость и на завтра оставьте, глядишь, косить наладитесь, так мне ее опять покупай...

— Добро, добро! — пробормотал с полным ртом Мартин.— Ступай уж, ступай, трепалка долгоязыкая!

Ружена повернулась в сердцах и удалилась. Мартин доел похлебку, подошел к духовке и рукой положил на тарелку испеченную форель, пожалуй самую маленькую из трех. Воротился к столу, взял

вилку, нож и собрался было располовинить рыбу, чтоб вытащить хребет и прочие косточки. Он слегка кольнул ее вилкой — и до смерти перепугался: форель на тарелке шевельнулась. Отдернув руку, он пораженно уставился на рыбу. Минуту спустя, не удержавшись, снова ткнул ее вилкой. На сей раз форель дернулась так шустро, что слетела с тарелки на стол, со стола на пол, и там, уже поодаль от Пиханд овой тарелки, застыла в неподвижности.

— Ишь, щекотки боится!— вымолвил вконец ошалелый Пиханда.

Виновато оглядевшись, он нагнулся, поднял рыбу, сунул ее в карман и в оторопи выбрался из кухни. На лестнице столкнулся с сыновьями. Сказал, что им велено есть и где найти еду, а сам незаметно прокрался к собаке. Подозвал ее, погладил. Собака тыкалась носом в карман, откуда несло рыбой. Пиханда с опаской запустил руку к форели, вытащил ее и всю целиком запихнул собаке в распяленную пасть. Собака уже вгрызлась в рыбу, когда Пиханда ладонью — так ему показалось — почуял ее последнюю коротенькую судорогу. Он воротился в кухню и, увидев, с какой сластью Само и Валент уписывают рыбье мясо, как подолгу обсасывают каждую косточку, вдруг успокоился. Неужто все ему только примстилось? А может, он умом повредился?

— Вкусно? — спросил.

Оба сына усердно закивали, одобрительно загмыкали.

— Вечером гулянка! — сказал Валент, проглотив кусок.

— Уже и у тебя подошвы зудят? Еще недавно сопля под носом висела, и на поди...

Старший брат прыснул. Он хохотал, балаболил что-то и при этом жевал рыбу. Ловко мельчил языком ее белое, мягкое-премягкое мясо, а когда наконец за разговором и смехом захотел проглотить — вдруг широко разинул рот. Веселые, в смехе расслабленные черты лица его внезапно одеревенели, в глазах застыл ужас, все тело в растерянности и страхе съежилось на стуле. Из нутра вырвался глубокий стон.

— Что такое? — Валент подбежал к нему и, обхватив за плечи, стал трясти.

— Кость в горле, кость... — с трудом выговорил Само. И начал давиться. Какая-то внутренняя сила непреоборимо распирала грудь и живот, изо рта текли слюни. Валент утирал их платком.

— Потерпи, потерпи малость,— подскочил к сыну и старый Пиханда; схватив со стола сухой хлебный мякиш, протянул ему: — На-ка вот, съешь, авось протолкнет косточку в желудок.

Само опасливо, с трудом разжевал, проглотил мякиш, и лишь потом со слезами на глазах отрицательно помотал головой.

— А ну марш на свет! — приказал отец и, подхватив Само под мышки, выволок его на крыльцо, на залитую солнцем лестницу.— Отвори-ка рот, шире отвори!

Само, раскрыв рот, стонал и охал.

— Вижу, кость вижу! — вскричал Пиханда.— Тащи ножницы! — оборотился он к Валенту. А держа ножницы в руке, он чуть раскрыл их и стал вводить в рот Само. Но сын вдруг, резко мотнув головой, попятился.

— Тьфу ты, черт! — заругался Пиханда.— Чего дуришь?

— Язык мне, гляди, не отстриги! — еле выдавил Само и прикрыл разинутый рот ладонью.

— Не бойся! — подбодрил его отец.

Само доверчиво кивнул.

— Держи голову сзади! — сказал отец Валенту, и когда тот, послушавшись, крепко зажал в руках голову брата, операция началась снова. Раскрытые ножницы постепенно проникали в рот, потом остановились и мгновение спустя сомкнулись. Отец, дернув рукой, вытащил изо рта ножницы — на их конце, поблескивая, белела рыбья кость.

— Вот это рыбалка, чтоб ей пусто было! — отвел душу старый Пиханда.

Он взглянул на Валента, и они оба не без гордости ухмыльнулись. А Само истомленно сел и все глотал-поглатывал, словно не верил, что кость уже не торчит в горле. Он даже взял эту косточку и стал крутить, мять ее, ощупывать до тех пор, пока она не выскользнула из пальцев и не упала на землю; но он опять ее поднял. Валент подошел к брату с полной ложкой меду.

— На, глотни, помогает!

Обессиленный возней с рыбьей костью Само ввалился в большой пчельник в дальнем конце сада и растянулся на старой деревянной, но удобной канапке, застланной овечьими шкурами и драной одежкой. На пасеке было всего шесть колод, но монотонное жужжание пчел гулко отдавалось в ушах и усыпляло притомленного Само. Он моргал отяжелелыми веками, раз-другой попробовал еще сглотнуть, с опаской ощупывая горло, но прежде чем заснул — сознание его пронзила жуткая картина: острая и толстая рыбья кость распарывает ему горло, кровь хлещет из раны, брызжет наружу, а главное — затекает внутрь, в глотку, он задыхается, захлебывается и вопит: помоги-и-ите, помоги-и-ите, дышать, кричать невмочь, помоги-и-те, помоги-и-те... С перекошенным от ужаса лицом он на мгновение очнулся ото сна, и, сообразив, что чуть не задушил себя своею же рукой, подумал: «Будь я один с этой костью в горле, ей-богу, она меня, глядишь, и доконала бы!» Он нащупал кость в кармане брюк, вытащил ее, оглядел и снова спрятал в карман. И только теперь, спокойный и умиротворенный, заснул крепким сном. Спал бы он, возможно, долго-предолго, проспал бы, пожалуй, до завтрашнего дня, кабы не докучали шальные пчелы. Они садились на лоб, ползали по лицу, по телу, а одна из них заглянула даже в его волосатую ноздрю. Она сидела у ноздри до тех пор, пока он глубоким вдохом не втянул ее внутрь. Плененная до половины тельца пчела в ноздре у Само громко разговорилась на своем пчелином наречии. Жужжала, хлопала, защищаясь крылышками, скреблась ножками, покуда Само зычно не чихнул. Пчела отлетела на канапку, Само на секунду проснулся, потер ладонью свербящий нос, перевернулся на правый бок и снова провалился в какую-то полудрему, полубденье. Он слышал жужжание пчел и мух, чувствовал, как они ползают по рукам, но сам не в силах был и шелохнуться. И вот тут-то ему и померещилось, что из-под крышки самого большого улья выглянула могучая пчелиная матка, поглядела на него своими удивительными глазками, высунула из челюстей долгий язычок и, зашевелив усиками, улыбнулась всей головкой.

— Поди, поди сюда, приляг ко мне, ляг со мной! — заговорила пчелиная матка, расплываясь в обольстительной улыбке. Из своих десяти пар боковых продушинок она выпустила одурманивающий цветочный запах — манящий, притягательный, пронзительный.

— Нет, нет, боюсь, боюсь я! — кричал Само, судорожно извиваясь на канапке.

Пчелиная матка лишь презрительно рассмеялась. Крышка улья стала потихоньку подниматься, и матку вскоре окружила вся десятитысячная пчелиная семья. Матка сразу посерьезнела и своим мудреным ротовым устройством — с хоботком и язычком — глухо промолвила: «Я ведь и есть, милый мой, та самая тысячелетняя пчелиная царица. Я единственная, кто никогда не умирает и навечно остается жить в улье. Мне ведомо все о твоих предках, о тебе, о вас обо всех, и я буду знать все о твоих детях, внуках и правнуках... Тысячи моих работниц всякий день приносят мне вести... возьми меня в жены... Ты будешь жить со мною тысячу лет... Возьми меня в жены...»

Само, проснувшись, рывком сел. Поглядел на ульи перед собой, но ничего примечательного там не обнаружил. Он встал, подошел к одно-

му из них, поднял крышку и заглянул внутрь. Пчелы ворошились, копошились, жужжали, гудели. Среди них он увидел крупную пчелиную матку, лениво переваливающуюся по груде трутней и медуниц. И непонятная злоба нахлынула на него: он хватал из улья целые пригоршни пчел, взвешивал их на ладонях, разглядывал и опускал назад. А в одной пригоршне оказалась и пчелиная матка.

— Так это ты докучала мне? — спросил он ее.— Ты меня баламутила? Вот бы сдавить тебя двумя пальцами и... А еще говоришь — вечная, тысячелетняя!

Он швырнул пчел в улей, прикрыл их крышкой и только теперь изумился, что ни одна из них его не ужалила. Он оглядел руки, удивленно поахал, но вдруг кто-то легонько постучал в дверь — он вмиг забыл и думать о пчелах. Забыл, верно, потому, что испугался, а испугался потому, что в двери пчельника никто никогда не стучал.

В пчельник заглянула девушка — Мария Дудачова, но, увидев перепуганного Само, лишь ойкнула и сразу же прикрыла двери.

— Мария!

Само подбежал к дверям, рванул их и хотел уж было кинуться вдогонку за девушкой, но тут же застыл, смутившись.

Мария стояла в двух шагах от него.

— Входи! — позвал он ее в пчельник.

Поколебавшись чуть, вошла. Остановилась посредине, приглаживая рукой волосы и мило улыбаясь.

— Меня искала? — спросил он.

— А я и не знала, что ты тут!

— Чего же стучалась?

— А чтоб духу набраться!

— Ну и как? — рассмеялся Само.

— Набралась,— сказала Мария.— Видал — вошла же.

— Сядем? — Он взял ее легонько за руку и мягко потянул к канапке. Мария не упиралась. Сели совсем рядышком, прижимаясь друг к другу бедрами, икрами и держась за руки. И словно оттого, что они пожирали друг дружку глазами, у обоих участилось дыхание. Когда он тронул пальцами ее губы, вздымающуюся от волнения грудь, она закрыла глаза. И вдруг приникла к нему. Он обнял ее, она блаженно охнула, зашаталась в истоме: «Само, Самко!» — и стала целовать ему грудь и шею. Он снова обнял ее и, сжимая пылко, любовно, целовал ее глаза, губы. Целовал шею, плечи, грудь. А когда она легла рядом на канапку, прошептал:

— Хочешь, Мария? Сегодня, да?

— Сегодня? — спросила она изумленно, но не противилась.

Они отдавались друг другу в каком-то чаду. Их прекрасные молодые тела наливались страстью, и они чутко внимали им. Движения повиновались ритму пчелиного гула, хотя сами они и не ведали, что слышат его. Упругость и шелковистость кожи, безбоязненность обоих, зов зачатия возбуждали все более исступленное желание, острое наслаждение и беспредельную доброту. Они обоняли свои тела, свое дыхание, и все это рождало новые и новые приливы любви... Долго к ним не приходило успокоение. Они лежали рядом, и лишь много времени спустя глаза обрели способность видеть, уши — слышать.

— Отчего вот так бывает? — спросила Мария погодя.

— Как?

— Хорошо, когда мы вместе!

— Люблю тебя! — сказал Само.

— А всегда ли будет так?

Он сидел и молчал, а она и не настаивала на ответе.

На Петра и Павла вызревает в Липтове трава. Холодный и дождливый май, переменчивое начало июня, но теплая и парная вторая его половина сделали свое дело: травы на лугах быстро вытянулись, раз-

рослись, созрели, отцвели и вскоре вытряхнули семена. Сельчане готовились к сенокосу. Каждый, у кого было хоть два клочка пажити, взялся за косарный инструмент. Крестьяне разважничались, надулись от гордости — ведь их ждала почетная работа, когда можно и уменье выказать. Ремесленники, смиренно подчинившись круговороту природы, отложили свои промыслы и опять на короткое время стали землеробами. Проглядев еще раз косовища, косари укрепили на них ручки, чтоб не вихляли даже на самой твердой отаве. Вытащив польские, австрийские и немецкие, тонко кованные косы, они били камнем по острию и, склонив чуткое ухо, определяли по звуку твердость стали. Чем выше и пронзительнее отзывалась дрожащая коса, тем больше морщинок сходило со лба косаря. Осмотрели они и прочий инструмент: отмычки, кольца, клинья, железные колки, обушки, оселки и роговые футляры — осельники. Пожалуй, не было косаря, позабывшего заготовить ошметки кожи, которые при надобности засовывались в кольца косы, чтоб как следует скрепить ее с косовищем, или во фляжку налить сто граммов уксуса, который на твердой отаве подливался в осельник: сталь тогда мягчела и оселок лучше точил. После полудня, за час, за два перед выходом на луга, женщины собрали еду в мужские рюкзаки: отрезали копченого окорока, завернули две-три припасенные колбаски, положили сала, хлеба, крупы, логазу [1], лучку и зелени петрушки. Бережно налили палинки в трехсотграммовые фляги. Кувшины наполнили простоквашей и старательно заткнули пробкой. Курильщикам не забыли сунуть сигарет, табаку и бумаги. А у кого нашлось — кусочек овечьего сыра и горку брынзы. И лишь потом женщины свободней вздохнули.

Снарядились на луга и Пиханды. Мартин и двое его сыновей попрощались с женщинами в кухне. Потом вскинули на плечи рюкзаки и вышли на придомье[2] — там уже стояли прислоненные к стене косы. Весело подхватили их и опять взглянули на женщин.

— Грабли забыли! — вскинулась Кристина.

И впрямь... Кристина вбежала в амбар и вынесла оттуда пять штук грабель.

Само и Валент поделили их между собой.

— И носилки возьмете? — спросила Кристина.

— Тащи! Пожалуй, справимся! — решил отец.

Кристина вынесла двое носилок — Мартин Пиханда бросил их на плечо.

— Ну, приглядывайте за всем! — повернулся он к женщинам, улыбнулся обеим и зашагал.

— Ступайте с богом! — Мать проводила их до самой дороги и только тогда глубоко, с облегчением вздохнула.

Пиханды шагали рядком. Из многих дворов выходили косари. Где один, где двое, а где и трое, четверо. За околицей они сбивались в группки. Их было не перечесть. Шли неторопко, многие покуривали, заводили долгие разговоры. Не спешили, потому что солнце еще высоко и за два-три часа без натуги можно дойти и до самых дальних лугов. Знали: сегодня им не косить. Приготовят ужин, покурят, поговорят у костров — и все. Первые два-три дня проспят в пустых сенниках. Но с лугов не уйдут, покуда не выкосят их подчистую, не высушат сено и не сложат его в сенники. Лишь бы погодка выдалась, дождь бы не припустил. Поднимая взоры к небу, многие высматривали, не блеснет ли крест на костеле в закатном солнце, не окрасились ли зори, высоко ли птицы летают и как поют жаворонки. Но ничто вроде не предвещало дождя, нигде не погромыхивало — и все шагали спокойно, в добром расположении.

А женщины остались дома одни. Для них косьба — пора большой страды, необычайной жертвенности и напряжения. Вечером надо сго-

[1] Крутая ячневая каша особого приготовления. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Площадка перед домом на улице.

товить еду, накормить скотину, поросенка, кур, подоить коров. Ложились поздно, вставали рано, ведь утром надо снова кормить и обряжать домашних животных, выгонять коров на пастьбу, а потом терпеливо, часа два, а то и все три, шагать на луга с фриштыком для косарей. Целый день они сгребали, ворошили, укладывали сено в бабки, а под вечер вновь проделывали долгий обратный путь домой, чтобы загнать коров, вернувшихся с пастбища, подоить, задать им корму. И опять стряпали, кормили, убирали. И так каждый божий день, пока косьба не кончалась, целые ватаги женок с белыми узлами на спинах брели поутру на дальние луга, а вечером возвращались в деревню. Так проходила неделя, другая — они худели, загорали и становились нежнее. В час обеденного роздыха жены жались к мужьям, гладили их заросшие груди и приглушенно шептали им робкие слова. Не одна пара как раз тогда-то и отправлялась к роднику за водой через самые густые заросли и возвращалась оттуда позже обычного. Выкручивались по-всякому: то, мол, родник замутился, то луг на Блесах ходили смотреть или, дескать, нашли гриб — большой да гнилой, вот и искали другие; изворачивались, обманывали, но все понимали, в чем дело, и лишь хитро ухмылялись. Оно и не диво, что многие дети рождались в марте или апреле. Но и это было к добру: месяц-другой родильницы приходили в себя и после Петрова дня, глядишь, снова спешили на луга. В дни сенокоса, а потом и жатвы они крепли, набирались сил и по осени способны были управиться даже с самой тяжелой работой: копали картошку, молотили цепами зерно, пособляли в лесу. Только похороны, свадьбы, крестины на короткие, а зима на более долгие сроки избавляли их от страдных работ. Но вот на исходе года проносилось рождество, год обламывался на Сильвестра[1], и уж новый перескакивал богоявление[2],— они успевали поперещипать все легонькое гусиное перо, напрясть льна, наткать полотна и ковров, и у них уже снова дрожали от волнения руки: не терпелось поскорей, как только стают снега и оголится поле, блаженно запустить их вместе с семенами в рыхлую землю. После весенних работ, пахоты и сева, когда жены приходили на подмогу мужьям, они опять в короткой, быстро пробегающей передышке готовились к новому покосу...

Погода продержалась, выстояла.

Утро заявило о себе солнышком и голубым небом. Ружена слонялась по дому, двору уже с полтретьего и едва дождалась, пока часы пробили три. Она вздула огонь в печи, разогрела поросятам пойло, накормила кур и гусей. Точно в три постучала в Кристинину каморку. Слушала, слушала, но ни голоска, ни скрипа оттуда не донеслось. Резко отворив дверь, заглянула: Кристина тихо спала в перинах.

— Вставай, девка, вставай!

— Уже? — поежилась Кристина.

Она села, потерла сонные глаза и озабоченно вздохнула.

— Ни за что не привыкнуть мне вставать в такую рань! — сказала девушка и начала, зевая да потягиваясь, одеваться.

— К этому разве привыкнешь? — отозвалась мать.— Надо просто хотеть, чтобы выдюжить. Истово хотеть, доченька моя. Я вот уж век привыкаю, а все никак не привыкну. Иной раз, когда не дай бог проспишь, терзаешься, будто грех какой совершила. Такой уж он есть, человек! Глупый ли, умный ли, а делает лишь то, что умеет и должен. А иначе-то как?! Лечь в тенечке, пальцем не шевельнуть и ждать, покуда смерть приберет,— нет, это не по мне. Я бы не вынесла... Вот и тормошусь, хлопочу с утра до вечера, хватаюсь за то за се, так время-то помаленьку и проходит. А случается, в работе и душа радуется... Тьфу ты, разболталась я, а время бежит. Вставай-ка, Кристинка, га-

[1] 31 декабря.
[2] 6 января.

лушки с брынзой свари. Да не скупись, свари побольше, сперва мы поедим, а остальное мужикам отнесешь...

Выговорившись, она вздохнула и вышла во двор. Кристина оделась, умылась, причесалась. С длинной черной косой возиться пришлось дольше всего. Взглянула на часы: было уже четверть четвертого. Босая, вбежала на кухню, подживила огонь в печи и взялась стряпать. Делала все в каком-то угаре и несколько раз поймала себя на том, что мыслями — где-то на лугах. То есть вовсе не где-то, а на одном, определенном лугу. Будет ли он там? Или нынче косит на другом лугу? Будет? Не будет? Ох! Она мелко нарезала сало, поджарила на сковородке шкварки. Схватив дощечку, шлепнула на нее кусок картофельного теста и, отщипывая вилкой галушки, стала бросать их в кипящую воду. Отложив поджаренное сало, попробовала хрустящую и духовитую шкварку, поджидая минуту, когда галушки всплывут, а вода под ними забулькает. Успела тем временем накрошить в большую миску толстый слой брынзы. Галушки вскипели. Выбрав их деревянной шумовкой, она ждала, пока с них стечет вода, а потом вывалила на брынзу. В ноздри ей ударил знакомый и резкий запах. Вдохнула, сглотнула слюну. Не вытерпев, на кончике ложки попробовала галушки. В кухню вошла мать с подойником, полным молока.

— Готово? — спросила.

— Ага! — кивнула Кристина.

— Ну давай.

Пока Кристина раскладывала по мискам грудки галушек, мать процедила молоко в молочники. Взяла один и до половины вылила в отвар, в котором галушки варились. Подсолила.

Женщины сели за стол, принялись уплетать за обе щеки.

Галушки запивали теплым молоком, смешанным с отваром.

— Много наварила? — спросила мать.

— Хватит! — Кристина наклонила мису.

— Даже с лихвой! Ну поспешай!

Кристина переложила галушки в небольшую глиняную мису, чтоб не простыли. Прикрыла их крышкой. В самый большой молочник перелила отвар и горло его обвязала скатеркой. Все уставила в корзину. Обмотала ее белой холстиной, ловко взвалила на спину, а концы скатерки завязала узлом под подбородком. Остановившись нерешительно посреди кухни, взглянула на мать.

— Ступай! Ступай! — улыбкой подбодрила ее мать.— Я еще повожусь маленько и через часок тоже выберусь!

— С богом! — проговорила Кристина и, повернувшись, пошла. Сделав несколько шагов, почувствовала, как что-то теплое капнуло на икру. Остановилась, осмотрелась. По ноге стекал жир. Она повернула к дому — во двор как раз вышла и мать.

— Зачем воротилась? Забыла что?

— Из корзины жир капает!

Кристина опустила корзину — обе женщины склонились над ней. Мать ухватила глиняную мису за уши — подняла. Стала оглядывать, и вдруг на тебе: дно отвалилось, и галушки шмякнулись в пыль и песок.

— Ох, и наделала я делов! — заахала мать.

— Что же теперь будет? — ужаснулась Кристина.

— Тащи чистую мису!

Дочь побежала, принесла. Обе ложками торопливо собирали с земли галушки и снова клали в мису. Жир растекся, галушки слепились комом, на нижние пристал песок, камешки, комки земли. Как ни обдували их, ни чистили — все впустую. Мать в отчаянии ломала руки... а потом вдруг, смирившись, улыбнулась. Помешала галушки, поприхлопывала их ложкой и весело взглянула на дочь.

— Авось мужики простят! — сказала.— Поторапливайся, уж как-нибудь выкрутишься!

Кристина кивнула и ходко двинулась в путь. Оказалось — она не последняя. За околицей догнала двух подружек — Гану Швандову и Зузу Гунарову. Всю дорогу судачили, злословили, секретничали, хохотали. Так в хиханьках да хаханьках время и промелькнуло незаметно. На перекрестке они неохотно разошлись в разные стороны. Кристина осталась одна — и тут-то зачастило сердечко. Чем ближе подходила она к косарям, тем резче впивалась корзина в спину, зудела потная кожа, пылало лицо. Увидит она его? Или он на другом лугу? Окликнет ли она его, заговорит ли он с нею? А что она ответит? Как ответит?.. Стало невмочь идти. Она опустила корзину на землю и умылась в ручье. Полегчало, даже зашагалось легче. Она здоровалась — косари весело отвечали. Многие уже сидели у сенников, завтракали, а кто отбивал косы в холодке, под развесистым орешником. Тут начинается его луг! А на лугу... Ага, это он скинул рубаху и косит голый до пояса. Рядом брат его Рудо. У самой дороги отец...

— Бог в помощь! — поздоровалась.

— Бог милостив, Кристина! — ответил старый Срок.

Кристина кинула взгляд и на Матея, но тот, лишь на секунду поворотив к ней голову, продолжал косить.

— Что хорошего несешь, Кристина? — спросил старый.

— Галушки с брынзой!

— Тащи-ка сюда!

— Не могу!

— Ну и жадюга! Попробовать хоть дай! — донимал ее старый.

— А может, вам они и не понравятся! — рассмеялась Кристина.

— Ох, и вправду жадна! — покачал головой старый Срок, продолжая острить косу.

Она скользнула в орешник, сквозь ветви снова кинула взгляд назад. Матей косил спиной к ней — он и не подумал оборотиться. Девушка глубоко вздохнула и двинулась вперед. Вскоре показались свои. Они подали голос, замахали ей. Умостившись у сенника, она ждала, пока докосят полосы. Смотрела и диву давалась: треть луга почти выкошена! Вот мать-то обрадуется... Когда мужчины зашагали к сеннику, Кристина стала развертывать фриштык.

Отец и братья подошли усталые, но веселые. С трех часов утра надсаживались, орудуя косами, усмиряли траву, муравейники и сокрытые во мху камни. Мышцы лишь исподволь привыкали к новым движениям при косьбе. Ныли те самые сухожилия и суставы, что в остальное время года не очень-то натруждались. От постоянного трения о косовище зудели ладони, набухли водяные мозоли. Но лица были веселые, глаза улыбчивые, и — как бы мимоходом оглядев из-за плеча кошевину — косари гордо приосанились. Посыпались шутки, подковырки: узрела ли Кристина своего Матея? Уж не надорвался ли на покосе бедняга?! Кристина отмалчивалась, отрешенно улыбаясь. Неужто не заметили, что ей грустно?

— Ну-ну-ну, удальцы! — одернул сыновей отец.— Оставьте девку в покое.

Кристина налила в рюмки палинки, предложила — мужчины выпили. Когда они взялись за галушки — у нее замерло сердце. Первые они проглотили сразу, следующие пожевали, остальные все во рту ворочали. То камушек сплюнут, то земляную соринку. В изумлении они поглядывали друг на друга, украдкой косились на Кристину.

— Ты варила? — отважился Само.

— Я. А что?!

— Так просто!

Отец покашлял, утер салфеткой жирные губы, но лишь для того, чтобы скрыть озорную улыбку.

— Научится, всему научится, и глазом моргнуть не успеете...— сказал он.— Дайте срок...

— Галушки-то с брынзой варила? — подколол ее Валент.

— Ну и что? — огрызнулась Кристина и надулась.— Не нравятся — не ешь!

— Да я ничего! — рассмеялся Валент.— Я было подумал: ты в них маку подсыпала,— прыснул он со смеху.— Но ежели б маку как маку, маку толченого, а то ведь какого-то твердого, окаменелого...

Кристина повернулась к мужчинам спиной. Она и дулась, и смех ее разбирал.

— Мак и впрямь твердый,— поддержал брата Само.— Скрипит на зубах...

— Скрипит-то уж ладно — не разгрызешь!

— Матерь божья! — взорвалась Кристина.— Какие неженки! Может, и попало в муку малость земли или песку с мельничного жернова, а вы уж тут шум подымаете! Будто моя вина — мельника ругайте! Что мне, муку жевать прикажете, прежде чем замешивать?! Ну! Что молчите, умники-разумники?!

Они не перечили, но смеяться и перемигиваться продолжали. Галушки умяли, даже блюдо хлебом подчистили. Отдохнув с полчаса, взялись отбивать косы, а Кристина ворошить скошенную траву. Ворошила, укладывала в стожки и даже не заметила, как заявилась мать. Та поздоровалась с мужчинами, одобрила их работу, потом незаметно подобралась к дочери.

— Съели? — шепнула улыбнувшись.

Кристина кивнула.

Мать вздохнула. Схватила грабли — и за дело.

Работали весь день. Сгребали, ворошили сено, а как высохло, сложили в бабки. Мужчины, докосив, помогли женщинам. Мать побрела домой первая. А Кристина с Валентом стали передвигать бабки ближе к сеннику.

— Сегодня еще здесь переночуем,— сказал Мартин Пиханда дочери,— а утром найдешь нас уже на другом лугу. Дорогу знаешь?

— А то!

— Теперь можешь домой отправляться!

Кристина, признательно поглядев на отца, начала складывать вещи в корзину. Мужчины разложили огонь и взялись готовить ужин.

Иной раз время словно замирает, земной шар перестает вертеться, и люди цепенеют в задумчивости, опершись об онемевший локоть на зеленом лугу в воскресный послеполуденный час, или о дерево в саду, или о стол — всюду тишина и ничего не происходит, ничего, совсем ничего. Человеку кажется, что в такие минуты, а может лишь в обломки таких минут, никто не родится, никто не умирает — вообще ничего не случается. А иной раз наоборот: всякая минута наполнена движением и переменой. И не только минута, но и обломки ее, а то и целые часы, дни, недели, месяцы и даже годы наполнены действием, и человек начинает думать, что он уже никогда не остановится, что вся эта возня погубит его и он испустит последний вздох, так и не сумев везде побывать, все увидеть и узнать, завершить все, что задумал, и начать, что собирался начать... Вот и у нас так! Помимо всего того, что случилось с кем-то в иных местах, у наших героев за короткий срок многое изменилось, началось и кончилось. Кристина помирилась с Матеем Сроком. Пожар чуть было не истребил часть села, но, к счастью, сгорели один пустой двор, одно гумно и мякинник. Покос кончился. Само решил жениться и ушел с артелью каменщиков на приработки. Валент снова приступил к занятиям. Сверх того — на носу две свадьбы, потому как и Кристина с Матеем Сроком стали заметно поторапливаться. Вернемся, однако, к отдельным событиям и хотя бы вскользь поведаем обо всем по порядку.

Кристина отправилась с лугов еще засветло, однако время уже давно клонилось к вечеру. С добрый час она шагала луговой тропин-

кой, и вдруг перед ней вырос Матей Срок. Она вздрогнула от неожиданности, потом улыбнулась. Улыбнулся и он.

— Косовище сломал,— сказал он.— Надо сходить домой за новым. Можно с тобой?

Кристина кивнула. Матей Срок взял ее за руку и слегка потянул чуть в сторону — где был погуще кустарник. Она не упиралась. Матей привлек ее к себе и горячо зашептал в самое ухо:

— Не вытерпел, так захотелось хоть прикоснуться к тебе. И косовище нарочно сломал, и жду тебя уже целый час! А смог бы и два, и до утра. Моя ты, моя!

В сладкой головокружительной истоме поддавалась ему Кристина, пока совсем не отдалась. Любовные стоны и вздохи пронизали густой орешник с его стройными стволами и разлапистыми корнями. Лишь час спустя Кристина и Матей очнулись, спохватились и бегом понеслись домой. А ночью встретились снова. Стоило матери улечься и крепко уснуть, как Кристина тут же отворила окошко и дюжий Матей полез в него, да так нетерпеливо, что чуть избу не разворотил. В ту ночь они пообещали друг другу, что по осени непременно поженятся.

И в ту же самую ночь стряслась нежданная беда. Около полуночи загорелся небольшой общинный мякинник — от него занялось полупустое общинное гумно и стойла для быков. В Кристининой комнатенке Матей Срок изнемогал от любви, а в это время на площади перед бычьим стойлом кричал и трубил сельский караульщик Петрец: «Пожар, пожар, пожар!» Перепуганные люди нехотя вылезли из нагретых постелей и бросились на помощь старым пожарным. Сельский посыльный и глашатай Крохак с пастухом Моравцем, с караульщиком Петрецем и со скотником, отвязав четырех общинных быков, отвели их в безопасное место. Насос заработал, а люди — большей частью женщины, дети и старики — помогали тушить пожар ведрами. Время шло. Стояло безветрие, урон был невелик, к тому же прибежали с лугов первые косари. Около шести утра пожар удалось потушить. Все были рады-радешеньки, что сгорели одни общинные строения — их-то всем миром быстро отстроят. Корчмарю Гершу пришлось отворить корчму уже в половине седьмого. Народу навалило туда столько, будто закрылась ежегодная ярмарка. Мужики, сжимая в мозолистых ладонях рюмки и выцеживая палинку до последней капли, отчаянно дубасили по полу ногами. И вдруг откуда ни возьмись на них, голодных, свалился пекарь Шалбергер с полной корзиной рогаликов. Мужики съели все подчистую и щедро заплатили. Вполне вероятно, что о пекаре Шалбергере в дальнейшем мы можем незаслуженно забыть — так поведаем лучше сразу, что приключилось с ним позже. Осенью, когда в селе готовились к очередной ярмарке, завел пекарь на пироги, рогалики и хлеб невиданную прорву теста. Затопил все пекарницы и печи. Тесто всходило, набухало, раздувалось. Старенький пекарь ходил вокруг — нарадоваться не мог. Трогал его, шлепал, поглаживал чуткими ладонями. Радовался. От радости сердце-то вдруг и лопнуло. Он вытаращил с перепугу глаза и, охнув, судорожно сдавил грудь — в толк не мог взять, что с ним творится. Он умирал и не в силах был даже голос подать. Ниже и ниже клонился он над самой большой кадкой с тестом и, наконец, переломившись в поясе, свалился в нее. Квашня его обняла, поглотила, всосала, будто давнего своего любимчика. Спустя время заявилась в пекарню добросердечная, но строгая пекарева жена Сара. И видит: тесто взошло, пекарницы и печи растоплены, пора бы хлеба раскатывать, рогалики закручивать, пироги украшать — да вот мужа нет как нет. И даже двое подручных-начинашек куда-то запропастились. «Ах, шалбер старый и злосчастный! — Сара ломала руки над тестом.— Опять где-то дрыхнет, а может, и нализался». Вышла она во двор, звала пекаря, искала в доме и поблизости, распаляясь все пу-

ще, а найти нигде его не могла. Наконец заявились сорванцы-подручные. Сара наказала им тотчас заняться квашней. Подручные Павол и Рудольф, засучив рукава и начисто вымыв руки, взялись за работу. Перво-наперво захлопотали над тестом в самой большой кадке. Да вот дела: запуская в нее руки, все время наталкивались на что-то твердое. Они переглядывались, диву давались и никак в толк взять не могли, что это еще за штуковины выдумал старый пекарь и замешал в тесто. «Ну и пусть,— решили они,— испечем все, что мастер наготовил». Вывалили они тесто из самой большой кадки на огромную лопату и ну его месить, трепать, мять и залаживать самый здоровенный хлеб, какого еще в жизни не видывали. Когда хлеб вылепили и собрались было сажать его в самую большую пекарницу, тогда-то и выпросталась из теста Шалбергерова рука. Подмастерья хвать за руку — да и вытащили из теста покойного пекаря. «Фу ты, черт! — ужаснулись оба.— Эдак мы бы его в момент испекли!» Обмыли они мастера и пошли тихонько поведать обо всем на ухо Саре. А Сара наказала им, закляла всеми клятвами — о несчастье никому ни словечка! Они долго держали язык за зубами. До тех самых пор, пока в первый раз не упились. Тайной отягощенные, измученные и истерзанные души не вынесли и раскололись, всем на потеху...

Но тогда, когда одолели пожар, еще никто и представить не мог, как окончит свою полезную жизнь трудяга-пекарь. Угощались в корчме, однако, не долго: к восьми утра стали туда заглядывать нетерпеливые женки и каждая своего мужика (или своих) вытягивала и заставляла воротиться на покос. Но и ему приходит конец. В тот год погода держалась, и крестьяне управились на верхних лугах за две недели. Скосили траву, высушили ее и свежим сенцем забили сенники. На сеновалах одуряюще пахло. Теперь, как никогда, на них сладко было полеживать и видеть сны. Однако ж столь благостного роздыха мужики не дозволяли себе и стягивались на ближние луга. Женщинам полегчало. Разудалые девки вечерами все чаще выставляли на придомьях свои загорелые икры и плечи. Снова до поздней ночи звенел зазывный женский смех, дразнивший страждущих...

■

Хватит дома баклуши бить, пора в путь-дорожку снаряжаться — сказали на исходе сентября несколько гибовских каменщиков и взялись готовить свой инструмент. То была слаженная артель сверстников, и предводил ею повидавший свет, лет на десять старше товарищей, мастер-каменщик Петер Жуфанко. Меж собой они прозывали его Змеем. Пока дорос до мастера, он обошел в подмастерьях всю Австро-Венгрию, Швейцарию, Германию, раза два-три вел кладку и в России. Если кто представляет себе каменщика приземистым, коренастым молодцом, у которого от кельмы, шпателя, отвеса, молотка и вечного подкидывания кирпичей несоразмерно утолстились бы мышцы или который бы от частого прищура то одного, то другого глаза окосел, так в данном случае он очень бы ошибся. Змей был тому прямой противоположностью: высокий, стройный, даже сухощавый. Лицо — и главное, подбородок — будто высечено, щеки в меру запавшие. Руки чересчур велики, а ладони до того широки, что прыгни он ненароком с лесов и взмахни ими, как крыльями, то минуту-другую, пожалуй, и парил бы в воздухе. При ходьбе он покачивался, изгибаясь всем телом, словно ввинчивался в воздух. Взгляд сосредоточенный, пронзительный — посмотрит, аж мороз по коже подирает. Змей, одним словом. Но нравом был приятный, веселый, хотя и не бог весть какой покладистый. Не дурак был выпить, и уж тогда — как о нем язвительно говаривали — имел склонность вкручиваться в земные трещины, кои во хмелю упорно выискивал. Ходила о нем молва — столь же язвительная,— будто в молодости он со своей бабкой,

у которой были такие же склонности и на которую он явно смахивал, пробуравили собственными телами подземные ходы между Гибами и Выходной. Наловили будто ужей и гадюк и их выделанной кожей ходы эти выстилали. А потом скользили по ним меж двумя селами. Когда же Змей поддавал лишку — а случалось это нередко,— он грозился, что со злости влезет в какую-нибудь трещину, пропасть, скважину, упрется в ее стены плечами, локтями и будет давить так истово и долго, пока наша матушка-земля не треснет и совсем не располовинится. Хорошо еще, что он ловок был и работать. В этом было его главное достоинство. На кладке мало кто мог с ним сравниться.

Не угнаться за ним было даже Бенедикту Вилишу, прозванному Самоубивцем. У этого каменщика была препротивная привычка — после каждой третьей фразы повторять: «Самоубьюсь!» Впервые у него это вырвалось три года назад, когда работал на Штрбском Плёсе [1]. Влюбился он там в пухленькую кухарку, увивался за ней, любезничал, а когда робко открылся ей в любви, она со смехом отвергла его. «Самоубьюсь! — вскричал он тогда.— Все плёсо выпью!» — «Хотела бы я на это взглянуть, жалкий бахвал!» — презрела его кругленькая стряпуха. Рассказывали, что отвергнутый Бенедикт Вилиш, гонимый злобой и тоской, немедля залег у Штрбского Плёса. Вздохнул и стал пить. А чуть поодаль от него куражилась неугомонная кухарка. Но чем дольше лежал Бенедикт, тем явственней затихал ее смех. Прошло не так уж и много времени, утверждают злопыхатели и зубоскалы, и плёсо было в животе у Бенедикта. Кухарка, ахнув, свалилась без чувств. Когда ее любезный поднялся на ноги, живот у него так вздулся, что касался Татранских хребтов. Он стоял и ждал, что вот-вот испустит дух, ан смертушка не приходила. Очнулась тут и кухарка, кинулась к Бенедикту, стала в восторге его целовать, обнимать. Но теперь Бенедикт уже и знать ее не хотел. Он ходил взад-вперед, вздыхал и упрямо ждал смерти. А раз косая не шла, он взял да и сдался — выпустил все в штаны. Плёсо вылилось, но не в яму, где покоилось до сей поры, а в долину, что клонилась к Важцу [2]. Важетяне в тот памятный день сочинили легенду о новом вселенском потопе. Прошло две зимы, пока плёсо вновь наполнилось водой до самого края. Бенедикт покинул вероломную, двоедушную стряпуху, ушел навсегда со Штрбского Плёса, и лишь как память о дурных временах осталось у него это спотыкливое: «Самоуб-б-бьюсь!» Однако с той поры Бенедикт Вилиш уже не помышлял о том, чтоб убить себя. Он понаторел в ремесле и ухаживании за женщинами, и выгодное сочетание этих двух увлечений вполне его устраивало. Третий в артели был Матей Шванда-Левша — парень необычайно изобретательный и сильный. Долго мог он терпеть всякие обиды и колкости, но уж коли вскипит — спуску никому не дает. Сказывали, в отместку за какие-то слушки, не то мелкие передряги, похитил он у бывшего старосты Ондрея Надера передние колеса с телеги и отнес их на макушку Кралёвой. Тащил их на спине, чтобы следов не осталось, да еще крпцы [3] надел задом наперед. Был он левша — и левая рука у него была необычайно сильной и меткой. Не было кочерги, которую бы он не мог согнуть, рукоятки, которую не мог бы сломать. В ушко иглы резким броском продевал нить с двух шагов, если перед тем на колене туго-натуго скручивал ее кончик. Левша горазд был смеяться, и пока смеялся, все было лучше некуда, а он глядел таким добряком — хоть гвозди в колено вколачивай. Работалось с ним легко и приятно. И потому даже силища его никому не внушала страха.

А вот словоохотливый Мельхиор Вицен, по прозвищу Мудрец, был человеком вздорным, злобным, хотя и к нему можно было при-

[1] Высокогорное озеро в Словакии.
[2] Местечко в Средней Словакии.
[3] Словацкая национальная обувь типа чувяков.

выкнуть. Он непрестанно над чем-то раздумывал, вслух решал все мировые проблемы, обсуждал все политические события, едко высмеивал поступки и суждения товарищей и больше всего на свете любил читать. А когда вел кладку, вечно мудрствовал о том, как бы изобрести механического каменщика по принципу паровой машины. Долго носился с мыслями, что и города недурно бы строить на рельсах, дабы передвигать их с места на место, из края в край. Лишь по причине занятости Мудрецу не удалось соорудить косу на паровой тяге, хотя чего только он не ждал от нее. Если бы надлежащим образом увеличить такую косу, то можно было бы выкашивать не токмо траву, но и целые леса, а под землей добывать уголь и руду. Артель любила его — несмотря на сварливость, а особенно оценила с тех пор, как он объяснил причины затмения луны и солнца. Тогда-то и засомневались в его прозвище — стали подумывать о том, а не назвать ли Мудреца Профессором. Но Матей Шванда-Левша деликатно растолковал товарищам, что «профессор» ничуть не лучше «мудреца» — и все осталось по-прежнему. Да и Юрай Гребен, видать, до последнего вздоха не избавится от прозвища Рыба, хотя на рыбу он ничуточки не похож. Просто всегда молчал как рыба — говорить было для него сущей мукой. Однако слушать любил — кивал и улыбался, хотя сам, бывало, и словечка не вымолвит. Даже когда оно кстати. Чаще всего махнет рукой, отвернется — и вся недолга. Многие считали его немым, пока не услыхали, как он поет. Говорить он то ли не умел, то ли не хотел, а вот пел — заслушаешься! Бывало, раскроет рот да затянет — так от этакой красоты будто к земле пристываешь и долго сдвинуться с места не можешь. Песен Рыба знал несметное множество и каждую новую запоминал с первого раза. Как видите, нашему Юраю Гребену куда более пристала бы кличка Певец, ан нет, звали его Рыба. Но это ничуть не задевало его — по крайней мере он никогда на этот счет не высказывался. Зато Феро Дропа был несказанно горд, что называют его Брадобреем. Его заветной мечтой было стать заправским цирюльником, открыть хотя бы маленький салончик и стричь-брить там с утра до вечера. Запах мыла для бритья, одеколона, блестящие и острые бритвы, машинки для стрижки волос заворожили его сразу же, как он увидел их впервые у парикмахера в Микулаше. И уж потом во всех городах, в которых оказывался, он часок-другой непременно проводил и в местных цирюльнях — все работой мастеров любовался, никак наговориться с ними не мог. Случалось, что умиленный парикмахер, сраженный таким почтением и восхищением, брил и стриг его задарма. Но Феро Дропу это мало утешало. Куда бы больше польстило ему, возьми они его хоть учеником в свою цирюльню. Но дело пока до этого не дошло, и Феро Дропа продолжал лелеять мечту, что однажды, накопив за долгие годы денег, он откроет в родном селе парикмахерскую и всю первую неделю будет стричь и брить безвозмездно. Стазка Дропова была двумя годами моложе брата, но уже слыла отменной стряпухой. Готовка была для нее игрой фантазии, еда — художественным творением. Среди каменщиков не было ни одного, кто не смаковал бы ее лакомой стряпни. Они охотно брали ее с собой на стройки и все усердно приударяли за ней — конечно, втайне от брата. Не избежал сего искушения и Само Пиханда, прозванный товарищами Пчелой. Однако вскорости он бросил за ней волочиться — в то время Стазка уже водила дружбу с Бенедиктом Вилишем. Но стоило о том прознать недремлющему Брадобрею, как проказнику Самоубивцу пришлось от амуров со Стазкой отказаться. Бенедикт Вилиш-Самоубивец и Само Пиханда-Пчела смирились и тосковать перестали. Но каково же было общее удивление, когда узнали, в кого влюбилась и с кем связалась Стазка. Однако об этой истории мы поведаем позже, когда черед придет. Теперь же самая пора сказать несколько слов и о Само Пиханде. Он тоже был каменщиком хоть куда. Работать любил

чисто и красиво. Не отлынивал, даже когда возможность была, охотно другим помогал. «Мы ни дать ни взять пчелы,— говаривал он,— только в работе наше спасенье. Другого нам не дано — хочешь выжить, работай до седьмого пота. Пчелы, они ведь как? Гляньте на них! Целое лето хлопочут, мед собирают — и все чтоб род свой продолжить. А мы разве другие? И нам деваться некуда, знай вкалывай, коли хочешь выжить и оставить потомство!» Случалось, он бредил пчелами денно и нощно, равнял себя с ними, на все лады расхваливал. Похоже было, он их даже побаивается, оттого и расхваливает, хотя особого вреда они ему пока не причинили. Недаром пристало к нему прозвище Пчела — он и сам принимал его как должное. Повсюду отыскивал пчельники, заглядывал в ульи, заводил с пчелами бесконечные разговоры. Прошлый год по дороге из Ружомберка купил в Ондрашевой у местного учителя за бесценок сбившийся в кучу пчелиный рой. Опасливо сунул его в рюкзак и понес. В пути пчелы почему-то растревожились — пришлось за Микулашем их выпустить. Искусали они его тогда страшно — домой явился весь опухший. С неделю мать с Кристиной натирали его уксусом и прикладывали прохладные примочки, пока отеки не спали. Но пчелиные жала — как он потом уверял — прогнали из плеча ревматизм. В добром расположении духа он любил пофантазировать, как славно было бы скрестить пчелу с воробьем. С одной стороны, стало бы меньше прожорливых и ненасытных птиц, а с другой — пчелы величиной с воробья собирали бы куда больше меду и все лето кормились бы всевозможными букашками. Ульи были бы большими, как хлева, и мед из них выгребали бы лопатами. «А жала бы какие были?» — спросил Мельхиор Вицен-Мудрец. «Жала?» — заудивлялся Само. «Как кинжалы»,— опередил его Феро Дропа-Брадобрей. «Нет,— возразил Само,— у новых пчел жал вовсе бы не было. На черта они им?! Врагов у них стало бы меньше, с птицами бы они подружились, так зачем им жала?!» — «А яйца бы несли?» — не унимался Мудрец. «Яйца? — задумался Само.— Это, пожалуй, можно!» — «Тогда уж лучше скрестить пчелу с курицей,— снова подал голос Мудрец.— Меду было бы больше, и яйца крупней, и пчелиного мяса: ешь — не хочу!» — «Эй ты, пентюх! — отозвался тогда Матей Шванда-Левша.— А как бы они такими здоровенными клювами в нежные цветки заглядывали?» Все ненадолго задумались. «Проще простого! — с облегчением рассмеялся Мудрец.— Вместо клювов у них будут пчелиные хоботки. Тоненькие-претоненькие, точь-в-точь как у пчел!» — «А не лучше ли уж сразу скрестить пчелу с человеком? — высказал мысль Брадобрей.—И разумом обзавелись бы...» — «Если его будет столько, сколько у тебя,— оборвал его Мудрец,— толку чуть. Да и потом, зачем нам работать, как пчелам? Человеку и не к чему так надрываться, думать ему будет недосуг, а без этого какой человек?» Юрай Гребен-Рыба только кивал, кивал, удивлялся, но слова не проронил. Само Пиханда развел беспомощно руками. «Уж лучше пусть все как есть,— откликнулся Брадобрей.— Я собой вполне доволен. И пчелами тоже!» Все поддакнули, и разговор на том кончился.

После обеда перед отходом вся артель каменщиков собралась у Пиханды во дворе. Сидя на бревнах, судили-рядили, что взять, чего не забыть и куда податься.

Когда уж почти столковались, подсели к ним два местных железнодорожника — Ян Аноста и Биро Толький. Оглядели артель и, похоже было, завидуют: идут, дескать, парни в мир, на стройку — людей посмотреть, себя показать.

— Чего вас завидки берут? — накинулся на них Левша.— У вас работенка дома, и если поезд не прихлопнет, то гни себе спину на чугунке до второго пришествия!

— Да разве мы тебе завидуем? — рассмеялся Биро Толький.— Ступай хоть к черту на кулички, ломай себе шею...

— Я бы лучше дома, как ты, разлеживался,— отозвался Пиханда.— Найди мне работу на чугунке — я с места не двинусь.

— Не принимают, братец! — сказал серьезно Аноста.— И еще долго не будут! У нас и то никакой уверенности,— повернулся он к Левше.— Поговаривают, что скоро и с чугунки начнут увольнять.

— Куда же податься бедному человеку? — отозвался молодой крестьянин Петер Слабич, слушавший разговор каменщиков и железнодорожников.— Построили чугунку, и крестьяне теперь не могут извозом промышлять — возить соль и руду. Потеряли последнюю возможность заработать копейку...

— Нужно послушаться советов учителя Орфанидеса! [1] — сказал Пиханда.

— Одними деревьями и пчелами сыт не будешь! — возразил Мудрец.

— Четверых-пятерых детей цельный год не продержишь на фруктах и меде. Да и не наберешь его столько.

— Речь не только о деревьях и пчелах,— сказал Само Пиханда.— Орфанидес советует открыть новые фабрики, чтоб поддержать бедноту.

— А кто их откроет? — рассмеялся Аноста.

— Беднота!

— Хе-хе, а у нее есть капиталец? У тебя есть? Как видишь, ни у тебя, ни у меня, ни у кого из нас нет для этого капитальца,— продолжал Аноста.— А у кого он есть, тот, ясное дело, может открыть фабрику, да еще и нажиться на ней.

— Да откроют ли?! — засомневался Мудрец.— Кому надо ее открывать?! И что на этой фабрике производить? Уж не глиняные ли горшки? На них и наших гончаров станет. Или бочки под капусту? А где продать их? Кто их купит? У каждого свой бочонок в погребе... Может, палинку? Ее тоже на свете до черта!

Мужики не смеялись. Молчали — словно их мучило, терзало, давило что-то недосказанное. Кивали, думали, хмыкали.

— Были бы фабрики, были бы и гроши! — скорей простонал, чем проговорил Бенедикт Вилиш.

— Дерева кругом навалом,— отозвался Матей Шванда.— Можно бы и его пустить в дело...

— Вот дурьи головы! — высмеял обоих Мудрец.— Капитальца на фабрику у вас нет, леса в округе не ваши. Сидите тут и строите воздушные замки... Не-ет, друг любезный, держись-ка своей кельмы. Она одна тебя не подведет! Ждать нам от жизни нечего! Ломай хребтину на поле да на промысле до последнего издыхания. Ишь, фабрикантами стать захотелось! Вот умора!

Приступ смеха согнул его в три погибели. Он гоготал, кричал, хрипел, а по лицу текли слезы. Он ревел, сипел, под конец даже завыл. Может, его и кондрашка бы хватил, не пни его Матей Шванда-Левша под зад. Мудрец кувыркнулся и очухался. Поглядел на Левшу и собрался было кинуться на него, уж и кулаки сжал, да силач Левша, как бы не обращая на него внимания, повернулся боком. Мудрец запрыгал вокруг Левши, потянулся злобно к нему пальцами, но вдруг — откуда ни возьмись — мастер Петер Жуфанко.

— Это чего вы тут выкомариваете, молодцы? — обрушился он на Левшу и Мудреца.— Завтра идем в Брезно на стройку, а вы жуть какие неприбранные, нечесаные, точно вас из хлева выпустили. Волосы длинные — хоть косы заплетай. Подбородки, шеи позаросли, аж кадыки не видать! — говорил Змей, строго оглядывая свою артель. И лихо плюнув на метр от себя, крикнул Феро Дропе: — Брадобрей! Ну-ка, живо всех постриги! Потом побреетесь! И одежду провет-

[1] Учитель, садовод занимавшийся просветительством в местечке Гибе (1818—1895).

рить, подлатать, пуговицы пришить,— распорядился он.— Вы уж все на военной отслужили, вот и вспомните, чему там научились.

Мастер Жуфанко кончил, изящным полукругом выплюнул окурок, и парни враз зашевелились.

— Сперва меня пострижешь! — приказал Змей, остановившись перед Феро Дропой.

— К вашим услугам, ваше благородие! — пошутил Брадобрей и почтительно поклонился Змею.— Какую же прическу изволите?

— Обыкновенную, под горшок! — рассмеялся наконец и Жуфанко.

Тут же нашелся стул, и в Брадобреевых руках затявкали ножницы, замелькала машинка, забегал гребень.

Жуфанко-Змей сел, Брадобрей насадил ему на голову глиняный горшок, прижал его левой рукой, а правой по кругу начал стричь волосы...

— Готово! — сказал Брадобрей и подал мастеру зеркало.

— А я еще парнишка хоть куда,— похвалил тот себя со знанием дела.

— Следующий! — возгласил Брадобрей.

На стул сел Самоубивец.

Вечера и ночи перед отходом из дому бывают самыми короткими. Тогда-то и надо больше всего спроворить, уладить, проверить. В лихорадочной торопливости словно каждую минуту ложится на отходящего безотложная обязанность. Под вечер подстерегла Мария Дудачова удивленную Стазку Дропову и, расставив ноги, преградила ей дорогу.

— Оставь Само в покое! — возопила Мария.

— Тьфу, да мне его даром не надо! — огрызнулась Стазка и, обойдя ее под самым носом, добавила: — Держи его в чулане под замком, а то на свете тьма девчат, да таких пригожих, что тебе и не снится...

Стазка унеслась, а Мария, глядя ей вслед, долго стояла в тягостном раздумье. С какой бы охотой оттаскала она обидчицу за косы и окарябала ногтями. И вдруг, передернувшись, помчалась домой — поджидать своего Само. Не она одна поджидала: в тот вечер за многими окошками стучали девичьи сердца. В поте лица трудились каменщики, расставаясь на десять недель со своими зазнобами.

Было уже утро, когда Само доплелся домой. Выкатилось солнце. Само жмурился, на веки ему давила усталость, ноги дрожали, подкашивались. После этой изнурительной, бессонной ночи он с наслаждением завалился бы в прохладную постель, накрылся бы периной и продрых бы хоть до обеда. Но через час надо было уходить. Дома на дворе его потешили подвиги отоспавшегося петуха. Он топтал одну курицу за другой и довольно отхекивался. Наконец гордо и спесиво закукарекал. Начинался новый день. Само извлек из колодца ведро студеной воды, вылил ее в деревянную шайку и хорошо, до пояса вымылся. Полегчало. Усталость сошла, веки и глаза ожили, колени обрели устойчивость. Заговорил в нем голод...

Артель вышла ровно в семь. Семеро мужчин, восьмая женщина. Воскресное утро робко подталкивало их сзади солнечными лучами. Обвешанные всякой кладью, они подались вверх по Глубокой дороге и на Камне остановились. Мастер Жуфанко сбросил со спины рюкзак.

— Положено проститься с селом и краем! — сказал он серьезно, словно совершая обряд.

Запустив руку в рюкзак, вытащил бутылочку палинки и налил в рюмки. Выпив друг за дружкой, они попрощались с родной землей, лежавшей перед ними как на ладони. Село жалось прямо под ногами,

а вокруг простирались неохватные угодья, обмывавшие на востоке подножья татранского Криваня.

— Какая земля, а не может нас прокормить! — сказал Мельхиор Вицен-Мудрец.— Хороший, благодатный край, глаз не оторвешь, а что толку? Ну скажите, что толку? Гнем горб в поле, а придет срок, спешим на заработки, а по весне мы такие же голозадые, как и год назад...

— А чего бы вам не работать здесь, в Липтове? — неожиданно отозвалась Стазка Дропова и тут же примолкла, словно испугалась или застыдилась своего вопроса.

— Не так-то все просто! По нашей части здесь работу трудно сыскать,— не спеша и рассудительно ответил Жуфанко.— Ты только оглянись! За работу биться надо, а потом еще скостят вполовину заработок. Вот, милая, и приходится подаваться на сторону. Да мы далеко не уходим, до Верхнего Погронья рукой подать. Вот ежели бы в Вену или Пешт, дело другое! Поездом туда я два дня добирался... Ну, пошли, скоро завечереет!

Они согласно вздохнули, вскинули рюкзаки на плечи и сбежали с Камня; пройдя под Известковой ломней, взошли на Вахтаров бугор. Старая дорога вскоре вывела к перепутью. Они прошли по мосту через Ваг, миновали Кралёву Леготу и бодро зашагали в сторону Малужиной, Нижней и Верхней Боцы. После полудня перекусили уже на Чертовице. Вниз спускаться было легко. Над Ярабой, а потом и пониже нее напились воды у кислого источника и полюбовались видом олених. Статный олень-двенадцатилеток вел их рысью в густую пущу на склонах Малого Гапля. Над Мытом под Дюмбьером каменщики по откосам Вартовки и Поганска свернули влево. Там вновь при подъеме изрядно взмокли. Миновав Студеный холм, спустились в Буяково, прошли Задние и Передние Галны и постучали в ворота славного старинного города Брезно. Было пять часов пополудни, а они уже в трактире заказывали себе пива.

— Здесь и останемся! — решил Жуфанко.— Закусим и сразу же разместимся в бараке на дворе: именно к этому трактиру и требуется пристроить такую же часть, как вот эта старая.

Жуфанко убежал и вскоре вернулся с трактирщиком Грундигом. То был мужик в теле, борода и усы полностью закрывали нижнюю часть лица, и рот можно было разглядеть только тогда, когда он открывал его.

— Мы пришли, пан Грундиг, как было велено! — сказал Жуфанко.— Завтра и приступим. Надо бы только обговорить подробности, а главное, плату.

— Я не возражаю! — трактирщик Грундиг подсел к столу и кивнул половому — тот вмиг подбежал.— Принеси каждому по пиву! За мой счет, господа...

Половой принес пиво, они чокнулись, выпили.

— За наш уговор! — возгласил тост трактирщик Грундиг.

— Десятник есть у вас? — спросил Жуфанко.

— Не требуется, я его заменю! — улыбнулся трактирщик.

— А помощницы будут?

— Четырех хватит?

— Хватит! — согласился Жуфанко.— А теперь о плате. Какая ваша цена?

Грундиг облизнулся, рассмеялся, а потом сделался серьезен. Допив одним духом пиво, приступил к делу.

— Пожалуй, не оплошаю,— подмигнул он Жуфанко, который сверлил его взглядом,— если положу каменщикам по семь гульденов в неделю, а вам, мастер, двенадцать. Стряпуху, разумеется, будете оплачивать сами.

Мужчины недовольно заворчали.

— Столько, а то и поболе мы могли получить дома — нечего было тащиться в Брезно! — сказал Жуфанко и взглянул на товарищей — те согласно поддакивали.

— Сомневаюсь! — сказал Грундиг.— Но хочу услышать ваши предложения.

— Тринадцать гульденов в неделю каменщику, восемнадцать — мастеру, а стряпуху, ясное дело, сами оплатим!

— Правда, стало быть, где-то посередке,— рассмеялся трактирщик.— Середка на половине, так никто не в обиде — век того держусь. А что, ежели нам и сейчас так? Предлагаю каменщикам десять гульденов в неделю, а вам, пан мастер, пятнадцать. По рукам?

Жуфанко поглядел на артельщиков. Они качали головами, мозговали, потом один за другим одобрительно закивали.

— Это ваше последнее слово? — спросил Жуфанко.

— Последнее! — твердо сказал Грундиг.

— Добро! — согласился Жуфанко.

Мастер и трактирщик ударили по рукам.

Мужчины промычали несколько слов на прощанье, и трактирщик удалился. Оставшиеся обменялись красноречивыми взглядами, кое-кто растерянно улыбался.

— Что скажете? — полюбопытствовал Жуфанко.

— Не бог весть какие деньги,— отозвался Мудрец.

— Не очень-то он расщедрился! — вставил Вилиш-Самоубивец.

— И впрямь не очень! — согласился Матей Шванда-Левша.

— А как в других местах платят, не знаете? — спросил Мудрец.

— Знаем!— обрадовал его Жуфанко.— Если хочешь, на гульден-два больше, топай в Пешт! Я сделал что мог, вы тоже могли бы слово вставить, коли не нравится...

К столу подошли двое незнакомцев.

— Ну что, дали себя уговорить? — спросил один из них.

— А ты чего нос суешь? — обрушился на него разъяренный Жуфанко.

— Только спокойно, товарищ! — усмирил его неизвестный.— Зовут меня Балцо, я каменщик.

— Я Митана, тоже каменщик! — представился другой.

— Жуфанко! — отрекомендовался Змей.

— Можно присесть? — спросил Балцо.

— Садитесь! — нехотя согласился Жуфанко.

— Так, стало быть, вы попались трактирщику на удочку,— повторил Митана.— Сколько он вам положил?

— А тебе что до этого?! — взорвался Матей Шванда.

— Да перестаньте вы дурака валять, говорите толком!

— Десять гульденов каменщику, пятнадцать — мастеру! Доволен? — через силу улыбнулся Жуфанко.

— Тьфу, черт! Испортили нам всю обедню! — Митана гневно стукнул кулаком по столу.

— Что мелешь? — загудел Жуфанко.

— Вы разве не заметили, что во всем Брезно ничего не строят? — вскричал раздосадованный Балцо.

— Нынче воскресенье! — отозвался Мудрец.

Мужчины засмеялись.

— Ладно вам, не до смеха сейчас,— нахмурился Митана.— Намотайте себе на ус: во всем Брезно не строят потому, что каменщики бастуют. Покуда не подымут плату до пятнадцати золотых каменщику и до двадцати мастеру, никто в этом городе кирпича не коснется!

— Думаю, не такие вы побродяги, чтоб забастовку сорвать! — в сердцах сказал Балцо.— Неделю-другую выдержим — и будет по-нашему!

— Что мне до того? — вскричал Само.— Я жениться хочу, мне деньги требуются... Я буду работать!

— А, вот ты как, голубчик! — воскликнул Митана.— Попомни, парень, что я тебе сейчас скажу...! У меня нету ни поля, ни луга, как, может, у тебя в Липтове. Негде вырасти ни картошке, ни зерну для кур. Я не развожу гусей, не кормлю поросенка. Я не то, что ты: вполовину крестьянин, вполовину каменщик. Я просто каменщик! Живу только на то, что заработаю на кладке этими вот руками. У меня четверо ребятишек, а я две недели как не работаю, потому что верю: такие, как трактирщик Грундиг, в конце концов уступят. А ты хочешь враз все угробить?

— Ничего я не хочу гробить! — возразил Само.— Но мне вправду деньги нужны...

— Выдержи, их станет больше! — сказал Балцо.— Наши семьи уже две недели подыхают с голоду, но мы продержимся! Хоть еще две.

— Ну, а мы что будем здесь делать две недели? — раздался голос Жуфанко.— Не сидеть же нам в этом трактире и ждать, покуда Грундиг и ему подобные уступят вам, а?!

— Уходите в другой город! — предложил Митана.

— А если не уйдем? — спросил Мудрец.

— Не сносить вам головушек! — сказал Балцо.

— А ну-ка не стращай! — сжал кулаки Левша.

— Днем будем под охраной жандармов! — заметил Мудрец.

— А ночью? — усмехнулся Митана.

— Мы и сами с усами! — хлопнул по столу Левша.

— Дело ваше! — сказал Митана и взглянул на Балцо.

Они встали и, не простившись, ушли. Артельщики молчали, вертели перед собой пустые пивные кружки и оторопело пялились на них.

— Что будем делать? — спросила наконец Стазка.

— Давать калечить себя, думаю, ни к чему! — сказал Феро Дропа.

— Там видно будет! — тяжело вздохнул Жуфанко.— Утро вечера мудренее!

Они поднялись, и половой отвел их в ночлежку. То был старый, сырой, заплесневелый барак, но спать в нем было можно. После маеты целого дня все с облегчением растянулись на койках. Долго охали, вздыхали, не могли заснуть. Сон был тревожный, до утра ворочались и просыпались.

Жуфанкова артель поутру наспех привела себя в порядок, и в полшестого все уже были у новой постройки трактирщика. Грундиг встречал их с бутылкой в руке. Уверенно расставив ноги и улыбаясь, собрался поднести им по рюмке.

— Погодите!—удержал Жуфанко нетерпеливую руку трактирщика.— Видите там этих ребят? Что это должно означать?!

Те стояли, опершись о стены соседнего дома. Их было двенадцать — среди них Жуфанко узнал каменщиков Митану и Балцо. Они скручивали цигарки, покуривали, но притом пристально следили за трактирщиком и Жуфанковой артелью.

— А, плюньте на них, на этих золоторотцев! — рассмеялся трактирщик, настойчиво всовывая в руку мастера рюмку.— Работать неохота, хотя за душой ни гроша.

— Вчера мы с ними толковали,— признался Жуфанко,— они просят больше того, на чем мы сошлись, но это ваше и их дело. И все ж таки нам бы хотелось каждое утро просыпаться в добром здравии!

— Неужто вы их боитесь? — ухмыльнулся Грундиг.— Пусть только посмеют тронуть вас — жандармы тут же их сцапают. Есть еще какая-то справедливость на свете!

— Так дело не пойдет! — сказал Жуфанко и взглянул на товарищей.— На такое своего согласия не даем.

— Будете работать или нет?! — рявкнул с вызовом трактирщик, расплескав в дрожащей руке половину рюмки.

— Ну как, ребята? — спросил Жуфанко.— Рискнем?

— Оно конечно, что до меня...— заколебался Само Пиханда-Пчела.— Вы же знаете, в душу вашу,— вскричал вдруг,— что мне деньги нужны, женюсь я!

Трактирщик Грундиг довольно рассмеялся.

— Зачем тебе жениться? — уязвил Пчелу Мудрец.— Не пори горячку, Мара еще обождет!

— Выпейте — и айда работать! — понукал их трактирщик и опять налил рюмку верхом.

Жуфанковцы поглядели друг на друга, на Грундига, на каменщиков, стоявших поодаль, и вдруг стали собираться. Трактирщик злобно фыркнул и опрокинул рюмку.

— Так, стало быть, нет, мужики, язви вас в печенку! — заорал он.— За ночлег заплатите!

— На вот и за вчерашнее пиво! — Жуфанко вдруг стал тыкать трактирщику и бросил ему под ноги гульден.— Айда, ребята! — крикнул он и гордо зашагал прочь.

Все двинулись за ним.

Местные каменщики издалека приветливо улыбались. Митана и Балцо, подбежав к жуфанковцам, крикнули почти разом:

— Ребята, каждому ставим по пиву!.. Только не у этого борова! Пошли в другое место! Пока найдете работу, в горле изрядно пересохнет!

Жуфанковцы выпили с собратьями-каменщиками, внесли и свою долю, а в семь утра уже отправились за тридцать километров в славный город Тисовец. В десять часов хлынул дождь, но в одиннадцать уже распогодилось. В двенадцать они поели на скорую руку, понурые, оглядели Кленовский Вепор и двинулись дальше. В два часа уже вошли в Тисовец, а в четыре столковались отделать местный трактир на тех же самых условиях, какие предлагал им Грундиг. Работы там было самое большее недели на три, но они решили остаться.

Жуфанкова артель управилась с работой к исходу третьей недели, в субботу до полудня. Стазка Дропова состряпала праздничный обед: половину барашка стомила в крупяной похлебке, заправленной картошкой и зеленью. К тому же поднесла каменщикам и по рюмке боровички со словами: «Перед кушаньем и после хороша палинка — сказал доктор Малинка». И сама, смеясь, не отказалась от рюмочки. Слова ее больше всех, почитай, рассмешили Юрая Гребена-Рыбу, и она с благодарностью во взоре подсела к нему. В руке держала недопитую рюмку, и мужчины заметили, как она украдкой предложила ее Юраю,— он притих, подмигнул Стазке и протянул к ней пустую ложку. Стазка вылила в ложку боровичку, и Юрай одним духом проглотил ее. Все глотнули вместе с ним и захихикали. «Ладно уж вам, ладно!» — заворчал Юрай Гребен и строго посмотрел на товарищей, которые уж точно подняли бы его на смех, не начни Стазка делить баранину. Каменщики не спускали глаз с ее проворных рук, покрикивали, подавали ей советы и выклянчивали куски получше. Сытно пообедав, они разобрали остатки лесов, и мастер Жуфанко дотошно осмотрел сделанное. Он со всех сторон обошел трактир и все кивал да кивал. Там-сям останавливался, обнюхивал, общупывал, оглядывал подсыхавшую штукатурку, а ребята, следившие за ним затаив дыхание, украдкой ломали руки, ворчали, брюзжали, но тут же успокаивались, как только Жуфанко двигался дальше. Потом все вместе отступили на пятьдесят шагов и

молча полюбовались делом рук своих. Трактир изменился до неузнаваемости. Он вроде бы вырос и помолодел. В красноватых лучах закатного солнца стал похож на расписное яичко. «Ей-богу, руки у вас золотые!» — только Стазкины уста и выдохнули похвалу. «Можно бы и лучше!» — бросил Жуфанко и отправился к трактирщику. Пошел да застрял, и каменщиков охватила тревога. Но тут они объявились в дверях. Трактирщик, которого уже второй день трясла лихорадка, закутан был по уши, на голове — баранья шапка, словно пурга на дворе. Он заметно нервничал, но работу каменщиков оглядел во всех подробностях. Не хвалил и не хулил, но временами качал головой и всматривался попристальней; под конец, однако, всех позвал в дом. «Ишь, стервец, как платить черед, так протянет год!» — шепотом отметил Мудрец. В трактире они расселись за длинным дубовым столом, положив перед собой шапки. Трактирщик заплатил всем поочередно, вычтя у каждого по гульдену за ночлег, и стал поеживаться лишь тогда, когда пришла пора поставить магарыч. Наконец он перемог себя и велел принести по стаканчику палинки да по пиву. Артельщики чокнулись, выпили, схватились за шапки, нахлобучили их на голову и потопали к своим лежакам. Был вечер. Они переночевали, а поутру, прежде чем зазвонили к заутрене, покинули Тисовец. Зашагали дорогой на Гнуштю. Три недели, проведенные в Тисовце, почти для каждого были что горькое похмелье. Каменщик неделю свыкается и лишь осматривается вокруг. Во вторую неделю он кое-что уже начинает кумекать и даже на комто из местных дев останавливает свой выбор. В третью неделю в первый раз заговаривает с девицей, что ему приглянулась. А когда наконец с большим риском осмеливается позвать ее на гулянку, пора трогаться в путь. Может, потому-то сезонный каменщик редко когда приводит жену с чужой стороны. Задержись он там месяца на два, на три, чтоб было время поволочиться, глядишь, какая-нибудь из красоток к нему и присохла бы.

Уходили они с тяжелым сердцем, но за Тисовцем уже грянули песню. Выдержали этак с полверсты, а потом по очереди стали перхать, покашливать.

— Кабы чем глотку сполоснуть! — вздохнул Матей Шванда-Левша.

— Что ж ты Герша за собой не таскаешь? — рассмеялся Жуфанко.

— В таком засушливом краю палинка должна бы из родников изливаться,— сказал Левша. — Дома выпивка и на ум нейдет, а тут пил бы да пил. Не пойму, что со мной.

— Не тоска ли тебя часом заела? — отозвался Пиханда.

— И впрямь тоска! — согласился Левша.

— Экие мы шатуны,— сказал Само Пиханда-Пчела. — Мотаемся по свету, бродим, не разбирая дороги, крпцы попусту дерем, а если где и остановимся, черта лысого заработаем. То, что истратим и порвем, нам уж никто не воротит!

— Живи водой и воздухом! — посоветовал ему Мельхиор Вицен-Мудрец.

— Или любовью! — засмеялся Бенедикт Вилиш-Самоубивец.

— Пошел ты со своей любовью! — заткнул ему рот Феро Дропа-Брадобрей. — Нужна она голодному! Пустое брюхо — любви поруха!

Мастер Жуфанко остановился и указал на речку Римаву близ дороги.

— Просвежимся.

Они сбежали к реке и сразу опустили в нее разгоряченные ладони. Кое-кто разулся и вымыл ноги. Иным достаточно было ополоснуть лоб, затылок или жилы на запястье. Освеженные, они зашагали бодрее и совсем забыли о том, о чем до этого говорили. Око-

ло десяти предстала перед ними Гнуштя. Вошли в нее тихо, как бы с оглядкой. Гнуштяне молились в костеле, а те, что остались дома, должно быть, отлеживались, отдыхали. В селе — ни души. Артельщики стали поглядывать друг на друга, а потом на Жуфанко, в раздумье жевавшего зеленый стебелек. Наконец он растерянно развел руками и направился к местной корчме. Долго ломились в нее, пока сонный корчмарь отворил дверь.

— Угомон вас возьми! — накинулся он на них. — Почитай, до утра вас потчевал, а вы мне и поспать не даете?!

— Пан корчмарь, да мы нетутошние.

— Вижу! — опамятовался корчмарь. Он протер глаза и стал оглядывать пришедших. — Чего изволите?

— Совет.

— На даровщину?

— Неужто и за это платить добрым людям?!

— Хороший совет стоит грош, а плохой вам и в два обойдется.

— Какой же ваш будет, пан корчмарь? — спросил Жуфанко.

— Еще не знаю, что изволите!

— Работы ищем.

— Зря сюда пожаловали! — махнул рукой корчмарь. — Требовалось тут подправить приход, да артель из Довалова вас уже упредила. О другой работенке здесь и слыхом не слыхал.

— Плохой совет! Видать, в два гроша нам обойдется!

— Ладно! Оставьте их себе! Я-то не разбогатею, а вам, может, сгодятся: у бедного и два гроша — куча хороша.

— На бедности свет стоит! — отозвался Мудрец.

— Так-то оно так, да лучше свеча, нежели лучина,— рассмеялся корчмарь. — Попробуйте попытать счастья в другом месте!

— А где?

— Не могу знать!

— Ну, наше вам почтение и доброго здоровья желаем,— поклонился Жуфанко и поворотился к своим: — Идем в Римавскую Баню!

Было им не до разговоров, и, совсем понурившись, лениво, нога за ногу, поплелись они по пыльной дороге. Лишь полчаса спустя оживились немного, наткнувшись на какого-то возчика. Телегу, старательно прикрытую холстиной, он оставил при дороге, и товар на ней не был виден. Единственная лошаденка, молодая, но отощалая, паслась в овраге. Сам человечек сидел возле телеги на земле и из небольшой миски подъедал шкварки.

— Добрый день! — поздоровался Жуфанко.

— Бог в помощь! — ответил человечек.

— Правильно идем?

— Это смотря куда!

— В Римобаню.

— Каменщики?

— Из Липтова! — кивнул мастер. — Я Жуфанко Петер,— представился он.

— Минчоль, сапожник.— Человек встал.— Из Кленовца! Правильно идете, а коли изволите, могу вас и хорошей обувкой снабдить. Крпцами, башмаками, бурками...

— Пока нужды нет! — выкручивался Брадобрей.

— Говоришь, из Кленовца ты? — спросил Жуфанко.— А работы для каменщиков там не сыщется?

— Ни про какую не слыхивал, да и в Римобане ничего путного не найдете,— ответил сапожник Минчоль. — Пошли со мной в Римавскую Соботу, там вам скорей какая кладка подвернется.

— А ты-то чего туда? — поинтересовался Жуфанко.

— Ярмарка завтра, авось товар и продам... Вижу, сомневаетесь. Да Римобаня так и так у вас на пути, сами спросите. Уж до Соботы

придется, говорю, вам себя утрудить. Время раннее, еще и до обеда далече, глядишь, к вечеру и поспеем...

Каменщики подсели к кленовскому сапожнику Минчолю, закусили и вскоре двинулись дальше. Через час-другой пришли в Римавскую Баню. На придомьях толпился народ — чего проще было расспросить о работе. Но как ни тыкался от одного к другому Жуфанко, все лишь отрицательно качали оперенными шляпами да вышитыми платками.

— Что, не говорил я? — взмахнул руками сапожник Минчоль и добавил раздумчиво: — Нет, каменщиком быть не по мне! Что одной рукой он строит, то другой рукой свет изводит...

— А твои крпцы, что ли, не рвутся? — ухмыльнулся Мудрец.

— Точно, рвутся, не оспариваю! Но в то, что ты выстроишь, любая война вкогтится, любой ветер упрется, любой огонь вгрызется.

— Каменщик на то он и есть, чтоб строить,— не уступал Мудрец. — Пчелы тянут работу долу, а каменщик — в гору!

— Я свое сапожничество не променял бы ни на что на свете...

— А я отродясь был и буду каменщиком! — сказал Жуфанко.

— Согласен! — улыбнулся сапожник Минчоль. — У всякого ремесла свой изворот, и хороший мастер в любом деле найдется! А гнуть хребтину что тут что там надобно!

За таким, а потом и другим разговором текло время и убавлялось дороги. Однако, пока дошли до Римавской Соботы, настала глубокая ночь. Только теперь каменщики поняли, как повезло им, что встретили они кленовского сапожника. Он устроил им ночлег у крестьянина на окраине Соботы и присоветовал, к кому утром обратиться. Разместившись, они купили небольшую бутыль вина, поднесли сапожнику и сами промочили запыленные глотки. И до самого утра спали сном праведников.

Помещик Губерт Чернак, досточтимый римавско-соботский гражданин, чуть не запрыгал от радости, когда знакомый кленовский сапожник Минчоль привел к нему в понедельник поутру Жуфанкову артель. Еще по весне начал он строить для своего старшего сына Дюлы просторный новый дом. Сынок его год как женился, и невестка Этела подарила ему внука. Радость помещика была столь велика, что он послал весть в высочайшие круги Пешта и Вены. Событие влетело ему в копеечку: пятьдесят тысяч гульденов истратил он на потчевание многочисленных родичей — приехал брат с домочадцами из Седмоградско[1], равно как и многодетная сестра из Ужгорода. Тысячу гульденов отослал он епископу в Будин на воздвижение протестантского кальвинистского храма и четыре тысячи — венгерскому правительству в Пешт на обновление и сооружение спорых дорог меж Римавской Соботой и стольным городом. Да вот дела: радость от семейной идиллии меж сыном Дюлой и Этелкой длилась до тех пор, пока через Римавскую Соботу не проследовала красивая и разгульная пештская графиня Эржика. Не в меру любознательный сын Дюла роковым образом влюбился в Эржику, уцепился за подол ее юбки и укатил в Пешт. Это было на исходе апреля. Этелка хотела погубить себя отваром белены, но добрые тетушки вырвали ее из когтей смерти. И вместе с плодом несчастной любви в конце концов она отбыла к матери. Венгерскому патриоту, помещику Губерту Чернаку, казалось, что чашу горечи он испил до дна, да еще выцедил из нее последние капли. Не слишком ли много на одну-то жизнь?! Отчаяние его, казалось, в ту пору не знало границ, и он, конечно же, отвернулся от дома — даже возненавидел фундамент, к тому времени уже поставленный. Меж тем женился на девице Розике младший сын Шандор. И теперь Губерт Чернак, во второй раз

[1] Седмоградско — один из бывших венгерских комитатов на северо-западе Трансильвании.

сделавшись дедом, решил для Шандора отстроить начатый дом. Вот почему жуфанковцы были так милы его сердцу. В добром расположении духа, в припадке особого великодушия, которое он, видать, частенько испытывал, он долго с ними и не рядился. Посулил им семерым и Стазке восьмой тысячу гульденов за кладку дома до самой кровли. Жуфанко оглядел просторный фундамент, прикинул все в голове и без колебаний согласился. По его подсчетам выходило, что за три недели они с домом управятся. Человек широкой натуры, Губерт Чернак пообещал в подмогу свою челядь и даровое жилье...

Уже вторую неделю жуфанковцы трудились не покладая рук. Кельмы, шпатели, отвесы и молотки мелькали над растущими стенами всякий день от зари до зари. Каменщики работали так, что не хватало времени, с позволения сказать, отлучиться по малой или большой нужде. Помещичьи челядинки в поте лица мешали раствор, подносили его к кладке, да и с кирпичами немало было мороки. Все до единой были девки незамужние, опаленные южным солнцем над волнистыми равнинами. Грудастые, общительные и податливые. И предметом их особо нежного внимания и всяческого расположения стали рослые липтовские каменщики. Ни один из них — по мере того как постепенно прибывало кирпичей в кладке — не отказал себе в удовольствии растопить на время свое сердце. У наших молодцов лишь по вечерам оставался часок-другой, чтобы в укромных закутках просторного имения успеть пощупать девушек, пооглаживать их прелести, потискать в пылких, хоть и недолгих объятиях, общелевать. По этой причине проглотили они не один попрек от нравственно стойкого Жуфанко, который что ни вечер вдалбливал им: «Хотели работать — так работайте! Заработать хотели — так зарабатывайте! Так вас и растак, вертопрахи-охальники, подкатываетесь тут к девкам, тискаете их, морочите им голову каждый вечер, а утром на кладке у вас ноги подкашиваются!» Ребята поддакивали, но и смеялись — знали, что говорит не всерьез. А Мудрец как-то за всех высказался: «Бог ты мой! Маленько позабавиться никому не возбраняется. Что мы тут кому плохого делаем?!» Жуфанко только махнул рукой и поглядел на Стазку с надеждой хотя бы у нее найти поддержку, но и она помалкивала. Сама, бедняжка, за эти дни не в одну передрягу попадала с помещичьим челядинцем — кучером Имро. Уж так повелось у каменщиков: работай до поту, а ешь досыта. Стазке приходилось порядком изощрять свою фантазию, и потому накупала она самой разной снеди у местных лавочников или крестьян. Кучер Имро частенько подстерегал Стазку, предлагая подвезти ее со всеми покупками в пролетке. Сперва она охотно принимала его одолжения, но потом, когда он стал не на шутку приставать к ней, испугалась и всячески избегала его. Но Имро притаскивался к ней на стройку, нимало не смущаясь тем, что Юрай Гребен-Рыба, хоть и не говорил ничего, а недовольно на него поглядывал. Однажды Само Пиханда, пожалев Гребена, строго одернул кучера: «Отцепись от Стазки, не вяжись, не то еще с лесов упадет тебе чего на голову!» Имро только фатовато сплюнул и шепнул Само на ухо: «Jön még kutyára dér!»[1]. На другой день утром у Пиханды сломался шпатель. Починить его не удалось, и он пошел покупать новый. Имро украдкой следил за ним. Само вошел к торговцу, знавшему только по-венгерски. Он показал ему сломанный шпатель и без труда выбрал новый. Расплатившись, подумал, что неплохо бы заодно купить и какой-нибудь подарок для своей разлюбезной Марии Дудачовой. Почесав в голове, он крепко задумался. Вдруг вспомнил, что Мария любит красивые заколки для волос.

— Дайте, пожалуйста, заколку для косы,— сказал он.

---

[1] Венгерская поговорка, соответствующая: «Найдется и на черта гроза!»

Торговец не понял и только улыбнулся.

— Коса, Kopf [1],— с трудом подыскивал Само подходящее венгерское слово, указывая на свои волосы.

— Kopf? — удивился торговец.

— Заколка для кос, для копфов,— силился объяснить Пиханда.

— Заколка? — снова удивился торговец, так и не поняв.

— Да, да, заколка! — обрадовался Пиханда.

В лавку вошел Имро с хлыстом в руке. Постоял, послушал разговор между торговцем и Пихандой и приблизился к прилавку.

— Иди ты!.. — Он резко оттолкнул Само от прилавка. — Раз не знаешь, чего хочешь, не покупай!

— Я-то знаю! — крикнул Само Пиханда.

— Ну так и спрашивай! — едко сказал ему Имро.

Само повернулся и вышел из магазина. Через минуту Имро догнал его и грубо схватил за плечо.

— У нас с тобой еще одно дельце! — сказал Имро. — Пошли, коли не трусишь!

Само поразмыслил, огляделся кругом и лишь потом кивнул. Они вошли в старый двор и за дырявым сараем остановились. Имро отбросил кнут, Само — шпатель. Набычившись, перекинулись злобным взглядом и сшиблись. Потрепав друг друга, упали на землю, поработали кулаками и опять поднялись. Дрались так, что дух захватывало, но ни один не желал уступить. Унялись они только тогда, когда хозяйка вышла кормить кур и, испугавшись, пронзительно вскрикнула — они катались прямо у нее под ногами. С той поры, встречаясь, они тотчас давали волю рукам. Однажды под вечер поднялась гроза, полил дождь, и кучер Имро подкатил в пролетке к помещичьему дому вымокший до нитки. Каменщики стояли под навесом, покуривали и громко подтрунивали над ним. Кучер несколько раз злобно стегнул кнутом в их сторону... И вдруг в ближний амбар ударила молния, оглушительно загрохотало, лошади шарахнулись, рванули из рук Имро вожжи и понесли. Каменщики под навесом дико завопили, но Само Пиханда прыжком преградил лошадям дорогу, схватился за узду одной из них и повис всей тяжестью. Некоторое время лошади волочили его, но в конце концов остановились. Само усмиряюще похлопал их по холкам, потом с оглядкой поднял вожжи и бросил их в руки перепуганному Имро. Повернулся и без слова удалился. Еще в тот самый вечер Имро и Само, встретившись снова, стали сходиться со сжатыми кулаками. На полдороге, однако, остановились.

— А чего ради мы деремся? — спросил кучер Имро.

— Может потому, что я словак, а ты мадьяр,— сказал Само Пиханда.

— Нет, не потому! — возразил Имро.

— А тогда почему? — спросил Пиханда.

— A nagy jóság kész koldusság,— сказал Имро.

— Переведи!

— В добре жить — по миру ходить!

Оба засмеялись, разжали кулаки. Имро шагнул первый и подал Само руку. Само пожал ее.

— Пойдем, у меня есть немного вина! — позвал Имро опешившего Пиханду.

— Споить решил? — спросил он недоверчиво.

— Выпьешь сколько захочешь.

Само пошел и пил сколько смог. У Имро в людской была своя комнатенка, и в ней при сальных свечах они допоздна пели словацкие и мадьярские песни. Отвели душу, поплакались, побратались и под конец так нагрузились, что уснули рядышком под столом. Через два дня пожаловал к нему кучер Имро и развернул перед его глазами обертку.

[1] Голова *(нем.)*.

— На, поднеси-ка своей! — улыбнулся Имро — на ладони у него сверкала красивая заколка для женских волос,— и помни, по-венгерски это csat...

— Я так не приму,— отказывался Пиханда. — Возьми деньги!

— И не думай, это подарок!

— Но ведь...

— Молчи и бери! — перебил его кучер Имро. — Бери же...!

Само взял заколку, дохнул на нее, вновь навел блеск и широко улыбнулся.

— Хороша! — сказал он.

Наступил день, когда Жуфанкова артель возложила на стройку последний кирпич. Вечером все были взбудоражены, как христиане перед исповедью. Глубоко до ночи судили и рядили, сдержит ли помещик Губерт Чернак свое слово — заплатит ли обещанное. Последние три дня его вообще было не видно — мотался где-то по округе. Челядь даже поговаривала, будто он внезапно наладился в Пешт к Дюле, своему заблудшему сыну. Все споры и догадки, однако, враз оборвал Петер Жуфанко своим однозначным возгласом: «Утро вечера мудренее!» И утро вправду было мудрое и справедливое. Помещик Губерт Чернак заплатил каменщикам обещанные тысячу золотых и более того: для них и усердствовавшей на стройке челяди приказал выкатить из погреба пятидесятилитровую бочку вина и зажарить оленя, которого сам отловил два дня назад. Кучер Имро был за главного повара и виночерпия. Каменщики и челядь вдосталь попили, поели, попели. Юлча привела двух музыкантов со скрипками и поразила всех своим чудесным голосом. Опьяняющим альтом она спела несколько словацких, мадьярских и цыганских песен. Но как раз тогда, когда парни и девки немного подвыпили, когда мужские ладони уже ощутили женское тело, когда пирующие раскачались в ритме вина и мелодии, когда все развизжались и завертелись в бешеном танце, мастер Жуфанко встал и громко, словно по наитию свыше, сказал: «В путь!» Каменщики послушались нехотя, однако ж послушались. Мастер-каменщик Жуфанко, всем на удивление, возблагодарил за хлеб-соль по-венгерски. В три часа пополудни они уже шагали по дороге на Рыткову, Сирк и Ревицу. Они спешили, словно боялись, что кто-то догонит их и отберет яства: три ржаных каравая, запеченный олений бок и пять литров вина, которыми одарил их Губерт Чернак. Они даже не держались дороги, часть пути сократили напрямки, лесом, потом махнули по пустому осеннему полю.

— Черт знает,— отозвался запыхавшийся Мудрец,— такой ли уж добряк этот Губерт Чернак или просто дурак?!

— Дурак он! — решил Матей Шванда-Левша.

— Дети дурака из него сделали,— засмеялся Феро Дропа-Брадобрей.

— В кои веки встретился добрый человек, так вы его уж дураком обзываете,— сказал Петер Жуфанко-Змей. — Он ведь дал нам только то, что положено. Обмани он нас, откажись заплатить, вы бы сочли его за порядочного и умного. Людишки вы — и ничего больше!

Переночевали они в Теплом Верхе, а на следующий день через Рыбник, Раткову и Сирк прошли в Ревуцу. Тут везло уже не так — чем дальше они продвигались на север, тем меньше был спрос. Либо работы по их части на стройках были уже закончены, либо их опередили другие артели. В Ревуце они задержались на три дня, в Мурани клали стены для местного лесничего два дня, но ни в Червеной Скале, ни в Телгарте, ни даже в Вернаре работы не нашли и вот, усталые, измотанные бесплодными поисками решили наконец повернуть к дому. Начинался уже декабрь, когда в ненаглядной долине под ними возникло родное село Гибе. Посидев в задумчивости на

склоне Кралёвой, они сбежали вниз в раскрытые объятия жен, матерей и возлюбленных, да к бранчливым отцам. Началось затяжное и подробное изложение пережитого. Жены, матери и зазнобушки ахали от удивления, но отцы ерзали на деревянных лавках и пренебрежительно бросали: «Хм, это что, сынок! Вот когда мы строили, а после в Пеште...» — «Помолчал бы ты! — одергивала жена мужа.— Нынче свет другой!» — И она доверчиво оборачивалась к сыну, а тот уже смелее продолжал свой рассказ.

Само Пиханда никого дома не нашел. Двери были на запоре. Он отпер их, сложил вещи, инструмент, рюкзак. Где это все шатаются, подосадовал он, но тут же смирился. Откуда ж им было знать, что он придет. Он заглянул в чулан, напился кислого молока и вышел во двор. В хлевах и коровнике — ни души. Никак вымерли все, дивился он. Вдруг ему показалось, что в пчельнике кто-то разговаривает. Он вышел в сад, заглянул в пчельник. Отец и учитель Орфанидес даже не заметили, что он наблюдает за ними — так были увлечены пчелами. Рассматривали улей, брюзжали, бранились, потом что-то выкрикнули и следом рассмеялись. Их разговор был похож на пчелиное жужжание. Само даже на миг показалось, что оба разговаривают с пчелами по-пчелиному.

— Добрый день! — поздоровался он.

Отец и учитель изумленно обернулись. Завидев Само, сразу заулыбались.

— Само!

— Самко!

— Здравствуй!

— Ну, доброго здоровья!

Он вошел в пчельник, протянул отцу и учителю руку и заглянул в улей. По вороху пчел медленно ползала пчелиная царица.

— Это та старая? — спросил он, указав на царицу пальцем.

— Старая! — подтвердил отец.

— Не отроились?

— Нет!

— А меду было?

— Мало! — сказал учитель.

— Не лучше бы матку помоложе?

— И эта хороша! — сказал отец.

— Хороша! — подтвердил учитель. — Просто год для пчел никудышный, больно сырой и холодный.

— Ну рассказывай, как было! — засмеялся отец и радостно похлопал сына по плечу. — Наработались?

— Наработались! — сказал Само.

— Так, выходит, и заработали! — продолжал смеяться отец.

— Есть малость!

— Добро, добро!

— Мы и правда как эти пчелы,— отозвался учитель Орфанидес. — Гляньте на них. Работой мы только и спасались. Тысячелетие выдюжили лишь потому, что умеем спину гнуть. Десятеро погибнет, а двенадцать народится! Точно пчелы, ей-ей, точно пчелы... Осмотрим-ка все, и те то же.— Он указал на крайний улей и немедля направился к нему.

— Верно сказано: мы те же пчелы,— подтвердил отец и оборотился к сыну.— Смотри, береги их пуще глаза и никогда не продавай, даже если станет тебе хуже некуда! Всегда пригодятся...

Само кивнул — отец умиротворенно улыбнулся. И повернувшись к учителю, стал с ним осматривать крайний улей. Само вытащил из кармана руку. В ней был золотой. Неловкими, огрубевшими от работы пальцами он хотел поиграть с монетой, но она выпала. Нагнувшись, он подобрал ее, но рядом с ней вдруг увидел рыбью кость — ту, что несколько месяцев назад едва не задушила его. Он

поднял и ее. Испытующе поглядел в спину отцу и учителю. Оба увлеченно копались в открытом улье и про Само словно забыли. Тогда он подошел к улью, поднял крышку и виновато улыбнулся пчелиной матке. «Вот видишь, я тут»,— обратился он к ней мысленно. «Я знала, что придешь»,— как бы отвечала она. «А знаешь, что я сейчас сделаю?» — спросил он. «Хочешь меня убить»,— сказала она. «Да, я наколю тебя на эту рыбью кость, проткну твое пчелиное сердце и скормлю тебя голодной курке». «Попробуй»,— сказала пчелиная матка. «И попробую!» — Само приблизил острие рыбьей кости к пчелиной матке и легонько ткнул в ее мягкое тельце. Пчелиная матка оцепенела, а пчелы злобно зажужжали. По меньшей мере пятьдесят их накинулось на Самову руку, и прежде чем он успел проткнуть пчелиную матку, многие ужалили его. Он дернул рукой, косточка из пальцев выпала. Он снова дернул рукой и попытался стряхнуть неистовых пчел. Или хотя бы опустить покрышку.

— Ты что делаешь? — Отец поворотил к сыну голову.

— Ничего, ничего,— ответил Само, смешавшись.

— Не дразни их! — остерег его отец.

— Меня долго не было,— объяснял Само. — Они позабыли меня,— добавил он и поспешно спрятал руку за спину. Украдкой взглянув на нее, увидел, как быстро она набрякает. Сжал зубы от боли и сунул руку в карман. — Кто-нибудь знает пчелиный язык? — спросил он.

— На свете нет такого человека,— ответил учитель.

— А я знаю пчелиный язык,— сказал Само спокойно.

— Ах ты затейник,— засмеялся учитель. — Понимать пчел — еще не значит с ними разговаривать.

— А я с ними разговариваю! — твердил Само свое.

— Ты и впрямь затейник! — смеялся старый учитель.

— Не болтай, Само! — оборвал отец сына. — Лучше покажи-ка, что заработал!

Само подошел к отцу и искусанной рукой вытащил из сюртука большой кисет. Развязав его, высыпал на стол кучу денег.

— На свадьбу-то хватит? — спросил отец.

— А нет, так займу! — сказал Само.

Тут в пчельнике раскрылись двери и раздались возгласы матери и Кристины. Они вбежали в пчельник, обняли Само, расцеловали его, но по-настоящему удивленно вскричали лишь тогда, когда узрели на столе горку денег. Они погружали в них пальцы, ласкали их, охали, блаженно смеялись и про Само почти забыли. Перед пчельником отец прощался с учителем, и Само успел сунуть палец в рот и высосать из него ядовитые жала. «Мы точно пчелы,— ворчал он злобно и презрительно,— да, точно пчелы, только в заду у нас нет жала...» И вдруг ему стали противны деньги, которые заработал,— он за милую душу разбросал бы их по саду, втоптал ногами в рыхлую землю или запихал бы псу в его вечно голодное брюхо. Противно стало и собственное усердие. Но мать уже сгребала золотые в передник, и каждое новое звяканье срывало с ее улыбающихся уст счастливый вздох.

Кристина проснулась среди ночи. Она была одна. Месяц, скользнув в маленькую комнатенку через крохотное оконце, тихо облизывал своим холодным светом потрескивающие деревянные стены. На дворе завыл пес; взлаяв, заворчал, а потом вдруг успокоился. Но Кристина заслышала тихие шаги. Она глубже нырнула под перину, затаив со страху дыхание. Шаги приблизились к ее окошку и замерли. Она могла закричать, завизжать, и вмиг к ней прибежали бы отец и мать. Или могла потихоньку выскользнуть из-под перины и спрятаться в доме — там, где спали остальные. Ан нет, она и не шелохнулась — ждала. Когда в окно резко постучали, она глубоко

вздохнула, но не отозвалась. Лишь встала, подкралась к окну и в месячном свете разглядела фигуру. Стук повторился.

— Кто там? — спросила.

— Я!

Она узнала голос, но долго молчала. Опершись спиной о прохладную стену, ждала.

— Пусти меня! — раздалось громко, а немного погодя уже мягче: — Кристинка?!

Ее пронзило холодом и тут же снова бросило в жар. Вдруг она заторопилась. Нашарила впотьмах платье, кое-как напялила на себя. Уже протянув руку, заколебалась было, но потом все-таки отворила окно.

Матей Срок, ухватившись за раму обеими руками, без натуги втянул себя в комнатушку. Затворив за собой окно, прошел на середину комнаты.

— Садись! — предложила Кристина.

Он порывисто шагнул к ней. Она уже чувствовала на лице его дыхание, уже уступала его силе, но стоило ему на мгновенье ослабить объятие, как она выскользнула.

— Засвечу лампу!

— Не нужно! — бросил он раздраженно.

Они сели напротив, молча глядели друг на дружку и мало-помалу стали различать лица, как днем. Глаза их блестели в свете луны, и сердца гулко стучали.

Взлаял пес, Матей повернул голову к оконцу.

— Кошка! — сказала Кристина тихо. А минуту спустя, заслышав шаги, оба замерли.

— Кот в сапогах! — сказал Матей и подошел к окну. Она тихо двигалась за ним. Оба посмотрели в окно на придомье, тускло освещенное месяцем. Увидели медленно качающиеся деревья. Услышали приближающиеся шаги. Вдруг неподалеку от окна остановился мужчина, широко раздвинув ноги. Шляпа затеняла лицо, и фигура его почти сливалась с окружающей тьмой.

— Кто это? — прошептал Матей и резко схватил ее за руку.

— Не знаю! — пробормотала она.

Мужчина в шляпе взмахнул рукой, и в стекло ударился камешек.

— Я его, клянусь богом...! — вскричал Матей и уж было кинулся к окну.

— Останься! — задержала она его ласковым прикосновением.

Он лишь яростно запыхтел, дернулся всем телом, но поддался ее настоянию. Оборотившись, заглянул ей в глаза, хотел опять о чем-то спросить, но Кристина ладонью прикрыла ему рот. В первый раз он улыбнулся.

— Моей будешь!

Он привлек ее к себе.

Мужчина ходил вокруг дома и дразнил собаку почти до утра. Камешки стучали в стекло, временами слышался глубокий вздох, но за Кристининым окном — словно тихий ангел пролетел.

Матей Срок убрался лишь тогда, когда в доме раздались первые звуки: перхание старого Пиханды, скрип дверей и визжание попавшей под ноги кошки.

Весь день Кристина сновала по дому как во сне. Она не заметила даже, когда и как растопила печь, когда подоила корову, когда повыдергала поспевший лук на огороде, сварила обед, когда прочистила трубу и стала готовить ужин. То и дело обращала взор на калитку, словно кого-то ждала или сама хотела выйти на дорогу, ведущую к цветам и деревьям, обсыпанным пыльцой и сочащимися разымчивыми соками.

После ужина, когда в кухне у теплой печки остались только отец с матерью, на дворе злобно тявкнул пес. Кристина вскочила от шитья и замерла. Отец с матерью удивленно посмотрели на нее, словно искали ответа. В эту минуту раздался стук в дверь.

— Входите! — позвал гостей Мартин Пиханда.

Двери широко отворились, и в кухню вошли улыбчивые сваты: крестный отец Павол Друс и Юло Митрон, двоюродный брат Матея Срока. Сам Матей, празднично одетый, стоял позади, возвышаясь за спинами, и не сводил глаз с Кристины.

Они поздоровались и попросили у родителей позволения войти в дом. Отец с матерью переглянулись и сразу догадались.

— Позови Само! — приказал отец, оборотившись к Кристине.

Вся сконфуженная, растерянная, она побежала звать старшего брата. Когда Само вошел и очнулся от минутного изумления, сваты Друс и Митрон попросили у родителей руки Кристины для честного и всеми уважаемого Матея Срока.

А минуту спустя дело уже было слажено.

В хватких руках Матея Срока Кристина Пиханда совсем переменилась: ожила и расцвела. Оно и впрямь: когда девушка счастливо любит, она походит на цветок — пахнет притягательно, и щеки ее окрашивает бегущая по жилам кровь, и смех на устах искрится и звенит, как роса в чашечке. Чем больше проводила Кристина ночей с Матеем Сроком, тем сильнее она распалялась. Ее пылкие ладони будоражили Матея, горячее лицо, лоб и губы выжигали на груди, шее, по всему его телу глубокие метины, жаркие икры и бедра пробудившейся женщины льнули к нему точно лава к кремню, раздувая огонь животворящей любви.

Кристина с матерью между тем собирали и пополняли приданое. С утра до вечера просматривали и гладили простыни, наволочки на перины и подушки, полотенца, расшитые скатерти и салфетки, рубашки, юбки, фуфайки и платья.

— Лишь бы без рукоприкладства! — вздыхала мать.— Отец его свою-то в молодости часто бивал. Ревнивый, говорят, был, а выказать это по-другому не мог, вот и бил бедолагу-жену смертным боем, бил, покуда два раза не опросталась. Как бы и сынок не пошел в родителя, не поднял на тебя руку...

— Не поднимет, мама! — засмеялась Кристина и заглянула весело матери в глаза.— Я верно знаю, что не поднимет!

— Да разве наперед узнаешь, как оно будет. Теперь-то он тихий, робкий, пикнуть не смеет, а как перед алтарем поклянешься ему, глядишь, с вечера до утра и переломится. Мужика не разберешь даже в его последний час. Вот возьми-ка нашу старую соседку Цилу! Двадцать лет как вдовеет. Покойный Федор, муж ее, всю жизнь на нее зверем смотрел, даже по двунадесятым праздникам словом с ней не обмолвился. Она бы и не ведала, какой у него голос, кабы он по вечерам вслух не молился. Отчаялась, уходила от него раза три, не знала, что и делать. И на свою жизнь покушалась, а все осталось по-прежнему. Только на смертном одре он ей открылся, что шибко любил. Она чуть не упала, услыхав это. Все-то думали, что он не терпит ее, а он любил. А может, и то была неправда, может, он просто так сказал — ей в утешение.

— Могла ведь и спросить его, отчего он был такой неразговорчивый.

— Она его и спрашивала.

— А он?

— Не открылся! Улыбнулся только, а не открылся...

— Матей такой не будет. Он другой, знаю.

— Только ты в оба гляди,— отозвалась мать.— Когда тебя мужик больно балует и очень о тебе заботится, когда тебя уж слишком лас-

кает и возносит, это тоже плохой знак. Ты и в толк не возьмешь, что у него в голове, а в голову он точно что-то забрал. То ли деньги хочет от тебя утаить или полюбовницу, а то какую другую подлость прикрыть...

— Ну, мама! — рассмеялась Кристина.— Этак я никогда замуж не вышла бы. Не оставаться же мне старой девой?!

— Сохрани бог! — вздохнула примирительно мать.— Только помнить надобно, что выбираешь один раз, а поэтому выбирать нужно с оглядкой! Жалеть поздно будет!

— Я-то уж точно не пожалею, мама! — сказала Кристина и зарылась горящим лицом в прохладную перину. Она жадно вдыхала ее аромат и вдруг тихо всхлипнула, прижмурив глаза. Этот вздох, истомный и жалостный, поверг мать в слезы. Она протянула руку, погладила дочь по волосам и лишь озабоченно покивала седеющей головой. Больше она не сказала ни словечка.

■

Промелькнули годы: немало произошло перемен, хотя и многое осталось по-прежнему. Кончалось девятнадцатое столетие, и по-над заросшей межой уже открывалось двадцатое. Тем временем умер учитель Орфанидес. За неделю до смерти Мартин Пиханда с сыном Само навестили его. Он лежал в постели, улыбаясь гостям. Чуть погодя старый учитель разговорился:

— Берегите мой сад, после меня ведь ничего другого не останется. Основал я, правда, общество трезвенников, но, пожалуй, в нем-то как раз пьяниц с лихвой. Общество трезвенников — это еще не революция. На большее меня не хватило, хотя я и мечтал изменить мир, как мечтали многие. Но ни на один решающий шаг я не отважился. Страх одолевал меня, ибо все те, кто стремился изменить мир, нашли свою гибель. Тысячи и тысячи борцов проливали кровь за лучший мир. А я трусил! Вслух говорить и то частенько боялся! Стыдно мне, дорогие мои, и жаль...

Учитель расплакался.

Само крепко сжал его руку и сам чуть не заплакал. Он чувствовал, как у старика дрожит рука, как он вздрагивает и порывается встать. Не сразу учитель успокоился. Они покинули его лишь тогда, когда от усталости он задремал. Само Пиханда часто вспоминал слова учителя, еще не ведая, что через какой-то десяток лет они будут так много для него значить. А пока у него были иные заботы. Рождались дети, он работал в поле, а оставалось время — уходил на стройку. Подавался лишь в ближние окрестности — не далее Попрада, Микулаша или Ружомберка. И каждую неделю возвращался в свою семью, разраставшуюся не по дням, а по часам. Зарабатывал меньше, чем если бы вел кладку в Пеште или Вене, но покидать надолго семью не хотел. Однажды в субботу, когда он трясся в поезде из Ружомберка, к нему подсел веселый, словоохотливый паренек.

— Вы здешний? — заговорил тот с широкой улыбкой на лице и протянул ему руку.

— Я Пиханда, каменщик! — представился Само.— Из Гибы!

— Ян Анталик, вольный каменщик [1]! — засмеялся парень.

— Разве есть в том какая-нибудь разница?! — удивился Пиханда.— Каменщик ли, вольный каменщик — все одно!

— Э, приятель, еще какая разница! — приподнял брови Анталик и сделался серьезен.— Станьте вольным каменщиком, тогда поймете!

— Простите, но мне на это плевать,— махнул рукой Пиханда.

— Ну и ладно! — ничуть не обиделся Анталик и снова улыбнулся.— Тогда станьте хотя бы атеистом! — вскричал он восторженно.

— А это еще что за чертовщина? — спросил Пиханда.

[1] То же, что масон.

— Ваша правда, это почти что чертовщина! — рассмеялся Ян Анталик.— Черт отрицает бога, атеист тоже. Перестаньте верить в бога, дружище! Освободитесь от тяжкого бремени, и с вашей души спадет скользкая, червячья и недостойная человека покорность. Станьте свободным человеком! Слышите, свободным человеком! Сделайтесь атеистом!

Поезд как раз останавливался в Микулаше, и юркий Ян Анталик потянулся к чемодану. Вытащил из него целую охапку брошюр и газет и сунул их удивленному Пиханде в руки.

— Прочтите это! — сказал он ему на прощанье, закрыл чемодан и поспешно сошел с поезда.— Загляну к вам в Гибе! — уже с перрона крикнул он Пиханде, глядевшему на него из открытого окна.

Дома по вечерам Само Пиханда стал робко листать дарованную литературу. Через какое-то время обнаружил, что и отец с не меньшим интересом засел за атеистические книжки и газеты. Он забавлялся, читая их, как никогда прежде.

— Буду не только географом, но и атеистом! — радостно восклицал старый Пиханда.— И нашим фарарам[1] дам почитать,— гоготал он,— пускай намотают на ус!

А Ружена все чаще воздевала руки к небу и истово крестилась.

— Ох и поплатишься ты, антихрист! — грозилась она мужу.

Мартин Пиханда только улыбался. По вечерам в его комнатенке сходились староста Ондрей Надер, лесничий Петер Гунар и крестьяне Дула и Цыприх. Размышляли все вместе об истине божьей. Одну атеистическую книжку Пиханда дал почитать своей бывшей зазнобе Желе Матлоховой. Через два дня она с ужасом вернула ее, а засыпая вечером, громко молилась и за себя, и за Мартина.

Валент Пиханда меж тем закончил в Праге факультет права. Ребята из Жуфанковой артели переженились и когда порознь, а когда сообща хаживали на приработки. Народились у них дети, и жены давно свыклись со сластями-напастями семейной жизни. На крестины Мартиновы или Ивановы, нет, может, Данёвы, нет-нет, это наверняка были Паволовы —ведь Павол, Палё, Палько, Палинко был первенцем Стазки и Юрая Гребена,— ждали кумовьев. В большой кастрюле кипятила Стазка молоко. Дед Гребен, воротившись из коровника, разулся и поставил бурки прямо над печью, чтобы побыстрей сохли. У старика ножищи были — дай бог, и носки бурок свешивались с полки, точно заглядывали в кастрюлю с молоком. И вдруг — верно, бабка толкнула полочку — одна бурка возьми да свались в молоко. Стазка охнула, а бабка вытащила бурку и сказала: «Поварика ты еще молоко, девушка моя, и никто ничего не заметит!» Поварили молоко с часок и изготовили какао. Пришли кумовья, ели белые пироги и запивали их какао. Хвалили-нахваливали — и ничего не заметили. Разве что Стазка в тот воскресный день была сыта по горло и к какао даже не притронулась. Ее брат Феро Дропа-Брадобрей так долго и сильно тосковал по пригожей и прельстительной мадьярке Юлче, что, не выдержав, отправился в Римавскую Соботу и попросил руки у красавицы. Та согласилась. Но на Горняках[2] обвыкалась трудно и частенько долго и раздумчиво глядела в окно, обращенное к югу. От такой глубокой задумчивости и тоски частенько за работой терялась. Однажды курицу ощипала, вымыла да забыла выпотрошить. Стала варить ее вместе с кишками и опомнилась лишь тогда, когда дом чуть не взорвало от смрада. Целых два дня, ей-ей, проветривали Дропы помещение. Другой раз в большой горшок, в котором варили картошку для свиней, попал неведомо откуда помет. То ли по ошибке — с позволения сказать — корова туда опорожнилась, то ли виновата в том была ревнивая Кветослава, которую ради Юлчи покинул Феро Дропа,— установить не удалось. Наша красавица Юл-

[1] Фарар — приходский священник.

[2] Северная Словакия.

ча, пребывая в своем пресловутом ностальгическом забытьи, присыпала помет в горшке картошкой и давай снова варить. То-то вонища пошла, друзья! Ее даже видеть можно было. Гибчанам пришлось два дня проветривать всю деревню. Вот так и получилось, что частица этого смрада вкупе с Юлчиной ностальгией перекочевали в двадцатое столетие. Ну да ладно, лишь бы похуже чего не стряслось!

Уже десятый год жили Кристина и Матей вместе, но детей так и не нажили. И словно думая о холодной, одинокой старости, на которую судьба обречет их, они, не щадя себя, надрывались в работе.

Матей Срок срубил маленькую, но уютную избенку, огородил сад, вытесал новый колодезный сруб и все ночи до седьмого пота строгал дранку: покрыл ею двор, гумно, дровяник, амбары и мякинник. А как все поперестроил, поперечинил, выбелил, выкрасил и повыровнял, горячо взялся за другую работу. То ломал спину в поле, то — когда выдавалась свободная неделя — уходил в лес с воловьей упряжкой или даже без нее и рядился с десятником за самую ничтожную плату. Вечерами возвращался домой изнуренный, взопревший, но счастливый, будто ему опять удалось отогнать невеселые мысли. За теплым ужином улыбался Кристине и, видя, как она всплескивает над ним руками или жалеет его, беднягу, взглядом, говорил убежденно:

— Не бойся, Кристинка, мы не бог весть как богаты, а все ж кому-то после нас будет чем распорядиться...

Она вздыхала, отворачивалась к печи, и лицо ее заливали слезы. Но добряк Матей ее утешал, долго гладил, уговаривал — и в конце концов она успокаивалась.

А тут еще люди стали совать свой нос в их дела. И ладно бы чужие — пуще всех не унималась старая Ружена. В долгие дополуденные часы, когда Кристина гнулась над баком с бельем, или вскапывала сад, или кормила птицу, мать нависала над ней живым укором.

— Ну и мужика ты себе отхватила,— говорила она с отвращением,— он тебе и полюбовником не был, и поди ж: враз выскочила за него, себя загубила!

— Мама, перестаньте! — вскрикивала Кристина.

— Да разве это мужик, ежели не может тебя обрюхатить?!

— Замолчите, мама, замолчите! — одергивала Кристина мать и, случалось, чуть ли не гнала прочь.

А потом, присев на корточки у крыльца или сгибаясь над колодезным срубом, жалобно плакала. Глядела на студеную, темно сверкающую гладь, слезы падали в зияющую холодом глубину, зыбили воду, и Кристине чудилось, что колодец вздыхает и всхлипывает вместе с ней.

А хуже всего, когда приходил, всегда нежданно-негаданно, Матеев двоюродный брат — Юло Митрон. Иной раз лишь обопрется о телегу или о поленницу, ни слова не скажет, а только глядит, как она сполошно снует по двору, как у нее трясутся руки, как вываливаются из них миски, полные зерна, как выплескивается вода из ведер, как выпадают щепки из охапки. Как-то остановился он перед ней, сжал ей сильно руки, глянул в упор глубоким, тяжелым взглядом и вымолвил с отчаянием:

— Сдерживаю себя что есть силы, только докуда — не знаю!

— Ступай! Ступай! Ступай уж! — гнала она его от себя. А уходил, боялась о нем и помыслить.

А тут еще напасть: повадилась ходить к ней грузная Матильда, ревнивая и злобная Митронова жена. Пришла как-то ненароком, не то потолковать малость, не то занять какую ерунду, да вдруг и брякнула, будто невинно и вроде бы равнодушно:

— А моего Юло тут не было?

— Был! — обрезала ее Кристина.
— А зачем приходил?
— Матея искал!
— Матея?
— И тебя!
— Меня?
— Ей-богу!
— Ну а вчера? — не унималась Матильда.
— Что вчера?
— Тоже приходил?
— Вчера?
— Ну, вчера!
— Не помню!
— Не было его дома вечером! — вздохнула Матильда.— Я к нему как лучше, а он ко мне все дурней. Мирволю ему — делай что хочешь, подношу, что его душе угодно, кажись, последнее бы отдала, а он знай станет на веранде и пялится, пялится неведомо куда, ни словечка в ответ, а то и вовсе меня не слышит или вдруг запропастится, и нету его весь день, весь вечер, всю ночь... Намедни ночью пошла за ним тишком, вся душа в страхе — не сбрендил ли или кабы чего не выкинул... Ведь эдак от злости и подпалить деревню недолго или кого покалечить, а он все ходит круг дома, там-сям постоит, снова пойдет, и так до самого утра...

Матильда надрывно расплакалась.

Кристина вздохнула, оставила женщину во дворе и потихоньку шмыгнула в дом, а когда через минуту выглянула, Матильды уже и след простыл. Кристина вышла на придомье, понуро уселась на деревянную табуретку, уставилась, щурясь, на закатное солнце и все думала, думала, но чем бы она не отвлекала себя, совесть грызла ее неотступно.

Взглянув на дорогу, увидела подходившего мужа. Хоть и не часто, но по меньшей мере раз в год Матей Срок напивался до чертиков. Вот и теперь он брел, шатаясь из стороны в сторону, ухватился даже за дощатый забор, чтоб не упасть, но мимо жены прошел без единого слова. Она вошла за ним в дом — Матей сокрушенно сидел за столом, как-то весь избоченившись и глубоко погрузив в ладони голову. Кристина встала над ним, протянула к нему руки, хотела дотронуться, показать, что она рядом с ним в этом их неладном счастье-несчастье, но он вдруг поднял на нее глаза и спросил резко:

— И что ты всегда такая невеселая, Кристина?

Она отступила на шаг, прислонилась к печи.

Матей Срок выпрямился, поглядел на нее злобно, грохнул тылом ладони об стол и заревел:

— Тебе что, не по нутру наше житье?! Плохо тебе в этом доме?! — И ошалело, вслепую бросился к ближайшему сундуку и кулаком разнес крышку. Потом вмиг успокоился, дал себя уложить в постель и вскоре уснул. В такие минуты Кристина бодрствовала возле него и, наверно, жизнь отдала бы, лишь бы принести ему хоть каплю счастья...

На другой день Матей Срок был обходителен, тише воды, ниже травы. Тут же починил крышку на сундуке и с самого утра во весь рот улыбался Кристине.

— Наболтал я тебе вчера, да? — спросил он жену за завтраком.

— Да что ты! — улыбнулась Кристина.

А месяц спустя к ним и впрямь вроде бы заглянуло счастье. Кристина кинулась Матею на грудь, как только он воротился из лесу. Обнимала его, целовала и все смеялась, смеялась.

— Ну что такое, хоть словечко скажи! — молил он.

И только насмеявшись досыта, даже всплакнув от счастья, она прижалась к Матею и тихонько шепнула ему:

— У нас дитя будет! Это после десяти-то лет...

— Господи, и ты только сейчас...?! Только сейчас мне это говоришь?! — И он давай чудесить на радостях.

Длилось это неделю. Сперва полдня Матей носил Кристину на руках и с восхищением глядел на нее. А потом день за днем звал ее в луга, в лес. Находились и надышались они тогда всласть и, что ни вечер, возвращались истомленные, но довольные.

Через неделю Матей опять пошел на работу; с неведомым ранее смаком надсаживался он до устали, да еще смеялся при этом. А иной раз вдруг замрет, задумается, недоверчиво покачет головой и опять счастливо, с облегчением рассмеется.

Кристина открылась матери, и та сперва думала, что дочь обманывает ее, но потом поверила, хотя, видать, не по душе ей было признать то, что наконец пришлось признать.

— Так Матё все ж таки, выходит, мужик!

А Кристина только улыбалась.

Дни становились короче.

Как-то после полудня на исходе ноября вешала Кристина белье. Повевал холодный ветерок и откуда-то издалека приносил запахи сожженной картофельной ботвы, тлеющих маковок и печеной картошки. Кристина жадно втягивала ноздрями в себя эти запахи, прищуривала от наслажденья глаза и не заметила, как кто-то остановился сзади.

Вдруг почувствовала, оглянулась и вскрикнула.

Перед ней стояли трое мужчин: Юло Митрон, Друс и Дудач. У всех троих головы обнажены, глаза опущены. В руках они комкали шапки.

Она смотрела на них изумленно и исподволь начинала понимать. Она зашлась бы криком — так кольнуло под сердцем, но удержала вопль в себе.

— Где он? — спросила тихо.

— Везут! — отозвался Митрон.

Привезли его мертвого.

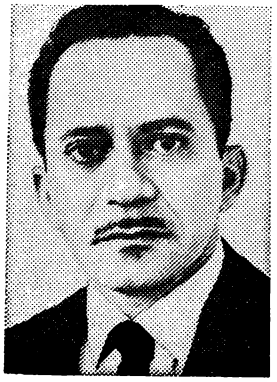
Матей Срок лежал неподвижно, но вид был такой, словно он только и выжидал знака, чтоб встать. Улыбался. Дикая боль, убившая его, не успела стереть улыбку с губ, радость со лба. И хотя его придавило деревом, переломив пополам, лежал Матей гордо, словно хотел лишь чуть отдохнуть.

Через три дня Матея Срока похоронили. На четвертый Кристина выкинула. Долго плакала, отчаивалась, но потом, сама не зная почему, успокоилась.

(Окончание следует)

ШУЛЬГИНА НИНА МИХАЙЛОВНА.

Советский переводчик со словацкого и чешского языков, критик. В ее переводе издавались произведения А. Плавки, Л. Новомеского, М. Фигули, А. Беднара, В. Ржезача, П. Француза и др. В «Иностранной литературе» напечатаны ее переводы романа И. Кршенека «Дички» (1975, № 5, 6), первой книги трилогии В. Шикулы «Мастера» (1979, № 4, 5) и др.



ЛЕДУ ИВУ

Перевод с португальского
ВЛАДИМИРА РЕЗНИЧЕНКО

Первый урок

В букваре первоклассника
Иву увидел иву
и научился читать.

В юношу превратившись,
Иву увидел Еву
и научился любить.

Сделавшись взрослым мужчиной,
Иву увидел диво —
землю, полную пищи.

Но на стене однажды
смог разобрать он лозунг —
клич голодных и нищих —

и научился видеть.
Что же увидел Иву —
птицу или яйцо?

Вновь за азбуку взявшись,
Иву народ увидел,
жизнь увидел в лицо.

ЛЕДУ ИВУ — Lêdo Ivo (род. в 1924 г.).

Бразильский поэт и прозаик. Лауреат национальных литературных премий. Автор многих сборников стихов, романов «Обручальные кольца» («As alianças», 1947), «Путь без приключений» («O caminho sem aventura», 1948), «Племянник генерала» («O sobrinho do general», 1964), сборников рассказов и эссе. Перевел на португальский язык роман Ф. М. Достоевского «Подросток».

Публикуемые стихи взяты из поэтических сборников разных лет: «Фантазии» («As imaginações», 1944), «Бразилец в Париже и король Европы» («Um brasileiro em Paris e o rei da Europa». 1968), «Главный вокзал» («Estação central», 1968), «Гимн», («Cântico», 1969).

Дождь над городом

Дождь над городом.
Он заливает асфальт; он подстраивает аварии и расстраивает
свидания;
Он обрушивается на пальмы, которые к исходу дня
для полноты блаженства желали лишь одного — увидеть звезды.

Птицы, нашедшие убежище в моей комнате,
напуганы раскатами грома.
Молнии, фотографы вечности, высвечивают своими вспышками
силуэты прохожих.
Как внезапно переменились люди, сестра моя!
Как у них лица ожесточились из-за того, что волей божеств
разрушены их идиллии
и удовольствия, столь желанные и долгожданные.

Но ручьи и канавы, наконец, обретают поэзию: чисты и прекрасны,
эскадры бумажных корабликов
путешествуют в поисках сказочных, недостижимых земель.

Дождь распевает песни.
Он не слагает элегий, чтобы увековечить свою красоту,
и не сочиняет ни од, ни свадебных гимнов, ни слезливых эклог.

Дай же, брат мой, размыть водосточным трубам строчки твоих
последних стихотворений!
Завтра ты снова вернешься к поэтическим темам большого
значенья.
День идущий неотвратим. Дождь тебя учит
быть неизменным и в то же время не повторяться.

Пожарный

Сегодняшние вечерние газеты кратко сообщают, что вчера
во время большого пожара
погиб пожарный Жоан Христóван да Силва.
Больше мы никогда его не увидим сидящим в красной машине
рядом с лестницей, столько раз устремлявшейся в небо и
в пламя.
В Мейере кто-то, наверно, горюет сейчас о погибшем товарище.

Он сражался с пламенем. Он любил опасность.
Он спасал детей. Фотообъектив запечатлел его
на прогоревших стропилах.
Он был матросом огненного океана.

В Мейере, наверно, осталась женщина,
которую он ласкал ладонями, еще не остывшими
от очередного потушенного пожара,
остался столовый прибор, звенящий в тишине,
сохранились газеты, сообщающие о нем,
похищенном смертью у феерического безвестья.

Жоан Кристован да Силва, ставший единственной жертвой
катастрофического пожара,
не допустил, чтобы пламя вернуло создателю его земные
творенья;
он трудился не за страх, а за совесть, вытаскивая из огня все подряд—
пианино и фрукты, судебный архив и кресло-качалку.

Деянья его очищены пламенем и освещены периодической прессой,
но сам он отныне являет собой набор химических элементов.

Впредь, когда произойдет пожар,
одно из мест в красной машине будет незанятым.

В Мейере, в церкви, кто-то сейчас поминает в молитвах этого
мастера пожаротушенья
и, преклонив колени, просит господа бога,
чтоб он избавил его от другого огня —
огня преисподней.

Красные розы

Я буду дарить ей розы, лишь розы, одни только розы,
красные розы — потому что ничто иное не может восполнить
нашу былую любовь: только пурпурные розы, которые мне
возвращают
вкус ее исцелованных до крови губ.
Потому что между ее грудей может еще уместиться
третий цветок, онемевший от столь долгого ожиданья.

Были бы в Рио миллионы роз сегодняшним утром,
все они принадлежали бы ей, даже те, что еще не раскрылись,
но моя розовая мечта так огромна, что и этого бы не хватило.

Хоть другие и дарят любимым букетики цинний,
петуньи, азалии, лилии или иные цветы, приносящие счастье,—
я любимой буду дарить одни только алые розы,
исключительно розы ярчайшего красного цвета.

Женщину можно просто любить, а можно дарить ей розы,
красные розы... Есть различие между любовью и поклоненьем
той, кого любишь,— хоть чувства и не нуждаются в розах.
Пусть же каждый влюбленный будет верен своей мечте и
необходимое сочетает с излишним,
пусть он дарит розы, тысячи роз, женщине, которая спросит,
потрясенная бесчисленными цветами:
— Для чего столько роз, для чего столько красных роз?

Кладбища

(Из цикла «Америка»)

— Что это за кладбище?
— Это кладбище автомобилей.
Здесь покоится прах моего «шевроле», там ржавеет мой
«бьюик».
Свищет ветер, сокрушая былое величье Америки.

— Что это за кладбище?
— Это самое обыкновенное кладбище.
Наверху трава и кузнечики, а внизу зарыт мой отец.
И его мечты, и воспоминанья о долларах.

— Что это за кладбище?
— Здесь похоронены погибшие на войне.
Солдаты прислушиваются к ребячьему смеху,
но теперь у них нет ни губ, ни зубов, поэтому сами они
улыбнуться не могут.

— Что это за кладбище?
— Это кладбище для белых...
Это кладбище для черных...
Это кладбище для евреев...

— Что это за кладбище?
Неужели мы сами до сих пор еще живы?
Ежедневно в Америке прибавляется пять тысяч покойников,
а мы, туристы, все еще здесь и спрашиваем каждый раз об одном
и том же.

Фотография деревни

Всего-навсего рыбачья деревня на морском берегу.
Солнце зажигает гирлянды лампочек в апельсиновых рощах.
Летом созревшие апельсины падают на песок, перемешиваясь с
раковинами и галькой.
Мальчишки в поисках приключений бегают к морю.
Женщины ходят по воду с кувшинами на головах.
Все вокруг — мужчины, животные и другой антураж — растворяется
в утренней свежести.

Когда никто еще и понятия не имел, что земля шарообразна,
эта деревня уже существовала, были в ней и церковь, и кладбище,
люди, уходившие на промысел в океан, их побеленные известью
домики,
запах цветов и конюшен.
По ночам супруги старательно занимались любовью, исполняя
свой долг —
производить потомство, чтобы оживить малолюдный пейзаж.

Рыбаки прочесывают сетями море, добывая себе пропитанье;
вечером сети вывешивают на просушку —
как раз в это время молодые рыбацкие жены, весь день сидящие
дома, встают из-за прялок,
а их дети толкутся у лодок, рассматривая добычу,
глазея на морские звезды, на судороги умирающих рыб,
рыб, которые потом будут сдобрены маслом, вином
и семейной беседой.

Это — простая деревня; на каменистых скатах пасутся овцы;
ночью, когда загораются звезды, не разглядишь ни олив, ни моря;
комната освещена керосиновой лампой, стоящей возле окошка;
у стола дремлют старик и старуха, мужчина пьет вино,
распевая песни,
а его молодая жена приносит в дар младенцу обнаженную грудь —
прекрасную, юную грудь, которой столько же лет, сколько
древней Европе.

РЕЗНИЧЕНКО ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ (род. в 1945 г.).

Советский поэт-переводчик и журналист. В его переводе публиковались стихи испанских, португальских, латиноамериканских, африканских поэтов. В «Иностранной литературе» — переводы стихотворений португальских поэтов Луиса де Камоэнса, Жозе Гомеша Феррейры, А. Кансани Д. (Аргентина), М. Руя (Ангола).

ЭММА СМИТ

Только раз в жизни

РОМАН

Перевод с английского Ф. ФЛОРИЧ

Глава вторая

23

Когда живешь в глубине страны, вдали от моря, забываешь, как оно шумит. Помнишь, как оно выглядит, какие чувства вызывает. Но уже забываешь, что значит изо дня в день непрестанно слышать шум моря и перекрывающие его пронзительные, резкие голоса чаек, постоянно недовольные, жалобно и громко изливающие хором или в одиночку сожаление, мольбу, возмущение.

Но шум моря не оглушал нас с Терри, а напротив, как бы обволакивал, изолируя от всех остальных.

Я живо помню, что мы делали и о чем говорили в ту первую неделю, когда солнце все светило и светило, хотя не могла бы сейчас уточнить, в какой именно день что было сказано. Эти первые несколько дней, казалось тогда, длились бесконечно, а сейчас они слились в моей памяти в единое целое. Теперь я вспоминаю их просто как *время до субботы*. Потом многое изменилось, включая погоду.

Суббота стала переломным днем. После бала мои родители не вернулись в Трис — они остались в отеле Питера Миллера, а Беатриса не ушла к Уиллисам и переселилась в кафе. Синтия же заявила, что старик Медликотт, сжалившись над ней, отпустил ее с работы; она перестала делать вид, что ходит в контору, и часы напролет просиживала в маленькой, заставленной мебелью гостиной сестер Тиллс-Митсон, слушая пластинки Бинга Кросби и Максина Салливена. Начались необычайно высокие приливы, дули порывистые ветры, дождь барабанил по жестяной крыше, на дороге темными пятнами лежали бурые водоросли. Отдыхающие стали появляться редко, а те, кто забредал в Трис, держались с напускной отвагой и героически разгуливали по Блейзи-Хед, укутанные в плащи.

Все это были очевидные перемены. Но сейчас, вспоминая те далекие дни, я различаю другую, менее заметную перемену, на которую мы тогда не обратили внимания. Казалось, в субботнюю ночь отдельные маленькие каналы, которые упорно прокладывал каждый из нас, неожиданно скрестились в одной точке и слились в темный поток, а дальше он уже сам понесся вперед, безвозвратно унося нас с собой.

Но все это произошло позднее. А та первая неделя, соответствуя погоде, была для меня окутана золотой дымкой неомраченного счастья. Я чувствовала себя такой счастливой, как никогда раньше. Родители по возможности старались не думать обо мне, чтобы ничто не мешало наслаждаться неожиданно захватившим их вихрем развлечений, и я могла почти свободно уходить и приходить, когда мне захочется. Беатриса так щедро снабжала меня перед прогулками всякой провизией, что ее вполне хватило бы на двоих, но Терри к тому времени уже привык самостоятельно добывать себе пропитание, и ему не хотелось совсем уж отказываться от этой привычки: она делала его повседневную жизнь целенаправленной и даже приносила некое удовлетворение. Еще удивительнее было то, что и мне не хотелось ему мешать. Меня словно подменили: я, прирожденная трусиха, всегда боявшаяся нарушить

Окончание. Начало см. в № 4, 1982.

правила, неизменно робевшая перед теми, кто имел власть надо мной,— я вдруг стала бесстрашной пособницей Терри, соучастницей в кражах. Его пример воодушевлял меня, подстегивал мою смелость, и я готова была последовать за ним куда угодно.

За все, что мы похищали, мы расплачивались страхом перед связанным с кражей риском. Мы опустошали корзинки отдыхающих, устраивали набеги на фургоны мясника, булочника и на автолавку, пока водители отлучались на несколько минут, чтобы доставить заказы владельцам прибрежных коттеджей или Беатрисе в кафе «Роза». Без всяких угрызений совести мы воровали яйца из курятника Уиллисов, морковь и салат с огородов семейства Петтигру и инженера Холта. Терри не хотел ничего красть в трисской лавке, потому что старуха, ее владелица, угостила его как-то раз ириской, но то было единственным исключением. Воровство? Что означало оно для нас? Это была добыча трофеев, смелая, сулящая славу битва с окружающими нас врагами, и потому каждая украденная булочка становилась победой.

Всю неделю в голубом небе над нами сверкало солнце — оно обжигало наши голые спины, когда мы сползали вниз, чтобы подложить веток в костер, опалявший нам лица, а гладкая серая скала жгла подошвы наших босых ног. Когда жаркое солнце и огонь одолевали нас, мы бросали свои дела и со сладостным облегчением прыгали в лениво колыхавшееся, шуршащее зеленое море и раскачивались в его восхитительно прохладных объятиях. Соленая вода щипала глаза, блестящими каплями повисала на ресницах, попадала в рот, и ее вкус возбуждал аппетит. Нежась подобно паре беззаботных тюленей, мы поводили носом и вдыхали запах костра, когда ветер гнал дым в море; потом, освеженные морем и голодные, мы вылезали на берег, обдавая все вокруг брызгами, и карабкались обратно по горячим скалам, чтобы заняться костром — предметом нашей особой гордости — и зажарить украденные яйца и сосиски на глубокой крышке, служившей нам сковородой. На берегу наши мокрые тела мгновенно высыхали. Мне нравилось слизывать белую соль у себя с плеча.

Терри не умел плавать. Я попыталась научить его — не в глубоких местах, а на мелководье.

— Это же легко, Терри. Вот так — смотри! *Не спеши.* Сожми пальцы... *сожми!*

Но у него не получалось. Он подымал брызги, снова и снова уходил с головой в воду и, наконец, потеряв терпение, прибегнул к более легкому способу держаться на воде. Отважно бросаясь в необъятность Атлантического океана, он вверял свою жизнь старой автомобильной камере. Я и сейчас ясно вижу его: в болтающихся, слишком больших для него, украденных купальных трусах, он стоит с сияющим лицом, приготовившись к прыжку, поддерживая широко расставленными худыми руками толстую оранжевую камеру на уровне пояса. Терри не боялся утонуть. Его, казалось, вовсе не беспокоило то, что заплатка, которой он заклеил прокол, может отскочить или что резину могут пропороть острые камни. Необыкновенное ощущение свободы, которое он испытывал, качаясь на старой камере, вызывало в нем такой восторг, что он забывал о всех тревогах и целиком отдавался радости.

Шину эту мы нашли в уголке поля, принадлежавшего сестрам Тиллс-Митсон. Терри вынул из шины камеру и заклеил дырку, украв для этой операции все необходимое, а потом накачал камеру ворованным насосом. Ремонт был выполнен как-то раз днем на верхней площадке лестницы, ведущей к пляжу, близ моста через реку Крэнч — стратегически хорошо расположенного пункта, откуда можно было заметить любого человека на дороге или песчаном берегу и успеть скрыться. Но мы и не думали, что нам помешают. Обычно сразу после полудня никто не забредал в этот уголок Триса. Моя семья благополучно отсутствовала. Кафе «Роза» пустовало и было закрыто. Терри сидел на корточках, а я пристроилась рядом, наблюдая, как он работает, и восхищаясь его сноровкой. Наверное, ему часто доводилось заклеивать проколы в шинах. Руки его двигались быстро и точно. Он то и дело откидывал непослушную прядь волос, падавшую на глаза.

Насколько мне известно, именно тогда Беатриса впервые увидела Терри. Я подняла голову и заметила ее на веранде вагончика; она глядела через поле на нас. Обнаружив замок на дверях кафе, мы решили, что Беатриса вернулась к Уиллисам, и совсем не сообразили, что она может убирать постели в вагончике на другой стороне дороги. Я ожидала, что она окликнет меня, но она этого не сделала — мы обе притворились, что не увидели друг друга. Очевидно, она сама еще не надумала,

что сказать, а когда Терри, которому я тут же подала знак, обернулся, веранда была пуста.

— Она нас видела?

— Конечно, так и уставилась.

— А твоему отцу она скажет?

— Не знаю. Может быть.

Но я подумала, что Беатриса, пожалуй, не скажет; во всяком случае сначала поговорит со мной. Она не была ябедой.

Мы откатили черную шину на другой конец причала, чтобы она не бросалась в глаза, и прикрепили ее канатом к одному из железных колец — здесь рыбаки некогда привязывали лодки, разгружая улов. Канат мы нашли еще раньше на берегу, в куче свечных огарков, пробок и бутылок, которые оставались на пляже после каждого прилива, как бы отмечая его самую высокую линию. Никто, кроме нас, мы были уверены, не примет брошенную шину и обтрепанный обрывок каната за то, чем они стали для нас,— потайную лестницу, самую близкую дорогу к кафе, а при необходимости и кратчайший путь к бегству, не говоря уже о том, что оттуда можно было прекрасно наблюдать за окружающей местностью.

Выдумки и затеи такого рода приносили нам величайшее удовлетворение, они занимали нас днем, и о них приятно было вспоминать по ночам. Мы жили только настоящим, почти забыв о прошлом, и совсем не думая о будущем — оно от нас не зависит, мы это знали, и так велика была наша неуверенность в будущем, что мы даже не могли его себе представить, словно оно никогда не наступит.

Каждый день — это уже стало традицией — мы взбирались на выступ, где Терри впервые разбил палатку; там мы были полностью отрезаны от остального мира, и там я узнала все о Терри. Его отец умер, а может, просто исчез — Терри точно не знал — еще до того, как мальчик начал что-то понимать. Когда Терри исполнилось шесть лет, мать снова вышла замуж. Отчим работал на пивоваренном заводе. Мать — уборщицей в приходской школе. У него были братья и сестры, но он, по сути дела, не считался членом семьи, так как родился от другого отца. Он говорил о своей родне охотно, но в то же время равнодушно. Его рассказ звучал для нас обоих там, высоко над волнами, словно выдуманная история. Все вокруг было наполнено шумом моря. Только море и означало настоящую жизнь, а в Пэддингтоне моря не было.

Вся Трисская бухта принадлежала нам. Мы рыскали повсюду, все осматривали и тотчас обсуждали.

— Посмотри на это дурацкое объявление, Терри. Они же не имеют права запретить нам здесь купаться, если мы захотим. Море ведь не их, правда? А песок вообще нельзя считать ничьей собственностью, раз он все время движется! Он же не лежит на месте. Он — песок! Его то смывает, то снова намывает.

— А что там написано?

Он не умел читать.

— Но ты же ходил в школу, Терри.

Я не понимала, как могло случиться, что он ходил в школу, а читать не умеет. Я сказала, что научу его. Я стала писать камнем на песке самые простые слова, такие, как «море», «дом», «рыба», а он их перерисовывал. Он научился выводить свое имя — «Терри». А когда я написала свое, он его тоже перерисовал. На следующий день я принесла библиотечную книгу и сказала, что у нас будет урок. Он выискивал на страницах те слова, которые уже знал,— такие все же попадались. Потом я показала ему, как можно рисовать буквы песком на голой коже. Опускаешь палец в воду и пишешь на ноге или руке буквы, потом засыпаешь их песком, он прилипает к мокрым местам, а с сухих осыпается, вот и все — очень просто. Мы писали «Терри» и «Нора» на руках, ногах, на спинах друг друга. Уроки были не очень успешными, но все же Терри научился читать все объявления в бухте: «Опасно», «Частная собственность», «Нарушители будут наказаны».

Кроме чтения и плавания, Терри во всем, что ни делал, превосходил меня. Если мы бросали камнями в какую-нибудь мишень — скажем, старую банку, поставленную на камень,— он никогда не промахивался. Если мы бежали наперегонки по песку или по ощипанной кроликами упругой траве на островке Блейзи-Хед, или прыгали и кувыркались, или стояли на голове, Терри всегда прыгал выше и дальше меня, бежал быстрее, дольше удерживался вверх ногами. Он был ниже ростом, но опережал меня во всем. Я не придавала этому значения, и он тоже. Только к высоте мы

относились по-разному. Я смертельно боялась свалиться со скал, а Терри, едва завидев скалу, тут же стремился взобраться на самый верх, и чем дальше была вершина, тем сильнее она его манила.

— Не понимаю, Нора, чем ты занимаешься одна на берегу весь день,— не раз говорила мне мать, но, к счастью для нас, это ее замечание отражало не заботу, а полное безразличие.

Чем я занимаюсь? Да нам не хватало времени и на половину всех наших затей. Значительная часть дня уходила на тщательное выслеживание Уиллиса, который стал для нас загадочной личностью. Он казался нам чуть ли не привидением, появлявшимся на Трисском мысу в самые неурочные часы, обычно к вечеру или рано утром, а то и в другое время. Как правило, его сопровождал Сэм, но иногда он приходил один. Загадочное поведение Уиллиса не давало нам покоя. Но нам и в голову не приходило, что он просто безработный, больной человек, отчаянно стремящийся любым способом прокормить семью. Для нас он был врагом, против которого полагалось бороться со всей изобретательностью, что мы и делали.

Как-то жарким утром мы вытянули из моря его ловушки для омаров. Пять таких ловушек он установил у дальней стороны Трисского мыса. Мы пошли на немалый риск: Уиллис мог нас заметить.

Вечером того же дня Терри едва не столкнулся с Уиллисом, когда вынимал кролика из его силка. Терри умчался, прихватив кролика, и ему удалось удрать только потому, что у Уиллиса не хватило сил догнать его: ведь Терри летел словно ветер. К счастью, меня тогда не было: я успела вернуться в кафе и чинно сидела за ужином с родителями, стараясь не слушать бесконечные, скучные разглагольствования отца о закладных и банковских ссудах. На другой день, помню, мы с Терри занялись кровавым делом на скалах Блейзи-Хед, пытаясь тупым ножом отпилить кролику голову и освежевать тушку. Чайки тучами летали вокруг, растаскивая внутренности. Мы сварили кролика в воде, которую я каждый день приносила из кафе в бутылках. Мясо было безвкусным и таким жестким, что приходилось глотать куски целиком. Но все же мы одержали важную победу и считали эту трапезу одной из наших лучших.

24

Нас, конечно, приметили, и не только Уиллис. Но от того, что на нас только косились, ни разу не пытаясь задержать — ни водители фургонов, ни возмущенные приезжие, ни Петтигру и мистер Холт,— мы с детской простодушной наивностью верили, что, пока нас не поймают, нам ничто не грозит.

Беатрису, как я и предвидела, удалось обмануть.

— Кто этот мальчик, с которым вы были сегодня, мисс Нора?

— Да так, обычный мальчик.

— Я и не говорю, что он какой-то особенный. Я спрашиваю — кто он?

— Не знаю, просто мальчик, который, как и мы, сейчас живет здесь,— ответила я, намеренно намекая на то, что он тоже приехал сюда отдыхать.

— Вы хоть подумали, что́ скажет ваша матушка, если про это узнает? — Беатриса не пыталась запугать меня. Она искренне беспокоилась. И я разделяла ее тревогу. Действительно, а что скажет мама? — Думаете, ей понравится, что вы гуляете у моря с каким-то там Диком, Гарри или Томом, а?

— А что тут такого? Не могу же я все время ходить с закрытым ртом. Я с ним просто здороваюсь, когда мы случайно встречаемся,— вот и все. Знаешь, как скучно одной, некому даже слова сказать,— уже совсем другим тоном пожаловалась я, подлизываясь к Беатрисе.

Мне не хотелось прямо просить Беатрису ничего не говорить родителям, потому что это как раз могло насторожить ее.

— Может, и так, но лучше немного поскучать, чем водиться с кем не следует. Обычный мальчик! — Она фыркнула.— Надо же такое сказать. По-моему, это просто неприлично.

— Послушай, Беатриса, не делай из мухи слона. Ничего неприличного я себе не позволяю. И вообще, он очень хороший мальчик, он бы тебе понравился. Он знает много разных игр, и у него все здорово получается. В своей школе он капитан крикетной команды.

Я была довольна своим наспех придуманным объяснением, но когда Беатриса

спросила, в какую школу ходит Терри, я растерялась и не отважилась назвать Итон или Винчестер — одно из двух частных учебных заведений, известных нам обеим. И я, и Беатриса часто слышали о Винчестере, потому что там учились мой дедушка (мамин отец) и братья матери. Мой отец тоже учился в частной закрытой школе, она была малоизвестна, и отец редко о ней упоминал. Я сказала Беатрисе, что не помню названия школы, в которую ходит мой новый друг, знаю только, что она находится в Лондоне. Мы обе ничего не знали о Лондоне.

— Не понимаю, что плохого в том, что я просто разговариваю с каким-то мальчиком на берегу — честное слово, не понимаю,— сказала я как можно жалобнее.

Беатриса была не из тех, кто отравляет другим настроение. Ей всегда бывало приятно, когда люди радовались. Но не стоило полагаться на широту ее взглядов, когда речь заходила о том, что прилично и что неприлично. Ей самой было очень трудно судить об этом, так как, несмотря на врожденную доброжелательность, Беатриса полностью — en bloc [1]— перенимала принципы своих хозяев, и это подчас сбивало ее с толку и заводило в тупик. Она усвоила эти принципы точно так же, как новообращенный усваивает постулаты веры,— с восхищением и покорностью, но при этом они оставались для нее загадкой. Она была безоговорочно убеждена, что эти принципы всегда правильны, но понятия не имела, откуда они взялись или как сложились. Вот почему, когда требовалось высказать свое мнение, Беатрисе трудно было решить, какое из правил Скоби нужно выбрать, и порой в замешательстве она полагалась на собственный здравый смысл. Сейчас я видела по ее глазам, что она колеблется: мисс Нора, конечно, не должна водиться с каким-то чужим мальчиком, пока мистер Скоби не познакомится с его отцом, не поговорит с ним о том о сем и не даст своего разрешения; с другой стороны, не хотелось нарушать мир и покой в семье, когда все, наконец, идет так гладко и ссоры почти прекратились. Быть может, даже в интересах всех, особенно моей матери, лучше избрать другой путь — ничего не говорить, и пусть события развиваются своим ходом. Я довольно хорошо знала Беатрису и была почти уверена, что второму доводу будет оказано предпочтение.

Меня не очень беспокоило, узнает ли Синтия, что я на берегу подружилась с мальчиком и все время провожу в его обществе. У нее до фанатизма было развито чувство справедливости, и она с намеренной беспечностью делала вид, что ничего не знает о моих тайных прогулках. И Синтия, и Беатриса держали язык за зубами, и не их вина в том, что мои родители узнали о Терри. Случилось так, что мать с отцом сами застали нас вместе.

Мы тогда и не предполагали, что нас могут увидеть. Мне было точно известно, что родители никогда не гуляют по берегу, да и вообще никуда не ходят: они обычно разъезжали в машине или сидели дома. Но на этот раз они вышли с Питером Миллером побродить по Блейзи-Хед. Прогулка носила деловой характер. Они осматривали Трисскую бухту, оценивая ее пригодность для бизнеса. И вдруг они остановились, посмотрели вниз, а там их Нора и какой-то мальчик кувыркаются на песке. Позднее, когда родители выговаривали мне за это, меня просто затошнило: я настолько ясно представила себе, как они втроем стоят на краю скалы и незаметно наблюдают за нами, что у меня возникло такое ощущение, будто я случайно выставила им напоказ свою душу. Так, значит, от чужих глаз никуда не скрыться. Мы-то с Терри сами все время выслеживали других людей, но эгоцентризм пятнадцатилетней девчонки помешал мне провести аналогию.

— С кем ты была, Нора? Кто этот мальчик?

Мне уже раньше задавали этот вопрос, и, как и раньше, я ответила:

— Не знаю.

К моему облегчению, ни Беатриса, ни Синтия не слышали этого разговора.

— Что значит — ты не знаешь?

— Я просто случайно встретила его у моря. На пляже всегда полно народу.

Меня охватила паника, но я пыталась скрыть это: поежилась, почесала в голове и взяла в руки книгу. Они же в это время молча обменивались взглядами, обдумывая, как со мной поступить.

— По-моему, не полагается так вести себя с посторонними мальчиками, Нора,— сурово сказала мать.

---

[1] Целиком *(франц.)*.

— Отложи книгу и смотри на мать, когда она с тобой разговаривает. Ты слышала, что она сказала? И чтобы больше не позволять себе никаких глупостей! Понятно?

Они видели, как мы кувыркались на берегу, и это их глубоко шокировало. И не в том дело, что мы были в купальных костюмах,— теперь все разгуливают по пляжу в таком виде. Но откровенно выставлять себя напоказ, да еще стоять вверх ногами вместе — мальчик и девочка! — это уже слишком. Родители остерегались напрямик высказать свои мысли, но в душе считали мое поведение омерзительным. Мне постоянно надлежит помнить, кто я: ведь я Скоби. Когда они, наконец, замолчали, я попросила прощения и в конце концов, после удовлетворившей их порции извинений, меня оставили в покое.

В другое время они бы еще долго читали мне нотации, но в ту пору родителей интересовал только Питер Миллер и Трис — Трис будущего, а Питер Миллер нарисовал им такую радужную картину, что им казалось, перед ними действительно открывается блистательная перспектива. Их первоначальный план — купить кафе «Роза» — все расширялся, и его размаху прежде всего способствовал разговор матери с Мейбл Тиллс-Митсон, затем пересказанный Питеру Миллеру.

Он очень удивился, когда узнал, что эллинг и домики на спуске принадлежат Уиллису, а не полковнику Карлайлу. Много лет назад, вскоре после того как Питер уехал из Англии и отправился к своим родным в Сингапур, Бобби написал ему, чтобы он бросил все дела и не медля вернулся домой. Бобби решил открыть ночной клуб в Трисе и хотел, чтобы Питер стал его компаньоном. Это наверняка могло принести обоим кучу денег и сверх того массу удовольствий. По тому, как Бобби писал об этом, Питер сделал вывод, что Бобби уже скупил весь поселок, а план был настолько типичен для образа мыслей Бобби и так ярко воскрешал в памяти замечательные дни, которые они когда-то проводили вместе, что Питеру, по крайней мере в день получения письма, захотелось ответить согласием. Однако он был по уши увлечен собственными планами и уже готовился отплыть в Рангун. Поэтому он написал Бобби, что отказывается от его предложения, а потом несколько месяцев не получал от него известий, пока не узнал о роковом происшествии из английских газет, которые родители переслали ему вместе с письмом полковника Карлайла, адресованным лучшему другу его покойного сына. Поскольку полковник не упоминал о ночном клубе в Трисе, Питер решил, что эта затея была сочтена несостоятельной, и вместо ночного клуба решено было приобрести отель; полковник Карлайл с грустью писал, что купил его лишь недавно и собирался отдать в распоряжение Бобби. Это сообщение Питер взял на заметку и, когда пришло время, вспомнил о нем с пользой для себя.

— Ах ты черт побери! Значит, Бобби так и не перекупил эллинг! — Питер был в восторге.— Да вы понимаете, насколько это важно? Это же меняет для нас все дело. Мы можем запросто перекупить все у Уиллиса, по дешевке. С Карлайлом было бы куда труднее договориться, поверьте мне. Старый хрыч очень сентиментален. А сентиментальность, как ничто другое, делает человека упрямым.

— Уверена, что вы можете быть очень упрямым, Питер,— сказала моя мать.— Неужели вы тоже сентиментальны?

Он ответил не сразу:

— Я не упрям.

— Вы же всегда добиваетесь того, чего хотите,— вы мне сами говорили.

— Добиваюсь, да, но не упрямством. У меня хватает ума действовать иначе.

— И к тому же, полагаю, хватает ума не быть сентиментальным, не так ли?

— А как вам кажется? — ответил он вопросом на вопрос.

— Это вы *меня* спрашиваете?! — воскликнула она.— Я же вас еще так мало знаю, верно?

— В таком случае, миссис Скоби, когда вы узнаете меня получше, я обязательно снова задам вам этот вопрос.

Он внезапно увидел Трис в совершенно новом свете и воодушевился. До сих пор его честолюбивые устремления не шли дальше постройки отеля на участке сестер Тиллс-Митсон и ресторана-бара, или чего-то в том же роде, на месте нынешнего кафе. Но если бы они сумели заодно заполучить владения Уиллиса, то держали бы всю бухту железной хваткой. А уж коль зашла об этом речь, почему не ухватить побольше? Почему бы не завладеть всей бухтой и не превратить ее в единый комп-

лекс? «Разве эта бухта, лежащая тут, перед нами, сама не просится в руки?» — говорил он моим родителям. И мне думается, что в эту минуту внезапного озарения он уже прикидывал, как завладеть последним бастионом Триса — домом Карлайла. Возможно, в глубине души он всегда мечтал об этом: для него это было бы своеобразной местью.

25

Реки Крэнч и Трис-брук были разделены крутым горным склоном, поросшим утесником, и точно посреди склона стояли два коттеджа — больше ничего. «Что за черт! — недоуменно возмущался Питер Миллер, уже решивший завладеть всей бухтой.— Как случилось, что два паршивых коттеджа занимают такое великолепное место?»

Эти коттеджи, объяснил отец, в свое время вызвали горячий спор, подробности которого ему не известны, так как он происходил в муниципальном совете за плотно замкнутыми дверями и все заинтересованные лица, в том числе начальник отца мистер Куинн, вышли оттуда с такими же плотно замкнутыми устами. Но существо вопроса заключалось в том, что застройщику Пэйви каким-то образом удалось купить у муниципалитета не подлежащий продаже большой участок земли, который являлся общественной собственностью. И если бы мистер Куинн не приехал в очередной раз в Трис для сбора арендной платы и не увидел два почти достроенных коттеджа, на склоне сейчас было бы уже целое поселение, а не только эти два домика.

Отец рассказал Питеру об этом скандале все, что знал и о чем лишь догадывался, но мне в дальнейшем довелось услышать так много разных вариантов этой истории, что я постепенно составила собственную версию. Мистер Куинн пришел в бешенство от того, что увидел. Фирма по продаже недвижимости, которую представлял мистер Куинн, пустила корни в Хьюэлле раньше всех других подобных фирм, и вдруг кто-то обманным путем опередил Куинна. С естественным возмущением он стал оспаривать законность сделки. Но делал это негласно, задавая вопросы только избранным лицам и на закрытых слушаниях, о которых не сообщалось в циркулярах, поскольку он допускал, что, роя яму другому, можно в один прекрасный день угодить туда самому. Однако, пользуясь своим положением управляющего делами Карлайла, он пошел обходным путем и послал по почте длинный отчет на юг Франции — он-то хорошо знал, что полковник Карлайл считает весь Трис если не фактически, то хотя бы формально, в подтверждение верности вассалов сюзерену, владением Карлайлов и любое посягательство даже на часть его воспринимает как ущерб, причиненный лично ему. Реакция полковника была быстрой: он связался со своим старым другом мистером Вэллери, а тот пользовался таким большим влиянием в округе и таким абсолютным правом вето, что на склоне больше не появилось ни одного коттеджа.

Однако уничтожить два уже построенных коттеджа, что так мозолили глаза, оказалось более сложным делом. Мистер Холт и семья Петтигру, вступившие во владение своими новыми домами, наверно, еще до того, как на крыши были уложены последние плитки зеленой черепицы, немедленно принялись разбивать сады, строить декоративные каменные горки и сажать розы, явно заявляя о твердом намерении остаться здесь до конца своих дней. Мистер Вэллери относился к ним как к нарушившим закон поселенцам, которых надо, точно мусор, смести с земли — той самой, что, кстати, просматривалась из некоторых окон дома Карлайла,— и ревностно стремился исполнить свой общественный долг. Правда, делал он это тоже втихомолку: как и мои родители, он смертельно боялся скандала.

Похоже, скандала боялись все. Ссора вспыхнула и затихла за закрытыми дверьми: взяла верх политика официальной сдержанности. В хьюэллскую «Газетт» просочилось сообщение о том, что несколько членов муниципалитета на одном заседании подали в отставку, а на следующем — вернулись на свои места, но редактор, очевидно, получил нагоняй за распространение этого слуха: данное читателям обещание опубликовать дальнейшие разоблачения не было выполнено, и после первой необдуманной статьи газета умолкла. Брошенная искра потухла, так и не успев разгореться. Но даже намек на скандал до того пугал моего отца, что его охватило сильнейшее беспокойство, когда Питер, потирая руки, заявил, что сложилась идеальная ситуация для компании «Скоби — Миллер» и пора ею воспользоваться —

их ждет большой куш. «Разве благоразумие не подсказывает держаться подальше от спорной земли?»— возразил отец. По его мнению, не следовало ввязываться в эту историю. Раз уже возникла неприятная ситуация, она может возникнуть снова. Да и вообще каким образом компании «Скоби — Миллер» удастся преуспеть там, где потерпел поражение застройщик Пэйви?

Но Питер лишь высмеивал страхи отца и отметал все его доводы. Решающие элементы в этой игре, говорил он,— секретность и быстрота.

— А что до всяких склок и грязи,— сказал он,— забудьте про это, потому что никакой грязи не будет. Мы не собираемся влезать в дрязги. Мы все сделаем чисто и аккуратно, Бернард, сохраняя достоинство, а не набивая кошельки. Самое главное — правильный подход: все зависит от того, с какой стороны зайти. Насколько я понял из вашего рассказа, нескольким ребятам из муниципального совета пришлось не сладко. Их поставили в угол и отчитали как напроказивших школьников — а за что? Да за то, что они вдруг проявили инициативу,— вот и все. Готов поспорить, что они до сих пор обижены, эти парни, а кому приятно чувствовать себя обиженным? Согласны? Так вот, появляемся мы и что им предлагаем? Вовсе не коттеджи. Вообще, бог мой, кому нужны коттеджи: у них нет будущего. Этот парень Пэйви, наверное, дурак — пожалуй, для нас даже лучше, если он дурак, потому что сейчас мне пришло в голову, что, возможно, придется вовлечь его в команду «Скоби — Миллер»— временно, конечно. Там будет видно — во всяком случае, не такая уж это плохая мысль. Так вот, Бернард, мы же предлагаем *отдых!* К примеру, что вы скажете о теннисных кортах? Или о клубе? Подумайте только, какое там наверху отличное место для теннисных кортов! Чудесное! И более того: теннисный клуб поможет нам переманить на свою сторону старого Вэллери.

Спорт!.. Упор делался на спорт, а мои родители брезгливо морщились от одного этого слова, которое у них ассоциировалось с кучами апельсиновых корок и битком набитыми автобусами, пока Питер не переубедил их. Странно вы это себе представляете, сказал он. Никаких апельсинов! Раз в неделю специально зафрахтованный пароход будет доставлять сюда ананасы и гуавы с Канарских островов. Естественно, спорт спорту рознь, все зависит от того, на кого он рассчитан. Посмотрите, говорил Питер, к примеру, на Сен-Морипс: самый простой и безотказный способ не дать спорту докатиться до уровня вульгарного развлечения — это сделать его дорогим, объяснял он.

Питер был целиком в своей стихии: его переполняли, как он их называл, озарения. «Меня озарила потрясающая идея — послушайте только». Они слушали его ошеломленные. Озарения приходили к нему чуть ли не каждую минуту. Трис станет спортивным центром гребли на каноэ, единственным на скалистом северном побережье Корнуолла. А может быть, сделать ставку на водные лыжи? Что вы скажете насчет того, чтобы превратить бухточку возле кафе в плавательный бассейн? Вода бы там менялась после каждого прилива. Конечно, на это нужно согласие муниципалитета, но его дадут, уж об этом он побеспокоится. Подразумевалось, что он всех купит. Питер намерен был пленить муниципальный совет Хьюэлла, нарисовав картину Триса, прославившегося своими видами, фотографии которых будут во всех крупных иллюстрированных журналах; Триса, превращенного из курорта местного значения в курорт международный; Триса, куда съезжаются богатые люди — сливки общества,— причем муниципалитет будет делить с Трисом и славу, и сопутствующие ей доходы. Трис станет громким именем. Питер рассчитывал, что Трис привлечет совсем иных людей, не похожих на старомодных чудаков, педантично, из года в год, останавливающихся в отеле «Рулен-бей». Трис будет принимать молодую жизнерадостную фешенебельную публику, неугомонную спортивную золотую молодежь, которой после приевшихся Кана и Ниццы посещение собственных задворков покажется забавным и приятным разнообразием. Трис должен стать модным увлечением. Пусть задворки, но роскошные, экзотические, с испанским налетом в архитектуре. Испания в Корнуолле — какое потрясающее озарение! Он уже сейчас ясно видит новый Трис: отель — там, теннисные корты — вот тут, эллинг превратится в бар-ресторан, на месте нынешнего кафе — водный клуб; впрочем, может быть, и все иначе — перемещений еще будет много, и они, собственно, не имеют значения. Важно другое: каждая карта, которую они держат или вскоре будут держать в руках,— козырная.

— И если мы будем играть умно,— сказал Питер Миллер моим родителям,—

остаться в накладе мы не можем. Такой шанс бывает только раз в жизни — именно так. Я всегда знал, что рано или поздно игра пойдет по-крупному. И ждал только удачного момента. Он настал.

Он часто говорил об удаче, но в отличие от моего отца, который считал удачу несбыточной химерой, Питер в ней не сомневался.

— Какая удача,— говорил он,— что вы так дружите со старухами Митсон.— Или: — Только подумайте, сэр, вы станете всесильным финансовым магнатом-чародеем — вот это, скажу я вам, удача! — Он говорил об этом небрежно и со смехом снова наполнял свой бокал. Удача? Для него она была попросту вещью, которой иногда удобно воспользоваться.

Помню однажды, когда мои родители и Питер беседовали о Трисе, разговор коснулся войны — не оставшейся в прошлом мировой войны, а угрозы новой войны, нависавшей над Европой. Допустим, эта угроза осуществится?

— Допустим, что так,— сказал Питер Миллер и, усмехнувшись, добавил: — Войны длятся не вечно. Кстати, сэр, между нами говоря, именно в такое время имеет смысл сделать рывок.

На счет Уиллиса он все же ошибся — это обнаружилось уже в самом начале. Обработать Уиллиса было поручено отцу: учитывая прежние коллизии, сочли более дипломатичным, чтобы Питер остался в стороне. Уиллиса вызвали под тем предлогом, что нужно опорожнить ассенизационный бак, хотя это еще вовсе не требовалось. Переговоры происходили на причале у кафе «Роза». Первую половину беседы я не слышала, но мне потом пересказали. Начался разговор неудачно, так как Уиллис сказал отцу, что обычно бак опорожняют всего раз в неделю, и этого вполне достаточно, даже когда туалетом пользуется много людей, а не «ваши две девочки», как сейчас. Отец пришел в ярость. Коль скоро он велел Уиллису привести туалет в порядок, то Уиллис обязан это сделать, а не спорить, пришло время или нет. Приказ есть приказ, его надо выполнять. И вообще, как Уиллис смеет говорить отцу «ваши две девочки» вместо того, чтобы сказать «молодые леди» или «мисс Синтия и мисс Нора».

Но, вероятно, больше всего отца вывело из себя то, что Уиллис имел наглость заявить, что за свои услуги берет почасовую оплату; всякий раз, когда за ним будут посылать, отцу придется раскошеливаться. До сих пор родители полагали, что Уиллис как бы приложение к кафе или, точнее, что его услуги оплачиваются сестрами Тиллс-Митсон и все те работы, которые он выполняет, пока мы здесь находимся, не имеют к нам никакого отношения. И то, что Уиллис подсчитывает жалкие крохи времени, которые уделяет нам, да еще требует за это платы — представлялось моим родителям низким и недостойным. В наши дни, говорили они, уже не осталось и следа от прекрасного человеческого стремления оказывать услуги ради услуг. Люди теперь во всем видят только деньги, деньги, деньги; это поистине ужасно и так огорчительно.

Начало беседы ничего хорошего не предвещало, а когда отец, сменив тему, заговорил с Уиллисом о продаже его недвижимости, беседа вообще молниеносно закончилась. Переговоры не состоялись. Уиллис заявил напрямик, что не будет ничего продавать ни сейчас, ни когда-либо еще и что он не намерен обсуждать этот вопрос — вот и все. Отец, наверно, все-таки пытался продолжить разговор. Когда я пришла, оба были уже разъярены и потеряли над собой контроль. Я спряталась, чтобы меня не видели, и с ужасом слушала заключительную часть этой перебранки. Уиллис кричал на отца:

— Не вам говорить, что́ я должен делать. Это касается меня, а не вас. И я не намерен расставаться с тем, что принадлежит мне,— не отдам ни вам и никакому другому мерзавцу, кто бы ни сунулся. Да я вас всех в гробу видел!

Отец не повторил этих слов матери. Растерянно моргая и немного заикаясь, он лишь сказал, что Уиллис был крайне груб и всячески поносил его. Когда об этом рассказали Питеру Миллеру, он разразился смехом. От Уиллиса, заметил он, вполне можно было ожидать такой выходки. Уиллис, конечно, самая настоящая свинья, но ему все-таки придется взяться за ум. У него же нет другого выхода: не имея регулярных заработков, как он иначе прокормит всю свою ребятню? Если раньше он отказывался продавать эллинг, так только из-за вражды с Бобби. Но это было много лет назад, и тогда все обстояло по-другому. А сейчас он продаст, будет вынужден продать. Подумает несколько деньков, а потом появится на пороге

с шапкой в руке. В тот день я впервые услышала выражение: «На каждого — своя цена».

Отец не мог посмеяться над Уиллисом потому, что боялся его. Он терзался, вспоминая ту сцену и те слова — оскорбительные лично для него. Я знала, что он терзается; у него просто раздувались ноздри, едва в разговоре упоминали имя Уиллиса. А моя мать вообще питала к Уиллису неприязнь, которая недавно с еще большей силой распространилась и на миссис Уиллис, отклонившую милостивое предложение вязать шерстяные жакеты по цене ниже той, какую она получала в магазине у мадам Клары. «Вот нахалка! Я же просто пытаюсь ей помочь. Да кто она такая?!» Отец же, боясь Уиллиса, стал его ненавидеть.

Жизнь отца была полна тяжелых испытаний. Одних способностей, говорил он,— это была его излюбленная тема,— в нашем мире недостаточно. Прежде чем воспользоваться какой-то возможностью, нужно еще, чтоб она возникла, а удобные возможности — *не по вине отца* — всегда обходили его стороной. Другим выпадала удача, а ему нет. Но сейчас, наконец, свершается чудо и перед ним открывается путь: позади пустыня, а впереди — город его мечты. Только нужно добраться до мерцающего впереди города, чтобы убедиться — это уже не мираж, и тут какой-то болван преграждает ему путь, заслоняя свет вдали, пусть даже всего на несколько дней, но сердце отца словно в предсмертной муке сжимается от боязни нового краха надежд — вот почему Уиллис вызывает в нем ненависть и страх. Он боится Уиллиса, этого сильного и вспыльчивого человека, который может одной рукой схватить его и при желании переломить надвое, он боится его и как дурного предзнаменования, помехи тому, что *должно* стать явью — иначе отец и мыслить не мог.

26

В пятницу, когда Синтия познакомилась с Питером и уехала с ним, а мать весь вечер пребывала в расстроенных чувствах, я поняла, что надвигается гроза. Поэтому на следующий день, в субботу, я сбежала из дома даже раньше, чем обычно, и на все утро избавилась от возможных неприятностей. Уже приближался час обеда, когда я прокралась обратно к кафе, чтобы захватить пакет с бутербродами, которые Беатриса за последнюю неделю привыкла ежедневно готовить для меня и Терри. Я надеялась, что мне удастся избежать встречи с родителями. Как обнаружилось, я ничем не рисковала: Беатриса была одна.

— Странно мне, что у вашей сестры до сих пор язык не отсох — она вашей матери такое говорит... такое! В мисс Синтию иногда просто черт вселяется, честное слово!

Как я постепенно выяснила у Беатрисы, мать снова ругала отца за то, что он не привез из Хьюэлла ее брошь: платье, которое она наденет на бал, никуда не годится, если его не украсить брошью, сказала она,— без броши она едва ли вообще захочет пойти на танцы. А Синтия еще подлила масла в огонь своим насмешливым замечанием о привязанности матери к какой-то глупой старой брошке. Питер Миллер, неожиданно появившийся спустя пятнадцать минут, застал моего отца вне себя от ярости, а мать — на грани истерики.

Питер же безумно спешил. Он заехал специально за отцом. Кто-то — Беатриса не знала, кто именно,— ждал встречи с мистером Скоби и мистером Миллером в отеле «Рулен-бей», и было очень важно не заставлять этого человека ждать. Я догадалась, что скорей всего это застройщик Пэйви или один из членов хьюэллского муниципалитета, чье имя в последнее время часто упоминалось в разговорах Питера с родителями. Но Питер, несмотря на спешку, задержался у нас на некоторое время и сумел успешно урегулировать эмоциональный кризис в семействе Скоби. Он умиротворил отца несколькими словами, которых Беатриса не расслышала, послал за аспирином и одеколоном для матери, велел Беатрисе поскорее упаковать ее вещи, а матери посоветовал написать записку, которую Беатриса должна будет передать мне. Нора, сказал он, может съездить на автобусе в Хьюэлл и привезти брошь.

Мать стала писать мне записку, потом, судя по всему, вдруг подняла голову и спросила: а разумно ли вверять рассеянному ребенку столь ценную вещь да еще чтобы она везла ее на общественном транспорте. Но Питер уже принес из машины футляр от бинокля, предварительно вынув из него бинокль; мне надлежало положить брошь в этот футляр, застегнуть его и повесить на ремешке себе на шею.

Уладив таким путем вопрос с брошью, Питер предписал матери для полного восстановления сил хорошую порцию холодного джина с лаймом, которую ей подадут на террасе отеля, затем без церемоний умудрился усадить ее на узкое и низкое пассажирское сиденье своего алого «родстера» и быстро укатил; вслед за ним отправился и отец на «хамбере». Беатриса не знала, куда девалась Синтия; она просто скрылась, не сказав ни слова, в тот момент, когда приехал мистер Миллер.

В футляре для бинокля лежали ключи от нашего дома и две монеты по полкроны мне на дорожные расходы: на эти деньги я могла бы до конца дня кататься на автобусе, и у меня все равно осталась бы сдача, или могла бы купить еще один билет и съездить в Хьюэлл вместе с Терри. Что я и сделала. Я была по горло сыта ролью семейного курьера, которому только приказывают, никогда не спрашивая его согласия. Если уж я у них на побегушках, то буду выполнять их поручения, не забывая и о своих интересах. А мои интересы в данный момент сосредоточивались на Терри. Вместо скучной поездки для меня одной я устрою развлечение для двоих.

Наш дом в Хьюэлле стоял на гребне холма, отдельно от остальных, он был из красного кирпича и смотрел в глубь страны.

— Вы здесь живете? — спросил Терри с недоверием.

Я подтвердила, но шла вместе с ним очень настороженно, словно для меня дом был таким же чужим, как и для него. Когда же я выудила из футляра ключи и открыла двери, мы шумно ворвались внутрь, нарушив молчаливую пустоту дома своей несколько преувеличенной веселостью. Родители мои находились в пятнадцати милях от нас, но их хмурое неодобрение словно висело в воздухе. Башмаки Терри громко стучали и шаркали по кафельному полу холла.

— Ой, Терри — ш-ш! Эти твои башмаки... ужас!

— Неважно, тут ведь никого нет. Эй, Нора, смотри! Я Фред Астер — сейчас я отобью чечетку.

Подошвы его башмаков были подбиты гвоздями.

— Ох, Терри, нет, не надо! Ты же поцарапаешь пол.

Он наскочил на коврик и споткнулся. Я схватилась за него, а он вцепился в меня своими костлявыми пальцами и держал, не отпуская.

— Ну давай, Нора... Ты будешь Джинджер Роджерс. Танцуй — чего ж ты?

— Я не могу, Терри. Отпусти. У меня туфли на резине — они к полу липнут. Я не могу!

Я пыталась вырваться, но от нервного смеха у меня не хватало сил, а он крепко держал меня, заставлял прыгать с ним по холлу, тащил за собой; повисая на мне, выкидывал какие-то коленца, то и дело поскальзывался и спотыкался.

— Давай, Нора, пой! — командовал он.— Ты Джинджер, а я Фред Астер. «Я чищу мой цилиндр,— орал он, фальшивя,— и надеваю фрак».

Несмотря на всю эту возню и шум, наши уши были так пугливо навострены, что мы услышали, как наверху тихо открылась дверь. Я помню лицо Терри, внезапно застывшее от ужаса. Я подняла голову, ожидая, что словно в кошмарном сне увижу на лестничной площадке и отца и мать. Но это была Синтия. Она выходила из своей комнаты. Синтия! Особенно ярко мне запомнилось ее платье. Синее ситцевое в маленьких белых маргаритках, с красным лакированным поясом. Она перегнулась через перила и глядела на нас во все глаза.

— Вы что, пьяные?

Внешне она казалась совершенно спокойной. Много лет Синтия вырабатывала в себе это свойство как одно из средств самозащиты. Я же не могла ничего ей ответить: я потеряла дар речи.

— Вы, видимо, собрались на скачки? — спросила она.

Я уставилась на нее в замешательстве. Какие еще скачки?

— На кой черт вам этот бинокль? — пришлось ей пояснить свой вопрос, и в ее голосе уже прорывалось присущее ей нетерпение.

— А-а, понимаю! Вот это? — Я внезапно почувствовала, что снова могу дышать.— Это не бинокль, это только футляр. Мне его мистер Миллер дал. Я должна положить туда брошь. Чтоб сохраннее было. Меня для того сюда и послали. Мне надо привезти маме брошь — сегодня же бал.

— Но его-то, я думаю, за брошью не посылали,— сказала Синтия, кивая на Терри.

Она вела себя так непринужденно и спокойно, что я выпустила свитер Терри, за который все еще цеплялась, и мы с ним теперь стояли рядом, глядя вверх. Избавившись от страха, я глупо улыбалась, но Терри держался очень напряженно.

— Ладно,— сказала Синтия,— если вы приехали за брошкой, то можете ее даже не искать. Сбережете и силы, и время — ее здесь нет.

— Нет? — переспросила я.— Как это нет, Син? Откуда ты знаешь?

— Откуда я знаю? А ты подумай как следует, дурочка. Да я ведь сама приехала за ней и уже пыталась ее найти. Так вот, клянусь всеми святыми, и вообще умереть мне на этом месте, Нора: маминой распрекрасной брошки в этом доме нет! О'кей? Так что, детишки, можете не суетиться,— сказала она насмешливо, подражая гангстерскому жаргону.— А ну, ноги в руки: вы еще успеете на обратный автобус в Трис. Что же вы стоите? Сгиньте! Испаритесь! — И она махнула рукой, прогоняя нас.

— Но как же так, Синтия? — ничего не понимая, сказала я.— Все-таки я лучше поищу ее. Меня же специально за ней послали. И я должна буду сказать, что я ее искала... А как ты сюда вошла? — спросила я, внезапно вспомнив, что ключи от дома у меня. Разве не я сама пять минут назад отперла дверь с улицы и затем входную дверь?

В этот момент в комнате Синтии раздался негромкий стук, словно упала щетка для волос или что-то такое же легкое. Через секунду дверь за спиной Синтии открылась, и из комнаты вышел доктор Брэдли.

— Там ничего нет,— очень громко сказал он Синтии.— А-а, привет, Нора,— небрежно кивнул он мне, глядя поверх перил.— Я тут искал эту, как бишь ее, эту штукенцию вашей матери. Твоя сестра попросила меня помочь ей — мы случайно встретились на улице. Ума не приложу, куда запропастилась эта вещица? Мы тут все обшарили... Извини, что так получилось,— обратился он к Синтии, понизив голос, а потом так же тихо спросил ее: — Кто этот мальчик?

Он был высокий, широкоплечий, с темными вьющимися волосами и крупным, изрядно красным лицом — его считали красавцем. Он был женат, но вел себя как холостяк и был популярен в нашем теннисном клубе, не зная себе равных в роли партнера в парной игре.

— Кретин! — сказала Синтия. Взглянув на него с ненавистью и презрением, она пробежала мимо вниз по лестнице. Всю ее тщательно наигранную безмятежность как рукой сняло. Теперь она стала самой собой — нервная, гневная.— Нора,— сказала она,— *да проснись же!* — Она схватила меня за руку и начала ее трясти, словно действительно пыталась меня разбудить.— Как ты думаешь, где я достала те деньги? Хоть раз пораскинь мозгами. Я же взяла эту брошку, Нора. Понимаешь? Я продала ее... нужны были деньги... мне! А сейчас возвращайся к матери и скажи ей, что ты не смогла найти брошку, что ее здесь нет. Это все, что тебе нужно сказать, Нора,— только так! И больше ни одного слова ни о чем.— Она вытолкала нас на улицу.

— Она нас заложит? — спросил Терри, когда мы шли по дорожке.

— Что?

— Я говорю, твоя сестра нас продаст?

— Нет.

Я была потрясена. Собственно, потрясения следовали одно за другим, и я смотрела на раскаленный тротуар так, словно никогда раньше его не видела. Машинально переставляла ноги и ощущала под ними неровную асфальтовую поверхность — никаких других ощущений у меня сейчас не было. Мой разум, а с ним и глаза, существуя отдельно от тела, которое самостоятельно передвигало ноги, словно парили в воздухе и при этом наблюдали за мириадами искорок, выбиваемых солнцем из бело-серого сияния мостовой. Эти искорки, красивые и вполне реальные, хотя и необычные, то и дело затенялись нереальными видениями: вот синее платье Синтии с красным поясом; вот дверь ее комнаты открывается во второй раз; вот ее рука трясет меня за плечо.

— В чем дело? — спросил Терри.— Тебе что, плохо?

Я села на низкую ограду чужого палисадника и откинулась назад, окунаясь в листву и в сильный сладкий запах бирючины.

— Терри...

Он сел рядом со мной. Это была очень тихая улица. Прохожих было мало, машины проезжали редко. Мы просидели там довольно долго. Терри рвал веточки бирючины, потом ломал их на мелкие кусочки и разбрасывал по тротуару. Иногда он поглядывал на меня, чтобы определить, как я себя чувствую, и когда решил, что

самое худшее уже позади, стал задавать мне лаконичные вопросы, на которые я отвечала очень немногословно. Болезненные вспышки нереальных видений возникали реже, а затем и вовсе кончились, превратившись просто в отрывочные воспоминания об эпизоде, уже отошедшем в прошлое. К нам он не имел никакого отношения, мы могли выкинуть его из головы и забыть — *забыть*.

Мы словно взбесились в тот день. Я пренебрегла всеми правилами семейства Скоби. Люди, носившие фамилию Скоби, не ели мороженое на улице, не сосали дешевые бело-розовые мятные палочки, не играли в «классы» на тротуаре. История до этого дня не знала ни одного Скоби, который позволил бы себе пить воду из городского фонтана, давился бы от смеха и брызгал слюной; истинные Скоби не обливали друг друга водой, не визжали и не кричали. По представлениям Скоби, мое поведение было возмутительным, а Терри вел себя и того хуже. Помню, как он босиком, повесив на шею связанные шнурками башмаки и растопырив для равновесия руки, бежал по стенам, огораживающим чужие сады. Помню, как он нажимал на звонки дверей и успевал убежать, прежде чем откроют; как в автобусе и вообще, пока мы добирались до «Рулен-бей», мы доставали из футляра для бинокля и грызли и сосали мятные леденцы, купленные на деньги Питера Миллера; как мы паясничали друг перед другом, взрываясь таким громким смехом, что пассажиры бросали на нас неприязненные брезгливые взгляды, а кондуктор дважды подошел к нам, пытаясь призвать к порядку.

— Послушайте-ка, вы...

— Что мы? — огрызнулась я с несвойственной мне дерзостью.— Мы ничего такого не делаем.

Кондуктор сконфуженно уставился на меня и больше ничего уже не сказал.

Я отыскала мать на затененной веранде отеля «Рулен-бей». Она сидела в центре группы восхищавшихся ею новых знакомых — все они были несколько старше ее. У матери были все основания покраснеть за меня — я стояла перед ней растрепанная и потная,— но она спокойно кивнула мне и со снисходительной усмешкой объявила:

— Это моя младшая дочь Нора.

Сморщенные лица старых дам и почтенных джентльменов с военной выправкой повернулись ко мне. Все понимающе закивали и заулыбались. Кто-то сказал, что они уже наслышаны обо мне. А что они слыхали? Я чувствовала себя в этой компании настолько же неловко, насколько непринужденно держалась моя мать, к тому же от жары, мороженого и леденцов я вся была липкой. Терри ждал меня внизу на пляже. Мы собирались там отмыться. «Да, — хотелось сказать мне.— Я — Нора, та самая, дуреха». Но я ничего им не сказала. Вместо этого, обращаясь к матери, я бесцеремонно выпалила:

— Ее там нет.

— Нет?! — воскликнула она.— Дитя мое, ты, наверное, не поискала там, где я тебе велела. Она безусловно на месте!

Мать явно наслаждалась жизнью. Питеру Миллеру полностью удалось успокоить ее, и сцена в кафе «Роза», как я сейчас воочию убедилась, осталась лишь неприятным воспоминанием. В своем нынешнем окружении мама чувствовала себя как рыба в воде, и уже сама ее поза — томно повисшие кисти рук, небрежно скрещенные ноги — намекала, что общество богатых людей для нее более чем привычно. Я переминалась с ноги на ногу и тупо повторяла, что броши нет там, где она должна была находиться по словам матери.

— Значит, ее украли,— заявила она таким тоном, словно не придавала этому большого значения. Голос ее звучал почти весело: кража фамильной драгоценности — событие, из которого можно немедленно сделать прекрасный спектакль, выгодно представляющий актрису публике. И я нисколько не сомневаюсь, что ни в тот момент, ни позже она действительно не верила в то, что брошь украдена на самом деле. Она ведь и раньше очень часто прятала ее в самые неподходящие места. Может, и на этот раз она положила ее в какую-нибудь не ту перчатку? Или в другой ящик? Моя мать вела себя беззаботно, с врожденной небрежностью ребенка, который разбрасывает свои вещи по полу куда попало, зная, что их за него поднимут и аккуратно сложат.

Когда я, пятясь, удалялась с веранды, я слышала, как мать рассказывает внимательной аудитории не только о великолепии пропавшей драгоценности, но также о ее истории; это была одновременно и история ее семьи, имевшей отношение к некоему

Этелдину, каким-то образом связанному с Сент-Джеймским двором во времена царствования королевы Виктории. Да, да, именно так!

Я сбежала по крутой тропинке на пляж. Мы с Терри лениво плескались в море, пока не стало темнеть. Прибой накатывал в сумраке постепенно, все белея и белея, и чем больше он белел, тем холоднее становилось в воде, так что мы, наконец, решили вылезти на берег. Мы стащили с себя мокрые купальные костюмы, как всегда старательно прикрывая при переодевании те части тела, которые обычно скрыты одеждой. Когда я неуклюже натянула на себя юбку и блузку, они тотчас прилипли к моей мокрой соленой коже: у нас не было полотенец, чтобы обтереться. Оба мы дрожали от холода, а у Терри даже зубы стучали. Днем, когда мы отправлялись в Хьюэлл, стояла жара, и вместо белья мы надели купальные костюмы. И сейчас мне было нечего надеть, кроме ситцевой блузки, юбки и туфель на резине, да и еда у нас ограничивалась сластями.

Я обошла отель кругом и нашла черный ход. На кухне мыли посуду после обеда и готовили угощение для бала. Повара встретили меня дружелюбно и не задавали вопросов, а когда я назвалась дочерью мистера и миссис Скоби, друзей мистера Миллера, мне разрешили взять что угодно из закусок, приготовленных на вечер.

Мы с Терри жадно поглощали нашу роскошную поживу в гараже, прижавшись к боку «хамбера» и набросив на плечи старый дорожный плед. Наш пир происходил при свете свечного огарка — из тех, что Терри вечно таскал с собой в кармане брюк. Тусклый дрожащий свет делал гараж похожим на темную пещеру и смягчал контуры алой спортивной машины, стоявшей рядом с «хамбером». Терри питал страсть к автомобилям, и из всех созданных за историю человечества моделей машина Питера Миллера вызывала у него наибольшее восхищение. Именно о такой машине он мечтал. Терри не спускал с нее взгляда ценителя, пока ел, а как только проглотил последний кусок цыпленка и дожевал вкуснейший бисквит, немедленно вытер пальцы о свитер, забрался в машину и, словно примеряясь, взялся за руль. Я немного встревожилась: а вдруг он потеряет над собой власть и включит зажигание, но Терри не хуже меня знал, как ревет мотор этой машины, и не рискнул.

Зато у «хамбера» мотор не ревел, а лишь мягко урчал, к тому же Терри был знаком с приборами и рычагами «хамбера», которые тайком тщательно изучал в Трисе при любой возможности. Я села рядом с ним и торжественно держала свечу так, чтобы он видел, что нажимать и за что тянуть. Мотор завелся. Широко раскрыв глаза, мы посмотрели друг на друга поверх свечи и засмеялись: как все легко получилось!

— Ты оставайся здесь, Нора...

— Терри... что ты делаешь?

Он уже открывал ворота гаража.

— Подожди, увидишь. Я тебе покажу.

Дюйм за дюймом он выталкивал «хамбер» из гаража, потом, двигаясь со скоростью улитки, мы ударились о стену отеля в противоположном конце двора — последовал легкий толчок, и мотор заглох.

От этого толчка я, наконец, пришла в себя. Лопнул воздушный шар, на котором я парила, оторвавшись от земли, всю вторую половину дня, с того момента, как отворилась дверь на втором этаже нашего дома; я снова стала сама собой и была охвачена паническим страхом. Что это мы с Терри делаем? Сидим в «хамбере» — в «хамбере» моего отца — во дворе отеля «Рулен-бей»? Нас могут обнаружить в любую минуту. А тогда? С нас заживо сдерут шкуру. Мы сошли с ума! Я схватила Терри за руку, сердце мое колотилось от ужаса: я осознала, где мы находимся, кто мы такие и что с нами будет, если нас поймают. А вдруг мотор больше не заведется? Но он завелся, и Терри, сохраняя за рулем спокойствие, откатил «хамбер» назад на несколько футов и загнал в гараж.

Я не смогла достаточно быстро уйти оттуда. И все же нам повезло, потому что не прошло и минуты, как во двор въехали две машины, а потом машины стали подъезжать одна за другой. По случаю бала мрачный фасад отеля был украшен гирляндами ярких мерцающих огней. Хлопали двери, слышались чьи-то громкие голоса.

До шоссе было полмили или даже больше, и мы пробежали все это расстояние в гору без остановки. Мы понятия не имели, который час, но знали, что последний автобус из Сент-Отиса проходит мимо ворот отеля «Рулен-бей» без четверти десять.

Войдя в гостиную кафе «Роза», я увидела на редкость уютную картину. Моя сестра Синтия раскладывала пасьянс, а сидевшая напротив Беатриса занималась штопкой. На подносе между ними стояли чайник, чашки и тарелка с печеньем. Было очевидно, что Синтия и Беатриса провели весь вечер вместе. Я удивилась, так как обычно они не стремились к общению.

— А вот и ты,— сказала Синтия.— Беатриса уже начала волноваться. Ты видела маму?

— Да.

— Что она сказала, когда узнала, что ты не нашла брошку?

— Сказала, что, наверное, ее украли.

— Так и сказала?

— Украли! — воскликнула Беатриса.— Кто же мог это сделать?

— Действительно — кто? — пробормотала Синтия и аккуратно положила красную пятерку на черную шестерку.

Поскольку мы обе знали, кто вор, мы в тот момент не сообразили, какое направление примут мысли Беатрисы. Мы не выросли, подобно ей, с самого рождения сознавая, что принадлежим к тому сорту людей, на которых в любых сомнительных ситуациях немедленно падает подозрение. Напротив, мы уже в момент появления на свет получили дипломатический паспорт с печатью «Вне подозрений»; мы росли с этим документом в кармане и потому считали вполне естественным, что нам дозволено беспрепятственно путешествовать по любой, пусть самой запретной территории, не вызывая никаких подозрений. Мы даже не задумывались над тем, что безоговорочность врожденной нравственности одних — в данном случае нас — зиждется на безоговорочности врожденной безнравственности других — в данном случае Беатрисы. И когда сейчас она вдруг притихла, мы на это не обратили внимания; она вообще была не слишком разговорчива, если ее не тянули за язык. Да к тому же нас с Синтией в тот момент достаточно занимали собственные мысли.

В ту ночь, в ночь бала, устроенного в отеле, Беатриса должна была лечь спать в хозяйственном отсеке вагончика, но вечером она призналась Синтии, что до умопомрачения боится пробыть несколько часов в темноте и одиночестве по ту сторону дороги. Пока мы неделю назад не оставили ее убирать в доме после нашего отъезда в Трис, она вообще еще ни разу в жизни не ночевала одна. Та ночь оказалась тяжким испытанием для ее нервов, а сейчас ее ждали еще бóльшие переживания: у нее не будет даже приличной крыши над головой — и ее так одолели ужасные предчувствия, что́ она, ободренная домашней обстановкой чаепития, стыдливо исповедалась в своем страхе мисс Синтии. Синтия отнеслась к этому совершенно спокойно и сказала Беатрисе, что раз так, то лучше всего перенести раскладушку через дорогу и поставить в зале кафе. Беатриса с признательностью и сделала это, хотя дрожала при мысли, что так дерзко нарушает безоговорочные приказания отца.

— Мистер Скоби строго наказывал, чтобы я спала в вагоне, а не в кафе.

— Мистер Скоби ничего не узнает, если ты сама ему не скажешь. Я ему ничего говорить не собираюсь,— откликнулась Синтия.

Своей властностью и безапелляционностью Синтия напоминала нашу мать; она во многом была на нее похожа, но возмутилась бы, если б ей об этом сказали. Она не отправила меня спать. Она продолжала тасовать и раскладывать карты, делая это ловко и быстро. Синтия не глядела на меня и что-то напевала себе под нос. Мне не хотелось напоминать ей о нашей встрече днем, и все-таки, словно завороженная быстрыми движениями ее рук и тихим пением, я неожиданно для себя спросила, что думает доктор Брэдли об истории с брошкой. Она отвлеклась от карт, подняла голову и рассмеялась. Напоминание об эпизоде, столь неприятном для меня, у нее не вызвало ни малейшего замешательства.

— Он ужасный недотепа,— заявила она.— Видишь ли, я ему сказала, что брошка моя, что она досталась мне по завещанию от бабушки. Теперь он пытается уговорить меня снова поехать с ним в Плимут и выкупить брошку.

— Ты поедешь? — спросила я.

— Конечно нет, дурочка. Зачем, по-твоему, я ее тогда продала? Я хочу эти деньги потратить.

— Сколько ты за нее получила?

— Двадцать пять.

Я была ошеломлена. Двадцать пять фунтов в те годы были большими деньгами; мне, во всяком случае, они казались огромной суммой.

— И что ты с ними сделаешь?

— Сейчас ничего. Приберегу, пока не понадобятся, пока не решу, что пора. Они тут, у меня в сумке, а значит, я могу в любой момент встать и уйти отсюда — просто *уйти*! А уж когда я уйду, поверь мне, больше не вернусь!

Много лет спустя она описала мне тот воскресный день, когда она вернулась домой в Хьюэлл, чтобы взять мамины очки,—таков был, по крайней мере, предлог. У нее были ключи, дом принадлежал ей целиком. Все лето ей хотелось совершить что-нибудь отчаянное, и вот она одна в доме — едва ли такая возможность представится ей еще раз; а она даже не знает, как ею воспользоваться получше. Разве что позвонить доктору Брэдли? Она так и решила, не придумав ничего интереснее.

Она уже довольно давно флиртовала с ним, причем достаточно открыто, что дало пищу любителям посплетничать. Это был всего лишь флирт, и их тайные свидания не выходили за рамки якобы случайных встреч. Они виделись во время ее обеденного перерыва на улице, в библиотеке или на ступеньках муниципалитета. И хотя она согласилась по-прежнему встречаться с ним в течение тех двух недель, пока мы жили в Трисе, и даже почти пообещала съездить с ним разок за город, например, чтобы поиграть в гольф,— вовсе не эта зарождавшаяся интрижка побудила Синтию наврать родителям, будто старик Медликотт не дает ей отпуска. Она сделала это скорее всего для того, чтобы избавить себя от невыносимой скуки нашей жизни в кафе «Роза»; а главное, она стремилась завоевать хоть на короткое время то, к чему так страстно стремилась,— свободу. Этому, конечно, охотно потворствовал красавец доктор, за которым уже установилась репутация заядлого бабника, пренебрегающего своей незаметной женой. Увлечение доктора Брэдли Синтией возникло давно. Он заглядывался на нее, еще когда она училась в пятом классе и носила школьное платье и черные чулки. После окончания школы она стала иногда ходить с ним на танцы, играла в теннис, несколько раз позволила себя поцеловать — но не больше.

Не больше — а что было в ее жизни такого, чего ей хотелось бы еще больше? Позднее она рассказала мне, что в тот день обошла весь наш дом. Она ненадолго задерживалась в каждой комнате, внимательно осматривалась по сторонам и говорила себе: «Нет, этого я не хочу». Дом был уродлив. Все в нем выглядело уродливо. Наши родители приложили к тому немало усилий и добились своего или почти добились.

Уезжая из Триса, она собиралась позвонить доктору Брэдли, но уже в автобусе на пути в Хьюэлл не была до конца уверена, что сделает это. А найдя брошь, приняла решение: брошка матери поможет ей уехать в Париж!

Когда десять лет спустя Синтия рассказывала мне об этом, она вспоминала, что слово «Париж» пронеслось в ее мозгу как метеор и тут же созрел план, продуманный от начала до конца. Как метеор, сказала она мне. Значит, этот короткий миг запал в память Синтии навсегда: ей обычно были чужды подобные поэтические сравнения. Схватив брошку, она сбежала по лестнице и позвонила Дугласу Брэдли.

Без него ее план был неосуществим. Ей нужны были поддержка и сила мужчины — пусть даже такого, которого она в общем-то презирала. Синтия, всю жизнь нуждаясь в мужской поддержке, неизменно выбирала мужчину, которого потом начинала презирать, и неизменно презирала себя за то, что этот мужчина ей нужен. Думаю, что именно презрение к собственным слабостям вызывало в ней такое же отношение к слабостям других; но она была способна и на жалость — как в том случае, когда спасла от страха Беатрису, боявшуюся ночевать в одиночестве,— и, возможно, по той же причине. Моя мать, не признававшая за собой никаких слабостей, была нетерпима и к слабостям других: она считала, что человеческие слабости следует наказывать, и с удовольствием унижала и тиранила тех, кто был слабее ее. Синтия же не радовалась, когда обнаруживала в ком-либо уязвимое место; и если она резко реагировала на чужие слабости, то лишь потому, что они причиняли ей боль — боль понимания: слабые — всегда жертвы.

Когда Синтия воевала с родителями, она воевала и сама с собой. Она не подлаживалась, не уступала, не шла на компромиссы; но она не могла победить в этой войне потому, что, как это ни злило ее и как ей ни было стыдно, она все еще боялась родителей.

Париж! Хотела бы я знать, что было в этом сверкающем слове такого, что заставляло ее верить, будто едва она окажется в Париже, едва вступит на его волшебные бульвары, едва вдохнет парижский воздух, как все остальное приложится само собой! Что означало слово «Париж» в 1937 году для девушки, которая провела все свои девятнадцать лет — если не считать вряд ли что-то дающей уму и чувствам ежегодной семейной поездки на отдых — в захолустном приморском городке Хьюэлле? Какое блестящее будущее привиделось ей в неуютной спальне родителей, когда она вглядывалась в бантик из бриллиантов и сапфиров, который должен был принести ей спасение?

Не знаю, что она тогда думала и на что надеялась, но только кончилось это тем, что моя сестра Синтия в свои девятнадцать лет впервые отдалась мужчине. Она не любила его, не была им увлечена, и ею руководила даже не чувственность, хотя, как я думаю, чувственность затем проснулась в ней и смутила ее: она ведь не ожидала этого. На следующий день, в понедельник, Брэдли отвез ее в Плимут, где она продала брошь. И у нее на руках оказалась солидная сумма. Это тоже было для нее внове. Ей никогда не удавалось отложить ни гроша из того мизерного жалованья, которое платил старик Медликотт. Отец забирал половину ее денег в семейный бюджет, а остальное она тратила на журналы, духи и прочие пустяки, пытаясь этим как бы отстоять свою независимость.

По плану, так дерзко — или так наивно — разработанному, она собиралась сбежать в Париж с доктором Брэдли, что вызвало бы шумный скандал. Впоследствии доктору Брэдли пришлось бы вернуться домой, чтобы кое-как выпутаться из этой неловкой ситуации, а она осталась бы в Париже. Двадцать пять фунтов придавали ей уверенности. Возможно, их даже не придется потратить, если Париж сразу откроет перед ней свои златые врата.

Таков был план моей сестры. Но, приняв решение, она не торопилась претворять его в жизнь. Нет ли еще и других способов вырваться из конуры, в которой она задыхается? Об этом стоило подумать. И, раскладывая пасьянс, она как раз об этом и думала. А я смотрела на нее и ни о чем не догадывалась.

— Кто этот мальчик, которого я все время с тобой вижу? — огорошила она меня вопросом, продолжая быстрыми и ловкими движениями тасовать карты. Я была застигнута врасплох.

— Как это кто?

— Ну, скажем, как его зовут?

— Терри.

— А фамилия? Терри — ну а дальше как?

— Не знаю.

— Смешная ты, Нора,— сказала она.— Подумать только, даже не знаешь его фамилии.

Я молчала. Мне было достаточно того, что я знаю, как его зовут. Терри — вот и все.

Она отложила карты и повернулась на стуле, чтобы завести патефон. Я помню эту пластинку: «Мне нечего дать тебе, кроме любви», пел Бинг Кросби. Эта мелодия с пластинки тотчас поселилась в моей усталой голове и много лет потом звучала у меня в ушах, неизменно ассоциируясь с шумом моря и криками чаек,— томная, печальная и нежная любовная песенка. Синтия снова взяла карты и стала их тасовать, но уже несколько рассеянно. Со свойственной ей бесцеремонностью она спросила:

— А что же вы с ним делаете весь день на пляже?

— Не знаю. В общем, ничего. Купаемся.

— Как я понимаю, вы что-то очень много купаетесь.

Десять лет спустя она спросила меня напрямик: «Неужели этот мальчик даже ни разу тебя не поцеловал?»

«Нет»,— ответила я, быстро захлопнув дверь за всем тем, о чем не хотела вспоминать через десять лет после утраты.

«Что же, он до тебя и не дотрагивался, что ли?»— изумилась она, не поверив.

«Нет»,— снова сказала я, отвечая на этот вопрос лишь в том смысле, какой она в него вложила.

«Значит, все вокруг ошибались?»

«Да».

«И я тоже ошибалась. Впрочем, это меня не удивляет. Ты была такой странной девочкой, Нора: никто никогда не знал, чего от тебя ожидать. Мне кажется, ты была

какой-то заторможенной, и, наверное, он тоже. Я-то про поцелуи все знала, еще когда мне не было...— сколько тебе тогда было, пятнадцать? — боже мой!»

Сейчас я вполне могу размышлять обо всем этом. Мы с Терри то и дело дотрагивались друг до друга, но не в том смысле, как это понимала Синтия. Мы помогали друг другу взбираться на скалы, поддерживали друг друга над обрывами. Я и сейчас помню, как худые цепкие пальцы Терри хватали меня за плечо, за кисть, за лодыжку. Мы жили в постоянном соприкосновении, но не ощущали разницы между прикосновением к траве, песку, морской воде или тела к телу. Мы считали себя скалолазами, акробатами, пловцами, исследователями и шпионами. Нам никогда не приходило в голову поцеловаться. Достаточно было и того, что мы рядом и можем прикоснуться друг к другу.

Но в тот субботний вечер в кафе Синтия была менее откровенна в своих высказываниях. Она лишь предостерегла меня:

— Будь осторожнее, Нора. Если вас с этим мальчиком застанут за каким-нибудь предосудительным занятием, тебя просто уничтожат. Так уж лучше будь начеку.

А мы-то занимались воровством! И были так беззаботны, ради забавы шли на идиотский риск, вечно старались покрасоваться друг перед другом. Боже, как мы были глупы! Я тихонько застонала и принялась грызть ногти; Синтия заметила это и нетерпеливо пояснила:

— Нужно просто решить для себя, стоит ли игра свеч, Нора. Если ты считаешь, что тебе это нужно и ради этого стоит забыть, что тебя могут разрезать на кусочки и сварить в масле,— валяй! Но если действительно кончится этим, не смей расстраиваться.— И она в сердитом отчаянии бросила карты.— Просто не придавай этому значения! Не думай об этом.

«Зато любви у меня, крошка, в избытке».

Но мы обе думали об этом и придавали этому значение. Мы не могли иначе.

— Где он живет — твой мальчик?

— У него своя палатка.

— А-а... турист.

Мы сидели в тишине, слушая Бинга Кросби.

— Син,— спросила я,— а как ты думаешь, что теперь будет из-за этой брошки?

— Не знаю. Откуда мне знать? Поживем — увидим.

— Скажи, по-твоему, они и вправду купят кафе и все остальное?

— Похоже, что да... если сумеют достать деньги. Все упирается в деньги, как всегда,—сказала она, внезапно резко встав.— Хочешь чего-то добиться—неважно чего—имей деньги. Деньги!

28

На следующий день, в воскресенье, Терри и я ближе к вечеру пили чай у Беатрисы на веранде вагончика. Мы ощущали себя просто людьми, а не изгоями или беглецами. Мы ели черный хлеб с маслом, бутерброды с клубничным джемом и пухлый кекс. Беатриса приготовила чай на спиртовке, которую для этой же цели держали здесь Мейбл и Корди. Небо затянуло облаками. Ветра не было. Воздух был теплым и неподвижным. Беатриса сидела в плетеном кресле и штопала. Вьющиеся мелкие розы фестонами висели над верандой, заключая в рамку поле, тыльную сторону кафе и издали едва различимые трубы дома полковника Карлайла на той стороне бухты.

Весь день мы не находили себе места. Наверное, это погода так влияла на нас. Перемену погоды мы восприняли почти как предательство. Когда небо было голубым, а солнце — жарким, мы жили, не испытывая страха. Солнце правило миром и защищало нас. Пока оно светило, ничто не могло проникнуть сквозь его пылающий щит и на нас напасть. Осиротев с его исчезновением, мы стали беспокойными, нас донимали непонятные предчувствия. Страх заставлял нас искать успокоительной поддержки взрослых, и, по мере того как день клонился к исходу, мы постепенно перемещались все ближе к кафе и Беатрисе.

Я знала, что мы застанем ее одну. Когда днем я заглянула в кафе, чтобы захватить, как обычно, пакет с бутербродами, Беатриса сказала, что утром Питер Миллер повез Синтию на своей алой спортивной машине в Хьюэлл за ее теннисным костюмом и ракеткой, оставшимися дома. В отеле после обеда должен был состояться теннисный турнир — в полном соответствии со славными старыми традициями. Ждали груп-

пу морских офицеров, которые накануне были на балу. Судя по всему, Синтия дала себя увезти без возражений.

— Она вообще-то была рада уехать,— сказала Беатриса,— хотя виду не подавала. Можно было подумать, это она делает мистеру Миллеру одолжение. Мисс Синтия — она всегда так, ни в чем меры не знает: то как каменная, а то словно с цепи срывается. Не понимает, что ей же было бы лучше, будь она поспокойней да помягче. А она... Небось сейчас уже жалеет, что не пошла вчера на бал. Там ведь офицеры эти были.

Беатриса была, как никогда, близка к гневу, обиженная тем, что Синтия пренебрежительно относилась к ее, Беатрисы, новому кумиру— Питеру Миллеру. Обида сделала ее более разговорчивой, и Беатриса позволяла себе откровенно критические высказывания.

— Синтия никогда ни о чем не жалеет,— заметила я.— Если бы она хотела пойти на бал, то и пошла бы. Ей на танцах всегда скучно. А вот в теннис играть она любит. И у нее хорошо получается.

В тот день мы придумали для Беатрисы подходящую историю про Терри: будто он сейчас живет не в Трисе, а в Хьюэлле, вместе со своими родителями, очень порядочными людьми. Я знала, что порядочность — это как раз тот критерий, который сыграет решающую роль. Моя мать, когда у нее возникало желание хорошо отозваться о ком-либо, стоящем на более низкой ступеньке общественной лестницы, обязательно говорила: «Это человек порядочный». Мифический отец Терри был владельцем большого гаража. Родителей Терри якобы срочно вызвали в Лондон, так как внезапно заболела его старая бабушка,— в нашей семье для предотвращения различных неловких ситуаций часто ссылались на неожиданную болезнь кого-нибудь из родственников, и, как я заметила, это всегда сходило гладко.

Мы не стали придумывать, что отец Терри врач или адвокат, потому что у Терри было не то произношение. Сам он больше всего хотел стать механиком в гараже — вот мы и решили в конце концов, что дадим ему в отцы хозяина гаража. Не знаю, поверила ли Беатриса в то, что мы ей сказали. «А-а, понятно»,— вежливо кивала она, слушая нас. А мы не очень много ей и рассказали: день был таким теплым и спокойным, что не хотелось напрягаться и выдумывать всякие сложные объяснения.

В разговоре Беатриса несколько раз обращалась к Терри. Я радовалась: это значит, решила я, что он ей понравился. Я видела, как она незаметно наблюдала за Терри, а потом предложила ему второй кусок кекса, подвинув тарелку пальцем, на котором, помнится, по-прежнему был надет наперсток. Она не задавала никаких каверзных вопросов, хотя вполне могла бы. Думаю, в тот воскресный вечер ей не хотелось узнавать правду, так как в глубине души она подозревала, что правда может повергнуть ее в замешательство. Но она тем не менее спросила Терри, как выглядит Лондон; совсем непохож на здешние места, ответил Терри. А когда она спросила, где бы он предпочел жить —у моря или в Лондоне, он повернул голову, посмотрел на нее через плечо и с улыбкой ответил: «Здесь!» Беатриса одобрительно кивнула, давая понять, что именно так ответил бы любой, у кого есть хоть сколько-нибудь ума. Его улыбка и ее кивок, подумалось мне, означают, что они уже стали друзьями, и раз уж между ними установилась дружба, она будет вечной и неизменной — на такую дружбу можно положиться.

После чая мы снова пошли бродить по пляжу.

В тот вечер Терри перенес свою палатку в новое место, неподалеку от кустов тамариска, окружавших бухточку рядом с кафе «Роза». Вполне возможно, что чаепитие с Беатрисой побудило его придвинуть палатку поближе к людям, чего прежде он не делал.

29

Было уже почти девять, когда Синтия вернулась из «Рулен-бей»; лицо ее сияло от побед на теннисном корте и от тех скрытых мыслей, которыми она не собиралась делиться с нами. Она не позволила Питеру Миллеру выйти с ней на причал. Легко и быстро она выскочила из машины, пока он возился за рулем. В короткой белой плиссированной юбке, она стояла на темнеющей дороге, теннисная ракетка была перекинута через плечо, как весло.

— Спасибо, что подвезли,— услышала я.— Спокойной ночи.

Затем она прошла по дорожке, быстро закрыла громоздкие ворота и задвинула засов. Она стояла рядом со мной, и мы вместе прислушивались к рокоту спортивной

машины, которая развернулась и помчалась вверх, в гору. Гул мотора постепенно затихал, и нам казалось, это затихает вдали досада Питера. Синтия была довольна. Когда мы входили в кафе, она даже что-то тихонько напевала. Они с Питером уже начали долгое, упорное сражение, и Синтия не сомневалась, что выиграет его. Она полагала, что легко сумеет заткнуть Питера Миллера за пояс, ошибочно приняв мгновенное и обоюдное признание некоторого сходства в характерах за взаимопонимание. А Питер с самого начала был убежден, что видит Синтию насквозь. Но он заблуждался: ему так и не удалось раскусить ее до конца. Однако же, как только ему сказали о пропаже маминой брошки, он сразу догадался, кто ее украл.

Он, возможно, не пришел бы к этому выводу столь быстро, если бы моя мать невольно сама не навела его на след во время вскружившего ей голову субботнего бала. Питер подарил ей бутоньерку с орхидеями, чтобы заменить горячо оплакиваемую драгоценность. Орхидеи! Никто ни разу в жизни не дарил ей орхидей. Опьяненная скорее вальсами и фокстротами, нежели шампанским, и терзаемая неосознанной ревностью, она излила в соблазнительно склоненное к ней ухо поток неосторожных признаний, попотчевав Питера всеми сплетнями о Синтии и докторе Брэдли: эти сплетни вызывают у нее и Бернарда просто ужасное беспокойство; они все время боятся, как бы в один прекрасный день не выяснилось, что их дочь не только своевольна и упряма, но еще и совершенно *безнравственна.*

А Питер, наполняя ее бокал, ведя ее в танце — такую высокую, представительную,— внимательно слушал и мгновенно сообразил, что к чему, догадавшись даже о том, о чем не догадывалась моя подозрительная, но наивная мать. Он тотчас сообразил, что Синтия ездит каждый день на автобусе из Триса в Хьюэлл отнюдь не на работу, а на свидания с любовником; всю прошедшую неделю она ежедневно тайком посещала пустой дом — и вот пропала фамильная драгоценность матери. У Питера не оставалось никаких сомнений в том, кто взял брошку. Он видел картину похищения так ясно, будто украл брошку сам.

Человек дотошный, он назавтра позвонил старику Медликотту, извинился, что беспокоит его в воскресенье, и, заведя разговор о каком-то якобы нужном документе, выяснил, что его догадка, хотя бы частично, подтверждается.

— Передать документ завтра через дочку Бернарда Скоби? — переспросил старик.— Но это невозможно, она в отпуске. Скоби отдыхают всей семьей. Не знаю, куда они в этом году поехали — ах, в Трис, вы говорите? Не знал. Она мне не сказала. Она вообще не очень разговорчива, эта девочка. Не болтушка. Это мне в ней и нравится. В моем деле очень важно держать язык за зубами. Большинство девушек этого не умеет.

И в следующую среду вечером Питер, положившись на собственную интуицию и на стратегический план, выработанный им, чтобы припереть Синтию к стенке, сообщил ей все эти детали, а также очень много других; позднее, десять лет спустя, накануне развода с Питером, Синтия мне все рассказала. Но в то воскресенье она узнала лишь один весьма горький факт: Питеру известно, что она взяла брошку. Я пришла в ужас, когда она сказала мне об этом после того, как Беатриса пошла спать.

— Он так и сказал, что знает?

— Нет, не сказал. Но он знает.

— А как он узнал?

— Не имею ни малейшего представления — просто знает, и все. По-моему, он умеет видеть сквозь стены. Не удивлюсь, если он подглядывает в замочные скважины: у него хватит подлости.

— Он донесет на тебя?

— Пусть доносит, если хочет. Мне наплевать. И мне наплевать, кому он скажет. Думает, я испугалась,— ничего подобного. Думает, что теперь может командовать мною. Вот тут-то он и ошибается.

В то утро, вместо того чтобы привезти ее прямо к нашему дому, Питер сделал круг и проехал мимо полицейского участка. Он сказал, что обещал ее матери заявить о пропаже брошки. Синтия не проявила никакого интереса к его маневрам. Она хотела остаться в машине, но он заставил ее войти с ним в участок. Разговаривая с полицейским, он все время обращался к ней за подтверждением. Тогда-то она и заподозрила, что Питер знает правду и развлекается, играя у нее на нервах. Она стояла в стороне, пожимала плечами, делая вид, что ей скучно, но в душе все больше ожесточалась и все сильнее презирала его. В конце концов она сказала полицейскому:

— Знаете, моя мать вечно теряет эту свою брошку. И каждый раз думает, что ее украли. Она прячет ее в разных местах, а потом забывает, куда положила.

Полицейский посмотрел на Питера с сомнением, не зная, нужно ли отнестись к заявлению серьезно.

— Есть ли основание считать, что в доме побывали грабители, сэр?

— Спросите мисс Скоби.

— Я не знаю. Мне-то откуда знать?

Дома, пока она переодевалась у себя в комнате в теннисный костюм, Питер осмотрел весь дом и обнаружил, что внизу в уборной не заперто окошко. Через это узкое окошко Синтия каждый день проникала внутрь, а потом ложилась в постель и ждала, порой часами, когда до нее, наконец, донесутся шаги Брэдли, осторожно ступавшего по травию. Тогда она бежала вниз и впускала его через черный ход.

Питер выказал глубокую озабоченность в связи со своим открытием и предложил Синтии снова заглянуть в полицейский участок на обратном пути из Хьюэлла. Синтия ответила, что он может поступать как хочет. К тому времени она уже была уверена: он разгадал правду.

— Подумать только, незапертое окно внизу! Если это не доказывает, что кое-кто тайком влезал в дом, то не знаю, какое еще нужно доказательство. Вы согласны? Если мы скажем в участке про окошко, мы немедленно подымем полицию на ноги. Так как, скажем мы или нет?

Но она не хотела доставлять ему удовольствие и продолжала молчать. Уж я-то знала, как умеет молчать Синтия, и вполне могла себе представить, какой презрительной была в этот момент ее улыбка.

— Как вы думаете, закрыть мне его сейчас? — упорно продолжал он свое наступление.— Или оставить открытым? Что вы посоветуете?

Он может делать все, что хочет, повторяла она с каменным лицом,— ей в высшей степени наплевать.

Он запер окошко, но у полицейского участка не остановился.

— Я могу заскочить туда и завтра,— сказал он,— и все им рассказать... если мы решим, что так надо.

Днем Синтия отказалась играть в паре с Питером Миллером и играла против него, выбрав в партнеры самого блестящего из молодых морских офицеров. Она была в прекрасной спортивной форме — Синтия сама мне так сказала — и стала звездой теннисного турнира. Она не ошибалась в подачах и ни разу не промазала. Ее жесткие, резкие и уверенные удары справа, слева и с лёта служили лишь одной безжалостной цели: уничтожить Питера Миллера на теннисном корте. Это ей удалось. В теннисе она могла разбить его наголову. И от этого ей казалось, что она может одержать над ним победу и во всем остальном.

И, стоя тогда на причале, залитом тусклым вечерним светом, мы слышали в удалявшемся рокоте машины Питера несомненную обиду, вызванную как публичным провалом на теннисе, так и пренебрежительным отношением Синтии в их разговорах с глазу на глаз. Но раздраженное ворчанье мотора постепенно затихло, уступив место успокоительному плеску далеких волн. Тут Синтия рассмеялась, замурлыкала какой-то веселый мотив, мы вошли в кафе и спустились по ступенькам в большой зал с низким потолком. Беатриса уже зажгла газовые рожки и задернула полосатые занавеси. Она терпеть не могла черноты незанавешенных окон.

В зеленоватом, мерцающем газовом освещении белый костюм и рыжие волосы Синтии, казалось, фосфоресцировали. Она стояла в центральном проходе зала, окруженная маленькими, почти призрачными столиками, и смотрела себе под ноги; опущенные веки скрывали ее тайные мысли. Она лениво постукивала ракеткой по носкам своих теннисных туфель, рассказывая Беатрисе и мне об изменившихся планах, про которые узнала в «Рулен-бей».

Родители пробудут там до конца недели — то есть до конца отцовского отпуска — как гости Питера Миллера. Им предстоит обсудить и сделать так много, что они сочли более удобным и разумным остаться в отеле. Они заедут сюда завтра, чтобы взять нужные вещи, а Беатрисе приказано съехать от Уиллиса и перебраться со всеми пожитками к нам, на эту сторону бухты. Беатриса ничего на это не сказала. Она всегда безропотно делала то, что ей приказывали, считая, что раз так велели мистер и миссис Скоби, значит, это правильно.

Бедная Беатриса! Какой несчастной она себя, наверное, чувствовала. Переезды она любила не больше, чем моя мать. Ей претило всякое нарушение заведенного порядка.

Она не выносила никакой импровизации. Беатриса и так уже страдала от того, что ей приходилось ночевать в одной комнате с тремя детьми Уиллисов, а по утрам тащиться в кафе, чтобы готовить нам еду и выполнять прочую домашнюю работу в условиях, которые она, как и моя мать, считала ужасными; а приказ переехать на постоянное жительство в кафе обрекал ее на еще большие пытки. Куда ей теперь деваться, когда она все приготовит и уберет? В кухне и неудобно, и от чужих глаз не скроешься. В гостиную она могла заходить, только если ее приглашала туда Синтия. В кафе у нее не было ни нормальной спальни, ни собственного угла, где она могла бы спокойно отдохнуть, никому не мешая. Раскладушка Беатрисы стояла прямо в зале кафе, оскорбляя ее чувство приличия, хотя по ночам она радовалась, что спит здесь, а не в вагончике. Но через зал ходили все кому не лень — разве можно выложить свои личные вещи в таком проходном доме?

Но Беатриса не жаловалась. Она старалась устроить все получше, не теряя столь важного для нее чувства достоинства. Днем хозяйственный отсек вагончика был ее личным владением, а вечером, до наступления полной темноты, она там раздевалась и готовилась ко сну. Потом, надев дождевик поверх ночной рубашки, она сходила с застывшим лицом по деревянным ступенькам на залитую асфальтом тропинку и пересекала дорогу. Закрыв на засов зеленые ворота из рифленой жести, она из кухни сообщала Синтии о своем прибытии:

— Я тут, мисс Синтия. Ворота заперла. Если я вам больше не нужна, я, пожалуй, лягу.

Синтия сочувствовала Беатрисе, понимая, что та боится ночевать одна, но с какой стати она так старается, чтобы ее не видели в ночной рубашке? Синтии казалось нелепым, что Беатриса, переходя из вагончика в кафе, подкалывает рубашку, чтобы она не торчала из-под плаща, а потом откалывает снова лишь после того, как говорит «спокойной ночи». Синтии было понятно чувство страха, даже если оно принимало формы, чуждые ей самой, но она никак не могла понять, почему Беатриса так страдает от того, что кто-то может подметить ее привычки.

30

Весь день шел дождь, серый, моросящий, пронизывающий дождь. Неожиданная и резкая перемена погоды сперва даже понравилась нам: как забавно, думали мы, мокнуть и в море, и на берегу. Но уже после полудня дождь нам осточертел. С нависающих скал капало; с кустов тамариска капало; со сводов пещер, где мы пытались укрыться от дождя, капало. На траву не сядешь — мокрая, песок тоже мокрый. Нигде ни сухого местечка. Руки у нас были холодными и влажными. Капли воды стекали по шее и попадали под свитер. Мы не могли сидеть в палатке Терри — она была слишком мала для двоих, да и один-то человек мог поместиться там только лежа. Я оставила Терри в палатке, а сама поднялась наверх на дорогу и пошла в кафе.

Было около трех часов, прилив достиг высшей точки. Из-за дождя и высокого прилива никого вокруг не было. Трисская бухта пустовала. В этот понедельник здесь безраздельно властвовали мягкие серые завесы дождя, накатывающие одна на другую волны и мрачные чайки.

Синтия что-то шила в гостиной. Она не поехала в Хьюэлл, как обычно, автобусом в восемь тридцать, заявив в свое оправдание, что старик Медликотт сжалился и дал ей вторую неделю отпуска.

— Где же этот твой мальчик? — спросила она, насмешливо глянув на меня. Я вымокла до нитки и представляла собой жалкое зрелище. Когда я в ответ неопределенно мотнула головой, Синтия, ловко орудуя ножницами, сказала: — Приведи-ка ты лучше его сюда.

— А можно?

— Он ведь, надеюсь, не кусается.

Она не сказала Терри ни слова. В отличие от Беатрисы, она даже ни о чем его не спросила. Просто дала нам свою колоду карт, а сама продолжала шить.

Дождь шел непрерывно. Но сейчас мы были довольны: дождь оставался снаружи, за окном, а мы сидели, отгороженные от него стенами дома, и от этого маленькая, заставленная мебелью гостиная сестер Тиллс-Митсон казалась еще уютнее. Я обу-

чала Терри разным играм в карты. Он быстро все схватывал и вскоре стал у меня выигрывать. Мы старались говорить потише, боясь, что надоедим Синтии и она пожалеет, что впустила нас в дом. Мне все же думается, она была рада нашему обществу. Утром в доме был ужасный скандал, и сейчас ее мучили угрызения совести. А совесть у нас настолько тесно переплеталась с гордостью, что Синтия терзалась вдвойне. Внешне сдержанная, она шила блузку и ставила патефонные пластинки одну за другой — у ее ног лежала целая куча пластинок; но всякий раз, откладывая шитье, чтобы завести патефон, она подчинялась потребности поделиться со мной тем, что произошло утром здесь в кафе, пока мы с Терри мокли под дождем на пляже. И хотя я и Терри то и дело перешептывались, Синтия обращалась только ко мне, словно мы с ней были в комнате одни, а я, хоть и слушала ее, не считала нужным отвечать,— молчание, чувствовала я, объединяет меня с Терри и, следовательно, утверждает его присутствие.

Вскоре после завтрака, рассказала Синтия, отец привез мать в кафе «Роза». Воодушевленный своей новой ролью участника бизнеса, он среди бела дня поехал в Хьюэлл для каких-то переговоров и предполагал заехать за матерью на обратном пути. Беатрисы не было в кафе: она пошла в деревню к Уиллисам за еще оставшейся у них частью ее вещей. А мать хотела видеть именно Беатрису. Она желает побеседовать со служанкой, заявила она Синтии, усаживаясь с видом сурового судьи в зале кафе.

Тут, только тут Синтия поняла, что ее преступное деяние может быть приписано Беатрисе. Я тоже до той поры об этом не думала: Беатриса была оплотом нравственности в нашем доме. Уверена, что и сама мать, которую мнимые исчезновения броши и связанные с ними переживания всегда очень развлекали, на самом деле вовсе не подозревала в краже Беатрису. Мать, как и мы, прекрасно знала, что Беатриса не способна даже украсть из кладовки холодную вареную картофелину,— а Беатриса очень любила холодную картошку.

Синтия предотвратила допрос. Она запретила матери хоть словом упомянуть при Беатрисе о броши и заставила мать признаться, что, по ее мнению, Беатриса вообще, в принципе не способна на кражу. Но сейчас важно мнение полиции, а не ее мнение, заявила мать; полиция же неизбежно заподозрит Беатрису, потому что она могла поддаться искушению и взять брошь в ту первую субботу, когда ночевала одна в нашем доме.

Именно в этот момент Синтия и должна была бы сказать: «Брошку украла я!» Но Синтия — яростная поборница справедливости, ненавидящая подлость в любом ее проявлении,— не сказала этого. Правда, нечто близкое к признанию у нее все-таки сорвалось с языка.

— Я сказала маме: «Вздор! Если эту несчастную брошку действительно стащили, то скорее всего это сделал тот, кто влез в дом через окошко в уборной».

— Ты так и сказала?— Я настолько перепугалась, что чуть ли не выкрикнула этот вопрос.

— Да. И тут-то оказалось, что она впервые слышит про открытое окошко. Питер Миллер ничего не сказал ей. Решил пока придержать эту улику про запас — думает, это его козырь. Только теперь его козырь против меня не сыграет: я сама матери сказала.

Отец, вернувшийся из Хьюэлла в странном полувозбужденном-полураздраженном настроении, отказался поверить в ограбление. Какой смысл человеку, проникшему в дом, взять только брошку, и ничего больше? Никто ее не крал! Чепуха! Мать сама положила ее в другой ящик или еще куда-нибудь, как обычно, и найдет, когда вернется домой. А может, она по ошибке просто выбросила ее в мусорную корзинку — тоже не велика важность. На деньги по страховке она купит себе что-нибудь другое. В конце концов это всего лишь брошка!

Мать от такого оскорбления ударилась в слезы. Всего лишь брошка! Он ничего не понимает — впрочем, это *естественно!* Но ее намеки пропали даром, потонув в его сердитых криках. Не сделает ли она милость уразуметь, что ему сейчас нужно думать о вещах, куда более важных, чем какая-то паршивая брошка, и на обсуждение этой ерунды он больше не потратит ни минуты своего времени, которого и так мало. Кроме всего прочего, отец был бы отчасти даже рад, если бы фамильная драгоценность его жены *действительно* пропала: ему до смерти надоело, что мать так носится со своей побрякушкой, делая из нее символ хорошего происхождения,— окутанного мистической дымкой достоинства, к которому отец относился с такой ненавистью и в то же время с таким глубоким уважением.

Окошко в уборной не было закрыто, сказал он, по вине Беатрисы. И, вызвав Беатрису в зал, сделал ей выговор за небрежность. Ей доверили дом, велели по всем пра-

вилам его закрыть, а она не позаботилась об этом. В наказание из ее жалованья будет удержано полкроны. Но пока он ругал покорно молчавшую Беатрису, глаза его не отрывались от Синтии. Перед отъездом он отвел ее в сторону и тихо сказал на ухо, что он не такой дурак, как она думает, и на днях ее ждет расплата.

Когда нагруженный бурлящими страстями «хамбер» наконец отъехал, Синтия накинулась на Беатрису, отругала ее за то, что она не постояла за себя, и обвинила в бесхребетности. Мне же Синтия позднее сказала в гостиной:

— Я обещала дать ей эти паршивые полкроны. Но почему она позволяет им топтать себя? Почему не может защититься? Она так слабовольна — ведь знает же, что не оставляла окошко открытым. Я его открыла.

И, схватившись за ручку патефона, Синтия стала заводить его с таким отчаянием, словно это был аппарат для подзарядки мужества. Чьего мужества? Да, она даст полкроны, но ведь это не может очистить ее страдающую совесть или восстановить в ней самоуважение.

Движимая любопытством, я спросила:

— Что он имеет в виду под расплатой?

— Бог его знает. Наверное, когда он был сегодня в Хьюэлле, кто-нибудь опять насплетничал ему про меня и Дуга Брэдли. Можно подумать, меня это очень волнует!

В четверть пятого Беатриса пришла из вагончика к нам, чтобы приготовить чай. Когда она внесла поднос в гостиную и увидела там Терри, то заметно насторожилась. Поставив поднос, она снова бросила на Терри взгляд, быстрый и враждебный взгляд исподлобья. Еще вчера она не была настроена враждебно. Мы сидели с ней на веранде как старые друзья и ели сандвичи с джемом и кекс. Я вспомнила, что после завтрака она отправилась в Трис. Может, Уиллис сказал ей что-нибудь о Терри? Или обо мне? Что именно? Я встревожилась — и не только из-за этого налета враждебности: было заметно, что Беатрисе как-то не по себе, словно она заболела. Беатриса никогда не хворала. Может, вернувшись из деревни, она слышала, как мать и Синтия говорили о ней? Когда люди очень расстроены, они кажутся больными.

— Что у нас сегодня на ужин, Беатриса? — спросила Синтия.

— Я хочу приготовить макароны с сыром, а сначала подам по чашке бульона и омлет со специями.

— Постарайся, чтобы на него тоже хватило,— сказала Синтия, кивая на Терри.

Беатриса не пила с нами чай и позднее отказалась от приглашения Синтии поужинать вместе со всеми в гостиной. Безотносительно к тому, что ей рассказал или не рассказал Уиллис, она в принципе не одобряла поведения Терри, расположившегося у нас в гостиной как у себя дома. Пусть даже наша теперешняя жизнь походит на беспрерывный пикник и все правила Скоби постоянно нарушаются, но где-то ведь надо провести границу; с подобными мальчиками можно общаться только на улице, в дом таких не приглашают, а если и приглашают, то не пускают дальше кухни. Тут уж для Беатрисы не было сомнений, хотя далеко не всегда она трактовала правила Скоби с полной уверенностью. К тому же, я думаю, она считала себя оскорбленной: когда в субботу Синтия пригласила ее посидеть с ней в гостиной, Беатриса восприняла это как свидетельство особого расположения, ее как бы посчитали членом семьи, но чего стоит подобное расположение, если точно так же приглашают какого-то уличного мальчишку.

Не знаю, который был час, когда она в тот вечер окликнула нас из кухни,— очевидно, было достаточно поздно, потому что она уже разделась и старательно пряталась за дверью.

— В окно зала стучатся, мисс Синтия. Кто бы это мог быть? Да еще среди ночи! Я уже давно закрыла ворота на засов.

Будь я на месте Синтии, я бы подошла к окну, чуть-чуть отодвинула бы занавески и посмотрела. Но Синтия этого не сделала. Она отложила шитье, пробежала через зал, быстро отперла ворота и вышла на дорогу.

— Кто здесь? — громко спросила она.— Кто это? Что вам нужно?

Высокий человек вышел из темноты и дождя — доктор Брэдли. Без пальто, воротник пиджака поднят.

— Какая мерзкая погода! Я уж думал, меня так и не услышат.

Синтия повела его по причалу и впустила в дом через нашу спальню, чтобы не проходить через зал и не встречаться с Беатрисой. Терри тем временем исчез. Синтия устроилась с ногами в большом кресле. Она сидела выпрямившись, подогнув под себя ноги и вытянув голые руки вдоль подлокотников кресла и смотрела, как доктор Брэдли

стряхивает капли воды с пиджака. Когда она повернула голову, я увидела, что в ее рыжих волосах сверкают дождинки.

— Глупо это, Дуг, стучать в окно.

— А что мне оставалось делать? Эти ваши воротища заперты наглухо! Да и чего бояться — я разговаривал с вашим отцом. Ваши родители сейчас живут в «Рулен-бей», ведь так? Отель «Рулен-бей» — подумать только — шикарная жизнь! Я приехал, Синтия, чтобы узнать, почему вы сегодня не были там,— сказал он, неловко взглянув на меня. Я хотела было отойти к двери, но Синтия опередила меня, сказав, чтобы я никуда не смела уходить.

— Я сегодня не была там, Дуг, потому что оставалась здесь,— сказала она безаботно.— Мне не хотелось ехать в Хьюэлл.

— А-а... Не хотелось? Но почему? Что случилось? — Он не мог открыто говорить при мне.

— Ничего не случилось. Просто я решила провести весь день здесь и кое-что сшить. Вот — смотрите! — Она приложила к себе недошитую блузку из белого органди, придерживая ее обеими руками.

— Очень мило. Я думал, может, у вас какие-нибудь неприятности.

— Нет,— ответила она ровным голосом.— Никаких неприятностей. Вам нравится эта оборочка? Как, по-вашему, я похожа сейчас на этакого песика Тоби?

— Очень мило,— повторил он.— Сегодня ко мне приходил ваш отец.

— Вот как?!

— Да... Так вот, я думал, он пришел насчет... Я думал, кто-нибудь позволил себе бестактность...— Он снова взглянул на меня.— Так что я сказал ему...

— Что вы ему сказали? — Она сразу насторожилась.

— Я сказал ему... Послушайте, может быть, лучше, чтобы Нора...

— Нора пока ничего никому не говорила, так что она и сейчас ничего не скажет, и вообще она никогда не болтает,— верно, Нора? Она умеет молчать как рыба, и я хочу, чтобы она осталась здесь.

— Ну что ж, если вам кажется, что все в порядке... Нора, конечно, свой человек — да, Нора? Ты нас не подведешь? Я уверен, что Нора нас не выдаст! А вот как насчет того мальчика, который был с ней в субботу? Кстати, кто он такой?

— Никто — просто здесь отдыхает. Нора познакомилась с ним на пляже.

— А у него хватит ума держать язык за зубами? Нам вовсе ни к чему, чтобы он болтал. Может, мне стоит... проучить его?

— Нет, Дуг, ни в коем случае! Как вам не стыдно?! Ладно, говорите же наконец, что́ вы сказали моему отцу.

— Я сказал, что совершенно случайно в прошлую субботу встретил вас на улице и вы сказали, что у вас сложилось впечатление, будто в вашем доме побывали грабители...

— Вот это было глупо. Почему вам вдруг вздумалось заявить подобную глупость?

— Потому что тогда мой визит к вам выглядит вполне оправданно. Я объяснил вашему отцу, почему вдруг оказался в его доме... в вашей комнате. Я же думал, что он именно по этому поводу пришел поговорить со мной. Откуда мне было знать, что ему ничего про это неизвестно?! — полусердясь и полужалуясь, доктор Брэдли то ли забыл обо мне, то ли в волнении уже не обращал на меня внимания.— Очевидно, Синтия, вы не отдаете себе отчета в том, что все это значит для меня, в моем положении.

— Не отдаю себе отчета? — повторила она и холодно взглянула на него.— Но почему я должна думать о вашем положении? Что все это значит для вас, Дуг,— не мое дело. Каждый думает о себе,— сказала она, дерзко тряхнув кудрями.

— Вам легко говорить, Синтия, вам легко относиться ко всему этому как к шутке. В конце концов, что вы теряете? Рискую-то я.

— Это ваше дело, Дуг. Вы на риск пошли — вам и решать! Что ваше, то ваше!

Она поддразнивала его недружелюбно. Словно покалывала ножом. И он растерялся и надулся, не зная, как ее унять или что ответить. Он сидел на диване и, наклонившись вперед, мрачно изучал рисунок потертого ковра у себя под ногами. В наступившем молчании я слышала, как легкая дробь дождя стучит над нами по жестяной крыше, а вдали глухо плещут волны, разбиваясь о камни в устье реки. Прилив в эту ночь был низким, но более шумным, чем накануне. Синтия взяла в руки оборку из органди и стала нетерпеливо наматывать ее на кончик пальца.

— Что ж, если отец зашел к вам не для того, чтобы поговорить о нас, то зачем он вообще приходил?

Доктор Брэдли ответил, что этот визит носил профессиональный характер.

— Профессиональный? Он что, болен? Что с ним стряслось?

Словно желая укорить Синтию за легкомыслие и напомнить ей, что он заслуживает уважения хотя бы как врач, Брэдли ответил с натянутой усмешкой.

— Дорогая девочка, такие вопросы медикам не задают. Нам не полагается, знаете ли, обсуждать болезни своих пациентов с кем попало.

— А кто собрался их обсуждать? Только не я,— сказала Синтия почти грубо; его напускное высокомерие нисколько на нее не подействовало.

Он сразу сдался. В общем-то, сказал он, никаких секретов тут нет. Ее отец абсолютно здоров. А к нему, Брэдли, он пришел, чтобы справиться не о себе — его интересует состояние здоровья сестер Тиллс-Митсон. Синтия перестала накручивать оборку на палец и уставилась на доктора Брэдли с удивлением.

— Отец пришел к вам поговорить о старушках Корди и Мейбл?! С какой стати? Какое моему отцу дело до состояния их здоровья?

— Он надеется, что они поведут себя разумно, когда речь зайдет об их кафе. Ваши родители ведь хотят купить его — впрочем, может быть, вы об этом не знаете? — чтобы иметь возможность отдыхать за городом в выходные дни и на праздники, как сказал ваш отец.

И он, видимо, приходил к доктору Брэдли, чтобы заручиться его поддержкой. Старушки не всегда понимали, как им лучше поступить в собственных же интересах, но неизменно прислушивались к рекомендациям своего врача. Отцу будет значительно легче их уговорить, если они получат медицинский совет и им дадут понять, насколько рискованно в их возрасте содержать кафе в такой глуши, как Трис.

— И вы согласились поговорить с ними, да?

— Я сказал, что да, конечно же, непременно выскажу им свое мнение. И я считаю, просто как врач, что им уже давно пора отойти от дел. Правда, к какому решению они придут потом — захотят ли продать кафе и кому,— это меня совершенно не касается. Хотя лично я думаю, что им следует благодарить судьбу, пославшую покупателя. Старая хибара из жести и еще какой-то дряни — я бы не дал за это кафе и пяти фунтов.

— А про нас с вами отец ничего не говорил?

Нет, он вообще не заводил об этом разговора. Доктор Брэдли сам проговорился, сделав поспешные выводы и тут же выпалив свою версию; что сказано, того не воротишь, но он, как мог, постарался исправить положение, дав понять, что Синтия приехала в Хьюэлл вместе с Норой, которая получила ключи от дома вполне законным образом. Он ни звука не сказал о Терри: чем меньше людей будет впутано в эту историю, тем лучше.

— Но знаете ли, я не думаю, чтобы он собирался кого-то расспрашивать. Он с самого начала дал мне понять, что готов закрыть на это глаза. Никаких вопросов, никаких наказаний — он сам так сказал, и, право же, мне сразу полегчало. Когда сегодня утром он вошел в мой кабинет, мне, скажу вам честно, стало очень не по себе. Поэтому я и вел себя как осел: первым выложил свои карты и сел в лужу. Знаете, как бывает: откроешь рот и не успеешь оглянуться, как уже наговорил лишнего. Тем не менее, по-моему, в конечном счете все обошлось.

Доктор Брэдли принадлежал к тем людям, которые любят слушать себя. После того как он выговорился, к нему вернулась обычная самоуверенность, он сел попрямее, расправил плечи и с довольным видом пригладил свои густые черные вьющиеся волосы. Если Дуглас Брэдли и попал ненароком в неприятную историю, он всегда сообразит, как из нее выпутаться: он ведь не вчера родился.

— Значит, вы заключили сделку,— сказала Синтия.— Понятно.

— Сделку?! — Он возмутился.— На что вы намекаете?

— Ах, Дуг, вы прекрасно знаете, на что я *намекаю.*

Он совершенно не понимал Синтию, она была для него загадкой. Я видела, с какой неуверенностью он смотрел на нее, пытаясь решить для себя, что выгоднее: признать откровенно — да, двое практичных людей заключили между собой сделку, или же продолжать притворяться, будто он даже не догадывается, что́ она имеет в виду. Наконец, он сказал, обиженно оправдываясь:

— Никакая это не сделка, ничего подобного. И вообще, при чем тут сделка? Ваш отец не дурак. Он не будет устраивать скандал из-за каких-то сплетен — скандал нико-

му не приносит пользы, и ваш отец, поверьте мне, прекрасно это понимает. А старушкам Митсон я скажу только то, что я должен был бы сказать в любом случае: в конечном итоге это пойдет им же на пользу. Зачем же тут разводить антимонии? Кстати, Синтия, осталась еще одна мелочь... в Плимуте... вы понимаете! Мы должны это уладить, и тогда — никаких проблем. Как только мы с этим разделаемся, мы сможем...— Он замялся.

— Мы сможем — что? — спросила она.

— Ну.. мы сможем — вы же меня понимаете — спустить все на тормозах. Пусть за месяц-другой все как-то утрясется...

— А вы, я вижу, перепугались до смерти, да?

— Но, Синтия... перестаньте! Будьте же справедливы!

— Справедлива?! — Я поняла, что она злится. Я видела это по ее глазам и дрожащим пальцам.— Вы просите меня, чтобы я была справедлива к вам? Как вы представляете себе справедливость, Дуг Брэдли? — Он смущенно засмеялся, но она настаивала: — Нет, право, Дуг, я хотела бы это от вас услышать. Мне интересно. Объясните!

Он растерялся и не знал, как выпутаться.

— Синтия, уймитесь же! — снова стал он упрашивать ее.— Все эти высокие слова — к чему они? Будьте благоразумны, Синтия.

Он наклонился и похлопал ее по колену. Когда он к ней прикоснулся, она резко вскочила на ноги, и я с ужасом подумала, что сейчас она его ударит. Но я ошиблась. Она отвернулась и оперлась на резное украшение над камином, положив голову на руку, и я поняла — он-то не понял,— что она вот-вот разрыдается.

— Уходите, Дуг,— сказала она.— Просто уходите. Меня от вас тошнит.

Я вышла вслед за Брэдли под дождь, чтобы закрыть за ним ворота.

— Ты — настоящий друг, Нора,— сказал он, сжав мое плечо.— Мы, старые друзья, должны держаться вместе, а?

Вернувшись, я застала Синтию все в той же позе.

— Почему всегда наталкиваешься на такое... вероломство? — У нее в запасе было немало подобных старомодных слов — то были слова из лексикона Медликотта, полной противоположности ее обычному жаргону.— Почему не может быть так, как нам хочется? — В ее приглушенном голосе звучало совсем детское горе.

— Почему не может быть — что?

— Да всё — мы сами! — Она подняла голову.— Почему всё не может быть по-другому, Нора?

— Не знаю.

31

На следующий день Синтия заставила меня пойти вместе с ней к Уиллисам. Она сказала, что я с ними лучше знакома, и это была правда. По сути, она в этот раз впервые встретилась с миссис Уиллис. Та была дома одна, если не считать малышки Беллы, качавшейся в подвешенном к потолку детском стульчике. Я вздохнула с облегчением, увидев, что самого Уиллиса дома нет.

Миссис Уиллис сразу же прониклась неприязнью к Синтии. Едва переступив порог, Синтия вызвала у нее ненависть и недоверие. Это было понятно. Своей надменностью Синтия напоминала нашу мать. Откуда было миссис Уиллис знать, что Синтия и наша мать — совершенно разные люди?! Откуда ей было знать, что надменность Синтии — это всего лишь прикрытие, защищающее затравленного ребенка, а сейчас за внешней надменностью прячется неловкое и мучительное чувство униженности? Синтия же совсем не заметила, что произвела плохое впечатление. Она вошла в маленькую темную кухню Уиллисов, обвела все вокруг быстрым, но внимательным взглядом — этот взгляд миссис Уиллис явно сочла презрительным — и без приглашения уселась в деревянное кресло Уиллиса. Сидела она, как всегда, очень прямо, высоко подняв подбородок, совершенно не думая о том, что у нашей матери такая же манера — садясь, надменно задирать подбородок. А миссис Уиллис, словно по команде беззвучного горна, оставила утюг и, сложив на груди руки, заняла боевую позицию перед плитой; ее антагонизм был настолько непоколебим и категоричен, что она за все время нашего пребывания так ничего и не поняла, а ведь Синтия была с ней заодно, не против нее.

Синтии же показалось, что беседа протекала вполне успешно. Она пришла, чтобы подкрепить свое суждение мнением мистера и миссис Уиллис, уже много лет знавших сестер Тиллс-Митсон. Что, спросила она, по мнению миссис Уиллис, скажут старушки, если кто-нибудь захочет купить кафе «Роза»? На этот вопрос миссис Уиллис немед-

ленно ответила, что никто не собирается покупать кафе «Роза», и ей хотелось бы знать, кто это распространяет всякие злонамеренные басни?

— Это не басни. Такое вполне может случиться. И я просто хотела бы знать, будет ли это им неприятно?

— Неприятно?! — переспросила миссис Уиллис, уставившись на Синтию так, словно употребить это слово могла только сумасшедшая.— Да они скорее отдадут жизнь, чем кафе.

— Но они ведь уже старые, правда? — настаивала Синтия.— А в кафе работа тяжелая и к тому же одна из сестер постоянно хворает. Так, может, им лучше отказаться от кафе и жить в Хьюэлле?

— Лучше? Кто же может об этом судить? Они что, сами не имеют права решать, от чего им отказываться, где жить, как и от чего умереть, когда придет время? Эти старушки за всю свою жизнь не причинили зла ни одной живой душе, а такое редко о ком скажешь. Почему же нельзя оставить их в покое, чтобы они жили как хотят, без чужой подсказки?

Синтия была слишком поглощена ведением расследования и даже не заметила, что ее отождествляют с недругами сестер Тиллс-Митсон. Я играла с Беллой и прислушивалась к их разговору. Меня поразило, насколько разная у них речь: у одной — такая сдержанная, такая отрывистая и сухая, а у другой — раскованная и красочная. Уиллисам живая, непринужденная речь доставляла удовольствие. Свободное изложение мыслей ценилось в их семье как развлечение. А в семье Скоби речь была строго ограниченной формой общения. Мы чувствовали и переживали не менее горячо, чем любой из Уиллисов, но мы не пользовались языком, чтобы передать наши чувства словами,— мы скорее старались скрыть, а не выразить эмоции, которые только при чрезвычайных обстоятельствах прорывались сквозь барьеры избитых фраз и изливались в самобытной речи. А Уиллис же, равно как и его жена, всегда пользовался выразительным языком, он легко укладывался в моей памяти, я с удовольствием вспоминала их живые обороты, меня тянуло повторить их. Без сомнения, в доме Уиллисов роскошь фразеологии в какой-то мере компенсировала недостаток других богатств.

Когда Синтия с удовлетворением узнала то, что хотела, мы ушли. Но как только мы оказались на дороге, я пробормотала какие-то слова извинения и помчалась обратно в кухню. Малышка встретила меня радостным визгом. Я рассеянно покачала подвешенный стульчик, чтобы доставить ребенку удовольствие, а потом застыла в неловком молчании, кусая губы и не зная, как задать тот вопрос, который последние дни то и дело возникал у меня в мыслях. Миссис Уиллис снова взялась за утюг.

— Ну, Нора, что тебе? — Она всегда была прямолинейной, но обращение ко мне по имени смягчило резкость.— Ты что-нибудь забыла?

Я глубоко перевела дух. Мучившая меня загадка заключалась вот в чем: хотя Терри когда-то учился в школе, он не умел ни читать, ни писать. Он вовсе не был тупым — тут и говорить нечего,— и именно поэтому я не понимала, в чем же дело. Мне казалось, что одна вскользь оброненная Уиллисом фраза, которую я услышала, когда в первое воскресенье принесла Беатрисе мешок с вещами для штопки, как-то связана с этой загадкой и, быть может, даже позволит ее разгадать.

— Я... да... вроде. Не то чтобы забыла. Просто хотела спросить... я тут думала... А что имел в виду Уиллис, то есть мистер Уиллис, когда он сказал, что... что вас в школе не осмеливались учить слишком многому?

Я боялась, что она будет надо мной смеяться или уставится на меня, как недавно — на Синтию; но она не засмеялась и хотя действительно уставилась на меня, но не так. Она ответила сразу же, словно мой вопрос был не странным, а вполне естественным. Прямой взгляд ее черных глаз не казался неприятным, но очень смущал. Какой неизвестный мне мир, какие познания и опасные убеждения скрывались в ее блестящих глазах? Сколько нового мог бы открыть мне этот мир, если бы я только знала, какие вопросы надо задать?

— Чем больше люди узнают, тем больше у них появляется разных мыслей, вот что он имел в виду,— сказала она.— Учение заставляет их задуматься над тем, что они собой представляют. А стоит человеку вступить на этот путь, начать раздумывать, почему да отчего,— этому конца не будет. Те, кто правит, такого не любят. Им больше нравится, когда споры не возникают.

Я была разочарована. По сути, я поняла ее ничуть не лучше, чем в тот раз Уиллиса. Какие такие мысли? При чем тут споры? Школа не научила меня спорить. Напро-

тив, подтвердила правильность того, что я уже усвоила дома: самое умное — это поменьше болтать и проявлять послушание.

Пока я разговаривала на кухне с миссис Уиллис, подошел автобус на Хьюэлл, и Синтия села в него, решив без промедления отвезти Мейбл и Корди факел свободы. Я лишь позже узнала, что Синтия поехала в Хьюэлл, а в тот момент я подумала, что она просто не стала меня дожидаться,— Синтия вообще никогда никого не ждала. И я отправилась назад той же дорогой, по которой мы пришли. Не стремясь ее догнать и предпочитая асфальту пляж, я торопливо двинулась обратно в кафе по песчаному берегу, чтобы поскорее найти Терри. В голове у меня было полно планов, как получше провести оставшиеся утренние часы.

Погода была по-осеннему ясной, бодрящей. Лето, несмотря на яркий блеск голубого неба, стало наконец отступать. Сильный ветер, дувший с берега, разогнал ночной дождь и сейчас, встречая прилив, срывал верхушки с волн и отбрасывал назад длинные шлейфы белой пены. Занятая своими мыслями, я перешла вброд мелководную речку Крэнч и поднялась по нескольким вделанным в берег ступенькам. Вскарабкавшись на стенку, отгораживавшую дорогу от спуска к реке, и уже согнув колени, чтобы спрыгнуть вниз, я увидела Терри. Он беззаботно шагал по асфальтированной дорожке к вагончику. Я открыла рот и собралась радостно его окликнуть, но кто-то на миг опередил меня.

— Эй, ты! — раздался возмущенный голос моего отца, стоявшего у входа в кафе.— Эй, ты там! Ты куда это идешь? Ты что это разгуливаешь по моему участку? А ну, вон отсюда!

Терри повернулся на звук голоса. Он, вероятно, перепугался не меньше, чем я. Мы и не ждали, что отец вдруг свалится с неба: нигде не было видно ни «хамбера», ни алой спортивной машины.

Отец уже пересек дорогу и открывал калитку, ведущую в поле. Терри, словно в трансе, замер посреди дорожки. На веранде появилась Беатриса. Я не знала, какой оборот примут события. Я спрыгнула со стены, открыла большие ворота на поле, потом снова закрыла их за собой и медленно, испуганно пошла по высокой траве навстречу отцу и Терри. Отец находился уже совсем недалеко от Терри, но продолжал громко кричать, словно их разделяло огромное пространство:

— Откуда ты взялся? Как тебя зовут, а?

Терри увидел, что я иду в их сторону. Отец, проследив за его взглядом, тоже увидел меня. Я остановилась.

— Кто это, Нора? Ты его знаешь? Ты знаешь, кто он такой?

Я покачала головой, а Терри, очнувшись от транса, повернулся и побежал прочь от нас к холму.

— Вон отсюда! — заорал ему вслед отец.— И чтобы я больше тебя здесь не видел, а не то вызову полицию — понятно?

Мы видели, как он перескочил через ограду на дорогу — он умел прыгать, как блоха,— помчался вверх по склону холма и вскоре исчез за поворотом. Я завидовала ему: мне тоже хотелось поскорее удрать. Со страхом я посмотрела на вагончик, но там уже никого не было: Беатриса, как и в прошлый раз, ушла, не сказав ни слова.

— Кто этот оборванец, Нора? Ты его случайно не знаешь? Это не тот, с которым ты подружилась на пляже?

Я уже раньше отреклась от Терри, отрицательно покачав головой в ответ на вопрос отца. И сейчас я сделала то же самое.

— И слава богу Нельзя, знаешь ли, болтать на пляже с кем попало. Это не тот мальчик, с которым ты валяла дурака? Помнишь? Вы с ним стояли на голове... Мы еще с мамой тогда тебя увидели — помнишь?

— Я же сказала, что не знаю его,— ответила я с отчаянием.— Мало, что ли, на пляже всяких людей! И тут тоже ходит кто хочет — не могу же я знать всех!

— Ты со мной так не разговаривай Еще дерзить вздумала!

Но отец отчитывал меня чисто машинально. Все его мысли в те дни были сосредоточены на приобретении земли в Трисской бухте, и он не обращал внимания ни на кого и ни на что, если это не имело отношения к его делам Он только что кричал Терри: «Убирайся с моего участка», но своим четким, бухгалтерским умом наверняка понимал, что участок ему не принадлежит — по крайней мере пока,— и ему было также понятно — уж кому как не ему это знать? — что, пока у него в руках нет подписанной купчей, лакомый кусок может ускользнуть. И вот он стоял сейчас на асфальтовой до-

рожке, которая еще не принадлежала ему, и бросал недоверчивые взгляды направо и налево, хмурясь, фыркая и позвякивая монетами в кармане. Неистовый ветер трепал его редкие рыжеватые волосы. Маленький, терзаемый сомнениями человечек вызывал у меня не жалость, а лишь глубокое беспокойство.

— Этот сопляк мне не понравился,— проворчал он.— Сразу видно: настоящий мошенник. От таких добра не жди. Уверен, что он воришка. Наверно, думал, тут никого нет. А где Беатриса? Беатриса! Ей бы надо все запирать как следует, пока этот мерзавец тут бродит.

Я почувствовала, как сердце у меня забило тревогу. Беатриса ведь теперь против Терри. Сейчас станет ясно, что я соврала. Меня охватил ужас перед надвигающимся разоблачением.

— *Беатриса!* — снова крикнул он.

Она медленно спустилась по ступенькам — с неохотой, как мне показалось. Я не смотрела на нее. Я уставилась в землю. Если она захочет, она может погубить меня. Я услышала, как она говорит отцу, что да, она очень внимательно следит за тем, чтобы двери вагончика и кафе были заперты, и что мистер Уиллис только вчера рассказывал ей, что в Трисе в этом году очень много краж — особенно в последние несколько недель! Раньше здесь такого не было. Все жалуются. В этот момент я подняла глаза на Беатрису, ее встревоженный взгляд на короткое время встретился с моим и скользнул мимо: она все знала!

— Вот видите!— воскликнул отец.— Этот дрянной мальчишка — вор. Я же говорил! Наверняка он из какой-нибудь банды. Они орудуют бандами, эти мелкие воришки. Надеюсь, он не из выводка Уиллисов, Беатриса? У этого типа целая куча детей — полдюжины, а то и больше.

— Что вы, мистер Скоби! Нет, нет! Он не из семьи мистера Уиллиса. Там все дети младше этого мальчика, намного младше.

— Вот как? Гм... Тогда, видно, Уиллис тут ни при чем.— Голос отца звучал разочарованно. Он стоял, нерешительно постукивая ногой.— Что ж, неважно, кто этот урод, но думаю, он больше сюда не сунется. Я как следует припугнул мерзавца. Видели, как он бежал? Только пятки сверкали. Хорошо еще, что все ценное — клюшки для гольфа и прочее — мы взяли с собой в отель. Да и осталось нам здесь всего несколько дней...

Гром не грянул. Я была спасена. И уже наслаждалась прекрасным чувством облегчения, как вдруг Беатриса сказала:

— Мистер Уиллис вчера мне заметил, что мисс Норе не следует играть на Трисском мысу. Он сказал, что, если ее там увидят мистер или миссис Беннетт, они могут заявить в полицию.

Теперь уже Беатриса старалась не глядеть на меня. Она, видимо, еще раньше решила, что хотя бы это должна сказать моему отцу — и вот сказала. Отец был явно недоволен.

— Конечно, ей не следует ходить на Трисский мыс,— сердито сказал он.— Она и сама это прекрасно знает. Там земля полковника Карлайла. И всюду висят таблички. Этот тип Уиллис сам не знает, что́ говорит. Просто бред сумасшедшего. Ты же не ходила на Трисский мыс? А, Нора? — Мое сердце снова тревожно застучало.— Ну, ходила или нет?

— Раза два, не больше. Честное слово! А *он* туда все время ходит. Сам ходит, а еще говорит, что мне нельзя. Это нечестно!

— Кто это *он*? Кто туда ходит? Уиллис? — Я кивнула.— А откуда ты знаешь?

— Я его там видела. Часто. Он все время там бродит. И на таблички не смотрит. Почему ему можно, а мне нельзя? Это на него нужно заявить в полицию, а не на меня. Я-то там кроликов не ловлю,— пробормотала я еле слышно.

— Что ты сказала, Нора?

Что-то в его голосе — какая-то неприятная настойчивость — заставило меня опомниться. Что же это я сказала — вслух? Нечто такое, чего не должна была говорить, а он услышал. Я посмотрела на Беатрису, но ее лицо ничего не выражало. Отец взял меня за руку пониже плеча.

— Он браконьерствует, не так ли? Ты это имела в виду? Да? — Его жесткие пальцы требовали ответа.

— Не знаю.

— Нет, знаешь! Ты ведь его видела, правда? Что ты там сказала про кроликов? Ты видела, как он ловит чужих кроликов, видела?

Он впился в меня взглядом. Рука моя оказалась в тисках, и тиски неуклонно сжимались. Я готова была сказать все что угодно. Все!

— Да, видела. Да...

— Так, а теперь давай-ка внесем полную ясность. Мне нужно все знать совершенно точно. Ты действительно собственными глазами видела, как Уиллис ловит кроликов на Трисском мысу,— это правда?

— Да.

Алая спортивная машина мчалась по дороге из Хьюэлла мимо двух пресловутых коттеджей. Отец резко отпустил мою руку, словно выжал из нее последнюю каплю полезной информации.

— Это как раз то, что нам нужно! — Он ликовал.— Бог мой! Какая неожиданная удача! Теперь этот негодяй у нас в руках.

Питер Миллер затормозил на дороге у входа в кафе и смотрел в нашу сторону.

— Идите сюда, Бернард, старина,— позвал он.— Я все уладил, залезайте в машину. Нам нужно торопиться: Макгрегор ждет нас в отеле через десять минут. Если я как следует нажму на газ, мы только-только успеем.

Я не знала, кто такой Макгрегор. Наверное, застройщик, из тех, что берут недорого, или архитектор, или инспектор, или кто-то из муниципального совета. Отец и Питер Миллер сейчас только тем и занимались, что встречались с какими-то людьми и вели переговоры, а в промежутках между подобными встречами записывали на обороте конвертов чьи-то имена, телефоны и складывали какие-то таинственные суммы; в это утро Питер устроил встречу с неким Макгрегором. Меня наконец-то оставили в покое. Предавшись размышлениям, я ужаснулась. Чем я отплатила Уиллису за его сдержанное предупреждение?

Терри ждал меня в палатке.

Я сообщила ему, что́ сказала Беатриса и о чем она умолчала. Почему она не выдала нас, мы не знали. Но пришли к выводу, что отныне нужно вести себя гораздо скромнее и осторожнее. Терри должен затаиться и будет появляться возле кафе, только когда я сама его туда приведу. Слова отца снова и снова звучали у меня в ушах, предвещая возвращение к комфортабельной жизни и одиночество: «Нам здесь осталось всего несколько дней».

В этот вечер Синтия рассказала мне о своем визите к сестрам Тиллс-Митсон. Она застала их в крайнем волнении. Днем их посетил доктор Брэдли, а вчера — отец. Оба говорили с ними об ужасных вещах: о старости, об угасающем здоровье, о смерти — обо всем том, про что сами сестры предпочитали не думать. Но их заставили призадуматься. Им читали нотации, давали наставления, предложения и советы, как надо поступить. Все это было ужасающей неожиданностью. Тем не менее Синтия не смогла на них повлиять. Вместе с Мейбл она сидела на постели Корди; Мейбл ласково потрепала Синтию по руке, а Корди старалась не кашлять, но визит ничего не дал.

— Я с тем же успехом могла к ним не ездить,— мрачно сказала Синтия.— Безнадежный случай. Никто им не может помочь, а сами они тоже ничего сделать не могут, потому что так и не научились *думать* как следует. Чудо, что их еще раньше не проглотили, они сами на это напрашиваются, честное слово! Им не хватает только повесить себе на шею плакат: «Сожри меня». Я так и не смогла втолковать им, что́ с ними делают, Нора. Они и слушать не хотели — *не хотели*! Все твердили, как мило себя держит сейчас наш отец и какой замечательный человек дорогой доктор Брэдли,— я просто готова была дать им хорошую встряску за то, что они так глупы. Я же сказала им чистую правду, но они не желали ее слышать. Я их шокировала. Конечно, они переживут этот шок и потом еще будут говорить друг другу: «Синтия — такая прелесть! Как мило было с ее стороны навестить нас». Ненавижу таких людей. Нельзя вечно быть мягким и все прощать. Это уже не доброта, а просто идиотизм! Почему они не могут сказать *«нет»? Нет* мы не сделаем того, чего не хотим. Почему не могут рассердиться? Нельзя же мириться со злом только потому, что оно обращено против тебя. Это хуже чем заблуждение — это глупо... *Глупо! Глупо!* — повторяла Синтия, в отчаянии топая ногой.

Она же им объяснила все совершенно ясно и логично: если, живя в Трисе, они действительно счастливы, то почему бы им вообще не переехать туда? Вместо того чтобы продавать кафе, надо продать этот омерзительный унылый дом в Хьюэлле и жить на вырученные деньги. Вполне возможно, что теперь им и впрямь слишком

тяжело возиться на кухне в кафе, но их же никто не заставляет и дальше печь торты и пирожки к чаю; если денег, вырученных от продажи городского дома, не будет хватать на жизнь, они могут продавать в кафе только мороженое и сладости — это и не слишком сложно, и не утомительно. Есть еще выход: они могут жить в вагончике, а кафе сдавать отдыхающим. Все зависит от их решения, сказала она, от их собственного выбора. Ведь речь идет об их жизни. Они вправе поступать, как хотят того сами.

Но чем конкретнее высказывалась Синтия, чем практичнее были ее советы, тем более уклончивым и неуверенным становилось поведение сестер Тиллс-Митсон. Они не хотели, чтобы Синтия предлагала им выход, потому что не осмелились бы прибегнуть к нему. Откуда им взять уверенность и силу, чтобы отклонить советы двух опытных людей, профессиональных специалистов, и настаивать на своих глупых капризах? Они уходили от этого разговора. Еще ничего не решено. Им надо все обдумать. Они обещали ее милому отцу и доктору Брэдли — такой любезный молодой человек, такой веселый! — что они все обдумают. И они так обязаны ее отцу за его заботу, великодушие, за все те хлопоты, которые он берет на себя ради них. Зачем ему, такому занятому, умному, влиятельному человеку, беспокоиться о будущем двух никчемных старух? Им просто стыдно, что они причиняют столько беспокойства. А он ведь думает лишь о том, чтобы им было хорошо,— он печется об их благополучии, повторяли они Синтии, как дети повторяют вслух заученное правило, не понимая его сути.

— Прямо два старых загипнотизированных попугая,— в сердцах сказала мне Синтия. А в разговоре с ними она от отчаяния взорвалась: «Но это же... это же... ахинея!»

С нарастающим жаром она убеждала старушек не верить их «дорогому другу Бернарду» и этому доктору — тоже.

«Мой отец и Питер Миллер хотят снести кафе и построить на вашем поле отель. Вы же помните Питера Миллера? Так вот, мой отец и он действуют заодно и хотят вас обмануть!»

А мне в тот вечер она добавила:

— Если бы отец знал, что я выпустила его драгоценного кота из мешка, если б слышал, что́ я им говорила, то содрал бы с меня шкуру!

Но все ее усилия не принесли никакой пользы,— напротив, только навредили. Своими чрезмерно настойчивыми обличениями Синтия лишь напугала Мейбл и Корди, и они отмахивались от всего, что она говорила, с таким паническим отчаянием, словно им на голову свалилась стая летучих мышей-вампиров: «Нет, дорогая, что ты, что ты! Ты глубоко ошибаешься! Твой отец даже не упоминал про Питера Миллера. Он очень любит наше кафе — он сам нам сказал. Ты не должна так говорить про своего отца, дорогая,— это очень нехорошо с твоей стороны... это некрасиво. Он же твой *отец!*..»

Они были так расстроены, что ей пришлось уехать. Она приезжала напрасно, поняла Синтия: ее они слушать не станут. Они прислушивались только к Бернарду Скоби и к Дугласу Брэдли и, как ни прискорбно, подчинятся им, потому что привыкли верить: мужчины всегда правы. Они в это верят всю жизнь.

32

Мой отец поехал к мистеру Вэллери, взяв меня с собой. Мистер Вэллери жил в уединенном месте, примерно в двух милях от окраины Хьюэлла, в большом викторианском доме, который был рассчитан на большую викторианскую семью с соответствующим штатом прислуги. Хозяйство мистера Вэллери вели пожилая экономка и пожилой слуга, выполнявший также обязанности садовника. Думаю, что большинство комнат в доме было постоянно закрыто.

Подъездная аллея заросла сорной травой. Мы ехали очень медленно, на самой малой скорости: неторопливость как бы выражала почтение и в то же время позволяла отцу, очень любившему визиты к мистеру Вэллери, растянуть наслаждение и как следует посмаковать свое прибытие. Общее впечатление запущенности, возникавшее по мере приближения к дому, объяснялось, вероятно, не скудостью средств — я часто слышала, что мистер Вэллери богат,— а скорее всего нелюбовью мистера Вэллери ко всяким новшествам, в том числе и к садовникам.

Утро снова было по-осеннему ветреным, и рододендроны по обеим сторонам ведущей к дому аллеи метались на ветру, как капризные прибрежные волны. Я не без изумления раздумывала о том, что много лет назад мистер Вэллери каждую субботу выезжал из дома по этой самой дороге, ехал в этой самой машине — нашей машине;

подтянутый и элегантный, в белом фланелевом костюме и при шелковом галстуке, он направлялся в дом полковника Карлайла играть в теннис, а Питер и Уиллис говорили, что он был в этом доме одним из самых частых гостей. Он, видно, уже и тогда был слишком стар — когда я с ним познакомилась, он показался мне бесконечно древним,— чтобы принимать активное участие в теннисных турнирах. Сейчас мне думается, что в этих поездках его больше всего привлекала сама их привычность; не лица и голоса, не сандвичи с огурчиком и вычищенное до блеска столовое серебро на столах под деревьями, а лишь то, к чему все это прилагалось: одна и та же сцена, разыгрываемая снова и снова, постоянное повторение того же спектакля, благодаря чему каждая суббота была похожа на предыдущую.

Он все еще был мировым судьей и раз в месяц выезжал в Хьюэлл — на такси, поскольку он расстался с «хамбером»,— чтобы занять свое место за судейским столом и вместе с другими мировыми судьями вершить правосудие. Этим, по сути, ограничивались все его выезды и дела, и по большей части он проводил время дома. Если не считать полковника Карлайла, который постоянно находился за границей, не думаю, чтобы у Вэллери были еще какие-то друзья. В Хьюэлле уже не осталось никого из тех, кого он считал ровней себе. У него были знакомые, но все они занимали более низкое положение, и с ними ему было скучно; его слуги в счет не шли, так как не могли составить ему компанию. Мой отец не подходил, пожалуй, ни под ту, ни под другую категорию. У них были странные, трудно поддающиеся определению отношения. Отец, в общем-то, был протеже мистера Вэллери, но заодно играл роль доверенного лица, заслужив эту привилегию своей готовностью часами подряд слушать анекдоты и обличительные речи старика; более того, отец сам считал для себя за честь слушать их. Чувство благодарности за то, что его с такой сердечностью принимают в доме августейшего патрона, мешало отцу осознать, какой милостью господней были для мистера Вэллери его редкие визиты, приятно нарушавшие невыразимо скучный распорядок жизни, которая проходила практически в одиночном заключении.

Мистер Вэллери был весь словно высохший — очень высокий, с узким изможденным лицом и необычайно прямой для его возраста осанкой; у него вошло в привычку курить турецкие сигареты — одну за другой. Предки его были французами и аристократами.

Старая гончая, такая же тощая, как ее хозяин, поднялась с коврика перед камином и машинально повела носом в нашу сторону. Она не залаяла. Мистер Вэллери легонько подтолкнул ее носком туфли, и собака легла на место. В камине горел огонь, и мне почему-то показалось, что он здесь горит постоянно, словно в этой комнате всегда зима. Потолки были высокими, а занавески из тяжелой коричневой ткани — соответственно длинными. На стенах висело много гравюр в рамках, на столах стояли серебряные и черепаховые шкатулки, бронзовые статуэтки и лежали толстые, поблескивающие глянцем журналы — все было разложено и расставлено очень аккуратно. Нигде ни следа пыли. Мне подумалось, что пожилая экономка, открывшая нам дверь, ревностнее следит за порядком, чем пожилой садовник.

— Ну, Скоби, что вас привело сюда, хотел бы я знать? Я думал, вы сейчас в отпуске. Машина в порядке? Хорошо Прекрасно Будьте добры, нажмите, пожалуйста, кнопку звонка — он у вас за спиной. Полагаю, вы выпьете стаканчик виски с содовой? Сигару? Я не предлагаю вам сигарету — вы не любитель, я знаю.

Меня он просто не замечал. Отец перешел границы дозволенного, привезя меня с собой, к тому же мистер Вэллери вообще не признавал детей, особенно девочек, полноценными людьми, с которыми возможно общение.

Да, он, конечно, помнил Уиллиса, хорошо помнил.

— Весьма опасный субъект.— сказал он.

— Опасный? — Отец навострил уши, как терьер, учуявший крысу.

Мистер Вэллери пояснил: Уиллис опасен не сам по себе — опасно то явление, которое он представляет.

— Он принадлежит к определенному типу, этот человек,— очень опасному типу. Не знаю читаете ли вы исторические книги, Скоби.— нет? А следовало бы: это дает правильное понимание перспективы Если бы вы как следует знали историю, вы бы сразу раскусили Уиллиса Он смутьян Между прочим — и это очень интересно,— Уиллис олицетворяет собой довольно часто возникающее в истории явление, которое каждый раз угрожает уничтожить весь цивилизованный мир. Этот человек,— повторил мистер Вэллери несмотря на всю сухость тона, почти мечтательно,— очередная угроза

цивилизации. Да, да! Я знаю Уиллиса! Я наблюдаю за ним много лет. Порой людей такого сорта можно обуздать. И это безошибочно, Скоби: если их укротить, у них проявляются превосходные качества — превосходные! Мужество! Выносливость! Преданность! Но за теми из них, кто не дается в руки, кто не позволяет взять себя под уздцы, нужно следить в оба. Таких нужно устранять. Я говорю, конечно, имея в виду исторический контекст. Уиллису же, чтобы поставить его на место, нужно просто преподать урок. Мы должны проучить его, вдолбить ему, что нельзя дразнить закон. Браконьерствует, а? На земле Карлайла. Гм... Карлайлу давно пора вернуться из Франции. Нельзя же ему там оставаться всю жизнь. Пора вернуться и самому приглядывать за своим участком, чтобы по его земле не шастали все кому не лень. Обязательно напишу ему, я знаю, что потеря сына была для него большим ударом, но оттого, что Карлайл уехал, ничего ведь не изменится; и вообще, что станет с Англией, если каждый вобьет себе в голову, что нужно все бросить и уехать? Знаете, что тогда случится, Скоби? Для Англии наступит век тьмы. А это не годится. Мы не можем это допустить. Зачем наша страна в девятьсот четырнадцатом году вступила в войну? Я скажу вам зачем. Затем, чтобы спасти многовековую мудрость и культуру от варваров! Да! Именно так! Так неужели мы сейчас можем допустить, чтобы нашей страной правил вульгарный сброд, банда разбойников? Карлайл должен вернуться домой! Выпейте еще виски, налейте себе.

Мое присутствие было оправдано. Меня привезли подтвердить факт виновности Уиллиса. Старик несколько секунд смотрел на меня пронизывающим взглядом.

— Видела его, да? Боюсь, Скоби, этого недостаточно. Его надо поймать, поймать с поличным, и предпочтительно при свидетелях. Показания вашей дочери суд не учтет — она несовершеннолетняя.

Отец хотел знать, какому наказанию подвергнут Уиллиса, если он будет пойман. Мистер Вэллери ответил, что это решит суд в зависимости от обстоятельств. Штрафовать нет смысла, потому что у такого никчемного негодяя, как Уиллис, на штраф не найдется денег, так что единственный выход — посадить его ненадолго в тюрьму. И, по мнению мистера Вэллери, тюремное заключение в любом случае более эффективно. Они ненавидят тюрьму, эти типы. Тюрьма портит их репутацию, а от дурной славы нелегко избавиться: она как клеймо.

— Едва ли у него есть наличные деньги на штраф или вообще на что-нибудь,— сказал отец, соглашаясь с мистером Вэллери и готовясь открыть свой сокровенный замысел.— Едва ли этот человек вообще накопил хоть пенни. Люди такого сорта никогда не откладывают ни гроша: они тратят деньги, как только их получают. И я не спорю, возможно, месяц-другой за решеткой — прекрасное лекарство. Но я хочу сказать другое: если бы его *вынудили* раздобыть деньги, он мог бы собрать нужную сумму хоть завтра. Как мне говорили, ему принадлежат все эти строения возле его дома, и эллинг— тоже его собственность. Почему бы не заставить его продать все это? Много он не выручит, но пока он владеет даже этой незначительной собственностью, он платежеспособен и не может считаться неимущим. Я лично так считаю.

— Человеку типа Уиллиса вообще не положено владеть недвижимостью,— сказал старик с таким видом, словно исправлял оплошность, допущенную моим отцом.— Когда люди, подобные Уиллису, владеют недвижимостью, это крайне прискорбно. Они проникаются ошибочным чувством собственной значимости, а чувство собственной значимости в людях такого сорта не только неуместно, но и крайне нежелательно. Оно может породить нелепую ситуацию вроде той, что возникла несколько лет назад, когда Уиллис наотрез отказался продать эти жалкие хибарки и эллинг своему работодателю, полковнику Карлайлу. Причем Уиллис хорошо знал, что по закону имеет право отказаться. В таких случаях закон становится абсурдом — хуже того, он еще сильнее развивает непреклонность в людях, подобных Уиллису. Субъект с темпераментом Уиллиса относится без уважения к человеку, который с ним прилично обходится,— даже презирает его за доброту и пользуется его мягкостью, как в этом пришлось убедиться Карлайлу на собственном примере.

Такой поворот в разговоре позволил отцу совершенно естественно перейти к изложению второй, более важной причины своего визита. Поскольку речь шла о вопросе деликатного свойства, а именно — о деньгах, мне всучили журнал о китайском фарфоре и велели пойти к французскому окну. Отец говорил приглушенной скороговоркой. Я не разбирала слов, но голос отца звучал униженно до тех пор, пока упоение самим предметом разговора не взяло верх над робостью. Мистер Вэллери поднялся с места и стоял

на коврике возле камина, держа руки за спиной и по-птичьи склонив набок узкую продолговатую голову. Исключительное внимание, с которым он слушал отца, казалось зловещим. Наконец заговорив, он не дал себе труда понизить голос. Он произносил каждое слово громко, ясно и веско:

— Не связывайтесь с этим молодым человеком.

Отец, которого перебили в самый разгар его тирады, совершенно растерялся.

— Что такое? Что вы сказали? — пробормотал он, заикаясь.

— Не связывайтесь с ним. Как я понимаю, вы приехали просить меня о финансовой поддержке или же, при моем посредничестве, просить о том же полковника Карлайла. Но хотел бы надеяться, Скоби, что вы приехали и за советом. Что ж, вот вам мой совет: не связывайтесь с Питером Миллером. Безусловно, меня заинтересовал ваш план, как таковой; я заинтересован в том, чтобы не допустить разграбления Триса вандалами и филистерами: это я, как вы знаете, приостановил дальнейшее строительство этих отвратительных коттеджей на мысе и поставил себе целью добиться сноса двух уже построенных монстров.

Эти коттеджи, сказал мистер Вэллери, не дают нам забыть о том, что может случиться, если мы не будем постоянно начеку. Возможно, чтобы сохранить должное управление Трисом, действительно понадобится санкционировать какую-то форму развития этого района, быть может, даже в том направлении, которое предлагает мой отец. Это предложение стоит того, чтобы его изучить, причем очень внимательно. Но лично он, сказал мистер Вэллери, не станет рассматривать и изучать никакие предложения, если к ним имеет хоть малейшее касательство этот прохвост. И, уж конечно, он в этом случае не даст ни гроша — ни гроша!

— Это не значит, Скоби, что я вас осуждаю. Я вполне могу понять, что вы не устояли перед ним. Я видел, как он ловил в свои сети других — вы ведь не первый такой, отнюдь нет. Что-что, а втираться в доверие он умеет. Сладкие речи — его старая уловка. Еще мальчишкой он обхаживал Карлайлов. Как ему удалось завоевать их расположение, не знаю, но они открыли ему двери в свой дом, в свою семью, относились к нему как ко второму сыну. Скажу вам откровенно, Скоби, я и тогда так думал и до сих пор считаю, что Питер Миллер был злым гением Бобби. В какие бы переделки — а позднее и скандалы — ни попадали эти два мальчика, каждый раз Бобби приходилось держать ответ, а Питер выходил сухим из воды. Он увертлив, как угорь. Он с одинаковым талантом вылезал из любой неприятности и влезал в доверие — исключением можно считать лишь конец его университетской карьеры. Ему не удалось одурачить начальство колледжа, и, возможно, тут некоторым образом сказалось мое влияние. Надеюсь, что так. Обоих исключили за то, что они устроили пожар в комнате своего сокурсника. Это было уже больше чем шалость. Я вступился за Бобби, просил, чтобы его наказание ограничили временным исключением, но безуспешно. Как видно, он слишком уж часто там пакостил. Исключили обоих. По крайней мере на сей раз Питер Миллер тоже поплатился.

Потом мистер Вэллери поведал о случае, когда Питер Миллер не поплатился. Мистер Вэллери добавил, что этот случай коснулся лично его и раньше он никому про это не рассказывал. Был пущен в обращение чек якобы с его подписью. Подделку обнаружили, и подозрение — как это всегда бывало, подчеркнул мистер Вэллери,— пало на Бобби Карлайла. И Бобби Карлайл сам во всем признался.

— Он пришел ко мне — проявив смелость, как я тогда думал,— признался, что это его рук дело, и, как мужчина, попросил у меня прощения. Но никто не убедил бы меня, что это сделал он, и я не поверил его словам. На подлог он был не способен. Я очень любил Бобби, несмотря на все его недостатки. Очень красивый был парень — стройный, золотоволосый... Всегда улыбался, смотрел прямо в глаза. Он был необузданным, не отрицаю. Несдержанным и своевольным — даже чересчур, но не бесчестным, нет. Зато Питер Миллер — ха! — этот был совсем из другого теста! Я бы не поверил ему, и сейчас тоже ни на грош!

Отец ничего не сказал. Эти разоблачения, как заметила я, глянув поверх журнала о китайском фарфоре, привели его в ужасное смятение. Мистер Вэллери снова сел и скрестил свои длинные ноги, выставив на обозрение тонкие щиколотки, обтянутые шелковыми носками. Он вставил в янтарный мундштук новую сигарету и зажег ее, вероятно не сознавая, какую панику вызвали его обличительные речи.

— Питер Миллер учился с Бобби в одной школе,— сказал он.— С этого все и началось. Карлайлы пожалели его, потому что ему некуда было деваться на время кани-

кул. Его родители жили за границей. У них было свое торговое дело, кажется на Дальнем Востоке,— по-моему, что-то связанное с текстилем. Припоминаю, мне говорили, что они родом из Ланкашира, но как они нажили свои деньги, точно не скажу. Во всяком случае, они нажили достаточно, чтобы обеспечить сыну возможность учиться в хорошей школе в Англии, и, видимо, намеревались таким образом сделать из него джентльмена, но эта затея, как вам уже понятно, потерпела плачевное фиаско.

Как только разговор заходил о хороших школах, моему отцу неизменно становилось неловко — его школа была недостаточно хорошей. Сейчас он чуть наклонился вперед и энергичными кивками сопровождал все замечания мистера Вэллери: не потому, что был согласен с ними, и не потому, что сказанное нуждалось в подтверждении,— просто он пытался избавиться от чувства неловкости.

— Питер Миллер,— продолжал мистер Вэллери,— безусловно не джентльмен. Он — шарлатан и пройдоха. Не знаю, о чем только думал Карлайл, оставляя свой отель на его попечение. Мне известно, что все было оформлено через вашу фирму, Скоби, но Карлайл, вероятно, с кем-то консультировался. Могу добавить, что не со мной. В своих последних письмах он ни словом не упоминал ни о Питере Миллере, ни об этом опрометчивом решении. Без сомнения, он предпочел умолчать об этом потому, что прекрасно знает мою точку зрения. Мы с ним глубоко разошлись во мнениях о Питере Миллере. За столько лет это было единственное серьезное разногласие между нами, и оно вызывало у меня... некоторое огорчение. Бог его знает, какими сентиментальными воспоминаниями о детской дружбе своего сына с Питером Миллером столь дорожит — я считаю, совершенно напрасно — мой друг Карлайл, но, доведись ему услышать то, что слышал я про недавние подвиги этого молодого человека, он не поступил бы так неразумно.

Последние несколько недель, сказал мистер Вэллери, он пытался уговорить себя написать про услышанное полковнику Карлайлу, рискуя разбередить старые раны. Кения весьма далеко от Англии, но слухи не считаются с расстояниями, а те слухи, что дошли до него о делах Питера Миллера в Африке, крайне неприятны: какие-то махинации со страховками, темные сделки, мошенничество с недвижимостью... Но тем не менее конкретно ничего не доказано.

— Что вполне естественно — уж об этом он наверняка позаботился,— сказал мистер Вэллери.— Дураком он никогда не был.

Когда несколько лет спустя Синтия спросила Питера, не он ли подделал на чеке подпись мистера Вэллери, он поднял ее на смех. Он же не идиот. Он с самого начала знал, что Бобби не выпутается из этой истории, и так ему и сказал. Но Бобби всегда считал, что ему сойдет с рук даже убийство, лишь потому, что он Бобби Карлайл; ну а если и уличат, то тоже наплевать — потому что он Бобби Карлайл! А старый осел Вэллери — что он знал о Бобби? Абсолютно ничего, кроме того, что он Бобби Карлайл, сын его лучшего друга и красив, как молодой греческий бог. Нелепо утверждать, что Бобби был человеком чести. Честь? Бесчестие? Бобби не знал разницы — даже не давал себе труда попытаться понять, что подразумевает слово «честь».

«Нам хотелось развлекаться,— сказал Питер,— и мы развлекались, вот и все. Но старик Вэллери прав в одном — дураком я никогда не был. Дураком был Бобби, а не я».

Пересказывая мне этот разговор, Синтия добавила, что Питер необычно долго для себя размышлял над словами мистера Вэллери о том, что именно он в их союзе с Бобби был злым гением.

«Могло быть и наоборот»,— сказал он наконец с редкой для него честностью, но и с неохотой, словно не желая уступить Бобби, мальчику, у которого было абсолютно все, еще и такое преимущество.

Мистер Вэллери проводил нас до парадной двери и, расставаясь, положил моему отцу руку на плечо, что, думаю, делал не часто. Он был слишком утонченной натурой, чтобы позволять себе прикасаться к людям: к предметам — да, к людям — нет. Пальцы у него, запомнилось мне, были, как и его ноги, длинными и худыми.

— Не уходите с ошибочным представлением, Скоби. Ваши планы, связанные с Трисом, меня очень интересуют, право же, очень, но только при условии, что Питер Миллер не будет иметь к ним никакого отношения. Вы меня понимаете? Возможно, мы продолжим наш разговор после, когда вы продумаете то, что я вам сказал. И не забывайте, что я знаю Чарли Карлайла всю жизнь. Он один из моих самых старых друзей. Могу, не задумываясь, сказать, что он тоже заинтересуется. Так что только мы втроем — понимаете?

Когда мы вернулись в кафе, алая спортивная машина уже стояла на поле. Отец, продолжая сидеть в «хамбере», постукивал пальцами по рулю и искоса поглядывал на алую машину так, словно видел перед собой животное, которое раньше считал безобидным, а теперь обнаружил в нем признаки бешенства.

— Я лучше поеду прямо в отель, Нора,— сказал он.— Я обещал маме, что скоро вернусь. Полагаю, она сейчас в отеле. Едва ли она приехала сюда с молодым Миллером,— он с сомнением уставился на кафе.— Хотя, пожалуй, могла и приехать. Не мешало бы знать, где сейчас Питер.

Отец испытывал болезненную неуверенность. Не зная наверняка, что ему думать и что делать, что пересказать и о чем умолчать, он не хотел встречаться с Питером до тех пор, пока не переговорит обо всем с мамой.

— Может, лучше посмотреть, там ли она. Он-то, вероятно, зашел в дом. Интересно, зачем он приехал?

Питера Миллера в доме не оказалось. Вместо него мы увидели в зале кафе Беатрису и полицейского. Его прислали из Хьюэлла, чтобы проверить ряд заявлений о кражах — в основном продуктовых,— замеченных торговцами, чьи шоферы развозили товары в фургонах, а также семьей Петтигру, мистером Холтом и несколькими приезжими, которые лишились вещей незначительной ценности, но достаточно необходимых: в частности, у одного были похищены полотенце и купальные трусы. Полицейский опрашивал людей в деревне и наверху, в коттеджах, и записывал показания. Он хотел узнать, не пропало ли что-нибудь и у нас. До нашего прихода Беатриса успела сказать ему, что, насколько ей известно, у нас ничего не украли. Когда мы вошли, он уже собирался уходить и, застегнув карман, где лежала его записная книжка, надевал шлем.

— Вы рассказали ему про мальчишку, который здесь вчера шнырял, Беатриса?

Полицейский расстегнул карман и вынул записную книжку. Беатриса ничего про это ему не говорила.

— Бог мой, Беатриса, вы что, не помните, как я прогнал с нашей территории того парня? Он нагло разгуливал вон по этой дорожке,— сказал отец полицейскому.— Явно думал, что в доме никого нет. Я его напугал до смерти.

— Вы его хорошо рассмотрели, сэр? Сумеете описать?

— Описать? Конечно, сумею! Он стоял совсем недалеко, как вы сейчас. И вид у этого юного бандита был весьма неприглядный.

— Сколько ему лет, сэр, как вам показалось? И вы не могли бы сказать, как он был одет?

Отец довольно точно описал внешность Терри, и полицейский сказал, что именно его они разыскивают.

— Что с тобой, Нора? Тебе плохо?

Я в это время села, потому что ноги меня уже не держали, и согнулась пополам, боясь, что лицо меня выдаст.

— У меня болит живот.

— Правда? Полагаю, ничего серьезного — не аппендицит, надеюсь. Мне сейчас только не хватает, чтобы у тебя оказался аппендицит! Все же думаю, ничего страшного — просто слишком много пикников подряд! Попроси Беатрису, она тебе даст таблетку аспирина. Так вот, констебль, если этот бродяга снова здесь покажется в ближайшем будущем, мы сообщим вам причем тотчас же.

— Благодарю вас, сэр, буду весьма обязан. Во всяком случае, он тут уже не первый день доставляет людям хлопоты. Мы предполагаем, что он живет в палатке — несколько недель назад нам заявили о пропаже палатки. Как видно, это тоже его рук дело,— сказал полицейский.— Между нами говоря, сэр, мы получили подробное описание парня, бежавшего из колонии малолетних преступников под Лондоном. Думаем, это он и есть.

— А-а, значит, парень из колонии? Сбежал, значит! У него и вид-то типичного висельника. Знай я об этом вчера, я бы действовал куда решительнее — поймал бы его и отдал вам.

Полицейский колебался. Он был молод и не совсем уверен в прочности своего положения.

— В некоторых жалобах написано, что он не всегда действовал в одиночку. В ряде случаев ему кто-то помогал — кажется, девочка.

Почему отец был так туп? Почему он, по характеру такой подозрительный, сразу не увидел того, что было яснее ясного? Даже полицейский, который то и дело исподтишка поглядывал на меня, старался как можно тактичнее выяснить правду и сделать так, чтобы отец сам обо всем догадался. Но отец ничего не заметил; у него и мысли такой не возникло, потому что он считал это немыслимым. Чтобы его дочь связалась с каким-то воришкой, беглецом из колонии, скрывающимся от полиции? Просто невозможно!

— Девочка, э-э? Черт побери! Если видели двоих, то, возможно, их еще больше. Да тут в округе может скрываться целая банда хулиганов — они орудуют бандами, эти мелкие воришки. Я же еще вчера это говорил, да, Нора? — повернулся он ко мне.— А этот юный негодяй — их вожак, попомните мои слова. Как вы думаете, констебль, моим дочерям и служанке не опасно спать здесь одним?

— Думаю, сэр, на этот счет вы можете не беспокоиться. У нас нет сведений, подтверждающих, что он способен на насилие. Пожалуй, он сам всех боится.

— Наверно, вы попали в точку, констебль,— он бежал так, что только пятки сверкали. Ну что ж, сделаем все, что в наших силах. Будем смотреть в оба — да, Беатриса? Кто знает, может, в следующий раз я даже поймаю его.

— Не стоит беспокоиться, сэр,— непринужденно заметил полицейский.— Полагаю, мы сами достаточно скоро поймаем его. Он ведь где-то тут, поблизости.

Перед уходом полицейский вскользь упомянул о брошке мамы. Ему лично не поручали расследовать эту пропажу, и, пока Беатриса в разговоре не назвала фамилию Скоби, сказал он, ему не приходило в голову соотнести Трис с пропавшей драгоценностью: в протоколе, лежавшем в участке, отмечалось, что владелица брошки временно проживает в отеле «Рулен-бей»; но едва он услышал фамилию *Скоби*, как тотчас вспомнил этот протокол и пришел к соответствующим умозаключениям.

— Вот как? Похвально! — Отец, с его высоким мнением о собственной фамилии, остался доволен, что она так запечатлелась в памяти полицейского.— Да, такую фамилию не часто услышишь. Скоби... Безусловно необычная фамилия, не то что, скажем, Смит или Джонс! — пошутил он.— Что же до брошки моей жены, то я бы на вашем месте сказал начальству, что к этой пропаже не стоит относиться так уж серьезно. Моя жена немного забывчива — знаете, как бывает с женщинами! Она теряла эту брошь уже не раз — думает, ее украли, а на следующий день находит в каком-нибудь укромном месте и сама не помнит, что она ее туда положила. С вами бы такого никогда не случилось, не правда ли, констебль? — И отец, посмеиваясь, снова поздравил молодого полицейского с тем, что у него такая прекрасная память.— Как услышали — *Скоби* — так сразу и голова сработала! Очень хорошо! Очень хорошо, право же!

Цепкая память необходима любому, кто поступает на службу в полицию, скромно сказал констебль. На это отец поспешил заметить, что то же самое относится к любому, кто идет в Британскую армию: если парень честолюбив, хочет чего-то добиться, подняться по служебной лестнице и достичь верхов, он должен быть инициативным, дисциплинированным и обладать чертовски хорошей памятью.

Отец всегда умел ладить с полицейскими. Он считал их кем-то вроде сержантов Британской армии, и они соответственно реагировали на это. Приятная беседа с полицейским плюс минутное облегчение от того, что Питера Миллера все-таки не оказалось в кафе, весьма способствовали восстановлению у отца душевного равновесия. Вместе с полицейским они направились к «хамберу», продолжая обсуждать сходные черты армии и полиции.

Оставшись одни, мы с Беатрисой долго смотрели друг на друга без слов, скрепив молчанием наше тайное взаимопонимание.

— Ох, Беатриса,— наконец воскликнула я в отчаянии,— куда же ему бежать? Ведь ему некуда идти. Его поймают — полицейский же так и сказал. А нельзя ему пожить у твоих родных?

У меня в памяти всплыл домик, где я дважды побывала,— затерявшийся за высокими деревенскими заборами, отделенный многими милями от моря... Мне вспомнился дремлющий сад, цветы, пчелы и лица, которые непрестанно улыбались мне весь день, не утрачивая доброжелательности. Никому и в голову не пришло бы искать его там.

— Да что вы, мисс Нора! — заговорила Беатриса громким свистящим шепотом.—

Он плохой, этот мальчик. Вам вообще не надо было с ним связываться. Чем скорее вы перестанете его видеть и забудете, тем лучше.

— Но, Беатриса,— я тоже перешла на шепот,— если его поймают, они же посадят его в тюрьму.

— Сам и будет виноват, разве нет? Он же на это напрашивается. Может, тюрьма научит его уму-разуму.

— Он неплохой, Беатриса, это неправда. Он не сделал ничего плохого. Ничего!

— Ничего плохого? — сурово переспросила Беатриса.— С каких это пор вы считаете, что в воровстве нет ничего плохого? Мисс Нора, мне стыдно слышать это от вас.

— Но, Беатриса, мы брали только еду, почти ничего больше. Ему же надо было есть. Он голодал. Люди должны есть.

— А разве вы не слышали, что сказал полицейский? Он убежал из колонии. Он малолетний преступник.

— Беатриса, пожалуйста!

— Что — пожалуйста?

— Помоги нам, *пожалуйста!*

— Нам? Что значит «нам»? Вы больше не должны водиться с этим испорченным мальчишкой, мисс Нора,— он вас, наверно, просто околдовал. И считайте, что вам повезло, что вы не попали в беду вместе с ним. Вы — дочь мистера и миссис Скоби! А сейчас, мисс Нора, скажите мне вот что: когда в субботу мистер Миллер послал вас в Хьюэлл за брошкой, этот мальчик тоже был с вами там, да?

— Да не брал Терри эту проклятую брошку! Мы даже не поднимались наверх.

— Значит, он все-таки был с вами в субботу — я права! Я боялась, что так оно и случится.

— Но мы не брали брошку! Синтия знает, что это не мы. Спроси ее! Мы и не могли взять — мы дальше холла нигде не были.

— Этот мальчик вор. Он из колонии. Это от таких, как он, приходится запирать двери на все засовы. А вы еще берете и приглашаете его в дом ваших родителей, мисс Нора, как будто ему дозволено есть, пить и сидеть с вами за одним столом! И что только на вас нашло, не понимаю!

У Беатрисы не было и тени сомнения в своей правоте, я поняла это по ее голосу. Не имело смысла взывать к ней. Она уже пришла к твердому выводу. Даже если бы я отбросила все ухищрения и сказала ей напрямик, что мамину брошку украл вовсе не мальчик из колонии, а дочь мистера Скоби, Беатриса в ее нынешнем настроении не поверила бы мне. Но я не стала говорить всей правды. То была тайна Синтии, и я не посмела ее выдать: гнев Синтии пугал меня.

— Спроси Синтию, если хочешь что-то узнать,— сказала я уклончиво.— Да-да, спроси Синтию!

Беатриса не станет нам помогать. Синтия могла бы, но ее сейчас нет дома, а ждать нельзя — как тут ждать, когда полицейский бродит по Трису и всех расспрашивает?! Терри должен немедленно отсюда уехать и как можно дальше — в самый дальний уголок страны. Если судить по карте Британских островов, висевшей на стене третьего «Б» класса, ему следует отправиться на крайний север Шотландии и там спрятаться. И уехать он должен сейчас же, на поезде — на экспрессе. Ему будут нужны деньги на билет. Я немедленно подумала о банкнотах, которые Синтия хранила в своей сумке наготове, чтобы, как сказала она, встать и уйти в любой момент, когда ей захочется. Эти деньги предназначались для ее побега. Синтия наверняка дала бы нам часть их для побега Терри — она не была жадной.

— Где Синтия, Беатриса?

— Ушла купаться с мистером Миллером.

Сумка Синтии стояла на полу в гостиной, прислоненная к стопке пластинок. Сперва мне показалось, что денег там нет, но они лежали в кармашке подкладки, засунутые под зеркало — пять тщательно сложенных банкнот, по пять фунтов каждая. Я взяла одну. Беатриса на кухне гремела кастрюлями. С пятифунтовой бумажкой, крепко зажатой в ладони, я осторожно прошла через спальню, вышла на причал и по канату, к которому была привязана шина, спустилась на песок пляжа.

Терри не было в палатке. Я и не думала его там найти, но все же взобралась на скалы, чтобы удостовериться, что палатка пуста. Потом я побежала по мысу, заглядывая по пути во все расщелины среди скал. С исчезновением солнца исчезло и большинство отдыхающих, но некоторые семьи все же каждый день приезжали в Трис с твер-

дой решимостью, невзирая на погоду, отсидеть весь отпуск на пляже. Я видела, как маленькие фигурки подпрыгивали в воде и как их сбивали наступающие белоголовые волны. Некоторые фигурки робко держались за доски для серфинга. У Питера и Синтии тоже были такие доски, но в движениях и поведении этой пары не чувствовалось никакой робости. Несмотря на большое расстояние, я легко различила их обоих. Среди группы любителей они выглядели профессионалами, они, единственные, знали, какая из приближающихся волн та, что надо, и, дождавшись ее, успевали в долю секунды взмыть на рассыпающемся гребне. Я наблюдала за их головами, когда волна стремительно несла обоих к берегу в мощном всплеске пены. Когда я смотрела на сестру и Питера Миллера, столь от меня далеких и, как мне казалось, беззаботных, я чувствовала то же, что, наверное, ощущал библейский бог, взирая через огромную пропасть на бедняка Лазаря, счастливо пребывающего на небесах. Едва отдышавшись, я побежала дальше.

Помню, как под моими ногами гнулись доски шаткого мостика, а внизу бурлила бело-зеленая вода. Я пробежала, задыхаясь, но не снижая скорости, через весь уступами подымающийся островок, уже не сомневаясь в том, что найду Терри на самом его краю. Так оно и было. Он сидел высоко на скалах, над облюбованной тюленями бухточкой, сидел совсем неподвижно, свесив ноги в пустоту, и глядел вниз на крылья кружащих под ним чаек, на огромные вздымающиеся волны Атлантического океана. Брызги каскадами взмывали над скалами и медленно, как россыпь фейерверка, падали обратно или, подхваченные ветром, уносились прочь.

— Терри!

Он повернул голову. Я рухнула на колени в низкую жесткую траву, недалеко от обрыва; я всегда боялась стоять на краю скалы, а сейчас, при таком ветре, мне бы неизбежно стало жутко от того, что меня в любую секунду может сдуть, как сдувало брызги. Терри спустился с утеса и уселся на корточки рядом со мной, а я старалась перекричать шум ветра и моря:

— Терри, за тобой охотится полицейский. Он был в кафе и расспрашивал про тебя. Он знает, что ты сбежал из колонии. Он знает все. Даже про палатку знает.

И, только сказав это, я поняла, какой была идиоткой, что оставила палатку на месте. Надо было сложить ее и спрятать в кустах тамариска. Что, если полицейский уже увидел ее?

— Ты должен бежать, Терри, прямо сейчас, пока он не нашел тебя! Беги! — Я протянула ему скомканный банкнот.

— Что это?

— Деньги.— Я расправила перед ним пятифунтовую бумажку.— Ты можешь успеть на поезд в Шотландию. А в Шотландии уже не страшно, ты там сумеешь спрятаться.— Я представляла себе Шотландию как огромный остров Блейзи-Хед, только поросший не травой, а кустами дрока и вереска.— В Шотландии тебя не поймают, она очень далеко отсюда.

— Я не могу взять эти деньги, Нора.

— Можешь, Терри, можешь! Не стесняйся. Это деньги Синтии, она не рассердится.

Но он покачал головой и наотрез отказался.

— Это мне не нужно. Не возьму! Это мне не нужно,— снова и снова кричал он.

Я не понимала его.

— Но это же деньги, Терри, пять фунтов. Да что ты, честное слово, бери же! И беги!

— Неужели ты такая балда, Нора?! Пять фунтов! Да меня с ними сразу поймают! А тогда мне крышка!

Поглупев от страха, я никак не могла понять, чего он боится, и все пыталась всучить ему деньги. Но он раздраженно оттолкнул мою руку, и ветер, завладев тем, что не хотел взять Терри, вырвал банкнот из моих дрожащих пальцев и унес прочь. В один миг пять фунтов Синтии превратились в простой клочок бумаги, безвозвратно улетевший в бесконечную пустоту между скалой и водой. Несколько минут мы наблюдали, как он вихлял в воздухе, и молчали в испуганном благоговении, ожидая, что вот-вот у нас возникнет чувство утраты. Но на деле у нас вызвала трепет лишь постигшая банкноту мгновенная и непостижимая утрата всякой ценности: то, что лишь миг назад было деньгами, теперь стало мусором. Клочок взмывал вверх, падал и снова взмывал, подчиняясь непредсказуемым порывам ветра и воздушным потокам; маленький, но

ясно различимый на фоне сине-черных скал, легкий, как сухой листок, он порхал и кружился, устремляясь к необъятности моря,— обесцененный и никому не нужный, непригодный даже в пищу чайкам или рыбам.

— Кто его навел на нас? — крикнул мне Терри, когда мы устали наблюдать за последним путешествием одной пятой капитала Синтии.

— Он сказал, что были жалобы. Он сказал, что жаловались из коттеджей, и шоферы фургонов, и кое-кто из приезжих.

— Где он сейчас?

— Не знаю.

— Зря мы оставили палатку там, наверху. Если он ее увидит, мы пропали.

Мы не могли вернуться обратно незамеченными. Если бы мы пошли по пляжу, нас увидели бы люди, расположившиеся там на пикники; пробираться по поросшему травой верху мыса было рискованно: наши силуэты выделялись бы на фоне застывшего враждебного неба. Но мы все же решились на риск и с облегчением вздохнули, оказавшись возле палатки под прикрытием кустов тамариска. Терри быстро опустился на землю у палатки и стал выдергивать колышки. Не помню, какой звук подсказал мне, что приближается полицейский, но, вероятно, я что-то услышала, потому что оглянулась и увидела его.

— Терри!

Когда я крикнула, еще не все было потеряно, хотя Терри оказался в крайне невыгодном положении — он стоял, опустившись на колени рядом с обрывом, спиной к морю. Он чуть не свалился со скалы, пытаясь ускользнуть от неуклюже надвигающегося полицейского; но Терри всегда двигался поразительно быстро, и ему удалось увернуться — он не упал с обрыва и молниеносно бросился из кустов. Его подвела рухнувшая беспорядочной кучей палатка — я сейчас догадываюсь, что одна из веревок намоталась ему на ногу, когда он метнулся из кустов на скалы; как бы там ни было, он упал.

— Терри! — снова крикнула я, на этот раз в яростном отчаянии, потому что теперь было уже поздно. Полицейский схватил его, заломил ему руки за спину и поднял на ноги. Терри покорно стоял и уже не пытался сбежать.

Полицейский вынул из кармана пару наручников, один надел на руку Терри, второй — на руку себе.

— Это вещественное доказательство мы возьмем с собой,— сказал он, кивнув на палатку.— Можешь надеть ботинки, сынок. Шнурки не завязывай, бог с ними. Все остальное тоже захвати.— Это относится к кастрюле, которую украл Терри, к мотку бечевки, паре ножей и вилок, бутылке томатного соуса и разным другим мелочам, валявшимся на траве.— Заверни все это в палатку, сделай симпатичный сверток, поаккуратнее, как тебя учила мама. Думаю, сумеешь дотащить его под мышкой — ты наверняка парень ловкий и сильный, не зря же столько воровал... который теперь час?.. Так-так, автобус до Хьюэлла будет ровно через две с половиной минуты. Очень даже удобно. Если бы ты пожаловал сюда на пять минут позже, мы бы его уже упустили.

В своем обращении с Терри молодой полицейский был разговорчив и приветлив, но со мной он не заговаривал, даже не взглянул в мою сторону и держал себя так, словно меня тут нет вообще. А Терри только молчал, ни мне, ни полицейскому он не сказал ни слова. Вид у него был вконец подавленный. Не подымая глаз, он послушно выполнял все, что ему говорили. Казалось, у него начисто пропали и мужество, и воля. Его полное молчание делало нас чужими.

Когда Терри тяжелыми, шаркающими шагами стал подниматься на дорогу, у него с ноги свалился ботинок Я подбежала, подняла ботинок, поставила перед Терри на дороге и помогла ему надеть его Потом я осталась стоять на месте и смотрела, как они вдвоем идут под гору. Очень странно, что полицейский так нарочито не замечал меня, думала я. В этом было даже что-то жутковатое.

34

Была половина седьмого. Мать полулежала на желтой плюшевой софе в гостиной. Она поскользнулась и упала на трех ступеньках, которые вели в зал кафе. Она была женщиной крупной и упала тяжело. В первый момент, сказала она, ей показалось, что она переломала себе все кости, но больше всего у нее болела правая рука, которую она, падая, выставила перед собой в безуспешной попытке удержаться. Мать

яростно проклинала злополучные ступеньки, ругала Корди и Мейбл и была зла на весь мир.

— Эти кошмарные ступеньки — так ведь можно и насмерть разбиться! Я чуть шею себе не сломала, странно, что это ни с кем еще не случилось! Как можно совсем не думать о людях! Не понимаю, почему никто до сих пор не подал в суд на Корди и Мейбл за такую безответственность. Они заслуживают, чтобы их наказали, честное слово! Возмутительно!

Она плакала от пережитого потрясения и боли, плакала в досаде, что ее так подло унизили. Беатриса и я всячески ухаживали за ней. Мы сделали ей чай, принесли нюхательную соль и аспирин, накрыли ноги пледом. Отец поехал в деревню, чтобы позвонить из автомата доктору Брэдли.

Постепенно мать успокоилась и обрела способность думать и говорить о других вещах.

— Беатриса, что это за странная история? Почему вдруг в Трис заявился полицейский? Он вас расспрашивал, я слышала. Муж мне сказал, что кто-то из детей Уиллиса что-то украл и из-за этого все и началось. Это так?

— Нет, нет, мэм! Воровал мальчик из колонии. Его уже поймали сегодня.

— Поймали? Это хорошо.

Беатриса видела, как полицейский и Терри садились в автобус. Позднее она принесла мне в спальню чашку чаю. Я лежала в постели, не раздеваясь. Мне было холодно.

— Значит, этот полицейский все же поймал его,— заметила она. Я не ответила.— Что ж, чем раньше, тем лучше. Он и так уже набедокурил более чем достаточно. Вы были с ним, мисс Нора, когда его поймали?

— Да.— Я злилась на нее.

— А вам этот полицейский что сказал?

Мне не хотелось говорить об этом. Даже думать об этом не хотелось. Когда я не ответила ей, она поставила чашку с чаем на тумбочку, крепко схватила меня за плечо и потрясла.

— Вы что, не понимаете, к чему это может привести, мисс Нора? Вас же могут вызвать в суд. Что вам сказал полицейский?

— Ничего.

— Так прямо и ничего?

— Ничего. Ни единого слова!

— А-а, значит, на ваши проделки он решил закрыть глаза! Ну что ж, что бы там дальше ни случилось, уже за одно это надо его благодарить. Я надеялась, что он так и поступит, но не была уверена. Он не дурак, этот полицейский, хотя и совсем еще молоденький. Он сразу понял, что к чему, и если бы мы имели дело в полиции только с ним, наверно, не стоило бы так уж волноваться. Но за ним стоят другие, а паренек непременно развяжет язык, и страшно даже подумать, что будет, когда за это дело возьмется полиция в Хьюэлле! Дай бог, чтобы у них хватило ума вести себя так же, как молодой человек, которого они прислали сюда утром.

Охваченная паникой, я приподнялась и села в постели:

— Он снова приходил в кафе, да? Когда отец уехал, он вернулся? И ты с ним разговаривала? Да, Беатриса? Небось наговорила ему бог знает что! Что ты ему сказала?

— Только правду — и то не всю. Ровно столько, сколько ему полагалось знать,— огрызнулась Беатриса.

Какую же правду она ему сказала? Что было правдой? Я уже и сама не знала. Весь день я провела в постели, меня била дрожь. Когда Синтия просунула в дверь еще мокрую после купания голову, я даже не пошевелилась и продолжала молча лежать, совсем больная.

— Привет! Что это с тобой?

Синтия забежала в кафе, только чтобы захватить сумку и теннисную ракетку.

— Беатриса говорит, ты себя плохо чувствуешь. А?

Она не стала дожидаться ответа. Через минуту я услышала рычанье спортивной машины, помчавшейся в гору. А потом несколько часов все было тихо. Ничего не происходило, и мне хотелось, чтобы это длилось вечно.

Лишь неожиданный приезд родителей и суматоха из-за несчастного случая с матерью вывели меня, наконец, из горестного оцепенения.

Пока отец звонил из деревни доктору Брэдли, мать, откинувшись с закрытыми глазами на спинку софы, спросила Беатрису, почему раскладушка, которую так лю-

безно одолжил мистер Миллер, стоит в зале кафе, а не в хозяйственном отсеке вагончика, как было решено. Раньше мать не замечала этого непорядка, так как раскладушку на день складывали и убирали в укромное место. В этот вечер Беатриса допустила оплошность, расставив раскладушку слишком рано, еще до того, как она приготовила ужин, и родители застали ее врасплох как раз в тот момент, когда она постилала простыни. Беатриса попыталась как-то оправдать свою дерзость. Мисс Синтия, нервничая сказала она матери, сама разрешила ей спать в кафе, потому что, по словам мистера Уиллиса, сейчас в Трисе вовсю орудуют воры.

— Честно говоря, мисс Синтии не положено вам что-либо разрешать, Беатриса. Вы должны помнить, что вам платит мистер Скоби, а не мисс Синтия.—У матери была особая манера разговаривать с Беатрисой: подчеркнуто сдержанная. В голосе ее звучала терпеливая снисходительность с оттенком подавляемого раздражения, дабы Беатриса понимала, что если к ней, как к преданной и верной служанке, относятся исключительно терпимо, то она должна об этом хорошо помнить и вести себя так, чтобы заслуживать подобное отношение.— Право же, Беатриса, коль скоро вы знали, что поблизости бродит вор, вам тем более не следовало покидать свой пост. Если в доме никого нет, то еще больше оснований полагать, что его ограбят,— а ведь на вас возложили ответственность, не так ли? Оставлять ночью вагон пустым, на *мой* взгляд, едва ли лучший способ его охранять. Увы, я склонна допустить, что вы больше думали о себе, Беатриса, и о собственных удобствах, чем о вашем долге.

Обвинение в забвении долга было поистине страшным, и Беатриса содрогнулась от ужаса. По ее расстроенному лицу было заметно, насколько она оскорблена в своих чувствах, и мать с удовлетворением это отметила, на секунду открыв глаза: устраивать Беатрисе головомойку было одним из ее мелких удовольствий. В той же в высшей степени сдержанной манере она продолжала:

— К тому же, Беатриса, независимо от возложенной на вас ответственности мы решили, что вам следует спать в вагончике из соображений гигиенического характера — разве вы не помните? Очень негигиенично принимать пищу в комнате, где кто-то спит всю ночь.

— Мисс Синтия обычно велит мне подавать еду сюда,— осмелилась возразить Беатриса таким тоном, словно просила извинения за робкую попытку оправдаться.

— Ах вот как? Понятно! — сказала мать, сперва презрительно фыркнув, а потом вздохнув.— Что ж, Беатриса, я готова пойти вам навстречу, сегодня вы можете спать в кафе, если хотите, потому что уже поздно, но завтра будьте добры унести раскладушку мистера Миллера в вагон. Сейчас, когда вор уже пойман, вам нечего бояться, не так ли? А впредь, Беатриса, вместо того чтобы самой менять отданные вам распоряжения, вы будете приходить за указаниями к мистеру Скоби или ко мне. Вы поняли?

— Да, мэм, извините, мэм,— сказала Беатриса кротким и виноватым голосом.

— Ибо в противном случае,— продолжала мать с видом человека, который решил довести дело до логического конца,— могу ли я быть уверена, что мои распоряжения действительно будут выполнены? Могу ли я в дальнейшем доверять вам? — И она снова открыла глаза на секунду, чтобы убедиться, что выпущенная стрела попала точно в сердце ее самой верной поклонницы. По всем признакам так оно и было.

Отец вернулся и сообщил, что доктор Брэдли прибудет примерно через полчаса, а пока мать должна соблюдать покой и не вставать. Меня отпустили вместе с Беатрисой.

— Идите, Беатриса... мы вас позовем, когда вы понадобитесь. Иди, Нора...

Я снова легла в постель и стала прислушиваться: на сей раз не к шуму моря, а к голосам родителей по другую сторону тонкой фанерной перегородки. Они обсуждали то, что мистер Вэллери сказал о Питере Миллере, причем мать неоднократно повторяла, что не верит ни единому слову.

— Да ну, все это абсолютная чепуха! — кричала она.

Но они не переставали толковать об этом, очевидно начав разговор еще раньше, только шепотом, в отеле «Рулен-бей». Настоятельная потребность поговорить *не шепотом*, не под кровом пригласившего их человека, который мог в любой момент к ним зайти, и привела их этим вечером в кафе «Роза». Им было необходимо с глазу на глаз самым тщательным образом обсудить всю ситуацию, прежде чем принять решение. Что, если сказанное мистером Вэллери не чепуха, а правда? Предположим, Питер действительно лишь обольщает их сладкими речами, а тот якобы восхитительный

мир, куда он хочет их ввести, на самом деле окажется миром темных сделок и скандалов? *Скандал!* Сама мысль о нем была для моих родителей страшнее всякого проклятия.

— Я просто не верю,— продолжала настаивать мать.— Мистер Вэллери не любит Питера. Он предубежден против него. Явно злобствует — вот и все.

Но сомнение было посеяно, семена приживались, пускали корни и ростки, омрачая счастье моих родителей. А самое ужасное заключалось в том, что предстояло сделать выбор.

Мистер Вэллери был богат. В его жилах текла кровь французских виконтов, а значит можно сказать, что он представлял высший класс в стране. Богатый старый аристократ, он предлагал им свое покровительство (они, правда, предпочли бы в этом случае другое слово). Он терпеть не мог Питера Миллера, называл его выскочкой и шарлатаном, но не только не отождествлял их с Питером, а даже проводил различие в их пользу. Это было более чем лестно, это действовало, как целительный бальзам, снимающий боль от унижений прошлых лет. Годами они, Бернард и Элен Скоби, мечтали получить престижное приглашение на теннис к Карлайлам, но не получали, а сейчас им предложили войти в деловой союз с полковником Карлайлом и мистером Вэллери. Чего только не сулит союз с такими безупречными и блистательными людьми?! Наверное, мать уже видела в воображении виллы на юге Франции.

Чем они рискуют, если бесповоротно свяжут свою судьбу с Питером? Что они выиграют, если перейдут в другой лагерь и присягнут на верность древнему знамени Вэллери? Им хотелось бы знать все наверняка, прежде чем сделать выбор, но они могли лишь строить догадки. С одной стороны, вершины, о которых они столько мечтали, вершины такие далекие и недосягаемые, несмотря на долгие годы ухищрений, экономии и притворства, и вдруг — о боже!— появляется джинн, готовый доставить их туда на ковре-самолете. Они колебались: а вдруг в воздухе, уже на полпути, все это окажется иллюзией, розыгрышем, устроенным невидимыми богами? Тогда все будет потеряно! А с другой стороны, блестящие возможности, хоть и более низкого качества, уже у них в руках, частично реализованные в виде коктейлей и гостиничного номера. *Так что же им делать?*

Родители спрятались от Питера Миллера в кафе «Роза», как Адам и Ева, сбежавшие от бога в сад Эдема, причем не с большим успехом. В самый разгар их громкого разговора о нем он, к их ужасу, вошел в комнату без предупреждения. Синтия ждет в машине, сказал он. Какая-то гастролирующая театральная труппа, говорят, из Лондона, показывает в Фалмуте новую пьесу Ноэла Кауарда, и, если родители не против, они с Синтией сейчас туда поедут. Когда он услышал о несчастном случае с матерью, он проявил живейшее сочувствие, он был уже готов отменить увеселительную поездку в Фалмут; но мать, впервые желая от него избавиться, сделала вид, что все это пустяки. Ничего страшного, абсолютно ничего страшного — споткнулась. Пусть и не думает из-за нее пропускать спектакль! Конечно, он должен поехать. И как мило с его стороны, что он решил пригласить Синтию.

Питер позволил себя убедить. Он обещал родителям, что приглядит за их дочерью; с ним она будет в полной безопасности, сказал Питер, умно найдя верный тон и говоря о Синтии так, словно она еще дитя, а он ее взрослый дядя, а спектакль нечто вроде школьного утренника. Что же касается Элен и Бернарда, то в отеле их ждут к ужину; шеф-повар получил указания хорошо их обслужить, и они могут заказать себе любое вино из имеющихся в меню. Его обычная продуманная щедрость в этот неподходящий момент возымела на моих родителей совершенно неблагоприятное действие. По тому, как они подчеркнуто тепло его благодарили, чувствовалось, что им очень неловко.

— Ах, Питер, дорогой, вы нас балуете, право же,— протестовала мать.— Вы просто чересчур добры к нам, Питер...

Я тихонько вылезла из постели и пошла на причал, низко пригнувшись у окна гостиной, чтобы пройти незамеченной. Когда я увидела Синтию в машине, она в первый момент напомнила мне Терри: она сидела как он — абсолютно неподвижно, словно каменная.

— Синтия...

— А-а, привет, Нора, тебе лучше?

Я сказала:

— Они схватили его, Син... Они его поймали. Беатриса тебе говорила?

— Кого? — спросила Синтия. Она вовсе не думала о Терри.

Я остановилась на дороге, ухватилась для устойчивости за дверцу машины, и из меня хлынул поток объяснений. Синтия слушала сочувственно, но без особого интереса. Когда же она узнала, что полицейский схватил Терри и увел его в наручниках, она поморщилась:

— Право же, какое ужасное невезение! Но нет оснований так уж отчаиваться,— сказала она.— Они все равно поймали бы его, Нора, рано или поздно, и это вовсе не значит, что с ним случится что-то ужасное. Его не посадят в тюрьму. Просто отошлют обратно в колонию, откуда он бежал, вот и все.

— Нет, нет, его посадят в тюрьму! Они думают, что это он украл брошку, Син. И Беатриса думает, что это он. Она так и сказала полицейскому, я уверена Она знает, что он был со мной в субботу. Я ей сказала, что не брал он брошку и никак не смог бы взять, потому что мы даже не поднимались наверх, вообще никуда не ходили, только в холле были, но она мне не поверила.

Синтия несколько мгновений молчала, размышляя над тем, что я ей сообщила. Затем она вышла из машины и пересекла дорогу. Я пошла за ней. Отец и Питер Миллер беседовали в зале. Они разговаривали о Беннете, стороже, охраняющем дом Карлайла. Я не слышала, что́ именно они говорили, но это имя повторялось несколько раз.

— Где мама? — резко спросила Синтия.

Отец показал головой на двери в гостиную, а Питер сказал:

— Я выйду к вам через секунду, Синтия, мы тут с вашим отцом уточняем кое-что на завтра.

Пройдя мимо них, она зашла в гостиную. Я, нервничая, вернулась к машине. Дорога была засыпана песком и галькой, пахло водорослями, выброшенными высоким дневным приливом. Темнело — теперь уже рано темнело,— низкие тучи неслись по небу, изредка накрапывал дождь. Синтия вернулась через несколько минут. Она была сдержанна и деловита.

— Ну вот, все в порядке. Я сказала матери, что это я взяла ее брошку, взяла *на время*, чтобы поносить, но, видимо, расстегнулась булавка и брошка упала, когда я шла вдоль бухты. Так что можно перестать суетиться из-за этой несчастной старой брошки — ее больше нет! Она валяется глубоко в песке... ее смыло морем. Неважно, где она — кого это интересует?! Она исчезла навсегда! — Синтия рассмеялась и нарочно подняла свою сумочку, чтобы я видела, как крепко она держит в руках то, что оставила после себя эта пусть исчезнувшая брошка. В ту минуту Синтия еще думала, что все пять банкнотов лежат в кармашке подкладки. Много лет спустя она сказала мне, что, когда, наконец, обнаружила пропажу, то сразу же решила, что пятой купюрой завладел Терри; ей в голову не пришло, что это могла сделать я.

Я спросила:

— Мать, наверно, метала громы и молнии, да? Что она сказала?

Синтия беззаботно ответила, что не стала ждать, пока мать выскажется. Она зашла в гостиную, отбарабанила свое признание и сразу же вышла.

— Мама все равно так зла на меня, что уже мало что может измениться. Ты только вообрази, Нора, она решила, что я взяла ее дурацкую брошку, чтобы покрасоваться перед Питером. Даже трогательно — честное слово! Как будто мне это очень надо! Кстати, чего это она возлегла на софу, ты не знаешь? Опять, наверно, ее знаменитая мигрень.

— Не мигрень. Она упала со ступенек в зале. Думает, что сломала себе кисть или еще что-то. Уже послали за доктором Брэдли.

— За Дугом? Господи! Вот уж кого я не хочу видеть! Где Питер? Что он там застрял?

Синтия решительно протянула руку и нажала на клаксон, чтобы гудком вызвать Питера Миллера. Он тут же выскочил из дома и впрыгнул в машину, не открывая дверцы.

— Извините, что заставил вас ждать, Синтия. Мне нужно было поговорить с вашим отцом. Мы на завтра наметили спортивное развлечение — охоту на браконьера. Смотрите-ка,— сказал он, взглянув на небо,— похоже, будет дождь. Пожалуй, я подниму на машине верх.

Но она не позволила ему задержаться ни на секунду.

— Бросьте, Питер. Это можно сделать потом. Мне наплевать на дождь. Я хочу уехать отсюда *сейчас же.*

35

Не стоило ей так спешить. Прежде чем приехал доктор Брэдли, к нам прибыли полицейские. Причем на этот раз не автобусом, а — для большей важности — в черной полицейской машине. Я заметила ее мчащейся вниз по дороге мимо коттеджей, когда прогуливалась в сумерках по причалу, не зная, куда себя девать. Меня угнетали хмурое, предгрозовое небо и доносившийся с порывами ветра хриплый холодный смех чаек, гнавшихся за отступающим в отливе морем; за последние десять дней я отвыкла быть в одиночестве. Питер и Синтия уехали всего несколько минут назад. Очевидно, они встретились и разминулись с полицейской машиной на Трисском холме. Я подумала, что это едет доктор Брэдли, и, поскольку мне тоже не хотелось с ним встречаться, вошла в дом и уселась на кровать — сидела и болтала ногами.

Из-за тонкой перегородки доносился голос отца, мать молчала. Видно, она еще не рассказала ему о признании Синтии. Необычное молчание распростершейся на софе матери было молчанием человека, который заботливо оберегает рану, слишком свежую и слишком тяжелую, чтобы выставить ее напоказ, особенно когда муж посмотрит на это с явным неодобрением.

Ее брошь пропала! Она не верила в это до последней минуты — не верила, что брошь действительно похищена или даже просто потерялась, хотя сама громогласно рассказывала о ее исчезновении. Но теперь, когда Синтия сказала, что брошки больше нет, мать была безутешна.

Сестра не имела понятия, какой тяжелый удар она нанесла; Синтии всегда было трудно, пожалуй даже невозможно, представить себе, что кто-то может испытывать те чувства, которые у нее не возникали. Для матери брошка значила намного больше, чем просто полученная в наследство драгоценность: в ее глазах брошка была символом ее происхождения, явным и видимым глазу признаком тайного и незримого достоинства, отличительным знаком ее превосходства. Подарок бабушки, бантик из бриллиантов, сапфиров и золота, был единственной реликвией, оставшейся у Элен Эсмонд от руин роскошного королевства ее детства и от некогда обещанной ей империи. А Синтия лишила ее этого талисмана умышленно, как думала мать, и жестоко, потому что хотела с помощью брошки подчеркнуть собственную красоту и молодость — для Питера Миллера.

Отец, видимо, не придал значения молчанию матери. Он с восторгом пересказывал свой разговор с Питером в зале. Терзаемый нерешительностью — стоит или не стоит отрекаться от Питера,— он с облегчением воспринял запланированную на следующий день эскападу; она, по крайней мере, не вызывала никаких сомнений. Независимо от того, решит ли он позднее остаться с Питером или переметнется к мистеру Вэллери, с Уиллисом следует расправиться в любом случае, и чем скорее, тем лучше. Поскольку Уиллис очень действовал ему на нервы, отец жаждал осуществить этот план, пока он еще мог рассчитывать на изобретательность Питера.

Суть их плана была достаточно проста. Уиллиса поймают с поличным, когда он будет заниматься браконьерством. Ему предъявят обвинение, отдадут под суд, а потом штраф или тюрьма разорят его, и он будет вынужден сделать то, в чем так упорно им отказывает,— продать свою недвижимость; к тому же цена в таких обстоятельствах будет, естественно, самой низкой. Мой отец как раз доказывал матери, что дело такого рода по плечу именно Питеру, когда его прервала Беатриса.

— Да, Беатриса? — услышала я его голос.— Что вам надо? Приехал доктор?

Испуганный голос Беатрисы ответил:

— Это полицейские, сэр. Не те, что в прошлый раз, другие. Они к вам.

— Боже милостивый! Снова?

Сердце у меня остановилось. Неужели сейчас случится то, чего я с ужасом ждала все это время?

Разговор состоялся в гостиной, чтобы в нем могла принять участие мать, не покидавшая софу.

— Нам просто повезло, что мы нашли вас здесь, сэр,— сократили себе дорогу на несколько миль. Мы хотели коротко побеседовать с вами и миссис Скоби в отеле «Рулен-бей» — вы ведь сейчас там живете, кажется. Если б не заметили на дороге вашу машину, проехали бы мимо. Нам этот «хамбер» очень хорошо знаком. Он когда-

то принадлежал мистеру Вэллери, не так ли? Поправьте меня, если я ошибся. В Хьюэлле «хамбер» мистера Вэллери был очень известен — сейчас, конечно, следовало бы сказать: *ваш* «хамбер». Прекрасная у вас машина, мистер Скоби, и в отличном состоянии. Мистер Вэллери всегда заботился о том, чтобы она была ухожена. Могу вам с полной ответственностью сказать, сэр, что он раз в неделю вызывал механика из гаража Бартона проверять мотор — каждую неделю!

Очевидно, полицейский неспроста упомянул мистера Вэллери, к тому же с такой подчеркнутой сердечностью. Это делалось, чтобы смягчить ожидавший отца удар: пусть мистер Скоби не сомневается, что, хотя цель их визита весьма неприятна, они прекрасно понимают, как ценны связи с влиятельными людьми.

Их было двое. Один в высокой фуражке, другой в шлеме. Полицейский в шлеме был старше и толще того, что побывал в Трисе утром, а позже поставил под угрозу всю свою карьеру, позволив Терри убедить или обмануть себя — он снял с Терри наручники, когда они вместе сидели в автобусе. Он сказал, что положился на честное слово парня. Когда же они выходили из автобуса, Терри ускользнул от него и был таков. Никто сейчас не знал, где он. Двое полицейских, инспектор и сержант, прибыли сюда, чтобы расспросить нас о Терри, и в особенности им хотелось допросить меня.

Я онемела от страха, просто оцепенела. События следующего часа вспоминаются мне сейчас, как яркие пятна, окруженные провалами,— мои чувства то обострялись, то затуманивались, словно в лихорадке. Отдельные незначительные детали почему-то особенно глубоко запечатлелись в памяти: дыра в ковре, внезапные порывы дождя, барабанившего по жестяной крыше. Слишком много людей набилось в тесную гостиную. Дышать было нечем. Меня вызвали из спальни, и я стояла на пороге, прислонившись к косяку двери. Беатриса, стоявшая по другую сторону гостиной, преграждала вход в кухню. Терри повезло — он сбежал. Я сбежать не могла. Когда отец закричал на меня, я попыталась отключить мой ошеломленный слух, чтоб не слышать, что он кричит, но все же слышала. Захлестнутая волной ужаса, я с паническим упорством цеплялась за единственную спасительную соломинку: я не смотрела на него. Избегая его яростного взгляда, я спасала себя от гибели. Будь моя воля, я бы ни на кого из них не смотрела. Для меня это было единственной возможностью спрятаться.

— Смотри на меня, Нора! *Смотри на меня,* когда я с тобой разговариваю. Ты что, не слышала, что сказал инспектор? Он тебя спросил, водилась ты с этим проклятым мальчишкой или нет? *Водилась или нет? Ответь ему!* Посмотри на него! Ей-богу, *я заставлю* тебя смотреть...

— Ничего, ничего, сэр. Если вы не возражаете, я сам поговорю. Так вот, Нора,— вас ведь так зовут, да? — не бойтесь отвечать. Мы вас ни в чем не виним. Мы просто хотим знать факты.

Я пристально разглядывала ковер, каминную решетку, манжеты брюк, ножки стульев и софы. Я не могла поднять глаза; я не могла смотреть на лица. Я сказала, что не знаю Терри, никогда его не видела, никогда с ним нигде не была — *никогда!* Если Беатриса скажет, что я его знала, я скажу: не знала, не знала! Вот что я должна говорить, говорить и говорить все время: не знала! Не знала! Это была не я, неправда! Нет! Нет! Никогда!

— Она из-за этого мальчика с самого начала мне солгала. Моя собственная дочь лгала мне!

— Вы должны попытаться представить себе, инспектор, какой это для нас ужасный удар,— сказала мать. Я слышала ее голос совсем ясно, близко и в то же время так, будто она говорила издалека и через долины до меня доносилось эхо.— Мы всегда ей полностью доверяли. Мы ей, конечно, давали слишком большую свободу, разрешали сколько угодно разгуливать по пляжу, мы надеялись, что можем на нее положиться...

Удар для них был поистине ужасным — гром среди ясного неба. То, чего они боялись больше всего на свете, случилось; они опозорены, и не по своей вине. На них будут показывать пальцами, как на родителей девочки, воровавшей хлеб и плюшки из фургона булочника, девочки, которую гоняли с чужих огородов и на которую жаловались в полицию, обвиняя в мелком воровстве. Полицейские успокаивали родителей и выказывали им всяческое уважение: мистер и миссис Скоби могут быть уверены: никаких обвинений никто их дочери не предъявит. По официальной

версии считалось, что меня сбили с пути истинного, я стала жертвой дурной компании — возможно, меня даже запугали.

— Мне кажется, что ее чем-то запугали, может быть даже шантажировали.

— Шантаж? — Отец по-своему был наивен не меньше, чем я.— Из-за чего он мог ее шантажировать? Ведь ей только пятнадцать лет. Она еще ходит в школу.

Это слово застряло у меня в ушах. Шантаж? Я даже не знала, что он под этим подразумевает. Я бросила быстрый взгляд на инспектора и увидела, что он неодобрительно покачал головой и сжал губы. Он не дал объяснений.

Неважно, предъявят мне какие-то обвинения или нет, мои родители чувствовали себя окончательно опозоренными. Начнутся пересуды. Слухи неизбежно распространятся. Об этой истории заговорят мистер Холт и семья Петтигру. Водители фургонов — тоже. Как им теперь ходить по улицам Хьюэлла, как отважиться заглянуть в магазин, когда они знают, что фамилия Скоби так страшно запятнана? Родители не могли найти подходящих слов, чтобы выразить свое изумление и ужас от того, что на их голову свалилось такое несчастье; они даже не могли поверить в то, что произошло.

Их дочь оказалась воровкой!

Это не могло быть правдой, и даже если это правда, то все равно неправда! *Их дочь* не могла стать воровкой. Их представление о себе, о том, кто они и что за люди, не допускало подобного предположения. Их просили поверить в невозможное.

Я находилась в одной комнате с ними, но, хотя они то и дело обрушивали свой гнев на меня, тем не менее, когда первая вспышка ярости утихла, они стали говорить обо мне так, словно меня здесь нет. Во плоти и крови я всегда была для них меньшей реальностью, чем взлелеянное ими представление о том, какой должна быть их дочь. То, что, по словам инспектора, сделала я, *их дочь* не могла бы сделать никогда, и они изо всех сил старались это доказать. Наверняка эту глупость сделал кто-то другой, кто угодно — но другой. Тут чья-то ошибка. Иначе быть не может.

— Мне очень жаль, мистер Скоби, но это отнюдь не ошибка. В целом ряде случаев мисс Скоби узнали.

— Но почему? Бога ради, почему? — Ко мне отец не обращался.— Какой в этом смысл, инспектор? Ведь нет же никаких причин. Зачем моей дочери — моей дочери — так вести себя? Объясните мне! Ведь ничего не бывает без причины, не так ли?

Этот вопль исходил из самого его сердца, суеверного и измученного. Ему очень хотелось бы верить, что действительно ничего не бывает без причины, потому что тогда, если для какого-то происшествия не было причин, то и само происшествие просто не могло случиться; нет, это неправда — злая судьба не могла снова вмешаться и лишить его последней надежды на успех и счастье.

Слова отца, как никогда не случалось ни до этого, ни позже, били по мне, звенели в голове, приводили меня в содрогание. Они как бы облекли в конкретную форму то смутное беспокойство, которое меня мучило. Все, что было сказано в тот вечер, все, что было утаено, полусказано, сделано и не сделано, все события следующего дня воспринимались мной как бредовый кошмар, как беспричинный сумбур несчастий, возникших по воле случая. Ужас происшедшего переполнял меня. Мне думалось, что, распорядись случай иначе, все это могло бы не произойти.

Сейчас, спустя годы, когда я размышляю о том далеком времени, я понимаю, что оставшийся без ответа недоверчивый, рожденный отчаянием вопрос моего отца незаметно вырос во мне в твердое убеждение: ничего не бывает без причины. Как сложилось это убеждение, не знаю — оно росло подспудно, во мраке и безмолвии,— но сегодня оно для меня истина, которую я осознавала всю свою жизнь, а вовсе не результат однажды преподанного и забытого урока. Теперь я понимаю ясно, что тогда за каждым нашим шагом, поступком, словом — за всем тем, из чего складывалось наше поведение в водовороте случайных совпадений, стояла железная логика эгоизма и его попутчика — страха. Нет, не случай, не судьба, злая или милостивая, а мы сами создали эту ситуацию — тем, что мы сделали с собой сами или позволили с собой сделать. И хотя, вероятно, можно было избежать именно такого стечения обстоятельств и отсрочить исход, катастрофа в той или иной форме наступила бы рано или поздно, учитывая, что́ мы собой представляли и чего желал каждый из нас. Как бы то и когда бы то ни случилось, но калейдоскоп уже встряхнули

и какой бы узор ни выложился, он был бы составлен из тех же самых исходных частиц и результат оказался бы таким же катастрофическим.

Старший из двух полицейских беседовал с матерью. Он сказал, что дружба ее дочери с Теренсом Фини навела полицию на мысль, что этот мальчик имеет прямое отношение к пропаже ценной старинной броши из бриллиантов и сапфиров, о которой им сообщил в прошлое воскресенье мистер Питер Миллер.

— Честно говоря, миссис Скоби, мы думаем, что, воспользовавшись информацией, которую, разумеется неумышленно, сообщила ему ваша дочь, мальчик залез или каким-то иным образом проник в ваш дом и украл означенную драгоценность, другими словами, вашу брошь.

Если они думали, что Терри залез в наш дом, значит, я напрасно обвиняла Беатрису и она не сказала полицейскому, что Терри был со мной в субботу. Я не совсем понимала, что́ имел в виду полицейский, сказав «или каким-то иным образом проник», но это не было важно, потому что мать уже знала, кто взял ее брошь; она знала, что это сделали не мы, и я ждала, что она это подтвердит. Когда же она ничего не сказала, я так удивилась, что подняла голову.

Оба полицейских сняли свои головные уборы. Крупные мужчины, они сидели, широко расставив ноги, на хрупких плетеных позолоченных стульях. Мать очень прямо и напряженно сидела на софе, прислонясь к груде подушек, ее рот слегка открылся от растерянности. Колебания ее длились всего какое-то мгновенье, но в такое мгновенье человек, словно он внезапно предстал перед высшим судом, особенно глубоко ощущает свои колебания. Какие мысли о Синтии и Питере возникли у нее и связали ей язык? А может, ее остановил страх позора оказаться матерью, у которой не одна, а обе дочери способны *красть вещи?* Не знаю. Я просто увидела, что в этот момент ее застали врасплох. Еще миг — и она бы пришла в себя, дала бы какое-то объяснение, все бы уладила, но этот миг пролетел слишком быстро — возможность была упущена. Она колебалась, инспектор же продолжал говорить, а затем стало уже слишком поздно. Я увидела, как ее губы сжались, ноздри затрепетали, она решительно откинула голову на подушки. Они думают, что виноват дрянной мальчишка,— ну что ж, хорошо, пусть так и думают.

Задыхаясь, дрожа, сжимая кулаки, я закричала:

— Она же сказала тебе... Синтия же сказала! Мы не брали...

— Нора! Держи себя в руках. Бернард! У ребенка истерика!

Отец шагнул ко мне и замахнулся. Я перестала кричать. Мне, собственно, уже было все равно. Я неимоверно устала. И не хотела, чтобы он меня ударил; вот и все.

Доктор Брэдли был уже здесь. Он стоял у порога, позади Беатрисы. Как и в понедельник вечером, на его плечах виднелись следы дождя и так же был поднят воротник, но во всем остальном он казался совсем другим человеком: более солидным и представительным. На нем было толстое зимнее пальто, в руках он держал докторский саквояж. Отец взволнованно приветствовал его.

— Вот человек, которого вы можете спросить, инспектор. Спросите доктора! Он был у меня дома в субботу — не правда ли, Брэдли? — с моей старшей дочерью. Она думала, что в дом пытались проникнуть воры — да, Брэдли? Она попросила вас зайти и посмотреть... — В нервном возбуждении он либо забыл об их джентльменской договоренности держать все в секрете, либо решил, что обстоятельства освобождают его от слишком строгого ее соблюдения.

— Что за чепуха, Бернард! — перебила его мать.— Ты все перепутал, как всегда... При чем тут *доктор Брэдли?* — «Будь осторожен! — предостерегал ее голос.— О чем только ты думаешь? Газеты! Броские заголовки! Разве мало того, что уже случилось?!» — Синтия была там в воскресенье, а не в субботу, и с ней был *Питер,* Бернард. И это не доктор Брэдли, а Питер обнаружил, что окно в уборной открыто. Он потом сообщил в полицию, инспектор все знает.

— Нет, миссис Скоби, мы впервые слышим, что окно в туалете оказалось открытым. Мистер Миллер не упоминал про открытое окно.

— Я знаю, о чем говорю, Элен,— с раздражением сказал отец.— Это ты всегда все путаешь, а не я. В понедельник я заходил к Брэдли — неважно, по какому поводу, это был деловой визит,— и он случайно вспомнил, что в субботу встретил Синтию на улице — в этом нет ничего предосудительного, Элен,— и она попросила его заглянуть в наш дом, потому что, как ей показалось, кто-то пытался туда проникнуть. Правда же, Брэдли?

— В общем, да,— неохотно согласился доктор Брэдли.— Да, так и было. Я случайно встретился с ней на улице в субботу, да. И она... она попросила меня пойти с ней. Она была очень взволнована... встревожена. Как друг семьи... полагая, что я смогу ее успокоить, я пошел. А что тут такого? В чем дело?

Пока они говорили не обо мне, я была в состоянии слышать их голоса и могла следить за всеми поворотами и оттенками их разговора даже с некоторым любопытством и бесстрастным интересом.

— Ты мне этого не рассказывал, Бернард. Почему?

— Не о чем было рассказывать, вот почему. Во всяком случае, тогда я так думал.

— В дом ворвались, пропала моя брошь — и не о чем рассказывать?

— Но я же не знал, что ее украли, Элен! Я думал, ты сама куда-то ее запрятала, как уже бывало и раньше. Ты ведь вечно ее теряешь, сама знаешь.

Они машинально вступили в привычную, раздраженную перебранку, словно остались только вдвоем; впрочем, не совсем машинально и не совсем по привычке. Цель их перепалки заодно заключалась и в том, чтобы хотя бы на несколько минут оттянуть вмешательство инспектора и его отвратительные вопросы. К тому же не смогут ли они, отдавшись течению обычных раздоров, найти в этих мелких водах что-то сулящее спасение и ухватиться за канат, за соломинку — за что бы то ни было, только бы их не унесло в море, где они неизбежно погибнут в черных водах полного позора.

— В доме все вроде бы было на месте, когда я приезжал туда в понедельник,— продолжал отец.— После того как я повидался с Брэдли, я обошел дом сверху донизу, чтобы все проверить, и не заметил нигде следов вторжения. Окно в уборной в понедельник не было открыто...

— Конечно, не было, Бернард. Питер его закрыл в воскресенье. Ты, надеюсь, не думаешь, что он ушел, оставив окно открытым? А ты еще так упорно утверждал, что виновата Беатриса.— Затем мать стала пилить отца за то, что он не рассказал ей про свой визит к доктору Брэдли в Хьюэлле; ведь доктор Брэдли друг всей семьи, как сам он только что заметил.— Близкий друг семьи,— особо подчеркнула она.

В ответ отец проворчал, что он, наверное, просто запамятовал. Несомненно, они с доктором Брэдли, кроме всего прочего, договорились ничего не рассказывать матери, учитывая ее склонность все драматизировать. В этот момент доктор Брэдли запальчиво попытался выдворить полицейских из комнаты. Он был смущен и встревожен.

— Послушайте, Перрин, не знаю, да и, честно говоря, не хочу знать, что тут у вас происходит. Это меня не касается. Я приехал потому, что миссис Скоби моя пациентка, она очень неудачно упала, и я вынужден настаивать...

— Возможно, доктор, вы нам скажете, почему вдруг мисс Скоби решила, что кто-то пытался проникнуть в дом в субботу?

Доктор Брэдли, стараясь владеть собой, ответил, что все дело в этом... этом окне, о котором говорили мистер и миссис Скоби: их дочь увидела, что оно открыто, заподозрила неладное и испугалась.

— Но, как я понимаю, доктор Брэдли, мистер Миллер обнаружил открытое окно в воскресенье, на следующий день после вашего визита. Могу ли я сделать вывод, сэр, что вы и мисс Скоби, уходя в субботу, забыли запереть окно?

— Послушайте-ка, инспектор,— снова запротестовал доктор Брэдли, явно испытывая все большую неловкость,— я уже говорил вам, что не имею понятия о том, что происходит, я в полном неведении. И, как вам известно, Перрин, я очень занятой человек...

Видя крайне тревожное состояние доктора и его неуклюжие попытки от всего отмежеваться, мать вдруг ясно поняла, в какую беду они попали. За тем, что лишь бросалось в глаза, стояло гораздо больше, и если не удастся быстро — разом! — положить конец этой неразберихе, то все противоречия и неувязки в их версиях будут разоблачены с позором. Прежде чем дать полиции возможность тщательно изучить их коллективные показания, крайне необходимо обсудить все без свидетелей и договориться о том, как лучше себя вести. А пока нужно немедленно прекратить этот непредвиденный допрос. У матери было развито инстинктивное чувство стратегии — надо мгновенно перейти от обороны к нападению, призвав на помощь весь авторитет покойного епископа Этелдина, чтобы утвердить свое, как его внучки, неоспоримое преимущество, веками установленное право всех Этелдинов и Осмондов, а также Вэллери и Карлайлов быть избавленными от неприятностей.

— Право же, это возмутительно! Я полностью согласна с доктором Брэдли — чудовищно, что мне навязывают такие разговоры сейчас, после серьезного несчастного случая, когда, возможно, у меня перелом руки. Все это действительно ужасно, и я вынуждена просить вас уйти, инспектор. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Понимаю, конечно, вы обязаны выполнять свою *работу*,— она оскорбительно подчеркнула это слово,— но, полагаю, если бы вы выполняли эту работу как следует, подобная неприятная ситуация никогда бы не возникла. Должна сказать вам, инспектор — как вас там, Перкин? — за все, что может произойти, инспектор Перкин, отвечать придется вам.

Мать снова вошла в присущую ей роль и уже начала получать от этого удовольствие; она не могла отказаться от возможности, пусть даже в крайне щекотливых обстоятельствах, устроить представление, особенно, если, как сейчас, на нее были направлены все прожекторы.

— Вместо того чтобы позволять этому мальчишке лишать покоя всю округу — он же представляет опасность для честных людей и невинных девушек,— его следовало давно запереть под замок. Почему же вы так не поступили? Я всегда считала, что долг полиции защищать нас. А нас безусловно не защищали, и, по-моему, это свидетельствует о крайнем неблагополучии. Я этого так не оставлю. Я обращусь в более высокие инстанции.

Отец нетерпеливо вмешался:

— Все это очень хорошо, Элен, ты во многом права, должен признать, но, например, Брэдли все еще не в курсе дел. И мы обязаны ему все сказать. Для нас это не очень приятно, Брэдли, никому не хотелось бы, чтобы пошли подобные слухи, но, я уверен, вы этого не допустите и будете держать язык за зубами, как сделал бы я, если б вы не хотели о чем-либо распространяться.

Затем он объяснил доктору Брэдли, почему полицейские приехали в кафе «Роза», и рассказал с мрачной горечью о низких, голословных обвинениях, чернящих его младшую дочь. Доктор Брэдли явно испытал огромное облегчение. Ухватившись за ту часть истории, которая затрагивала лично его, он с пылкой поспешностью высказался:

— Ну, конечно же, брошь миссис Скоби стащил этот мальчик — ясно как божий день! Он был в доме в субботу, вместе с Норой. Я сам его видел. Несомненно, он и украл — кто же еще!

Тут уж неверию отца был нанесен последний удар. Приблизив свое лицо к моему, он заорал. Глаза его горели гневом, жилы на шее вздулись. Комната снова распалась на яркие вспышки света и цветные пятна, и у меня снова заложило уши.

— Она же сказала тебе,— повернулась я к матери, вздыхая под страшным грузом усталости, свалившимся на меня.— Синтия же тебе сказала. Это же она, Синтия. Она ведь сказала.— Я чувствовала, как слова тяжело перекатываются у меня во рту, но не знаю, срывались ли они с губ и вообще издала ли я хоть один звук. Странная, пульсирующая в ушах глухота обрушилась на меня.

Крепко зажмурив глаза, я ждала удара ремнем, тем, что висел за дверью ванной, но ничего не случилось. Послышался гул голосов и какое-то движение. Я открыла глаза. Доктор Брэдли и инспектор, придвинувшись друг к другу, о чем-то разговаривали и исподлобья поглядывали на меня, а Беатриса в это время отрывала мои пальцы от дверного косяка. В спальне было темно. Зубы у меня стучали.

— Зажги свечу, Беатриса.

Я держала свечу и вглядывалась в темное зеркало, чтобы разгадать по чертам лица, что случилось. И поняла — что-то ужасное, потому что сама себя не узнала. Щеки были мокрые, опухшие, уродливые, а глаза — безумные и чужие. До этой минуты я не сознавала, что плакала. Я легла на кровать.

— Беатриса, не разрешай им забирать меня. Не разрешай им меня забирать!

— Кому?

— Полицейским. Не отдавай меня им.

— Они уже ушли.

Отец и доктор Брэдли то и дело заходили в мою комнату, поглядывали на меня и разговаривали шепотом. Несколько раз я слышала непонятные мне слова «virgo intacta» [1].

— Ничего официального — о чем вы, боже мой! — просто сделанный вскользь дружеский намек. Конечно же, я знаю его прекрасно. Он славный малый, этот инспек-

---

[1] Сохранившая девственность *(лат.)*.

тор Перрин... у него очень хорошенькая жена. Но, на мой взгляд, он прав — это нужно сделать.

— Вы действительно так считаете, Брэдли?

— Знаете, дорогой Скоби, нужно реально подходить к таким вещам. Я вам сочувствую — эта ситуация весьма неприятна для вас, но вы не вправе рисковать, не так ли? Давайте лучше я осмотрю ее сейчас, пока я здесь, чтобы покончить с этим — мне потребуется не больше двух минут.

Поскольку мать плохо себя чувствовала, она осталась лежать на софе; отец привязал мне ноги к кровати, Беатриса стояла в изголовье, а доктор Брэдли, преодолевая мое сопротивление, осмотрел меня, дабы проверить, не совершил ли Терри надо мной насилие. Я не понимала, что они со мной делают и зачем. Я визжала и цеплялась за Беатрису, а она держала меня за руки, утешала и говорила, что все будет хорошо.

Что же касается матери, то, как выяснилось, она ничего себе не сломала. Всего лишь растянула связки кисти. Доктор Брэдли наложил матери тугую повязку и подвесил ей руку на перевязи, сделанной из шелкового шарфа. Родители увезли меня ночевать с собой, так как нельзя было допустить, чтобы я оставалась в Трисе, пока этот мальчишка бродит где-то рядом — неизвестно где. Впервые в жизни я ночевала в роскошной гостиничной спальне. Помню, как я проснулась в темноте, ужасно проголодавшись, и шарила по стенам в поисках выключателя. И еще помню мертвую тишину в комнате и рокот моря за окном, когда я сидела в постели и ела ужин, который мне с вечера оставили на подносе. Дверь была заперта, чтобы я не сбежала. Я не собиралась убегать. Впоследствии я многие годы страдала от навязчивого кошмара — мне чудилось, что ту ночь я провела в тюремной камере.

36

У нас было слишком подавленное настроение, чтобы на следующее утро появиться в ресторане отеля, поэтому Питер велел подать нам завтрак в своем номере-люкс. К западной части отеля примыкала современная неотапливаемая пристройка, носившая оптимистическое название «солнечной гостиной», зато вдоль северного фасада, выходящего на море, сохранилась нетронутой старая застекленная веранда с паровым отоплением, заставленная пальмами и папоротниками в горшках. Полузастекленная дверь и одно окно гостиной номера Питера выходили на эту веранду, и сквозь ярко-зеленые, остроконечные, перистые листья растений я видела, как вздымаются и исчезают далекие гребни штормовых волн, пятная белой пеной желто-серые воды Атлантики. Желтоватый оттенок им придавал взбаламученный песок. Стихия за окном бурлила и бушевала.

Зато в гостиной было уютно, спокойно и, поскольку здесь всем распоряжался Питер, даже слегка экзотично. Официант принес кофе и горячие булочки, он двигался по гостиной так тихо, что никто не обращал на него внимания. Стол был накрыт свежей белой полотняной скатертью и белыми полотняными салфетками, в серебряной вазе стояли розы, большую чашу наполняли дорогие фрукты. У нас дома на завтрак подавали чай, скатерть долго не меняли, пролить что-нибудь считалось преступлением. А Питеру было наплевать, что на этой скатерти останутся темные пятна,— скатерть здесь для того и предназначалась, чтобы впитывать брызги. Он взял в руку большую кисть винограда и рассеянно ел его, словно дешевый изюм.

Питер был оплотом моих родителей. В отчаянии и замешательстве они могли обратиться только к нему. То, что им казалось позором, он считал не более чем досадным пустяком. Он заявил, что беспокоиться совершенно не о чем — все это мелкие всплески, которые забудутся через недельку-другую. Господи! Он попадал в куда более сложные передряги, и все обходилось!

Взяв руководство в свои руки, Питер не терял времени. Еще до завтрака он позвонил в полицейский участок Хьюэлла и поговорил с инспектором Перрином; он не так уж много сказал ему по телефону, но инспектор согласился заехать в следующую субботу в отель «Рулен-бей» в штатском и с клюшками для гольфа.

— Так нужно,— сказал Питер родителям.— Мы его примем по первому классу — коктейли, обед. Предоставьте все мне. Никаких затруднений не возникнет. Нет, нет, мой дорогой Бернард, не надо меня благодарить. Всегда полезно водить дружбу с полицией — никогда не знаешь, вдруг пригодится.

И он намекнул матери, что, возможно, ее брошь еще найдется.

— Так что́ сказала Синтия? Отстегнулась и упала?

Мать и отец, засидевшись у Питера поздно вечером накануне, когда он вернулся из Фалмута, все ему рассказали, чтобы сразу же ввести в курс дела.

— Знаете, мне кажется — но это пока не более чем предположение,— я смогу отыскать место, где упала эта брошь, и не исключено, что она все еще там. Хотя, конечно, не надо на это твердо рассчитывать,— добавил он.

— Да что вы! Я и не рассчитываю! — Но теплые нотки в голосе матери опровергали ее слова. Питер может отыскать что угодно! Питер может все! Он восхитителен, говорила ему ее улыбка.

Несколько раз во время завтрака я ловила на себе его оценивающий взгляд, словно сейчас заслужила то, чего раньше не заслуживала,— внимание.

— Послушайте, миссис Скоби, у вас замечательная семья,— сказал он с какой-то шутливой серьезностью.

— Ах, Питер! Это не повод для шуток.

— Я не шучу. Я серьезно.

Она судорожно схватила его руку и на миг прижалась щекой к его плечу. Шутка или нет, но для нее это было своего рода утешением, а она сейчас очень нуждалась в утешении.

— Что будут думать люди, Питер? Я больше не могу показаться в Хьюэлле — не могу! Как я покажусь людям на глаза, когда знаю, какие ужасные вещи думают о нас вокруг?

— Ну что вы, миссис Скоби, куда девалась ваша стойкость?— подбадривал он ее.— Кто же считается с этими хьюэллцами? Пусть думают что хотят. Это ведь ничего не значит.

— Для меня значит...

— И зря, миссис Скоби. Вы не должны обращать внимание на эти глупости. То, что люди о вас думают, не стоит и выеденного яйца. Важно не это, а то, что они могут вам *сделать*. Это единственное, что важно. А фокус заключается в том, чтобы успеть первому сделать с другими то, что они готовят для вас. Есть одно простое правило, золотое правило: всего добиваться первым, всегда и во всем быть первым, никогда не уступая. Так и достигают успеха! Придет время, и я вам покажу, как это делается. Про успех я знаю все. Эту науку я постиг досконально. Не унывайте, Элен,— убеждал он, смеясь, наклоняясь к ней и называя ее по имени — что делал редко — с той небрежной дразнящей интимностью, которая заставляла ее краснеть и подносить руку ко лбу, чтобы спрятать глаза.— Когда они увидят, что вы достигли вершины успеха, они приползут к вам на коленях. А вы очень скоро окажетесь на этой вершине, даю вам слово! И скажу вам еще — по секрету! — вершина — это единственное, к чему стоит стремиться.

Он был сейчас в исключительно хорошей форме и настолько глубоко уверен в себе, что они снова обрели к нему доверие. Это старое привидение, мистер Вэллери, нагнал на них страху своими историями о темном прошлом Питера, но сейчас, здесь, в этой живительной атмосфере, когда их баловали заботой и ограждали от вероломства окружающего мира, все эти истории превратились в бессмыслицу.

— Нужно быть твердым,— поучал он родителей.— Надо сначала наметить себе цель, а потом идти к ней так, чтоб ничто не могло вас остановить. Ничто! И во все глаза смотреть только на ждущую вас награду — сторожить ее! — даже не моргать; моргать нельзя, вы не можете рисковать! И вот — сезам, откройся! — награда ваша! Знаете, почему люди не достигают цели? Они моргают. А знаете, почему они моргают? Им не хватает решимости достигнуть цели — вот и все.

Родители жадно впитывали каждое его слово. Питер прочно взял их в плен. Мистер Вэллери был так же далеко от гостиной в люксе Миллера, как луна.

Меня не замечали; не из жалости, а просто потому, что им в тот момент было не до меня. Моих родителей заботило их собственное спасение. Но как собака, придушившая цыпленка, знает, что ей не уйти от палки хозяина, так и я знала, что мое наказание лишь отсрочено. Как только место и время позволят, меня ему подвергнут. А пока со мной не разговаривали.

Питер твердо постановил: Элен и Бернарду не сидеть без дела и не хныкать. Для собственного блага они должны собраться с силами и провести в жизнь намеченную программу. Этим же утром он и Бернард побеседуют с подрядчиком из Труро, а днем они — и Элен тоже — встречаются с парнем, с которым он случайно познакомился в муниципалитете. В промежутке будет достаточно времени — если пообедать пораньше,

скажем, в половине первого,— чтобы развернуть кампанию против Уиллиса. Они могут заскочить в дом Карлайла и провести предварительную беседу со старым Беннетом, чтобы ввести его в курс дела. Такого рода операция, сказал Питер, должна быть тщательно подготовлена заранее. Прежде, чем они приступят к поимке Уиллиса, они обязаны быть на сто процентов уверенными, что поймают его. Стоит им допустить промах, он поймет, что за ним охотятся, притаится, и тогда они вовсе упустят браконьера. Питер предложил дать Беннету денег — один фунт,— снабдить биноклем и велеть старику в течение нескольких дней неусыпно следить за Уиллисом, чтобы определить, в какое время он имеет обыкновение появляться на мысу, устанавливать силки и вынимать из них добычу. Беннет может вести наблюдение из окна чердака, поскольку только с чердака просматривается весь мыс.

Питер высказал предположение, что мою мать развлечет осмотр резиденции Карлайлов. Это поможет ей забыть обо всех неприятностях; да и ему тоже будет интересно. Он уже много лет не был в этом доме, хотя, конечно же, когда-то знал его как свои пять пальцев. Едва ли дом изменился; Карлайлы любили раз и навсегда заведенный порядок. Так почему бы ей не съездить вместе с ним после обеда к Беннету? Он сунет старику пару шиллингов и покажет ей весь дом. Потом можно будет обойти и само поместье, для интереса. А вечером, пообещал Питер, он отложит все другие дела, и они подробно обсудят этот абсурдный инцидент, связанный с Норой, и точно наметят, что говорить инспектору Перрину в субботу. Нравится им такой план действий? Родители согласились подчиниться любому его решению.

— Вы просто золото, Питер, дорогой,— сказала мать, легко коснувшись губами его щеки.— Не знаю, что бы мы без вас делали, право, не знаю.

Мужчины ушли в кабинет Питера, а я осталась с матерью в заимствованном нами спокойствии гостиной. Тот же безымянный, молчаливый официант убрал со стола. Прежде чем он успел снова исчезнуть, мать отправила его наверх в свою спальню, чтобы он принес ее письменные принадлежности. Потом она писала письма. Я то и дело чувствовала, как ее ручка замирала и мать поднимала глаза на меня. Кому она писала? О чем? Когда я встала со стула, она резко спросила:

— Ты куда, Нора?

— В уборную.

— А, хорошо. Только сразу же возвращайся обратно. Я хочу, чтобы ты была там, где я могу тебя видеть.

Позднее она спросила:

— Почему ты сидишь без дела? Почему не читаешь?

— Моя книга осталась в кафе.

— Господи, это же не единственная книга на свете! Не сиди сложа руки. На полках у мистера Миллера десятки книг — почитай что-нибудь.— И, опасаясь, что я истолкую как снисходительность разговор, в котором обходится молчанием причина объявленного мне бойкота, мать с горечью добавила: — Если ты действительно хочешь потратить время с пользой, я посоветовала бы тебе помолиться и попросить у бога прощения за свой проступок и те страдания, которые ты причинила отцу и матери.

— Извини.

— Господи помилуй! Ты действительно воображаешь, что сказать «извини» достаточно? Но не хочу говорить об этом сейчас, можно подождать, когда мы вернемся домой. Вот тогда мне с отцом нужно будет очень серьезно подумать, что с тобой делать, Нора.

Я взяла с полки какую-то книгу, открыла ее и положила на колени. Она лежала у меня на коленях, но я даже не имела понятия, роман это, или энциклопедия, или каталог дачной мебели. Утро тянулось, пустое и бесконечное, и в то же время, как ни парадоксально, оно промелькнуло словно молния. Почти сразу же после того, как официант сложил скатерть, на которой мы завтракали, он появился вновь, чтобы положить на стол свежую скатерть для обеда. И вообще, поскольку завтрак был поздним, а обед заказали на раннее время, перерыв между ними был не очень долгим.

Мужчины вернулись, отец был уже в гораздо более веселом настроении, а Питер, как обычно, искрился оптимизмом. Подали коктейли. Разговор шел только о строительном подрядчике из Труро. По всей видимости, они считали этого подрядчика замечательной находкой, так как его финансовые дела были безнадежно расстроены, большая часть его капитала пропала в результате какой-то темной спекулятивной сделки, и он стоял на пороге банкротства, так что был готов на любые условия, лишь бы заполучить

контракт. За обедом они продолжали оживленно обсуждать плюсы и минусы деловых отношений с таким человеком. Питер послал за шампанским. Это было вполне в его характере: урегулировать переживаемый родителями кризис, а потом превратить его в праздник; но, возможно, у него имелись и личные, неизвестные нам основания для праздника: накануне вечером в Фалмуте он сказал Синтии, что она именно та девушка, на которой он намерен жениться.

После обеда родители были не прочь снова сдать меня на хранение за надежную дверь гостиничной спальни — вполне отвечающее моему настроению наказание,— но Питер сказал: нет, юной Норе нужно сейчас подышать свежим воздухом, проветриться. Он отвезет ее в своей машине в кафе «Роза», а там тюремщица Беатриса продержит ее в кандалах, пока они будут обозревать местность возле дома Карлайла.

Мы с ним выехали первыми. Помню, как я наклонилась вперед и держалась за голову обеими руками, чтобы волосы не вырвало с корнем. Я впервые ехала в спортивной машине Питера и с трудом переносила ее скорость и злобный рев мотора. У меня было такое ощущение, будто я долго болела и не поправлюсь, если мне не дадут спокойно лежать одной в затемненной комнате, но даже в этом случае моя болезнь, вероятно, смертельна.

— Итак, Нора, вы себя плохо вели, да? — Питер пытался перекричать рев мотора. Я молча посмотрела на него, он на секунду повернул голову и посмотрел на меня. Глаза его были ближе ко мне, чем когда-либо раньше, пугающе близко. В них не было доброты, а только холодное, жесткое и острое любопытство.

Питер не оставил машину на дороге, а попросил меня широко открыть зеленые ворота и шикарно въехал на причал перед кафе. В зале Синтия беседовала с Мейбл Тиллс-Митсон. Все утро Питер с трудом подавлял владевшее им возбуждение, а сейчас, при виде грузной старухи в гофрированной блузке и узких туфлях, он в один миг утратил над собой контроль и его откровенное шумное веселье уже не знало предела.

— Подумать только, кто сюда пожаловал! Чтоб я провалился, если это не единственная в своем роде, неповторимая мисс Мейбл Тиллс-Митсон — и все такая же, ни одна кудряшка не изменилась за все эти годы! О-о, мисс Мейбл Тиллс-Митсон! Вы меня помните, конечно? — Она, ни слова не говоря, смотрела на него настороженно и испуганно.— Вы же не могли забыть Питера и Бобби из дома Карлайла? — настаивал он.— Боже правый, вот вижу сейчас эти ваши бусы и снова чувствую себя мальчишкой! И шляпка все та же, клянусь — те же цветочки и вишенки! Как поживает ваша сестра?

— Я вас помню. Я, право же, очень хорошо вас помню,— нехотя ответила Мейбл. Она говорила с тем особым достоинством старого человека, который понимает, что над ним насмехаются.— Вы говорите, я внешне совсем не изменилась? Вы очень любезны. А вот вы внешне изменились, но в остальном все такой же. Моя сестра, к сожалению, чувствует себя довольно плохо. Спасибо, что вы о ней справились. Я ей скажу об этом.

Она держалась крайне сухо. Передо мной была совсем иная, незнакомая мне Мейбл, я и не предполагала, что она может быть такой сухой.

— Тетя Мейбл помнит вас, Питер, но эти воспоминания не доставляют ей удовольствия,— резко сказала Синтия.— Он, наверное, был просто отвратительным, да, тетя Мейбл? Этакий мерзкий мальчишка. Я очень хорошо представляю себе, каким он был. Просто подлый, мерзкий мальчишка.

Если бы не тон, ее слова могли бы сойти за добродушное подтрунивание. Но в ее голосе был яд. До их поездки в Фалмут ее мнение о Питере проявлялось в движениях — в манере хлопать дверцей его машины, поворачиваться на каблуках или кривить губы. Но сейчас она все вложила в слова, недвусмысленно давая понять всем, кого это заинтересует, что она его презирает.

Накануне вечером они не попали в театр. Питер сорок с лишним миль гнал машину с опасной для жизни скоростью, но тем не менее они приехали в Фалмут — возможно, он так и рассчитывал — через полчаса после того, как занавес поднялся. И вместо театра он повел Синтию ужинать в лучший отель, где заказал лучшие блюда и вина, и стал развлекаться на свой вкус: не спеша изложил ей то, что долго и упорно раскапывал,— ее секреты. Он знал, что Дуглас Брэдли ее любовник, и полностью выяснил, какую роль играло незакрытое окно уборной; он проверил несостоятельность ее алиби в конторе; он знал, что она украла и продала брошь матери. Словно сыщик, он собрал все улики и подверг их анализу одну за другой, а теперь хвастался перед Синтией, приглашая ее восхититься им — его проницательностью и ловкостью. Он достиг вер-

шины триумфа, когда обследовал сумку Синтии и обнаружил за зеркальцем сложенные пятифунтовые банкноты. Синтия ничего не отрицала. Я легко представляла себе, как она слушала его с каменным лицом.

«Зачем вы мне все это рассказываете?»

«Думал, что вам будет интересно».

«А мне неинтересно. Мне наплевать на то, что вы делаете или думаете. Мне наплевать на вас, Питер Миллер. Вы мне просто омерзительны».

Спустя десять лет, в 1947 году, в Лондоне, Синтия восстановила в памяти этот вечер для меня и для себя, вспомнила его во всех подробностях, слово за словом. Не только вечер в Фалмуте, но и весь давно похороненный сентябрь тридцать седьмого года она выкопала из могилы и тщательно разложила по полочкам в запоздалых поисках ключа, который мог бы отпереть для нее дверь к все еще возможному счастью. Очень многого из того, что она рассказывала, я не знала, кое о чем догадывалась; но ни об этом, ни о многом другом я не думала десять лет, а впоследствии — еще двадцать пять, вплоть до сегодняшнего дня. Потому что я убедила себя, что случившееся в Трисе произошло только *там*, отделено от места, где мы живем, определенным числом миль и ограничено определенным числом дней, а посему я могу вырвать это из своего прошлого бесповоротно и аккуратно, как вырывают страницу из дневника. Если не считать недели в Лондоне, когда моя жизнь перехлестнулась с жизнью Синтии и я была вынуждена слушать, так сказать, выдержки из ее дневника, страничка из моего собственного дневника не вспоминалась — она исчезла напрочь, словно никогда не была написана.

Сейчас, оглядываясь назад с наблюдательной вышки сегодняшнего дня, я могу охватить взглядом одновременно оба периода. Я вижу Синтию и себя, какими мы были в тридцать седьмом году, девушкой и ребенком, и вижу нас снова в сорок седьмом, когда мы уже стали взрослыми женщинами. «Выйти замуж за вас? — презрительно переспросила Синтия Питера Миллера в Фалмуте.— Никогда! Уж лучше выйти за жабу, чем за вас!» Ей было тогда девятнадцать, спустя два года вспыхнула война, та война, в горниле которой было суждено перевернуться всему миру. Когда я приехала из-за границы в 1947 году, Синтия ожидала окончательного оформления развода и поселила меня к себе, в очень маленькую квартирку в огромном доме где-то недалеко от Олд Бромптон-Роуд, на то время, пока я свыкнусь с лишениями послевоенной Англии. В этот мрачный, тягостный для нее период, когда ее замужество близилось к официальному концу, Синтия — я это знаю — радовалась моему обществу. Из тех немногих людей, на чьих глазах начинались ее отношения с Питером, я была единственной, с кем она могла поговорить. Помню, она, словно выполняя некую повинность, говорила целые дни и даже ночи напролет, меряя шагами опрятную и безликую комнату, размерами — и только — напоминавшую комнату, где много лет назад мы жили вместе в кафе «Роза»; за окнами широкую Олд Бромптом-Роуд захлестывал не прилив, а поток автомашин, и до нас доносились гудки автомобильных клаксонов, а не крики чаек. За неделю она выговорилась до конца, но мы не стали ближе, а говорить уже было не о чем. Мы с ней никогда не были близки и к тому же не виделись почти всю войну.

Войну объявили, когда мне было семнадцать. В день моего восемнадцатилетия я записалась в женскую вспомогательную службу военно-морских сил, и меня послали в Каир сидеть в душной конторе и печатать на машинке с присущими мне прилежанием и послушанием нескончаемые списки снаряжения, необходимого Королевскому флоту; в награду за эту нудную работу я видела пустыню, верблюдов, синь Средиземного моря, а в голове моей постоянно отдавались странные, хриплые звуки многолюдной улицы чужеземного города. Когда война кончилась, я задержалась в Каире, наверное потому, что мне не хотелось возвращаться к прежней, ничем не заполненной жизни. За десять лет я не нашла ответа ни на один вопрос, не разрешила ни одного сомнения; мой разум оставался недвижным, вопросы и сомнения разрастались, становились все более туманными и угрожающими, а реальность отступала от меня.

Синтия провела войну в Лондоне, работала в каком-то отделе министерства иностранных дел, пила джин, привыкла курить одну сигарету за другой и позволяла возить себя в такси в ночные клубы. В 1942 году она вышла замуж за Питера Миллера. Когда я спросила, почему она стала женой человека, к которому питала такую явную антипатию, она ответила что-то неопределенное и пожала плечами, словно сама не до конца понимала, зачем это сделала.

Я знаю, почему она вышла за него. Она отнюдь не изменила своего мнения о Питере, просто под конец примирилась с его мнением о ней. И тем самым смирилась с ужасным крушением своих надежд. Они одного поля ягоды, настойчиво внушал он ей, они люди одного склада и потому неизбежно должны оказаться вместе, нравится ей это или нет. Синтия же с не меньшим упорством отказывалась признать убедительность его аргумента. Одного поля ягоды? Разве это возможно, если она так глубоко его презирает? Но в основе ее отказа лежала паника. Если то, что он говорит, правда — а, глядя на него, она действительно видела свое отражение,— то это подтверждает ее собственную самую низкую оценку Синтии Скоби; а ей хотелось думать о себе лучше. Питер утверждал, что знает ее — знает, как никто другой,— и наконец убедил ее в своей правоте. Но он ее не знал, он ошибался: они не были одного поля ягоды — между ними существовало глубокое различие. Ненависть Синтии родилась из ее отчаяния, а природу ее отчаяния Питер никак не мог понять. Она вышла за него замуж, когда тлевшая в ее сердце надежда стала затухать; к тому времени Синтия начала сдаваться. Но в Фалмуте, когда ей было девятнадцать и ее переполняло стремление к победам, она не предчувствовала грядущего поражения. Напротив, в тот вечер она твердо решила больше не иметь ничего общего с Питером Миллером. Он сунул нос в ее дела так же, как сунул нос в ее сумку. Он шпион, подлюга и жаба, и она так и сказала ему: «Вы мне просто омерзительны, Питер Миллер».

Было уже поздно, когда он привез ее в кафе «Роза», далеко за полночь. Увидев, что моя кровать пуста, Синтия разбудила Беатрису:

— Где Нора?

Беатриса ответила, что я ночую в отеле «Рулен-бей».

— Почему? Что случилось? Она заболела?

Мисс Нора была немного не в себе, ответила Беатриса. Снова приезжали полицейские, задавали вопросы. Мальчик, которого они арестовали, сбежал.

— Сбежал?! — воскликнула Синтия.— Молодец! Я и не думала, что у него хватит духа.

Но утром, когда мы с Питером застали ее в зале кафе, она уже не думала ни обо мне, ни о Терри. Собственные проблемы, а не наши занимали ее мысли и придали ее речи такую едкость, что Мейбл, с ее представлениями о том, что допустимо и что недопустимо в обществе, была шокирована. Бедная Мейбл не привыкла к словесным перепалкам. Обиженная Питером и выведенная из равновесия Синтией, она поспешно отвернулась от них обоих и завязала более мирную и ни к чему не обязывающую беседу со мной.

— Ты что-то неважно выглядишь, Нора, дорогая.

— У меня все в порядке, тетя Мейбл.

— Это из-за перемены погоды — так все неожиданно. Сегодня дует такой ветер! Смотри не простудись, Нора, одевайся потеплее. Девочки в твоем возрасте очень легко простужаются, милая. Помню, моя мама много лет назад говорила: «Девочки очень легко простужаются, особенно когда меняется погода».

Я почувствовала, что мне на глаза наворачиваются слезы, быстро отошла от Мейбл, уселась в углу зала, крепко прижалась к стене и услышала, как Питер громко сказал Синтии:

— Я никогда не ошибаюсь. Когда я решаю чего-либо добиться, то обязательно добиваюсь. Вы еще сами это увидите.

Синтия встала, ничего ему не отвечая, и вышла из зала. Спустя несколько минут появились родители.

37

Мейбл приехала из Хьюэлла на автобусе специально для того, чтобы поговорить с моим отцом. Она и Корди после его визита обсуждали то, что он им сказал, и хотя он любезно предложил им не спешить и дал на обдумывание целую неделю, они сочли, что будет правильно известить его сразу же, как только они примут решение, а они его уже приняли. Она не задержит Бернарда надолго; его время так драгоценно, она знает, и вообще ей хотелось бы успеть на следующий автобус, а то ведь Корди дома одна.

Она выпалила все это одним духом. Они же незаметно переглянулись поверх ее головы: им все было понятно. Питер Миллер собрался уезжать. Нужно было создать впечатление, что он никак не причастен к сделке, связанной с кафе «Роза».

— Ну, я двинулся, Бернард,— сказал он.— Когда вы освободитесь, подъезжайте в дом Карлайла, договорились? А как нам быть с юной Норой? Где Беатриса? — Предполагалось, что Беатриса сейчас сидит в вагончике. Меня же на время как ненужную обузу передали на попечение отца.— Ну а вы как, миссис Скоби? Приедете потом с Бернардом или рискнете снова прокатиться на моем автомобильчике?

Мать решила поехать с Питером. Она специально привезла с собой длинный газовый шарф, чтобы было чем повязать голову, если придется поехать в его стремительной открытой спортивной машине. Только Питер должен пожалеть ее, стать ее няней и одеть ее — капризно-просительным жестом она протянула ему шарф,— ведь с одной рукой на перевязи она беспомощна, как дитя.

— Что с вами, Элен, дорогая? — испуганно ахнула Мейбл.— Какой ужас! Я и не заметила. Что у вас с рукой? Неужели сломали?

— Я вчера свалилась с этих ваших ступенек, Мейбл. Чрезвычайно опасное место, знаете ли. Доктор не думает, что у меня перелом, но пока мне не сделают рентгеновского снимка, он не может ничего сказать наверняка. Мы надеемся, что я отделалась просто серьезным растяжением связок. Но вообще-то я вполне могла сломать шею, Мейбл,— с упреком сказала она.— Да ладно уж! Ничего больше не скажу. Оставляю вас вдвоем, и можете секретничать. Не забудьте передать Корди огромный привет.

Она склонилась, чтобы поцеловать мягкую, пухлую напудренную щеку и похлопать мягкую, пухлую руку; поцелуй и ласковое прикосновение лучше всяких слов говорили: «А сейчас будьте паинькой и сделайте все, что вам скажет Бернард». Затем, высоко и величественно подняв задрапированную шифоном голову, будто она отбывала по меньшей мере на прием в какое-нибудь посольство, мать покинула зал.

Отец поспешил вслед за Питером и остановил его у ступенек. Я слышала, как они тихо обменялись несколькими словами — отец взволнованно спрашивал: «Сколько? Сколько?» А Питер ответил: «Не предлагайте больше того, что мы наметили. Если хотите предложить меньше, это ваше дело. Желаю удачи!»

Спустя мгновение он исчез, предоставив отцу, как полномочному генералу вторгшейся армии, принять от Мейбл кроткое заявление о капитуляции; они не сомневались в том, что она для того и пришла.

Отец подошел к Мейбл, ожидавшей его за одним из шатких чайных столиков, сел рядом с ней, с раздражением придвинув стул поближе, и чуть наклонился вперед; он нервно сжимал и разжимал свешенные между колен руки. Какую же сумму предложить — решительно и окончательно? Он всегда может позднее ее повысить, но снизить уже не сможет. Сколько? Как мало? Думаю, он не слышал ничего из того, что она ему говорила, во всяком случае вначале.

Мейбл же полагала, что он слушает, и доверчивой задыхающейся скороговоркой пересказывала ему все, о чем они с Корди думали, что чувствовали, чего боялись, на что надеялись и рассчитывали с того понедельника, когда он посетил их и посоветовал продать кафе «Роза». Ей, право, стыдно признаться Бернарду, что сказанное им в понедельник было для них большим ударом. Им ведь раньше не приходило в голову, что, возможно, однажды придется продать кафе, они никогда и не помышляли об этом. В ту ночь они не сомкнули глаз. Тут Мейбл на минуту отвлеклась и стала просить у отца извинения за то, что он нанес им такой удар, и за то, что она так неделикатно об этом упомянула. Она сделала это лишь потому, сказала она, что позже им стало ясно, как неправы они были, не веря в чудотворную силу Провидения, чьи пути, как говорится в Библии, удивительны, неисповедимы и чьи деяния всегда к лучшему. *На следующий же день* к ним пришел доктор Брэдли и почти в точности повторил то, что говорил Бернард. Это не может быть совпадением, это знак, сказала Мейбл, это рука Провидения. При этом, втором упоминании о высшей силе она наклонилась к отцу всем своим тучным телом, прикрыла себе рот рукой, вытаращила глаза и шепнула: «Бога!»

Доктор Брэдли сказал им все без обиняков. («Ведь доктора обязаны говорить правду, да?») Он сказал, что им придется отказаться от кафе «Роза». Корди недостаточно крепка здоровьем, и его уже не восстановить. А еще он сказал им — и это задело их, наверно, ничуть не менее болезненно, чем предложение отца купить кафе,— что они уже не молоды; они состарились и должны это понять и строить свою жизнь соответственно.

— Конечно,— сказала Мейбл, колеблясь и нервничая,— мы уже не так молоды, как раньше, это правда. Только ведь почему-то теряешь счет годам. Мы с Корди уже не девочки, мы это, конечно же, знаем. Да, наверно, мы... старухи.— И я увидела, как

пальцы, что недавно прикрывали рот, с сомнением притронулись к волосам, некогда подобным лучезарному облачку, а теперь пушистым и редким, но местами все еще с тусклым золотым отливом.

Они решили посоветоваться с гадальными картами. В сознании обеих сестер гадальные карты, Бог и Судьба были причудливо переплетены и внушали одинаковое благоговение, но если карты и Судьба вместе с благоговением внушали им и страх, то Бога они не боялись — он, без сомнения, казался им похожим на их покойного отца. Предсказание карт вселило в них решимость и указало им путь. Да, им действительно предстоят большие перемены. С ними связано счастье многих людей, в том числе ребенка или нескольких детей. Деньги будут даны и взяты. Есть указания на какие-то передвижения и перемещения. И всякий раз при раскладе карт неизменно появлялся высокий брюнет. Когда же они поняли, что брюнет — это Уиллис, все остальное тотчас стало на свое место, точно по волшебству.

Тут Мейбл сделалась очень серьезной, ее круглые розовые щеки порозовели еще больше. Прежде всего она хочет, чтобы Бернард знал, как приятно им с сестрой было услышать, что он, Элен и обе дорогие девочки полюбили Трис так же, как они с Корди, и хотели бы снова провести здесь отпуск. Они глубоко ценят доброту Бернарда, который предложил купить кафе «Роза»; они понимают, что он просто хочет помочь им выйти из трудного положения. Но поскольку, как он им объяснил, в коммерческом отношении эта сделка ему почти ничего не даст, они не вправе принимать деньги от друга, даже если смогут заставить себя расстаться с тем, к чему так привязаны. Кафе «Роза», робко намекнула Мейбл, имеет для них чисто личную ценность, но они понимают, что личная ценность не равносильна коммерческой.

Обе мисс Тиллс-Митсон по складу характера не принадлежали к тем, кто умеет копить. Они жили, подобно птицам и зверям, от сезона до сезона. То, что им удавалось выручить за лето, поддерживало их на протяжении следующей зимы, а за несколько последних месяцев небольшая сумма, отложенная на черный день, практически исчезла. Но они беспокоились не только за себя. То, что ущемляло их, ущемляло и Уиллиса, так как его скудная и неустойчивая жизнь зависела в немалой степени от их благополучия. Как бы он дотягивал без них от мая до сентября? И как он будет сводить концы с концами, если не станет кафе «Роза», а тем самым исчезнут и приработок, и перепадавшие ему остатки тортов и пирогов, и чаевые посетителей? Все то время, пока Корди болела, они обе очень беспокоились о судьбе Уиллиса и его семьи, а в последнюю неделю — еще больше: ведь ему нужно прокормить столько ртов, а к тому же скоро появится еще один, восьмой ротик.

— Да кто же в этом виноват, хотел бы я знать? — сказал отец, навострив уши при имени Уиллиса, хотя до этого почти не слушал болтовню Мейбл.— Если парню нужно кормить восемь ртов, это его дело. Никто не заставлял его рожать всех этих ублюдков. Он что, делает кому-то одолжение? Коль скоро человек не может содержать своих детей, нечего их заводить — это же подсказывает элементарный здравый смысл.

Легкое замешательство затуманило прозрачные добрые голубые глаза Мейбл: здравый смысл тут был ни при чем. Детей, как и дождь, посылают или не посылают небеса по воле всевышнего; порой, увы, как дождю, детям бывают не слишком рады. Грубые выражения моего отца она просто пропустила мимо ушей. Мужчины употребляют такие слова, как «ублюдок», только потому, что они мужчины, а не потому, что у них недобрые мысли или намерения.

В любом случае, кто бы ни нес ответственность за существование детей Уиллиса, именно их или одного из них сестры Тиллс-Митсон увидели в картах. Мейбл и Корди не сомневались в этом так же, как и в том, что неизменно появлявшийся в картах высокий брюнет — сам Уиллис. И поэтому они сразу поняли, что должны сделать. Им все стало совершенно ясно, словно откровение было произнесено громким голосом. Вторую ночь они тоже не сомкнули глаз, но уже не от тревоги, а от радостного возбуждения — перед ними открылась картина совсем новой жизни, когда каждый будет счастлив и осуществит, как в сказке, свое сокровенное желание.

Они отдадут кафе под начало Уиллиса и его жены. Миссис Уиллис — удивительно способная женщина, а Уиллису, конечно, любая работа по плечу. У бедняги такое печальное прошлое — в море потерял отца, а потом, когда спасал Англию от кайзера, стал инвалидом. Они раньше часто задумывались, как бы получше отблагодарить Уиллиса за его доброту к ним, а теперь им стало ясно, что нужно сделать. Они не будут держать это в секрете от Уиллиса — скажут ему все напрямик: им кажется, его подбодрит их

намерение завещать ему кафе «Роза». Так приятно думать, смущенно потупившись, сказала Мейбл, что люди по-прежнему будут с удовольствием пить чай с домашними пирожками и тортами в кафе «Роза», даже когда ее и Корди не станет. А пока что они все будут участвовать в прибылях от кафе. Уиллисам, конечно, положено получать больше, так как им придется и работать больше, а она и Корди возьмут на себя обязанности полегче и, возможно, будут помогать готовить. И поскольку Корди не будет при этом перенапрягаться, они уверены, что доктор Брэдли все поймет и одобрит.

А еще они решили вообще отказаться от дома в Хьюэлле: продать его, как умно подсказала дорогая Синтия, а на вырученные деньги построить себе совсем маленький домик на берегу Крэнча. И хотя за их поле, как очень любезно объяснил Бернард, никто не даст и гроша, потому что оно так неудачно лежит в самой низине, они все же думают, что смогут получать от него небольшой доход, пуская туда на стоянку автофургоны. Корди кто-то говорил, что владельцы фургонов платят за стоянку больше, чем владельцы легковых машин. Таким образом, доход от поля станет добавкой к их доле прибыли от кафе, которая, откровенно говоря, будет небольшой. Это не значит, поспешно добавила Мейбл, что им нужно на жизнь так уж много; у них будет как раз достаточно, туманно сказала Мейбл, не в состоянии выразить точными цифрами, сколько именно достаточно, а сколько нет.

И, наконец, для них будет большой радостью и гордостью, более того, честью, если Бернард примет от них как подарок, в знак их глубокой симпатии и благодарности, вагончик, который много лет служил им летней резиденцией, а теперь пусть станет загородным жильем семейства Скоби в Трисской бухте, тем самым домиком для отдыха в отпуск и выходные, который, как они с радостью услышали от Бернарда в понедельник, ему, Элен и обеим милым девочкам так хотелось бы иметь.

Она закончила, вся светясь от радости, которую ей с сестрой подарила эта мечта. Они с Корди получили прекрасный урок — всегда надо верить! Несчастье оказалось тайным благословением! Теперь каждый будет счастлив!

Вначале отец даже не давал себе труда прислушаться к тому, что говорит Мейбл. Его мысли были целиком заняты собственными планами. Но имя Уиллиса насторожило его, и он вдруг понял, что Мейбл повернула куда-то не туда и идет по неправильному пути. Она говорила не то, что ей надлежало говорить. Уиллис? Что еще она там болтает про Уиллиса? При чем тут Уиллис? Тут он начал прислушиваться к ее словам, и я увидела, как на его лице отразилось сперва удивление, потом недоверие и, наконец, мрачное возмущение. Оставить кафе «Роза» Уиллису? Да она с ума сошла! Милостиво подарить ему и Элен старую развалину — вагончик, который годится разве что на дрова?! Что за вздор! Она, видно, совсем спятила!

Перед глазами Мейбл не возникали картины, проносившиеся в мыслях отца. Она понятия не имела, насколько оскорбительно-нелепыми и смехотворными показались ему ее предложения в сравнении с собственным величественным видением застройки Трисской бухты по проекту Скоби—Миллера. Высказав все, что собиралась, Мейбл с удовлетворением сложила руки на коленях. Она была так же ослеплена своими видениями, как мой отец — его собственными. Вполне довольная собой, блаженно улыбаясь, она ожидала его одобрения и похвалы.

А отцу просто не хватало слов. Потрясенный и разъяренный, он лишь невнятно что-то бормотал, и это косноязычие вывело его из себя еще больше — он вскочил и, словно ужаленный, заметался по лежащей в центральном проходе зала плетеной циновке.

Я знала, что сейчас последует безжалостная расправа, и не хотела оставаться и наблюдать это. Мейбл в простоте душевной на время омрачила тенью золотую дорогу, простиравшуюся перед отцом, и за это он был готов сейчас просто ее уничтожить, разорвать на клочки вместе с ее идиотскими предложениями.

— Распустила слюни! — начал он, и голос его от ярости звучал почти фальцетом.— Извините за резкость, Мейбл, но вы распустили слюни — да, *слюни!* Все эти ваши воздушные замки — это... просто глупый детский лепет. Как вы можете говорить, что оставите кафе Уиллису?! Да ведь он отъявленный мошенник — хуже чем мошенник. Он уголовный преступник, самый обыкновенный преступник. А что касается остального вздора, который вы тут несли...

Я не посмотрела на лицо Мейбл. Просто встала, очень быстро и тихо прошла в кухню, потом через гостиную и спальню вышла на причал. Ни Мейбл, ни отец не заметили моего ухода.

Дул сильнейший ветер, порывистый, неистовый осенний ветер, у меня перехватывало дыхание, и я чуть не падала. После тишины в кафе буря меня оглушила. Шум моря был громоподобен. Он несся издалека и, подгоняемый к берегу ветром, звучал неестественно близко. Я ощутила присутствие Терри на долю секунды раньше, чем его увидела.

Он стоял у кабинки туалета, последней, самой маленькой пристройки к кафе. Кабинка была установлена на дальнем конце причала, почти у самого края, но не вровень с ним — оставался еще узкий выступ, не более нескольких дюймов в самой широкой части. На этом выступе и стоял Терри. Поза его была странно неподвижной, словно он уже давно здесь и окаменел. Чтобы не упасть под порывами ветра, он прижимался головой и разведенными в стороны руками к дощатой стенке кабины. Он был босиком. Одна штанина разорвалась от лодыжки до колена, и на ноге виднелась длинная запекшаяся царапина. Его трясло от холода.

— Терри? — Я выглянула из-за угла кабинки, обрадованная и испуганная.— Терри! — повторила я.

Он услышал меня, повернул голову и, не двигаясь с места, торопливо заговорил; казалось, говорит кто-то другой, а не Терри. Обычно молчаливый и настороженный, он разразился потоком обрывочных, бессвязных фраз, точно его стучащие зубы уже не могли более сдерживать напор подступающих слов. Глаза у него теперь тоже были какие-то другие: их обычное настороженное выражение пропало, они лихорадочно сверкали и шарили по моему лицу, точно искали то, чего он не мог найти,— хоть какую-то уверенность в безопасности.

Половина того, что он сказал, потонула в криках чаек и грохоте листов жести на крыше. Только кое-как связав обрывки донесшихся до меня фраз, я сумела понять, что́ Терри делал и где был с той минуты, как я в последний раз видела его, когда он спускался с холма вместе с полицейским.

Позавчера он добрался до Триса только под вечер: прилив был еще довольно высоким и бурным. Наверное, именно в это время, как раз перед приездом родителей, я лежала в постели и прислушивалась к рокоту моря. Терри искал меня, но он не заглянул в окно спальни; в окна зала он увидел Беатрису и, боясь, что она его заметила, побежал туда, где мы привязали шину. Он вцепился в канат и висел на нем, и тут сильная волна подхватила его и ударила о зазубрины бетона у основания причала — так он поранил ногу. Ночь он провел под нашим вагончиком. Нет, он все же решил не бежать в Шотландию, вместо этого он спрячется на пароходе, который плывет в Америку. Америка — именно та страна, где можно начать новую жизнь, сказал ему вчера один человек на хьюэллском пляже. Только Терри не знал, *откуда* уходят пароходы в Америку. Вот зачем он искал меня — чтобы узнать название порта. Ему надо выяснить это самому — тот человек не сказал. У этого человека была телега и лошадь, и Терри ездил с ним на телеге по всему пляжу, они собирали складные стулья. Если не собрать вовремя, их смоет приливом. А когда прилив отступает, этот человек ездит по пляжу и выдает стулья. У него такая работа. Люди платят деньги, чтобы посидеть на стульях, а он выдает им квитанции. За то, что Терри помогал, этот человек дал ему шесть пенсов, и Терри сел на первый же автобус до Триса. Вчера вечером он наблюдал, как к кафе съехались машины — спортивная машина Питера, «хамбер», полицейская машина и автомобиль доктора Брэдли. Он был уверен, что все они собрались там, чтобы его поймать. Он должен во что бы то ни стало добраться до Америки. Как только он туда попадет, все будет хорошо. Америка — земля свободных людей, так сказал тот человек с телегой. земля свободных!

Он замерз и сейчас, я думаю, плохо соображал от боли и голода, но мне показалось, что он болен Когда я взяла его за руку, чтобы он замолчал, его дрожь передалась и мне. Я потянула его за рукав свитера:

— Терри! Тебе нельзя здесь оставаться, Терри!

Если он еще несколько минут простоит на этом узком выступе, то обязательно свалится в море; к тому же его отсюда видно всем, кто идет от моря по пляжу. Но где же ему спрятаться? Лучше всего, конечно, там же, где он провел прошлую ночь,— под вагончиком, за высокой травой и колючими ветвями ползучей розы, и сейчас был самый подходящий момент, чтобы пробраться к этому убежищу, пока

мой отец и Мейбл все еще разговаривают в зале. Я обещала попозже принести ему поесть и рассказать про пароходы, отплывающие в Америку. Синтия, наверное, знает — я спрошу ее. Но нам надо скорее добежать до вагончика, подгоняла его я.

Он бочком покорно выбрался с выступа. Я шепотом напомнила ему, что надо пригнуться, когда мы пробегали мимо окон зала. Он делал все, что я ему говорила, но движения его были скованны и неловки. Я остановилась у порога кафе, и дальше Терри пошел один. Я так часто видела, с какой быстротой он мчался прятаться, чтоб его не поймали за воровством, что думала, ему потребуется не более минуты на то, чтобы перебежать дорогу, потом асфальтовую дорожку и залечь под вагончик, а кроме того, я была готова, если понадобится, как-нибудь перекрыть выход из кафе и задержать на это время отца с Мейбл. Я не учла, что Терри измучен напряжением и холодом, и мы оба совсем забыли о Беатрисе.

Все это было повторением уже случившегося. Как кошмар, преследующий человека ночь за ночью, ситуация опять повторилась — такая же, как раньше, но не в точности. Вообще все, что дальше происходило, было слегка измененным повтором того, что уже было раньше: и именно эти незначительные изменения в ситуации придавали событиям жуткий привкус кошмара.

Терри был уже посредине черной асфальтовой дорожки, когда Беатриса вышла на веранду вагончика. Она так же неожиданно появилась в тот день, когда мы чинили камеру, и еще — в прошлый вторник, но оба раза ее появление было бесшумным и кратким. Сейчас же она стала истерически вопить:

— Мистер Скоби! Сэр! Мистер Скоби! Мистер Скоби!

А во вторник кричал отец, а не Беатриса, и Терри тогда замер, как зверь, застигнутый врасплох на полпути к добыче; потом он ускакал через поле, словно быстроногий олень. Но сегодня он бежал, прихрамывая и волоча ногу, и крики Беатрисы вынудили его остановиться. Он нерешительно повернулся, не зная, что делать, куда идти. Одинокая фигурка в темно-красном свитере, испуганное лицо, обрамленное развевающимися волосами, хлопающая на ветру разорванная штанина... я едва успела бросить на него один-единственный отчаянный взгляд, как отец оттолкнул меня в сторону. И в эту же минуту из-за угла выехал автобус из Сент-Отиса и стал тяжело спускаться с горы. Большим зеленым пятном он заслонил от меня Терри.

Этот маленький эпизод продолжал всплывать в моей памяти еще долго после того, как мне удалось стереть из нее все, связанное с нашим отдыхом в Трисе. Годами не могла я избавиться от этого воспоминания. Заснув или, вернее, почти засыпая, я снова и снова переживала эти несколько минут, словно могла изменить суть или ход событий. Я видела, как Беатриса выходит на веранду, как Терри поворачивает обратно ко мне, как автобус появляется из-за угла. Я видела изумленные голубые глаза и неровно напудренные щеки Мейбл Тиллс-Митсон, ошеломленной словесной взбучкой, которую она только что получила; я видела, как, побежав вперед, она машет шоферу автобуса, чтобы он ее подождал. И я снова погружалась в хаос нестройных звуков — ругань отца, крики Беатрисы и Мейбл, рев мотора автобуса. И снова испытывала ужас от того, что отец, крепко ухватив меня за руку, тащит прямо под огромные надвигающиеся колеса автобуса, пытаясь перебежать дорогу перед ним. И, наконец, я ощущала удивительное облегчение, когда за автобусом видела пустое поле и пустую асфальтовую дорожку; Терри нет — он исчез! — и я позволяла себе снова, как в тот ослепительно прекрасный момент, поверить, что, даже когда все идет прахом, возможно спасительное чудо.

На этом счастливом завершении эпизода воспоминания неизменно обрывались. А в действительности события в тот четверг на этом не закончились, и утешение, подаренное верой в чудеса, было коротким, как вспышка молнии. Помню, как я прижалась лбом к пыльному подрагивающему металлу остановившегося автобуса, сознавая, что пустое поле означает лишь временную передышку, что это еще не конец.

Озадаченные пассажиры высовывались из окон автобуса, удивляясь остановке. На засыпанной песком узкой полоске травы у обочины отец препирался с кондуктором, который в замешательстве топтался на месте. Шофер в это время неуклюже слезал со своего высокого сиденья, чтобы выяснить причину всей этой кутерьмы. Еще немного — и была бы препаршивая авария, у него на автобусе, слава богу,

хорошие тормоза, а иначе все могло бы закончиться много хуже. Никакой аварии не случилось, никто не пострадал, а тут почему-то отец все еще бесится и Беатриса продолжает куда-то показывать рукой и кричать с веранды, словно потерявший разум дозорный на мачте шхуны. Шофер не понимал, что происходит, а кондуктор пожимал плечами. Он не знает, где этот мальчик. *Какой еще мальчик?* В суматохе никто не заметил Терри.

И вдруг «хамбер», оставленный отцом неподалеку на дороге, неожиданно пришел в движение. Он дернулся вперед. Ни один из нас, даже отец, не сдвинулся с места. Мы просто смотрели на машину: шофер и кондуктор — с любопытством, я и отец — с ужасом. Беатриса на веранде перестала кричать.

«Хамбер» снова дернулся вперед, замер, потом, будто уверовав в свои силы, выехал на середину дороги и укатил. Помню, как странно было смотреть на это: наш почтенный и величавый «хамбер» промчался, будто одержимый дьяволом, по мосту над Крэнчем и стал карабкаться по небольшому крутому склону за рекой.

Отец, наверное, был ошеломлен.

— Он угнал мою машину! — В его голосе звучало потрясение.— Этот грязный паршивец угнал мою машину!

— Он вряд ли далеко на ней уедет, сэр... судя по тому, как он ее ведет,— невозмутимо сказал шофер автобуса.— Немного поругались, что ли? Повздорили? Он ваш сын?

— *Мой сын?* Сдурели вы — мой сын! Этот подзаборник? Его разыскивает полиция. Он уголовник, самый обыкновенный вор! Почему, черт подери, вы его не схватили, когда я вам это велел? Вы дали ему удрать. Он же разобьет ее... он разобьет мою машину!

Чуть не рыдая, отец втолкнул меня в автобус. Мейбл была уже там. Она сидела, отрешившись от всего вокруг, поглощенная на этот раз не бедами других, а собственной бедой. Шофер взобрался обратно в кабину. Кондуктор дал звонок, автобус покатил в сторону Триса. Мы с отцом ехали туда, потому что отец решил позвонить в полицию из автомата. И только один отец ушами, чуткими к тому, что ему было дорого, услышал треск и грохот.

Со своего переднего сиденья он обвел взглядом ничего не выражавшие лица.

— Что это было? — спросил он. Но пассажиры лишь недоуменно пожали плечами.— Разве вы не слышали?

Автобус в это время шумно взбирался по склону за Крэнчем. Нет, никто не слыхал того, что услышал отец.

— Только не останавливайтесь сейчас, бога ради,— он постучал по стеклу.— Нельзя тратить время на остановку! Вперед! Вперед!

Но шофер, как положено, замедлил ход и остановился перед мистером и миссис Петтигру, которые стояли у ворот своего коттеджа. Не выпуская из рук хозяйственные сумки, они неуклюже поднялись в автобус. Они были очень возбуждены. Да, да, вероятно, случилось ужасное несчастье. Мимо них промчалась машина на очень большой — просто опасной для жизни — скорости. Они в тот момент так и сказали друг другу, а тут вдруг через минуту или около того — вы слышали? Отец застонал и схватился руками за голову.

39

Вероятно, Терри не совладал с «хамбером» в тот момент, когда на слишком большой скорости пересекал горбатый мостик над ручьем Трис-брук. По расположению обломков машины можно было судить, что она ударилась о левый берег сразу же за мостом и ее развернуло так, что она врезалась в высокую каменную стену дома Карлайла. Дверца водителя была широко распахнута. Терри нигде не было — ни мертвого, ни живого.

Возле машины собралась кучка людей. Среди них были миссис Уиллис и двое ее младших детей. Из-за поворота подъездной аллеи выбежал Питер Миллер. Из-под ног у него летел гравий. За Питером трусил запыхавшийся старик, которого тянула вперед на поводке большая немецкая овчарка.

— Бернард! Вы не пострадали? Я уже готов был поклясться, что найду здесь ваш труп. Слава богу, у вас ни царапины. Ну и навели вы на нас страху. Что случилось?

Он, моя мать и старый Беннет были на Трисском мысу и, проверяя с чердака мощность бинокля, неожиданно засекли Уиллиса, который нес мертвого кролика. Вещественное доказательство преступления молниеносно вдохновило Питера изменить тактику: такой шанс просто нельзя упускать — почему бы не поймать этого типа с поличным сейчас же? Мать с похвальным энтузиазмом настояла на том, чтобы ее тоже взяли с собой как еще одного свидетеля. Но когда все трое вышли за калитку на жесткую траву мыса, Уиллиса уже не было; его исчезновение остудило их пыл. Может, все-таки они слишком торопятся; Бернарду по праву надлежит быть членом отряда. Тут они оглянулись и были потрясены, увидев, как «хамбер» со скоростью торпеды проскочил прямой участок дороги у входа в бухту. А спустя несколько секунд, очень слабо из-за встречного ветра и шума волн, до них донесся отзвук сильного и продолжительного грохота. Естественно, они считали, что за рулем был Бернард. Матери стало плохо, за ней сейчас ухаживает миссис Беннет в гостиной дома Карлайла.

— Но что же случилось? — спросил Питер, а узнав, поинтересовался: — Тогда где же мальчишка?

— Не имею понятия. Откуда мне знать? Он сбежал, звереныш. Разбил мою машину — вы только на нее посмотрите! Разбил вдребезги! Разбил мой «хамбер» и смылся!

— Он не мог уйти далеко,— сказал Питер.— После такой аварии он, я думаю, едва ходит. Но, скажу я вам, в этих местах замечательная охота,— он рассмеялся.— Только вы нацелились на одну птичку, как тут же, не успев спустить курок, берете на мушку другую! — Он тотчас спохватился: — Простите, Бернард, мне сейчас не следует шутить, я знаю. Вам чертовски не повезло, авария действительно ужасная, но, ей-богу, мы заставим этого маленького вандала поплатиться за нее. Где он? Давайте его поймаем. Одну минутку!.. Беннет! Возвращайтесь мигом в дом и позвоните в полицию, хорошо? И скажите миссис Скоби, чтобы она не волновалась — ее мужа в машине не было... Дайте-ка мне вашу собаку. Как ее зовут? Рекс? Я его возьму, он будет очень кстати.

Потом они стали обсуждать, в какую сторону мог двинуться Терри. Совершенно ясно, что в деревню он бы не побежал. Питер не сомневался, что его нужно искать возле дома Карлайла, скорее всего в кустах. Железные ворота усадьбы находились в нескольких ярдах от дороги, к тому же Питер оставил их широко открытыми, чтобы Бернарду было удобнее въезжать. Если же мальчик побежал мимо ворот вверх по склону, он бы не стал держаться дороги, пересек бы ее и взобрался по склону до поля, а там уже нетрудно скрыться. Конечно, он мог и спуститься на берег, но едва ли он так поступил.

Разговаривая, они то и дело оборачивались, так как внимание отца через каждые два слова отвлекала группа любопытных детей, которые имели наглость вертеться вокруг разбитой машины и заглядывать внутрь, а самые дерзкие даже осмеливались трогать святая святых — приборную панель. Отец в негодовании махал на них руками, угрожал позвать полицейских, но дети упорно, без страха и стыда, копошились у машины, словно птицы возле упавшего мешка с зерном. Автобус уже ушел и, тяжело пыхтя, поднимался в гору, продолжая прерванный рейс.

Я знала, где прячется Терри: он был в эллинге Уиллиса. Знала это точно, будто сквозь камень и дерево я видела, как он сжался в комочек в парусной лодке, стоявшей позади курятника за рыбацкими сетями и ловушками для омаров, в самом далеком и темном углу этого огромного сарая. На месте Терри я бы сама туда спряталась. И я не могла понять, почему для них это не так же очевидно, как для меня. Почему они еще не догадались?

Миссис Уиллис стояла в нескольких шагах от нас, крепко прижимая к плечу малышку Беллу и упорно глядя себе под ноги. Девочка хныкала, потому что мать слишком крепко прижимала ее к себе. Я подошла к миссис Уиллис и тронула ее за руку. Не знаю, что мне тогда хотелось ей сказать. Она тотчас подняла глаза, посмотрела на меня настороженно и сурово и слегка покачала головой, как бы предупреждая об опасности:

— Тише, Нора!

Я вернулась к мужчинам. Моря отсюда не было видно, а от ветра нас защищали высокая каменная стена с одной стороны дороги и высокий берег с другой. Питер так туго натянул поводок Рекса, что пес в знак протеста скулил, а я, помню,

подумала тогда, как странно, что и собака, и ребенок, не умея говорить, одинаково жалуются по одной и той же причине.

— Эти кусты — настоящие джунгли,— сказал Питер.— Превосходное укрытие — кому это знать, как не мне. Мы с Бобби сами частенько там прятались. Ставлю пять фунтов, Бернард, что он затаился именно там. Ну а если не в кустах, то готов поспорить, что мы его вытащим из теплицы. Поставьте себя на его место. Куда бы вы спрятались, если бы были, как он, мальчишкой, сбежавшим из колонии?

— А может, он в эллинге? — отец кивнул на эллинг.

— В эллинге? Но разве он не на замке? Эй, миссис Уиллис,— позвал он.— Как вы думаете, ваш муж запер эллинг на замок? Или там открыто?

— Там закрыто,— ответила она, не раздумывая.— Мы всегда запираем наш эллинг на замок.

— Что вы скажете, Бернард?

— Не помешало бы проверить.

Несмотря на то что у миссис Уиллис на руках была Белла, она оказалась проворнее их обоих. Не боясь замочить туфли, она перебежала через ручей под мостом и, оказавшись у эллинга раньше их, твердо загородила собой двойные двери. Она была полна неколебимой решимости. Питер рассмеялся.

— Что это с вами, Джессика? — спросил он, с беззаботной легкостью переходя на привычный ему с юности фамильярный тон.— Мы просто хотим заглянуть внутрь. Отойдите в сторону.

— Это наша собственность, а не ваша, и вы не имеете права,— гневно сказала она человеку, который когда-то, еще мальчишкой, был ее мучителем.— Вы не имеете права переступать через этот порог, даже заглядывать сюда. Эллинг не ваш — он наш.

— Ах вот как? Ну что ж, очень скоро он уже не будет вашим,— отпарировал он.— Послушайте, милая, не мелите чепуху. Не имею права?! А кто дал вам право лгать, хотел бы я знать? Заперто на замок, ишь ты!

Взяв миссис Уиллис за локти, он отодвинул ее в сторону, они зашли — сперва Питер, потом отец — и закрыли за собой двери, оставив небольшую щель.

— Тут темно, как в яме, Питер,— услышала я ворчливый голос отца.— Давайте оставим дверь открытой.

Но Питер ответил, что если этот маленький бродяга в эллинге, то лучше поймать его там же; а все, что им надо, они увидят при свете зажигалки. Спустя минуту началась свалка. Послышались вопли отца, грохот опрокинутых жестянок, лай Рекса; я быстро распахнула дверь, и мимо меня пронесся Терри. Но когда мне нужно было снова захлопнуть ее за ним и опустить засов, у меня не хватило ни времени, ни сил. Я до сих пор словно ощущаю кожей колючую шерсть Рекса и шипы его ошейника, боль от внезапно вонзившихся клыков. Мужчины и собака тяжело дышали, все трое одинаково возбужденные. Отец и Питер были растрепаны. Питер смеялся.

— Ну и дела, Бернард! Я видел, как вы сиганули вниз головой... не ушиблись?

— Что-то в ноге треснуло. Будь он неладен!

— Юркий чертенок, ничего не скажешь. Интересно, в какую сторону он подался? — Питер неожиданно вытянул руку вперед: — Да вот же он. Там... там! Дурачок! Ему не уйти, Бернард! А ну, за ним! Ату его!

Терри бежал внизу по песку, его было видно отовсюду. К нему вернулась былая прыть. Он бежал стремительно, как бегал раньше. Уже не хромая, он мчался по диагонали в другой конец бухты, в сторону Блейзи-Хед и моря. Я знала, что он бежит к яме под мостом и к тому, что было за ней,— к нашей крепости.

Но то была не крепость — не настоящая; крепостью это место становилось лишь во время наших игр. Да и в любом случае Терри не смог бы туда добраться. Наступал прилив, он приближался и уже был слишком высоким. И волны сегодня были не такими, как на прошлой неделе, и даже не такими, как в понедельник. Сегодня они были гигантскими, с пенными гребнями; они злобно и высоко вздымались, подгоняемые всей мощью взбунтовавшейся Атлантики. Терри никогда не боялся моря и никогда не сознавал, что оно может утопить.

Питер криками подбадривал отстающего отца, который знаками показал, чтобы Питер не ждал его: из-за поврежденной ноги отец уже не бежал, а шел. Тогда Питер с беснующимся на поводке Рексом начал преследование, а отец все больше отставал, прихрамывая.

Миссис Уиллис и я стояли и смотрели на все это с полоски примятой травы возле большой железной лебедки, которая некогда вытягивала рыбацкие лодки из воды в их зимнее укрытие. И вдруг мы увидели еще одну фигуру, которая отделилась от скал под домом Карлайла и включилась в преследование.

Это был Уиллис. Он срезал большой широкий угол и мчался по песку, чтобы перехватить беглеца и его преследователей у ямы под мостом. Видел ли он издали, как его жена пыталась отстоять большие двойные двери эллинга, видел ли, как, несмотря на это, отец и Питер вошли в эллинг, как выскочил Терри и помчался из эллинга, точно кролик из норы? Не знаю, что ему удалось увидеть со стороны мыса, не знаю, к каким выводам он пришел, но, как бы то ни было, он размашисто бежал в тяжелых башмаках по мокрому песку: Уиллис, тот самый, которому не хватало дыхания, когда он садился на весла, который дышал с присвистом и ловил ртом воздух, сидя за кухонным столом,— бежал! Мы наблюдали, как три фигуры — четыре вместе с Рексом — быстро пересекли пустынный пляж, постепенно сближаясь, а потом мы потеряли их из виду одного за другим, когда они достигли другого конца бухты и слились со скалами. Только последняя точка, пятая — мой отец,— продолжала свое медленное движение.

Над нами проносились облака, черные и низкие. Мы стояли лицом к ветру, словно встречая врага, ветер рвал наши волосы, хлестал по лицам каплями дождя и солеными брызгами. Мне было страшно, и я громко закричала:

— Миссис Уиллис! Миссис Уиллис!

Мне хотелось прижаться к ней, зарыться лицом в ее кофту, но она, не обращая на меня внимания, стояла как вкопанная в классической позе жены рыбака, держала на руках Беллу и с пугающей пристальностью вглядывалась в море.

40

Рекс покусал меня и когтями расцарапал шею. Когда прибыла полиция, меня отвезли в хьюэллскую больницу и сделали прививку против бешенства. Поскольку оказалось, что у меня температура, меня продержали там несколько дней под наблюдением. Позднее, уже дома, я не задавала никаких вопросов. Никто при мне не упоминал о Трисе, чему я была рада. Я знала, что Терри нет в живых, но не хотела, чтобы мне это сказали. Я решила вообще никогда больше не думать о нем.

Я всегда стремилась избегать всего неприятного, а теперь стала это делать еще старательнее: я нарочно не прислушивалась к разговорам шепотом, нарочно не замечала взглядов, кинутых исподтишка. Я нарочно не стала просматривать местную газету, которую однажды Беатриса неосторожно оставила на буфете. Я все время что-нибудь читала, читала непрерывно. Читала так жадно, что, хотя ежедневно брала новую книгу, зачастую была вынуждена снова начинать только что прочитанную, лишь бы не прекращать чтения — если бы городская библиотека работала круглосуточно, я бы охотно поднялась с постели среди ночи, чтобы обменять эту книгу на новую. По дороге в библиотеку и обратно я не отрывала глаз от тротуара; дома мои глаза не отрывались от книжной страницы. Я жила повиснув над страшной бездной, и только печатное слово, бесчисленное количество печатных слов, удерживало меня от падения.

Родители устроили так, что половину учебного года я не ходила в школу под предлогом воспаления железок; вероятно, это было сделано для того, чтобы успели утихнуть разговоры, вызванные расследованием. Когда я опять пошла в школу, я попала в другой класс и стала готовиться к экзаменам на аттестат; приходилось заниматься вдвойне напряженно, чтобы восполнить пробелы за пропущенные полгода. Близких друзей в школе у меня не было. Я ни с кем не разговаривала, и со мной тоже никто не вступал в разговоры.

В течение долгого времени — года, а может, и больше — меня тревожила смутная потребность получить на что-то ответ, разрешить какие-то противоречия. Готовые объяснения явлений, которые мне преподносили, на мой взгляд, вовсе не соответствовали действительности. И все же меня мучило не сознание того, что меня вводят в заблуждение; нет, мое беспокойство заключалось в чем-то другом. Я не знала точно, в чем именно, но мне казалось, что, если сейчас я не доберусь до самой сути этой тревоги или хотя бы не сумею совладать с ней, я навсегда потеряю представление о чем-то важном — возможно, очень важном. И постепенно до меня дошло, что

единственный человек, от которого я могу получить нужные мне объяснения, это Уиллис. При мысли об Уиллисе я внутренне успокаивалась, и вопрос, который я пока не могла сформулировать, становился яснее, хотя был еще далек от полной ясности. Он касался Терри, которого я хотела бы забыть, и меня самой, а смысл вопроса, только выраженный куда более неопределенно, сводился к следующему: мы с Терри были заодно, мы действовали парой — почему же тогда меня пощадили, а его нет? Почему то, что мне было можно, Терри было нельзя? Уиллис объяснил бы мне эту аномалию, я была уверена. Желание поговорить с Уиллисом превращалось в навязчивую идею. Я должна была поговорить с ним во что бы то ни стало.

И я решила обратиться к Беатрисе. Она гладила на кухне. Я спросила, не съездит ли она со мной в ее следующий свободный день в Трис навестить Уиллисов. Этот визит был для меня трудным испытанием, и я считала, что не смогу обойтись без ее поддержки. Она уставилась на меня в крайнем удивлении.

— К Уиллисам? Но они уехали. Они уехали из Триса несколько месяцев назад. Чего это вам вдруг захотелось их навестить?

— Я хочу увидеть мистера Уиллиса. Мне нужно поговорить с ним.

Она подняла над доской вещь, которую в тот момент гладила, встряхнула ее, снова положила на место, расправила — и все это с очень деловым видом.

— Но это невозможно, мисс Нора,— она явно расстроилась.— Я же сказала вам: они уехали отсюда всей семьей. Переехали.

— Куда они переехали? Далеко? Я должна увидеться с мистером Уиллисом, Беатриса. Это очень важно. Мне нужно с ним поговорить. Обязательно.

— Что значит «обязательно», мисс Нора?! Это невозможно, и все тут.

— Но почему, Беатриса?

— Потому что он утонул,— сказала она,— вместе с этим вашим никчемным мальчишкой. Оба они утонули. И вам это следует знать.

Я быстро вышла из кухни, не дожидаясь, пока она скажет что-нибудь еще, и много лет я больше не думала об Уиллисе — ни о нем, ни о Терри,— по крайней мере не думала осознанно. До сорок седьмого года, когда я неделю жила на Олд Бромптон-Роуд в квартире ждавшей развода Синтии, и она подробно и с безжалостным сарказмом рассказывала мне о двойном расследовании, про которое я в то время ничего не узнала, поскольку была в больнице.

Наверное, это было весьма любопытное дело. Мистер Вэллери присутствовал на слушании, как он сказал, представляя своего старого друга полковника Карлайла, и, хотя мистер Вэллери не имел официальных полномочий, он немедленно взял на себя руководство всей процедурой, словно это само собой подразумевалось, причем все, включая следователя-коронера, по привычке ему подчинились. С точки зрения мистера Вэллери, единственная полезная задача расследования заключалась в создании платформы, с которой он мог бы открыть огонь по Питеру Миллеру и раз и навсегда дискредитировать этого мерзкого молодого проходимца, дабы тот впоследствии никогда больше не осмелился что-нибудь себе позволить в этих краях. Поскольку мистер Вэллери преследовал только эту цель, участь Уиллиса и Терри сочли вопросом второстепенной важности.

Беннет, предварительно натасканный, дал показания против Питера. Следуя инструкции мистера Вэллери, он не сказал, что моя мать была вместе с мистером Миллером; зато замечание Питера о том, что Рекс будет тут «весьма кстати», хьюэллская «Газетт» вынесла в один из заголовков репортажа, и тем самым у читателей сложилось очень неблагоприятное впечатление о Питере. Роль моего отца свели к минимуму, оставив ему в этой драме лишь эпизодическое появление на сцене в образе пострадавшего владельца украденного «хамбера». Миссис Уиллис не вызывали на расследование в качестве свидетельницы; вместо этого зачитали ее показания, вернее, лишь те избранные отрывки из них, которые были исключительно неблагоприятны для Питера, остальное же пропустили как не имеющее отношение к делу. Возглас Питера «ату его!» стал еще одним броским заголовком в газете.

Мистер Вэллери счел своим личным долгом — вероятно, ему это доставило удовольствие — подвергнуть сомнению мотивы и поведение Питера, но воздержался от каких-либо определенных обвинений. Разве не странно или более чем странно, что мистер Миллер сам себя пригласил в частный дом Карлайла — тот самый дом, откуда его почти что выгнали с позором много лет назад,— прекрасно зная, что его бывший благодетель находится за границей? Мистер Вэллери воздержался

от дальнейших уточнений: белье, каким бы грязным оно ни было, не следует стирать на людях; однако в своей кампании против Питера он допустил одну основную ошибку, полагая, что слово человека из рода Вэллери — достаточная гарантия того, что подоплеку его намеков примут на веру. Газета, конечно же, энергично копаясь в своих архивах, изо всех сил старалась заполнить пробелы, но отсутствие необходимой информации повлекло за собой лишь изобилие дополнительных красочных деталей. Тоном человека, знающего гораздо больше, чем он готов сказать, мистер Вэллери позволил себе намекнуть, что деятельность Питера Миллера в Кении могла бы стать предметом особого расследования. Мистеру Миллеру, сказал он, пора понять: то, что сходит с рук в одной из наших молодых колоний, где все еще преобладает закон джунглей, недопустимо здесь, в Англии. Этот намек озадачил газету. *Кения?* Что натворил Питер Миллер в Кении? Но мистер Вэллери больше ничего не добавил, он считал, что сказал достаточно.

Питеру это расследование могло спутать все карты, поскольку оно проходило как раз в то время, когда он не хотел привлекать к себе внимание. Успех его планов зависел от их сохранения в тайне — чем меньше толков, тем лучше. В нынешней зачаточной стадии партнерство Скоби — Миллер было уязвимо и могло пострадать от пересудов; именно практический подход к этой проблеме, а вовсе не рыцарские побуждения заставили его умолчать о том, что моя мать была вместе с ним в доме Карлайла и на Трисском мысу. По той же причине он не хотел вступать в бой с мистером Вэллери. Он парировал удары, защищался, старался вызвать к себе доверие, но не принимал боя — у него был дальний прицел, и маленькая победа сейчас не компенсировала бы крупное поражение в будущем. В ответ на большую часть завуалированных обвинений мистера Вэллери он лишь пожимал плечами и улыбался, всем своим видом показывая, что они просто-напросто смешны и не могут быть восприняты всерьез, но порой и защищался — в частности, он заявил, что как служащий полковника Карлайла, управляющий его отелем «Рулен-бей», он, естественно, принимал близко к сердцу интересы полковника и так же естественно не мог сидеть сложа руки, когда услышал, что кто-то бродяжничает и браконьерствует на территории владений его отсутствующего хозяина. Когда следователь заметил, что было бы разумнее не браться за дело самому, а известить уполномоченных полковника, коим и надлежало принять необходимые меры, Питер решительно заявил, что его близкий друг мистер Скоби как раз и представляет уполномоченных полковника и у них в тот день была назначена встреча именно по этому поводу в доме Карлайла. Что же касается злополучного мальчишки, то он безусловно не собирался загонять его в море, просто он полагал — как и любой на его месте,— что, если малолетний Теренс Фини не будет тотчас задержан, он может скрыться от правосудия.

Все его объяснения звучали вполне разумно, и все же, как он ни пожимал плечами, как ни улыбался, общественное мнение было настроено против него. Хьюэллская «Газетт» с таким рвением во всех подробностях восстановила былые скандальные похождения Питера с Бобби Карлайлом, что возникло впечатление, будто даже трагическая авиационная катастрофа произошла по вине Питера, хотя он и Бобби в то время находились в разных концах мира. Ославленный и мистером Вэллери, и местной прессой, он в результате был вынужден стерпеть то, что другой человек воспринял бы как страшное унижение — строгий выговор следователя за безответственность. А с Питера как с гуся вода! Ему было глубоко наплевать на то, кто что о нем думает, и он считался с чужим мнением лишь в той степени, в какой оно могло повлиять на его будущие деловые операции. Причем не в пример мистеру Вэллери он достаточно хорошо знал реальную жизнь и понимал: если не горячиться, держать язык за зубами и вести себя тихо, шумиха быстро уляжется и все вокруг скоро вообще забудут об этой истории. Мистер Вэллери происходил из старинного рода, он был высокомерен и непоколебим, но не искушен в житейских делах. Ни при каких условиях он не унизил бы себя словом или поступком, нарушающим его кодекс чести, и, исповедуя своеобразный суровый романтизм, он действительно верил, что погубил Питера Миллера, поскольку смыть пятно с репутации невозможно, и оно у всех должно вызывать одинаковое отвращение. В жилах Питера не текла благородная кровь, он, не задумываясь, пошел бы на любое унижение ради выгоды, но при всем этом он был более мудрым стратегом.

Несколько дней, предшествовавших следствию, и сам этот день наверняка были мучительны для моих родителей. Они еще не выплатили за «хамбер» всю сумму, и машина по-прежнему частично принадлежала мистеру Вэллери, поэтому им пришлось

дать ему полный отчет об аварии и о том, как она произошла. Одно признание повлекло за собой и другое. С глубочайшим стыдом они поведали всю ужасную историю об отношениях Норы с этим порочным мальчиком, ныне, к счастью, покойным. Мистер Вэллери внимательно их выслушал; потом, подобно Соломону, вынес свой приговор, сказав, что возраст их младшей дочери — ведь она еще почти ребенок,— ее пол и ее воспитание — все это залог ее невинности, и она заслуживает оправдания. Он сам позаботится о том, чтобы ее имя не связывали с этим неприятным делом. И действительно, в протоколе, составленном полицией, я была упомянута лишь как безымянная юная особа, которую покусала овчарка, а за овчарку полагалось отвечать мистеру Миллеру.

И тем не менее моих родителей, должно быть, терзала тревога: стоит кому-нибудь проговориться — и они рухнут в страшную бездну скандала. Напряжение было столь ужасным, а демонстрация авторитета мистера Вэллери столь впечатляющей, что все преимущества и невыгоды выбора, которые они давно перебирали в мучительной нерешительности, вмиг стали кристально ясны, и, как только следствие благополучно закончилось, они поспешили переметнуться в лагерь победителя. А поскольку такой поспешный переход под другие знамена надо было облагородить чем-то вроде морального оправдания, они принялись шумно поздравлять себя с тем, что успели увидеть Питера насквозь, пока еще было не поздно; увидели глазами мистера Вэллери, что Питер — это просто вульгарный тип, даже хуже — обманщик, которому удалось одурачить их, как он уже одурачивал других, о чем в свое время предупреждал их покровитель. Общение с ним, считали они теперь, ведет к моральному развращению. Что за удача, господи, что они сумели спастись!

Питер, разъяренный таким крикливым предательством, немедленно поведал хьюэллской «Газетт» все без купюр, но было поздно. Эта история уже утратила новизну, к тому же полиция отказалась подтвердить его версию. С полной категоричностью полицейские заявили, что младшая дочь мистера Скоби, насколько известно, никак не была связана с погибшим мальчиком Теренсом Фини; мои родители поистине нашли могущественного покровителя. Но, как всегда, они ошиблись в выборе. Накануне того триумфального дня, когда моей матери предстояло впервые посетить дом мистера Вэллери и обратиться в новую веру, причастившись не коктейлем с джином, а изысканным хересом, хозяин дома слег с инсультом и, пролежав несколько месяцев в параличе, скончался. Питер же был мстительно злопамятным, так что все радужные мечты об успехе в обществе, финансовом процветании и виллах на юге Франции тут же развеялись.

Если бы мистер Вэллери пожил дольше и их новые восхитительные отношения с ним укрепились и развились, вполне вероятно, что он, старый одинокий человек, упомянул бы моих родителей в своем завещании; несомненно, они допускали такую возможность.

Но он умер слишком скоро. И оставил им в наследство лишь необходимость вернуть его душеприказчику до сих пор не выплаченную ими часть долга. Тяжело переживая этот последний удар, отец был вынужден продать свой обожаемый «хамбер», чтобы наскрести деньги, необходимые для окончательного погашения задолженности за покупку этой машины и оплаты колоссального счета за ее ремонт.

«Хамбер» поднимал отцовский престиж в его собственных глазах, и соответственно утрата «хамбера» была унижением, которое отец так и не смог пережить.

41

Сама я вряд ли сумела бы точно восстановить в памяти, когда Синтия перестала жить с нами, у меня лишь сохранилось смутное воспоминание о том, что зимой в нашем доме стало как-то пусто; но Синтия сказала мне, что уехала сразу же после расследования. Она не вернулась к мистеру Медликотту, вместо этого она перекочевала в отель «Рулен-бей» и стала работать секретарем Питера. Когда же к пасхе его контракт с полковником Карлайлом истек и не был возобновлен, она перешла работать в гораздо более шикарный отель «Александра» в Хьюэлле и приобрела, пользуясь местным лексиконом, несколько сомнительную известность. Я мельком видела ее жарким летом следующего года; она шла по улице в ярко-оранжевом пляжном костюме, губы ее были намазаны такого же цвета помадой, и я смутно вспоминаю, как мои родители с глубоким неодобрением обсуждали это слишком броское внешнее оформление. Вообще весь стиль ее жизни вызывал у них горькие чувства. Ее постоянно видели — она *выставляла себя напоказ* — в шумной толпе гостей отеля «Александра», которые постоянно

сменялись, но всегда были молодыми, богатыми и, как тогда говорили, «фривольными». Попытки доктора Брэдли к сближению были ею сразу отвергнуты: она не хотела больше иметь с ним дела.

Брошь прабабушки так и не привела Синтию в Париж. Когда летом тридцать восьмого года в наш город приехал австралийский воздушный цирк, она промотала свои двадцать фунтов на бесконечные полеты, проделывая петлю за петлей в маленьком биплане с одним пропеллером над огромными пляжами Хьюэлла, откуда на нее глазели толпы людей. А щедро растратив эти незаконно приобретенные деньги, она даже сумела возместить некогда утраченные пять фунтов, выиграв пари, что поцелует пилота, когда они во время воздушной петли перевернутся вниз головой. Ей так и не довелось увидеть Париж, город, который должен был стать для нее волшебными вратами счастья. Она могла, конечно, поехать туда с Питером после войны, но не захотела. Париж был ее мечтой, и она лелеяла ее так долго, что в конце концов, как и все неосуществленные мечты, эта мечта умерла и больше не манила ее.

Мейбл и Корди Тиллс-Митсон с наступлением нового сезона предпринимали отчаянные попытки вернуться к прежней жизни. Видно, они просто не знали, что им еще делать. Корди, чуть оправившись, решила, что ей уже много лучше. Они упаковали вещи, оставили дом в Хьюэлле, чтобы сдать его на лето, и, по старой традиции, перекочевали в Трис. Но едва оказавшись в кафе «Роза», с болью осознали, что без помощи Уиллиса у них ничего не получится.

Когда в сороковом году я пришла к Мейбл попрощаться, ни она, ни я не говорили об Уиллисе. Это было в апреле, накануне моего отъезда за границу, и я тогда гордо носила новенькую синюю форму вспомогательной службы. Мейбл несколько раз сказала мне, что в предыдущие два летних сезона они с Корди так и не смогли наладить дела в кафе, но не объяснила почему, так как, думаю, сама была не в состоянии точно это определить. Ей теперь все виделось словно сквозь некий туман — размытым и нечетким. К этому времени она уже более года жила одна и внешне очень изменилась. Завитушки волос, по-прежнему выглядывавшие из-под полей шляпки, которую она носила дома, теперь были не желтыми, а белыми, и вся она стала как-то меньше, утратив присущую ей пухлость.

Она очень обрадовалась моему приходу, но ей было трудно сосредоточиться, а когда я заговорила о войне, в ее глазах появилось виновато-растерянное выражение, будто она не осмеливалась вслух признаться, что не понимает, про какую войну идет речь. Они не управлялись с делами, сказала она и, завязнув в окружавшем ее тумане неопределенности, забыла добавить, что именно в тот момент, когда они совсем уже не управлялись, появился Питер Миллер и ловко завладел кафе вместе со всей прилегающей к нему землей. Он успел построить, оборудовать и открыть на берегах Крэнча отель до того, как разразившаяся война приостановила предпринимательство подобного рода — хотя Питер не очень-то считался с войной и не собирался надолго откладывать свои замыслы. Он был неутомимо деятелен. Как однажды он сказал моему отцу, война дает великолепную возможность преуспевать тем, у кого хватает смекалки.

Думаю, если бы миссис Уиллис знала, что продает свой эллинг и коттеджи Питеру Миллеру, она бы предпочла голодать, хотя и так уже почти дошла до этого. Но она не знала, что предложение исходит от него, и продала. Во время войны бывший эллинг Уиллисов процветал и пользовался известностью на всей девонширской части Корнуолла как ресторан и ночной клуб, который посещали офицеры, проводившие здесь отпуск,— настоящая пещера Алладина, где, несмотря на войну, можно было вкусно поесть, где подавалось хорошее вино и — без лишних расспросов — крепкие напитки.

Питер ухитрился попасть в интендантскую службу, которая ведала продовольственным снабжением вооруженных сил. Эта работа идеально подходила ему. Он с ней отлично справлялся, и его таланты были вознаграждены присвоением ему звания подполковника в исключительно раннем возрасте,— впрочем, не в столь уж раннем, поскольку он выглядел моложе своих лет. Он был не только деловым, но и неутомимым человеком, так что без ущерба для своей армейской карьеры находил время лично следить за обеспечением материалами и рабочей силой строительства, призванного осуществить проект благоустройства Трисской бухты. В результате к концу войны Трис был уже действующим концерном, признанным в некоторых кругах как абсолютно новый тип английского курорта — веселого, оригинального, рассчитанного только на тех, кому деньги позволяют прожигать жизнь.

К тому времени вся бухта, за исключением Трисского мыса, была уже в его руках; в первый же свой отпуск после окончания войны он вылетел в Ментону, взяв с собой Синтию, чтобы повидаться с Карлайлами и возродить старую дружбу. Возможно, хорошенькая жена оказалась даже лучшим подспорьем, чем его красноречие, но как бы то ни было, когда спустя две недели они вернулись домой, мыс полковника уже не принадлежал полковнику, а стал собственностью Питера, и тот немедленно приступил к переделке трисского дома в дорогой загородный клуб с роскошной квартирой для себя и Синтии.

По иронии судьбы Синтия не только возвратилась в Трис, но фактически стала владелицей того, от чего, наряду с многим другим, она так хотела избавиться, когда ей было девятнадцать лет. Мрачность иронии усугублялась тем, что одно из окон их квартиры в бывшем доме Карлайла выходило на бухту, прямо на остров Блейзи-Хед; правда, отсюда не был виден пешеходный мостик, на котором она стояла, когда утонули Уиллис и Терри.

Через много лет после этого события, в тот короткий период, когда, оторванные от жизни, мы сидели взаперти в ее квартирке в Лондоне, Синтия описала мне сцену их гибели. Она рассказывала это так, словно всего лишь неделю назад она стояла на мостике и видела, как это случилось.

Она стояла, склонясь над перилами мостика, спиной к Трису, наблюдала, как пенятся буруны у выхода из бухты, и вдруг увидела Терри — он был уже на середине выступа под тем местом, где она находилась. Почти не веря своим глазам, она резко повернулась, и тут появился Уиллис, приближавшийся к проему моста. Спустя несколько секунд его нагнал Питер. Оба они, как были в одежде, ринулись прямо в воду, будто собрались выкупаться. Овчарка прыгала возле них, возбужденно лая. Синтия видела, но не слышала, как лает собака, не слышала она и Уиллиса, а только видела, как широко раскрыт его рот на искаженном лице. Он что-то крикнул, а потом поднял кулак и с размаху ударил Питера.

Когда впоследствии Синтия спросила Питера, что ему крикнул Уиллис, он вполне охотно ответил: «Проклятый убийца!» Поскольку Питер не считал себя проклятым убийцей — ни в малейшей степени,— этот эпитет нисколько его не смутил. Уиллис был буйнопомешанным, совершенно ненормальным! Мальчишка сам виноват, что утонул, маленький идиот. Да и Уиллис не умнее. Получилось так, что их несчастье обернулось для Питера удачей. В конце концов, не может же везти всем подряд, правда?

— Мне кажется,— сухо и холодно сказала Синтия после того, как спустя годы описала мне эту картину,— они не утонули, их разбило о скалы. В тот день море было очень бурным, ты помнишь?

Уиллис что-то крикнул Терри и следом за ним двинулся по узкому выступу, который заливали волны. Она не расслышала, что крикнул Уиллис. Шум ветра и моря был оглушительным. Наверное, Терри тоже не слышал. Когда он дошел до конца выступа, он остановился, потому что дальше идти было некуда. Волны накатывались на выступ со стороны открытого моря, и каждая волна была выше предыдущей. Уиллис снова что-то крикнул. Потом брызги каскадом взмыли вверх, обдали Синтию и разлетелись в стороны. Когда она посмотрела вниз, Терри там уже не было. Лишь что-то похожее на бревно темнело в бурлящей воде. Она увидела, как Уиллис опустился на колени, пытаясь ухватить его. Следующая волна, словно огромная белая метла, прошла по выступу и вымела его начисто.

— Их гибель была неизбежна,— сказала Синтия.— На этом выступе они все равно не уцелели бы.

Она видела, как их силуэты мелькнули в воде еще несколько раз, по крайней мере силуэт Уиллиса. Море внизу было кипящим водоворотом.

— Но как ты могла, Син? Как ты могла стоять там и смотреть на это?

— А что же мне было делать? Я ведь не могла спасти им жизнь. Я застряла наверху, на мостике, и от меня не было никакого проку. Да и вообще думаю, никто бы не мог их спасти. Но я заставила себя смотреть на это. Нора. Я, единственная, видела, как они погибли. Питер был слишком далеко. Кто-то же должен был присутствовать при их смерти.

Она не давала показаний на следствии — никто не знал о том, что она была на мостике. В газету этот эпизод не попал. Синтия не проговорилась.

Синтии был присущ своеобразный героизм — она могла заставить себя вынести то, от чего я бежала бы в ужасе. Но во имя чего она все это вынесла, спрашиваю я себя.

Ее нельзя было обвинить в бесчувственности, совсем напротив. Чувства ее, как и воображение, отличались не богатством оттенков, а страстностью. Вероятно, то, что она тогда увидела, было для нее страшнейшим потрясением. Что же заставило ее подвергнуть себя такому жестокому наказанию? Может быть, атавистическое убеждение, что смерть непременно должна сопровождаться формальными почестями? Или же ею руководила доставшаяся в наследство от епископа Этелдина смутная вера в кредо «noblesse oblige» [1]? А может, у Синтии просто была потребность подставлять себя под мучительные удары, которые наносила рядом с ней жизнь или смерть, и Синтия считала это своего рода расплатой за нечто туманно ощущаемое ею как невыполненный долг или вина? Появись у нее великая, высшая цель, Синтия могла бы стать самоотверженным крестоносцем.

Но цель не появилась, она ее не нашла и вместо этого все тверже убеждалась в том, что в основе человеческой натуры лежит алчность, что люди движимы только соображениями личной выгоды и любой человек, прежде чем пошевелить пальцем, задает себе вопрос, как это неизменно делал Питер: а что это мне даст? Тот факт, что время от времени встречаются такие люди, как Уиллис или сестры Тиллс-Митсон, никак не повлиял на ее убеждение. Мало того, что подобные люди лишь исключение из правила, они к тому же всегда терпят неудачу в этом мире, а неудачники — объяснялось ли их невезение невыгодным происхождением или же собственной виной — раздражали Синтию. Неудачники ничего не стоят, ничего не значат. Их существование никак не влияет на мир, который, как она окончательно уверовала, принадлежит и всегда будет принадлежать питерам миллерам. Эта уверенность вызвала в ней отвращение, и, когда у нее угас последний проблеск надежды на то, что, быть может, это не совсем так, она покончила с собой.

Маленькой девочкой Синтия вместе с друзьями часто играла на пляже в одну очень простую игру: они строили из песка большой замок, а потом по очереди защищали его, при этом стоявший на вершине замка пританцовывал, отпихивал нападающих и, дразня их, пел: «*Я* — король замка! Катись *вниз*, грязный сброд!» Помню, как я, тогда совсем еще маленькая, изумленно наблюдала за старшей сестрой, которая корчила гримасы и кричала на большой куче песка. Она была непобедимым королем замка, но когда она выросла, ее замок стал заодно и ее тюрьмой, а гордое одиночество победителя превратилось в пожизненное одиночное заключение, из которого она снова и снова пыталась вырваться, что закончилось катастрофой, когда она вышла замуж за Питера. Что же ей было делать? Неразрешимый парадокс. Стрелка дорожного знака одновременно указывала в разные стороны.

Разве удивительно, что мы запутываемся, если нам так тонко внушают запутанные убеждения? Больше всего на свете Синтия мечтала быть свободной. Да, она должна быть свободной! Но свобода означает, что ты гордо стоишь один наверху, что никто не может повелевать тобой, посягать на тебя или спихнуть с крыши замка, *не так ли?* Одна из догм нашей веры — веры, более всепроникающей, чем религия, и, как любая вера, неоспоримой,— гласила, что достойнейшие и храбрейшие борются своими силами и бог — кто бы он ни был — особенно благоволит к тем, кто совершает свой путь в одиночку. Откуда, спрашиваю я себя сейчас, возникает такая вера? Кто и как вселяет ее в сокровеннейшие уголки нашей души? На Синтию, с ее пылким, независимым характером и склонностью к безрассудным обязательствам, она действовала, как трубный глас, каждый день зовущий в смертный и доблестный бой.

Всю жизнь Синтия боролась против того, что ненавидела. Она всегда боролась *против* чего-то, а не *за* что-то, так как не знала, во имя чего стоило бы вести борьбу. Более того, она сражалась, так сказать, в арьергарде и шаг за шагом отступала по пути, на который не хотела становиться, который сознательно не желала избирать. Но какой другой путь могла она найти для себя? И поскольку она знала, что такого пути нет, какое другое решение могла она принять? Она была продуктом того, что ненавидела, и, не в состоянии — несмотря на отчаянные попытки — отмежеваться от вызывавшей ее презрение эгоистической своекорыстной морали, сама прониклась именно ею. Она не понимала сути того, что ненавидела, и в конечном счете погибла, позволив погубить себя как раз тому, что было ей так ненавистно.

Те же силы, что породили Синтию, породили и меня, но я не была борцом. Я никогда не боролась, я уходила от боя. В последнее время, размышляя о своей сестре, я многое поняла в себе самой. То, что я поняла, отнюдь мне не льстит, но и не стоит

---

[1] Положение обязывает *(франц.)*.

того, чтобы на этом так уж сосредоточиваться. Открытие — дверь, которая неизбежно ведет к следующей двери, и так далее. Позднее я обнаруживала и другие двери.

Моя мать с пугающей регулярностью пишет мне из пригорода Иоганнесбурга, куда они с отцом эмигрировали сразу же после войны. Ее письма, сперва исступленно-хвастливые, постепенно стали выражать растущее недовольство жизнью. Погода нехороша, цены постыдно высоки, а что касается слуг, то все они без исключения ленивы, грязны и — что гораздо хуже — *нечестны*. Она не может позволить себе хоть на минуту оставить их без присмотра; они готовы украсть, по ее словам, все что угодно, и ей, право же, приходится даже пересчитывать кусочки сахара в сахарнице. Давным-давно, помню, она постоянно жаловалась на Беатрису. У Беатрисы было много раздражающих привычек — она недостаточно часто мылась и ела слишком много картошки,— но ей можно было доверять: она не воровала.

Прошло уже несколько недель с того дня, когда ранней весной я получила от Беатрисы вырезку из хьюэллской «Газетт», а я все думаю и думаю о прошлом: я словно склонилась над краем кратера и на дне его вижу фигурки — среди них и себя,— которые снова разыгрывают тот же спектакль. Просто удивительно, что воспоминания о стольких мрачных событиях, о загубленных жизнях оказали на меня совершенно обратное воздействие, вдохнули в меня тягу к жизни. Я спрашиваю себя — почему? Почему я, в моем возрасте, испытываю не просто запоздалый проблеск неясной надежды, а прежнюю волнующую потребность, забытую на четверть века с лишним, постичь нечто большее, найти ответ на вопрос *почему*?

Это как-то связано с непримиримостью Сэма Уиллиса, так напоминающей непримиримость его отца; но это еще не все — тут лишь начало нити Ариадны, которая может, если я ухвачусь за нее, вывести меня из лабиринта. Когда я думаю о Сэме Уиллисе, ныне известном гражданине Хьюэлла, и его кооперативе водителей грузовиков, мне снова видится душная кухонька, где в углу притаился маленький Сэм, который старается не пропустить ни слова из того, что говорит его отец; и в глаза мне прежде всего бросается не куча кроличьих силков на столе, а короткий ряд зачитанных книг на зеленой полке над плитой, книг, некогда принадлежавших отцу миссис Уиллис, плотнику. И мне вспоминается рассказ про еще более далекого их предка, пра-пра-пра-прадедушку — не знаю уж точно, сколько поколений назад он жил,— который хотел добиться, чтобы у каждого рыбака в Трисе был свой дом; и я ощущаю, что есть преемственность более устойчивая, чем просто внешнее сходство между отцом и сыном.

И я также думаю с восхищением о выводке детей Уиллиса, против которых оборачивалось буквально все, а между тем они сегодня благополучно живут и преуспевают: искры, не позволившие себя погасить. Что же порождает это богатство духа, эту стойкость, эту зеленую поросль, которая обновляется и разветвляется и которую не устрашить, не унизить, не задушить, не вытоптать? Что побуждает Сэма Уиллиса встать во весь рост в ратуше Хьюэлла и бросить вызов Питеру Миллеру — человеку, который считает себя рожденным побеждать,— и в своем сражении с врагом по какой-то таинственной причине казаться сильнейшим? Казаться таким потому, что за ним ощущается сила более могущественная, чем его собственная, сила, черпающая из мощного невидимого источника. Из какого источника? Какая сила? Это я обязана узнать.

Судьба района Пенгеддон-Пойнт после многомесячных споров еще не решена. В последние несколько недель эта проблема стала обсуждаться в центральной прессе, а телевидение западной части страны в передаче новостей начало регулярно освещать борьбу за мыс Корниш. Беатриса пишет без особого восторга, что, похоже, Сэм Уиллис все-таки возьмет верх над мистером Миллером. По моей просьбе она нашла для меня квартиру где-то поблизости от нее, в районе гавани. В ее последнем письме я уловила тревожную нотку сомнения: уж слишком много времени прошло с тех пор, как мы общались с ней непосредственно, а не по почте.

Я уже известила свою хозяйку об отъезде; чтобы уложить вещи, мне нужно всего несколько часов. В следующий понедельник я прибуду днем на станцию, которую некогда называли Хьюэллский вокзал Великой западной железной дороги На привокзальной площади пассажиров будут ждать не коляски, запряженные пони, а шеренги такси. Не помню, когда я в последний раз видела море—это было много лет назад, конечно. Странно будет снова услышать его шум — как будто после долгой глухоты я вновь обрету слух.

ЭММА СМИТ И ЕЕ РОМАН

Об английских средних слоях написано много, эта тема неизбежно затрагивается и в произведениях, посвященных рабочему классу. Сама жизнь выдвигает на передний план проблему взаимоотношений различных социальных слоев, с которой постоянно приходится сталкиваться писателю. К ней всегда обращались лучшие английские художники ушедшего поколения — Джордж Элиот, Бернард Шоу, Шон О'Кейси, Ричард Олдингтон, Джон Голсуорси, а также наши современники — Алан Силлитоу, Айрис Мердок, Грэм Грин.

Но, по-моему, Эмме Смит удалось создать своеобразное произведение о жизни английских средних слоев, отличающееся от того, что было написано ранее. Это правдивый рассказ о семье добропорядочного английского служащего, которая предвоенным летом проводит отпуск на берегу моря и сталкивается там с единственной возможностью разбогатеть. Словом, это — история семьи Скоби, принадлежащей к средним слоям английского общества, и тружеников из рыбацкого поселка.

События, о которых повествует автор,— как бы маленький слепок с того, что происходит сегодня повсюду в английском обществе.

Книга позволяет читателю, интересующемуся жизнью современной Англии, узнать о помыслах и устремлениях подавляющего большинства английских средних слоев. Действие романа развертывается накануне второй мировой войны, но он обращен и к сегодняшнему дню. В городах, поселках и деревнях современной Англии можно встретить тысячи Скоби. Это они управляют страной в интересах господствующего класса. Это они служат опорой консерваторов, это они решают, что отвечает «национальным интересам», что «нравственно» и какой должна быть страна. Скоби считают, что они и есть Великобритания.

Проникнув в мир семьи Скоби, можно понять, почему стала такой, как сейчас, Великобритания, почему все английское общество лихорадит сверху донизу и почему мелкобуржуазная мораль никогда не привьется в среде рабочего класса.

Многие авторы писали о средних слоях, как бы бросая на них взгляд со стороны, но Эмме Смит удалось заглянуть в самые сокровенные уголки внутреннего мира своих героев. С первых же страниц романа она с убедительной достоверностью раскрывает идеалы семьи Скоби, описывает их алчность, жестокость, снобизм, глубокую веру в свою непогрешимость. Время от времени Эмма Смит с резкой прямотой показывает, к чему приводит житейская мудрость Скоби.

Повествование ведется от лица пятнадцатилетней Норы Скоби, она — и обличитель и жертва среды, в которой выросла. Нора дружит с мальчиком из простой семьи, он неожиданно появляется в поселке и на несколько дней скрашивает ее унылую жизнь, но девочка все-таки остается в плену моральных устоев своего круга, подчиняясь его корыстным интересам, силе и власти. Только в конце книги, действие которой переносится в современную Англию, когда Нора, уже немолодая женщина, не задумываясь, отвергает обеспеченную жизнь, в идеалах которой ее воспитывали, когда она сбрасывает с себя оковы собственности, довольствуясь лишь самым необходимым, и вновь переживает события своего детства, она внезапно понимает, что перед ней открывается возможность занять совсем иную жизненную позицию.

Роман Эммы Смит, пожалуй, самое обличительное и правдивое произведение о жизни английских средних слоев. Автор показывает, к чему они пришли в конце длительного периода господства в общественной и духовной жизни страны. Эмма Смит прекрасно владеет английским языком и по праву считается художником слова. Она — из тех немногих современных писателей, которые умеют использовать его подлинное своеобразие и богатство. Эмма Смит удостоена премий имени Ллевеллина Райса и Джеймса Тейта Блэка, ее книги для детей широко известны читателям. По первому произведению Эммы Смит «Путешествие девушки» снят многосерийный телевизионный фильм, а этот ее роман, который вышел в свет в 1978 году, несомненно оставит значительный след в английской литературе.

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ

Критика

Анкета ИЛ: Иностранной литературы

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТАЛАНТА

СЛОВО — ПИСАТЕЛЯМ МИРА

В этом номере Ян Козак, Арман Лану, Мулк Радж Ананд, Криста Вольф, Михай Бенюк, Джеймс Олдридж отвечают на вопросы нашей анкеты:

1. Как отражаются актуальные проблемы современности в Ваших творческих замыслах? Над чем Вы сейчас работаете?

2. Как может служить произведение искусства, литературы сохранению мира на земле?

ЯН КОЗАК /ЧЕХОСЛОВАКИЯ/

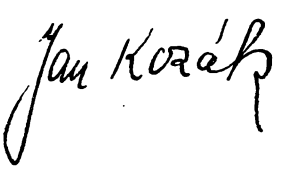
1. Я только что завершил работу над романом «Адам и Ева». Жизнь моей «библейской» четы приходится на последний по времени пятнадцатилетний отрезок истории социалистической Чехословакии. Я попытался отобразить в романе борьбу человека за личное и одновременно за общественное счастье, борьбу за их единство, за диалектическое их слияние. Это оптимистическая книга, хотя в ней не обойдены острые, постоянно возникающие в обществе конфликты — их преодоление и является, в сущности, постоянным долгом, уделом человека. Ведь все то эпохально-значимое, революционное, на чем зиждется наше общество, наполняя сердца наши гордостью, завоевано в сложных борениях, потрясших мир человеческих чувств и мыслей, изменивших судьбы людей, в борьбе со всем отжившим, что было и есть еще вокруг нас, да и в нас самих. В борьбе со всем, что тормозило и продолжает пока тормозить наше продвижение вперед. Вот почему я попытался дать возможность этим моим двум героям, товарищам по жизни, у которых за спиной немалый жизненный опыт, бороться за свою любовь, за свое личное счастье в условиях полной вовлеченности в дела современности — в заботах о закладке большого общественного сада. Конечно же, в этом заключена некая притча. Вместе с тем оптимистическое звучание книги обусловлено не столько силой характера, яркостью ощущений Адама или жизнеспособностью Евы, сколько самим активным отношением к действительности.

2. Как может содействовать литература решению главной задачи современности — сохранению мира, мирному, благодатному для всех народов сотрудничеству? Я глубоко убежден, что любое художественное произведение, ограждающее человека от микробов равнодушия, насилия, эгоизма, воплощающее его мечту о счастье, его борьбу за лучшую жизнь, за мирное будущее, уже по самой сути своей есть оружие борьбы против империализма, фашизма, расизма, против войны; по самой сути своей оно — носитель обращенной к миру гуманистической идеи. Именно поэтому все наше искусство должно быть пронизано высокой идейной и художественной зрелостью.

Приступая к работе, мы должны сознавать, что антивоенное русло социалистического искусства необычайно широко. Создают его не только произведения, обнажающие сущность фашистской угрозы, предупреждающие человека об ужасах войны, смертоносных снарядах, радиоактивном излучении и возможности физического уничтожения всего живого на земле. Мы помогаем свободной мирной жизни каждым произведением, в котором, исходя из наших конкретных условий, изображаем во всей полноте красоту

Продолжение. Начало см. в «ИЛ», 1982, № 4.

свободного человека: рабочего, кооператора, ученого, учителя, техника или врача — любого представителя нашего мира, который творит во имя того, чтобы умножить жизненные ценности, чтобы обогатить и облагородить человеческое общество.



АРМАН ЛАНУ /ФРАНЦИЯ/

1. Современность связана для меня с проблемой войны — и прежде всего второй мировой войны, в которой я участвовал и которая описана или затронута в пяти из моих более или менее автобиографических романов: «Храм безумцев» (1948), «Майор Ватрен» (1956), «Свидание в Брюгге» (1958), «Когда море отступает» (1963), «Пчелиный пастырь» (1977). Первая мировая война служит фоном моего документального романа о Ролане Доржелесе, авторе «Деревянных крестов», романа, где ставится проблема тревоги солдата за судьбы тех, кто остался в тылу, и его раздумий о жизни, от которой он отрезан. И наконец, моя эпопея — «История Парижской Коммуны» в двух томах: «Полька пушек» (1971) и «Красный петух» (1972), где речь идет главным образом о гражданской войне и о причинах поражения коммунаров.

В настоящее время я работаю над романом, в котором война отсутствует. Это история моей бабушки, шляпницы из Труа, которая, возмутившись условиями существования рабочих, отправляется в конце XIX века на поиски счастья и становится сначала корсетницей на Монмартре, а затем переезжает в Соединенные Штаты. Это история наполовину выдуманная, наполовину реальная.

Наконец, я заканчиваю портрет одной из фавориток периода Третьей республики, этакой мадам де Помпадур Елисейского дворца, некоей Маргерит Стейней, которая была любовницей президента республики Феликса Фора.

2. Ответ на этот вопрос прост: каков бы ни был сюжет твоего произведения, выдуманный или исторический, только искренностью и правдивостью описания можно достичь подлинного гуманизма, на котором зиждется мир. А литература — это одна из самых благородных форм деятельности.

МУЛК РАДЖ АНАНД /ИНДИЯ/

Начну со второй части первого вопроса.

Я пишу большой автобиографический роман в семи томах. Это должна быть история того, как мужал душой и телом молодой человек из небогатой семьи, человек, родившийся в 1905 году, в том самом, когда лорд Керзон в первый раз расчленил Индию. Повествование идет от детства героя, через отрочество, к его юности в годы британского владычества. Мой отец служил в индийской армии при англичанах, и я с раннего детства ощущал на себе имперский дух. Работая над романом, я заново пережил драму первой мировой войны, в которой индийцев заставили воевать на стороне колонизаторов, причинивших ущерб буквально каждой индийской деревне, каждому поселку и городу. Я уехал на Запад, покинув дом после того, как отец побил мать за участие в гандистской демонстрации.

Годы, предшествовавшие второй мировой войне, мой герой прожил в самой гуще событий, прожил их в предощущении катастрофы, которую готовил человечеству фашизм при пособничестве империалистов. В романе описываются испытания, выпавшие на долю моего героя и в трудные годы войны, и потом, вплоть до 1947 года, когда Индия стала свободной. Мой герой переживает коллизии личного порядка, но его личная драма есть отголосок великой драмы мировой.

Во всех семи томах романа мне важно показать осознание человеком своего развития, ибо без этого ему не выйти из тисков индивидуализма и не научиться душевной чуткости, чтобы любить и сострадать, чтобы жить достойной жизнью и полностью реализовать себя.

Уже вышли в свет первые три тома: «Семь лет», «Лик утра» и «Признания влюбленного». Четвертый том, «Воздушный пузырек», сейчас печатается. Кончаю редактировать пятый том, и у меня готов план шестого и седьмого.

Я задумал это эпическое повествование ради того, чтобы мраку философии пессимизма противопоставить творческий дух великих мировых революций.

Я много размышляю над такими вещами, как политическая свобода — в противовес чужеземному владычеству и войне. Я пытаюсь показать, что одна из причин тревожности нашего времени коренится в ненасытности «общества изобилия», в его ненависти к бедным странам и стремлении насильственно распоряжаться их судьбами. И когда жертвы такого общества страдают от страха, зависти, ненависти друг к другу, за всем этим, по-моему, кроется все та же причина причин — жажда власти, типичная для агрессоров, торговцев смертью и их приспешников.

Искусство, рождающее симпатии к людям, высвобождает и потребность любить, которая изначально заложена в каждом из нас. Искусство способно обнажать причины, в силу которых эта потребность подавляется, показывать порочность всего, что разделяет людей. Назначением искусства должно стать пробуждение доброты в человеке. Лучший пример тому дает нам Лев Толстой в «Войне и мире». Нужно исходить из того, что разумный мир на планете лучше, чем война, ненависть, жестокость, варварство — все то, что стоит на пути формирования гармоничного человека.

Произведение искусства — это сложная структура, где движущие пружины скрыты и не предстают в открытом и явном противоборстве черного и белого.

Литература народов, переживших колониальное иго, обязана двигаться от подражательной развлекательности к достоверному отражению жизни, как движется сознание — от безропотного смирения к борьбе на всех уровнях.

КРИСТА ВОЛЬФ /ГДР/

Ответить на поставленные вами вопросы совсем не просто, потому что я очень боюсь общих фраз, особенно на тему войны и мира. Вот уже по меньшей мере год меня ничто так не волнует, как опасность того, что Европа в близком будущем может быть уничтожена атомной войной. Литература никогда прямо не воздействует на общественные процессы, а если воздействует, то очень редко,— но она может сделать очень многое косвенно — благодаря влиянию, оказываемому ею на чувства и мысли читателей. Случалось, целые культуры гибли из-за того, что были не в силах приспособить старые шаблоны общественного мышления к новым требованиям. Я сейчас пытаюсь на примере некоей фигуры из древнегреческих преданий исследовать механизмы, которые вели к разрушению или саморазрушению цивилизации. При этом я заново убеждаюсь, сколь важно значение тех ценностей, что лежат в основе нашей собственной культуры и тех исторических процессов, которые ее формировали. Понимание того, как глубоки корни, питающие нашу современную жизнь, какие бесконечные усилия, какие битвы потребовались, чтобы утвердить положительные феномены нашего времени, я и хочу передать своим читателям. Ибо считаю, что литература должна помочь людям научиться жить в мире, а это значит — открыть их сердца для любви, а мысль их сделать зрелой. Может быть, литература могла бы способствовать крушению мифа о народах-врагах, которым ныне в значительной мере обосновывается на Западе необходимость гонки вооружений. Разоблачая как можно точнее и основательнее конфликты и противоречия собственного общества, укрепляя доверие людей к себе и друг к другу, литература могла бы противодействовать чувству обреченности, убеждать, что человеческие взаимосвязи, в которых мы живем, поддаются улучшению и заслуживают сохранения. Литература могла бы противостоять тем общественным структурам, которые действуют разрушительно и ведут к злоупотреблению властью, и поддерживать те структуры, что высвобождают продуктивные силы.

Не знаю, удовлетворит ли вас сказанное здесь. Попытаюсь лучше ответить своей литературной работой.

МИХАЙ БЕНЮК /РУМЫНИЯ/

1. Незадолго до своей смерти моя жена, Эмма Леонтьевна, просила меня не оставлять работы над мемуарами и исторической драмой «Хория» (она посвящена крупнейшему восстанию трансильванских крестьян в конце XVIII века, произошедшему на несколько лет раньше Великой французской революции) «Хория» сейчас на моем письменном столе. Продолжу я писать и воспоминания о долгой моей жизни И ежедневно работаю над стихами — стихами о родине, любви, о печали. В этом будет состоять моя работа и впредь.

2. Уверен, что ни в одном из моих многочисленных произведений нет оправданий милитаризма,— ведь мне пришлось пережить две мировые войны, и теперь нам

угрожает третья, началу которой мы должны вовремя воспрепятствовать. Народы могли бы жить по-добрососедски, по-дружески, если бы не было богачей, алчущих долларов. Тогда не появлялись бы и правители-агрессоры, стремящиеся захватить все, что добывается трудом соседа, занять чужие территории, прибрать к рукам прибыли и сверхприбыли; все было бы иначе.

Любой вид агрессивности — преступление против человечности, и об этом снова и снова должно говорить произведение, вдохновляющее человечество на борьбу за мир.

Борцы против агрессии — истинные герои, защищающие жизнь тех, кто трудится и творит.

Литература обречена на гибель, если она не послужит человечеству в этой его борьбе.

М Вейс

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ /АНГЛИЯ/

1. Совершенно очевидно, что важнейшая проблема современности — проблема выживания человечества. Однако не менее важен и ответ на вопрос: «Выживание во имя чего?»

Я выхожу из себя, когда вполне, казалось бы, здравомыслящие люди — особенно писатели — начинают разговоры о том, что вина за нынешнюю мировую ситуацию лежит на всех, что все общественные системы порочны и что переселиться на другую планету было бы идеальным выходом из положения. В данном случае не имеет значения, что это за планета — научно-фантастический вымысел или интеллектуальный уход от действительности.

Я лично предпочитаю заниматься жизненной реальностью. Думаю, если мы, писатели, будем отображать жизнь правдиво и доброжелательно, мы тем самым не только внесем свой вклад в спасение человечества, но и поможем ему найти выход в такое общественное устройство, которое не будет эксплуатировать человека, унижать его достоинство, доводить до нищеты его семью жестокостью безработицы или терзать его нелепыми социальными ограничениями.

2. Полагаю, отвечая на первый вопрос, я частично ответил и на второй. Не уверен, что писать о мире — лучшее, что мы можем сделать для дела мира. Важнее, по-моему, добиваться перестройки основ общества: военно-промышленных — в мирные по своей природе.

Если же писатель не хочет браться за чисто социальную проблематику, он может поднимать в своих произведениях вопросы морального порядка, имеющие отношение к выбору позиции, столь важному в наши дни. Выбор — в том или ином смысле — всегда составлял суть романа, но сегодня, мне кажется, очень увеличилась его амплитуда, и именно поэтому постановка моральных проблем стала необходима в трудном деле выживания человечества на земле.

(Продолжение следует)

Критика

И. БОГДАНОВА,
Ю. БОГДАНОВ

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ ПЕТЕРА ЯРОША

Имя словацкого прозаика Петера Яроша уже известно нашему читателю: в 1976 году в издательстве «Прогресс» вышел сборник его избранных рассказов и повестей под общим названием «Визит». Об этом хотелось бы сразу же напомнить в связи с нынешней публикацией нового большого произведения талантливого писателя [1]. Дело в том, что замысел романа «Тысячелетняя пчела» вызревал у Яроша давно. И даже само название его, может быть, возникло уже тогда, когда он писал, например, рассказ «На пасеке» (1969). Герой рассказа, человек, влюбленный в природу, хорошо чувствующий ее красоту и естественную гармонию, любил наблюдать за хлопотливой жизнью пчел: «Его восхищала взаимовыручка пчел, их дружная работа... но еще больше — общее настроение, мелодия, таинственные флюиды, их соединяющие... В жизни пчел его привлекало... мудрое стремление к достижению единой цели — меда, не говоря уже о всей гармонии пчелиного сообщества». Новая книга Яроша, конечно же, не о пчелах; это роман о тех, кто на протяжении веков формировал историю словацкой нации,— о скромных тружениках, из поколения в поколение исправно вносивших свою лепту в символический улей словацкого национального общежития. Работящ, как пчела; и на себя, и на людей пчела трудится — гласит русская пословица, и она хорошо передает главный внутренний смысл «Тысячелетней пчелы».

[1] Фрагменты романа П. Яроша «Тысячелетняя пчела» публикуются в «ИЛ», 1982, № 5, 6.

Автор двенадцати книг, Ярош в поисках своего материала действительности, своего героя, способного воплотить его собственную писательскую сущность, его отношение к миру, перепробовал самую разную технику литературного письма. В одном и том же сборнике рассказов он мог предстать и в маске стилизатора французского «нового романа», имитатора «потока сознания», и в обличии психоаналитика или выступить вдруг завзятым традиционалистом и даже примитивистом. Неудержимый фантазер, мастер гиперболы, гротеска, иронии, он в то же время умел быть предельно, до исповедальности, искренним, нежным и даже чуточку наивным. Его книги пользовались успехом у читателей и неизменным вниманием серьезной словацкой критики, которая, впрочем, с тем же постоянством долгие годы весьма концептуально и систематически упрекала его за «упадочность», «патологизм», «имитирование» чего угодно, за «упоение сексом», «маньеризм» и т. д.— как выразился критик М. Шутовец. Собственно, критика «била» его за не всегда оправданную многоликость, за как бы намеренное нарушение логики целенаправленной творческой эволюции.

И все-таки в лучших произведениях Яроша уже на рубеже 60 — 70-х годов можно было почувствовать стремление преодолеть внутренний разлад, консолидировать творчество на бесспорных, не поддающихся скептическому снижению ценностях. Характерен в этом смысле его устойчивый интерес к общезначимой проблематике антифашистской борьбы словацкого народа (повесть «После полнолуния», 1972), к уяснению роли традиций, участвующих в формировании современного облика словацкой нации, обращение к собственным корням, к теме детства, проведенного в родной деревне. Об этой линии, выходящей на передний план в его творчестве, красноречиво свидетельствует вышедший в 1972 году сборник рассказов «Орехи», в который писатель включил произведения из разных книг, объединенные темой деревни. Лишившись соседства с экспериментальными текстами, старые рассказы словно зазвучали по-новому, и это позволило критику Яну Штевчеку в послесловии к сборнику верно определить истоки разноплановости и многоликости Яроша: «Нам кажется, что существо дела объясняется просто: мир творческой фантазии у Яроша расщепляется на-

БОГДАНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. БОГДАНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Советские литературоведы, кандидаты филологических наук, специалисты по истории литературы Чехословакии. Основные авторы книги «История словацкой литературы» (1970), многих статей по чешской и словацкой литературам XIX—XX вв.

двое — на темы, которые сохраняются в кладовой его эмоциональной памяти с детства, и на мироощущение, которое их фильтрует. Это мироощущение уже не связано с деревней. Это мироощущение горожанина, интеллектуала, оборачивающегося подчас назад для того, чтобы проверить себя, уяснить, что в его личности сохранилось от прежних впечатлений как нечто прочное и на что можно опираться дальше. Ярош прямо-таки олицетворяет собой этот момент самопознания, деликатно подсказывая нам, что, собственно, с нами, городскими интеллектуалами, родившимися в деревне, происходит сегодня».

Этот «момент самопознания» подтвердился и обрел вполне четкие контуры в следующей за «Орехами» повести «Трехулыбчивый любимчик» (1973), где писатель отталкивается от собственной биографии «мальчика из деревни», а исходной точкой, первым опорным детским воспоминанием являются для него годы войны, зарницы полыхавшего Словацкого национального восстания 1944 года. «Он помнит только солдат и оружие, словно лишь с того момента он начал жить! Все до этого погружено в тьму беспамятства, отделено барьером, за который ему никогда не удавалось проникнуть». Проблема преодоления этого барьера, восстановление причинно-следственных связей между настоящим, прошлым и будущим — во взаимном пересечении трех временных пластов — и составляет ядро содержания, просвечивающее уже в самом названии повести. Центр тяжести в ней перемещается из подсознания во внешнее окружение героя, жизнь которого приобретает черты естественности, устойчивости, само собой разумеющийся смысл.

Не случайно затем в сборнике «Моток пряжи» (1974) мы находим исполненный высокого гуманистического и философско-этического пафоса рассказ, давший название всему сборнику, в котором старуха крестьянка повествует о прожитой жизни. Это предельно простая и ясная биография труженицы, из года в год работавшей «по хозяйству», как-то незаметно, за делами выростившей детей и внуков. Она не совершила ничего выдающегося, все естественно и логично в ее жизни, но как раз в этой естественности и видит ныне писатель свидетельство прочности и разумности человеческого общежития, основанного на фундаменте внутренней индивидуальной культуры и многовекового народного опыта,— жизнь, прожитая по правде и совести.

Ясно прослеживаемое в творчестве Яроша 70-х годов стремление влиться в поток исторического времени, ощутить собственную жизнь звеном в цепи нравственной и культурной традиции народа было в общем плане и реакцией на высокомерное третирование «национального захолустья», сказывавшееся не столь давно в творчестве некоторых молодых писателей. В 1966 году, в самый разгар увлечения модными литературными поветриями с Запада, крупнейший словацкий прозаик, автор известной и у нас трилогии о Словацком национальном восстании «Поколение», Владимир Минач иронически комментировал эти «поисковые» ухищрения молодых: «Отечественный опыт кажется им мелким и незначительным, да и может ли он быть другим на задворках мира? И вот они прибегают к чужому опыту... Молодые люди натягивают на себя чужие доспехи. Что из того, что не по фигуре? Носят же другие, и мы носим...» Кстати говоря, глубоко личностная интерпретация национальной истории, вскоре предпринятая Миначем в блестящих по форме и глубоких по мысли исторических эссе «Раздувая родные очаги» (1970) и «Собрание разногласий Й. М. Гурбана» (1974), способствовала внедрению в словацкую литературу художественной концепции «памяти нации как основы ее мышления и действий». В книге «Раздувая родные очаги» Минач писал: «Мы нация строителей не только в метафорическом, но и в прямом смысле слова: наши предки участвовали в возведении Вены и Будапешта, помогали строить множество других городов — ни одного мы не превратили в руины... Я знаю, что наш вклад в мировую историю скромен. Но если когда-нибудь прогресс цивилизации будут мерить по справедливости, то есть по вложенному труду, нам не придется за себя краснеть: мы свое отработали с лихвой».

Национально-патетической расшифровкой «анонимного» участия словаков в прогрессе цивилизации Минач привлек внимание к основополагающей, «базисной» роли в историческом процессе миллионов простых, безвестных словацких тружеников — пахарей и пастухов, лесорубов и плотогонов, каменщиков, лудильщиков, бродячих торговцев, поневоле вековечных «париев Европы»: «Вы нас ни во что не ставите... Примерно так когда-то упрекал окрестные народы наш поэт; ныне, того гляди, мы должны будем сами упрекать себя в этом... В подсознании, особенно в подсознании нашей молодой интеллигенции, гнездится страх, что мы ничего не значим и никогда ничего значить не будем. И вот во что бы то ни стало мы хотим чем-то быть, что-то значить, даже ценой того, что перестанем быть самими собой... А знаем ли мы, откуда мы вышли? И как же нам важно это знать, чтобы понять, кто мы есть и чем хотим быть!»

Страстный, заразительный призыв Минача к современникам, и прежде всего к молодым в словацкой культуре, призыв, продиктованный чувством гордой принадлежности к нации, сумевшей «вопреки так называемой истории» пробиться в XX век, а затем, возродившись на основе социализма, добиться поистине выдающихся достижений в подъеме материального благосостояния и духовного уровня жизни народа, этот призыв программным эхом отозвался в целом ряде значительных художественных произведений, в существенной мере определивших основные черты, оригинальность лица словацкой прозы второй половины 70-х годов. В частности, нельзя не поставить в связь с исторической публицистикой В. Минача и обращение П. Яроша к реальным героям, к истокам нравственной и культурной традиции народа. Именно эти позитивные тенденции и получили последовательное развитие в романе «Тысячелетняя пчела», над которым писатель работал необычно для него долго: пять лет отделяют его появление в 1979 году от предыдущей книги «Моток пряжи».

Роман «Тысячелетняя пчела» — широкое эпическое произведение, тяготеющее по жанру к семейному роману-хронике. В нем на протяжении длительного времени — с 1891 по 1918 год — обстоятельно прослеживается история трех поколений семейства Пихандов, обитателей реально существующего села Гибе под отрогами Татр.

Герои романа живут так, как искони было заведено в этих не слишком плодородных краях: с весны до осени в поле или артелью на заработках лесорубами, каменщиками, плотниками. Повседневный, никогда не прекращающийся труд составляет стержень их существования. «Настала суббота, вот и поднялись чуть свет, в полтретьего»,— этой фразой-камертоном открывается книга: Мартин Пиханда с сыновьями Само и Валентом затемно отправляются в лес на заготовку дров. С теплотой и знанием дела описывает Ярош весь ход этой немаловажной — в предвидении студеной зимы — операции, а вслед за этим, явно любуясь своими героями, будет столь же обстоятельно рассказывать о сенокосе, об очередном «анабасисе» каменщиков или об увлечении учителя Орфанидеса садоводством.

Труд вошел в плоть и кровь этих людей, на нем держится все — дом и семья, воспитание и нравственность. Вот характерный диалог Ружены Пихандовой с дочерью. «Ни за что не привыкнуть мне вставать в такую рань,— сказала Кристина и начала, зевая да потягиваясь, одеваться.— К этому разве привыкнешь? — отозвалась мать.— Надо просто хотеть, чтобы выдюжить. Истово хотеть, доченька моя. Я вот уж век привыкаю, а все никак не привыкну. Иной раз, когда, не дай бог, проспишь, терзаешься, будто грех какой совершила. Такой уж он есть, человек. Глупый ли, умный ли, а делает лишь то, что умеет и должен. А иначе-то как?! Лечь в тенечке, пальцем не шевельнуть и ждать, пока смерть приберет? Нет, это не по мне, я бы не вынесла... Вот и хлопочу с утра до вечера, хватаюсь за то, за се, так время-то помаленьку и проходит. А случается, в работе и душа радуется...»

С дистанции нашего времени писатель существенно корректирует привычный, отстоявшийся в литературе взгляд на словацкую деревню. Косная патриархальность, консерватизм, стремление к наживе одних и безропотная забитость других — все эти, казалось бы, неотъемлемые приметы деревенского бытия в «Тысячелетней пчеле» не акцентируются.

Повседневный труд, в котором пребывают персонажи романа, не выглядит проклятием. В силу устойчивой преемственности он, напротив, придает им чувство уверенности в себе, в широком историческом и общегуманистическом смысле оправдывая их существование на земле. Самим названием книги подчеркивается первичность этого трудового коллективистского начала в человеке. «Мы ни дать ни взять пчелы,— рассуждает один из центральных персонажей романа Само Пиханда по прозвищу Пчела,— только в работе наше спасение. Другого нам не дано, хочешь выжить — работай до седьмого пота. Пчелы, они ведь как? Гляньте на них, целое лето хлопочут, мед собирают — и все чтоб род свой продолжить. А мы разве другие? И нам деваться некуда, знай вкалывай, коли хочешь выжить и оставить потомство». Образная аналогия между дружной пчелиной семьей и человеческим общежитием не раз возникает по ходу романа, исподволь обосновывая мысль о естественной солидарности людей труда, об их органическом противостоянии трутням-нахлебникам; так постепенно входит в роман и идея необходимости совместной борьбы трудящихся за человеческое и национальное достоинство, за социальную справедливость.

Решающее значение в творческой эволюции Яроша на пути к этому роману имело обращение к фондам собственной памяти. «Роман у меня начал складываться еще тогда, когда я и сам не подозревал о его замысле,— говорил писатель в одном из интервью.— Его творили за меня в пору моего детства деды, бабки, родители, соседи и — всем миром — жители села и окрестностей. Последний, тридцатилетний период существования Австро-Венгрии был одним из сложнейших и тягчайших во всей словацкой истории. Меня тянуло, буквально подмывало написать о нем... Я смотрю на молодость наших дедов не как на историю, а скорее как на позабытое настоящее, почти современное».

Родное село Петера Яроша, Гибе, словно создано для той функциональной роли, которую писатель отвел ему в романе, потому что оно как бы представляет в миниатюре всю историческую Словакию. Старинное поселение словаков, с XIII века колонизованное немцами и в том же столетии получившее статус города, в XVIII веке оно пришло в упадок и снова стало селом (в наше время там проживает около 2000 жителей). Со второй трети XIX века Гибе было очагом национально-патриотических настроений и национально-просветительской культурной деятельности, отсюда вышли или здесь жили несколько известных в истории словацкой культуры личностей. Все они принадлежали к тому поколению словацкой интеллигенции — выходцев из народных низов,— которое было движущей силой эпохи национального возрождения словаков, ферментом словацкого национального самосознания в своей среде.

В соответствии с исторической правдой Ярош показывает в романе, что жители Гибе не только чтут их память, но и что брошенные ими зерна протеста против национального неравноправия в новых исторических условиях — в эпоху пролетарской идеологии и рабочего движения — дали закономерные всходы на путях последовательной демократизации и классовой закалки национального самосознания. Их деятельность, противостоявшая ассимиляторским усилиям правящей реакционной аристократическо-буржуазной верхушки Венгрии на рубеже XIX—XX веков, подготовила почву для восприятия простым народом, трудящимися социал-демократических идей.

Последняя четверть XIX — начало XX века — очень сложный период в исторических судьбах Словакии. С одной стороны, отчаянный напор венгерских ассимиляторов и национальное ренегатство зажиточных слоев словацкого общества, словацкой буржуа-

зии; с другой — ширящийся процесс укрепления национального сознания крестьянства, формирование организованного рабочего движения, распространение идеи чехословацкой солидарности. Достоинство романа Ярош в том, что главные социально-политические координаты эпохи естественно соотносятся с конкретной жизнью персонажей, с правдой внутреннего развития характеров.

Село Гибе отнюдь не изолировано от широкого мира. Его обитатели в поисках заработка изрядно побродили по свету. И если Мартин Пиханда с его, казалось бы, чудаковатым увлечением географией, за которым угадывается острый интерес к бескрайнему миру, к тому, «как другие люди живут», еще только предчувствует необходимость более справедливых порядков на свете, то его сыновья: Само, пошедший по стопам отца — земледельца в сезон полевых работ и строителя-каменщика в межсезонье,— и Валент, выбившийся в интеллигенты, уже сознают потребность активной борьбы за приближение лучших времен. Само становится членом социал-демократической партии, Валент, окончив университет в Праге, превращается в убежденного сторонника идеи чехословацкой государственности.

Словакия тысячу лет была только областью Венгерского королевства на положении колонии; не имея даже собственного географического названия, на административной карте она значилась как Верхняя, или Северная Венгрия. Сосуществование словаков с венграми в едином государстве, но в подчиненном, бесправном положении не могло быть гармоничным, учитывая, что вся угнетающая их верхушка — помещики и административно-карательные органы власти — была целиком представлена венграми или омадьярившимися выходцами из привилегированных слоев словацкой народности.

Однако тысячелетняя история совместного проживания этих народов знает немало страниц, когда они сражались бок о бок с татаро-монгольскими и турецкими завоевателями, в антигабсбургских войнах за свободу венгерского государства под водительством Ференца Ракоци, в борьбе против угнетателей-феодалов: в Крестьянской войне 1514 года, в так называемом «заговоре венгерских якобинцев» в конце XVIII века участвовало и отдало свои жизни во имя свободы немало представителей словацкой народности. Словацко-венгерские противоречия заметно обостряются лишь в XIX веке, в эпоху формирования венгерской и словацкой наций. Однако, когда вспыхнула венгерская буржуазно-демократическая революция 1848 года, руководители словацкого национально-освободительного движения предпринимали активные шаги к тому, чтобы совместно с венграми бороться за свержение феодального строя. Они справедливо рассматривали как пережиток феодализма и национальное угнетение одного народа другим. И только после того, как венгерское революционное правительство категорически отказалось удовлетворить словацкие требования гарантий свободного развития своей национальной культуры, вожди словацкого освободительного движения отшатнулись от венгерской революции и примкнули к габсбургской Австрии: это была трагедия словацкого национально-освободительного движения 40-х годов XIX века. Лишь с этого времени отношения патриотически настроенной верхушки словацкого народа и правящих классов Венгрии обретают форму антагонистических национальных противоречий. Но этот антагонизм никогда не пронизывал всю нацию сверху донизу. Без этого сложного переплетения противоречий невозможно себе представить историю Словакии XIX века: и элементы национальной розни, и сознание солидарности людей труда перед лицом общего угнетателя — помещика и капиталиста — тоже входят в память нации.

В романе «Тысячелетняя пчела» реалистически воспроизведена эта историческая диалектика, в ней нет и малейшего привкуса националистической трактовки тех или иных жизненных коллизий. На конкретных эпизодах Ярош показывает, в частности, насколько чужда натуре трудового человека привнесенная извне шовинистическая нетерпимость. Вот, например, однажды подрался Само Пиханда с кучером-венгром в имении, где Само работал со своей артелью. Показалось ему, что венгр «чересчур задавался», их, словаков, за людей не считал. А потом случилось, что на его глазах лошади у этого кучера понесли, и Само, бросившись на выручку, помог их остановить. Стена отчуждения рухнула. Оказалось, что словак-каменщик и венгр-кучер, преодолев некий психологический барьер, без особых затруднений могут всегда договориться на одном языке тружеников.

Стремясь к региональной достоверности исторической детали, Ярош вводит в текст книги даже записи из подлинной старинной летописи своего села. Он стремится предельно выпукло представить реальный фундамент природного оптимизма своих далеких и близких предков, их упорной сопротивляемости историческим и стихийным невзгодам. Характерно в этом смысле и его обращение к памяти народной, запечатлевшей в песне, легенде, анекдоте, метком словце или поговорке многое из той атмосферы прошлого, которая не вошла, да и не могла войти в сухие строчки официальных бумаг и документов, но зато органически пропитала национальный психологический склад, демократическое мироощущение словаков.

Десятки страниц в книге посвящены любви, чувственной стороне человеческих взаимоотношений. В художественной трактовке Яроша это неиссякаемый источник жизнерадостности, душевного и физического здоровья личности, людей, нации. Он «проигрывает» все регистры этого мощного многослойного чувства: от фатальной любви местных Ромео и Джульетты (с роковой невозможностью соединения словацкого юноши-католика и девушки-иудейки), от трагичных браков по расчету и, напротив, счастливых союзов на почве взаимности до взрывов эротической энергии, зарождающихся в глубине подсознания того или иного персонажа. Стихия языческой чувственности, фольклорный гиперболизм фантазии, по-детски наивное тяготение к таинственному, необъяснимому с точки зрения здравого смысла,— все это не выглядит инородным

пластом в романе, а предстает как проявление «роевого» мироощущения и смеховой культуры, которая и составляет первооснову любого исторического народного эпоса.

Мы много говорили об эпохе, которая отражена в романе, о верности конкретным реалиям истории. Но было бы ошибкой рассматривать произведение Петера Яроша как чисто исторический роман, иначе мы были бы вправе спросить с него за многие и многие упущения с точки зрения конкретно-исторической полноты изображенной им картины жизни реально существующего села. В романе, например, не фиксируются такие «детали», как социально-имущественное расслоение крестьянской массы, как наличие исторически объяснимых негативных черт в сознании крестьянства — косности мышления, темноты, забитости; как реакционная роль церкви, религиозного сознания... Однако все это объясняется в первую очередь спецификой художественного замысла писателя. Ярош решает в романе актуальные задачи, отвечает на вопросы, стоящие и перед современным обществом в его движении к развитому социализму, и перед современной литературой, заинтересованной в скорейшем восстановлении живых связей со стремительно «уходящим вперед» обществом.

«Человек — общество — человечество (в самом широком, историческом плане) — вот три аспекта, три плана, что ли, всякой серьезной литературы. Бывают проблемы, социальный, нравственный смысл которых становится яснее при нашем обращении к истории, историческому материалу... В жизни каждого народа бывают моменты, когда он оказывается перед пропастью и должен или найти какой-то радикальный выход из кризиса, или погибнуть. Мы же знаем, что некоторые племена и целые народы исчезли с лица земли, не смогли преодолеть кризисной исторической ситуации. Что дает народу силу устоять над пропастью, продолжить свой путь рядом с другими народами? По моему глубокому убеждению, только отыскание, обнаружение народом, нацией своей общечеловеческой исторической миссии, способа служить не только себе, своим интересам, но интересам более широким, общечеловеческим». Эти слова принадлежат Чабуа Амирэджиби, автору широкоизвестного у нас романа «Дата Туташхиа». Сказанные по поводу собственного творческого замысла, связанного с историей грузинского народа, они получают подтверждение в романе словацкого писателя, о котором у нас идет речь. Словацкий народ, нация тружеников, в тот период, к которому отнесено действие романа, тоже стоял «над пропастью» — документальная история тому свидетель,— и, как показывает писатель, он нашел в себе силы служить не только своим, но общечеловеческим интересам, интересам всех угнетенных народов и трудовых классов. И как бы ни был скромен вклад словацкого рабочего движения в общее дело международной социал-демократии, но в расшатывание обветшалого трона Габсбургов и оно внесло свою лепту. Прежде всего поэтому роман и верен правде истории, правде ее основных закономерностей.

Роман Яроша вызвал единодушно позитивный отклик в словацкой критике. В связи с ним говорилось о возрождении монументальной эпики, правомерно отмечалась современность трактовки истории, не сводящейся к одной лишь проблематике национального и социального угнетения. Именно во второй половине 70-х — на рубеже 80-х годов представители одного с Ярошем поколения в литературе, отталкиваясь подобно ему (хотя и следуя иными путями) от собственного творческого опыта, обретенного в малых жанрах — рассказе, новелле, повести, создают на материале прошлого романы, в которых ощутимо стремление осмыслить преемственность национального и социалистического бытия своего народа (трилогия В. Шикулы «Мастера», дилогия Л. Баллека «Помощник» и «Акации», двухтомный роман И. Габая «Колонисты»). «Тысячелетняя пчела» отчетливо и оригинально воплотила эти тенденции. Сам Ярош характеризовал коллективные усилия своих сверстников в литературе следующим образом: «Если хочешь построить дом, надо заложить прочный фундамент. Прозаики среднего поколения интуитивно почувствовали это. Они пишут об истории народа потому, что ищут под отложениями времени основы, на которых впоследствии можно возвести здание настоящего. Поэтому без особого риска ошибиться я могу утверждать, что каждый из этих *фундаменталистов* уже в ближайшее время напишет интересные произведения на современном материале».

Нам остается только сказать, что роман Петера Яроша «Тысячелетняя пчела» имел большой читательский успех у себя на родине и стал одним из наиболее примечательных явлений в современной чехословацкой прозе. В 1981 году роман был удостоен государственной премии имени Готвальда. Мы не сомневаемся, что это произведение обогатит представления советского читателя о братском словацком народе и будет прочитано с интересом.

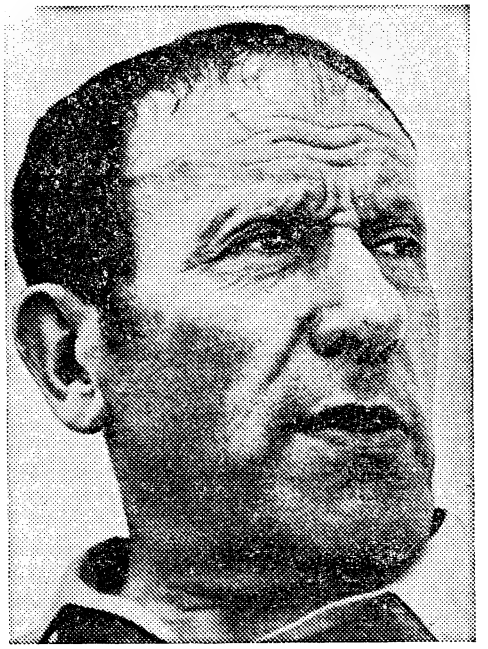
◆

Литературные портреты

Т. БАЛАШОВА,
А. СЕРЕБРЯННИКОВА

ПОЭТИЧЕСКОЕ КРЕДО РЕНЕ ШАРА

Вопреки леденящему холоду ты — пламя...



В дни войны к редактору журнала «Фонтен», который был тогда голосом сражающейся Франции, пришел незнакомый человек и положил на стол экземпляр журнала, залитый кровью. «Я нашел его в кармане убитого в бою товарища и подумал, что вы захотите сохранить этот номер». Лишь отвечая на вопрос Макса-Поля Фуше, неизвестный назвал себя — Рене Шар.

Советский читатель, если он знаком с поэзией Рене Шара [1], почти наверняка знает и второе его имя — партизанским отрядом в районе Нижних Альп он руководил как капитан Александр. Для нас, хранящих горькую память о войне, даже для тех юных, которые знают о ней лишь по рассказам да лежащим среди семейных бумаг страшным похоронкам, прошлое капитана Александра не менее дорого, чем настоящее и прошлое крупнейшего поэта Франции Рене Шара Впрочем, Рене Шар значительно охотнее, чем многие исследователи и толкователи его творчества, соединяет свой опыт поэта и гражданина, примкнувшего тогда «к мужеству немногих». Макс-Поль Фуше озаглавил книгу воспоминаний, где воспроизведен этот эпизод их первой встречи,— «Истоки моей жизни» («Fontaines de mes jours», 1979; fontaine — фонтан, исток, источник). Да, с патриотических страниц журналов «Фонтен», «Поэзи», «Конфлюанс», «Мессаж» взяли начало поэтические судьбы таких французских поэтов, как Френо и Гильвик, Кейроль и Марсенак; с них начали новое творческое восхождение Элюар и Арагон, Жув и Кено, Сюпервьель и Тардье.

Рене Шар остался верен достоинству и героике лет Сопротивления и сегодня, подойдя к порогу своего семидесятипятилетия.

Когда журнал «Нувель критик» обратился к ведущим французским писателям с просьбой предложить для специального номера какие-либо неопубликованные тексты, Рене Шар прислал поэтическую эпитафию на смерть своего боевого товарища Франсуа Кюзена, арестованного гестаповцами шестнадцатого июля 1944 года, расстрелянного восемнадцатого... А незадолго перед этим, готовя к переизданию свою знаменитую «Поэму, рассеивающую сияние», решил добавить к ней «Предысторию поэмы» и скрупулезно откомментировал все строки, которые казались «темными», окружил их воздухом жизненных, исторических обстоятельств. Эти пометки под каждым стихотворением он назвал «relation rapide», что приблизительно должно означать «прямая связь».

Между сложной метафорикой Рене Шара и конкретными трагедиями нашей эпохи всегда есть и прямая связь, и связь многоступенчатая, уводящая к философским перспективам осмысления мира вообще.

Интерпретировать взаимоотношения поэзии Шара с реальностью можно по-разному — либо настаивая на их эзотеричности, либо выявляя в них закономерное, поэту и читателю совершенно необходи-

[1] См.: Рене Шар. Стихи. Перевод с французского и вступление М. Ваксмахера. «ИЛ», 1973, № 4; «Из современной французской поэзии», переводы В. Козового, предисловие С. Великовского. М., «Прогресс», 1973; антология «Западноевропейская поэзия XX века», переводы В. Козового и М. Ваксмахера. М., «Художественная литература», 1977.

мое. Поскольку поэзия Шара достаточно сложна и не поддается легкому чтению, искус замкнуть его творчество определением «герметизма», конечно, велик. Но истинный талант Шара пробивался сквозь леденящий холод изысканной «темноты» к полновесному поэтическому слову, в котором бушевало пламя истории.

«Редко сколько-нибудь развернутое суждение о Рене Шаре,— пишет в этюде о французском поэте С. И. Великовский,— обходится без недомолвок... относительно «гераклитовой темноты» его лирики. Даже гордые своей искушенностью знатоки нет-нет да и посетуют (как водится, не без доли восхищения) на то, что постичь его непросто, тут нужны и особые навыки, и посвященность, владение ключом этих зашифрованных признаний»[1].

Да, подойти к сути творческих обретений Рене Шара нелегко, но в размышлениях о том, почему Рене Шар упорно восстанавливает «прямую связь» своих стихотворений с историческим временем, открываются если не все, то хотя бы некоторые секреты его поэтической системы. О «прямой связи» поэзии с реальностью при личных встречах он говорит темпераментно и взволнованно.

Рене Шар неохотно дает интервью, поэтому, когда он согласился принять у себя советских журналистов — это был и знак уважения к нашей стране, нашей культуре.

Иль-сюр-Сорг. Не на каждой географической карте можно найти эту небольшую, тихую французскую деревушку, затерявшуюся среди цветущих садов и зеленых холмов солнечного Прованса. «Вишневым краем» называют эти места во Франции. «Перед Авиньоном сойти с автострады Париж — Марсель, выехать на дорогу к Карпантра, затем на Туртюр де Валюр, проехать Соман»,— такое разъяснение нам дал Рене Шар. И вот он идет навстречу, радушно улыбаясь. Крепко сложенный, Рене Шар поражает высоким ростом, размахом плеч, красивыми очертаниями крупной головы с высоким лбом. Поэт приглашает нас в кабинет, почти всю площадь которого занимает большой, массивный стол с рукописями, книгами, различными бумагами. Справа от него — камин, слева — книжные полки. Ранним утром, когда солнце не обожгло еще своим горячим дыханием росу, а зеленые дали Прованса застилает прозрачно-голубая дымка, любит работать здесь Рене Шар. В кабинете, видевшем рождение многих и многих поэтических строк, разговор сам собой заходит о поэзии.

«Поэзия была всегда там, где начиналось движение вперед,— увлеченно развивает свою мысль Рене Шар.— Поэзии нужны слова, но топливо поэзии — в эпохе. Я не признаю поэзии, которая не обращается ко мне, не говорит мне ничего. Поэзия не может быть научно выверенной, она была и останется творчеством, которому необходимо вдохновение. Наша поэтическая дорога — Бодлер, Нерваль, Рембо, дорога, проложенная поэтами, которые привносят в поэзию что-то свое. Поэзия не подвластна чистой лингвистике: нельзя делать вскрытие текста, как мумии, как трупа. Такие попытки свидетельствуют, на мой взгляд, только о нищете духа».

Отношение к поэзии как к высшей радости творчества и человеческого взаимопонимания позволяет Рене Шару видеть нити, связующие стихотворение с песней. Отвергая «песенную индустрию», Шар с уважением отзывается о положенных на музыку стихах Вийона и Гарсиа Лорки, Пьера Дюпона и Жерара де Нерваля, с восхищением говорит о большом даровании Эдит Пиаф. Из поэтов-шансонье следующего поколения он отдавал предпочтение Жаку Брелю.

Из кабинета мы выходим в сад, созданный, по существу, руками Рене Шара. Необыкновенный аромат трав и цветов поражает всех, кто приезжает к нему. «В моем саду,— с гордостью рассказывает Шар,— посажены все виды деревьев и цветов, растущие на юге Франции. Из фруктовых деревьев — гранат, абрикосы, персики и, конечно, вишня». На одной из сосен нашла приют белка, в огороде — семья зайцев. Преданный пес по кличке Тигрон, не совсем уживчивый по характеру, давно примирился с этими обитателями сада. Тихими летними вечерами поэт слушает соловья, притаившегося в кустах. «Только тихими их уже не назовешь,— грустно улыбается хозяин — В поисках творческой тишины я давно переселился из Парижа в Прованс. Да нет, я не против цивилизации, однако гипертрофированное развитие информатики, техники и особенно ядерной физики вызывает во мне тревогу. Действительно, даже необходимые всем современные технические достижения порой ограничивают творческие возможности поэта. Поясню свою мысль: электричество, например, отняло у меня ночь. А ночь — это вдохновение. Вот у меня нет сейчас ночей, звездного неба: мой дом со всех сторон окружен электрическими фонарями, а по мосту через Сорг громыхают грузовики. Порой это невыносимо. Поэзия требует молчания».

На память приходят строки поэтической книги «Листки Гипноса»: «Сумеет ли мозг, до отказа набитый машинами, по-прежнему обеспечивать существование хрупкого ручейка мечты и фантазии?»...

Рене Шар любит уходить в горы, чтобы остаться наедине с собой. На письменном столе лежат обтесанные кремни, найденные в горах во время прогулок. Поэт дарит один из таких кремней: «Он служил резцом нашим далеким предкам. Это я понял сразу, когда мои пальцы обхватили кремень так, как брали его люди за тысячи лет до нашей эры. Рука инстинктивно сжимает камень так же, как это делали в древности. Не знаю, сохранится ли эта привычка в будущем. Я вижу молодых людей, которые не знают, что делать, куда приложить свои руки Дети не знают сегодня имен птиц того края, где живут, виды деревьев. Исчезли десятки различных кустарных промыслов и ремесел. А с ними вместе безвозвратно ушли из нашего словаря тысячи слов Распространившаяся практика сокращений — чудовищное насилие над языком — приводит к его непоправимому обеднению».

[1] С. Великовский. Рене Шар или «вспышки бытия». В кн.: «Из современной французской поэзии». М., 1973, с. 20.

Разговор вновь обращается к поэзии. Наверно, умение «видеть», которое так характерно для творчества Шара, пришло в него от любви к живым формам, на которые щедра природа. От большого жизненного опыта, которым питался опыт поэтический.

Творческая манера Рене Шара почти контрастна, скажем, манере Поля Элюара: Элюар стремился к поэтической ясности, даже касаясь самых сложных вопросов нашей тревожной эпохи; Рене Шар порой как бы «шифровал ясность» — поэтически усложненно выражая то, что для него самого отчетливо, бесспорно. Первую свою книгу «Арсенал» (1929) молодой Шар отпечатал за собственный счет всего в 26 экземплярах; один из них, посланный Полю Элюару, дал повод для откровенной беседы. «С той поры Поль стал моим самым лучшим другом»,— вспоминал Рене Шар в 1968 году.

Первые книги Рене Шара вполне представительны для сюрреализма, такого, каким он запрограммирован в «Магнитных полях» Бретона и Супо. Жутковатые замогильные зарисовки, намеренная бессмыслица словесных коллажей «подкреплена» алогичной зависимостью странноватых состояний: «В углу мастерской не треснет половица, пока пчела и губка считаются близнецами...» Однако ряд фрагментов («Остывший металл», «Прекрасное здание и предчувствия») нам открывают уже иного Шара — сосредоточенного на главном: поэзия должна говорить с человеком, о человеке.

От «Арсенала» к «Молоту без хозяина» (1934) совсем недолгий путь, но все отчетливее стремление выразить мечту «человека о том, чтобы стать человеком». В 30-е годы Шар уже называет автоматическое письмо, новизной которого так гордился сюрреализм, «фатальным сном», предупреждая, что «забытие» меньше нужно поэту, чем память. В одном из стихотворений тех лет он иронизирует над «летаргическим сном», «вдали от которого течет река жизни», а вскоре публикует свое поэтическое обращение — «Плакат на самой дальней дороге»:

Красные дети Испании — вам, тем, чей последний вздох затуманил навек поверхность рвущего вас металла... Когда мне было столько же лет, сколько вам, рынок, где торговали цветами и фруктами и куда так интересно сбежать с урока, еще не бомбили.. Времена изменились. Трепетная детская плоть — на тележках, обслуживавших раньше только скотобойни и свалки. Помолодела братская могила. Она просторна, как ваши спальни, глубока, как колодезь. Невиданная бойня! Позор! Позор! Дети Испании — я пишу этот «Плакат», хотя в ваших глазах не отразилось еще сознание застигшей вас смерти.

Реальная трагедия войны высветила иным светом проблемы метафизические, философские. Сократилась дистанция между поэтом и социальной реальностью. Но в своих стихах он, напротив, как бы отодвигает от себя мир, чтобы не растеряться перед множеством гнетущих событий, чтобы собрать их в общую систему, соотнести социальные законы с космическими, вписать линии человеческого бытия в бесконечную картину вселенной. Устремившись к этой трудновыполнимой задаче, поэт вынужден был опускать все большее и большее количество звеньев поэтической мысли, стягивать суждения, относящиеся к совершенно разным сферам существования материи, обобщение превращалось порой в абстракцию такой степени, что его в ряде случаев предложено воспринимать почти как математическую формулу. Подобная закономерность выявляет себя и в сборниках конца 30-х годов («Первая мельница», 1936, «Ночь за окнами подвластна...», 1938), и в книгах, где собраны стихи военных лет («Листки Гипноса», 1946), и в поэтических произведениях последующих десятилетий («Поиски основания и вершины», 1955, «Утраченная нагота», 1971, «Бегущие ароматы», 1975, «Спящие окна и люк на крышу», 1979).

Все это и заставляет Шара чаще обращаться к жанру стихотворения в прозе, сжатого поэтического афоризма.

Чтобы своеобразные формулы-афоризмы поэта открылись читательскому сознанию, порой надо «расшифровать код», с помощью которого Шар шифровал свою любовь и ненависть, свою веру, что человек, его современник, «вопреки леденящему холоду» вокруг и в самом себе, всегда сумеет — если по-настоящему захочет — стать огнем, стать «противостоянием пустоте». Свой излюбленный поэтический принцип — смотреть на человека сквозь призму законов, подтвержденных природой и космосом,— Шар выразил в стихотворении «Брату-дереву», «чьи дни сочтены».

Поэт, как и дерево, смертен, поэт, как и дерево, тянется ввысь, вибрируя подобно тончайшим иглам лиственницы от малейших перемен ветра жизни: вместе с лесами, скалами и каменистыми уступами, по которым расселились деревья, поэт противостоит пустоте.

Для лесов ураганы подобны ножу.
Засыпаю и вижу сверкание молний.
Пусть смешается с почвой, где спят мои корни,
Этот ветер огромный, в котором дрожу[1].

(«Угасание тополя»)

Соотношение этических категорий с природными явлениями — прием, обычный для поэзии. Параллели Рене Шара имеют, однако, одну особенность: поэт сопрягает с каждым элементом пейзажа, с каждым представителем флоры и фауны, как правило, не те качества, которые закреплены за ними естественным опытом и поэтической традицией. Змея для Шара — воплощение утонченности, духовности, верности своему призванию (впрочем, здесь он следует восточной поэтической традиции), тростник — символ выдержки, воли. Молния не пугает, а, напротив, вызывает сочувствие. Если попытаться расшифровать поэтические миниатюры Шара с помощью

[1] Цитаты из произведений Рене Шара, кроме оговоренных в тексте, даются в переводах М. Ваксмахера. Переводы, отмеченные звездочкой, выполнены им специально для этого номера.

традиционно понимаемых качеств тростника, молнии, стрижа и т. п., мы потерпим неудачу.

О кодовом характере ряда элементов поэтического языка Шара можно говорить именно потому, что целые цепочки слов имеют у него необычный смысловой оттенок, но сохраняют этот оттенок постоянно, в любом контексте. Открыв для себя «тайну» ключевых для Шара лексических единиц, можно гораздо легче преодолевать расстояние, отделяющее нас от понимания всей полноты мысли поэта: необычное качество «проступает» в процессе повторов.

Тогда воспринимаются как нечто цельное циклы «За здравие змеи», «Жалоба влюбленной ящерицы»; тогда понятно, почему «загипнотизированная приближением змеи» листва замирает от счастья («Любовь», сб. «Арсенал»), тогда «холодная кровь» напоминает не о равнодушии, а об упорстве («Маленькая гадюка»). Тогда и лодка, терпеливо ждущая *своего* пассажира, равнодушная к предсказаниям суетливых гадалок, станет для читателя символом уверенности в себе, умения строить судьбу вопреки различным «ситуациям», которые могут отдать — и человека, и лодку — на волю безответственных волн.

Лодка у самого дома — только надводный борт отделяет ее от стены—ждет пассажира, известного ей лишь одной. В какие края направятся оба они? Всю долгую зиму спит ее сила, даже соседний недвижен камыш. Сквозь едва надрезанную тишину долетит безмолвный ответ. Гадалки не повторяют ночами пророчеств над этой спокойной водой.

*(«Лодка»)**

Обобщенные понятия в творчестве Шара могут, напротив, в отличие от конкретных, постоянно менять свое значение, предстают как бы многозначными, противоречивыми. Таковы слова «hypnose» (гипноз, сон) или «éclatement» (взрыв). Именем «Гипнос» Шар подписывал во время войны свои конспиративные послания, к этому излюбленному слову поэт возвращается постоянно. Но оттенки смысла изменчивы: «загипнотизированная листва» должна передать состояние блаженства, счастья, покоя. «Гипнос» в поэзии военных лет — своеобразное воплощение мужества вопреки безумию реальности. В одном же из циклов последующего времени Шар называет «преступниками тех, кто останавливает в человеке движение времени, чтобы загипнотизировать его, развратить его душу». В те годы статья Шара, опубликованная в прессе, призывает противостоять тупому гипнотическому состоянию, в которое современное буржуазное общество погружает человека

В поэзии Шара философское обобщение и зрительный образ слиты как нечто нерасторжимое. В его стихотворениях-миниатюрах рвется в вышину стриж, умывается речной водой путник, поет сверчок; ворон, медленно гребя крыльями, провожает влюбленных, малиновка залетает в опустевший сад, бык сражается с человеком, спят кузнечики, звенят тревожные льдинки, мужчина, уставший после рабочего дня, опускает натруженные руки в речную прохладу. Ценители поэзии Шара правы, когда утверждают, что Шар не любит изысканных выражений, подбирает слова, в которых сконцентрирован житейский опыт трудовых будней. Не слишком верит он и словам абстрактным, предпочитая создавать «зримые картины», хотя каждая из них — как аллегория — должна не столько «смотреться», сколько обдумываться.

Зрительный образ поэзии Рене Шара, полный глубокого философского смысла, давно привлекал к себе художников: стихи Шара иллюстрировали Пабло Пикассо, Анри Матисс, Фернан Леже, Жорж Брак, Альберто Джакометти, Хоан Миро. Первой в истории издательского дела книгой, ставшей совместным творческим подвигом поэта и художника, Рене Шар считает «Фауста» Гёте с иллюстрациями Делакруа. Плодотворно сотрудничали Малларме и Моне. Однако Артюра Рембо, например, никто не иллюстрировал. Шар полагает существенным для своего творчества, что он жил между двумя поколениями художников: «отцами» — Матисс, Пикассо, Брак — и ровесниками, такими как Джакометти и Луи Фернандес. Он рассказывал, что стихотворение в прозе «Акула и чайка» навеяно воспоминаниями о встречах с Матиссом в Вансе, об их совместных прогулках по берегу Средиземного моря. Позднее Матисс сделал к стихотворению свой рисунок. Рене Шару принадлежит интересная книга «Встречать пейзаж вместе с Жозефом Симà», где рисунки художника сопровождаются поэтическим текстом Рене Шара.

В кабинете Рене Шара на камине стоит цветная репродукция картины Жоржа де Латура «Пленник»: женщина склонилась к узнику, возвещая ему освобождение. «Во время войны, в годы Сопротивления, эта репродукция,— вспоминает Шар,— висела на стене командного пункта боевого отряда партизан в Сересте. Для меня и моих боевых товарищей Жорж де Латур был, таким образом, моральной опорой в борьбе против врага. Чередование света и тени в

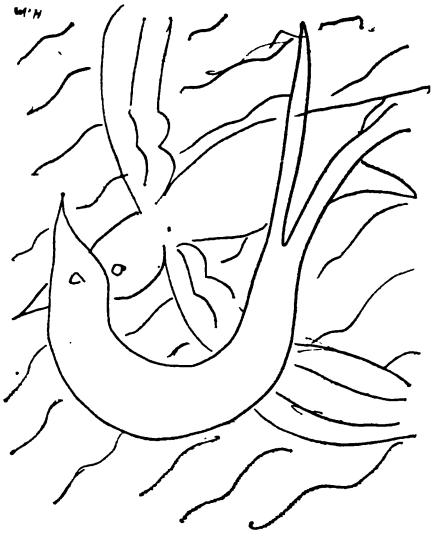
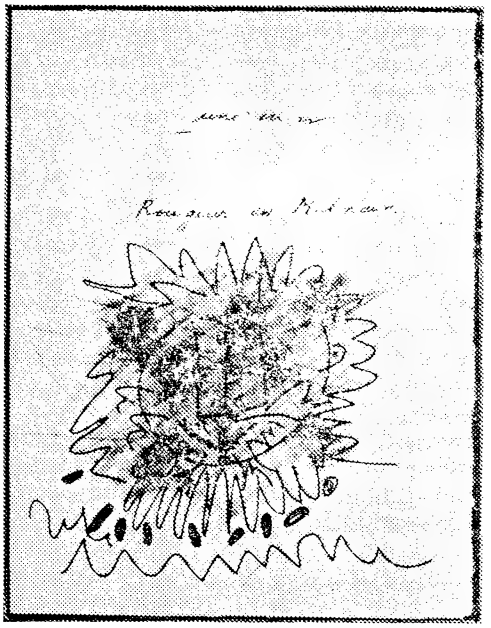


Рисунок Анри Матисса к стихотворению «Акула и чайка».



На этой странице — рисунки Пабло Пикассо к стихотворению «Краски зорь».

его произведениях означало для нас противоборство добра и зла».

В интервью, данном газете «Юманите» в 1968 году, Рене Шар сформулировал свое кредо поэта и человека достаточно ясно: «Надо уметь восхищаться, надо уметь увидеть красоту». Значит ли это, что он отстранял от себя все безобразное, подлое, не думал о нем? Почти такое «прочтение» его поэзии встречаем у одного из представителей французской «новой критики» Ж.-П. Ришара. Критик поражен атмосферой спокойствия, которая, как ему кажется, царит в творчестве Шара, «радостной, стихийно возникающей взаимностью между ним и миром вещей, благодаря чему его поэзия всегда — даже в моменты разочарованности или бунта — так позитивна». Ж.-П. Ришар находит у поэта «совершенную симфонию нежности, где вещи и люди подружились, чтобы набросить на простор пейзажа ласковую пелену» [1]. На самом деле такая стихийная радость чужда Шару. Его спокойствию ближе упорство, чем безмятежность. Диалектическое единство различных проявлений человеческого духа Шар фокусирует в стихотворении не только разноплановым употреблением одного и того же понятия, но и алогичным на первый взгляд сочетанием фраз:

Глухая ночь несла ружье, и разучились женщины рожать...
Бесчестье было как стакан воды. Я к мужеству примкнул, связавшему немногих.
(Перевод В. Козового)
Смерть сыпала свои удары так близко, что мир захотел стать лучше.

Переходы от утверждения безграничной людской жестокости к восхищению героизмом тех, кто ее отвергает, совершаются с удивительной быстротой, заставляя каждый миг жизни оценивать в его «падении и величии». Сводя контрасты, Рене Шар так определяет эпоху антифашистского сражения:

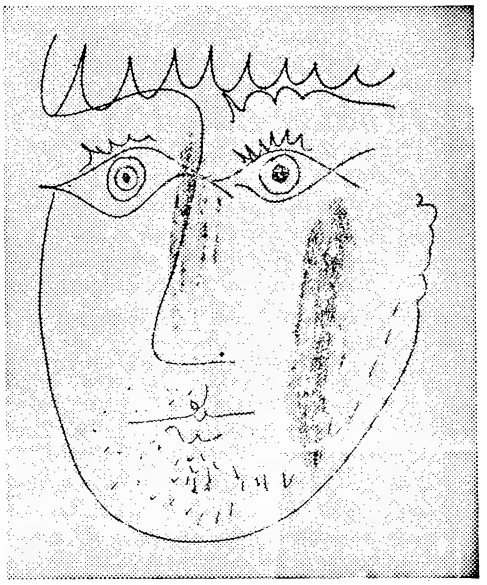
Время взбесившихся гор и сказочной дружбы.
Мгновенье самой свирепой смерти и самой осмысленной жизни.
(Перевод В. Козового)

Нет, тут вовсе не пасторальная «симфония нежности», а отчаянная, требующая всех душевных сил борьба за человеческое в человеке.

В самую страшную бурю рядом отыщется птица, чтобы нас утешить.
(«Встающие на заре»)
Тень твоя может коснуться даже навоза, но в тебе должно быть только святое.
(«Спутники в саду»)
Не жалуйся, что живешь ближе к смерти, чем другие смертные.
Не подражай людям, обладающим удивительным даром все запутывать.
(«Встающие на заре»)

В последних поэтических книгах Рене Шара (см., например, «Спящие окна и люк на крышу») интонация радостного единства с миром берет верх, торжествует щедрость души, которая дарит любовь ближнему, не боясь, что это богатство улетит в «узкую щель переулка», достанется «и прохожему». Такая любовь живет своей глубинной жизнью и выдержит натиск даже буранного ветра.

Каждая створка окна — это кусок стоящей напротив стены, каждый камень в стене — блаженный отшельник, который и утром, и вечером нас озаряет своим золотистым песком. Наша квартира живет своей жизнью, в которую ветер вмешаться не прочь.
Узкая щель, куда улетает все это богатство, — переулок внизу; нам не видно его мостовой. Любой прохожий может забрать все, что угодно душе.
*(«Влюбленная»)**



[1] J.-P. Richard. Onze études sur la poésie moderne. P., 1964, p. 68, 69.

Мысль поэта движима верой в современника, в его благородство, способность выстоять и оказать помощь другим.

«Homme debout» — «Человек во весь рост» — своеобразный мотив многих произведений Шара. В атмосфере «леденящего холода» — не только при тирании «нового порядка», но и при нынешнем «обществе потребления», где, по словам Шара, «материальное берет верх над духовным» и «создается множество совсем ненужных предметов»,— личность легко превращается в вещь, которой манипулируют, играют, программируя на тот или иной «образ жизни». Но если ты хочешь остаться личностью, умей и при леденящем холоде раздуть в себе пламя — внутреннее горение, интерес к делу, которым занят, к людям, которые тебя окружают, сохрани в себе доверие, чувство ответственности. Без этого нет личности. «Выбирать свойственно человеку» — эту гордую реплику Арагона мог бы повторить и Рене Шар, сделавший свой выбор давно — в дни национально-освободительной войны в Испании, в дни героического подполья в маки Прованса.

«Вступление в маки было для меня совсем естественным,— вспоминает Рене Шар.— В ноябре 1940 года специальная французская полиция произвела обыск в моем доме. Меня считали коммунистом, хотя я мог бы назвать себя скорее сюрреалистом. Я ушел в горы, включился в борьбу, к которой привели меня мои взгляды, мое мироощущение». В боях рядом с ним падали сраженные насмерть товарищи, память о которых не только в его душе, но и в его стихах. Шар и сам был тяжело ранен, чудом спасся. В «Листках Гипноса», своеобразном поэтическом дневнике военных лет, есть редкой нравственной насыщенности запись:

Нас терзает печаль: мы узнали о смерти Робера (он же Эмиль Каваньи), в Форкалькье он попал в воскресенье в засаду. Немцы лишили меня самого верного брата по битве, того, кто одним мановением руки предотвращал катастрофу, чья неизменная точность охраняла отряд от возможных просчетов. Человек, не владевший теорией, но закаленный в сражениях, человек удивительно ровной и устойчивой доброты, он мгновенно умел оценить обстановку, его поведение слагалось из отваги и мудрости. Изобретательный и находчивый, он предельно использовал малейшее тактическое преимущество. Свои сорок пять лет он нес вертикально, подобно деревьям. Я любил его — без излияний, без ненужной торжественности. Неколебимо любил.

Не удивительно, что и в послевоенной Франции, до самых последних лет, Рене Шар участвует в борьбе идей, в движении защиты мира. Он был в 60-е годы одним из вдохновителей кампании, развернутой против размещения ядерных ракет на плато Альбион в Провансе. Он поддержал борьбу французской общественности против принятого было решения правительства Жискара д'Эстена не отмечать день окончания второй мировой войны. «К сожалению, о движении Сопротивления так мало говорят... Я считаю, что День Победы должен быть национальным праздником».

Такого поэта не назовешь отшельником, не назовешь нейтральным, он знает: в слове писателя не только его собственная сила, оно способно поддержать и слабых духом, блеснуть как молния в черный час:

Когда пошатнулся заслон, когда человек покачнулся от невиданного обвала — от утраты веры в богов, тогда в далекой дали не желавшие гибнуть слова попытались противиться этой чудовищной встряске. Так утвердилась династия их глубинного смысла.
(«Порог»)

Однако, как ни парадоксально, именно Шара пытаются иногда представить самым последовательным выразителем нейтральности. Французские исследователи, близкие школе «новой критики» — Морис Бланшо, Жорж Пуле, Жан-Пьер Ришар, Жак Барелли,— рассматривают «усложненность» стихотворений Шара как самое характерное свойство поэзии XX века и самую бесспорную ее ценность. Морис Бланшо одну из своих работ назвал «Рене Шар и нейтральная мысль», уверяя, будто зашифрованность текстов Шара позволяет ему оставаться величаво нейтральным, равно приемлющим добро и зло, равно снисходительным к героике и пассивности. Именно «таинственный нейтралитет» составляет якобы основу поэзии Шара. Симптоматично, что рассуждения Мориса Бланшо опровергаются им же цитируемыми текстами Шара. В частности, категория «неизвестного», «нужная» Бланшо, чтобы доказать нейтральность поэта, отсылает у Шара «к образу незнакомца, который, вмешавшись, способен освободить нас от ноши и превратить нашу тоску в струящуюся зарю» [1]. Согласно аргументации Жака Барелли, чем непонятнее поэт, тем большее уважение проявляет он к читателю, которому позволено на свое усмотрение «реконструировать» слепок стихотворения, его семантическое единство, включаясь в игру сопоставлений, в игру афористических «интерференций». По такой схеме Шар оказывается наиболее демократичным из всех французских поэтов, потому что он предлагает книги, где будто бы собраны «выражения, абсолютно свободные от каких бы то ни было значений до того момента, пока читатель не начнет пробираться сквозь густую сеть письма»[2].

Полемизировать с этой позицией, гиперболизирующей отъединенность поэзии Рене Шара от реального времени, нам помогает сам поэт — и как создатель произведений, и как теоретик, составивший своеобразный свод правил для поэтического слова. В 1936 году, впервые, может быть, ощутив неудовлетворенность теми отношениями, которые складывались между его поэзией и окружающим миром, Шар обратился к самому себе с советом выразить «целостность удивительной жизни», спаяв воедино «ее бесплотные фрагменты»:

Ты так спешишь писать
Как будто ты боишься не поспеть за жизнью
А если так — скорей к своим истокам
Поторопись.
Поторопись и передай
Тебе доставшуюся долю
Чудесного
И доброты и мятежа
Ты в самом деле можешь не поспеть за
жизнью
Невыразимой жизнью
Единственной с которой ты согласен
слиться...
(«Ты так спешишь писать...»)

[1] "ARC", 1963, N sp René Char p. 14.

[2] J. Barelli. Ecriture de René Char. P., 1973, p. 41.

Книга Рене Шара «О поэзии» (1958), как и бесчисленные советы коллегам-писателям, звучащие в стихотворных циклах «Свет справедливости погас» (1931), «Формальный раздел» (1942), «Библиотека в огне», «Встающие на заре» (1950), «Колодезная песнь» (1977), открывают нам художника с обостренным чувством ответственности за воздействие поэтического слова.

Подводя своеобразный итог своему творческому пути, напоминая об импульсах, возвращавших ему растраченные жизненные силы, Рене Шар писал: «Только обыкновенные люди — мои спутники и спутницы — способны вывести меня из оцепенения, вдохновить на поэзию, подтолкнуть к границам пустыни, чтобы я одержал над ней победу. Ничто другое. Ни щедрая земля, ни небеса, ни потрясающие события. Как факел, я рождаю деятельные языки пламени только в его руках — в руках человека». Лаконичны и выразительны советы, которые дает Шар своим собратьям по перу: «Меж явью и сном укладывать тонкое тело стиха», поскольку «поэзия — предвидение, но еще не сформулированное». Поэт для него — «дитя набата», «хранитель бесчисленных ликов живого». Когда «рушатся все доказательства, поэт дает залп в честь грядущего», в поэзии «нет ничего, чего бы не было вовне, в мире, полном противоречий» *(перевод В. Козового)*.

Уважительное отношение к возможностям художественного слова и общественным задачам искусства объясняет, почему Рене Шару дорога русская культура.

О близком выходе своего полного собрания сочинений в серии «Плеяда» (редко кто из писателей был удостоен такой почести при жизни) Рене Шар говорил советским друзьям с радостью, но с не меньшей гордостью он говорил о своих переводах из русской поэзии, подготовленных в творческом содружестве с Тиной Жола. В августе 1981 года издательство «Галлимар» выпустило антологию мировой поэзии — «Надежда жизни». Стихи Тютчева, Гумилева, Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, Цветаевой и Маяковского опубликованы в переводе Рене Шара.

Рене Шар с удовольствием напоминает нам, что лично был знаком с Маяковским, называет его «поэтом любви, поэтом революции». «Поэзия вообще должна быть ближе к народу — как в вашей стране... К сожалению, я не знаю русского языка,— поясняет Шар,— и знакомился с великой русской литературой не в оригинале, но очень люблю Пушкина, Тютчева, который тоже пережил свой век, Анненского. Моя мечта — самому составить антологию русской поэзии для французского читателя. Ваша классическая литература заворожила меня с детства. Тургеневым и Гоголем я зачитывался в молодости, пьесы Чехова «Вишневый сад» и Горького «На дне» видел на сцене. Недавно полностью перечитал «Войну и мир» Льва Толстого. Входишь в удивительный мир художественных образов, где меня особенно пленяют Наташа Ростова и Пьер Безухов. По моему мнению, французская литература не создала такого гигантского литературного памятника, как «Война и мир», даже если вспомнить «Отверженных» Виктора Гюго. Я думаю, что реализм русской литературы XIX века созвучен поэзии. Из советских поэтов мне нравятся Вознесенский, Евтушенко. Я люблю Россию и хотел бы побывать в Советском Союзе. Меня всегда поражала популярность вашей поэзии: ведь это чудесно, когда поэтические сборники быстро раскупаются и ваши фантастически высокие тиражи тают в книжных магазинах, как весенний снег...

Мечтаю увидеть русский лес, так неподражаемо воспетый Львом Толстым...»

Как много духовных уз соединяет нас с выдающимся поэтом современной Франции! Вопреки леденящему холоду антисоветизма и равнодушия к судьбам планеты ярко горит там, в любимой нами Франции, пламя дружбы и доверия, в Иль-сюр-Сорг и в других ее селах и городах, где тоже есть сердца, «противостоящие пустоте».

◆

БАЛАШОВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА.

Советский литературный критик, кандидат филологических наук. Автор книг «Творчество Арагона» (1964), «Французский роман 60-х годов» (1965), «Активность реализма. Литературно-критические дискуссии на Западе» (1982) и ряда статей в периодической печати, в том числе в «Иностранной литературе».

СЕРЕБРЯННИКОВА АЛЛА РОБЕРТОВНА.

Аспирант кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ. Публиковала заметки в периодической печати.

Ю. КАРЯКИН

«ВЗОРВАТЬ ВООБРАЖЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ...»

О романе Кэндзабуро Оэ «Записки пинчраннера» [1]

О делах подобных
Не размышляй, не то сойдешь с ума.
(*В. ШЕКСПИР. «Макбет»*)

О делах подобных
Размышляй, не то сойдешь с ума.
(*«Записки пинчраннера». Отец Мори, цитирующий Шекспира*)

Роман произвел на меня впечатление беспощадного диагноза смертельно опасной болезни. Это своего рода лучевая болезнь. Она, убежден Оэ, угрожает сегодня не только отдельному человеку или многим людям, а именно всему роду людскому. Болезнь эта — культ насилия при сбиве социальных, нравственных, духовных ориентиров. Впервые человечество стало практически смертным: ему грозит ядерное истребление. Никто его не уничтожит, если оно само не позволит себя уничтожить.

Нет, здесь совсем не то, что называется «алармизмом»: запугивание себя и других, панический ужас перед опасностью. Оэ не запугивает, а констатирует и предупреждает. Не отчаянно, а твердо (то горячо — страстно, то хладнокровно-расчетливо) настаивает: шанс на спасение еще остается, болезнь еще можно одолеть, но только подвигом (слишком уж далеко все зашло), и непременно подвигом личным, прежде всего духовным, подвигом, который заразит людей — массу, народ — небывалой волей к жизни, к совести, к ясности разума. Слепая жажда жизни здесь не поможет — не надо ее идеализировать: слишком часто она вдруг оборачивается животным страхом смерти и не только не спасает, а еще скорее губит, губит ужасом, паникой, оцепенением. Мужество видеть смертельную опасность, мужество одолеть ее — пафос романа.

«Воды потопа, огромного потопа, который может привести к концу света, уже дошли нам до груди. Помочь нам не в силах никто, даже бог. Спасти себя мы должны сами», — верит Оэ. Недавний его роман так и называется: «Объяли меня воды до души моей...».

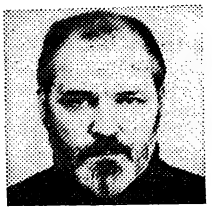
Кэндзабуро Оэ словно спрашивает каждого из нас: что вы будете делать, если однажды вам предъявят на руки такой диагноз-приговор, если вручат уже не похоронку на другого, а вам самому — повестку на смерть? Но художник вдруг тут же убирает это «если», эту последнюю соломинку (ведь остается еще надежда: а если нет? если обойдется?), и ставит нас лицом к лицу с неустранимым фактом: не обойдется, диагноз поставлен, повестка уже вручена. Нам же недостает «только» силы воображения признать этот факт. Именно: не силы воображения представить то, чего еще нет, а признать то, что есть. Нам недостает воображения видеть реальность. Недостает фантазии жить в действительном мире. Таков парадокс...

В необозримой библиотеке мировой художественной литературы действительно есть всего два разряда книг: одни вообще не стоит читать (тем более писать), другие надо перечитывать (а иные — всю жизнь, и даже многим поколениям). Как бы только разобраться, что есть что,— особенно в сегодняшней литературе...

Не рискуя предсказывать что-либо насчет будущего, я думаю, что «Записки пинчраннера» заслуживают, требуют перечитывания — по крайней мере для поколения нашего.

Встреча «Записок пинчраннера» с читателем — это, по-моему, не столько испытание для Оэ, сколько для нас самих. Работа хорошей книги, когда она уже вышла в свет, зависит лишь от читателей, от их — от нашей — ответственности. И когда, кстати, будет создана наконец «История читателя», история читательского восприятия значи-

[1] Опубликован в «ИЛ», 1981, № 11, 12, с предисловием В. Гривнина.



КАРЯКИН ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ (род. в 1930 г.).

Советский литературовед, публицист, историк. Автор книги «Самообман Раскольникова» (1976), исследований, посвященных творчеству Ф. М. Достоевского «Антикоммунизм, Достоевский и достоевщина» (журнал «Проблемы мира и социализма», 1963, № 5), «Лишь начинаю...» («Литературное обозрение», 1981, № 11), а также инсценировок по его произведениям («Преступление и наказание», «Записки из подполья», «Сон смешного человека» и «Бесы»).

тельных книг, боюсь, это будет совсем невеселая история.

Это вовсе не значит, что мы должны всегда и во всем соглашаться даже и с великими авторами. Ничего подобного. Это значит лишь, что сначала мы должны их понять (прежде чем — и для того,— чтобы в чем-то и не согласиться). А в данном случае, в случае с «Записками пинчраннера», дело даже не только в трудности понимания специфически японских проблем — политических, социальных, литературных (здесь нам, конечно, без помощи специалистов не обойтись). Дело просто в том, что перед нами — настоящее произведение искусства, а потому-то именно и постигнуть его трудно.

Оэ действительно вручает нам ту страшноватую повестку. Случись такое в нашей обычной, реальной жизни, как бы мы поступили? Скользнули бы равнодушным взглядом и отбросили?.. Или, может, развлеклись бы ею?.. Посмеялись?.. Во все бы вгрызлись. Самое непонятное бы поняли. Невозможное бы сделали... Но ведь та жизнь, о которой пишет Оэ,— разве это не реальная жизнь? Разве она даже не более реальна, чем та, которой мы живем «обычно»? Сколько уже уплачено за непризнание этой реальности, за такое отсутствие воображения. А может быть уплачено и «обычной» нашей жизнью, жизнью людской вообще.

И случись непоправимое, самоистребись человечество и узнай об этом где-нибудь «там» какие-нибудь «они», им, наверное, захочется еще узнать и другое: а предупреждения были?

Какой ответ они отыщут?

Неуслышанные живые книги на мертвой Земле...

Неужели это станет последней, не написанной, но реализованной главой «Истории читателя»?..

Но если такое не случится, то «они», быть может, поразятся еще больше и захотят узнать: почему? Ведь все, кажется, шло к тому — на волоске висели...

Какой ответ «они» услышат?

Об этом — и весь роман.

«ЗАПИСКИ ПИНЧРАННЕРА»: ЦЕЛОЕ, КАРТИНЫ, ДЕТАЛИ. Последние слова романа: «Ли!.. Ли!.. Ли!..» Лидируй! Бери ответственность на себя. Они прозвучали уже на первых страницах. Это лейтмотив. Сколько раз повторяется, вспоминается, даже снится этот спасающий, вдохновляющий голос из детства.

Конечно, великолепен, классичен финал. Как зримо вырастает масштаб! Сначала люди на площадке перед больницей — в рамке окна (отец Мори смотрит на них из палаты). Как на картине Риверы. Потом рамки эти словно исчезают: персонажи оживают, приближаются, и уже нет таких «рамок», которые могли бы их ограничить. «Ряженые» и суть Народ, Человечество, вся История. Действие, даже когда оно — в палате Патрона, происходит как бы на глазах всех, на глазах Токио, Японии, всего мира, на глазах прошлого, настоящего, будущего. На глазах детей — они стоят маленькой очередью в больницу. Настоящий карнавал в том смысле этого образа-понятия, какой придавал ему М. Бахтин (труды которого Оэ знает и любит).

Вспомним оглавление. Что пробуждается в нашей памяти за названием каждой главы?

1. Золотой век послевоенного бейсбола.
2. Нанят писатель-невидимка.
3. Однако все это было в прошлом.
4. Мы сразу же включились в борьбу.
5. Чувствую, что заговорщики чуждаются меня.
6. Так я встретился с Могущественным господином А., то есть с Патроном.
7. Всестороннее изучение Патрона.
8. Всестороннее изучение Патрона. Продолжение.
9. Двое превратившихся анализируют будущее.
10. Одиссея Корпуса лососей.
11. В Токио прибывают ряженые.
12. Двое превратившихся ссорятся между собой.

Оглавление до прочтения мертво, но как оно оживает после прочтения, перечитывания. Происходят какие-то странные вещи. Видишь и слышишь вдруг всю книгу разом, как хорошо знакомую картину или симфонию. Время словно исчезает, но, исчезая, оно как бы превращается, развертывается, распластовывается в пространство. И пространство это разом видится и звучит, и ты — именно разом — видишь и слышишь все произведение, одновременно, одномгновенно,— и в целом, и каждую часть его, и переходы, каждый штрих. Все сосуществует. Сама композиция, сама «форма» предстает вдруг живым пульсирующим содержанием.

Я не раз убеждался: если, вспоминая оглавление действительно художественного произведения, я что-то перепутываю, это означает, что я чего-то не понял. Нельзя же переставить фрагменты картины или части симфонии без катастрофического ущерба самому произведению (а если можно, значит, изъян в нем самом). Нет, оглавление — это не механическое приспособление, облегчающее внешнюю ориентацию в страницах книги, не скелет, а ее живой духовный силуэт.

Кроме финала особенно запоминается митинг. Будто посмотрел какой-то фильм Феллини. Лозунги. Гул толпы. Музыка Бетховена (соната для струнного квартета). То вырубают, то включают свет. Вспышка — тьма, вспышка — тьма. Потасовка. Бесы против бесов. Справедливец, зажавший в руках свою вставную челюсть, «кусает» ею противников за ягодицы (намек на библейского Самсона, истреблявшего врагов ослиной челюстью?)... Комнатка наверху. На дверях — череп со скрещенными костями. А за дверьми — любовь. А внизу продолжает твориться такое, что, по словам отца Мори, напоминает начало первого акта «Макбета». Отыщем это начало: пустошь, гроза, выходят три ведьмы, поют:

> Грань меж добром и злом, сотрись,
> Сквозь пар гнилой помчимся вниз...

Сцены в университете. Избиение отца Мори и Добровольного Арбитра. Смерть Справедливца: он на каменной стене, выхваченный из тьмы лучом прожектора; срывается...

И уж никогда, наверное, не забыть, как идут дети с беспомощными ручонками на голове (незаросшее темя, прикрытое пластиком)... Как заблудился на вокзале маленький Мори. Как его бьет отец, а он защищается,

выставив локти вперед, и сам себя бьет по щекам.

Драка отца Мори с женой. Эта драка была бы просто омерзительной, если бы не означала глубочайшего трагизма взаимоотношений двух несчастных, в сущности, людей...

Сны. Первый — пророческий, сбывшийся наяву до деталей. Как фантастическая увертюра к «превращению»: убийство Патрона, а перед этим — последнее искушение. Второй: выбили зубы... И третий: марш Корпуса лососей. Самый таинственный, сильный и неясный. Что это? Сатира трагическая? Вот что, дескать, всем грозит? Стало быть, предупреждение?

Главная речь Мори и его отца. Вероятно, разгадка речи в ее особом тоне — дразнящем, вызывающем, ироничном. До абсурда доводятся «идеи», которыми дышат эти озверелые юнцы (убивайте! убивайте! убивайте всех — друг друга, родителей, братьев!). Однако не слишком ли она длинна? Хотя если бы все это касалось нас самих непосредственно (или если бы у нас взорвалось воображение), то она показалась бы даже слишком короткой, и уж не со скукой, а страстно слушали бы ее, вникли бы во все нюансы всех «четырех сценариев»...

Юнцы, мальчишки, дети. И они же — убийцы, палачи, фашисты на деле. Ужас и жалость. Но просто отсечь их нельзя. А заигрывать с ними, льстить им опасно вдвойне. Здесь проблема проблем. Какая энергия — ядерная! — их распирает, и — не туда направлена, не на то. А без этой энергии — но «превращенной» — миру тоже не обойтись.

Остается в памяти постоянное «ха-ха» отца Мори. Постоянное, да не совсем. Интонации меняются: жалкое ерничанье, ирония, самоирония, трагизм.

Отец Мори становится все живее (и прежний, и «превращенный»), а сын убедительнее художественно, когда он еще дитя. Увеличившись, так сказать, в плоти, он что-то утратил, стал аллегоричнее, что ли, сделался похожим на какого-то робота...

Тревожит странная старинная фраза: «Тот, кто пришел к границам Страны мрака, оставив жить в Стране высокого неба ребенка со злым сердцем, тот вернется к леденящим душу печали и страху...».

«Дохлая обезьяна» — трагический образ человека, не нашедшего себя и мстящего за это другим...

Оэ включает в роман произведения других авторов (К. Г. Юнг, Кастанеда), живопись (Блейк, Ривера), музыку. Делает он это, как правило, достаточно скупо, естественно, в соответствии со своей художественной логикой (для бездарных авторов такое включение — лишь дешевый способ намекнуть на свою «эрудицию»). А раз так, то это и надо прочесть, прослушать, увидеть самому. Звучит же музыка в пушкинском «Моцарте и Сальери», и без нее нельзя обойтись.

Маленький Мори слушает «К-331» в исполнении Горовица. Это — трехчастная соната Моцарта (ее финал — знаменитый «Турецкий марш»). А «К» — от Кёхеля, составлявшего каталог произведений Моцарта. Должен признаться, что я этого не знал: пришлось выяснять у знатоков. Но боюсь: если б я не писал статью о романе, вряд ли стал бы заниматься этим выяснением...

Еще об одном сильном впечатлении. Это — визиты к главарям двух враждующих «революционных» групп, одинаково поносящих друг друга за «контрреволюционность», называющих друг друга «фашистами» (на деле и ведущих себя как фашисты). Главари эти — политические, социальные и духовные близнецы. Только в результате этих двух визитов и открываются глаза у бедной трагической Ооно: она понимает, что ею манипулируют, что все ее прекрасные чувства, мысли и дела эксплуатируются. Но окончательное прозрение у нее еще не наступило: она утешает себя тем, что другие «фюреры» лучше, но предчувствует и боится, что они окажутся много хуже...

И еще одна сильная мысль-чувство, говорящая сама за себя: «Гитлер тоже хотел стать Антихристом, но и ему это не удалось, он провалился... Гитлер посеял семена огромных бедствий, и они проросли, но Гитлера уничтожил отнюдь не Христос. Не бог, а люди... Следовательно, ценность того, что люди своими собственными силами уничтожают тех, кто стремится стать Антихристом, сопоставима с явлением Христа... Борьба людей, уничтожающих Антихриста до его появления, превращается в борьбу за жизнь без помощи бога».

ОТЕЦ МОРИ И ПИСАТЕЛЬ-НЕВИДИМКА. Слова отца Мори и писателя-невидимки набраны в романе разными шрифтами. Но представьте, что они набраны одинаково: можно ручаться, что возникла бы путаница и вы не могли бы (или крайне затруднились бы) различить, где начинает и заканчивает один, где другой. Почему?

Вот начало романа, первые — самые первые — строчки от имени писателя-невидимки: «Несомненно, это были чужие слова, и я даже помню обстоятельства, при которых они были произнесены тем, другим, но все же я воспринимаю их как слова, вышедшие из самой глубины моей души. Разумеется, поскольку слова появляются лишь в том случае, когда во взаимоотношения вступают два человека, вполне возможно утверждать, что именно мое существование явилось истинной причиной появления этих слов».

«Чужие слова» — это слова отца Мори: «Быть выбранным в пинчраннеры — что может быть страшнее этого, что может наполнить сердце бóльшим честолюбием!» Потом они повторяются, варьируясь, но всегда с ударением на этих двух моментах: предельный страх и предельное честолюбие, боязнь подвига и тяга к нему.

Писатель-невидимка (будущий писатель-невидимка) поддакивает. «Но это было больше чем простое поддакивание». Это, оказывается, пароль. «Узы чуть ли не кровного родства». И это родство постепенно одолевает «явную враждебность» между ними.

«Чужие слова» становятся своими, родными.

Таков камертон взаимоотношений отца Мори и отца Хикари.

А потом они сближаются несчастной судьбой своих детей. Они ведь даже имени своего не имеют. Называются по именам сыновей: отец Хикари и отец Мори. «Де-

таль» — и страшная (реально), и прекрасная (художественно).

Что ж удивительного в том, что, когда отец Хикари согласился быть писателем-невидимкой отца Мори, процесс взаимопонимания, взаимопроникновения их душ (и слов) не просто усилился, а стал доминировать, при всем их различии, несогласии, сопротивлении? Так и должно было быть. И мастерство Оэ здесь не просто формальное, «технологическое», а глубоко содержательное: люди *могут* понять друг друга, могут переживать чужое как свое. (Что это — осознанное или невольное противопоставление экзистенциалистской концепции человека?)

Они уже и сами порой не различают, чьими словами говорят. Однако «я» каждого из них сохраняется, и это создает ту степень противопоставления, напряженности, благодаря которой максимально «провоцируется» и самостоятельность читателя: «Вы послушно записываете слова, которыми *я веду рассказ*. Я хочу, чтобы бесконечному числу третьих лиц, которые будут читать их, передались динамические отношения между двумя лицами... Если я внезапно исчезну из этого мира, то лишь записанные вами слова — единственный шанс воскресить меня... Я хочу, чтобы мое существование, существование такого человека, как я, всколыхнуло силу их воображения. Я начинаю использовать вашу специальную лексику, ха-ха...»

И вот механизм взрыва воображения «третьих лиц» в действии. Вот, можно сказать, эпиграф к предложенному отцом Мори плану.

В своем первом послании писателю-невидимке отец Мори так цитирует слова леди Макбет, обращенные к преступному супругу (еще испытывающему нечто похожее на остатки угрызений совести):

О делах подобных
Размышляй, не то сойдешь с ума.

Писатель-невидимка поправляет в соответствии с первоисточником:

О делах подобных
Не размышляй, не то сойдешь с ума.

Зачем, спрашивает он, отец Мори делает такую ошибку? Чтоб позлить? Ошибка здесь, конечно, сознательная. Разве не отвечает она предложенному отцом Мори плану: создать напряжение между собой (первое лицо) и писателем-невидимкой (второе лицо), чтобы втянуть других в этот спор, чтобы «взорвать воображение третьих лиц»?

И если мы не проскользнем взглядом мимо этого поединка на цитатах, то невольно задумаемся, не живем ли мы в эпоху, когда действительно надо сказать: «Размышляй, не то сойдешь с ума...»

Не живем ли мы в эпоху, когда сказать «не размышляй» смертельно опасно, преступно, самоубийственно? Здесь целая концепция.

И вот еще об этом же: «Знаете, я не хочу, чтобы вы спешили понять меня, ха-ха...» Тем более это относится к «третьим лицам».

Кэндзабуро Оэ не дает готовых ответов. Не на поддакивание читателя он рассчитывает, а больше всего, прежде всего — на его самостоятельность.

Писатель-невидимка, а следом за ним и «третьи лица» все время *озадачивают*ся.

Отец Мори действительно исчез. Но отец Хикари воскресил его. Но еще он воскресил и себя — именно своими «Записками». Он ведь, в сущности, тоже «превращенный», и не менее реально (по самосознанию, по действиям), чем сам отец Мори. Он тоже лидер. Его «исполнительская», «стенографическая» работа — подвиг. Его тоже страшит и манит это «Ли!» Его книга и оказалась призванием всей его жизни. Для нее, может, он и жил. Все его прежние книги — ничто перед этой, все они писались «во взвешенном состоянии», в том же состоянии, в каком долго пребывал и отец Мори, когда человек идет на сделки с совестью, «откладывает себя», утешаясь, что «за ним не пропадет...».

«Превращение» — центральная идея романа, основной его образ. Оно оказалось удивительно пластично, многосторонне реализовано Оэ. Здесь и самое фантастическое, и самое реалистическое слиты воедино. Причем если в мировой и русской литературе преобладало, так сказать, отрицательное «превращение» (предел — «Превращение» Кафки), то в ней же есть и традиция «превращения» положительного (скажем, «Сон смешного человека» Достоевского). Оэ рисует именно это, положительное, «превращение» — самое, конечно, трудное.

В романе много рассуждений, споров о личной ответственности и фатализме, о воле, инициативе человека и о его «космической запрограммированности». Но при этом очевидно следующее. Во-первых, было чему, кому «превращаться». Во-вторых, при долголетней «взвешенности» и отца Мори, и отца Хикари была у них незатихающая боль от этой своей «взвешенности». В-третьих, вряд ли вышло бы у них «превращение», если б не было встречи со смертью, если б не осознали они небывало остро, лично, больно, что угрожает людям — и всем (и самым близким, и себе лично), если оставаться по-прежнему во «взвешенном» состоянии: такое состояние есть лишь самоубийственное сползание к окончательной гибели. А в-четвертых, оба они не пропустили момента для «превращения», момента, когда все, все зависело уже только от их воли, решимости, от их поступка. Недаром Достоевский говорил: «Высшее правило жизни: *лови точку*». Недаром любил повторять такую негладкую пословицу: «Лови Петра с утра, а ободняет, так провоняет...»

Вспомним одну такую «точку» из далекого прошлого отца Мори: случай на дороге, когда «жестяные люди» пытались захватить ядерное сырье. Отец Мори (в то время, впрочем, он еще не был отцом Мори), увидев школьную эмблему на грузовике налетчиков, представил себе (у него у самого тогда взорвалось воображение): а что будет, если сырье это отвезут в школьный спортивный зал, все там перезаразят; сейчас, правда, каникулы, но потом?! В его душе вдруг прозвучало: «Ли!., Ли!..» И он бросился, чтобы им помешать. «Вот так я был облучен». Можно, надо добавить: вот так началось «превращение». Началось, но

сколько раз потом затухало, обращалось вспять и даже до такой степени, что само облучение, которому подвергся отец Мори во время стычки с «жестяными людьми», оказалось новым искушением лгать и служить Патрону. И он лгал, служил и — мучился. Перед ним прошло несколько вариантов выбора его собственной судьбы: его друг, покончивший самоубийством в Париже; или его предшественник в домике для отдыха, все понявший и тоже покончивший с собой...

Есть страх смерти. Он унижает человека. При явной близости смерти он может удесятерить эгоцентризм (подобно тому, признается отец Мори, как случилось с ним вначале). Но его одоление — подвиг.

Есть страх, так сказать, «потери места» (должность, деньги, престиж). Он тоже унизителен. Но его одоление тоже может стать подвигом.

Но дает ли одоление того и другого право на истину? Дает ли истину? Еще нет. Оно может лишь создать наилучшие условия для поисков истины. Если же это одоление отождествляется с истиной, если одолевший убежден, что он уже *тем самым* абсолютно прав, то это может оказаться бесовщиной, не лучшей, чем всякая другая.

Но есть еще третий — спасительный, возвышающий — страх быть неправым, а точнее, мужество видеть и признать свою неправоту, мужество осмотрительности, ответственности.

Отец Мори и писатель-невидимка одолели оба первых страха и мучаются третьим.

Ни один из героев романа не представлен Оэ носителем абсолютной истины. Ни с кем из них он себя намертво не связывает, сохраняя полную независимость и, главное, желая такой же независимости от читателя,— проявление истинно художественной воли, превосходное владение этой волей. Истину, всю истину, один человек родить не может, ее и вместить-то одному не по силам, но добывать ее человек должен только сам — в братстве со всеми, кто ищет ее бескорыстно.

«ЗАПИСКИ ПИНЧРАННЕРА» И «БЕСЫ». Первая мысль, когда я начал читать роман, была: как похоже на «Бесов»! Случайно ли это?

Вот что выяснилось.

Прежде всего — общее отношение Оэ к Достоевскому: «Писать я учился у русской литературы... Каким огромным открытием для меня, проведшего детство в глухой провинции времен войны, в горной деревушке, отрезанной от всего мира, был Достоевский!» И далее: «...всегда как учитель стоял Достоевский. Так я готовился к писательству. И, уже став писателем, я всегда старался урвать несколько недель в году, чтобы почитать Достоевского и обновить этим жизненные силы своей писательской души».

Несомненно: общая принципиальная ориентация на Достоевского — важнейшая часть художественного кредо Оэ.

Здесь кстати будет привести один факт, который (я выяснял) пока неизвестен самому Оэ. У Достоевского есть такой неосуществленный план: «РОМАН О ДЕТЯХ, ЕДИНСТВЕННО О ДЕТЯХ И О ГЕРОЕ-РЕБЕНКЕ... Заговор детей составить свою *детскую империю*. Споры детей о республике и монархии. Дети заводят сношения с детьми-преступниками в тюремном замке. Дети — поджигатели и губители поездов. Дети обращают черта. Дети — развратники и атеисты... Дети — убийцы отца...»

Но что такое роман Оэ «Объяли меня воды до души моей...», как не «роман о детях, единственно о детях и о герое-ребенке»? Что это, как не своеобразная реализация плана Достоевского (из черновиков к «Подростку»), плана, которого Оэ не знал? Но, не зная, угадал и по-своему осуществил.

И еще: в начале 1973 года в Японии прогремело дело промаоистской группы «Рэнго сэкигун» («Красная армия»), ультралевой организации (вроде «красных бригад» в Италии), совершившей чудовищные преступления: убийство своих четырнадцати товарищей, взрывы бомб в общественных местах, ограбление банков и оружейных магазинов. Оэ писал в связи с этой японской «нечаевщиной»: «Я уверен, что самые разные люди, на голову которых обрушилась лавина газетных сообщений о деле так называемой группы «Рэнго сэкигун», оторвавшись от газет, сразу же обратились к «Бесам» Достоевского... Если не рассматривать или оказаться не способным рассмотреть нынешнюю обстановку, и в первую очередь дело группы «Рэнго сэкигун», так же глубоко и широко, как рассмотрел «нечаевщину» Достоевский, то теряется смысл столетия, пройденного человечеством после Достоевского».

Как раз в это время Оэ заканчивал роман «Объяли меня воды...». А следующей его книгой и оказались «Записки пинчраннера».

Тема бесовщины была и в прежних его книгах («Семнадцатилетний», «Опоздавшая молодежь», «Футбол 1860 года», «Объяли меня воды...»)[1], была и нарастала, но эта последняя книга прямо и задумана как современные японские «Бесы». Речь идет, разумеется, совсем не об амбициях японского писателя. Нет, здесь прежде всего действительная общность действительно великой заботы, боли, совести, ответственности — вот что главное, вот что их роднит, независимо от разности их дарований.

И еще об одном поразительном факте, тоже неизвестном Оэ и тоже, надеюсь, для него счастливом.

В черновиках к «Бесам» есть такие слова, отданные Хронике: «Пусть потрудятся сами читатели». В роман они не вошли, но их скрытой энергией он пронизан насквозь. В этой формуле — весь смысл писательского труда Достоевского. Ведь если самоцель искусства для него — «найти в человеке человека», то это и означает конкретно: выявление человеческого «я» читателя. И «провоцирует» его на это в «Бесах» именно Хроникер [2].

Отец Мори, инженер-атомщик, заболевший лучевой болезнью, тоже является Хроникером, рассказывающим писателю-неви-

[1] В «ИЛ» публиковались романы «Футбол 1860 года» (1972, № 1, 2) и «Объяли меня воды до души моей...» (№ 3, 4, 1978).

[2] См.: Ю. Карякин. Зачем Хроникер в «Бесах»?. «Литературное обозрение», 1981, № 4.

димке все, что с ним произошло: «...предложенный мною механизм окажется, как я думаю, эффективным, он поможет превратить слова, которыми пользуется бывший исследователь и специалист, в детонатор, способный взорвать воображение третьих лиц». «Третьи лица» и есть мы, читатели.

«Пусть потрудятся сами читатели» — формула Достоевского.

«Взорвать воображение третьих лиц» — формула Оэ.

Поразительное и в то же время закономерное совпадение.

А вот еще одно совпадение, которое, вероятно, вполне осознано японским писателем. Если центральная тема «Записок» — «превращение», то есть возникновение «нового человека», нового и телом и душой, то ведь это не что иное, как буквальные слова-мысли Кириллова из «Бесов».

И, конечно, сравнивая «Записки пинчраннера» с «Бесами», не забудем, что роман Достоевского — самое противоречивое, тенденциозное, предвзятое из его произведений. Замалчивать или смягчать этот факт было бы необъективно и недобросовестно. Я не раз подчеркивал эту мысль, подчеркну и сейчас. Тенденциозность — в смешении революционеров, социалистов, действительно преданных интересам народа, с карьеристами от революции, способными на любую ложь, подлость, насилие ради своей власти, для кого народ — лишь «пушечное мясо революции» (Нечаев). Однако не забудем и другого. Достоевский заставляет признаться Петра Верховенского: «Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха!» Виргинский, столкнувшись с кровавой, омерзительной практикой Петруши, кричит: «Это не то, нет, нет, это совсем не то!» А сам Достоевский (в черновиках к роману) пишет: «Нечаев (как прототип Петруши.— **Ю. К.**) не социалист, но бунтовщик, в идеале его — бунт и разрушение, а там «что бы ни было...».

В пылу полемики вокруг романа эти ноты не были услышаны, а ведь это даже не ноты, а, пожалуй, настоящий лейтмотив. Без него роман и не выжил бы, не дожил до нашего времени, а навсегда остался бы в серии мертворожденных, «антинигилистических» произведений. Без него он не стал бы и антифашистским романом (хотя во времена Достоевского слово такое — фашизм — еще не было известно).

В выступлении по поводу группы «Рэнго сэкигун» Оэ говорил: «Сегодняшние японцы, смотрящие по телевизору передачу о деле группы «Рэнго сэкигун», считают, что они совершенно не связаны с этими молодыми людьми, с этими безумцами, которые, затащив в горы своих товарищей, студентов, убивали их из винтовок. Но если бы мы, как частица человечества, считали бы себя ответственными за все, что происходит вокруг, мы обязаны были бы считать и себя причастными к этим убийствам — более того, ко всему, что породило саму возможность подобной расправы».

И здесь Оэ следует Достоевскому, для которого ответственность за бесовщину — важнейший пункт. А кто такие бесы — по Достоевскому и Оэ? Было бы все слишком просто, если бы под этот разряд подходило лишь какое-то одно, да еще чисто политическое течение (например, «нечаевщина»). Конечно, бесы — это и ультралевые. Но далеко не только. Это и те (ничуть не в меньшей степени), кого называют ультраправыми, фашистами, а *главным бесом* для обоих всегда оставался бес буржуазной наживы — миллион в виде «фатума», в виде «закона природы».

Вот ключевое суждение о бесовщине, отданное Степану Трофимовичу: «...это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и бесенята, накопившиеся... за века, за века!» Запомним, вдумаемся, подчеркнем: *все* язвы — *за века*... Для Достоевского (как и для Оэ) это не конкретно-политическая категория, а образ, образ духовной смуты, смешения всех представлений о добре и зле, образ духовно-нравственной эпидемии.

Вспомним главных бесов из «Записок пинчраннера» — Америку как образ Ваала, Америку, навсегда оставившую свою страшную «роспись» на теле и на душе Японии, или Могущественного господина А., который извлекает выгоду «из самого мрачного, самого ужасного, что только может создать человечество», из ядерного оружия.

Оэ: «Далее, сейчас, когда вновь возродилась проблема японского национализма, видимо, необходимо еще раз напомнить горячие идеи Шатова, касающиеся России».

В «Записках пинчраннера» этот реакционный национализм сильнее всех развенчивает Справедливец.

Оэ: «Или, например, когда говорят о разрыве между поколениями отцов и детей, особенно об отрицании послевоенной демократии, следует вспомнить Степана Трофимовича, принадлежащего к поколению отцов, исповедовавших либеральные идеи». Отсюда вопрос: отношение к Степану Трофимовичу (то есть к либеральной демократии) Достоевского и Оэ. Оно гораздо сложнее, чем голое отрицание.

Очень интересно сравнить время в «Бесах» и в «Записках пинчраннера». Главные события происходят в считанные дни, часы и даже минуты. Это не внешний «прием», а выражение катастрофического содержания эпохи, когда времени для «превращения» остается все меньше и меньше. Нашей эпохе не хватает времени, и старое выражение «убить время» приобрело вдруг зловещий смысл.

«Бесы» и «Записки пинчраннера» не просто романы-предупреждения. Конечно, это и романы борьбы: если уж такие обыкновенные люди, как Хроникер или отец Мори, писатель-невидимка, раскусили бесовщину, если они вовлекли читателя в труднейший процесс ее постижения, значит, далеко не все потеряно. Это же и есть начало одоления ее.

Оптимизм в искусстве — когда будят совесть. Пессимизм — когда совесть усыпляется, извращается, забивается: вот беспросветность.

Отец Мори и писатель-невидимка будят совесть.

Я говорил о неясности с Корпусом лососей. Происхождение Корпуса этого связано с традицией известной романтизации разбойничьего люда. Но в японской литературе есть и традиция развенчания этой романтизации. Например, Акутагава в новелле «Нэдзумикодзо Дзирокити» представил зна-

менитого японского Робина Гуда и народ, им восторгавшийся, далеко не в идеализированном, мягко говоря, виде[1]. Не отсюда ли идет Оэ и в изображении Корпуса лососей? И не от Достоевского ли тоже? Я имею в виду конкретно главу «Иван-царевич» из «Бесов». Не есть ли «Одиссея Корпуса лососей» — «Иван-царевич» по-японски?

А может быть, все это — лишь наше благое пожелание, наша охота так понимать? Так или иначе, не слишком ли зашифрована вся эта история с «лососями»?

Да, отец Мори устоял перед последним искушением, которому подвергает его Патрон. Да, он понял: Патрон, несомненно, главный враг, который, как марионетками, играет всеми и всякими экстремистами. И все-таки убийство Патрона — это что? Только лишь художественный знак, символ непримиримости? Или конкретный призыв к конкретному действию? Если последнее, то ведь это — страшноватая уступка экстремизму в мире, где экстремизм и пытается именно разом (покушение, взрывы, заложники) решить сложнейшие социальные проблемы. Нет ли здесь снова опасной художественной неопределенности? А что, если какой-то читатель японский все это так прямо и поймет: бери ледоруб, пистолет, бомбу и — ищи своего Патрона?.. Когда однажды Достоевский узнал, что его рассказ «Приговор» был кем-то понят как чуть ли не оправдание самоубийства, призыв к самоубийству, он ужаснулся, винил себя и тут же, немедленно поспешил выступить с необходимыми разъяснениями. Не понадобятся ли соответствующие разъяснения и от Оэ?

Все время, пока я читал роман, меня глухо тревожил какой-то вопрос, а сейчас он вдруг сформулировался: а что, если бы сам Достоевский увидел наше время воочию? Что, если бы он прочел «Записки пинчраннера»?..

Вопрос безответный, а из головы не выходит.

Мне даже кажется почему-то, что вопрос этот не мог не тревожить и не вдохновлять самого Оэ, когда он писал свой роман.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Если раньше, в прежние десятилетия и века, непонятый писатель мог находить утешение и даже уверенность в том, что его поймет читатель будущий, если раньше он мог отправить свою книгу в океан времени, как потерпевший кораблекрушение человек бросал в волны бутылку со словом «SOS», со своим завещанием, то нынче это утопия: не то что затеряется — может оказаться, и вылавливать будет некому.

Отношения писателя с читателем стали небывалыми.

Да, читатели спасут или погубят мир. Смешно, не правда ли?

«Да было бы смешно, если б не грозило будущим» (Достоевский).

Поблагодарим Кэндзабуро Оэ за те высокие мысли и чувства, которые вызывает его роман, которыми он взрывает наше воображение.

Ему сейчас сорок семь. Конечно, главное — впереди. Каким оно будет?

Высоким самосознанием обладают герои Оэ, которым за тридцать. Семнадцатилетних — на уровне самоощущения, самочувствования, на уровне *начального* самосознания — он тоже постиг. Не явится ли следующим шагом изображение такого героя, который (конечно, по-своему) мог бы сказать словами Подростка Достоевского: «О, если бы можно было переменить прежнее и начать совершенно вновь!.. Не мог бы я так восклицать, если б не переменился теперь радикально и не стал совсем другим человеком... я себя не очень щажу и отлично, где надо, аттестую: я хочу выучиться говорить правду... Кончив же записки и дописав последнюю строчку, я вдруг почувствовал, что перевоспитал себя самого именно процессом припоминания и записывания» (тоже «превращение»!).

И, быть может, в самом деле нет сейчас в литературе более трудной и благородной задачи, чем задача создания *нового* «Подростка», романа о самовоспитании, «самовыделке» молодых? Романа об итальянском или японском, об американском или китайском мальчике, который бы вступал в жизнь не наивным паразитом, не инфантильным духовным недоноском, не уже уставшим, разочарованным и развращенным циником и не прожорливым волчонком, а человеком, способным понять, сказать и осуществить: «Свет надо переделать, начнем с себя». О мальчике, одолевшем искус бесовщины, а главное — чей святой идеализм, чья естественная жажда подвига были бы жаждой подвига не скорого, а трудного, упорного, долгого, чтобы человек оказался способным «уловить точку», когда придет минута... И что из того, что таких мальчиков, вероятно, мало или вовсе нет пока в той же Италии или Японии, в Америке или Китае. Ведь бывает и так, что не только в литературу приходят герои из жизни, но и в жизнь из литературы. Где родится этот новый «Подросток» (и не один, наверное)? Но он будет, будет потому, что в нем есть крайняя нужда. Может быть, он даже пишется уже...

◆

[1] См. об этом: В. С. Гривнин. Акутагава Рюноскэ. М., 1980, с. 158, 159.

ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ И ЧУТОЧКУ О ГЁТЕ

В прошлом году во Франкфурте-на-Майне в рамках «8-й Рёмербергской встречи» состоялась примечательная дискуссия «Внутренняя жизнь — бегство или спасение?» Тема дискуссии привлекла около тысячи участников: специалистов в области общественных наук, теологов, деятелей театра, публицистов и, разумеется, «шикарных завсегдатаев» подобных мероприятий, не имеющих определенных занятий, зато, как правило, «очень левых». Не все они выступали в прениях, но составляли достаточно активно реагирующую аудиторию, перед которой было прочитано 15 докладов (не говоря уже о незапланированных репликах и спонтанных выступлениях, позволивших одному из обозревателей, Гюнтеру Машке, назвать весь двухдневный разговор «Гипер-Гайд-парком»).

Проблема рёмербергской дискуссии была сформулирована так, что ее «объект» — поворот довольно значительной части западной интеллигенции «вовнутрь», от «внешней» жизни к «внутренней», от «публичной» к «интимной», от «общественной» к «приватной» — предполагался как нечто само собой разумеющееся, не вызывающее никаких сомнений. Именно так пишет об этом повороте Гюнтер Рюле в большой статье «Что случилось? Сопроводительное слово к собранию, посвященному внутренней жизни», опубликованной в газете «Франкфуртер альгемайне цайтунг» в день открытия встречи и очерчивающей отправные предпосылки ожидаемой дискуссии:

> «Речь идет об ослаблении чувства солидарности и возрастании приватных интересов, об эгоизме и недоверии, идущих рука об руку. Свидетельства литературы и других искусств — едва ли иные. Здесь мы встречаемся с картинами перенапряжения, разъединения, дезориентированности, продолжающейся зависимости от повседневности, которая «нервирует» больше, чем радует».

О той же тенденции говорит и автор первого доклада на встрече — западноберлинский философ Михаэль Тойниссен, посвятивший свое сообщение выяснению вопроса о том, «что такое внутренняя жизнь».

Тойниссен различает «внутреннюю жизнь», имеющую характер обращения к чему-либо содержательному, с одной стороны, и «внутреннюю жизнь», имеющую характер уклонения,— с другой. Тот же процесс констатирует Ганс Майер в своем докладе «Об отступлении и возвращении».

Как видим, поворот определенной части западногерманской интеллигенции (впрочем, не ее одной: особенно говорилось о молодежи) от «внешней» жизни принимается как данность, неопровержимый факт; его-то и предстояло обсудить в первую очередь, выяснив его смысл и дав ему оценку. Однако тема дискуссии была сформулирована так, что специальным предметом обсуждения стала несколько иная проблема — анализа и оценки «внутренней жизни»: поскольку молчаливо предполагалось, что уход от «внешней жизни» имеет своим неизбежным следствием переход к этой последней, ее углубление и развитие.

Между тем именно обсуждение этой проблемы очень скоро обнаружило, что уход от «внешней» жизни вовсе не тождествен еще переходу к жизни «внутренней», если не играть словами, а брать ее в точном смысле, отточенном многовековой культурной традицией. Для того чтобы «убежать» к «внутренней жизни», как предпочитали говорить на дискуссии, полемически заостряя вопрос, нужно, чтобы было куда убежать, чтобы в наличии были более или менее развитые формы «внутренней жизни», действительно позволяющие жить этой жизнью.

Фактически как участники обсуждения, так и «сторонние наблюдатели» показали на столь же многочисленных, сколь и впе-

чатляющих примерах, что «поворачивать», собственно, пока некуда. «Внутренний мир», «я», в которое хотел бы возвратиться современный западный интеллектуал, воодушевленный романтическими ассоциациями, связанными со словом «Innerlichkeit», так много говорившим некогда немецкой душе, предстает сегодня как нечто полностью опустошенное: «выжженная земля», пустыня, если воспользоваться элиотовской метафорой.

Таким образом, действительной проблемой «8-й Рёмербергской встречи» стала проблема одновременной неизбежности и невозможности поворота к «внутренней жизни». Дискуссия вновь и вновь наталкивалась на вопрос об условиях возможности «внутренней жизни» на Западе в конце XX столетия, в зависимости от которого располагались уже как факты, так и оценки этих фактов.

Как и следовало ожидать, наиболее вразумительно о современных формах «внутренней жизни» говорили специалисты в области психологии. В докладе «Прийти в себя, чтобы самоопределиться» психотерапевт Хорст Эберхард Рихтер описывает три наиболее распространенные на Западе формы побега «вовнутрь»: употребление наркотиков, поиски спасения у восточных гуру и, наконец, то, что он называет «психобумом» — рост популярности психиатрии. Все три формы бегства «вовнутрь» Рихтер рассматривает на одном и том же, психотерапевтическом уровне: функция наркотической «пилюли» уравнивается с действием «медитации», а последнее — с воздействием психоаналитического сеанса.

И как ни оскорбительно выглядит это «уравнивание», скажем, для дзен-буддизма или фрейдовского психоанализа, Рихтер доказывает его правоту, красноречиво описывая

> «те увеличивающиеся группы, что переходят от одной формы терапии к следующей и для кого психотерапия давно уже не есть обещание выздоровления, но только протез, продолжающаяся до бесконечности компенсация дефектов и страхов».

Именно пациенты «уравнивают» все эти модные нынче способы реставрации давно утраченной «внутренней жизни», относительно которой плохо представляют теперь даже, что это такое: наркотический ступор, растворение в «ничто» или ни к чему не обязывающие беседы на темы, имеющие эротический «подтекст».

Когда «внутренняя жизнь» предстает под знаком отмеченного здесь «уравнения», в ее пользу, разумеется, трудно привести рациональные аргументы; гораздо легче сослаться на факт достаточно широкого распространения этого типа «самоуглубления», оставив за собой право его негативной оценки. Так, собственно, и поступил Рихтер, охарактеризовавший все вышеупомянутые формы «Innerlichkeit» как «бегство», «побег» и т. д. Впрочем, и докладчик совсем иной ориентации — писатель Адольф Мушг, однозначно оценивающий поворот к «внутренней жизни» как положительный, должен был начать с размежевания, отделив наркотический способ «самоуглубления» от всех других.

> «Бегство в наркотики...— говорил он,— это пример такого избегания конфликта, которое не только не несет беглецу никакого счастья и никак не ориентирует его, но ведет к более острым конфликтам, угрожающим самой жизни».

Однако любопытно: когда тот же Мушг попытался указать форму «внутренней жизни», альтернативную той, что достигается с помощью наркотиков, он не мог обнаружить в реальности западногерманской культуры ничего, кроме тенденции противокультуры, развивающейся под знаком «Шизо» (американцы в этих случаях говорят о контркультуре, которая была модна в США в начале прошлого десятилетия).

В качестве плодотворного «пути бегства», обещающего, согласно Мушгу, «прогресс», предлагается лишь новый вид помрачения ума средствами искусства, с помощью деформированных и превращенных в свою противоположность способов «эстетического воздействия» на человека. Факт, с поразительной яркостью свидетельствующий о том, насколько прочно и основательно утрачено в современной западногерманской культуре представление о «внутреннем мире» как нравственной сфере, вовсе не чуждой разума (еще во времена Канта, чтобы не углубляться дальше — в греческую античность, мораль и нравственность относились к области «практического разума»).

Вот почему вариант бегства во «внутренний мир», предложенный Мушгом (со ссылками на всеобщий авторитет и в то же время неповторимо уникальный пример вечного беглеца Гёте; характерен и заголовок его доклада: «Гете как пособник бегства»), представляется столь же сомнительным, что и тот, какому он противополагается.

Суть заключается в том, что «внутреиняя жизнь», взятая в истолковании ее швейцарским писателем, исключает возможность жить ею: это не жизнь, поскольку она лишена своего собственного содержания и целиком сведена к переживанию более или менее экстравагантных «состояний». Шизофреническое состояние, состояние душевно-духовной «регрессии», состояние инфантильной «игривости» — совсем не они образуют подлинное содержание «внутренней жизни» (в особенности когда речь идет о внутренней жизни большого художника, такого, как Гёте). Жить этими состояниями нельзя — в лучшем случае с их помощью можно лишь «отключаться» от жизни, в том числе и от «внутренней» («уходить в отключку», пользуясь вполне подходящим здесь выражением алкоголиков и наркоманов); с их помощью и в самом деле можно уклониться от «внешней жизни». Современное состояние «внутренней жизни», многообразно охарактеризованное в материалах того же «8-го Рёмербергского разговора», скорее блокирует процесс образования содержательной внутренней жизни, нежели споспешествует ему. Так что «бегство» в тот род «Innerlichkeit», о котором говорит этот швейцарский писатель, и впрямь скорее предстает как провал в пустоту. Гюнтер Машке в своем язвительном обзоре этой дискуссии, вышедшем под ироническим заголовком «Приходите, поболтаем», назвал его «полным опустошением «я», о внутреннем содержании которого идет речь».

«Внутренняя жизнь» не обладает каким-то особым содержанием, которое было бы в корне отлично от содержания «внешней

жизни»; ибо жизнь едина, она имеет лишь разные аспекты: «внешний», обращенный ко всем людям, взятым вместе, и «внутренний», обращенный к каждому из них в отдельности. Поэтому и в своей «внутренней жизни», в жизни, которую со времен стоиков принято называть жизнью «наедине с самим собой» (но каковую было бы опасным и ошибочным отождествлять с жизнью мифического Нарцисса), и в своей «внешней жизни», осуществляемой совместно с другими и немыслимой вне этой «совместимости», человек имеет дело с одним и тем же содержанием, с одним и тем же «предметом», с одной и той же совокупностью проблем, которую ему предстоит «разрешить для себя», поскольку в их «разрешении» и заключен весь смысл его существования — как теоретический, так и практический. «Внутренняя жизнь» человека — это его бесконечный «внутренний монолог», а вернее — диалог с самим собой, который он ведет «по поводу» жизни, вновь и вновь решая для себя загадку ее бесконечного многоголосья (ведь жизнь говорит с человеком не иначе как голосами «других» людей — как близких, так и дальних). И там, где нет этого совершенно особого диалога, в котором человек говорит с самим собой как с «другим», а с «другим» — как с самим собой — там нет смысла обращаться к слову «Innerlichkeit»: ведь в таком случае мы имеем дело не с «внутренней жизнью», а с простой «отключкой», представляющей ее полную противоположность.

Диалог этот может быть более артикулированным или менее артикулированным; он может быть более развернутым и последовательным или «свернутым», сконцентрированным до отдельных, оторванных друг от друга, но связанных общим единством человеческого «я» выплесков; он может быть более рациональным или, напротив, более эмоциональным, более рефлектированным или, наоборот, исполненным непроясненных импульсов. Однако во всех случаях он ведется на общечеловеческом языке, на языке «актов сознания», в принципе доступных каждому представителю человеческого рода. Причем образцы этого диалога, воплощающие высшую степень его связанности, артикулированности и рефлектированности, естественным образом выливаются в произведения общечеловеческой культуры — произведения эстетического или нравственно-философского порядка, «объективирующие» внутреннюю жизнь человеческого духа.

Характерно, однако, что это понимание «внутренней жизни», взятой в органической сопряженности с существенно важными реалиями человеческого бытия, чем и обусловливается непреложность ее нравственного содержания, не нашло активных защитников на «Рёмербергской встрече»; хотя оно вполне традиционно для европейской культуры и получило свое резюме именно в немецкой классической философии.

Но в том-то и вопрос, включается ли то, что понимают в ФРГ под «Innerlichkeit», в русло немецкой традиции ее содержательно-этического восприятия и переживания? И не представляет ли то, что понимают сегодня под «внутренней жизнью» «левомодернистски» ориентированные западноевропейские интеллектуалы, изверившиеся в возможностях «фундаментальных реформ» (Мушг), а тем самым и в осмысленности «внешней жизни», нечто радикально отличное от того, что понимали под «Innerlichkeit» в прошлом столетии, более того — просто-напросто несовместимое с нею? Наконец, не встает ли здесь рассматриваемый вопрос во всей его глубочайшей антиномичности: либо «внутренняя жизнь» — это то, что издавна понимает под нею западноевропейская культурная традиция, но тогда то, что выдает за нее «левомодернистская» интеллектуально-эстетическая ориентация — это что-то совсем иное, имеющее к ней достаточно отдаленное отношение; либо, наоборот, под «внутренней жизнью» следует понимать то, что на протяжении вот уже почти ста лет выдают за нее представители модернизма в искусстве, психологии и философии, и тогда придется умозаключить, что люди девятнадцатого и более отдаленных от нас веков вообще не знали «внутренней жизни».

Модернистский разрыв «внутренней» и «внешней» жизни — тенденция, периодически выступающая на передний план в западноевропейской культуре после краха очередной авангардистской попытки раз и навсегда «ликвидировать» идеальное измерение человеческого существования, «внутреннюю жизнь» вообще (последней в ряду этих попыток и был «неоавангардизм» 60—70-х годов),— получил, как и следовало ожидать, свое объяснение и оправдание на «8-й Рёмербергской встрече».

Философское объяснение факта углубляющегося—вплоть до их полной несовместимости — разрыва «внутреннего» и «внешнего» в жизни современного человека было предложено уже в докладе Тойниссена. Объяснение отмеченному разрыву Тойниссен дал типично неомарксистское: он связал этот разрыв с продолжающимся «отчуждением» человека от мира, который, по словам западноберлинского философа, «стал для нас еще более чуждым, чем он был для Кьеркегора» (датский мыслитель, которого философы-экзистенциалисты считают первооткрывателем современной формы «Innerlichkeit»).

Более конкретный поворот этому социально-философскому объяснению придал швейцарский социалист Жан Циглер: он попытался само вышеупомянутое «отчуждение» представить как следствие «безвыходного тупика», в который попал мир в связи с проблемой «Север—Юг», результатом чего и явилось «несчастное сознание» западного интеллектуала — сознание невиданного благополучия, достигнутого на фоне безысходной нищеты и голода «третьего мира». «Несчастье» этого сознания, согласно его докладу «Об экзистенциальной ситуации интеллектуалов в конфликте Севера и Юга», заключается в разочаровании в возможности радикально изменить сложившуюся ситуацию, устранить несправедливость; отсюда его бегство от мира, гибельное для него самого.

Весьма характерно, что чем более содержательно толковали участники встречи само понятие «внутренняя жизнь», отправляясь от традиционного представления о ней, тем более пессимистически склонны они были оценивать ее современное состояние (Циглер, Шмид). И наоборот, чем дальше от традиционного понимания «внутренней жиз-

ии» оказывался тот или иной из диспутантов, тем более оптимистически смотрел он на ее нынешнее состояние, отказываясь видеть его антиномичность и парадоксальность (например, тот же Мушг). При этом докладчики второй группы чаще всего ссылались скорее на процессы, сопутствующие «повороту от» публично-внешнего образа жизни, чем на реальные явления, характерные для самой «внутренней жизни».

Эти процессы отмечал Мушг, когда говорил:

«О долгом марше (намек на лозунг Руди Дучке, призывавшего во второй половине 60-х годов к «долгому маршу» против «позднекапиталистического истеблишмента».— *Ю. Д.)* речь больше не идет, зато лучше слышны отдельные люди и группы: где им давит башмак и какой башмак они больше не хотят надевать. Люди получают возможность слышать, видеть и чувствовать; это кажется меньшим, чем ожидали до сих пор, и все-таки является чуточку большим».

Их же имел в виду Рюле, писавший, что в ФРГ

«по ту сторону партий образуется диффузное поле действия нового, антитехнологического, даже романтического умонастроения, которое... все больше разрастается... Лозунги дискуссии сегодня — не уравнивание и социализация, но мир, пригодный для жизни.

Они (эти лозунги.— *Ю. Д.)* раскрываются сегодня с помощью понятий человечности, мягкости, даже с помощью устремлений нового гуманизма»

Обзорно-итоговые размышления Машке по поводу «8-й Рёмербергской встречи» с особой выразительностью показывают, что, подобно тому как уход от утратившей смысл «внешней жизни» еще не означает перехода к жизни «внутренней», отказ от абстрактно-риторической «любви к человечеству вообще» не означает еще возникновения реальной «любви к ближнему».

В самом деле, можно ли «внутренний мир» современного западногерманского интеллектуала, утратившего восприимчивость к вопросу о смысле жизни, «внутренний мир», находящийся в состоянии опустошения и разрухи, рассматривать как сколько-нибудь надежное прибежище, позволяющее спасти от прогрессирующего «отчуждения» то минимально человеческое, что еще поддается спасению в человеке? Можно ли обрести в этом «мире внутреннего» хоть какую-то почву для действительного противостояния, альтернативу реальному абсурду, осуществившемуся «кафкианству» во «внешней жизни» — в жизни бесформенных европейских «мегалополисов», да и в жизни всего человечества, балансирующего на грани термоядерного самоуничтожения? Вопрос тем более резонный, что, как мы помним, в докладе Мушга жизнь «внутренняя» и жизнь «внешняя» оказываются тождественными в одном: и та, и другая существуют под знаком шизофрении и «шизика», как последнего святого, какого достойна еще современная западная цивилизация. И вот в качестве проводника в эту «внутреннюю жизнь» Мушг хотел бы предложить Гёте, изображая его биографию как нескончаемую вереницу «побегов» «в болезнь», «в духовную регрессию», в ни к чему не обязывающую фантазию.

Как ни «грациозно» было построение Мушга, оно явно убедило далеко не всех на «Рёмербергской встрече». Так Иво Френцель, выступивший на дискуссии, воспринял это уклонение от общепринятой рациональности, это узаконение «шиза как главного святого противокультуры» как подлинное бессилие. Френцель оценил альтернативную жизнь» как бегство во «внутреннюю жизнь» и утверждал, что «альтернативисты всех оттенков всегда имели «видение конца времен». Защищая Мушга от этого упрека, Машке утверждает, что подобному представлению об альтернативистах

«явно противоречит часто отмечаемая веселость и легкость альтернативного жизненного стиля, наслаждение конкретно достижимым, вновь обретенное остроумие, а также способ существования, напоминающий богему прежнего типа».

Позитивно ли характеризуют указанные особенности «альтернативный жизненный стиль» и соответствующую ему «Innerlichkeit», не развенчивают ли они его? Ведь все это выглядит таким легковесным — если не сказать: легкомысленным — на фоне глобального безумия, вселенской «шизофрении», апеллируя к которым Мушг обосновывал необходимость соответствующего типа «внутренней жизни», что невольно возникает мысль о пире во время чумы. Можно ли ожидать от извечной богемной разбросанности, хаотичности, необязательности (чтобы не сказать: безответственности) той высшей степени нравственной самоконцентрации и сосредоточенности, той этической насыщенности и накаленности «внутренней жизни», которая так необходима для человечества «в минуты роковые» — а не эти ли «минуты» переживает сегодня ФРГ, Западная Европа в целом, находящаяся в ситуации исторического выбора, усугубленного экономическим кризисом и опасностью превращения Европы в термоядерный полигон?

С тем, как представляет себе Машке настроенческую атмосферу, в которой совершается уход от «внешней жизни» и отказ от абстрактно-риторической «любви к человечеству вообще», диссонируют наблюдения других авторов, высказывавшихся в связи с «Рёмербергской встречей»: Грайнера и Рюле. Согласно одному из них, «новейшее умонастроение на Западе» является очень старым: это — страх. Он господствует в критике культуры и публицистических выступлениях. Метафоры заката (напоминание о шпенглеровском «Закате Европы».— *Ю. Д.)* являются ходячими монетами, хотя и стертыми, но все еще охотно принимаемыми в платеже. Согласно другому, толкующему этот страх гораздо более конкретно, связывая его источник с реальной ситуацией, переживаемой нынешней капиталистической Европой,

«личные и коллективные страхи являются в настоящее время в большей степени выражением общности (судьбы.— *Ю. Д.)*, чем однотипного мышления и поведения, которым были отмечены пятидесятые и ранние шестидесятые годы; беспокойство и возрастающая нервозность явно возни-

кают от закрадывающегося подозрения, что все еще продолжают жить той жизнью, которая уже страдает сухоткой, жизнью, здоровая полнота которой уже утрачена: существует страх перед катастрофой».

Примирить эти два явно диссонирующих заключения относительно того, что составляет суть нынешних интеллигентских умонастроений в ФРГ, можно, лишь поняв второе (страх, доминирующий над современным сознанием, о чем говорят Грайнер и Рюле) как свидетельство о глубинном подтексте первого (легкомысленного инфантилизма и наигранной дурашливости «альтернативного жизненного стиля», о чем пишет Машке, ссылаясь на Мушга). Как происходит совмещение этих, казалось бы, таких несовместимых моментов в одном и том же сознании современного интеллектуала, какова «диалектика» их противоречивого сосуществования,— об этом намекнул Грайнер, развивая идею превращения «апокалипсических» умонастроений в расхожую монету застывших мыслительных «клише» и «обытовленных» словесных штампов:

«Напрасно специалисты в области демоскопии (обычно под нею понимают социологическое исследование общественного мнения.— *Ю. Д.*) пытаются выяснить, действительно ли хуже чувствуют себя люди в наших широтах. Кое-что говорит в пользу предположения, что повседневный оптимизм, который заключается лишь в том, что завтра надеются встать с постели, остался относительно непоколебимым. Повседневность способна перехитрить страх, ближайшая забота каждый раз берет верх над апокалипсисом».

Но страх от этого не исчезает вовсе, он лишь уходит «вовнутрь», заполняя собой все то пространство, которое прежде называлось сферой «внутреннего мира». Как пишет Рюле:

«ненадежность приходит из общественного пространства и вгрызается в сферу частной жизни»; страх образует ее подпочву, также принимаемую подчас за «внутреннюю жизнь». О нем-то и пытаются напомнить, его-то и пытаются вытащить на свет божий западные интеллектуалы, делая это — в силу вышеупомянутой хитрости «повседневного разума» — каждый раз со все меньшим успехом.

«...Критика культуры,— свидетельствует Грайнер,— утопает в картинах разрушения... Однако разговоры о закате текут слишком вяло и многословно, они порождаются не столько действительностью, сколько сознанием, которое все больше идеологизируется».

На фоне этого общего состояния «сознания рутинизированного апокалипсиса» и возникли в ФРГ в течение последних трех-четырех лет умонастроения, в которых упомянутая «рутинизация апокалипсиса» находит свое логическое завершение, неожиданно входя в соприкосновение с тем «подпольным» вопрекизмом, каковой был с такой пророческой проницательностью постигнут некогда Ф. М. Достоевским: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить». Настроение, тревожащее тем более, что ведь никогда еще в истории нашей планеты наш «свет» не был так близок к тому, чтобы «провалиться» в один прекрасный момент в тартарары...

Откровенный имморализм представлений о «внутренней жизни», доминировавших в наиболее значимых выступлениях как на самой «Рёмербергской встрече», так и «вокруг» нее, можно было бы объяснить интеллигентской реакцией на миф о «моральном ригоризме» новых левых экстремистов, который с неизбежностью привел их — якобы! — к принятию «тактики» террора. Эта «тактика» вновь и вновь разоблачала себя начиная с конца 60-х годов,— во-первых, заведя в тупик общедемократическое движение в ФРГ; во-вторых, превратив значительную часть социально активных западногерманских интеллектуалов в «болельщиков» за различные террористические «команды», что вело к разложению и деградации радикального общественного мнения; в-третьих, приведя к общей «брутализации» политической жизни в Федеративной Республике; постольку под сомнением оказался и широко разрекламированный «моральный ригоризм» террористов. а вместе с ним и «моралистический», как таковой. Так в сознании западногерманской интеллигенции возникло очередное клише: автоматически негативная, язвительно-подозрительная реакция на все то, что сопрягается с понятиями морали, нравственными представлениями и т. д. и т. п., вновь — в который уж раз! — толкающая западных интеллектуалов в столь же мягкие, сколь и коварные объятия эстетизма и богемности.

А ведь главным вопросом, так и оставшимся непроясненным, был вопрос о пресловутом «моралистическом» левых экстремистов и террористов. В самом деле, так ли уж «морально» приносить в жертву ни в чем не повинных людей (для одного того только, чтобы «продемонстрировать протест» или просто заявить о существовании «группы протестующих»), не испытывая при этом никаких угрызений совести, наоборот: считая свою деятельность образцом высоконравственного поведения? Не является ли каждая террористическая акция такого рода коренным отрицанием глубочайших основ всякой морали и нравственности вообще и — одновременно — свидетельством того, что люди, ее совершившие, лишены элементарного этического чувства, без которого и нравственное, и моральное сознание просто-напросто нонсенс? Не ставит ли себя террорист по ту сторону морали и нравственности, присваивая себе прерогативы ницшеанского «сверхчеловека», стоящего «по ту сторону добра и зла», обнаруживая тем самым свое тайное стремление, в котором он, быть может, не признался бы и самому себе: стремление жить в обществе, за счет общества, представлять себя «благодетелем человечества» и — в то же самое время — быть свободным от требований, предъявляемых обществом (и человечеством) к каждому отдельному человеку?

Поскольку же «моральный ригоризм» террористов, о котором так много говорят и пишут их «болельщики-симпатизанты», по сути дела оказывается очередной интеллигентской мифологемой (ибо в лучшем случае террористы принимали за свои «этические чувства» эмоции совсем иного поряд-

ка, в природе каковых им никто не помог трезво разобраться), постольку глубоко двусмысленной оказалась и сама реакция на эту мнимость. Стала обнаруживаться, мягко выражаясь, не вполне моральная подоплека слишком уж резкой реакции на «морализм», который, оказывается, тревожил определенную категорию западных интеллектуалов гораздо больше, чем самый разнузданный терроризм. Вот почему объяснить подобную реакцию — вовсе не означает оправдать ее, как того требует безбрежный либерализм, сплошь и рядом совпадающий с бесконечным равнодушием; тем более что и человек ведь — это не животное, живущее по принципу «стимул—реакция», а существо, осмысляющее «стимулы», с помощью которых у него пытаются вызвать (и подчас вполне целенаправленно) известную «реакцию».

Если толковать «внутренний мир» в духе подобной «реакции на морализм», обеспечивающей «второе дыхание» (надолго ли?) модернистскому эстетизму и богемному мировосприятию, то возврат к нему и впрямь можно расценить как бегство (теперь уже без кавычек, нейтрализующих его этический смысл). согласившись в этом пункте с теми участниками «Рёмербергского разговора», для которых, по словам Грайнера,

«старая немецкая вокабула Innerlichkeit была... собирательным термином для обозначения всякого отступления...» —

с тем, правда, существенным дополнением, что это отступление ведет в никуда: «внутренняя жизнь», являющаяся здесь целью, утратила свои подлинно внутренние определения вместе с отвергнутым нравственным ее содержанием. «Опомниться, чтобы вернуться к себе», «прийти в себя, чтобы самоопределиться» — это оказалось для западногерманского интеллектуала не таким-то легким делом после многочисленных «экстазов» авангардистского и неоавангардистского толка, цель которых заключалась как раз в том, чтобы забыться, уйти от себя, уклониться от сурово-непреложного «или—или», столь необходимого для нравственного самоопределения.

Как бы в состоянии похмелья, наступившего после разнообразных «карнавалов» и «хэппенингов» (зачастую вовсе небезобидного политического свойства), после «симпатизантских» радений (мало чем отличающихся от радений болельщиков на спортивных стадионах), завершившихся полнейшей политической дезориентацией, западногерманский интеллектуал задает себе вопросы: «Кто я?», «Где я?», «Где вообще мое Я?», «Не потерял ли я его вовсе?» Это и есть то состояние, что было определено на «8-й Рёмербергской встрече» как поворот к «внутренней жизни», тоска по «Innerlichkeit». Но поворот-то есть, а вот есть ли чем жить во взыскуемом «внутреннем мире», да и сохранился ли он после тех погромов, которые учиняли в нем те же самые интеллектуалы?.. А в общем, смысл ситуации, которую лишь удостоверила эта весьма поучительная встреча, не так далек от того, о чем написал Гюнтер Рюле в своем «Сопроводительном слове к собранию, посвященному внутренней жизни», (оно было опубликовано во «Франкфуртер альгемайне цайтунг» в первый день дискуссии):

«Вопрос состоит в том, может ли еще существовать приватное, когда нестабильность общественных дел вызывает так много страха, и — с другой стороны — не способствует ли ограничение на эгоистических и приватных интересах плачевному состоянию общественных дел? Перед такими вопросами запираются двери прекрасных садов внутренней жизни».

Ю. ДАВЫДОВ

СУДЬБЫ «ЛИТЕРАТУРНОГО ИСТЕБЛИШМЕНТА» В США

Взъерошенный стиль, неестественно взвинченная фраза — давние и почти непременные черты американской журнальной полемики, даже если ее предметом служит такая, казалось бы, «интеллигентная» тема, как состояние национальной литературной жизни. А именно этой теме посвящена статья Брайана Гриффина «Паника среди филистеров», напечатанная осенью прошлого года в журнале «Харперс». Исходная точка размышлений автора — прогрессирующее обветшание, а точнее, разложение того, что он именует «англоязычным американским культурным истеблишментом». «Истеблишмент» даже для американцев может означать очень многое и соответственно переводиться на русский язык по-разному. Характерно, что и сам Брайан Гриффин отказывается тут от строгой понятийности, прибегая к образному описанию. Речь идет о тех, пишет он, кто «сопровождает гроб убогого наследия, завещанного им XX веком,— о престарелых злобных критиках и похожих на призраки столь же дряхлых романистах, о подобострастных редакторах и надменных представителях академической элиты... и об оснащенных компьютерами и фотонабором ведущих издательских фирмах — о всех, кто направлял сей утлый челн по морю «человеческой низости» в течение столь долгого срока и теперь абсолютно запамятовал как отправной пункт, так и место назначения этого изнурительного, всем осточертевшего плавания. Цепляясь, однако, за любую возможность оставаться на глазах у публики и не желая прибиться хоть к какому-то берегу, разномастный экипаж бросает ныне вызов судьбе, прибегая в сердцах

к серии малосимпатичных, относящихся скорее к области литературного позерства эскапад».

Выступление Гриффина — далеко не первая в современной истории США попытка сокрушить бастионы, возведенные концентрирующейся в основном в Нью-Йорке группировкой литераторов, издавна претендовавших на роль законодателей эстетических и идейно-политических симпатий американской «левой» интеллигенции.

Необходимо подчеркнуть, что в своей статье автор не касается немаловажных взаимоотношений литературной элиты и «оснащенных компьютерами и фотонабором издательских фирм», что существенно снижает социальный потенциал его критики. Не затрагивает он и эволюции идейно-политических убеждений, которая накладывала свой отпечаток на лицо «литературного истеблишмента» на протяжении последних десятилетий. Наиболее ценным в его пространной и сумбурной статье представляется справедливое наблюдение, констатирующее упадок былого «бастиона», утрату авторитета критической элитой, теснимой теми самыми «компьютерами» и конъюнктурой рынка массовой литературы, и знаменательная попытка обнаружить в современной литературе США явления, неподвластные литературной моде, наметить критерии более продуктивной литературной критики.

Однако наибольшее внимание Гриффин уделяет традиционной манере действий «семейки», живучей, как все традиционное, несмотря на очевидную смену персонажей на сцене американской критики. Поэтому нам представляется небезынтересным напомнить вехи судьбы «литературного истеблишмента», избранного Брайаном Гриффином объектом критики. В лучшие для себя времена «семейка» (слово «истеблишмент» считалось тогда манерным и малоупотребительным) пыталась втянуть в свою орбиту многих известных писателей, критиков, общественных деятелей. В их числе были «гранд-дама» литературных салонов Мэри Маккарти и «смуглая леди» еще только поднимавшей голову контркультуры Сьюзен Сонтаг, набиравшие с каждым новым произведением силу прозаики Норман Мейлер и Филип Рот, «живая икона» литературной Америки драматург Лилиан Хеллман.

Подъем массовых антибуржуазных движений на рубеже 60—70-х годов привел к резкой поляризации в среде нью-йоркских интеллектуалов. На пробном камне отношения к «новым левым» надломилось сотрудничество издателей ежеквартальника «Партизан ревью» У. Филлипса и Ф. Рава, в течение всех 70-х годов продолжалась полемика между Л. Хеллман и эссеисткой правых взглядов Д. Триллинг, одним из глашатаев неоконсерватизма сделался редактор «Комментари» Н. Подгоретц. Во всяком случае, в своем прежнем качестве «семейка» перестала существовать, и уже в 1968 году один из ее «блудных детей» Н. Мейлер отзывался о бывших коллегах как о «любопытной колонии, очень напоминающей птичник или зоопарк».

«То было,— писал Мейлер,— сборище самых свирепых, эгоистичных, самовлюбленных, идеалистически настроенных, интеллигентных, талантливых, чувствительных, а порой и бесчувственных, внушающих к себе ненависть, работящих, но едва ли не стерильных представителей всего самого лучшего и самого худшего в литературных осадочных слоях страны, накопившихся в ходе длительной иммиграции европейских умов».

Даже в прошлом, по мнению Мейлера, «семейке» была свойственна позиция «ложной величавости и пустой полемичности», в результате чего ее духовные лидеры — руководители «Партизан ревью», философ Сидни Хук и журналист Ирвин Хау —

«оказались у разбитого корыта: их влияние не было благотворным ни для одного видного прозаика или критика.

В политическом отношении,— заключал свой анализ Мейлер,— произошла эволюция от не вполне прояснившего свои взгляды троцкизма до более или менее последовательного тотального антикоммунизма... Если бы к этому моменту вся семейка была сметена с лица земли атомным взрывом, история не оплакивала бы ее членов, а напротив, впоследствии осудила бы их за то, что они сковывали таланты, а не способствовали их высвобождению».

Спустя несколько лет мало кто из наблюдателей духовной динамики Соединенных Штатов сомневался в том, что от нью-йоркского «культурно-идеологического истеблишмента» в его традиционном составе сохранились лишь самые призрачные очертания. Характерной репликой прозвучало замечание литературоведа Р. Пуарье, так откликнувшегося на смерть в начале 1975 года Л. Триллинга — едва ли не самой видной фигуры среди бывшей «семейки», возглавившего в послевоенной Америке поход против радикализма «красных» 30-х годов:

«Собравшиеся на похороны являли собой не сообщество единомышленников, а группу случайных лиц, и уже одно то, что прощальные речи не были произнесены, подчеркивало, что у скончавшегося короля не осталось наследников».

В свете этого свершившегося факта справедливой оказалась недоуменная реакция, которая примерно тогда же сопровождала публикацию объемистой книги молодого критика Р. Костеланца под претенциозным и вместе с тем теперь вполне трафаретным названием «Конец осмысленной литературы» (1975).

Типичная для современного стиля мышления концепция «злокозненного заговора» была спроецирована здесь на обстоятельства, складывающиеся в книжном мире Соединенных Штатов. Основываясь преимущественно на ненадежных домыслах и слухах, Костеланец стремился доказать существование своего рода «литературной мафии», печатающей и продвигающей только «нужных людей» и ставящей палки в колеса молодым непризнанным талантам. В железную когорту «истеблишмента» автор зачислял уже не сторонников определенного идейно-эстетического кредо, а попросту писателей, пользующихся успехом — как критическим, так и коммерческим.

«Доказал ли Костеланец наличие преступного сговора, обращенного против тяготеющей к эксперименту литературной молодежи? — ставила вопрос Д. Грамбах, литературный редактор журнала «Нью рипаблик», и сама на него отвечала: — Нет, этого доказать не удалось. Критик напомнил лишь о том, что справедливо для любой литературной эпохи, а именно: авторитет в сфере культуры неизменно принадлежит старшему поколению, а молодежь ждет своего часа до той поры, пока своим умением, профессиональным мастерством, оригинальностью она не завоюет для себя места на литературном Парнасе. Успех, как правило, достается сравнительно немногим наделенным талантом, а затем приходит их черед поступиться частицей славы в пользу молодых новобранцев».

И надо отметить, что, изучая составленные Костеланцем длинные ряды имен «литературной молодежи», якобы подвергаемой притеснениям, можно было обнаружить среди них немало писателей, получивших в последние годы известность даже за пределами Соединенных Штатов. В их числе (если говорить только о прозаиках) хорошо знакомые нашему читателю Джойс Кэрол Оутс, Роберт Стоун, Энн Тайлер, Майкл Крайтон, а также Ларри Войвуди, Пол Теру, Томас Пинчон. Нельзя не упомянуть и о том, что за последние годы в США выявились новые центры приложения литературных сил. Несмотря на общее ухудшение экономических условий, продолжали возникать все новые и новые бесприбыльные «маленькие журналы», мотыльковый век которых не препятствовал процессу «естественного отбора» среди дебютантов. Для более же зрелого поколения весьма поучительным оказался опыт рубежа 70—80-х годов, когда резкое обострение международной обстановки вынудило некоторых ведущих прозаиков США раздвинуть рамки привычной тематики и всерьез задуматься о ближайших перспективах человечества.

Итак, можно считать, что к началу 80-х годов былое засилие нью-йоркской элитарной «семейки» ушло в прошлое. Однако, как известно, «природа не терпит пустоты», и в образовавшийся вакуум, по мнению вышеупомянутого Пуарье, ворвались «литературные шакалы», вследствие чего «серьезные исследования были во многом вытеснены репортажами на модные темы по принципу «кто кого обгонит».

Еще более резкую оценку этому явлению дает Гриффин, который обрушивается на «мусорщиков от литературы», на тех, кому «доставляет удовольствие копаться в грязи человеческих пороков и заблуждений». Крестным отцом этого поветрия в современную эпоху критик считает «старого порнографа» Генри Миллера. Получив лишь в начале 60-х годов, после снятия ограничений на публикацию его книг, возможность апеллировать к широкой публике в Соединенных Штатах, Миллер с упоением развивал давно выношенные им идеи насчет того, что «цивилизация являет собой артериосклероз культуры». Цивилизация всегда предполагала систему правил и ограничений, когда добровольно, а когда и принудительно налагаемую на себя обществом. По мысли же Миллера, эти правила, то есть моральные принципы, вызывают неизменное внутреннее сопротивление:

«Мы постоянно говорим о них, мы возносим им хвалу, которая, однако, редко бывает искренней... Эти табу — не что иное, как продукт извращенных умов, изобретение трусливых людей, которые просто-напросто страшатся полноценной жизни и под видом морали и религии стремятся навязать всем нам свои закоренные представления о жизни».

Миллеровский имморализм расцвел пышным цветом в современной Америке. В своей статье Гриффин обращает внимание на признаки порчи нравов и извращения художественного вкуса.

И в литературном мире, по мнению Гриффина, слишком часто «культурный шум» возникает вокруг книг, которым вообще необязательно было появляться на свет божий — ну, скажем, по поводу сочинений, посвященных отношениям мужчин и женщин не друг с другом, нет, тут, кажется, все точки над «i» давно расставлены, а с... «наиболее интимными частями» собственного тела, иногда прикрываемыми на античных статуях фиговыми листочками. Находятся тем не менее критики, всерьез «анализирующие» и такую книжную продукцию; это те, для

«которых не играет роли, существует ли на самом деле предмет их рассуждений... Их цель,— пишет Гриффин,— состоит лишь в том, чтобы пустопорожние фразы заполняли отведенное им место на страницах печати, и так неделя за неделей, месяц за месяцем, десятилетие за десятилетием. Этим реликтам «семейки» безразлично, о чем писать — о «Софи делает выбор» Стайрона, о романах Апдайка или о порнографическом боевике. Критика отмежевалась от литературы, и любое сырье годится теперь для бесперебойно крутящейся мясорубки»

Отмеченные в статье Гриффина многочисленные, хотя и разрозненные приметы являют собой в совокупности характерные признаки поверхностного отношения к серьезным вещам, банального глубокомыслия, бесцельного суесловия и мелочности — всего того, чему точно соответствует незаменимое в данном случае понятие «пошлость». Пошлость — это не только «скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины», о чем писал Чехов в «Учителе словесности»; это и псевдоинтеллектуальное выспреннее позерство, и трафаретная мудрость речей «забронзовевших» политиканов. Несмотря на многолетние старания В. Набокова внедрить в английский язык слово «poshlost», оно в нем так и не привилось. Вот почему Б. Гриффин предпочитает говорить об «обыкновенной вульгарности», которая,

«будь то свойством отдельного человека, печатного издания, литературных кругов или нации в целом, всегда представляется крайне нездоровым явлением. Вульгарность,— продолжает автор статьи,— ни в грош не ставя духовное начало, постепенно, тихой сапой вытравляет из жизни все, относящееся к осмысленной, а не

рефлекторной деятельности, к плодотворному интеллектуальному обсуждению и подлинному чувству».

Как считает Гриффин, если не поставить заслона натиску вульгарности в ее многочисленных разновидностях — скудоумию и пустословию, бюрократической заносчивости и этической неопрятности, то может произойти самое страшное, а именно: гибель цивилизации от духовного удушья.

Довольно точно, хотя и не без полемических преувеличений, выделив некоторые «болевые точки» литературно-художественной жизни США, характерные и для начала 80-х годов, американский критик склонен объяснять их существование своего рода «болезнью роста», недостаточной зрелостью национальной культуры. Все дело будто бы в том, что Америка находится ныне в промежуточном положении «недообразованной нации», граждане которой, научившись «читать, писать и судить о достаточно примитивных вещах», все еще не в состоянии «отделять существенное от неважного, серьезные речи от пустого сотрясения воздуха».

«Как жаль,— сокрушается Гриффин,— что Мы считаем теперь читателем каждого встречного-поперечного: и тех, кому близок Плутарх, и тех, кто находит удовлетворение в легковесном чтиве».

Но ведь точно так же судили о «культурном инфантилизме» США на заре нашего столетия Ван Вик Брукс, Генри Менкен, Эптон Синклер и другие критики того, что они именовали тогда «цивилизацией бизнеса».

«Единственный шанс на сдвиг к лучшему состоит в возникновении в Америке аристократической прослойки, которая смогла бы оградить писателя от непосредственного воздействия публики и составила бы «санитарный кордон», противостоящий вмешательству толпы»,— писал Брукс еще шестьдесят лет назад в статье, вошедшей в знаменитый коллективный труд «Цивилизация в Соединенных Штатах» (1922).

И вот та же самая идея повторяется в статье Гриффина:

«Опорой наших надежд на лучшее будущее может быть лишь небольшая, но все возрастающая часть «читающей публики» — более эрудированная, проницательная и широко мыслящая, нежели средний писатель, рецензент или издатель».

Исходя из опыта минувших десятилетий, есть основания полагать, что замена одного «литературного истеблишмента» другим, пусть даже под громким наименованием (как предлагает Гриффин) «демократической аристократии искусств», не поможет решению проблем, стоящих перед литературно-художественной интеллигенцией Соединенных Штатов. Гораздо более плодотворным выглядел призыв критика к «установлению связи между качеством творчества и качеством жизни», или, как об этом говорилось в другом месте его статьи, к «оценке литературы с помощью не только эстетического, но и прочных моральных и философских критериев».

Отведя девять десятых объема своей статьи демонстрации пышного, хотя подчас и дурно пахнущего букета, составленного из разного рода псевдолитературных капризов и искривлений, Б. Гриффин ощутил, однако, и необходимость искать в окружающем американского художника море тривиальности и испорченного вкуса точки опоры с целью утверждения подлинных жизненных ценностей, укрепления нравственного начала. И нужно сказать, что нынешняя ситуация в литературе Соединенных Штатов дает не так уж мало поводов для констатации не просто активного, но и покоящегося на здоровом этическом основании вторжения искусства в жизнь общества. В этой связи можно сослаться на книги Р. П. Уоррена, Дж. Чивера, Ю. Уэлти, Дж. Гарднера, Дж. К. Оутс, Т. Моррисон. Развернутое изложение этой позиции можно было найти в последнее время в литературно-критических книгах прозаиков Дж. Гарднера «О нравственной значимости литературы» (1978) и М. Маккарти «Идеи и роман» (1981), в теоретической, «профессорской» монографии Дж. Граффа «Литература, обращенная против самой себя» (1979). Вокруг выдвинутых в названных работах положений еще не сложилось ни очередной «семейки», ни нового «истеблишмента». Но, думается, в этом нет и никакой особой необходимости, ибо требования деятельного гуманизма и подлинной нравственности, вырастающие из трезвого анализа далекой и недавней истории, без понуждения и подталкивания находят выражение в творчестве каждого обеспокоенного будущим своей страны и всего человечества писателя.

А. МУЛЯРЧИК

◆

Публицистика

ЗАПАД: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ГАРРИ МАУРЕР

БЕЗ РАБОТЫ

ИСТОРИЯ БЕЗРАБОТНЫХ — ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Фрагменты книги

Билли Уонг

Четырнадцать лет работает строителем, специализируясь на настилке полов: кафель, ковер, паркет, линолеум. В облике этого худощавого человека что-то восточное: он наполовину китаец, наполовину ирландец. Он вырос в китайском квартале Сан-Франциско, а сейчас живет с женой и тремя детьми в Редвуд-Сити, рабочем районе с белым населением. У себя дома он с гордостью демонстрирует мне множество комнатных растений и два больших аквариума с тропическими рыбками. Он хотел бы найти работу садовода — «тогда я смогу наблюдать, как все растет и плодоносит».

По данным того дня, когда мы с ним разговаривали, 24 процента строительных рабочих в районе залива Сан-Франциско не имели работы, а среди членов местного отделения профсоюза плотников, в котором он состоит, процент безработных еще выше.

За полгода я не проработал ни одной полной рабочей недели. Самое большее — два-три дня в неделю. А последние семь недель вообще ни одного дня не работал. Нет работы. Я разговаривал с нашим профсоюзным агентом по трудоустройству — говорит, работы нет и не предвидится.

При каких обстоятельствах вас уволили в последний раз?

Работа кончилась, вот и все. Ведь на каждой работе мы остаемся лишь до тех пор, пока ее не сделаешь. Вот, скажем, мы настилаем полы и за день должны выработать столько-то и столько-то, так? Одного здания — двадцатиэтажного дома — хватает нам недели на две. Две-три недели — и работе конец. Тогда идешь в профсоюзный комитет и заносишь свою фамилию в список дожидающихся. Этот список вывешивается на доске объявлений в комитете, и ты можешь заходить и следить за тем, как твоя фамилия перемещается от конца списка к началу. Работу распределяют в порядке очереди. Если ты получишь работу всего на день-два, это не считается. Ты сохраняешь место в списке. А если проработаешь хотя бы три дня, тебя опять поставят последним.

Настроение от всего этого тоскливое. На душе кошки скребут. Ничего делать не хочется. Все противно. Спасибо, у жены моей есть работа, да и мне на этот раз удалось получить пособие, не то я совсем бы дошел. Она работает в аптеке-закусочной. Так что мы ухитряемся кое-как сводить концы с концами.

Иногда я ругаю себя за то, что не избрал себе такую профессию, где работа более постоянна. Потому что моя профессия обеспечивает работой только тогда, когда на стройках оживление; в пору застоя положение наше весьма ненадежно. Вообще, строительство — это сумасшедший дом; конкуренция здесь прямо-таки беспощадная. Вылезают наружу все худшие стороны человеческой природы. Потому что все время приходится конкурировать. Все конкурируют друг с другом. Не только боссы, но и все их подчиненные, вплоть до рабочих. Конечно, каждому хочется устроиться получше, зацепиться за работу на долгий срок. Подставить ножку конкуренту. Вот так и идет все время. Конкуренция — самая ожесточенная. Всегда кто-нибудь норовит словчить. Вот почему я не люблю свою профессию...

Сейчас вот не работаю. Жена уговаривает заняться чем-нибудь, потому что я становлюсь раздражительным. На людей-то я не кидаюсь, нет. Стараюсь держать себя в руках. Но внутри я весь напряжен. Она видит, что я превратился в комок нервов — какая же это пытка сидеть дома в рабочие дни! Пытаюсь найти какое-нибудь занятие по дому, потом выйду, поброжу пешком или на машине, проедусь. Дома места себе

Окончание. Начало см. в № 4.

не нахожу. Кое-кто из моих дружков целый день в постели валяется, дрыхнут. А я бы не смог: все думал бы, что жизнь мимо проходит. Злился бы, что день даром пропал.

Когда не знаешь, куда тебе деваться, или чем все это кончится, или что тебя ждет впереди, поневоле настроишься на мрачный лад. Оглядываешься на прожитые годы, спрашиваешь себя: «Чего ты достиг?» Ну, заимел троих детей, этого не отнимешь. Но чего ты достиг для себя? Ничего! Только надрывался, из кожи лез, чтобы остаться при том же, с чего начинал мальчишкой. Я уж стараюсь поменьше думать об этом: стоит задуматься, как в голову полезут разные крамольные мысли. Ведь, право же, все жаждут сегодня твоей крови. Куда ни пойдешь, всюду конкуренция. Ожесточеннейшая конкуренция. Я часто думаю: а что, если все кончится крахом, что, если будет так же, как во время того кризиса начала тридцатых? А ведь люди тогда были гораздо ближе друг другу. Сегодня ни в ком нет сердечности, все друг дружку ненавидят. Никто никого не жалеет. Всем на всех наплевать. Только и слышишь: «Плевал я на тебя», «Плевать мне на это». Кругом сплошная враждебность. Никому нет дела до встречного на улице: что бы с ним ни случилось — всем в высшей степени безразлично. Каждый задыхается в своей скорлупе. Паршиво это. Помню, когда я был мальчишкой, люди так не жили. Тогда, если ты попадал в беду, кто-нибудь протягивал тебе руку помощи. Ты мог рассчитывать: тебе обязательно помогут. Вот если бы вернулись те времена!

А нынешнее время — тьфу! Повсюду конкуренция. От нее смердит, она все на свете испоганила. Понимаете, борьба не на живот, а на смерть, может, хороша на войне, но сейчас в нашей повседневной жизни от нее просто деваться некуда. Люди превращаются в скотов. Что бы ты ни делал, все время приходится соперничать. Нельзя ни на миг расслабиться. Все время надо быть настороже, следить, как бы кто-нибудь не попытался тебя обставить. А в самые последние годы стало еще хуже!..

Перевод с английского В. ВОРОНИНА

КАК ВЫЖИТЬ

«Одним воздухом сыт не будешь, верно?»

Вечные нехватки, а то и беспросветная нужда — удел почти всех безработных. Одни существуют на пособие; другие — и таких большинство — либо вообще не имеют на него права, либо уже лишились его, а сбережения их давно иссякли. Чтобы выжить, люди прибегают ко всевозможным ухищрениям, начиная с попыток получить пособие в обход закона (что наиболее распространено) и кончая мелким воровством.

Франсиско Сенфуэгос

День-деньской стоит он возле центра по безработице в Хьюстоне, у лотка, где продают жаренные на вертеле ломтики мяса и маисовые лепешки. Тротуар запружен людьми: все ждут вызова. Большинство — латиноамериканцы, многие из них едва говорят по-английски. Он помогает им заполнять документы.

Высокий, широкоплечий, в свои шестьдесят два года он сохранил прямую осанку. Десять лет проработал в угольных шахтах. Когда шахты были выработаны, выучился на слесаря-механика, потом трудился в доках и на стройках, рубил туши и водил грузовик. Он почти не надеется когда-нибудь снова получить работу. «К этому привыкаешь. Хотелось бы работать, но когда старость не за горами, лучше уж получать пособие. Черт с ним, пусть поработают другие!»

Он живет в небольшом домике вдвоем с уже немолодой женой. Дети выросли и разъехались. В гараже он устроил маленькую слесарню. «Мастерю тут рыболовные крючки, блесны, грузила и всякую всячину. Так, ковыряюсь по мелочам». Он начинает вспоминать, и порой трудно отделить в его рассказе недавние события от того, что происходило давным-давно.

Последняя постоянная работа у меня была в компании по производству запчастей для сельскохозяйственных машин. Я поступил туда механиком и протрубил там восемь лет. Стал старшим механиком, потом — помощником мастера.

Но в ноябре 1973-го завод закрыли. Пошли увольнения. Нас осталось всего шестеро. Работали не покладая рук, навели полный порядок, а потом завод продали, и нас выставили вон. Вот тогда я и подал первое заявление в центр по безработице. Я мог получать пособие в течение двадцати шести недель, а продлить его в то время можно было только на три недели.

Я сразу бросился искать работу, но вот в чем была загвоздка: мой возраст, да еще «мокрые спины»[1]. Их тут полным-полно. Платят им по два — два с четвертью доллара в час. Их нанимают даже крупные компании. Ведь белые и легальные иммигранты требуют более высокой платы, а нелегального, попробуй он открыть рот, тут же уволят, и дело с концом. На каждое место десять — пятнадцать охотников, пустовать оно не будет. Знаете, нелегальные часто подделывают вид на жительство. А компании закрывают на это глаза, даже если и знают, что бумаги поддельные. Это легко определить на глаз. Настоящий вид на жительство похож на долларовую бумажку, там по краям мелкие штришки, а на поддельном их нет. Иммиграционные власти проверяют их на специальном аппарате и сразу же видят, что к чему. Но если им позвонить и сказать, что такие-то и такие-то компании нанимают нелегальных, в девяносто девяти случаях из ста они не станут заниматься проверкой. Я пробовал пару раз звонить им, они отвечали: «Мы этим займемся». Но никогда ничего не проверяли. Это, скажу я вам, большое жульничество. Крупные компании откупаются. Дают взятки разным там сенаторам.

Скоро я бросил свои поиски. Понял, черт побери, что это бессмысленно. Я получал пособие по безработице, хотя только

[1] Wetback (америк. жаргон) — нелегальный иммигрант из Мексики, переплывший реку Рио-Гранде *(прим. перев.)*.

на бензин у меня уходило долларов пятнадцать-шестнадцать в неделю. Это не считая того, что мне давали парни: было двое таких, которые приносили мне каждую неделю шесть-семь долларов. На все эти деньги мы заправляли мою машину и колесили в поисках работы.

А сейчас я почти все время провожу возле центра по безработице. Прихожу сюда в четверть восьмого утра, ухожу в полтретьего — три. Помогаю заполнять бланки. Вы их видели когда-нибудь? Так вот, большинство людей понятия не имеет, как это делается. Я заполняю им бланки и говорю, что нужно делать потом, к какому подойти окошку и все такое прочее. И когда они заходят, то уже знают, что к чему.

Этим я начал заниматься еще в 1965-м. Когда компания, где я работал, переехала и оставила меня с носом. Отправился я за пособием в этот самый центр. Пока возился тут со своими бумагами, заметил, что на улице какой-то старик заполняет людям бланки. Медленно так, еле-еле. Оно и понятно, старик. Заполняю я свои бланки, а рядом стоит одна дама. Только освободился, она и спрашивает: «Вы не заполните мои?» — «Ладно»,— отвечаю. И заполнил. Тогда она говорит: «Вот, возьмите».— «Что это?» — спрашиваю. «Пятьдесят центов»,— отвечает. «Да нет»,— говорю. «Возьмите, возьмите,— настаивает она,— это как раз столько и стоит». Дает она, значит, мне пятьдесят центов, а следом подходит какая-то девушка, за ней — парень, короче, я остался, и стал заполнять бланки, и ушел почти с восемью долларами в кармане *(смеется)*. «А ты будешь здесь завтра?» — спрашивают меня. Я удивился: «Завтра?» — «Ну да. Сюда придут несколько девушек. Нужно, чтобы кто-нибудь заполнил им бланки».— «Ладно,— говорю,— ириду». Являюсь на следующий день в полвосьмого утра, а девушки уже ждут. Принимаюсь за дело и приношу домой двадцать три доллара. Я стал приходить сюда каждый день, и скоро меня уже все знали. Этим делом я занимался месяцев девять, пока не нашел работу.

Когда компания по производству запчастей для сельскохозяйственных машин прогорела, пришлось опять идти за пособием. Как-то раз подходит ко мне парень и говорит: «Ты ведь раньше заполнял бланки, верно?»—«Да»,— отвечаю. «Заполни мои»,— просит. Я заполнил, а потом сказал себе: черт побери, почему бы снова этим не заняться? В центр ходили многие, кого я уже знал, и я стал им помогать. Часто отправлялся на поиски работы, а потом опять принимался заполнять бланки. Но года два назад все пошло прахом. Времена настали — хуже некуда. Полный застой. На фабриках, в мастерских, на стройках — повсюду. В центре теперь постоянно толклись люди, сотнями. Я понял: места мне не видать как своих ушей. И перестал искать работу. Ее просто не было. Так что каждый божий день я топаю сюда. Само собой, работать куда лучше, но работы нет, вот и приходишь, людям помогаешь...

Дают мне и двадцать пять центов, и пятьдесят — кто сколько может. Домой приношу семь, десять, двенадцать, а то и пятнадцать долларов. Смотря сколько приходит народу. Бланки тоже бывают разные. Был тут один парень, так бланк у него, боже ты мой милостивый, страниц на тринадцать, и на каждой — по десять вопросов с обеих сторон. И ведь на все надо ответить. Парни, у кого такие бланки, обычно с понятием. Дают два доллара. А иной норовит и провести, кинет тебе четверть доллара и — адью *(смеется)*.

Видели, ходит здесь один псих? Цветной парень, он еще при галстуке? Самый настоящий псих. Вечно глотает таблетки. Заполнит кому бланк и говорит: «С тебя доллар». За это могут и притянуть, за вымогательство. Я делаю так. Говорю: «Сколько дадите». Сколько ни дадут — и ладно. Дадут четверть доллара — отлично. Частенько приходит одна молодая особа, вот от нее я держусь подальше. Не хочу иметь с ней дела. Принесла мне как-то кучу бумаг и за все про все дала десятицентовик. Как завижу ее — полный назад *(смеется)*. Девушка неплохая, но ведь... Говорю ей както, а у самого уже шесть клиентов: «Видишь,— говорю,— вон того парня?» — «Вижу»,— отвечает. «Он,— говорю,— тоже заполняет бланки. Иди-ка ты к нему». Идет она к нему, и очень даже скоро он подходит ко мне и говорит: «Знаешь что?» —«А что?»— спрашиваю. «Я заполнил той девице бумаги, и сколько, ты думаешь, она мне дала?» — «Десять центов».— «Откуда,— удивляется,— ты это знаешь?» *(смеется)*.

Джорджо Рикуперо

Профессия — инженер-электрик. Родился и вырос в Италии. Там же получил образование. В Соединенные Штаты приехал в 1951 году. «У меня были в Нью-Йорке родственники, они писали: «Приезжай в Америку, это — рай». Сначала было трудно. Пробовал я устроиться в ряде мест — ничего не вышло, там требовался специальный допуск. Через несколько лет с этим стало полегче, и допуск я получил. Мало-помалу становился на ноги. Где только не работал — на Юге, на Востоке, на Западе, на Среднем Западе. В конце концов поступил служить в одну авиакомпанию и проработал там около одиннадцати лет. Последняя должность — инженер группы перспективных систем: был уже на руководящей работе».

Ему шестьдесят. Худощав, подтянут. Редкие седые волосы. Очки в металлической оправе. Сильный итальянский акцент. Живет на Лонг-Айленде. Семь лет как не работает инженером.

Когда увольняют, особенно тяжело первое время. Совсем подавленный ходишь. Шутка ли — ни на что больше не годен! О компании думаешь с ненавистью — уж они-то могли оставить тебя, если бы очень захотели, тем более теперь, когда ты на руководящей работе и завязал столько связей. Что касается связей... Не успели тебя уволить, как все друзья, даже самые близкие, начинают сторониться тебя. Видимо, думают: «Будешь с ним близок попрежнему — придется что-то для него сделать». Потому и отдаляются. Со временем-

то они к тебе вернутся, но на первых порах трудновато.

Вначале уйму времени тратишь на то, чтобы где-то устроиться. Пишешь резюме. Разослал я их, наверно, не меньше трехсот пятидесяти. А потом сдался. Теперь с этим — все, покончено. Ответы звучат очень мило. Формулировки одни и те же: «Бесспорно, Вы обладаете ценным опытом работы в данной области, но в настоящий момент подходящей для Вас вакансии нет. К большому сожалению. мы не можем предоставить Вам работу. Ваше резюме будет храниться у нас в картотеке, и, возможно, в течение следующего года Вы получите положительный ответ». И все. Больше от них ни слуху ни духу.

...Стал я мастерить игрушки. Из дерева. Сперва соорудил маленький локомотив с тендером, вагоном-платформой и служебным вагоном. Раскрасил в разные цвета. Теперь делаю до полусотни игрушек — самых разных видов. Тут и лошадки, и лошадки-качалки, и пожарные машины... Древесину беру самую разную. Дешевле всего игрушки из сосны и пихты. Те, что подороже,— из дуба, клена, даже из вишни. Один из моих клиентов как-то заметил: «У вас игрушки только для мальчиков. Почему бы вам не придумать что-нибудь для девочек?» Ну, я и принялся мастерить колыбельки, домики для кукол...

Расходов ужасно много: газ, электричество, оборудование... Работаю у себя в гараже. Оборудования там полным-полно: пилы, сверлильные станки, токарные станки — три тысячи вложил в это. Работаю практически один. Правда, немного помогает сын. Нанять кого-то в помощь — целая история: пришлось бы выплачивать и страховку по безработице и по нетрудоспособности и кучу налогов. По правде говоря, даже сейчас, и с маленькой мастерской, хлопот не оберешься. И продать-то ничего не успел, а с тебя уже требуют денег. Лицензия на ведение дела — это двадцать долларов, лицензия на торговлю — опять двадцать долларов... Еще и к делу не приступил, а уже выложи два раза по двадцать долларов. И все-таки не стоим на одном месте — в первый год продали товара почти на шестьсот долларов, спустя год — примерно на тысячу восемьсот, а еще через год выручили около трех тысяч. Доходы вроде бы растут. Но растут и налоги, и цена на сырье, так что увеличивается прибыль в целом, но не чистый доход. Я бы сказал так: с этих трех тысяч я имею чистыми от силы восемьсот долларов. И это за целый год работы. Правда, работа доставляет мне удовольствие. И потом, я вижу, здесь можно развернуть большое дело. Конечно, без денег не разбежишься. Мне, например, нужна просторная мастерская, и я хотел бы выставлять свои игрушки. Обошел несколько маленьких торговых центров: за витрину шириной в фут требуют в месяц семьдесят пять долларов. А за крошечную мастерскую запросили чуть ли не триста — четыреста долларов в месяц. Такие расходы мне не по карману. Вот и приходится пока обходиться гаражом. К счастью, работы хватает, особенно на рождество.

Недавно мы с сыном придумали что-то вроде генератора шума для модели локомотива. Это уже электроника. Берем транзистор, подсоединяем его противоположными полюсами, и он превращается в генератор шума. Издает звук: ш-ш-ш-ш. А с помощью малюсенького приспособления начинает пыхтеть, как паровоз... Самое настоящее электронное устройство, можно вмонтировать в локомотив. Еще построили кораблик с электронным рулевым управлением. Так что не совсем забросил свою специальность.

Но почти потерял надежду опять когда-нибудь вернуться к работе с электронной техникой. Наука и техника развиваются, и если, что называется, не держать руку на пульсе, безнадежно отстанешь. Сейчас столько всего нового, особенно в области военной техники. Совершенно новые классы систем, о которых я имею весьма смутное представление. Не говоря уж о том, что нет никакой возможности хоть мельком взглянуть, как они действуют...

В ПОИСКАХ РАБОТЫ

«Дайте мне шанс...»

Для некоторых самое тяжкое — это поиски работы, особенно если они затягиваются на долгие месяцы. Людей охватывает горькое разочарование постоянные отказы подтачивают чувство собственного достоинства даже у самых стойких.

Кристен Джекобс

Ей двадцать два. Недавно окончила Мичиганский университет. Имеет степень бакалавра искусств и опыт библиотечной работы. По окончании учебы на протяжении года преподавала по специальной программе, субсидируемой правительством. Но вот срезали фонды. «Я страшно расстроилась, просто вне себя была от негодования. Работа увлекла меня, я отдавалась ей всей душой, знала, что мы приносим пользу. Тяжело, когда у тебя выбивают почву из-под ног». С тех пор она без работы — четырнадцать месяцев.

Срок государственного контракта истек в июне, а о том, что новые исследования финансироваться не будут, я узнала только в октябре.

С потерей работы все переменилось. Я ощутила полную свою беспомощность. Стала раздражительной. Работу принялась искать лишь в январе. А до того сидела дома и поедом себя ела. «Что толку от моего диплома? — говорила я себе.— Бездельничать меня не учили, а то, чему учили, делать не хочу. Что же получается? А то, что я осталась ни с чем. Что же теперь делать?» Я никак не могла придумать, что теперь делать. Единственное, на что могла рассчитывать,— стать, если повезет, секретаршей, а это куда хуже, чем торговать в какой-нибудь паршивой лавчонке *(смеется)*.

Наконец, решила: пойду в университетский центр по распределению специалистов. Разволновалась. Ну хорошо, думаю, у меня есть кое-какие способности. Я разбираюсь в искусстве, умею рисовать. Правда,

у меня нет способностей ни к бухгалтерскому делу, ни к канцелярской работе, ни к торговле, ни к распродажам. Зато у меня есть такие качества, как, например, чувство ответственности *(смеется)*. Качества не деловые, не поддающиеся определению. Пойду-ка туда, думала я, вдруг мне там помогут. Условилась с одним человеком о встрече, пришла и объяснила, чего бы мне хотелось. «Перебирайтесь в Даллас»,— сказал он. «Почему?» — удивилась я. «Перебирайтесь в Даллас или Хьюстон,— повторил он.— Здесь вам работы не найти. Вы сумеете найти работу только там».— «А вы не можете помочь мне? — спросила я.— Подскажите хотя бы, что можно подыскать?» — «Возьмите,— сказал он,— справочник профессий. Вон ту толстую книгу. Все, что я могу вам предложить, это просмотреть ее, может, вы и отыщете там дело, которое придется по душе».— «А что дальше?» — спросила я. А дальше я должна была написать резюме, обойти все агентства общественных услуг и подать не меньше шестисот заявлений. О предоставлении мифической работы, я это знала. На тот случай, если вдруг подвернется что-нибудь такое, чем я смогу заниматься последующие десять лет. Когда я об этом услышала, то чуть не расплакалась. «Не может быть,— сказала я,— что найти работу так трудно. Не может быть».

Я была просто раздавлена. Но все-таки написала кучу резюме и стала следить за объявлениями в газетах. Ничего подходящего. Всюду требовались люди без квалификации. В официантки идти я не хотела. Канцелярской работы — вообще никакой. В колонке «Профессии» три четверти объявлений приглашают медсестер. Одним словом, ничего подходящего. Мне удалось раздобыть государственный бюллетень, где печатаются объявления о найме «специалистов». На работу, которой меня не обучали. У меня же просто был диплом, дающий право искать такую работу.

Я хочу что-то делать. Найти применение своим умственным способностям. Знаете, в средней школе и колледже, там все время говорили: «Ну, женщины, как только выйдете отсюда, сумейте показать, на что способны». «Женщины — тоже люди»,— заявляли они. И вот тратишь шесть лет жизни на то, чтобы вычеркнуть из памяти предыдущие пятнадцать, и хочешь доказать всем: «Эй, вы, я тоже личность. Я что-то могу. Я в самом деле чего-то стою». Едва, наконец, поверишь в это, как вдруг получаешь тычок в зубы: «Видали, нашлась личность! Да ты никем, кроме секретарши, быть не можешь. Знай свое место».

Я стала наведываться в центр по безработице. Беседы с некоторыми сотрудниками оставляли у меня более чем неприятный осадок. «Что бы вы хотели?» — обычно спрашивали они. «Быть занятой полный рабочий день и получать по меньшей мере три доллара в час».—«Полный рабочий день и три доллара в час — такой работы у нас нет. Мы можем предложить вам — вот, пожалуйста, два доллара пятьдесят центов за двадцать часов в неделю». — «Этого не хватит даже на то, чтобы уплатить налоги»,— возражала я. «Извините, но это все, чем мы располагаем». Только один раз — один-единственный! — нашлась работа, которую я, может, и получила бы. Требовалось менять микрофильмы в кинопроекторе. Только и всего. Оплата — три доллара шестьдесят центов в час. Кажется, тридцать часов в неделю. Я позвонила туда, и выяснилось: у них лежит уже триста заявлений *(смеется)*. Как видите, шансов почти никаких.

Сотрудники центра не только не могли ничего предложить, но даже не пытались отнестись ко мне по-человечески. И вообще, мое положение их не трогало. Кто я такая, чтобы надеяться на заработок в два доллара пятьдесят центов в час за неполный рабочий день? Помню одну даму. Я вошла к ней и сказала, что ищу место, где платят не меньше трех долларов в час. Объяснила: чтобы выплачивать налоги, мне нужно зарабатывать по крайней мере четыреста или пятьсот долларов в месяц. Она сказала: «Подождите, я посмотрю картотеку». Уходит, справляется в картотеке и возвращается. Предлагает место ночного портье в каком-то отеле или мотеле, где несколько месяцев назад кого-то пристрелили. «Вы шутите? — спрашиваю.— Вы хотите, чтобы женщина ночью работала в отеле, где нет охраны и недавно застрелили человека? Это все, что вы можете предложить?» — «А чего, собственно, вы ждали?» — спросила она. «У меня,— отвечаю,— университетский диплом. Правда, особой квалификации у меня нет, но есть способности. Ведь учиться надо на любой работе».— «Ничего другого нет,— отрезала она.— И сами вы тоже ничего не найдете».

Подобное отношение — в порядке вещей. Оно словно подразумевает: «Еще одна явилась. Ищет работу, когда работы нет и в помине». Даже воздух в этом бюро пропах безнадежностью. Я знаю, там есть люди, которых это действительно волнует, но, если поработать там немного, работа неизбежно станет в тягость. Потому что тебе нечего предложить людям. Вероятно, в отдельных случаях — можно, но подавляющему большинству ты помочь не в состоянии. Вот какая складывается ситуация: они не могут тебе помочь, а ты отчаянно цепляешься за них. Продолжаешь ходить туда и надеяться: «Вдруг сегодня да повезет. Вдруг мне ответят приветливо. Вдруг мне не понадобится выстаивать длиннющую очередь». А уходя, думаешь: «Дура ты, дура, и зачем только ходишь сюда? Никуда они тебя не устроят».

Со временем мне стало казаться, что я тупица и не способна справиться ни с какой работой. Я часто думаю о своем будущем. Вечно меня преследует страх остаться без гроша и бродить по улицам, тщетно пытаясь найти работу. Как в мелодраме — стать пьяницей и кончить свои дни в сточной канаве. Я очень живо представляю себе это. Боюсь, со мной случится нечто похожее. Такое у меня иногда появляется ощущение.

Снова и снова я оказываюсь в тупике, потому что о многом догадываюсь заранее. Спрашиваю у всех: «Ну хорошо, так что же мне делать? Вы можете хоть как-то меня сориентировать? Хотя бы указать те виды работ, на которые я имею право?» И все мне отвечают: «Нет, извините, но мы

не можем вам помочь». И меня охватывает возмущение нашим правительством и нашей экономической системой. Мне отвратителен большой бизнес. Ведь они делают деньги и сами же их загребают. А рядового, простого, обыкновенного человека просто-напросто смешивают с грязью.

МОЛОДЕЖЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ

«Места тебе не видать...»

В любом американском городе, большом или маленьком, среди молодежи национальных меньшинств высок процент тех, кто по окончании школы годами не может найти себе место, пробавляется случайными заработками. Сегодня число безработных юношей и девушек достигло астрономической цифры — сорока процентов. Причины хронической безработицы очевидны: это и отсутствие профессиональных навыков, и нехватка учебных заведений повышенного типа, и перебазирование промышленности из крупных городов, и расовые предрассудки. Самое удивительное, что молодые люди, о которых здесь пойдет речь, все еще чего-то ждут от будущего.

Карен Льюис

Заштатный городок на юге Миссисипи. Мы сидим на крыльце обветшалого деревянного дома. Ей двадцать два. Миниатюрная темнокожая женщина. Двое детей. Мужа нет. Почти никаких видов на будущее, если не считать того, что она проходит курс деловой подготовки в производственной школе, которая находится в главном городе округа, в двадцати пяти милях отсюда. За ее обучение платит государство — в рамках Программы профессионального образования и занятости.

Сначала она говорит спокойно, сдержанно. Но едва речь заходит о городке, жизнь которого все еще подчинена стародавним расистским законам, в ее голосе появляются горькие нотки. Это голос человека, который попал в западню, но не смирился с этим.

Я окончила среднюю школу и поступила на работу в «Талверт индастриэл». И бросила ее, уж очень это было далеко от дома. Получила место в «Олтри фэшн». Шила мужские рубашки. За день нужно было сшить столько, что я не успевала. Проработала там восемь месяцев. Обычно тебе дают три месяца испытательного срока и, если ты не отвечаешь их требованиям, отказывают. Меня хотели оставить, их моя работа устраивала. Но там есть одна леди, если она скажет, что ты ей не нравишься, и не захочет, чтобы ты работала, работать ты не будешь. Однажды на уик-энде мы с ней поспорили, а на следующей неделе меня уволили. Сказали, что я не справляюсь, но я знала, это из-за нее. И ушла.

Кроме как на «Олтри» и «Фрёлинг электроникс», работать здесь почти негде. Тут есть карьер, где добывают гравий, а еще у нас делают крошечные скалы из натурального камня для аквариумов. Я обратилась туда. Сейчас, сказали мне, никого не нанимают, позже — будут. Велели зайти через неделю, а когда я пришла, они уже взяли белую девушку. Если у тебя нет знакомств среди белых, места тебе не видать. Я сидела без работы почти полгода. Получала пособие — тридцать пять долларов в неделю. Когда срок вышел, я подумала: единственный способ найти работу — это получить какую-нибудь профессию. Решила поступить в производственную школу.

Чем здесь в принципе занимаются черные после окончания средней школы?

Если появляется семья, дети, живут за счет благотворительности. Если нет — уходят из городка искать работу. Мужчины большей частью устраиваются на железной дороге или занимаются рыболовством. У Фрёлинга они получают гроши, Фрёлинг знает: они будут делать все, что им прикажут. А на лесопильном заводе работать очень тяжело. Там в основном черные, белые не идут на тяжелую работу.

А почему вы не обратились в благотворительную организацию?

Обращалась. В марте, когда истекло пособие. И только в июле получила первый чек. При этом мне было сказано, что я должна снова пойти за пособием по безработице. Оказывается, его можно было продлить. Поэтому я получила от них один-единственный чек, а потом уже жила на пособие. Пособие больше. И даже когда оно стало опять подходить к концу и мне давали лишь семнадцать долларов в неделю, я решила обойтись без благотворительности. Не хотелось больше связываться с ними. Им нужно знать, с кем ты встречаешься, и домой они к тебе приходят, проверяют. С ними никто не хочет иметь дела, разве что лентяи из лентяев. Но я ни за что не хотела, и мама сказала: «Забудь об этом».

В конце концов я пришла к мысли, что лучший выход — школа. Городок-то ведь небольшой. И всем заправляют белые. Самый что ни на есть верный способ получить работу — свести знакомство с кем-нибудь из них. Вот та леди, из-за которой меня уволили, выполняет у босса работу по дому, потом идет на фабрику, а жалованье получает одно. Приходит к нему и в семь приступает к работе. Боссу нужно быть на фабрике к семи. Она отводит в школу его маленькую дочку. Потом делает уборку и готовит. После этого отправляется на «Олтри фэшн» и работает до восьми вечера. Это если ей не надо опять идти к боссу и заниматься готовкой. Она работает на двух работах, а жалованье получает одно. Будьте уверены, ее-то они не уволят.

Белым нужно знать твою семью. Если бы кто-нибудь знал мою мать или отца, я бы получила работу. А раз их никто не знает, дело плохо. Если бы пришла устраиваться не я, а другая черная и леди в отделе кадров хорошо бы знала ее семью — ее тотчас бы взяли. Леди в отделе кадров — главнее всех. Потому что к ней все время обращается босс. «Вы ее знаете? — спрашивает он.— Думаете, она подойдет?» И если она отвечает «да», вы приняты.

Каким образом вы можете познакомиться с белыми?

Если твоя семья не работает на белых, с ними можно познакомиться так: уставишься на них и улыбаешься во весь рот *(смеется с издевкой)*. Если скажешь «Да, са-а-ар» или что-нибудь в этом роде. А заставят тебя есть землю, будешь делать и это. Только так. Ведь у нас в городке еще живо рабство. Оно длилось так долго, что большинство людей до смерти боятся взять и заявить: «Рабства больше нет. И я буду делать то, что хочу». Есть места, куда вход тебе воспрещен. Например, в аптеку, где маленький прилавок с мороженым. Если ты — черный, сидеть там не смеешь. И в кафе с парадного хода черные не заходят, черных не проведешь. На кухне есть столик, там и сиди.

Есть тут один человек, зовут его У. Б. Дэвис. Он дает в долг под проценты. Если он хорошо тебя знает или ты ему должен — идешь к нему и говоришь, что тебе нужна работа, а то в следующем месяце не сможешь уплатить по счетам. Он берет трубку, звонит, и работа тебе обеспечена. Без дураков. Неважно где, важно, что обеспечена. Нет вакансий у Фрёлинга, он будет обзванивать всех подряд, пока не найдет тебе место. Если ты на самом деле им не нужен, он говорит, что тебе осталось выплатить ему последний взнос, и они берут тебя. Когда ты получаешь первый чек, тебя выставляют. Вот почему многие у нас говорят: если хочешь сохранить работу, оставайся его должником. Будь ему хоть немного, но должен.

А почему вы не заняли денег, чтобы получить работу?

Или ты по гроб жизни будешь у него в должниках, или тебя уволят. Мне бы не хотелось через какое-то время снова очутиться у разбитого корыта.

Я знала, найти работу будет трудно, но что это будет так трудно — не ожидала. Ведь я слышала от стольких людей: получишь среднее образование и будешь иметь работу. При чем здесь среднее образование? Ты можешь окончить восемь классов, но если белый знает тебя, ты получишь работу; а можешь иметь университетский диплом, но если он не хочет, чтобы ты работал, ты работать не будешь. Пока не уберешься из городка. Пусть белая леди — тупица, пусть не умеет даже расписываться, а я заполню заявление без единой ошибки — ее кожа посветлее моей, и работу получит она. А я поплетусь домой и начну все сызнова.

Моя подруга Салли окончила колледж и получила степень магистра. Подала заявление в бюро по делам благотворительности. Там ей прямо сказали, что черных не берут. Сказали бы хоть: «У нас нет вакансий». А то прямо в лицо: «Черных не берем».

Сейчас я учусь на секретаря-машинистку. Осталось еще семь месяцев. Учимся вести документацию, составлять картотеку, английскому, математике, машинописи, делопроизводству, бухгалтерскому делу, а еще нас и манерам учат. То есть как вести себя на людях, следить за своей внешностью и все такое прочее. Я рада занятиям: дадут потом работу или нет, все-таки чему-то научишься. Пусть даже и не получишь работу по специальности. Чтобы поступить на государственную службу, к примеру на почту, нужно пройти специальный тест. И в большинстве случаев приходится покидать Миссисипи. Потому что здесь никто не допустит, чтобы черный работал на почте или в банке. Ни в коем случае. Работа на почте — не для черных. Тебе, конечно, позволят разносить почту по домам, но о конторе нечего и думать. Чтобы ты работал за окошком — ни за что. Если их послушать, черные не имеют на это права.

И все до одного знают: ни за одним окошком здесь не появится ни один черномазый.

Микки Элдридж

Он живет с женой и двумя сыновьями на самом юге страны. В старом городке, который некогда был важным торговым портом. Со временем река проложила себе другое русло, и величественные старинные здания глядятся теперь в живописную заброшенную заводь; разве что иной старик забредет сюда вечером половить рыбу.

Ему двадцать три. Веселый, живой. Видимо, его не столько возмущают, сколько озадачивают экономические трудности и политика расизма, принуждающие многих черных обитателей городка проводить долгие дни за бутылкой и домино на углу Рыночной и Сосновой улиц.

Я потерял постоянную работу в августе прошлого года. Почти год и две недели назад. Работал аппаратчиком в Атланте, Джорджия. Когда вернулся из армии, работы здесь никакой не было, вот и подался туда с семьей. Потом заболела теща, и пришлось выбирать — или всем возвращаться, или одной жене. Я подумал: меня так долго не было в родных краях, может, там что переменилось. И мы вернулись. С первого же дня стал искать работу. Но только стоящую, чтоб показать свои силенки. А требовались лишь сезонники: скажем, собирать хлопок или перетаскивать его на маслобойню. Поработаешь месяца три, а потом сиди без дела. Такая работа не по мне. И еще я понял: ничего не переменилось. Наоборот, стало еще хуже.

Что значит хуже?

И не спрашивай, дружище. Идешь и видишь: стоят на углу парни, кто со степенью магистра, кто с учительским дипломом,— курят травку или пьют. Пытаются понять: «На черта мне это было нужно, если оно так и пойдет?»

Я бродил по улицам, все спрашивал себя: «Почему? Почему я должен здесь торчать? Что происходит в этом городишке? Почему здесь не так, как в других местах? Почему нет работы?»

Разговорился как-то с одним человеком, который метил в мэры. Я возьми и спроси его: «Вот станете вы мэром, будет тогда в городе работа?» — «Если начистоту,— отвечает он,— есть люди, которые хотели бы построить в городе фабрику. Но всем тут заправляют трое богатеев. Пока люди бу-

дут ишачить на их плантациях и фермах за доллар и семьдесят пять центов в час, ничего не выйдет. Они не хотят, чтобы здесь были фабрики. Боятся, что тогда им — крышка». И правда, к чему им конкуренция? Зачем соседство других богатеев? Я знаю кое-кого, кто на них работает,— попади они в беду или случись еще что... Вот вам пример. Есть тут такой Стив Чарлтон, у него полгорода в кармане. Если кто из его парней убьет кого или застрелит, он просто-напросто берет ключи от камеры, идет и выпускает их. Как-то хотел он освободить из тюрьмы одного парня. Ему отвечают: «Мистер Чарлтон, мы не можем его выпустить». Тогда он и говорит: «Или вы его выпускаете, или ноги вашей тут не будет, на моей земле». Ну, и выпустили, конечно. Эти богачи никому не дают ходу. Все хотят себе заграбастать.

Вот парни и ошиваются на углу. Безработица. Я спросил одного: «Для чего ты поступал в колледж?» Он ответил: «Думал, со степенью будет легче. А оказалось, я даже не могу найти работу». Он согласен на любую работу, и я ему верю. Безработица — дело скверное. Парни начинают прикладываться к бутылке. Люди, которые и глотка в рот не брали, становятся пьяницами. Те, кто только баловался травкой, курят ее уже вовсю. И никого это не удивляет. Парни начинают путаться с чужими женами. Я заметил: когда парень без работы, дома — скандал за скандалом. Чаще срываешься, и все такое. Потому что целый день торчишь дома. Конечно, поводов для ссор больше, чем если бы парень ушел в семь утра и пришел полчетвертого. Целый день дома, рехнуться можно. Жена говорит: «Ты не ищешь работу». Это его злит, ведь найти работу он не может. Она тоже злится: хочет, чтобы муж приносил деньги. Ей нужно вести хозяйство, а он помочь не в силах. И вот он идет на угол и ломает голову, где бы раздобыть денег. Домой вернуться нельзя — жена поднимет шум, и вот получается, что он уже затесался в эту компанию, курит до одури, не может обойтись без выпивки, а к вечеру на ногах не стоит. Домой добирается в полной отключке...

У меня уже установилось что-то вроде распорядка. Встаю, скажем, часов в шесть утра и — сюда. Все сюда приходят, на угол Рыночной и Сосновой. Люди знают: если им потребуется кто — нужно идти сюда. Они подходят и спрашивают: «Хочешь денек поработать?» Так что иногда торчишь тут целый день. Сидишь, калякаешь о том о сем. Преимущественно этим мы и занимаемся: сидим и болтаем о том, сколько политиканов уже обанкротилось *(смеется)*. Обсуждаем кучу вопросов. В голове у черных чего только не вертится. У многих — на белых зуб. Они рассуждают: «Как это так все время получается: если белый украдет — значит, он был не в себе? Или поубивает прорву народу, и опять — был не в себе? А сделай что-нибудь черный — тут же его вешать?» Закон существует только для белых. Черных закон преследует. Знаете, тюрьмы здесь набиты битком. До безработицы мы о тюрьме и слыхом не слыхивали. Ну, засадят одного-двух. А теперь парни воруют, и тюрьмы набиты битком.

На углу тебя так и тянет ввязаться в спор. До хрипоты спорим о политике. Тут, на углу, умеют шевелить мозгами. Слабоумных не держим *(смеется)*. Самые башковитые — обычно алкоголики и наркоманы. Это все потому, что деваться им некуда, а отключиться просто необходимо. Многие из них недовольны теперешней системой, а выразить свой протест не умеют. Вот и надираются. Купят пару галлонов вина и попивают себе, облегчают душу.

Некоторых парней выпихнули сюда из Калифорнии. Поехали они туда, да не смогли найти работу, вот и пришлось поворачивать домой, ничего не попишешь. Они рассудили, наверно, что в родных местах хотя бы с голоду не помрешь. У нас как? Если у тебя нет денег, а кто-то раздобудет хлеб — с тобой непременно поделятся. Парни на углу дадут тебе и выпить, прежде чем накормить. Здесь много таких, кто ездил пытать счастья и вернулся. Снова уезжать им неохота: видно, уж очень туго пришлось. Здесь по крайней мере ты можешь пробраться на ферму и стащить арбуз, картошку или еще что. А в городе — нет. Я знаю многих, кто таскает картошку, арбузы, капусту.

А вам приходилось?

О да. Знаете, убегать с арбузом — страшное дело *(смеется)*. Работенка не из легких. Бежать с арбузом просто *невозможно*. Вы хоть раз пробовали бежать с двумя арбузами в руках? Черт побери, работенка не из легких *(смеется)*. Попробуйте на досуге. Эти чертовы арбузы выскальзывают, то и дело останавливайся и прилаживай их... Страшное дело *(смеется)*.

Воровать еду мне приходилось не так уж часто. У моего деда есть огород, и еще я рыбачу. Рыбу здешние черные любят, и вот, когда нету других дел, рыбачу. Занимался и продажей рыбы. Много продавал. Ловил в основном прилипал, ну и окуня немного. Имел постоянных клиентов. Тут все школьные учителя покупают рыбу. Я даже продавал рыбу на фермерском рынке. И однажды попался. Вернее, просто кто-то донес на меня инспектору по охране природы. Сказал, будто я ловлю непромысловую рыбу. В один прекрасный день появляется инспектор и говорит, что вынужден меня проверить. В тот раз мне здорово повезло: весь мой улов был законным. Инспектор сказал, если бы у меня обнаружили хоть одного окуня, это бы стоило мне сто пятьдесят долларов. Сто пятьдесят долларов, невзирая на размер рыбины! С тех пор я стал поосторожнее.

Уходил рыбачить вниз по реке. Там и ловил окуня. Видел бы это инспектор! *(Смеется.)* Рыбачил месяцев семь, в день набегало от четырех до шести долларов. Перегораживаешь участок реки сетью, отойдешь ярдов на пятьдесят и ставишь вторую. И оставляешь на всю ночь. Рыба попадает в сеть и запутывается. А утром ты возвращаешься и выбираешь сети.

Но с этим пришлось покончить. Сети часто воровали. Были такие парни, которым тоже хотелось подзаработать кой-какую мелочишку. Тяжелые времена, дружище. Кто кого. Этим парням нужны были день-

ги, и они стали за мной следить. Наверное, устраивали засаду и следили, когда я забрасывал сети. Кто кого: только ты уйдешь, как они тут же все забирают. Отойдут подальше и забрасывают снова. Я зарабатывал на рыбе пять-шесть долларов в день, а сети стоили мне тридцать. Я откладывал деньги, чтобы купить еще одну сеть и зарабатывать чуть побольше. Вообще мне бы хотелось иметь шесть или семь сетей. Кто кого: я проиграл. Чем больше сетей покупал, тем больше у меня крали, и я понял: вся моя работа идет насмарку.

Я берусь за все, что сулит хоть какой-то заработок. Совсем как мой отец, вожусь с водопроводом, научился у него еще мальчишкой. Если кому-то нужно провести трубу или заделать течь, я попробую это сделать и запрошу всего два-три доллара, а водопроводчик потребует двадцать долларов в час. Или работаю на уборке сена. Копна — один цент. Пятьсот копен — пять долларов. Работа тяжелая. Копна весит сто — сто пятьдесят фунтов, накидаешь пятьсот копен, а потом еще полезай на скирду и укладывай их. Нет, за пять долларов это, скажу я тебе, адова работа.

Я и хлопок собирал. Если ты никогда в жизни этим не занимался, то наработаешь в день на семьдесят пять центов, от силы на доллар. Чтобы заработать четыре доллара, нужно быть сильным и проворным. Видел когда-нибудь хлопковый ряд? Он тянется на милю. Ты собираешь хлопок и все время тащишь за собой мешок. Солнце жарит вовсю, а от ядов, которыми травят вредителей, у тебя свербит в носу. Только ты со своим мешком добрался до конца ряда, как тащи его обратно — на весы. Тяжкий труд. Пока-то наберешь сто фунтов хлопка.

Но если подойдет время уборки, а другой работы не подыщу, пойду на хлопок. Сейчас платят чуточку побольше. На хлопок пойдет много парней, ведь больше здесь делать нечего. Как перед богом клянусь, пойду, пусть даже и за четыре доллара в день. Это хоть как-то занимает мысли.

Махмуд Дауд

Он ливанец, член арабской общины, приютившейся на южной окраине Детройта.

По-английски говорит с сильным акцентом. В его голосе прорывается отчаяние. За семь тысяч миль отсюда, в его родной стране, бушует гражданская война. В полумиле отсюда высится гигантский завод «Ривер-Руж плант», принадлежащий компании Форда — Мекка, доступ в которую ему закрыт.

Я родился в Ливане. Приехал сюда шесть с половиной лет назад. Тогда мне было пятнадцать. Сейчас — двадцать один. Пытаюсь найти работу. За эти шесть лет работал лишь год.

Нас в этом доме живет пятнадцать человек. Восемь из них — еще несовершеннолетние. А работает только один отец. Он работает у Крайслера. А я... я пытаюсь найти работу, чтобы приносить ему деньги. Хожу, расспрашиваю всех знакомых и незнакомых. Каждый раз, когда я спрашиваю о работе, мне отвечают, что у них на заводе люди не нужны. Или говорят, что нужны вон на том заводе. Иду туда, а там говорят: «Нет. Здесь увольняют. Как тебя зовут?» — «Махмуд». И все. Услышав, что меня зовут Махмуд, мне говорят: «Нет, мы помочь тебе не можем».

Мне жаль отца. Я не мог приносить ему денег. Мой отец очень хочет, чтобы мы жили одной большой семьей. Он хочет быть тем, кто дает, до самой своей смерти. Вот он какой. Все эти шесть лет он поддерживал меня. Я работал год и все отдавал ему. Теперь я немного подрабатываю игрой на барабане. Но много ли я могу ему дать? Иногда работы совсем нет. Тогда иду к нему и говорю, что сегодня я без денег. И мне нужно на проезд два доллара. Скажу вам правду: это для меня даже тяжелее, чем искать работу,— попросить у него пару долларов. Он мне дает их. Как ребенку.

Однажды я два месяца проторчал у автозавода. Ждал работу. Вы представляете? Знаете, как долго тянутся два месяца? Когда на улице ниже нуля? Наверное, поэтому я всех ненавижу. Они нанимают примерно сто черных, двадцать пять белых и одного араба. Поверьте. И вот я стал в эту очередь. Думал, может быть, им не хватает арабов. Написал заявление и отдал его этому парню. Он берет его и говорит: «Приходи как-нибудь в другой раз». Он не говорит: «Нам очень жаль» или еще что-то. Просто: «Приходи как-нибудь в другой раз. А теперь убирайся». Второй день, третий, четвертый. Я стоял там два месяца. Я так издергался, что готов был убить этого парня.

Знаете, что я стал делать? Брал из дому одеяла, закутывался в них и шел в очередь. Уж больно холодно, друг. Ниже нуля. На тебе пять или шесть курток, две пары штанов, и это еще не все. Знаете, каково это — выстоять шесть часов на морозе? Иногда я уходил туда в два часа ночи и стоял до полдевятого — девяти утра. Спал на улице. Берешь иногда газеты или еще что-нибудь, стелешь на землю и спишь. Потому что, если придешь в шесть, впереди тебя будут уже стоять не меньше сорока человек, а берут только пять. И я говорил себе: «Буду первым. Может, меня и возьмут, если я буду первым». Приходил туда в два и видел: там уже спят люди. В два часа ночи, друг.

Отцу повезло. Он приехал в эту страну. На руках у него семья из пятнадцати человек. Я не знаю, что произошло. Он пошел устраиваться к Крайслеру и работает там до сих пор. Но ведь мне двадцать один, верно? Как вы думаете, кто будет работать лучше меня? Какой-нибудь старик? Я бы работал круглые сутки, но ведь их это даже не волнует, этих людей. Как будто ты ведешь бесконечную войну. Так думаю не я один. Приезжайте в Саут-Энд[1] и понаблюдайте за людьми, которые там живут. Почти все они — арабы. У многих нет жизненного опыта, а у многих он есть. И они толковые. Поверьте, там много толковых людей, просто с работой им не повезло. Достань они работу — будут трудиться,

[1] Арабский квартал на окраине Детройта *(прим. автора)*.

как рабы. Не как рабочие, а как рабы. Потому что они не знают языка. Им достается самая черная работа. Они работают, и работают, и работают, и работают, и умирают, друг. Но я к этому готов. Если очередь дойдет до меня, я буду делать то же самое. Стану рабом. Вот и все. Но если я стану рабом, быть может, тогда мой маленький брат, которому сейчас пять, в восемнадцать лет рабом не станет. Понимаете, что я хочу сказать? Это то, что делает для нас отец. Мой отец работает на Крайслера, как раб. Он поддерживает нас, чтобы мы не были рабами.

БОРЬБА ЗА ПРОФСОЮЗ

«Профсоюз нужен по горло»

«Элтон продактс корпорейшн» [1] **— одна из крупнейших в мире транснациональных корпораций, которая находится на территории Соединенных Штатов. На нее работают в Америке шестьдесят восемь тысяч человек. Восемьдесят процентов из них не объединены в профсоюз. Не так давно Элтон выстроил большой завод в Линкольн-Вэлли — аграрном районе на юго-востоке страны. Союз рабочих-пищевиков (СРП) развернул кампанию за создание на заводе профсоюза и с трудом добился права защищать интересы двенадцати тысяч рабочих Линкольн-Вэлли. Однако в ходе переговоров о контракте Элтон отказался удовлетворить самые существенные из требований СРП. Ответом явилась забастовка, начатая профсоюзом в октябре 1976-го.**

Она длилась восемь месяцев. Наконец, Элтон предпринял попытку сорвать ее: ворота завода были широко распахнуты, людей приглашали занять свои рабочие места, угрожая увольнением тем, кто будет продолжать забастовку. Пять дней у ворот не прекращались стычки: бастующие пытались помешать штрейкбрехерам проникнуть на завод. Последовали аресты. Ряды забастовщиков дрогнули. И в конце концов по предписанию арбитражного суда профсоюз вынужден был сложить оружие и подписать контракт, согласно которому СРП в Линкольн-Вэлли был легализован, но его требования сведены к нулю.

Одним из условий соглашения было увольнение — до арбитража — тридцати восьми членов профсоюза, обвиняемых компанией в насильственных действиях во время забастовки. Когда я беседовал с «элтоновскими тридцатью восемью» — так их скоро стали называть в округе,— они уже двадцать месяцев сидели без работы: восемь месяцев забастовки плюс год разбирательства в арбитраже. Они надеялись через несколько месяцев отвоевать свои рабочие места, но твердой уверенности в этом у них не было.

Наши беседы проходили в штаб-квартире «1236» — местного отделения СРП, в одноэтажном здании рядом с кегельбаном. Пока мы беседовали в задней комнате, в главном помещении собралось около дюжины мужчин и женщин. Они потягивали кока-колу, рассказывали друг другу разные истории. Члены профсоюза то и дело входили и выходили, многие были с детьми.

[1] Все названия и имена здесь изменены *(прим. автора)*.

Конрад Келли

Он — руководитель «1236». Крупный, громкоголосый, грубиян и сквернослов. Бесконечно предан своему делу. Активист ряда общественных организаций в Линкольн-Вэлли: «Это часть моей работы». Посещает курсы истории профсоюзного движения, ораторского мастерства и другие. Во время длинного и несколько хаотичного интервью приводит все новые примеры несправедливого обращения компании с рабочими. С негодованием вопрошает: «И это сострадание? И эта компания, как они уверяют, ориентируется на людей?» Но все-таки не может сдержать восхищения этой компанией, с которой связана вся его трудовая жизнь: «Один из крупнейших в мире пищевых концернов. Завод в Линкольн-Вэлли выпускает пять миллионов фунтов еды в неделю. Что бы вы ни назвали, не найдется ничего такого, чего бы не выпускал Элтон. Вы жуете пирожок — пирожки делает Элтон. Заказываете в ресторане хвосты омаров — хвосты омаров делает Элтон. Вам подают в Уолдорф-Астории коктейль с креветками — и очень может быть, его тоже сделал Элтон. Креветки у Элтона подвергают сушке сублимацией; стоит вам опустить их в воду, подкисленную лимонным соком, как они снова принимают первоначальный вид. Я пробовал, чертовски вкусно. Элтон производит и фирменные стеклянные банки для расфасовки своих продуктов, и фирменные крышки для этих банок, и фирменные этикетки на эти банки, и фирменные пластиковые стаканчики для маргарина. Элтон полностью обеспечивает себя технологическим оборудованием и емкостями. У Элтона есть свои тепловозы.

Элтон — фантастическое чудовище, охватившее своими щупальцами весь мир».

Я один из ветеранов Элтона. До того, как попасть сюда, двадцать три года отработал на элтоновском заводе в Делавэре. Забавная получилась история — я участвовал в работе последнего комитета уполномоченных в Делавэре. Мы знали, что они закрывают завод и перебираются сюда. Добились, чтобы контракт предусматривал компенсацию за увольнение. Добились права на перевод. Старались выжать из них как можно больше. Однако компания противилась тому, чтобы люди перебирались в Линкольн-Вэлли. Во-первых, потому, что все работавшие в Делавэре состояли в профсоюзе, а на новом месте боссам это было ни к чему. А потом, сорок процентов делавэрских рабочих — черные, а в Линкольн-Вэлли черного населения всего-навсего восемь процентов, и компания опасалась, что появление стольких негров повредит ее репутации в деловых и общественных кругах. Так что людей всячески отговаривали ехать. В итоге из восьмисот человек перебралось девяносто. Сам я приехал потому, что уже имел довольно большой стаж, и если бы остался, потерял пенсию.

Едва мы тут обосновались, как узнали: администрация устраивала на заводе собрания для нанятых в Линкольн-Вэлли рабочих. Им говорили так: «Сюда приедет груп-

па из Делавэра. Они приступят к работе через неделю. Люди они упрямые, шумные. От них можно ждать всего. Но мы связаны с профсоюзом контрактом и — нравится нам это или нет — вынуждены принять их. Естественно, их приезд нежелателен, и мы надеемся когда-нибудь от них избавиться». Так что когда мы первый раз пришли сюда, на нас смотрели как на диких зверей. Потом начались неприятности. Я проработал в Делавэре двадцать три года, двенадцать из них — начальником цеха, и в моем личном деле всегда было чисто. И вот не проходит и недели, как там появляется первая запись. А следом — еще пять.

Без профсоюза я здорово нервничал, чувствовал себя как рыба на суше. Я потащил за собой всю семью, мы жили в городском предместье, а тут забрались в сельскую глушь — я купил на отшибе небольшую старую ферму,— вокруг новые люди, а у Элтона дело идет к тому, что скоро мне сделают последнее предупреждение. Последнее предупреждение означает, что в следующий раз тебе укажут на дверь. Так они поступали со всеми, кто приехал из Делавэра. Оказывали самое что ни на есть грубое давление. Подвергали нас явной дискриминации. Ну и дела, думал я. Ничего не поделаешь, придется организовать профсоюз.

К счастью, так думал не только я один. Самый большой профсоюз в этих краях — СРП — на заводе примерно в тридцати милях отсюда. У них и жалованье приличное, и пособия. «Почему бы нам не обратиться в СРП?» — подумали мы. Написали заявление и — туда и поразили тамошнее руководство. Они обратились в Чикаго и получили разрешение на организацию нашего профсоюза. Не прошло и двух недель, как семьдесят пять процентов наших рабочих получили членские карточки.

Порядок такой, что за этим следуют выборы уполномоченных, которые избираются большинством голосов. И тогда администрация развязала ожесточенную кампанию — в жизни такого не видывал! Раз в неделю нас заставляли смотреть в кафетерии фильмы о том, как профсоюзы устраивают кровавые бани — все там вооружены ножами и ружьями,— как они натравливают черных на белых, а мужчин — на женщин. Компания не поскупилась и на неоновые щиты, где то зеленым, то белым вспыхивало: «Не голосуйте за профсоюз!» Начальство лично вызывало тебя на беседу. Домой тебе посылали письма. Прибыл президент компании и говорил с нами, он это делал, наверное, впервые в жизни. Должно быть, дела на заводе обстояли неважно, потому что, когда сюда набирали людей, из четырнадцати тысяч, подавших заявления, на работу приняли двенадцать тысяч, а ведь брали только тех, кто был против профсоюзов. Так что когда семьдесят пять процентов рабочих записались в профсоюз, администрация пришла в замешательство. Несмотря на сильное противодействие, профсоюз одержал-таки победу на выборах. Правда, мы победили с преимуществом всего в двадцать один голос, но это была победа.

К тому времени я уже довольно активно занимался организационными делами. Поставил уйму людей на профсоюзный учет, а еще ходил и убеждал всех и каждого голосовать за профсоюз. После выборов решил: выдвину свою кандидатуру на пост руководителя нашего отделения. Поскольку я имел солидный опыт профсоюзной работы, а почти никто на нашем заводе не имел никакого опыта, я решил, что эта работа мне по плечу. Начал кампанию и повел ее как одержимый. Мне таки пришлось потрудиться, пока меня избрали. Ведь кандидатур было семь, а в уставе профсоюза сказано, что его руководитель избирается большинством голосов. При семи кандидатах собрать столько голосов очень трудно, но я прошел. На первом же голосовании.

Вслед за этим началась напряженная борьба. Компания отказывалась признать профсоюз, и переговоры превратились в настоящий цирк. Едва нас облекли полномочиями, мы вступили в переговоры о контракте. Бились над этим с июня по октябрь, и все без толку. Компания предъявила нам ультиматум. Не уступала ни на йоту. Стремилась лишить нас и того, чего мы уже добились. Поэтому мы устроили забастовку. Она длилась с октября по июнь, и переговоры то возобновлялись, то прекращались. К ним был привлечен даже глава Федерального бюро по посредничеству. Он сказал, что ему не привыкать к улаживанию трудовых конфликтов, но никогда еще не приходилось иметь дело с такой несговорчивой компанией. Ведь речь шла не о деньгах, а всего лишь об основных правах рядового рабочего — члена профсоюза. Нам отказывали и в половине тех прав, которые обычно предусматривает контракт. Например, чтобы член профсоюза вошел в состав заводского комитета по охране труда. Мы сказали: «Мы хотим быть частью вашей программы по охране труда. Хотим, чтобы труд на заводе был безопасным». Мы настаивали потому, что этот завод считается в стране одним из худших в плане охраны труда. До того как контракт вошел в силу, только за неделю людям отхватило ломтерезкой восемь пальцев. Один из рабочих потерял на одной руке три пальца. У меня все внутри перевернулось... Но компания нам отказала. Они дрались с нами не на жизнь, а на смерть. В конце концов один член профсоюза все-таки вошел в комитет по охране труда, но что может сделать один? Результатов обычно добиваются объединенными усилиями.

Я прошел через ад, и семья моя — тоже. Во время забастовки работа была сумасшедшая. Каждый день проводил здесь не меньше пятнадцати — восемнадцати часов. Для пикетчиков надо было оборудовать походную кухню. Надо было следить, чтобы круглые сутки ворота были под наблюдением. Надо было поддерживать в людях боевой дух. Они должны были знать, что руководство — в гуще событий, что мы не отсиживаемся дома, когда другие идут в пикет. Мы шли в пикет и разъясняли, почему бастуем, почему нужно продолжать забастовку и почему нам так важно одержать победу. Разъясняли суть переговоров, позицию компании и нашу позицию. Регулярно устраивали митинги, чтобы заручиться поддержкой. Нам этих митингов хватит до самой смерти *(смеется)*.

Я совершенно забросил семью. А от наших финансовых затруднений ум заходил за разум.

Но горше всего было от напряженной обстановки дома. Мне необходимо наладить добрые отношения с женой, и хотя не хочется признаваться, это одна из причин того, что я не стану вторично выставлять свою кандидатуру на пост руководителя здешнего профсоюза. Мне нужно передохнуть. Думается, деятельным я буду всегда. Энтузиазма у меня хоть отбавляй. Будь я холостяком, ни за что не ушел бы с руководящего поста, энергии хватит еще надолго. Но такая работа отнимает слишком много времени. Тяжело отражается на моей семье. Я бы даже сказал, особенно страдает жена, потому что не может понять, отчего я без конца занят. Знаете, шесть человек из тех, кого уволили, развелись. Я, к счастью, разводиться не собираюсь, но у нас с женой первый раз в жизни возник серьезный конфликт. Это стоило нам обоим немало здоровья. Я возвращался домой натянутым как струна, а она дошла до такого состояния, что говорила: «Не хочу ничего слышать. Чем меньше я буду знать, тем будет лучше». А телефонные звонки! Даже сейчас — не меньше двадцати звонков в день. Людям нужна моя помощь, и я все еще чувствую себя обязанным им. Я с ними вежлив, выслушиваю их, независимо от того, кто они и какое это время дня. Наверное, месяцев пять я ни разу не мог сесть за обеденный стол. Ел на кухне, разговаривая по телефону. А жена упрекала: «Ты и так целый день торчишь там как проклятый, так чего ж они звонят тебе домой?»

Была и еще одна проблема — угрозы. Раз восемь жене и детям угрожали по телефону. Говорили: «Пока вы все спите, к вам в окно влетит зажигательная бомба и спалит дом». Или: «Мы твоему мужу голову оторвем». После этих звонков жена ужасно занервничала. Собралась было совсем уехать из штата. Я до хрипоты спорил с ней, чтобы удержать ее здесь. Я бы с ней не поехал, даже если бы она и настаивала, но пытался объяснить, что все это в порядке вещей, и для беспокойства нет никаких оснований. Мы поменяли телефонный номер, и он не был внесен в телефонный справочник. Мне не раз звонили и сюда, грозились свернуть шею. Просто-напросто запугивали. И порой я давал слабину. Оглядывался, когда вел машину, избегал людных мест. До сих пор с неохотой хожу по магазинам или в кино.

Положение усугубилось, когда меня арестовали. Пришлось как хорошему руководителю нарушить судебные предписания — чтобы показать моим людям: с законом шутки плохи *(смеется)*. Меня поймали с поличным и посадили. За нарушение судебных предписаний меня арестовывали, наверное, раз пять. Дети в школе говорили моим ребятишкам: «Что, опять твой отец сидит под замком? Сидит он, сидит в тюрьме».

И вот меня уволили. Я здорово обеспокоен. Из-за арбитража. Чувствую: должен выиграть дело. А если нет? Моя семья лишится права на госпитализацию. У нас трое детей. У меня нет безусловного права на пенсию. Лучше уж приготовиться к самому худшему. Адвокаты сказали, что компания намерена разделаться лишь с несколькими, и я — в их числе. Вдруг арбитр скажет: «Я могу удовлетворить обе стороны: пусть тридцать семь человек возвращаются на работу, а судьбу руководителя решит компания». И я окажусь за бортом. Этому обществу я не нужен. Не знаю даже, где и как буду искать работу.

Я провел не одну бессонную ночь. Издергался до предела. И здоровье сдало. Я, как мне кажется, человек сильный и крепкий, но вполне могу заработать язву. А будучи руководителем, обязан подавать пример и сохранять спокойствие. Люди так обгадили тебя с головы до пят, что ты готов душу из каждого вытрясти, но сдерживаешь себя. Среди штрейкбрехеров тоже попадались такие, что сколько ни проживу, буду помнить. Когда мне встречается эдакий суперскэб и у нас разгорается спор, так и тянет взять и врезать ему хорошенько, но как руководитель профсоюза не могу — дурной тон. Но я мстительный. Я расквитаюсь с ними. Когда уже не буду руководителем. Попадись они мне, я душу из них вытрясу. Жду не дождусь этого. Мне лет десять не приходилось драться по-настоящему, но я сумею за себя постоять.

Приходится заботиться и о тридцати восьми. Это вот помещение стало общественным клубом, я специально так сделал, чтобы люди не сидели в четырех стенах у себя дома, раздумывая, что же происходит. Этих людей жестоко обидели. Некоторые из них — сущие дети. Им нужно, чтобы кто-то обязательно вел их за руку. Я должен ободрять их, заставлять надеяться. Если не буду этого делать — все потеряно.

Я подбадриваю их, а что-то во мне говорит: «Врешь ты все, сукин сын...» *(смеется)*.

Перевод с английского Н. КИЯМОВОЙ

◆

КОНТАКТЫ КУЛЬТУР

ДМИТРИЙ УРНОВ

ДОРОГИ, ГДЕ ПРОХОДЯТ ВРЕМЕНА

Из английского дневника

За окном автобуса промелькнула на лондонской улице вывеска «Отель Сноу». Уже отель! А ведь еще недавно здесь находилась квартира двух известных английских писателей Чарльза Сноу и Памелы Хэнсфорд Джонсон. В нашей стране одним из первых с ними лично познакомился известный литературовед Иван Иванович Анисимов. Они оба — Анисимов и Чарльз Сноу — были крупны во всем, начиная с внешнего облика. Иван Иванович возвышался, будто движущийся монумент, а сэр Чарльз громоздился, как дуврский утес. По убеждениям и вкусам их многое, конечно, разделяло, однако они, словно ломая лед, начали устанавливать контакты. Действительно, в другие времена это было, и многие, уже преодоленные препятствия кажутся теперь незначительными. Но кому-то надо было начинать!

В качестве консультанта английских, а также американских издательств Сноу способствовал переводу в Англии и США произведений советской литературы. Он сам составил сборник рассказов советских писателей, первый в Англии за много лет. Позднее, по его рекомендации, крупная издательская фирма «Макмиллан» выпустила роман Валентина Распутина «Живи и помни». Когда шла борьба за присуждение Нобелевской премии Михаилу Шолохову, весомую роль сыграл авторитет Сноу, подавшего, по его выражению, свой голос с Запада. «Шолохов создал роман,— писали тогда в Нобелевский комитет супруги Сноу,— который является лучшим для целого поколения... «Тихий Дон» — реалистический эпос, достойный «Войны и мира».

Русскую литературу Сноу знал хорошо, однако хотел знать еще лучше, поэтому на склоне лет взялся за изучение русского языка. Толстой был для него «величайшим из романистов» — в этом Сноу разделял точку зрения многих соотечественников. А личные его пристрастия с годами менялись. Одно время он увлеченно читал Тургенева, в другую пору — Достоевского.

Задача, которую, как считал Сноу, можно решить только совместными усилиями, заключалась в изучении русско-английских литературных связей по всему фронту, от Шекспира до наших дней. Положим, в шекспировские времена собственно литературных связей между нами еще не было, но все же русский посол Григорий Иванович Микулин находился от Шекспира так близко, что даже сердце замирает при мысли об этом. Ведь шекспировская комедия «Двенадцатая ночь» была поставлена специально для приема русского и итальянского посланников. Уж наверное Шекспир где-то здесь, во время приема, хлопотал, готовясь к спектаклю, только Микулин ушел до начала представления.

— А почему, как вы думаете, сэр Чарльз?

Сноу сначала похрипел — он всегда начинал речь с некоторого хрипа, а потом сказал:

— Возможно, придворные ему отсоветовали. Актеры тогда позволяли себе

УРНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1936 г.).

Советский критик и литературовед, кандидат филологических наук. Автор книг «Как возникла страна чудес (Льюис Кэрролл)», (1968), «Робинзон и Гулливер» (1972), «Дефо» (1978), а также статей о Джозефе Конраде, Джеймсе Джойсе и других английских и американских писателях.

такие шутки, что иностранцам было лучше этого не слышать. Но все это необходимо исследовать! Исследовать!

Закончив речь, Сноу слегка погудел. Он обычно, высказывая глубоко его занимавшую мысль, после как-то гудел даже не горлом, а всем нутром.

Не могу сказать, что с тех пор все до конца мы исследовали, но вот уже — отель! И, наверное, туристам, в том числе нашим, небольшой постоялый двор теперь показывают и говорят: «В этом доме жил Сноу. Он был энтузиастом русско-английских литературных контактов».

Мы — целая группа преподавателей — приехали в Лондон вести занятия по русскому языку и литературе. Уже несколько лет из года в год их организует Общество культурных связей. Поселили нас в общежитии Городского университета в Сити. «В Москве два университета»,— говорил Чехов, и не всякий московский старожил сможет объяснить, что он имел в виду. А в Лондоне — два Сити, Вестминстерское и Лондонское, и оба входят в состав столицы. В Вестминстерском — парламент и королевский дворец. А Лондонское Сити — старая деловая часть города, где нас и поместили, неподалеку от собора святого Павла.

Когда я читал в этот раз пушкинскую лекцию — о «Маленьких трагедиях», то меня, признаться, тоже мороз по коже подирал. «Пир во время чумы» — посмотрите подзаголовок: «The city of the Plague (Город чумы)». То самое Сити! «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю...» Пушкин, понятно, никого не повторял. Через различные источники (трагедия Вильсона, дневник Дефо) он почувствовал и гениально выразил «дуновение чумы». Большая чума, пожар, который остановила городская стена и в память о котором возвышается монумент, все происходило здесь. В этой части Лондона в разное время проживали Томас Мор, Шекспир, Мильтон, Диккенс и еще ряд лиц, имена которых приходят на память, когда мы произносим слово «англичане». Тут нет улицы или заметного здания, которые бы не попали в литературу, не были бы местом действия какого-нибудь известного произведения.

В административных пределах Лондонского Сити, возле площади Кларкенвелл, издавалась ленинская «Искра».

И вот представьте себе, что центра самой лондонской части Лондона больше не существует. И это в стране, которую, как правило, отождествляют с понятием о старине и традициях.

Названия, а иногда и границы некоторых старых улиц все же сохранились, и чтобы понять, что здесь произошло, надо отправиться на угол Фор-стрит и Вуд-стрит, Передней и Лесной, где когда-то родился Дефо. Но дело сейчас не в Дефо. Мемориальной доски, удостоверяющей, что он здесь родился, вообще нет: ставить не на чем! Зато есть другая доска: «Здесь в августе 1940 г. упала на Лондон первая фашистская бомба».

Фашисты били с расчетом. Очень точным. В частности, по культуре. В библиотеке Британского музея вместо уникальных старинных книг я получал свои заказы обратно с пометкой «П». Погибла во время войны — книга. Мы никогда уже не прочтем отчета о суде над Дефо — погиб во время войны. Или редчайших радикальных памфлетов времен Томаса Пейна — погибли во время войны. Говорю только о тех библиотечных отказах с пометкой «П», которые получал сам, а сколько их всего! В самое сердце поражено было и Сити. Кое-что потом все-таки восстановили. Например, в книгах о Шекспире, вышедших вскоре после войны, можно увидеть фотографию юридической школы, где шекспировские актеры играли «Комедию ошибок», и подпись: «Разрушено во время войны». Но теперь уже можно увидеть эту залу: восстановлена. Центра Сити восстанавливать не стали. На месте узких, кривых улочек, где испокон веков селились истые горожане, люди деловые, мастеровые, торговые, где комнату у парикмахера снимал Шекспир, где в семье свечного торговца родился Дефо, а в семье конюха — Джон Китс, на месте этого лабиринта вознеслась гигантская конструкция: небоскребы, магазины, рестораны, музей города Лондона, подземные гаражи. Лабиринт, поставленный дыбом.

Построено все это совсем недавно, а вот когда-то, еще до встречи в другой части города со Сноу, мне довелось ходить здесь с профессором Самариным и профессором Ефимовым.

Александр Иванович Ефимов был первым советским профессором русского языка, приехавшим читать лекции в английских университетах. Мы же с Романом Михайловичем Самариным составляли первую делегацию Академии наук СССР на Международной шекспировской конференции, которая должна была состояться на родине Шекспира, в Стратфорде. Ефимов приехал раньше нас и уже чувствовал себя здесь старожилом. Обжившись в Лондоне, он взял себе за правило нарушать все, какие только мог, английские традиции и порядки. Заядлый рыбак, он ловил рыбу в прудах Кенсингтонского парка, где ясно написано: «Поймал — отпусти». Ефимов, выловив какую-нибудь корюшку (судьбу которой обсуждали члены Пиквикского клуба), клал рыбу в карман, приговаривая: «У них это просто».

Английская профессура смотрела на него с умилением. Английские слависты, истосковавшиеся за годы «холодной войны» по «истинной славянской душе», получали от Ефимова нашу душевность в таких количествах, что казалось, они ее как-то специально упаковывают и сохраняют про запас. Один профессор, приближавшийся уже к пенсионному возрасту, поделился с Александром Ивановичем своими горестями: порядки в Англии жесткие, что можно, то можно, а что нельзя, так нельзя, после шестидесяти пяти — до свидания!

— А ты приезжай к нам,— говорил ему Ефимов.— Бросай все и приезжай.

Не бойся! Будешь себе читать не только до седых волос, а хоть до полной лысины. У нас это просто.

Рекомендации английский славист не последовал, но слезы выступили на глазах у старика.

И вот мы с Ефимовым и Самариным были в числе последних, кто еще ходил по реальному, пусть полуразрушенному, Лондонскому Сити.

— Проходи, Роман Михалыч, проходи, не бойся,— руководил, как обычно, Ефимов, уже изучивший в чужом городе, кажется, каждый закоулок. Но Самарин, хотя и не бывал здесь никогда, тоже хорошо разбирался в Лондоне. Ведь он прямо родился профессором — происходил из старинной ученой среды и, как говорится, все знал уже с колыбели. «Здесь неподалеку, на Хлебной,— разъяснял он,— была таверна «Русалка». В ней Шекспир проводил время с друзьями». И прочел нам краткую лекцию об эволюции английской таверны через эль-хауз к пабу. Осматривая Сити, Самарин размышлял вслух о путях истории, о смене и наслоении эпох, сравнивал архитектурные стили, упоминал множество имен, цитировал... «Все ты знаешь, Роман Михалыч, все ты знаешь»,— с удовольствием слушая его, приговаривал Ефимов. А я, признаюсь, и половины не понимал, не успевая за сложными сопоставлениями, в которых отражался ход времени. Так и сказал:

— Плохо вас, Роман Михайлович, понимаю.

— Чего ж ты, брат мой, хочешь? — включился Ефимов.— У тебя против самаринского образованьице слабенькое.

Меня даже обида взяла.

— Простите, но кто мне дал такое образование!

От этой дерзости своего бывшего студента оба профессора сначала опешили, а потом расхохотались... Это прямо здесь, где я стою сейчас, на углу Старой и Староворотной улиц. Ощущение какое-то призрачное. Положим, шекспировской «Русалки» мы не могли видеть, но была же здесь таверна, куда (как рассказывал Самарин) заглядывал Диккенс и его персонажи... И мы туда заглянули («Проходи, Роман Михалыч, не бойся! У них это просто!»), и — ничего прежнего нет. На том же месте громоздятся мощные конструкции Барбикана — так называется этот новый комплекс, где когда-то была башня (барбикан) возле подъемного моста.

От старины в новом комплексе сохранилось, надо признать, не только название. И остатки древней городской стены, сдержавшей большой пожар, и церковь, где крестили Дефо и хоронили Мильтона, как бы вмонтированы в комплекс. И новые строения отражают прошлое: ввысь уходит небоскреб, названный «Домом Монжуа». Жил когда-то парикмахер Монжуа на углу Серебряной и Монастырской. Имел домик в два этажа, типичный английский городской домик тех времен. Вел свое дело — брил и подстригал соседей. Конечно, как хорошо он их бороды, усы и головы ни обрабатывал, его не стали бы вспоминать четыре столетия спустя. Однако у него был квартирант. Выступая однажды в городском суде в качестве свидетеля, этот постоялец назвал себя «человеком из Стратфорда». Приезжий он был, из провинции. Работал за рекой, на другом берегу Темзы, в театре. А возвращаясь после спектакля в Сити, иногда проводил время неподалеку, на Хлебной, в таверне «Русалка».

Спускаюсь по витому съезду к «Дому Монжуа». Путь упирается в подземный гараж. «О, притупи ты, Время, когти льва...»

— Сэр! — раздается грозный возглас.— Прошу вас вернуться!

Что же, может быть, я нарушил какую-нибудь традицию? «Нет, вы нарушили правила уличного движения». Действительно, у начала спуска надпись: «Только для машин! Пешеходам вход строго запрещен». Да, нужно быть незабвенным Александром Ивановичем, чтобы нарушать английские порядки, ходить там, где написано: «Не ходить!» — и тащить карасей, где написано: «Брось обратно в пруд!» Но ступить на землю, где когда-то ходил постоялец парикмахера, все равно невозможно, ее можно только утюжить колесами.

— Новый Барбикан — памятник в своем роде,— заметил Джеймс Олдридж в ответ на мои консервативные вздохи.

Не исключено, люди будущего станут рассматривать эти железобетонные громады с тем умилением, с каким смотрим мы на остатки городской стены и церковь у Кривых ворот, которых, впрочем, тоже давно нет. Что пользы плакать и вздыхать? Нам, как свидетелям, выпала участь осознать разницу между тем, что здесь было, и тем, что у нас на глазах воздвигнуто.

Сити росло, ветвилось, словно плющ на остатках городской стены. Барбикан, продуманный до мельчайших подробностей,— конструкция, в ней нет живого единства.

Рядом, возле собора святого Павла, еще один спуск «только для машин» — мусорных! Между тем и здесь когда-то была улица, и какая улица! Название, впрочем, сохранилось — Патерностер Роуд — Отченашенский ряд. Это пристанище первых английских издателей. Когда-то здесь были выпущены «Приключения Робинзона Круза», «Права человека», а теперь с обеих сторон — глухие стены, и стоят ящики с отбросами. «Э, полегче насчет «Робинзона Крузо»,— могут мне возразить.— Как будто вы не знаете, что улица первых английских писателей (здесь же, в Сити) называлась Помойной, и нужно было только время, чтобы она сделалась Мильтоновской». Нужно время, и нужно осознать, какие у нас на глазах совершаются перемены.

— Как? Быть в Лондоне и не видеть ни Трафальгарской площади, ни Вестминстерского аббатства?!

Подобные лишения были выше наших сил. Допустим, кое-кто из нас уже видел и площадь, и национальную усыпальни-

цу, но большинство — нет. А тут — демонстрация.

— Вот не везет, так не везет,— вздыхали мои спутники, преимущественно спутницы.

В прошлый свободный от занятий день они поехали в Брайтон. Я не поехал, но знаю — обычно эту часть страны называют «садом Англии». А была весна... И они поехали в Брайтон. Но попали, еще не выехав из Лондона,— в Брикстон.

— Нечего сказать, вовремя вы нас бросили,— упрекали меня потом мои друзья.

Я не поехал, потому что был там в прошлый раз, на предыдущих курсах, а сейчас решил провести время в библиотеке Британского музея и посмотреть газету Дефо «Обозрение»: что он писал там о России и не отразилось ли это в «Приключениях Робинзона Крузо». Почему же бросил?

— При-клю-чения Робинзона Крузо! — обрушились на меня со всех сторон.— Вы бы испытали наши приключения!

Брикстон — район Лондона в третьей крупнейшей части столицы, в Сазерке, за рекой. Сразу, как только пересекаешь Темзу, чувствуется понижение высоты зданий и уровня жизни. Эта заштатность сохранилась в заречной части Лондона с шекспировских времен, когда здесь была почти сельская местность, теснились домишки, над которыми возвышались три здания — собор (там похоронен младший брат Шекспира, пришедший вместе с ним на заработки в столицу), садок для травли медведей (русских медведей) и шекспировский «Глобус». Собор возвышается до сих пор. «Глобус» сгорел еще в пору английской буржуазной революции, на месте его — пивной завод, и тут же — пустырь.

Один из наших старших слушателей, бывший моряк, участник войны, пригласил меня в заречный район в морской клуб, где проводили время утихомирившиеся «морские волки». Они вели чинную беседу за кружками пива, их жены играли в традиционный трик-трак, в креслах спали утомившиеся за день дети. И когда мы погрузились в семейно-морской штиль, ветеран войны сказал: «Подумать только, в трех милях отсюда — огонь!» Он имел в виду Брикстон.

Брикстонские волнения, вдруг вспыхнувшие и не прекращавшиеся несколько дней, к тому времени уже только тлели, а мои спутники, которых я на время покинул, попали тогда в самый взрыв, просто в пекло.

— Витрины побиты, машины разворочены, повсюду горит! — на правах очевидцев рассказывали наши.

«Мы хотим прав, мы требуем человеческих условий, и мы доведены до отчаяния!» — на телевизионном экране говорила негритянка, обитательница Брикстона. Расплата.

В прошлый раз, когда мы приехали проводить те же курсы, я вдруг поначалу поймал себя на мысли, что не слышу английской речи. Кругом, конечно, говорили по-английски, но со всевозможными акцентами. Прошло, наверное, не меньше двух дней, прежде чем удалось мне услышать английский, которому нас всегда учили. Случилось это поздно вечером на пустынной улице, в символическом месте, прямо на границе Сити и Вестминстера. Когда-то здесь стоял позорный столб, а у столба, зажатый в колодки, Дефо. Со мной была книга с описанием этого события, и я при свете фонаря читал ее, сличая детали обстановки. «Вам помочь?»— прозвучал голос, говоривший на чистейшем английском языке. Я сказал своему случайному помощнику, что его вопрос — первая истинно английская фраза, которую мне довелось услышать за два дня. И мы стали говорить с ним об английском языке. Этот ночной встречный, оказавшийся художником-карикатуристом, и произнес— расплата. Пришел срок отдавать тот долгосрочный заем, который был Англией когда-то взят за время многовековой колониальной эксплуатации. Был в развитии страны период так называемого «первоначального накопления», когда — надо, надо, надо, а где достать? Даже Дефо, стоявший вот здесь у позорного столба, не видел другого способа для скорого и дешевого устройства дорог по всей стране, кроме как рабский труд: платить было нечем. Массовый ввоз рабов в страну сочли нежелательным. Тесно будет, и так — маленькая. Но за океаном это казалось очень и очень выгодно. Дешево и результативно. Вот и приходится теперь платить по старым счетам.

— Негры, негры, одни негры, и на них набрасывается полиция...

Так рассказывали мои спутницы, видевшие все своими глазами. Потом мы вместе видели то же самое по телевизору. Потом, спустя еще несколько дней, нам преградила путь гигантская демонстрация...

Пошли через весь город пешком и когда добрались до Трафальгарской площади, то увидели, что адмирал Нельсон на своей колонне высится среди волн людских. Впечатление морской стихии дополняли флаги и плакаты. Когда-то Нельсон в канун Трафальгарской битвы поднял сигнальные флаги, смысл которых был: «Каждый англичанин пусть исполнит свой долг». Суть всех надписей, реявших сейчас над Трафальгарской площадью, сводилась к одному: «Долой дискриминацию!» Это был протест против принятого правительством постановления о так называемых «второсортных работниках», опять-таки цветных, вообще приезжих, получающих заниженную заработную плату. Полицейские, пешие и конные, исполняли свой долг, стараясь направить людской поток в ограниченное русло. Беспорядков не было. Вообще, казалось, нет никакого шума. Только неумолчное, как волны, движение людского моря. И лишь в центре площади, у подножья Нельсоновой колонны, общую суровость обстановки нарушали мальчишки. Лезли в фонтаны, плескались, карабкались на мрачных чугунных

львов. Заметив эту возню, кто-то возле нас произнес: «Дети есть дети». А кто-то вдруг внес поправку: «Американские дети». Среди самих англичан от мала до велика никто не решился бы нарушить мрачно-торжественного шествия.

Мы вернулись к автобусу, поджидавшему нас на отдаленных рубежах, и шофер, увидав утомленные, осунувшиеся лица, решил приободрить своих пассажиров шуткой:

— Ну как, попали в условия классовой борьбы?

В аудитории видишь перед собой лица совсем молодые, совсем пожилые, лица людей, желающих понять нас и нашу страну. Слушатели не только разных возрастов, но и в разной степени знающие русский язык. Поэтому лекции чередуются — одна на русском, другая на английском, чтобы всем было понятно. Лекции имеют для многих значение сугубо практическое. Это школьники и студенты. Народ, как и у нас, деловой, им вынь да положь ответ на экзаменационный вопрос, чтобы потом и в книгу не заглядывать.

— Можно Чичикова считать воплощением абсолютного зла?

— Можно.

— А может быть, нельзя?

— Может быть, и нельзя.

— Что это вы так индифферентно отвечаете? Вы уж нам определенно скажите, а мы запишем.

— Но что же тут можно сказать определенно, если так «Мертвые души» рассматривать?

— А нам «Мертвые души» не задавали. У нас только один вопрос: «Чичиков как абсолютное воплощение зла».

Всякий раз, когда не было лекций, я отправлялся в библиотеку Британского музея.

Вот идет мне навстречу молодая женщина, видно спешит на работу. Прижимает одной рукой книгу, переплет которой смотрит на меня, и я читаю: ANNA KARENINA. В мягкой обложке — значит, массовый тираж. Туманным лондонским утром. Как будто так и надо. Все на своих местах. За спиной у меня возвышаются башни Тауэра. На меня надвигается — Tolstoy. Женщина идет торопливо, даже стремительно, но если уж запаслась книгой, то ей еще и ехать придется. Наверное, путь не близкий. Сейчас она спустится в метро или же сядет в двухэтажный автобус, сядет, раскроет эту книгу и... Ах, был бы на моем месте Александр Иванович Ефимов, уж он бы робеть не стал. «Мадам, моменто!» — и на своем особом эсперанто сумел бы выяснить все о том, почему эта англичанка выбрала русский роман под названием «Анна Каренина» и что она о прочитанном думает.

Англичане читают русскую литературу со второй половины прошлого века, со времен Крымской войны. Читали и раньше, но круг читателей был очень ограничен. А главное, нашим писателям все как-то не находилось места в системе мировых литературных величин. Ведь это своего рода периодическая система, и в каждой клеточке может быть только по одному элементу. Например, национальный гений. У англичан уже был Шекспир. Или, «мечтам невольная преданность, неподражаемая странность» — Байрон.

В Британском музее как раз была выставка, посвященная английскому современнику пушкинской эпохи. Имя его — Джордж Борроу, путешественник, литературный паломник и писатель. Жил в России. Переводил Пушкина. Гибель нашего поэта Джордж Борроу считал потерей для всего человечества, но все же поставить Пушкина на свое место в мировой поэзии он не смог.

Первым из русских писателей занял такое место Толстой. Вернее, Тургенев, а он указал на Толстого. Потом Достоевский, Чехов. Наша «большая четверка» настолько усвоена зарубежными читателями, что даже, знаете, возникает чувство ревности. Молодую англичанку, прижимавшую «Анну Каренину» к груди, хотелось спросить: «А вы не забыли, мадам, что в руках у вас все-таки русская книга?» Конечно, не забыли. Напротив, даже на тебя смотрят пристально, потому что в каждом из нас хотят увидеть живое отражение тех же бессмертных страниц. Это — взаимно. Мы, со своей стороны, рассматриваем каждого англичанина с пристрастием: «А не из Пиквикского ли вы, сэр, клуба?»

В последние годы процесс литературного взаимообмена идет дальше, расширяется. Мы начали читать таких, прежде не читанных, сугубо домашних английских писателей, как, например, Джейн Остин. Английские школьники спрашивают о Чичикове. Что там Чичиков! Мне вовсе не пришлось пересказывать сюжет «Горя от ума», и не потому, что им этого «не задавали», а потому, что они читали, и только просили ответить прямо: «Лишний Чацкий человек или не лишний?»

Как бы желая все-таки наверстать упущенное, англичане сейчас просто штурмуют Пушкина. И чтобы мы могли представить себе, насколько трудная перед ними задача, нам надо учесть, что и мы фактически не знаем их крупнейшего лирического поэта, старшего пушкинского современника, Вордсворта. Это он, Вордсворт, как бы заговорил стихами, просто, естественно, без видимых поэтических красот и условностей. Сам Пушкин пробовал переводить его. Были и другие переводы, вполне удачные. Все же Вордсворта в нашем сознании нет. А ведь он создал на английском языке такие строки, которым на русском может соответствовать: «Октябрь уж наступил, уж роща отряхает...» Вот и поставьте себя на место англичанина: легко ли ему понять Пушкина?

Советские книги в оригинале и в переводе продаются сейчас в одном из двух крупнейших лондонских книжных магазинов в центре города. Торговом его сердце. Продаются, то есть покупаются?

Булгаковский «Театральный роман» выпущен в серии «Пингвин» или «Пеликан», одной из фирм, работающих на массовый спрос. И лежит это издание на прилавке. Подойдите к прилавку, вернее, к полке открытого доступа, возьмите книжку в руки, раскройте и посмотрите на оборотную сторону титульного листа. Тиражей у них не ставится, но зато указывается число изданий, или «заводов». Всего один «завод». А для «Пингвина» или «Пеликана» это мало. Значит, один раз попробовали — не пошло дело.

Крупный издатель попросил меня назвать произведение, современное произведение, с которого он бы мог начать выпуск нашей литературы. Назвал я «Живи и помни» Валентина Распутина. Издатель все это записал, поскольку имя автора и заглавие книги были для него совершенно новы, а я, выйдя от него, заглянул в книжный магазин и увидел там... «Живи и помни», только выпущенное другим крупным издателем. Этот второй издатель и воспользовался, как я потом узнал, рекомендацией Чарльза Сноу. Вот ситуация: книга выпущена, и прекрасно выпущена, а все-таки ее как бы нет, если даже хорошо поставленная рекламно-информационная служба того издателя, с которым я говорил, не уловила ее.

«Да что вы нам тут рассказываете!— возразят мне.— Имена Валентина Распутина или Чингиза Айтматова не сходят со страниц зарубежной критики, о них самих уже целые книги пишут!» Верно, пишут, однако есть разница между критическим и читательским подходом к писателю, существенная разница, как показывает статистика. На примере своих слушателей я мог убедиться, какова разница в их отношении к тому, что им «задавали» и что они сами читали. А социологи демонстрируют это уже с цифрами в руках: если книга издается, то еще не значит, что она продается, если продается — не значит обязательно покупается, если даже и покупается — это еще не гарантия, что читается... Книга, быть может, и потребляется (термин социологов), но каждый из способов потребления книги имеет свои особенности, вплоть до отчуждения от прямого назначения книги — быть читаемой.

Нашу литературу за рубежом сейчас очень активно изучают. И в Англии, и в США нет заметного университета, где не было бы кафедры общеславянской, или русской, или прямо советской литературы. Поскольку литературно-исследовательская деятельность вообще сейчас приобрела такой размах, что говорят о «критической промышленности», то можно сказать: англо-американская русистика и советология — это активно развивающаяся отрасль данной «промышленности». У нее, как у всякой настоящей промышленности, солидная материальная база, современное техническое оснащение, и количество занятых в этом «производстве» работников соответственно велико. Общая тенденция этой «промышленности» клонится именно к изучению, что можно оценить по контрасту с другими временами, когда шло зачеркивание, заплевывание или же просто отсутствовал интерес к нашей литературе и культуре. Теперь — изучают, теперь пишутся диссертации о «раннем Юрии Олеше» или о «позднем Валентине Катаеве». Есть ряд работ об Андрее Платонове. Михаил Булгаков, подобно Фолкнеру, стал «сырьем» для одного из самых активных отделений все той же «промышленности» — это уже промышленность в пределах промышленности, так что все символы в «Мастере и Маргарите» скрупулезно подсчитаны. Я не иронизирую, а только хочу подчеркнуть, что изучение идет специфическое, хотя подходы наблюдаются разные.

Если же выделить наиболее общую идейную направленность в изучении нашей современной литературы на Западе, то подчинено оно идее конвергенции, взаимопроникновения и сходства. Когда-то корифей американской советологии, ныне покойный, Эрнест Симмонс во «Введении в русский реализм» подчеркивал, что многие чувства шолоховских героев, например их отношение к своей земле, к родине, не укладываются в представления, привычные для западного читателя. Теперь, напротив, более или менее общий тезис таков: смотрите, они такие же! Они, как бы говорят английские и американские литературоведы, изучающие нашу литературу, знают те же радости и те же горести, им ведомо чувство отчужденности и чувство потерянности, их авторы умеют пользоваться «потоком сознания» и повествовательным «контрапунктом», и главный конфликт у них, как и везде,— это столкновение в одном и том же индивидуальном сознании частного с общественным. Наши писатели и наши критики неоднократно оспаривали этот тезис, а я хочу добавить, что в отличие от исследователя, которого конвергентно-похожее, как податливый материал, может быть, устраивает, читатель в другой литературе ищет как раз чего-то иного. Подавленный своим одиночеством в толпе, западный читатель хочет найти у наших писателей именно ему неведомые представления. А отчуждения или «мифотворчества» ему и так хватает!

Застала нас в Англии печальная весть: скончался Юрий Валентинович Трифонов... Узнали мы об этом из английской печати. Откликов было много. В одном из них, в частности, упрекали английских издателей за то, что они не особенно активно выпускали его произведения. Вероятно, издателям было все же виднее. Духовное мещанство, к которому на последнем этапе своего творческого пути пристально присматривался Юрий Трифонов, на Западе — материал чересчур знакомый. Мещанин, приспособленец в душе, переходящий от поверхностного сочувствия передовым идеям к накопительству — об этом еще Дефо писал! В его время, после буржуазной революции, такая среда вообще стала господствующей. Наша новомодная приспособленческая прослойка — явление другого исторического порядка, но в

принципе оно оказалось для англичан узнаваемым: когда в память о писателе-соотечественнике я заговорил о нем на лекции и стал рассказывать о «Предварительных итогах», «Доме на набережной», «Старике», слушатели мои спросили: «Это как у нас во времена Дефо?» Это — социальные отходы глубочайшей революционной перестройки, и антисоветская пропаганда использует их по-своему, выдавая за главный и конечный итог нашего становления. На потребу подобного тезиса в свою очередь работает целая критико-идеологическая «промышленность», цель которой — показать не больше не меньше, как тщету любых усилий по созданию человека подлинно нового. У нас на глазах — на телевизионном экране — развернулась буквально схватка вокруг этого тезиса. «Кремлинолог» Кайзер с видом фаворита-чемпиона, заведомого победителя, подбрасывал саркастические замечания о «свободе личности», а Владимир Познер, как представитель АПН, отвечал. Обычно в таких дискуссиях первое преимущество оказывается за тем, кто свободно владеет языком. Но Володя такой форы своему оппоненту не дал. И вдруг во время их схватки студенческий голос крикнул в пользу, так сказать, «нашего»: «А что, правильно он говорит! Правильно!»

Англо-американская армия советологов, у которой есть свои генералы и свои стратеги, пополнилась и все пополняется отрядами молодежи — о ней надо сказать особо. Как вы понимаете, это истинно молодые люди, для которых даже мое поколение, детей военного времени, уже старо. Для этой молодежи не только вторая мировая война, но и «холодная война» — история в принципе далекая, будто-походы Наполеона. Все это они разве что «учили», если им «задавали» (а чаще всего не задавали!), и ничего этого они не знают, если иметь в виду органику памяти. Вместе с тем знают они такое, что поколениям постарше и представить себе было трудно. А именно знают они страну, которую изучают. Знают непосредственно, на собственном опыте, из первых рук. Они проходили у нас стажировку, писали курсовые и дипломные работы, жили в университетских общежитиях, слушали наших профессоров, сдавали им экзамены, у них тут прочнейшие, уже из поколения в поколения укрепляемые дружеские связи, не говоря об изрядном числе браков и замужеств. По моим наблюдениям, эта молодежь может стать чуть ли не самым прочным, истинно органическим заслоном антисоветской пропаганде. Они знают нас! Важно только одно — отвечать на их вопросы. На все вопросы, которые они ставят. Иначе за нас им ответят другие, и ответят по-своему.

— У вас есть проблемы? — спрашивает эта молодежь.

А «проблемы» в системе их понятий — это не «временные трудности», а та пресволочнейшая штуковина, по выражению Маяковского, которая «существует, и ни в зуб ногой!» «Так про-бле-мы. У нас они есть. А у вас?» И вот либо отвечаешь, как говорится, здесь и теперь, либо этих молодых людей теряешь раз и навсегда.

«Двадцать лет первого полета человека в космос» — такая выставка ТАСС открывается все в том же здании Лондонского городского университета. В порядке шефства в свободное от занятий время нас просят на ней подежурить. Выставка красивая, но скромная. Настолько скромная, что нет сувениров. А что в наши дни за выставка без сувениров?

Стараемся, как можем, восполнить этот пробел. Стараемся сообщить посетителям «эффект причастности, присутствия»: делимся своими воспоминаниями о тех событиях, что отражены на выставке.

Одна из наших преподавательниц говорит, что видела Юрия Гагарина.

— Как?!

— Вот так — на расстоянии примерно двухсот метров.

Она тут же становится живым экспонатом выставки.

— Смотри, вот эта женщина видела самого Гагарина всего лишь на расстоянии двухсот метров.

В пяти минутах ходьбы от университетского общежития находится старинное протестантское кладбище, и я туда нередко заглядывал.

Сразу, как войдешь, слева — Дефо.

Над могилой небольшой обелиск, поставленный только в конце прошлого века, деньги на него собрали дети. А старая плита с той же могилы пропала неизвестно куда. Если учесть, что человек, нашедший свой последний покой в той могиле, всю жизнь не знал покоя, ведя отчаянную политическую борьбу, то не исключено, что это была заочная месть каких-то врагов. Уже в нашем веке эта плита нашлась в изгороди у одного фермера, который понятия не имел, как попала к нему каменная доска с надписью «Даниель Дефо, автор Робинзона Крузо». Когда ставили новый обелиск, то пришлось переоборудовать могилу, и это дало возможность проверить достоверность известных нам описаний внешности создателя «Робинзона Крузо». Описания эти исходили от судебных инстанций, требовавших незамедлительной поимки человека «среднего роста, смуглого, волосы черные, подбородок выдается вперед». Цвет лица пропал безвозвратно, однако рост и массивная нижняя челюсть — все сошлось в точности.

Прежде, еще с Самариным, и не здесь, а в Стратфорде, стояли мы над другой великой могилой, и там тоже когда-то требовался ремонт — плита дала трещину, и тоже были разговоры, а нельзя ли раз и навсегда убедиться в том, как выглядел этот «человек из Стратфорда»... Нет, попробуй подойди, когда на плите надпись!, «Будь проклят тот, кто потревожит мои кости» Так что уж плиту подремонтировали и никаких дознаний не производили. Подоплека грозного предупреждения была чисто практи-

ческой. Это самим Шекспиром описано в «Гамлете», в сцене на кладбище: одного вынимают, кладут другого. Но это бы еще ничего, если бы просто вынули, а то ведь в деловом городе Стратфорде был устроен специальный склад... для костей, из которых варили мыло. «Великолепный Цезарь ныне прах и тлен, и на поправку он истрачен стен». Человек из Стратфорда, написавший эти строки, также убедительно просил оставить его прах в покое.

Как-то, придя на протестантское кладбище, я прямо за обелиском Дефо в нескольких шагах увидел парня, который, я чуть было не повторил про себя шекспировскую ремарку из «Гамлета», «копает и поет». Нет, пенья не было слышно. Но парень копал. Странно. Ведь это кладбище давно законсервировано. Опять как реплика из «Гамлета»: «Кого хоронят? И не по обряду!»

Парень не пел, но и собеседников не искал. Он не был угрюм или мрачен. Он был просто, как здесь положено, сам по себе. Единственный способ пробить броню замкнутости англичанина — все-таки поймать его взгляд и улыбнуться.

Тут парень поднял голову и поискал чего-то глазами на могильном бруствере.

— Удачный денек, не правда ли?— сделал я пробный ход.

— Это будет видно к вечеру,— спокойно отвечал парень, нашел, наконец, небольшой ломик и принялся им чего-то там долбить.

Я сделал следующий шаг. Буквально шаг, ступив поближе к свежевыкопанной земле. Вдруг на бруствер снизу вылетел желтоватый обломок. Корень дерева.

Дальше пошел диалог шекспировский, с некоторыми поправками на современность.

— А чья же это могила?

— Муниципальная.

Парень выпрямился, выбросил на бруствер ломик, лопату и выбрался из ямы сам.

— Закрыть ее решено,— пояснил он охотно и вежливо,— заровнять место, а то соседняя изгородь осадку дает.

И он махнул перчатками, которые успел снять, в сторону массивного саркофага — прямо за обелиском Дефо.

— Простите, а давно вы здесь могильщиком?

— С тех пор как не мог найти другой работы,— последовал ответ.

— Не знаете, где здесь Журавлиный тупик?

С вопросом обращаюсь к полисмену на Флит-стрит, улице редакций. Полисмен тоже совсем молодой. Весело отвечает:

— Мне бы самому это кто-нибудь объяснил, а то слышу: «Журавлиный тупик... Журавлиный тупик...» А собственными глазами не видел еще ни разу!

Увидеть Журавлиный тупик чрезвычайно трудно. Вход в него не через переулок и даже не через ворота, а через дыру, узкую щель, в которую я попал совершенно случайно. Сам по себе Журавлиный тупик — каменный мешок, спрятанный ото всех взоров.

Когда-то здесь было Философическое общество. Читал лекции поэт и критик Кольридж. Приезжал его слушать Байрон. Эти лекции — источник влиятельной критической традиции, сохраняющей авторитет и сегодня. Это здесь был провозглашен принцип, отмеченный Пушкиным: судить о писателе надо по тем правилам, которым он сам следует.

Выходя или, вернее, вылезая из Журавлиного тупика, я на витрине уже закрытой книжной лавки увидел книгу: «Дороги, где проходят времена».

...Когда входишь в Британский музей, то сам на себя смотришь очень почтительно: «Вот он входит в Британский музей». В тот день музей был закрыт для посетителей. Простых посетителей. Допуск только читателям.

— Сэр — читатель?

— Разумеется,— и он прошел во двор Британского музея сквозь толпу туристов, читавших с трепетом и огорчением надпись на воротах: «Музей сегодня закрыт для посетителей. Только читатели!».

Правда, читательский билет был у меня уже просрочен. Но что мне мешает продлить его? Положим, нужна рекомендация, потому что запись в библиотеку Британского музея сейчас очень ограничена. Будет и рекомендация. Кристина — сотрудница славянского отдела библиотеки. Мы с ней друзья давно и всегда помогали друг другу как могли: она приезжала в Москву заниматься в Ленинской библиотеке, а теперь... Он входит в Британский музей и вот уже звонит по внутреннему телефону. «Привет, Кристина!» Не прошло и пятнадцати минут, как билет был благополучно продлен. И он проследовал прямо в читальный зал Британского музея.

...Огромный голубоватый купол, гасящий все звуки и приглашающий взлететь, подняться мыслью до высот, в том числе тех, что именно здесь, в этом зале, были достигнуты.

Он выбирает место, нет, он находит свое прежнее место, к счастью сегодня не занятое, потом подходит к полкам в самом центре круглого зала, где стоят массивные фолианты — каталог (в Британском музее каталог напечатан в книгах), выписывает все необходимое для работы, сдает заполненные карточки исключительно вежливому сухопарому библиографу (о, эти истинные англичане!) и возвращается на свое место. В некотором ожидании он поглядывает вверх, откуда через стрельчатые и округлые окна льется свет, и приходят ему на память строки:

Прости! коль могут к небесам
Взлетать молитвы о других,
Моя молитва будет там
И даже улетит за них!

Байрон в переводе Лермонтова. Британский музей. А тут еще, хотя не прошло и двадцати минут, развозят на специальных тележках уже выполненные заказы, и он получает одну за другой нуж-

ные ему книги. «И пыль веков... И пыль веков...»

Не успел я, однако, как следует надышаться пылью веков, не сделал еще никаких выписок, как в центре зала поднимается на стул тот самый библиограф, который принимал у меня заказы, и с той же отменной вежливостью провозглашает:

— Минуту внимания, дамы и господа! В знак протеста против заправки у берегов Англии американской атомной подводной лодки работники Британского музея присоединяются ко всеобщей забастовке служащих.

Что? При чем здесь подводная лодка? Да, вчера по телевизионному экрану проползло зеленовато-черное продолговатое туловище. И диктор добавил: «Военно-морское министерство при согласии премьер-министра госпожи Маргарет Тэтчер готово санкционировать перезаправку этой лодки на английской базе. Профсоюз служащих угрожает забастовкой».

— Через пятнадцать минут,— продолжал сухопарый,— читальный зал будет закрыт. Просьба незамедлительно сдать книги!

— Нет, вы слышали?— обратился ко мне сосед-читатель.— Почему мы-то должны страдать?

По залу задвигались бесшумные тележки, те самые, которые только что доставляли нам книги. Теперь они готовы были увезти их. Такой порядок: если книга не сдана, ее забирают прямо со стола. Между тем в центре зала сухопарого уже окружила небольшая, но энергичная читательская демонстрация, которая гневно требовала от него ответа:

— За что страдаем?

Действительно, только устроился... Пыль веков. Ну, ничего, еще не все потеряно. Везде друзья. Кристина! И он проследовал из зала мимо гневной толпы вопрошавших: «За что страдаем?». Только бы Кристину сейчас найти, а там уж она что-нибудь придумает. В порядке исключения из общего правила. Только бы добраться до телефона, ведь верный друг в беде не оставит. Лондон — Москва, Москва — Лондон...

И мне, кажется, повезло. Даже звонить не надо будет. Тут же при выходе из читального зала по коридору шла Кристина. Друг верный. До чего же вовремя!

— Кристина, такое дело... Тут у вас забастовка, а у меня командировка короткая, каждый день на счету. Жаль, пропадет время. Нельзя ли по-дружески...

Холодный взор оборвал мою речь. Кристина, с которой мы были уже знакомы несколько лет, вели переписку, обменивались книгами, помогали друг другу в библиографических розысках, вдруг посмотрела на меня так, будто видит впервые. И подкреплен был этот взгляд еще более холодным тоном, каким Кристина произнесла:

— Что ж, скажите спасибо за все за это госпоже Тэтчер! — и пошла по коридору дальше, не оборачиваясь.

Я бросился обратно в зал и присоединился к читательской демонстрации, выступавшей под лозунгом: «За что страдаем?».

— Нет, вы скажите нам, почему мы должны страдать? — добивался мой сосед-читатель.

— Потому,— отвечал сухопарый библиограф,— чтобы понять, насколько это дело нешуточное.

Особое это в самом деле ощущение, когда реальность преподносит тебе живую цитату из учебника или же когда на газетной странице раскрывается знакомая тебе судьба.

Шестьдесят процентов университетских выпускников, как сообщают газеты, не могут найти в Англии работу по специальности. Один из выпускников, составляющих эти шестьдесят процентов, мне хорошо известен. Тоже филолог. Друзья. Учился он в университете под Лондоном, учился в Москве, поступил в аспирантуру в Оксфорде. Изучал русский романтизм. Последний раз виделись мы именно в Брайтоне перед его аспирантскими экзаменами.

Брайтон — приморский курорт, который когда-то облюбовал король Георг III. Сейчас живет там «король» английской сцены Лоуренс Оливье. Каждый день ездит в Лондон в Национальный театр. Сравнительно недалеко.

Мы приехали туда опять-таки группой, и все пошли смотреть местные достопримечательности. А меня еще Самарин отучил смотреть достопримечательности: «Либо их надо изучать, либо лучше наблюдать просто жизнь, смотреть надо то, что можешь увидеть поистине своими глазами...» Кроме того, это был случай повидать друга.

Так мы с приятелем и ходили по брайтонскому побережью, обсуждая позицию Пушкина в канун декабрьского восстания 1825 года. Что все-таки значит «народ безмолвствует»? Нас то и дело обгоняли мальчишки на скейтбордах — досках с колесиками, начавших тогда входить в моду.

Было заметно, что мой знакомый волнуется, но меньше всего — перед экзаменом. Тревожило будущее. Чего же тревожиться? Оксфорд! Но ведь это только три-четыре года, а дальше: будет ли в Англии спрос на специалистов по русскому романтизму?

Мне, надо признаться, подобные вопросы и в голову не могли прийти. «Народ безмолвствует» — другое дело, тут есть о чем подумать.

— Пушкин закончил «Бориса Годунова» прямо перед самым восстанием декабристов. Это была его полемическая речь на «братской перекличке». А известен «Борис Годунов» стал вскоре после того, как восстание было подавлено, вот почему...

Вж-ж-ж! — обогнал нас очередной скейтбордист. Море без волн, без кораблей занимало простор до горизонта. Природа, как ей положено, будто нарочно сияла своей вечной красотой, оттеняя людское беспокойство.

Насколько беспокойство было обосно-

ванным, судите сами. Своего приятеля в этот раз я не смог ни повидать, ни хотя бы поговорить с ним по телефону. Прислал он мне как-то свою фотографию в университетской мантии, а потом исчез. Одно было ясно: с романтизмом покончено, и по специальности, имея оксфордский диплом, он не работает. А другой английский приятель, с которым я все-таки встретился, не работает вовсе и тоже имеет степень бакалавра искусств.

Вот не успел я спросить молодого могильщика, какое у него образование. Может быть, историк, специалист по английскому пуританству, тому самому, которому он теперь, так сказать, заново роет могилу на старинном кладбище в Сити?

После окончания занятий всей нашей группе предстояла поездка по Восточной Англии. Если старый Сити — это наиболее лондонский Лондон, то Восточная Англия — та самая часть Британского острова, которая дала традиционное название всей стране: по имени самых первых германских завоевателей — англов. Другой Англии, собственно, никогда и не было, но чтобы уж отличать часть от целого, этот угол острова стали называть Ист-Англия.

О первом остановочном пункте на пути нашего литературного паломничества скажу не много. Приоритет посещения этого места был все равно у нас отобран.

— Часто здесь бывают советские туристы?

— Очень часто.

Это — Лутон-Хо. Лутонов Холм. Имение правнучки Пушкина. Как известно, младшая дочь поэта Наталья Александровна стала женой сына Дубельта, управляющего III Отделением, в списках которого поэт числился в качестве поднадзорного даже много лет спустя после смерти. На этом история в своей иронии не остановилась. Вторым браком, уже за границей, Н. А. Пушкина-Дубельт вышла замуж за принца Нассауского, а дочь ее от этого брака Софья стала женой великого князя Михаила Михайловича. Так внучка Пушкина вышла замуж за внука Николая I. «Родство, которое, должно быть, привело бы в ужас обоих дедов»,— сказано в путеводителе по Лутон-Хо. Праправнучкой Пушкина и Николая I была Анастасия Михайловна Вернер, коротко — леди Зия.

В этом семействе хранились письма Пушкина к жене, впоследствии опубликованные. Пушкинисты высказывают также предположение, что у английских потомков поэта может храниться и его дневник, до сих пор не найденный, так называемый дневник «№ 1», предшествующий известному нам «№ 2». Хранитель Лутон-Хо говорит, что никаких пушкинских бумаг здесь давно нет. Есть только скопированная чьей-то рукой ода «Вольность». «Самовластительный злодей! Тебя, твой трон я ненавижу...» Как в благородном семействе объясняли подрастающим поколениям, почему один дедушка так написал про другого дедушку?

Источником богатств, позволивших английским потомкам Пушкина жить в условиях, в которых он сам мог оказаться лишь случайным, снисходительно принятым гостем (примерно как юсуповское Архангельское под Москвой), служили алмазные копи Африки. Источники эти иссякли, то есть сделались больше недоступны. Поэтому, чтобы содержать усадьбу, ее пришлось отчасти превратить в музей. Да, леди Зия, она же Анастасия Михайловна, иногда сама показывала Лутон-Хо экскурсантам. Говорила по-русски. Трудно сказать, насколько хорошо или плохо.

Странно, в самом деле, видеть здесь, среди английских полей, пушкинский профиль, даже не на его собственных портретах, а на портретах его английских потомков. До чего ясно отпечатано!

А вот и Ньюмаркет. О, сколько силы в этом звуке для знатока! Не отношу себя к числу таковых, но видел истинных знатоков, сердца которых учащенно бились и глаза горели при одном только слове — Ньюмаркет.

Это центр скаковой жизни. Основанные еще в семнадцатом столетии, скаковые испытания проводятся здесь все по той же системе, все на той же пустоши, которая не распахивалась триста лет, и таким образом Ньюмаркет служит наиболее стабильным мерилом скакового класса. Если в соседствующем городке Кембридже нет ничего, кроме колледжей,— один только университет, то в Ньюмаркете — конюшни, конюшни и скаковые дорожки. Сплошной ипподром.

Первым Ньюмаркет описал понимавший в лошадях Дефо. С тех пор описание скачек стало своего рода эталоном мастерства в английской литературе. Не можешь описать скачки, проходи дальше, не задерживай других! Скачки описывались с точки зрения зрителя, с точки зрения всадника и, естественно, с точки зрения лошади.

На возвышенности у начала тренировочной прямой старинная церковь и кладбище. Жокейское. Здесь спят ветераны ньюмаркетской пустоши во главе с великим Арчером.

Выдающегося всадника, как и классную лошадь, обязательно должна преследовать роковая неудача. Или должен быть какой-нибудь ужасный недостаток. У жокея это обычно рост и вес. Фред Арчер был высок, поэтому приходилось ему жить впроголодь. Изнурительной диетой дело не ограничивалось. Арчер парился и без конца принимал слабительное. В результате «гений в седле», как его называли, довел себя не только до физического, но и до нервного истощения. В припадке безумия он пустил себе пулю в лоб. Теперь спит вечным сном у начала тренировочной прямой, прислушиваясь к пробным галопам, как говорят в Ньюмаркете.

Знаменитый жокей современности Лестер Пиггот, которого также замучил рост, сделал, видимо, соответствующие выводы из плачевной судьбы своего предшественника. И — сделал операцию,

удалив всю мускулатуру, не нужную для жокея.

Лестера Пиггота я и мечтал повидать. Об этом можно только мечтать, потому что Пиггот постоянно в пути. Пользуясь всеми видами современного транспорта, от самолета до автомобиля и скоростного поезда, он переезжает из города в город, из страны в страну, с континента на континент, чтобы максимум две с половиной минуты воспользоваться транспортом старомодным — лошадью, то есть принять участие в скачках. Пиггот скакал во всех странах мира, кроме нашей страны. А почему? Пока стесняемся. Ньюмаркет, Пиггот — это, знаете, эталон, это надо понимать... Но у нас давным-давно скакали предки Пиггота: он жокей «породистый», как и те скакуны, на которых он выступает. Мало этого, английская жокейская семья жила в Москве рядом с Чеховым, дверь в дверь, на Малой Дмитровке. В результате Пигготы попали в чеховские письма и в повесть «Три года», где, правда, стали «французами».

— Надо все-таки уточнить, те ли это Пигготы? — просили меня в Институте мировой литературы, поскольку мы выпускаем комментированное собрание сочинений Чехова.

— Хорошо, спрошу.

Возле конюшни Пиггота в загоне бегал Черный Принц. Я узнал эту лошадь «в лицо», поскольку еще вчера ее фотографии были во всех английских газетах. Пиггот выиграл на ней большой приз. Здесь же, в Ньюмаркете. Но сегодня его здесь уже не оказалось.

— Лестер скачет в Италии,— пояснила его жена, в свою очередь «чистокровная» дочь жокея.

— Жаль, а то я хотел насчет Чехова уточнить.

— Лестер сам этим интересуется. Вы бы его в Москву пригласили, там на месте бы и уточнили. Москва — единственный крупный скаковой город мира, где он еще не выступал.

— Пока стесняемся...

— Понятно. Я Лестеру так и передам. Будете еще в Ньюмаркете, заглядывайте.

Дня через два я открыл газету и увидел фотографию Лестера Пиггота только что не в черной рамке. «Шестнадцать швов»,— гласили заголовки. Нет, случилось это не в Италии. Там Пиггот блистательно выиграл и вернулся домой. Нет, не в Ньюмаркете. Он проследовал прямо на другой английский ипподром, где должен был выступать на жеребце по кличке Парень-из-Виндзора. Этому Парню-из-Виндзора не понравилась, видите ли, старт-машина, и он вдруг перед самым пуском рухнул на колени и. как-то изловчившись, через нижнюю щель — между дверцей и дорожкой — выскочил из бокса. Лестер сидел в седле. В результате шестнадцать швов после пластической операции. «У постели жокея дежурит жена, дочь жокея»,— писали газеты.

Еще через несколько дней должен был состояться розыгрыш совсем крупного приза, так называемого традиционного, не только победители, но даже рядовые участники которого входят прямо в историю. Вся Англия, затаив дыхание, ждала, что же будет. И вот диктор провозгласил:

— Лестер на старте!

И это после шестнадцати швов пластической операции. С удаленной мускулатурой. Да, надо подготовиться как следует, прежде чем приглашать потомственного жокея в Москву с целью уточнить, какие именно его предки жили по соседству с Чеховым.

Кембридж... Оксфорд... Соперничество между двумя старейшими университетскими городами сохраняется. Начинается оно с перечисления знаменитостей, которых выучил и выдвинул тот или другой университет, а кончается на реке схваткой гребных команд. В тот год кембриджская лодка во время регаты перевернулась. И знаете, как этот плачевный факт освещался в Кембридже? Сообщалось об этом так: «На традиционных гребных соревнованиях между Кембриджем и Оксфордом победил Оксфорд. Одна из команд, к сожалению, затонула».

Оксфорд... Кембридж... Какие имена! А университетских знаменитостей так много, что ими и гордятся, и как бы скрывают их, не указывают, где они учились и жили. Иначе от паломников спасения не будет. Поэтому весь Оксфорд продолжает игру, некогда начатую Льюисом Кэрроллом, который когда-то преподавал здесь математику, а также написал «Приключения Алисы в стране чудес». Книгу об Алисе он написал как Льюис Кэрролл, а математику преподавал как Чарльз Лутвидж Доджсон. К нему еще при жизни приезжали паломники, желая повидать Кэрролла, он им отвечал (он был заика): «П-простите, но з-здесь такого нет. Я — До-доджсон». В известном смысле мне пришлось испытать это на себе, потому что Оксфорд стоит за него горой.

— Где здесь жил Льюис Кэрролл?

— Трудно сказать, сэр.

Меня не проведешь:

— Я имею в виду преподобного Чарльза Лутвиджа Доджсона (ведь он был еще и священник).

— Ах, Доджсон... Тоже, знаете, затруднительно указать с полной определенностью.

Ну, уж это ни в какие ворота не лезет! Как же это трудно? Он здесь сорок с лишком лет прожил, он здесь тридцать восемь лет преподавал, он в университетской столовой ужинал восемь тысяч раз (он это сам подсчитал, любя, как математик, все подсчитывать).

— Так-то оно так, сэр, только вот не сохранилось точных данных.

И это говорится буквально у ворот, это говорит привратник того самого колледжа, с которым Кэрролл-Доджсон был связан всю свою жизнь! Увидев, что дело плохо, что игра ведется серьезная, я

обратился за помощью к старому знакомому, здешнему старожилу, выдающемуся английскому знатоку русской книги, а также страстному кэрролианцу — собирателю всевозможных изданий Льюиса Кэрролла на всех языках. Начал я издалека:

— Представляете, профессор, только за самое последнее время у нас вышли один за другим три новых перевода «Приключений Алисы». И уже все распроданы. Достать совершенно невозможно.

Глаза коллекционера засветились охотничьим огнем, он спросил:

— А вас что привело в Оксфорд?

— Хотелось бы знать, где жил Льюис Кэрролл.

Некоторое время старый кэрролианец, хранитель оксфордских традиций и первопечатных русских книг, колебался, потом все же спросил:

— Карта оксфордская у вас какая-нибудь при себе есть?

Я тут же развернул свою карту.

— Здесь,— быстро была сделана помета.— Только без огласки. У нас, знаете, в бывшей комнате Лоуренса стены пришлось переставлять, чтобы паломники оставили в покое. А тем, кто живет в комнатах Оскара Уайльда — скрыть их вовремя не удалось,— можно только посочувствовать!

А разве нельзя понять паломников? В самом деле, какие имена! Какие достижения! Законы гравитации... Законы эволюции... Расщепление атомного ядра... Кто-то сказал, и, кажется, справедливо, что если где-то были выдающиеся ученые, то здесь создавалась сама наука. Сама литература училась здесь писать. Сама философия — мыслить. «Всего этого хватило бы не только на ученый мир, а целую вселенную»,— так сказал К. А. Тимирязев, почетный профессор Кембриджа, он имел в виду игру слов university (университет) и universe (универсум, мироздание).

Но всякая легендарность уязвима, у нее есть не только парадная сторона, но и кулисы, где, как положено кулисам, довольно пыльно и сумрачно. Кембридж и Оксфорд не составляют исключения из этого грустного правила. Дело не в том, разумеется, что на их счет нужно злословить, что следует поистине копошиться в университетской пыли, которой, уж наверное, накопилось за века предостаточно. Суть в том, что и недостатки образцового, классического, лучшего имеют свое образцовое, поучительное значение. Вот говорится: Оксфорд! Кембридж! А ну, как на поверку, вроде бесконечности у Достоевского, на самом деле окажется какая-нибудь «комнатка, засиженная пауками», действительно нечто запыленное, застывшее? Те монастырские стены, которые когда-то в темные века сохраняли науку, они же со временем могут и стиснуть, задушить ее.

Один сатирический роман, появившийся в Англии недавно, как раз об этом и написан.

Названием этого романа служит местное выражение. Перевести его можно двояко: «Кембриджская кондрашка» или «Университетский паралич». Начинается роман с того, что мне отчасти известно не из вторых рук, что довелось испытать на собственном опыте: с университетского ужина, одного из тех бесчисленных ужинов, которые только один Льюис Кэрролл посетил восемь тысяч раз. За хлеб-соль спасибо! Про ужин как таковой ничего плохого сказать нельзя. Но автор, знающий университетскую жизнь изнутри, начинает именно с ужина потому, видимо, что это процедура ключевая, исходная, так сказать, сакральная, и, с нее начиная, можно проследить расслоение живых и уже омертвевших форм: есть дух братства, единения, а есть нечто от давно обветшавшего спектакля. Повествование движется дальше, проникает в профессорскую, в кабинет ректора, и что же обнаруживается? Вот скрывают, где жили выпускники Оксфорда или Кембриджа, потому что от паломников отбоя нет. Это великие, выдающиеся выпускники. Но есть и другие, не только их адреса, но даже их имена лучше скрыть, потому что у них аттестаты... куплены. В романе показаны последствия подобного «образования»— в лице аристократа-разложенца, который, пока «учился», получая переходные баллы за крупные деньги, пьянствовал и развратничал, потом благодаря кембриджскому аттестату и сословной протекции занимал крупные государственные посты, принося своей тупостью и темнотой чудовищный вред в масштабах государственной политики, наконец, удалился на покой, но всегда готов отстаивать «старые добрые» университетские традиции! Выживет ли в такой борьбе, как сказал Дарвин, достойнейший?

Мой друг по-настоящему знает русский язык и русскую литературу, был принят в аспирантуру, получил степень, а работу по профессии найти не может. Вот и трепещи после этого: Оксфорд... Кембридж...

Перед самым отъездом домой, в последний вечер, пригласил меня к себе давний лондонский знакомый. Засиделись. Дорога назад, в общежитие, не близкая. Вызвали по телефону такси. Такси оказалось частное. Не специальный кэб, черный, как катафалк, в котором водитель и клиент разделены стеклянной стеной. Обыкновенный автомобиль, оборудованный счетчиком и телефоном. Да, машина своя (мы, естественно, стали говорить с водителем «за жизнь»). Нет, без выходных. А у кого их брать, у себя самого? Так и работает, и в ночь, и день. Почему же, иногда отдыхает... Понятно, редко. Либо работать, либо отдыхать.

Шофер нажал какую-то кнопку. Зашипело. Заработал магнитофон. Послышался какой-то лепет. Потом смех.

— Слышите? Смех моей дочери. Иногда включаю и слушаю.

Мы ехали по безлюдным лондонским улицам под шелестящий детский смех.

Антирубрика

ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР

РАССКАЗЫ

Перевод с французского и вступление ЛЬВА ТОКАРЕВА

Всегда непросто ответить на вопрос, почему поэты пишут прозу. Великий французский поэт Гийом Аполлинер (1880—1918) за свою короткую жизнь создал очень много прозаических произведений и объяснял свою привязанность к прозе весьма просто. «Проза! — писал он другу.— Какая это трудная вещь! Стихи удаются гораздо легче».

В Советском Союзе хорошо известен Аполлинер-поэт. Однако Аполлинер-прозаик еще ждет своего открытия. «У меня есть слабость верить в мой большой талант рассказчика»,— признавался он в одном письме. Знакомясь с прозой поэта, убеждаешься, что эта вера была вполне обоснованной. Гийом Аполлинер — рассказчик яркий, оригинальный, разнообразный — достойный наследник блестящего остроумия Рабле и Вольтера. Поэт был большим мастером новеллы, любил неожиданные, своего рода «антисюжеты», которые разрабатывал в лаконичной, изящной форме. Аполлинеру нравилась в прозе поэтическая игра воображения, он часто мистифицировал читателя, прибегая к пародии, как бы стирая грань между вымыслом и реальностью. Среди его прозаических произведений есть такие шедевры, как книга «Казнь поэта» и сборник рассказов «Ересиарх и К°».

Но пусть читатель не верит нам на слово и прочтет новеллы Гийома Аполлинера, который сумел справиться с «трудным» искусством прозы.

Матрос из Амстердама

Голландский бриг «Алкмар», груженный пряностями и прочим ценным товаром, возвращался с Явы.

Он зашел в Саутгемптон, и матросам разрешили сойти на берег.

Один из них, Хэндрейк Верстеех, посадив на правое плечо обезьяну, а на левое — попугая, тащил за спиной мешок, набитый индийскими тканями, которые намеревался продать в городе заодно со своей живностью.

Стояло начало весны, и смеркалось совсем рано. Хэндрейк Верстеех вразвалочку шагал по заполненным легким туманом улицам, которые еле-еле освещались газовыми фонарями. Матрос думал о скором возвращении в Амстердам, о матери, которую не видел три года, о поджидавшей его невесте. Он прикидывал, сколько выручит за обезьяну, попугая и ткани, разыскивая лавку, где можно было бы сбыть столь экзотический товар.

На Бар-стрит к нему подошел весьма изысканно одетый господин и спросил, не продает ли он попугая.

— Ваша птица,— пояснил он,— вполне мне подходит. Мне необходимо какое-либо живое существо, которое разговаривало бы со мной, а я молчал. Ведь я живу отшельником.

Подобно многим голландским матросам, Хэндрейк Верстеех говорил по-английски. Он назначил цену, которая устроила незнакомца.

— Идите за мной,— сказал тот.— Живу я довольно далеко. Вам придется усадить попугая в мою клетку. Вы распакуете свои ткани, и, быть может, я выберу кое-что подходящее.

Радуясь удаче, Хэндрейк Верстеех пошел за джентльменом, надеясь по пути уговорить незнакомца купить и обезьяну, которую расхваливал на все лады. Она, сообщил матрос, принадлежит к редкостной породе, чьи особи превосходно переносят английский климат и крепче прочих обезьян привязываются к хозяину.

Но вскоре Хэндрейк Верстеех умолк. Слова он тратил зря, так как незнакомец не отвечал ему и, казалось, вовсе не слушал.

Они молча шли рядом. Только обезьяна, испуганная туманом, вспоминая о родных джунглях в тропиках, иногда тоненько попискивала, будто новорожденный младенец, да хлопал крыльями попугай.

Через час ходьбы незнакомец резко сказал:

— Подходим к дому.

Они находились в пригороде. Дорогу окаймляли просторные парки, огороженные решетками; время от времени за деревьями мелькали освещенные окна коттеджа, и через равные промежутки времени издалека, с моря, доносился зловещий вой сирены.

Незнакомец остановился перед решеткой, вытащил из кармана связку ключей и открыл ворота, сразу же заперев их, едва Хэндрейк успел войти.

Матрос был удивлен, он с трудом различил в глубине сада небольшую, благопристойную на вид виллу, но сквозь запертые ставни не проникало никакого света.

Молчаливый незнакомец, безжизненный дом — все выглядело весьма зловеще. Однако Хэндрейк вспомнил, что незнакомец живет один. «Чудак какой-то!» — подумал он. Так как у голландского матроса денег не было, то заманить его сюда с целью грабежа не могли; он даже устыдился за свое мгновенное беспокойство.

— Если у вас есть спички, посветите мне,— попросил незнакомец, вставляя ключ в замочную скважину.

Матрос повиновался, и, едва они проникли в дом, незнакомец принес лампу, осветившую со вкусом обставленную гостиную.

Хэндрейк Верстеех совсем успокоился. Он уже лелеял надежду, что его странный спутник купит добрую часть тканей.

Незнакомец, который выходил из гостиной, вернулся с клеткой.

— Посадите сюда вашего попугая,— сказал он.— Я стану держать его на жердочке лишь тогда, когда он привыкнет и научится говорить. Именно это мне нужно.

Потом, заперев клетку, где испуганно заметалась птица, он попросил матроса взять лампу и пройти в соседнюю комнату, в которой, как он пояснил, стоит стол, удобный для того, чтобы разложить ткани.

Хэндрейк Верстеех послушался и отправился в указанную комнату. Едва он переступил порог, как дверь захлопнулась и послышался скрип повернутого в замке ключа. Матрос оказался в ловушке.

Опешив, он поставил лампу на стол и хотел броситься на дверь, чтобы высадить ее.

— Один шаг, матрос, и вы мертвы!—услышал он.

Подняв голову, Хэндрейк увидел сквозь прорезь в двери, которую не успел раньше заметить, направленный на него ствол револьвера.

Охваченный страхом, он застыл на месте.

Борьба бессмысленна, нож в этих обстоятельствах не мог ему послужить, даже револьвер был здесь ни к чему. Незнакомец, державший его в своей власти, прятался за стеной, в стороне от прорези, сквозь которую просунул только руку с револьвером, и наблюдал за матросом.

— Слушайте внимательно,— строгим голосом начал он,— и повинуйтесь! Вынужденная услуга, какую вы мне окажете, будет вознаграждена. Но выбора у вас нет. Надо во всем слушаться меня, иначе я пристрелю вас, как собаку. Выдвиньте ящик стола... Там лежит револьвер, заряженный пятью пулями... Возьмите его...

Голландский матрос подчинился почти машинально. Обезьяна, сидящая на его плече, визжала от страха и дрожала.

— В глубине комнаты занавес,—продолжал незнакомец.— Отдерните его.

Отдернув занавес, Хэндрейк увидел в глубине алькова постель, на которой лежала связанная по рукам и ногам женщина с кляпом во рту. Она смотрела на него полными отчаяния глазами.

— Развяжите женщину,— продолжал незнакомец, — и выньте кляп.

Когда матрос выполнил приказ, женщина, совсем юная и восхитительно красивая, бросилась на колени перед прорезью в двери, крича:

— Гарри, это гнусная западня! Вы заманили меня на эту виллу, чтобы убить. Вы говорили, что сняли дом для того, чтобы мы провели здесь первые дни нашего примирения. Я считала, что убедила вас. Думала, что в конце концов вы поверили в мою невинность! Гарри! Гарри! Я не виновна!

— Я вам не верю,— сухо ответил незнакомец.

— Гарри, я не виновна! — умоляющим голосом повторяла молодая женщина.

— Эти ваши последние слова я тщательно зафиксирую. Всю жизнь мне будут их повторять.

Голос незнакомца слегка дрогнул, но тут же вновь потвердел.

— Я все еще люблю вас,— прибавил он.— Если бы я меньше вас любил, то сам бы убил вас. Но сделать этого я не в силах, ведь я люблю вас... Теперь слушайте меня, матрос! Если прежде, чем я досчитаю до десяти, вы не всадите этой женщине пулю в лоб, то вы сами рухнете трупом к ее ногам. Раз, два, три...

И раньше чем незнакомец досчитал до четырех, обезумевший Хэндрейк выстрелил в женщину, которая, по-прежнему стоя на коленях, в упор смотрела на него. Она упала лицом на пол. Пуля попала ей в лоб. И в это мгновение из прорези в двери раздался выстрел, который поразил матроса в правый висок. Он рухнул на стол, а обезьяна, визжа от ужаса, спряталась под блузой у него на груди.

Утром прохожие, слышавшие загадочные крики на вилле в пригороде Саутгемптона, сообщили в полицию, которая примчалась и взломала двери.

Обнаружили трупы молодой женщины и матроса. Обезьяна, неожиданно выскочившая из-под блузы хозяина, бросилась на грудь к одному из полицейских. Она так напугала всех, что, отскочив в сторону, они прикончили ее из револьверов.

Следствие все выяснило. Очевидно, что матрос убил даму, а потом покончил с собой. Тем не менее обстоятельства драмы казались таинственными. Оба трупа без труда были опознаны, и все задавались вопросом: каким образом леди Финнгэл, супруга пэра Англии, очутилась в отдаленном загородном доме одна с матросом, накануне прибывшем в Саутгемптон.

Владелец виллы не мог дать никаких сведений, могущих облегчить работу следователей. За неделю до убийства вилла была сдана некоему человеку из Манчестера, называвшему себя Коллинзом, который, кстати, бесследно исчез. Этот Коллинз носил очки, у него была длинная рыжая борода, которая вполне могла оказаться поддельной.

Из Лондона спешно прибыл лорд. Он обожал жену, и на его горе было тяжко смотреть. Как и все, он ничего не понимал в этом деле.

После этих событий он удалился от света. Живет он в собственном доме в Кенсингтоне, вместе с немым слугой и попугаем, который без конца повторяет:

«Гарри, я не виновна!»

Травля

В те времена премии за поэзию присуждались ежедневно. Для этой цели основаны были тысячи обществ, члены которых жили на широкую ногу, по определенным числам отваливая поэтам кое-что от своих щедрот. Но самые большие фирмы, компании, административные советы, академии, комитеты и т. д. и т. п. всего мира присваивали учрежденные ими премии 26 января. В тот день выдали 8018 поэтических наград, чья общая стоимость составила сумму в 50 003 225,75 франка. И все-таки вкус к поэзии не привился ни в одном сословии населения, ни в одной стране; общественное мнение было сильно настроено против поэтов, которых именовали лентяями, бездельниками и т. п. 26 января того года прошло без инцидентов, но на следующее утро крупная газета «Голос», выходящая на французском языке в Аделаиде (Австралия), поместила статью ученого-агрохимика Горация Тограта (немца, родившегося в Лейпциге), чьи открытия и изобретения зачастую граничили с чудом. Статья, озаглавленная «Лавровое дерево», содержала своего рода краткий исторический очерк культуры лавра в Иудее, Греции, Италии Африке и Провансе. Автор давал советы тем, у кого в садах растут лавровые деревья, указывал на многочисленные способы использования лавра в питании, искусстве, поэзии и его роль как символа поэтической славы. Добрался он и до мифологии, намекая на Аполлона и притчу о Дафне. Под конец Гораций Тограт резко менял тон и заключал статью строчками:

«Итак, заявляю со всей прямотой, что никчемное это дерево в наши дни слишком распространилось, хотя мы располагаем и другими, менее прославленными символами, коим народы приписывают пресловутый вкус лавра. На перенаселенной нашей земле лавровые деревья занимают чрезмерное пространство, они не достойны жизни. Каждое из них отнимает место под солнцем у двух человек. Пусть срубят лавровые деревья и боятся их листьев, как отравы. Будучи некогда олицетворением поэзии и литературной учености, сегодня они являют лишь символ мертвой славы, имеющей к подлинной славе такое же отношение, как смерть к жизни, как длань славы—к ключу, открывающему дверь в рай.

Истинная слава покинула поэзию и перешла к науке, философии, акробатике, филантропии, социологии и т. д. Теперь поэты годны лишь на то, чтобы получать деньги, которые они отнюдь не зарабатывают своим трудом, ибо не работают, и большинство из них (кроме песенников и некоторых других) не обладает ни малейшим талантом, а следовательно, не заслуживает никакой пощады. Те, кому отпущено хотя бы крохотное дарование, гораздо вреднее всех остальных, потому что — даже если они никого не трогают и ничего не получают — каждый из них производит шуму больше, чем полк солдат, и нам прожужжали уши, будто их прóкляли. У всех этих людей нет больше права на существование. Премии, присуждаемые им, украдены у тружеников, изобретателей, ученых, философов, акробатов, филантропов, социологов и т. д. Необходимо, чтобы поэты исчезли. Ликург изгнал их из своей республики, нам нужно стереть их с лица земли. Иначе поэты, эти отъявленные лодыри, заберут власть над нами и, пребывая в праздности, станут жить нашим трудом, угнетая нас и смеясь над нами. Короче, нужно как можно быстрее освободиться от тирании поэтов.

Если республики и королевства, если все нации не проявят бдительности, то слишком привилегированная раса поэтов расплодится в таких размерах и с такой быстротой, что — не успеем мы глазом моргнуть — никто не захочет больше работать, изобретать, познавать, рассуждать, производить опасные вещи, врачевать страдания людей и облегчать их участь.

Итак, надлежит без промедления взяться за ум и избавиться от поэтической язвы, что подтачивает человечество!»

Статья вызвала невероятный шум. По телеграфу и телефону ее передали во все страны, перепечатали все газеты. Отдельные литературные издания, снабдившие текст Тограта насмешливыми комментариями в адрес ученого, выражали сомнение в его умственном здоровье. Все издевались над тем ужасом, с каким относился он к лирическому лавру. Информационные и деловые газеты, наоборот, всячески раздували предупреждение Тограта. Статья из «Голоса», утверждали они, гениальна.

Статья ученого Горация Тограта была уникальным, великолепным поводом укрепить ненависть к поэзии. И сам повод был поэтичен. Ученый из Аделаиды взывал к чудесам античности, воспоминание о кото-

рых живо в каждом человеке, и к инстинкту самосохранения, присущему всем живым существам. Поэтому почти все читатели Тограта были восхищены, испуганы и не желали упустить случая причинить зло поэтам, к кому — из-за множества получаемых последними премий — ревниво относились все сословия населения. Большинство газет единодушно задавались вопросом: примут ли правительства меры хотя бы по отмене премий за поэзию.

В вечернем выпуске «Голоса» агрохимик Гораций Тограт опубликовал новую статью, которая, подобно первой, по телеграфу и телефону переданная всюду, до кипения подогрела страсти в прессе, среди публики и правящих кругов. Ученый заключал ее словами:

«Мир, выбирай между собственным существованием и поэзией! Если против поэзии не будет принято серьезных мер, цивилизации придет конец. Решайся! С завтрашнего дня наступит новая эра! Поэзия перестанет существовать, мы разобьем лиры, слишком тяжелые для старческого вдохновения. Мы уничтожим поэтов!»

В течение ночи события во всех городах планеты развивались совершенно одинаково. Переданную по телеграфу статью повсюду перепечатали в специальных выпусках местных газет, раскупаемых нарасхват. Везде народ поддерживал мнение Тограта. Ораторы вышли на улицы и, смешавшись с толпой, подстрекали ее. Кстати, в ту же ночь большинство правительств приняли решения, которые — по мере того как делались известны — вызывали на улицах неописуемый восторг. Франция, Италия, Испания и Португалия первыми приняли закон, согласно которому живущие на их территории поэты должны быть срочно посажены в тюрьмы и там ждать решения своей судьбы. Зарубежным или находящимся в отъезде поэтам, кои попытались бы проникнуть в пределы этих стран, угрожал смертный приговор. Телеграф принес весть, что Соединенные Штаты Америки решили казнить на электрическом стуле любого человека, если будет установлено, что его профессия — поэт. Из Германии также передали, что принят закон, по которому проживающие на территории империи поэты, пишущие прозой или стихами, остаются — вплоть до особых распоряжений — под домашним арестом. И действительно, в течение этой ночи и следующего дня все государства земного шара, даже те, что располагали лишь плохими жалкими бардами, лишенными всякого лиризма, приняли меры против самого звания поэта. Только две страны — Англия и Россия — составили исключение. Сии поспешно принятые законы немедленно приводились в исполнение. Все поэты, находившиеся на французской, итальянской, испанской и португальской территориях, к утру были упрятаны в тюрьмы, несмотря на то, что отдельные литературные газеты вышли в траурных рамках и горько сетовали на этот новый терроризм. Пришедшие в полдень депеши сообщили, что Аристенет Юго-Западный — великий негритянский поэт с Гаити — был утром растерзан в клочья и съеден каким-то сбродом, опьяненным солнцем и почуявшим кровь. В Кёльне всю ночь звонил Королевский колокол, а поутру на профессора, доктора Штиммунга, автора эпопеи о средних веках в сорока восьми песнях, когда он вышел из дому, направляясь на вокзал, поскольку собирался ехать в Ганновер, набросилась группа фанатиков, избивавших его палками и оравших: «Смерть поэту!»

Он спрятался в соборе, но там его, заодно с несколькими церковными сторожами, держала в осаде распоясавшаяся орда разных чудищ и страшилищ, этих неизменных участников кёльнских карнавалов. Особенно неистовствовали эти последние ведьмы, на пошлом немецком языке призывавшие в подмогу богоматерь, святую Урсулу и трех волхвов, локтями и кулаками пробивая себе путь сквозь толпу. Их молитвы и благочестивые заклинания перемежались удивительно непристойными ругательствами в адрес профессора-поэта, чья известность главным образом была вызвана унисексуальностью его нравов. Прижавшись лбом к полу, он умирал от страха под большой деревянной статуей святого Христофора. Он слышал, как шумели каменщики, замуровывающие все выходы из собора, и приготовлялся погибнуть от голода.

Около двух часов телеграф сообщил, что пономарь-поэт в Неаполе видел, как закипела в дароносице кровь святого Жанье. Пономарь выбежал из церкви, крича, что свершилось чудо, и поспешил в порт сыграть в «пальцы». В игре этой он выиграл все что желал, даже смертельный удар кинжалом в грудь.

Целый день одна за другой приходили телеграммы с известиями об арестах поэтов. Часам к четырем распространилась новость о казни американских поэтов на электрическом стуле.

В Париже несколько молодых поэтов с левого берега Сены, уцелевших по причине их безвестности, организовали демонстрацию, которая прошла от кафе «Клозери де Лиля» к тюрьме Консьержери, куда был заточен «князь поэтов».

Для разгона демонстрантов прибыли войска. В атаку пошла кавалерия. Поэты выхватили оружие и стали защищаться, но, увидев все это, в схватку ринулась толпа. Передушили всех поэтов и какого-то типа, объявившего себя их сторонником.

Так началась травля поэтов, быстро охватившая весь свет. В Америке, после казни на электрическом стуле прославленных поэтов, линчевали всех негритянских шансонье и заодно многих из тех, кто за свою жизнь не написал ни одной песни; потом набросились на белых представителей литературной богемы. И тут пришло сообщение, что Тограт, возглавлявший травлю австралийских поэтов, сел в Мельбурне на пароход.

Авантюристка

Мой друг Миниттик, как только разбогател на торговле продовольствием, задумал жениться. Вокруг него вертелось множество молодых женщин, которых война сделала свободными. Но он хотел жениться на девушке. Свои взоры он обратил на живущую с тетушкой Марианну Гарадан, чье поведение казалось ему безупречным, и через несколько месяцев вступил в брак, хотя за ней не дали приданого.

Даже будучи очарованным прелестями своей половины, Миниттик вскоре понял, что характеры их абсолютно не сходятся. Это крайне его опечалило. Однако, являя собой воплощение откровенности и вежливости, он решил долго не скрывать от Марианны тех неприятных перспектив, какие уготовило их браку будущее.

— Вы молоды,— сказал он жене, так как они не обращались друг к другу на «ты»,— да и я отнюдь не стар. Мы еще сможем прекрасно перестроить нашу жизнь. Немножко доброй воли с обеих сторон, и развод будет мигом устроен.

— Я во всем согласна с вами,— ответила Марианна.— Мы женаты уже полгода, и я должна честно признать, что характеры наши совершенно не совпадают. Итак, если вы пожелаете назначить мне содержание в шестьдесят тысяч франков — суший пустяк для разбогатевшего на войне! — то я предоставлю вам неопровержимый повод для развода.

Мой друг Миниттик, не желавший большего, принял это предложение с поспешностью человека, который, трезво обдумав сделку, счастлив возможности беспрепятственно ее заключить.

Марианна сразу же показала ему свидетельство о своем предыдущем браке, каковой она заключила в Италии с владельцем писчебумажной лавки в Сполето.

Убедившись в этом факте, Миниттик обнаружил, что при заключении собственных сделок он проявлял больше спешки, нежели порядочности, и объявил ей, что — поскольку обещание не имеет никакой юридической силы — пусть она даже не рассчитывает на выплату пожизненной ренты, согласие на получение которой она у него вырвала.

— Вы теряете голову, мосье Миниттик!— вскричала в ответ Марианна.— Вы знаете, что я не посмею преследовать вас, требуя выплаты тех пяти тысяч франков, которые вы мне обещали платить ежемесячно. Однако знайте, что я приму все меры, которые сделают наш с вами брак нерасторжимым.

— Только ваши прелесть и красота да моя вежливость,— отпарировал Миниттик,— клянусь вам, я никогда ей не изменю,— не позволяют мне посмеяться над вашими угрозами.

Но Марианна расхохоталась и мгновенно сдержала свое слово, показав мужу свидетельство, каковое доказывало, что владелец писчебумажной лавки до женитьбы на Марианне уже был обвенчан с другой, еще живой женщиной.

Инцидент этот привел в замешательство Миниттика, посчитавшего за счастье получить развод, приняв на себя всю вину и выплатив прекрасной Марианне единовременно триста тысяч франков, чтобы на эти деньги она вместе с тетушкой отправилась жить в Тулузу, где уже была помолвлена с богатым торговцем углем, из кого она, несомненно, надеялась также выудить, едва будет заключен брак и пробьет час разводиться, сумму столь же значительную, как и та, что влюбленный Миниттик был счастлив ей уплатить.

Что касается Миниттика, то после развода он невероятно загрустил. Беспрестанно он думает о женщине, что несколько месяцев была его женой.

— Красота Марианны,— рассказывал он мне,— равна только ее хитрости. Она поклялась разбогатеть в течение войны и, добиваясь своего, выходила замуж подряд за всех холостяков-нуворишей, которые ей попадались. У нее уже было четверо, если доставленные мне сведения точны, то есть по мужу на год. Выйдя замуж, она всеми силами стремится сделать супружескую жизнь невыносимой. Но едва муж начинает требовать развода, как она, став покладистой, добивается, пуская в ход два своих брачных свидетельства, всего, что хочет получить. Ее цель, когда она станет богатой, выйти замуж — на сей раз по-настоящему — за калеку войны, бедного раненого, который подойдет ей по характеру. Во все детали этого великодушного и разноликого мошенничества меня посвятила ее тетушка. Разумеется, оно по плечу не каждой женщине, тем паче что прежде нужно было стать супругой этого двоеженца из писчебумажной лавки в Сполето. Но когда я думаю о подобной предприимчивости, мне становится стыдно за те пошлые способы, благодаря которым я разбогател. Мне стыдно, что я покинул свой полк, и я завидую изобретательной душе этой очаровательной авантюристки, чья столь возвышенная цель прекрасно согласуется с нынешними условиями человеческой жизни.

Исчезновение Оноре Сюбрака

Вопреки самым дотошным розыскам полиции не удалось выяснить тайну исчезновения Оноре Сюбрака.

Он был моим другом, и, зная правду о его судьбе, я почел долгом сообщить правосудию о случившемся. Судья, который принимал мои показания, выслушав мой рассказ, заговорил таким вежливо-испуганным тоном, что без всякого труда я понял: он принимает меня за сумасшедшего. Я ему сказал об этом. Он стал еще более вежлив, потом, встав, подтолкнул меня к двери, и я заметил, что его секретарь, стоя со сжаты-

ми кулаками, готов был наброситься на меня, если бы я разбушевался.

Я не упорствовал. Случай с Оноре Сюбраком действительно столь странен, что в истинность его поверить немыслимо. Из сообщений газет все узнали, что он слыл оригиналом. Зимой и летом носил лишь просторный плащ, а на ногах — домашние туфли. Он был очень богат, и так как его костюм меня удивлял, однажды я поинтересовался, чем это объясняется.

— Чтобы в случае необходимости скорее раздеться,— ответил он.— Впрочем, ходить полураздетым быстро привыкаешь. Можно вполне обходиться без белья, чулок и шляпы. Я живу так с двадцати пяти лет и никогда не болел.

Эти слова, ничего мне не объяснившие, обострили мое любопытство.

«Зачем же,— думал я,— Оноре Сюбраку нужно так быстро раздеваться?»

И терялся в догадках.

Как-то ночью, примерно в час или четверть второго, возвращаясь домой, я услышал свою фамилию, произнесенную шепотом. Мне показалось, что голос слышится откуда-то из стены, которую я задел плечом. Неприятно удивившись, я остановился.

— Есть кто-нибудь на улице? — снова послышался голос.— Это я, Оноре Сюбрак.

— Но где же вы? — вскричал я, озираясь по сторонам и совершенно не представляя, в каком месте мог бы прятаться мой друг.

Я лишь обнаружил на тротуаре его знаменитый плащ, а рядом — не менее известные домашние туфли.

«Вот случай,— подумал я,— когда необходимость вынудила Оноре Сюбрака раздеться в мгновенье ока. Наконец-то я сейчас узнаю эту прекрасную тайну».

И я громко произнес:

— Улица пустынна, дорогой друг, вы можете появиться.

Вдруг Оноре Сюбрак словно отклеился от стены, хотя я и не видел, чтобы он к ней прислонялся. Он был совсем голым и прежде всего схватил плащ, который мгновенно накинул на себя и застегнул. Потом обулся и непринужденно заговорил со мной, провожая меня до самой двери.

— Вы удивлены,— начал он.— Но теперь вы понимаете, почему я столь необычно одеваюсь. И все-таки вы не осознаете, каким образом я мог полностью ускользнуть от ваших взглядов. Все очень просто. В этом следует видеть лишь феномен мимикрии... Природа — добрая мать. Она наделила детей своих, тех, кому грозят опасности и кто слишком слаб, чтобы защищаться, способностью смешиваться со всем окружающим... Но все это вам известно. Вы знаете, что бабочки похожи на цветы, что отдельные насекомые подобны листьям, что хамелеон способен принимать ту окраску, какая лучше всего его скрывает, что полярный заяц становится белым, словно ледяные равнины, по которым он, трусливый, как и зайцы наших полей, удирает почти незамеченным.

Именно так, благодаря инстинктивной находчивости, изменяющей их облик, эти слабые животные спасаются от врагов.

И я, кого без устали преследует враг, я, трусливый и чувствующий себя неспособным защищаться в борьбе, похож на них: по желанию и из-за страха я сливаюсь с окружающей средой.

Впервые я применил эту врожденную способность несколько лет тому назад. Мне было двадцать пять лет, и, как водится, женщины находили меня смазливым и хорошо сложенным. Одна из них, она была замужем, относилась ко мне так дружески, что я совсем не мог сопротивляться. Роковая связь! Однажды ночью я был у любовницы. Муж ее уехал на несколько дней. Мы были нагими, словно античные боги, когда дверь неожиданно распахнулась и появился муж с револьвером в руках. Меня охватил невыразимый ужас и сковало лишь одно желание — я был и остался трусом — исчезнуть. Прижавшись спиной к стене, я желал слиться с нею. И это непредвиденное событие тут же осуществилось. Я принял цвет обоев, и мои члены как-то сами по себе непостижимым образом вытянулись и распластались, мне показалось, что я слился со стеной и теперь никто меня не заметит. Так и случилось. Муж искал меня, чтобы убить. Он видел меня, и сбежать мне было невозможно. Он будто обезумел и, обратив всю ярость против жены, зверски покончил с ней, выпустив ей в голову шесть пуль. Потом он ушел, рыдая от отчаяния. После его ухода мое тело инстинктивно снова приняло обычную форму и естественный цвет. Я оделся и сумел выбраться из комнаты, пока туда никто не вошел... С тех пор я сохраняю эту счастливую способность, объясняющуюся мимикрией. Муж, не убивший меня, посвятил жизнь выполнению этой задачи. Много лет он преследует меня по всему миру, и я думал, что ускользнул от него, приехав жить в Париж. Однако я увидел этого человека за несколько мгновений до вашего появления. От страха у меня застучали зубы. Я успел только раздеться и слиться со стеной. Он прошел рядом, с любопытством посмотрев на брошенные на тротуар плащ и туфли. Вы видите, насколько я прав, одеваясь столь неприхотливо. Способность моя к мимикрии не действовала бы, если бы я одевался, как все. Я не смог бы раздеваться достаточно быстро, чтобы скрыться от моего палача, и прежде всего мне важно быть голым, чтобы мои одежды, распластанные на стене, не сделали бесполезным мое спасительное исчезновение.

Я поздравил Сюбрака с этой способностью, доказательства которой получил и которой завидовал...

Последующие дни я думал только об этой встрече и по всякому поводу ловил себя на том, что напрягаю свою волю, стремясь изменить форму и цвет собственного тела. Я пытался превратиться в автобус, в Эйфелеву башню, в академика, в человека, выигравшего по лотерее большой куш. Усилия мои были напрасны. Это мне не удавалось. Воля моя не обладала достаточной силой, и к тому же мне недоставало того священного ужаса, той страшной опасности, которые разбудили инстинкты Оноре Сюбрака...

Я довольно долго не виделся с ним, пока в один прекрасный день он не появился, охваченный паникой.

— Этот человек, мой враг,— сказал он,— повсюду охотится за мной. Три раза мне удавалось ускользнуть, используя свою способность, но мне страшно, дорогой друг, страшно.

Я заметил, что он похудел, однако сдержался и не сказал ему об этом.

— Вам остается сделать лишь одно,— заявил я.— Чтобы спастись от такого безжалостного врага — уезжайте! Укройтесь где-нибудь в деревне. Предоставьте мне заботу о ваших делах и прямым ходом направляйтесь на ближайший вокзал.

Он подал мне руку, шепча:

— Проводите меня, умоляю вас, мне страшно!

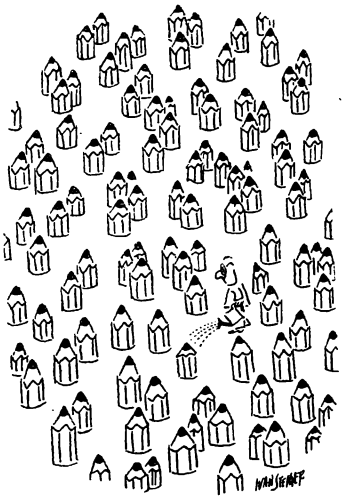
По улице мы шли молча. Оноре Сюбрак с озабоченным видом беспрестанно оглядывался. Вдруг он вскрикнул и бросился бежать, на ходу сбрасывая плащ и туфли. И я увидел, как за нами бежит человек. Я пытался остановить его, но он вырвался. Он держал револьвер, на ходу целясь в Оноре Сюбрака. Тот достиг длинной казарменной стены и словно по волшебству исчез.

Человек с револьвером остановился, потрясенный, хрипя от гнева, и, будто стремясь отомстить за себя стене, которая, казалось, похитила его жертву, разрядил обойму в то самое место, где «растворился» Оноре Сюбрак. Потом он убежал...

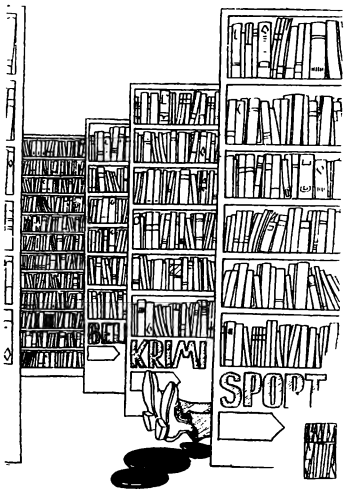
Сбежались люди, подоспевшие полицейские разогнали их. Тогда я окликнул своего друга. Но он мне не ответил.

Я ощупал стену, она была еще теплой, и заметил, что шесть револьверных пуль поразили стенку на уровне человеческого сердца, тогда как другие лишь поцарапали штукатурку чуть повыше, там, где, как мне почудилось, едва-едва различались контуры чьего-то лица.

◆



И. Штайгер. Без слов. ФРГ.



Г. Саттлер. Без слов. ФРГ.

Среди книг

Издано в СССР

СЫН ХОРВАТИИ

Мирослав Крлежа. Избранное. Перевод с хорватско-сербского. Составление и примечания Г. Ильиной. Предисловие Б. Сучкова. Москва, «Художественная литература», 1980.

Сообщение в газете: умер Мирослав Крлежа. Тем, кто хоть немного знаком с художественной литературой Югославии, трудно представить себе, что Крлежи больше нет. Писатель прожил большую жизнь, вместившую удивительно много. Он родился в 1893 году и был уже взрослым человеком, когда прозвучал сараевский выстрел, ставший первым выстрелом первой мировой войны. В 1918—1919 годах, когда в России в боях и муках утверждал себя новый социальный строй, вышли четыре сборника его стихов. И в дальнейшем Крлежа оставался верен себе и тем основам своего гражданского и художнического мировоззрения, которые были определены еще в ранних, юношеских его произведениях — поэмах «Пан» и «Три симфонии» — и утверждались на страницах революционного литературно-художественного журнала «Пламен», издававшегося в 1919 году Крлежей совместно с поэтом Августом Цесарцем. Нет, конечно, писатель не оставался неизменным на протяжении десятилетий: что-то прояснялось, что-то уточнялось в его взглядах на мир и человека. Пылкое, но несколько отвлеченное бунтарство первых поэтических произведений сменилось со временем мощной реалистической конкретикой. Уточнялось соотношение национального и социального начал в оценке тех сил, которые толкают человека на освободительную борьбу. Но в главном Крлежа отличался завидным постоянством: смолоду он заявил о себе как сторонник революционного переустройства мира, писатель коммунистических убеждений. «В его стихи ворвалось огненное дыхание революции, боль за обманутые шовинистической пропагандой массы, за напрасно пролитую народами кровь на полях сражений, жажда возмездия, справедливости»,— пишет в предисловии к вышедшему у нас однотомнику произведений Крлежи на русском языке Борис Сучков (эта статья под названием «Сын Хорватии» была впервые опубликована «Иностранной литературой» еще в 1967 году).

В однотомнике представлены произведения Крлежи разных лет, но, пожалуй, наиболее щедро 20-е и 30-е годы. «Пламенный ветер», «Разодранный псалом», «Весна 1918 года» — уже сами названия этих стихов молодого Крлежи говорят о многом. Образы его стихов экспрессивно резки.

И если Крлежа называл свое стихотворение «Майской песней»— читатель мог быть уверен, что за этим последуют не только «пыльцы нежнейшая вьюга», не только «тени трепетные» и солнечные улыбки — будет и «тоска казарм и серых дождей», будет «мрак траншей и могил». Однако будет и неистовая, яростная вера:

Но когда-нибудь и на наших улицах грязных,
в гуще кризисов, угрызений праздных,
над грозной волною штыков, над унылою песней солдатской,
над громом орудий над пролитой кровью братской,
над страхом агнцев которых ведут на закланье,
над распрями, ранами, руганью, рвотой и рванью
раздастся голос Людей, летящих по звездным дорогам,—
и, под знаком Икара, их песня станет прологом
к симфонии солнц.

(Перевод В. Корчагина)

Не правда ли, многое кажется нам знакомым? Те же космические мотивы, те же мечты о «симфониях солнц», противополагаемых крови и грязи буржуазного мира, звучали в те же годы и у наших поэтов. Как видно, действуют здесь какие-то общие законы. Как вскоре выяснилось, до «симфонии солнц» еще очень и очень далеко. Поэтам революционной России предстояло еще художественно освоить и воспеть созидательные будни нового мира. Крлеже — пережить наступление реакции, приход к власти хорватских фашистов, запретивших его знаменитую, написанную на одном из диалектов родного языка поэтическую книгу «Баллады Петрушки Керемпуха». Проницательные цензоры довольно легко раскусили, что эта книга, написанная от лица крестьянского поэта-скомороха и воскрешающая вроде бы события далекого XVI столетия (крестьянское восстание 1573 года), на деле обращена к современности. Не-

даром «Керемпух», написанный в 1936 году, увидел свет лишь десятилетием позднее, после войны, когда в истории Югославии и всей Европы открылась новая страница.

И в прозе своей Крлежа оставался поэтом. Повествовательная ткань его рассказов и романов предельно уплотнена, нагрузка на каждое слово повышена, авторская речь экспрессивно заострена. Не всякому читателю такая проза понравится. Тем более что во многих своих произведениях Крлежа рисует мир ненавистный, отталкивающий, враждебный. И не жалеет красок, чтобы передать свое отвращение к нему. Это со всей силой ощущается еще в раннем (1921) рассказе «Три домобрана». Домобранами называли солдат регулярных хорватских частей, входивших в состав австро-венгерской армии, для русского читателя вполне прозрачна этимология этого слова — от «дом» и «брана», то есть оборона, защита. Однако не защите родного дома приходится служить домобранам из рассказа Крлежи, а чему-то стороннему, ненужному и непонятному. Если у кого из них и были иллюзии на сей счет, то они быстро рассеялись в ужасающей атмосфере австрийской казармы. Начало рассказа отчасти напоминает ситуацию из купринского «Поединка»: рота капитана Ратковича-Ябланского оскандалилась, дефилируя на смотре перед начальством. И в особенности подвел капитана — как некогда забитый солдат Хлебников поручика Ромашова — домобран Рачич, в мирное время неудачливый журналист, а ныне «понурый и изможденный», никчемный и неумелый строевик. Есть и другие черты сходства между этими двумя произведениями. Но тем виднее, насколько более безжалостен к своим героям Крлежа. Купринские офицеры, со всеми их безобразиями, прямо-таки титаны интеллекта, образцы духовности по сравнению с австрийскими служаками. Тут, может быть, уместна еще одна литературная параллель: хорошо знакомый советским читателям Швейк — он ведь служил в той же армии, что и домобраны Крлежи. Капитан Раткович и поручик Лукаш — одного поля ягоды. Но повествование Гашека окрашено юмором, рассказ Крлежи мрачен. Ибо и страдающие от произвола начальства домобраны мало чем лучше своих командиров: жалкие, хитрые, трусливые, с готовностью принимающие участие в издевательствах над своими же товарищами. Решится однажды Рачич высказать капитану все, что он о нем думает,— но ненадолго хватит порыва. Уже в следующую минуту он будет, как попугай, твердить по приказу капитана: «Так точно, господин капитан! Осмелюсь доложить, все понятно, господин капитан!» Ситуация тем более драматическая, что капитан Раткович и Рачич — в недавнем прошлом одноклассники, чуть ли не добрые приятели. Жизнь поставила их в идиотские, взаимно унизительные отношения друг с другом. Эту жизнь сурово судит писатель.

Еще более суров этот суд над жизнью в самом крупном произведении Крлежи, включенном в однотомник,— романе «Возвращение Филиппа Латиновича» (1932). «Общий колорит его романа сумрачен»,— пишет Б. Сучков, и, пожалуй, это слишком мягко сказано. Неподготовленный читатель содрогнется, заглянув в конец этой книги: «На столе мирно мерцала свеча. Все было разбросано, как после отчаянной борьбы: подушки, платья, книги, перины, юбки... Поперек постели, свесив ноги на пол, лежала вся в крови Бобочка — Баллочанский перегрыз ей горло...» Но этот финал вполне в духе того мира, о котором пишет Крлежа. Что это за мир? Его можно узнать и в эссе Крлежи «О немецком художнике Георге Гросе»: «Краски его акварелей печальны подобно серо-зеленым пятнам газовых фонарей дождливыми осенними сумерками, а фиолетовую синеву под глазами усталой проститутки в красном парике, зеленую бледность лица отчаявшегося человека, который с рюмкой малаги на столике в кафе думает о самоубийстве, взгляд (животный и мутный взгляд) уголовника, который крадется вдоль стен, одолеваемый кровавыми планами, никто не умел бросить с палитры с такой репортерской силой, как Георг Грос...» Главный герой романа Филипп Латинович — тоже художник, хотя, может быть, и несколько иного плана, чем Грос. Неприкаянный отщепенец, выгнанный из дома своей матерью после гимназического кутежа, признанный теперь во всем мире, он возвращается в родной город под материнский кров, потому что надо же человеку куда-то возвращаться. Его гнетет тайна собственного рождения, до последних страниц романа он не знает, кто его отец, но то, что он, Филипп Латинович, вопреки всему, остается сыном этого страшного, ненавидимого и презираемого мира торгашества и пошлости, ханжества и разврата, что его связи с этим миром многообразны и неразрывны — он ощущает постоянно. Его искусство, лишенное национальных корней и общественных идеалов, принесло ему славу в кругах ценителей, но не утолило душу. Случайно — и не случайно в то же время — жизнь прибивает его к странному кружку некоей Ксении Радаевой, которую все называют Бобочкой. Возле нее уживаются до поры до времени ее бывший любовник, разоренный ею адвокат Баллочанский, и новый «друг» — медик и философ, прожженный циник Кириалес. Извращенность отношений в этом треугольнике — лишь слабое отражение противоестественности и нелепости мира, где каждый каждому и впрямь готов перегрызть горло. В этом смысле финал романа можно воспринимать как своего рода метафору. Этот мир обречен погибнуть, захлебнувшись в собственной грязи — как гибнет Кириалес, как гибнет Бобочка, как уносится навстречу своей гибели во тьму Баллочанский. Да и Филиппу Латиновичу вроде бы уже некуда податься. Крлежа не нарисовал в своем романе представителей иных сил, противостоящих миру Бобочек и Кириалесов. Единственный «положительный герой» романа — это гнев автора, его боль, его подспудная одержимость мыслью о том, «чтобы мир этот дьявольский стал человечен»,— говоря словами советского поэта Николая Асеева.

Разговор о творчестве Крлежи был бы неполон, если бы мы не сказали о самом светлом и жизнеутверждающем его произ-

ведении — философском этюде «Ленин — поэт Октября». Это произведение датировано 1960—1961 годами, вообще же к образу Ленина писатель обращался на протяжении всей своей жизни, с 1917 года до 70-х годов нашего столетия. В основу эссе положен известный факт: беседа Владимира Ильича с Гербертом Уэллсом. Беседуют прославленный писатель (Крлежа называет Уэллса «поэтом») и политик, руководитель молодого Советского государства. И вдруг все переворачивается, Крлежа словно бы оговаривается: «Беседа русского поэта и английского политика, по существу, является диалогом двух миров». Но это не оговорка. Ибо, согласно Крлеже, именно Уэллс мыслил в этом диалоге как политик, буржуазный политик со свойственной ему логикой и свойственной ему ограниченностью. Ленин же являл высший тип мышления — поэтический. Ведь, по представлению Крлежи, поэтическое мышление не есть отрешение или отвлечение от жизни с ее заботами, а наоборот, постижение (не только логическое, но и интуитивное!) ее важнейших, порой далеко не очевидных закономерностей и тенденций. Отсюда и название эссе — «Ленин — поэт Октября». Отсюда и те требования, которые предъявлял Крлежа и к поэту в «обычном», литературном значении этого слова. Слово ради слова, искусство ради искусства были органически чужды ему.

Непраздная женщина Речь — великанов
рождает...
Непраздная женщина — Речь,
и Деяние,
окровавленный титан,
в сыновья ей дан,
огромный, каменнорукий титан...
Деяние — тихой Речи дитя,—

(Перевод А. Штейнберга)

писал он еще в молодости, в стихотворении, так и озаглавленном: «Речь — мать Деяния». Этой формуле Мирослав Крлежа оставался верен всю жизнь.

ИЛЬЯ ФОНЯКОВ

ГОРДЫЕ ПТИЦЫ ПОЭЗИИ КОНГО

Из современной поэзии Конго. Чикайя У Тамси. Жан-Пьер Макута-Мбуку. Жан-Батист Тати-Лутар. Максим Ндбека. Составитель А. Карлов. Перевод с французского. Москва, «Прогресс», 1980.

В последние годы в странах африканского континента появилось много прекрасных поэтов, в числе которых по праву можно назвать поэтов Народной Республики Конго, чьи стихи представлены в этой книге. Их творческие манеры различны, и это сразу бросается в глаза.

Чикайе У Тамси свойственны тончайшие переживания, зачастую передаваемые в форме, близкой к сонету; усиленные рефренами, ритмически разнообразные и меняющие свою структуру, его стихи напоминают народные песни-причитания. Художественная манера Жана-Батиста Тати-Лутара тяготеет к более активному действию, но проявляющемуся в несколько иной, мифологической форме. Это не плач души, «кровоточащей от страдания», как в поэзии Чикайи, здесь проглядывает иносказательность, поучение, добрый призыв, заставляющие вспомнить сказки и притчи народов банту.

Чикайя использует образы, пронизывающие ткань всего стихотворения, которые, словно поплавки на красноватой водяной поверхности реки Конго, то всплывают, то исчезают вновь. Для Чикайи образ реки — символ веры, олицетворение вечности жизни. Но сама образность у него зачастую противоречива, неустойчива:

...я теку я пенюсь я погибаю
поток без волны он мне бросает вялую
рыбу
о мои реки
вы возвращаю соленую воду
пот моих пор

(«Головокружение», перевод А. Ревича)

У Тати-Лутара мы видим живые картины современной действительности, солнечные, дышащие здоровьем:

...Здесь конголезская жизнь бьет ключом
Из того же источника, что и солнце:
Рыбачки проходят в лучах,
В город несут свой улов.
Конго доносит почти до моря
Свежесть своих трав и аромат воды.

(«Чикайе У Тамси», перевод В. Куприянова)

Вот два разных подхода к решению темы: в одном отражаются смятение и даже отчаяние, в другом звучат исцеляющая вера в торжество жизни и страстный призыв: «Вернись к человеку возродившейся Африки» («Поэт под солнцем полудня»).

В наши дни не усидишь в башне из слоновой кости. Горячая, бурная жизнь все настойчивей вторгается в творчество. Острым социальным звучанием отличается поэзия двух других поэтов — преподавателя французской литературы в университете Браззавиля Жана-Пьера Макуты-Мбуку и инженера почтового ведомства Максима Ндбеки.

В «Кантате в честь рабочего» Макуты-Мбуку (эпиграфом к поэме взяты строки знаменитого «Интернационала»: «Вставай, проклятьем заклейменный...») привлекает переплетение гражданственных и лирических мотивов, причем отчетливо проступает фольклорное начало.

В конголезской мифологии нередко одушевляются предметы окружающего мира. Река может изменить направление своего течения и преградить путь врагу Словом, она в данном случае выступает как живое существо. Иногда в таком же качестве могут проявить себя скалы, деревья и ветер.

Но существенно то, что их действия не выходят за рамки невозможного в природе. Вслушаемся в поэму-кантату Макуты-Мбуку:

Что я услышу, встревоженный,
в бормотанье ручья, в крике ночной птицы
на пороге зари?

Что я услышу в шипении змей,
в стрекотанье кузнечика,
в шуме желтых кустов, истощенных
жарой?

(«Кантата в честь рабочего», перевод М. Курганцева)

Какая сложная гамма чувств приоткрывается в процессе развития сюжета поэмы: это воспоминания о детстве, об отце, старом рабочем и раздумья о будущем, о проблемах справедливости и преодолении социального и расового неравенства:

И когда ты, мой белый товарищ,
плюешь на меня, потому что я черный,
вспомни — при всех различьях —
ваша плоть уязвима, как наша,
кровь твоя подобна моей...

И какой проникновенной лирической силой исполнены строки поэмы о предназначении поэта:

Почему не могу я, как ты,
маленькая креветка,
качаться у берега в мутной воде?
Почему не могу я, как ты
молодая лягушка,
любуясь своим отраженьем,
твердить монотонные песни
под солнцем на отмелях тихой реки?

Наиболее выразительны стихи Максима Ндебеки, вошедшие в две последние его книги: «Крапива. Лимоны» и «Знаки молчания». В них он использует разнообразную палитру поэтических средств. Удивительна звуковая палитра его аллитераций и ассонансов. На его поэзии лежит отпечаток и влияние революционной лирики Маяковского:

Глаза — камеры осужденных на смерть
Плоть — высосанный апельсин.

(«Девятьсот восемьдесят тысяч», перевод А. Карлова)

Много сложных препятствий подстерегало переводчиков, которые проделали большую работу по переложению трудно поддающихся переводу африканских верлибров на язык русской поэзии. С этой задачей они справились вполне успешно.

Течет река африканской истории, величественный Конго, и его живительные воды омывают илистые берега. И гордые буревестники — талантливые мастера конголезской поэзии — с надеждой всматриваются в будущее.

ДЖЕМС ПАТТЕРСОН

Издано — за рубежом

АППАССИОНАТА ПОД ГИЛЬОТИНОЙ

Jindřich Vichra. Má appassionata. Praha, Mladá fronta, 1980.

Индржих Вихра. Моя аппассионата. 1980.

«Пишу, значит, еще живу» — так перефразировал известную формулу Декарта чешский поэт и подпольщик Индржих Вихра в одном из писем к родителям. А вот его последние строки:

«Прага — Панкрац, 12 мая 1944 г.
Индржих Вихра, род. 1 октября 1918 г.

Дорогие мама, папа, братья, все товарищи, целую Вас, приветствую и прощаюсь с Вами. Завтра меня уже не будет среди живых. До последней минуты я спокоен. Пишу — во рту у меня вкус сахара, я думаю о синем майском небе, о нашем крае. Никого не вините, никого из моих товарищей или родственников. Во всем я виноват сам. Ни о чем не жалею. Я думаю обо всех товарищах, на всех фронтах. Это меня успокаивает.

Только одно останется после меня. Мои стихи. Это лучшее, что было во мне, каким бы я ни был. Если я обидел кого-нибудь, прошу простить меня. Лишь боль я ненавидел. Прошу Вас и братьев — простите, что я принес Вам боль и заботы. Я падаю на пороге нового мира и уже слышу иную речь, чем говор оружия. Жизнь так прекрасна! Она стоит того, чтобы отдать за нее жизнь.

Анну Млейнкову, которую я любил чистой и братской любовью объявляю своей сестрой. Положите, прошу Вас, когда-нибудь ее фотографию рядом с моей. Одно больно: что я не успел сделать большего. Стихи «Моя аппассионата», «Элегия», «Панихида», «Баллада» скажут Вам больше.

Меня зовут неведомые края. Иду. В последний раз гляжу на свет. Душа моя, прежде чем мы расстанемся, ощути на ладонях тяжесть этой земли. Завтра я стану уже только ветром, гуляющим по полю. Товарищи, вы еще продолжаете свой путь?

Здена К., вспоминай обо мне всякий раз, когда услышишь сонату Бетховена. Кветушка Л., наше солнышко, ты уже вышла замуж? Вашек и Гонза, не забудьте.

(Три строки зачеркнуты цензурой.)

Еще два часа. Последние впечатления. Жизнь когда-нибудь станет лучше, чем сегодня.

Целую Вас всех, Дашеньку, Милушку, маму, папу, Яру, Карла, Богоуша, Ладю, Милушку, Маню, всех.

Индра,
осужденный 15.3. 1944 г.
казненный 12. 5. 1944 г. в 16 часов».

Это писалось в камере № 34 пражской тюрьмы Панкрац, где за год до этого создавался «Репортаж с петлей на шее». Так же, как Адольф Колинский помог Юлиусу Фучику оставить потомкам его слово перед казнью, Индржиху помог это сделать один из товарищей по заключению, организатор нелегального «почтового центра» в Панкрапе. «Без тебя, без твоей помощи,— писал ему Вихра,— я был бы мертв уже 15 марта». Ему же он сообщил о себе:

«...Строительство, созидание я воспринял как нечто личное. Я отождествил микрокосм с макрокосмом. Пятилетка была для меня внутренним событием. Ты увидишь это, когда будешь читать мои более ранние вещи. Волькер, Нейман увлекли меня больше всех. Я вступил на долгий путь к человеку, который продолжаю до сих пор. От человека к обществу. Ромен Роллан. Борьба за идеалы как жизненное ощущение и вера...

После учебы я остался без работы. «Цветок неловкий, никому не нужный»,— как говорит Галас. Непрактичный. Я изучал языки. Английский, русский, испанский.

Вскоре я уже мог читать тексты в оригинале...»

В оригинале Вихра читал Данте, Шекспира, Есенина, французских и немецких поэтов. В 1936 году под псевдонимом Ладислав Сен (по-чешски «сен» — мечта, греза) он дебютировал в печати. Стихи этого деревенского паренька из большой трудовой семьи свидетельствовали о поэтической культуре автора и самобытности его таланта. «Без самовосхваления могу заявить,— вспоминал он,— у меня смолоду было что сказать и сказать по-своему. Это борьба, стремление создать самого себя и включаться во все более широкие круги (общество — вселенная)». Вскоре на молодого поэта обратил внимание крупнейший чешский лирик Франтишек Галас, по рекомендации которого стихи Вихры должны были появиться в одном из ведущих литературных журналов. Однако вмешалась цензура. А затем Вихра стал писать такие стихи, что в условиях фашистской оккупации об издании их нельзя было и думать.

В 1939 году Вихра приезжает в поисках заработка в Прагу. Сын квартирохозяйки и его приятельница Анна Млейнкова вовлекают его в новую жизнь. «Товарищество, борьба, подпольная работа». Фиктивные «молодожены» Индржих Вихра и Анна Млейнкова снимают квартиру, которая становится нелегальной явкой. Здесь укрывается член третьего подпольного ЦК чешской компартии Йозеф Пиларж и его ближайший соратник Ярослав Фрайбиш, бежавшие из застенков гестапо, здесь выпускается газета «Руде право» (Вихра анонимно публикует в ней несколько стихотворений), листовки. Отсюда тянутся тайные нити к партизанским отрядам, к подпольным организациям в разных концах Чехии. Сам Вихра ведет антифашистскую пропаганду на пражском авиационном заводе «Авиа», где он работает контролером. Призыв к активному саботажу содержится и в стихотворении «Деталь авиационного мотора», которое он дает читать товарищам с «Авии». Один из них Вацлав Ванек (Вашек в предсмертном письме Вихры) сохранил его рукописный стихотворный сборник «Походный марш». Уже в камере смертников поэт находит новое название — «С горном у рта». «Это атакующие стихи...» — характеризует их сам автор. Вот отрывки из стихотворений, которые он считал лучшими:

...секунд колючая проволока,
как взрывы снарядов — потери,
но я волочу себя волоком,
к тебе продираюсь и верю.

Встань, говоришь?
Встану не только я.
Тысячам надо помочь.
Мать, мы встаем. Твои сыновья
в день обращают ночь.

(«Мать, я буду»[1])

* * *

Скорбишь, поверженная Прага?
Вокруг тебя растут гроба
Встань, обопрись! Жива отвага.
Плечо подставит голытьба.
Твои торцы втоптали в землю
подошвы кованых сапог.
Твои дворцы молчат. Жду. Внемлю.
Готов переступить порог.
Там, за решеткой,— тыщи лип.
Плач, крики ужаса, проклятья
Прекраснейшая из столиц—
на свастике, как на распятье.
В годину слез, в годину тленья
ты носишь траур затменья.

Как баррикаду, труп на труп,
смерть громоздит тела до неба.
Но дышишь ты клубами гнева
из черных, закопченных труб.
Ты корчишься в когтях Эринний.
Нет, цепь еще не порвалась.
И только Влтава влагой синей
смывает с рук и кровь, и грязь.

(«Лидице»)

* * *

Кровь хлынула горлом —
я с горном у рта.
Я красную зорю
трублю до утра.
Мы кривду караем.
Мильоны, вы с нами.
Мы присягаем
кровью на знамя.
Горн вырывает из рук непогода.

Я сын народа.

(«Трубач»)

«В «Авии» я познакомился со Зденой К. Мы были ослеплены друг другом...» Для Здены Индржих написал эссе о бетховенской «Аппассионате». Он всю жизнь любил музыку, хотя и был лишен возможности играть на каком-либо инструменте (еще в детстве была покалечена левая рука). Из камеры смертников Вихра писал Здене:

«Аппассионата» звучит теперь для меня не так, как я услышал ее впервые. Мне нужно было попасть сюда, чтобы хотя бы в общих чертах выразить эту глубокую правду».

Стихотворное прочтение, переложение фортепианной сонаты Бетховена, которое Индржих создал, «чтобы сохранить в себе человека и жизнь», из первоначального «камерного сочинения» превратилось в героическую поэму:

...Я — музыка в аду
распятых, пригвожденных,
Из камер уведу
детей ненарожденных.

Напор весенних вод
не выдержит плотина.
Не сделает народ
короче гильотина.

Мы жизни отдаем
последнее дыханье
за неба окоем
и маков полыханье.

. . . . . .

Взойдет трава в саду
из крови, слез и пота.
Товарищ, честь труду!
И даже смерть — работа.

Да, наша смерть — работа!

(«Моя аппассионата»)

За 58 дней пребывания в камере смертников Индржих Вихра написал лирические завещания «Матери», «Отцу», «Девушке», «Товарищам» и несколько больших стихотворений. «Панихида» посвящена немецкому антифашисту Максу Михлу, казненному 28 апреля 1944 года. «Элегия» явно перекликается с ироническими «Тирольскими элегиями», в которых чешский классик Карел Гавличек-Боровский рассказал о своем аресте и ссылке. «Баллада» — «песня смертника». Всего более семисот строк. А ведь далеко не все сохранилось.

«Я хотел бы еще написать песню о четырех товарищах на жизнь и смерть»,— мечтал Вихра. «Говорю со Зденой, но иду

[1] Переводы стихов принадлежат автору статьи.

с Анкой». Анна Млейнкова, заключенная камеры № 38, тщетно пыталась взять на себя всю вину. Перед смертью им разрешили свидание. Оба думали о Пиларже и Фрайбише. «Наши мысли с теми, кто борется!» Анну обезглавили в 16 часов 13 минут. Индржиха — в 16 часов 14 минут. 13 ноября 1944 года в Берлине были казнены Йозеф Пиларж и Ярослав Фрайбиш. 17 ноября 1945 года Индржиха Вихру посмертно наградили Чехословацким военным крестом 1939 года.

В одном из предсмертных писем Вихра спрашивал: «Найдется ли для моих стихов издатель? Конечно, после войны. Ведь я пел для тех, кто придет нам на смену, о тех, кто пал. Останутся ли еще товарищи, которые сослужат мне последнюю службу?»

Благодаря Вацлаву Ванеку и журналисту Пршемыслу Виснеру, посвятившему несколько лет розыскам материалов о жизни и творчестве Вихры, его стихи и письма стали достоянием широкой чешской общественности.

В ряду имен писателей — жертв фашизма и борцов против фашизма — имя Индржиха Вихры заняло место, достойное его жизненного и творческого подвига.

ОЛЕГ МАЛЕВИЧ

«МАЛЕНЬКИЕ БРОДЯГИ» ДЖАННИ РОДАРИ

Gianni Rodari. Piccoli vagabondi. Roma, Editori Riuniti, 1981.
Джанни Родари. Маленькие бродяги. 1981.

К годовщине смерти замечательного итальянского писателя Джанни Родари издательство «Эдитори риунити» выпустило отдельной книгой известные до сих пор по журнальным публикациям повесть «Маленькие бродяги» и рассказ «Бандит», в которых итальянский сказочник, отличавшийся необычайной силой воображения, предстает как мастер реалистической прозы.

«Маленькие бродяги»— это исключение в обширной продукции Джанни Родари,— отмечал в прессе итальянский писатель Марчелло Арджилли.— Это единственная его повесть, которую можно определить как реалистическую в том смысле, что она описывает героев, которые могли существовать в реальной жизни, и приключения, которые могли действительно с ними произойти». История Франческо, Доменико и Анны, проданных профессиональному нищему, шарманщику и гадателю дядюшке Винченцо, с которым они пересекают всю Италию от Кассино до Милана,— это книга о жизни в Италии в первые годы после второй мировой войны. «На этот раз,— говорит сам писатель,— мне не хотелось рассказывать о невероятных приключениях. Я хотел лишь показать, как Анна, Франческо и Доменико изо дня в день становились людьми. Приключения пиратов, конечно, ярки и привлекательны, но процесс становления человека гораздо интересней, потому что в нем больше правды».

Действие в повести развертывается на фоне конкретных исторических событий. «Одиссея» маленьких героев начинается в деревушке вблизи Кассино, где во время второй мировой войны происходили ожесточенные, кровопролитные бои союзников, сражавшихся с немецкими и итальянскими фашистами. Этот район особенно пострадал от войны: деревни и города лежали в развалинах, земля была усеяна осколками и неразорвавшимися бомбами (от одной из них пострадал и маленький Доменико, потерявший кисть руки). Отец Франческо и Доменико привозит с фронта «грязное белье, пакет яблок, серое дырявое солдатское одеяло» да чахотку, которая вскоре сведет его в могилу. Уже с первых страниц повести читатель попадает в атмосферу, напоминающую неореалистические фильмы итальянского послевоенного кино: бедная крестьянская семья, мать, зарабатывающая гроши стиркой, дети, собирающие хворост в лесу, прибавление семейства, смерть мужа, отчаяние матери, соглашающейся продать двух детей, чтобы прокормить остальных. Правда, и здесь прорывается натура сказочника. Больной отец рассказывает ребятишкам сказку о том, как он огромным покрывалом заслонил бы весь мир, чтобы люди не страдали от дождя и холода. Неважно, что это одеяло напоминает его дырявое солдатское одеяло: детей увлекает идея, как помочь людям, как защитить их от несправедливости.

Сама биография Джанни Родари — это тоже постоянные поиски места среди людей, борющихся за справедливость. Рано утратив отца, он долгие годы жил в бедности. В школе отличался необычайной тягой к знанию и все свободное время посвящал чтению. Научившись играть на скрипке, он жадно прислушивался на крестьянских свадьбах и деревенских праздниках к раговорам окружающих, стараясь понять, на чьей стороне правда в тех великих событиях, которые происходили у него на глазах. И вскоре сделал выбор: сражался с фашизмом, вступил в коммунистическую партию, стал журналистом-коммунистом. Этот выбор не принес ему, конечно, материальных благ, но позволил уверенно и достойно защищать свои идеи. «Сейчас помнят только Джанни Родари — писателя с мировым именем,— отмечает М. Арджилли,— но в Родари, поэте-лауреате[1], всегда жила душа бедного провинциала, изголодавшегося по культуре, душа молодого журналиста без гроша в кармане, сумевшего встать на сторону справедливости, душа молодого поэта, который в своем жизненном опыте и участии в решении проблем, волнующих людей, нашел самый глубокий источник своего вдохновения».

Но вернемся к «Маленьким бродягам». Итак, дети проданы проходимцу только потому, что «жизнь тяжела, что иначе не извернешься». Что это? Случайность? Эпизод? Нет, это система, освещенная в Италии вековым опытом. Итальянская писательница Д. Бертони Йовине пишет, что в XIX веке в Италии уже существовала «настоящая торговля детьми, пред-

[1] В 1970 г. Д. Родари был удостоен премии Андерсена, приравниваемой на Западе к Нобелевской премии в области детской литературы.

назначавшимися для попрошайничества и так называемых бродяжнических профессий». Еще большее распространение торговля детьми получила в последнее время. Итальянский журналист А. Салани рассказывает на страницах журнала «Эпока» о ярмарках в разных районах Италии, на которых торгуют «товаром в коротких штанишках». «Детей ежегодно продают в рабство,— пишет он,— за них платят пять тысяч лир в месяц, да еще десять килограммов сыру». По его подсчетам, в Миланской провинции насчитывается более пятидесяти тысяч малолетних тружеников, в Кампании — не менее ста тысяч, а в Сицилии — двести тысяч. В целом около полумиллиона детей школьного возраста «отданы в люди» в нарушение закона о всеобщем обязательном обучении.

На этом последнем обстоятельстве Д. Родари, педагог по образованию, заостряет в повести особое внимание. По воле автора маленькие бродяги сталкиваются с обыкновенными школьниками, у которых есть самые элементарные вещи — «дом, мама, школа, двор для игр, добрая и умная учительница». Эта встреча удивляет их, пожалуй, больше, чем удивила бы встреча с инопланетянами. Франческо рассказывает школьникам о себе и о своих друзьях. «Когда он закончил рассказ,— пишет Д. Родари,— то с изумлением увидел, что кое у кого из учеников стояли слезы в глазах. Неужели их так потряс его рассказ? Ведь все то, что случилось с ним, Анной и Доменико, казалось ему совершенно естественным».

В целом повесть Д. Родари продолжает и развивает традиции классической литературы для детей. Нетрудно, например, заметить некоторое сходство этого произведения с повестью Г. Мало «Без семьи», хотя в нем и нет присущих последней сентиментализма и слезливости. Главное достоинство повести Родари — в том, что в ней звучат мотивы, неведомые для детской литературы предыдущего столетия. Это идея борьбы за освобождение людей труда, за восстановление их человеческого достоинства, за создание условий для всестороннего развития. Воплощением борца за эти идеалы выступает в повести не романтический аутсайдер, а целый класс, трудовой люд Италии.

Заметим, кстати, что рассказ Родари «Бандит», опубликованный в этом же сборнике, развенчивает ложное представление о романтических бандитах: его герою пастушку Раффаэле они виделись «веселыми и гордыми всадниками». В действительности же это всего-навсего жертвы общества бесправия и несправедливости, совершенно лишенные романтического ореола.

Самые яркие страницы повести Родари «Маленькие бродяги» посвящены встречам ее героев с крестьянами Юга, с гостеприимными, готовыми поделиться последним куском хлеба земледельцами Эмилии-Романьи. «Все эти крестьяне,— говорит один из персонажей повести,— красные». И дети стараются понять, почему они «красные». Точно так же они пытаются понять, почему некоторые люди, которых называют «купальщиками», могут проводить, ничего не делая, целое лето на берегу моря.

И Родари удается убедительно показать, почему один из маленьких бродяг Франческо решает в конце повести вернуться в родной крестьянский край, чтобы повести борьбу под красным знаменем с изображением серпа и молота «за счастливую жизнь для всех, за жизнь без страданий, без зла и несправедливости, за то, чтобы больше не продавали детей».

Г. СМИРНОВ

НАЧАЛО ОТСЧЕТА, НАЧАЛО ПУТИ

Gerd Fuchs. Stunde Null. Roman. München, Autoren Edition, 1981.

Герд Фукс. Час ноль. 1981.

О самых первых послевоенных днях и месяцах в Германии, об этом «нулевом пункте» истории, как окрестили его писатели, для миллионов немцев, на ощупь, с трудом искавших в голодной, полуразрушенной стране возможности новой жизни, написано уже немало честных, хороших книг. Новая жизнь оказывалась невозможной без строгого и беспощадного размежевания с горьким нацистским прошлым, искалечившим жизнь нескольких поколений. Тема «расчета с прошлым», преодоления этого прошлого — как в «нулевой час» окончания войны, так и позже, в мирные уже времена,— стала одной из доминирующих в литературе ГДР и ФРГ. Анна Зегерс, Вилли Бредель, Дитер Нолль, Бруно Апиц, Герман Кант, Макс Вальтер Шульц, Криста Вольф в своих книгах, написанных по одну сторону Эльбы, Вольфганг Борхерт, Генрих Бёль, Вольфганг Кёппен, Зигфрид Ленц — по другую, поднимали общую, центральную для всей послевоенной немецкой литературы тему восстановления страны и человека, восстановления не только материального, но и духовного. Но если для писателей Германской Демократической Республики восстановление это органично связывалось с проблемами построения нового общества, с утверждением в сознании людей новых — социалистических — идеалов и ценностей, то для писателей Федеративной Республики Германии восстановление это протекало прежде всего в плане личностном, внутреннем: послевоенная западногерманская действительность, как это видно из лучших романов прошедших десятилетий, не была особенно обнадеживающей.

Новый роман западногерманского прозаика Герда Фукса, известного уже советскому читателю по повести «Мужчина на всю жизнь»,[1]— еще одно пополнение в ряду книг, сделавших объектом освоения непростую послевоенную действительность. Здесь писатель спокойно, подробно повествует о послевоенных судьбах обитателей одной деревушки, затерявшейся где-то в Рейнских горах. Деревушка эта, конечно же, образ обобщенный, и не случайно автор сразу предуведомляет читателя, что в действительности подобной деревушки никогда не существовало и все сходства с реальны-

[1] См. «ИЛ», 1981, № 3.

ми людьми — чистая случайность. Перед нами встает длинная галерея действующих лиц, о которых мы поначалу знаем совсем мало и о многом вынуждены лишь догадываться. Постепенно, однако, размеренное, неторопливое повествование Фукса обрастает все новыми подробностями, открываются весьма существенные для характеристики действующих лиц детали, огромная, поначалу никак не связанная воедино мозаика персонажей и ситуаций складывается в общий узор, и вот уже перед нами обширное социальное полотно, дающее весьма характерный срез послевоенной западногерманской действительности. Пожалуй, творческую манеру Фукса закономерно было бы сравнить с неторопливо-эпическим письмом Вилли Бределя, а по главной тенденции своей роман «Час ноль» очень похож на «Решение» Анны Зегерс: герои здесь тоже ищут и обретают каждый свое решение, но применительно к специфике западногерманской послевоенной действительности, в ее особенных условиях.

Итак, последние дни войны для маленькой деревушки, затерянной где-то в Хунсрюке [1]. Среди многочисленных ее жителей, запрятавшихся перед началом непосредственных боевых действий по подвалам домов, кое-кто еще по-прежнему надеется на подключение к выдохшейся гитлеровской обороне сверхсекретного «чудо-оружия», о котором громогласно заявляли в последнее время нацисты и которое, согласно их последним отчаяннейшим упованиям, призвано было самым решительным образом изменить ход войны; другие, напротив, мечтают только о том, чтобы весь этот кошмар поскорее закончился; третьи подсчитывают убытки, которые понесут в результате проигранной войны; четвертые молят бога разве что о скорой смерти. Подразделение эсэсовцев готовит ничем с военной точки зрения не оправданный взрыв моста, а их командир, шарфюрер Нагель, упорно вбивает в головы четырнадцати-пятнадцатилетним подросткам свои высокопарные бредни о необходимости «сражаться до последней капли крови», формируя из них отряд «вервольфов». Но в деревушку уже буднично и неспешно входит американская часть. «Час ноль» становится первой точкой отсчета мирного ее бытия.

Вокруг бывших нацистов деревни — отстраненного ныне от должности директора школы Мундта, упорно взращивавшего в юных душах своих учеников отравленные семена нацистского вероучения, фабриканта Цандера, всегда покровительствовавшего нацистам и наживавшегося на войне до последних дней, богатого крестьянина Хесса, одного из наиболее дерзких во всей округе спекулянтов, доктора Вайдена, восстановленного, за отсутствием других, более подходящих кандидатур, в своем медицинском реноме,— образуется поначалу своего рода «полоса отчуждения», некоторый человеческий вакуум. Вернувшийся из плена Вернер Хаупт, один из уцелевших представителей видной некогда в этих краях семьи, славившейся своей добропорядочностью и интеллигентностью, идет работать преподавателем в школу, пытаясь преодолеть первоначальную растерянность и ощущение собственной ненужности. А его брат Георг еще долго не сможет оправиться после тяжелого душевного потрясения, испытанного у «вервольфов». Рабочие под руководством коммуниста Кранца начинают по собственной инициативе восстанавливать станки на фабрике Цандера и организуют небольшую столярную мастерскую по изготовлению самого необходимого для людей в то время: окон, дверей, столов, простой мебели. Бургомистр Леа Грунд, никогда не делавшая тайны из своей ненависти к нацистам, занята самыми насущными, сегодняшними делами, и не так уж много остается у нее времени на обдумывание перспектив. Лейтенант Ворбург, военный комендант местечка, представляющий американские военные власти, ощущает себя призванным нести отсталым варварам откровения «американского образа жизни» и американского потребления. Словом, жизнь кое-как налаживается.

И тогда становится ясно, что после того, как пробил «час ноль», прежнее социальное расслоение, прежние противоречия и прежние конфронтации отнюдь не перестали существовать, напротив, они словно обострились и выступили еще более четко. «Денацификация» под властью американцев на поверку оказывается разве что модным словом, попритихшие было поначалу наци снова устраиваются на тепленьких местечках, они уже снова «на волне», и вот уже мебельное дело Цандера вновь становится процветающей фирмой, где уж, конечно, не рабочие, собственным тяжелейшим трудом восстановившие фабрику из руин, но единолично Цандер распоряжается поступающими весомыми прибылями; процветает и крупное хозяйство Хесса, поставляющего по головокружительным ценам столь необходимые изголодавшимся людям натуральные продукты; возвращается в итоге к преподавательской деятельности и Мундт, вновь обретающий былую осанку и уверенность в себе. Все эти незаметные на первый взгляд изменения в жизни деревушки писатель показывает лишь несколькими штрихами, но как уверенно ложатся они на полотно, обнажая главную тенденцию развития, показывая подлинный ход вещей. Никак не могут прийти к соглашению коммунисты и социал-демократы, спорящие по отдельным вопросам тактики, и вот уже христианские демократы исподволь начинают прибирать к рукам власть на местах, и сын фабриканта Цандера Олаф становится уже вторым лицом в местном представительстве ХДС, заместителем бургомистра и вообще важным лицом в деревушке. Проведена денежная реформа, обратившая в ничто многолетние мизерные сбережения простых людей и открывшая дельцам новые возможности обогащения. Словом, жизнь в западной части поверженной Германии потихоньку возвращается в старое, привычное русло.

«Что было, то прошло», «мы все несем на себе толику вины», «что толку ворошить прошлое» — все чаще подобные слова лейтмотивом звучат в высказываниях бывших нацистов, безнаказанно разгуливающих по деревушке. И все же не об этом

[1] Горный массив на юго-западе Рейнских Сланцевых гор.

книга Фукса. Горькие уроки войны, утверждает писатель, не прошли даром. Не прошли прежде всего для молодого поколения, выросшего уже полностью в атмосфере фашистской идеологии и острее других пережившего ее крах. Не прошли даром эти уроки для бывшего «вервольфа» Георга Хаупта, на всю жизнь преисполнившегося отвращения к культу «немецкой добропорядочности», издавна проповедовавшемуся в его семье и оказавшемуся на поверку не чем иным, как лживой и пустой фразой, скрывавшей пассивное попустительство нацистам. Не прошли даром уроки и для молодого Улли Шнайдера, сына простого каменщика, пробившегося благодаря своим незаурядным способностям в школу высшей ступени и там впитавшего яд нацистской пропаганды. Бывший «вервольф» Улли с недоверием присматривается поначалу к активному коммунисту Кранцу, вместе с которым колесит на мотоцикле по самым отдаленным дорогам своего района. Но постепенно манера разговаривать с людьми, убежденность и вера в конечные результаты собственной борьбы растапливают лед отчуждения между озлобившимся, замкнувшимся в себе подростком и немало повидавшим на своем веку рабочим, оказывают необходимое положительное воздействие на изверившееся юное сознание. Улли решает окончательно связать жизнь со своим классом, без сожаления оставляет он вожделенную некогда школу высшей ступени и устраивается простым подмастерьем.

Образ коммуниста Кранца — несомненная удача писателя. Этот несгибаемый человек, прошедший концлагерь и тюрьму, всегда оказывавшийся на переднем крае борьбы, наделен нежной, чуткой душой. Это он заменил некогда отца своим младшим братьям и сестрам, оставшимся сиротами еще в ту, первую войну, в 1918 году и сумел потом поднять на ноги все свое многочисленное семейство. Кранц широко открыт окружающим, он предельно доброжелателен к людям, любит жизнь по-настоящему, страстно, хотя далеко не всегда эта жизнь поворачивалась к нему своими радостными сторонами. «Я слесарь. Вы знаете, сколько зарабатывает слесарь? Я всегда буду слесарем, и ничем другим. Так поедем со мной?» В этих неловких словах, завершающих не очень-то умелое предложение руки и сердца давно любимой им Ханне Баум, ставшей после войны владелицей небольшого транспортного предприятия, звучит законная гордость рабочего человека, уверенность в своих силах. И именно эти качества придают образу Кранца особую убедительность.

Трудно в небольшой рецензии хотя бы упомянуть всех наиболее важных действующих лиц книги, все наиболее значительные ее сюжетные ходы. Широкое историческое полотно Герда Фукса требует внимательного, вдумчивого анализа на многих страницах, сопоставления с другими произведениями на эту же тему — может быть, даже сравнения с документальными историческими источниками. Ибо книга эта ставит перед собой сложную задачу исторической социальной и географической достоверности, воссоздания одного из наиболее сложных периодов немецкой истории — первых послевоенных лет Можно спорить о том, под силу ли вообще решить подобную задачу. Можно отыскивать в романе уязвимые в художественном отношении места, а они, конечно же, найдутся, ибо, что греха таить, в иных случаях авторская скороговорка приводит к фрагментарности и недовершенности отдельных эпизодов. Можно, наконец, упрекать автора в преобладании социологизированного анализа над собственно художественными связями. Все это так. И все же не это главное для оценки романа. Потому что книга Фукса все равно будет удавшимся романом. И уже самый факт его существования и споры вокруг него — лучший аргумент в пользу таланта писателя, не боящегося серьезных, ответственных тем. Широта социального и исторического взгляда на действительность говорит здесь сама за себя.

Отрадно отметить, что активно работающий в литературе писатель становится с каждой своей книгой все более зрелым, уверенным в себе художником. И о чем бы ни писал он свои книги: о тупиках и перспективах студенческого движения (роман «Беринг и давний гнев», 1973), росте безработицы в ФРГ и влиянии ее на простого человека (повесть «Мужчина на всю жизнь», 1978) или же о непреодоленном до конца нацистском прошлом в обсуждаемом романе, сами книги его свидетельствуют о том, что это писатель, много и серьезно размышляющий над главными, центральными и наиболее острыми проблемами своей страны, ее настоящего и ее прошлого.

Н. ЛИТВИНЕЦ

◆

Из месяца в месяц

БАХРЕЙН

«КАЛИМАТ»

Под таким названием, как сообщает иракский журнал «Аль-Аклям», в столице Бахрейна г. Манама вышел первый номер информационного бюллетеня — органа Общества бахрейнских писателей. На его страницах опубликованы стихи, рассказы и критические статьи бахрейнских авторов.

Рецензент журнала «Аль-Аклям» отмечает высокий художественный уровень произведений поэзии и прозы и актуальность критических работ, помещенных в бюллетене. Так, например, автор одной из статей выступает против чрезмерного, по его мнению, использования бахрейнскими поэтами местного диалекта, что затрудняет восприятие поэзии Бахрейна в других арабских странах. Он также отмечает, что литераторы Бахрейна вполне могли бы издавать журнал, а не маленький информационный бюллетень, однако власти страны пока что не дают им на это разрешения.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

«ТЕАТР ПИТЕРА БАРНСА»

Когда в 1968 году была опубликована пьеса «Правящий класс» тогда еще никому не известного драматурга Питера Барнса, английская печать с восторгом писала о ней как о «поворотном моменте в развитии драматургии второй половины XX века».

Такое же восторженное отношение театральной критики вызвала и вторая пьеса драматурга — «Одержимый», появившаяся через четыре года.

Однако судьба этих пьес, впрочем как и всех последующих произведений этого драматурга, сложилась довольно печально. Хотя по мотивам пьесы «Правящий класс» был в свое время снят фильм, шла она в основном на провинциальной сцене. Второй пьесе Барнса не повезло еще больше — она выдержала только одну постановку, да и то в полупустом зале.

Недавно в Англии сделана по существу первая попытка наиболее полно представить творчество этого драматурга. Издательство «Хайнеман» выпустило сборник «Избранных пьес» Питера Барнса, известного английской публике в основном в качестве автора многочисленных инсценировок.

В «Избранные пьесы» Барнса помимо двух уже названных пьес вошло еще несколько небольших пьес и семь монологов — коротких радиопьес, прозвучавших по британскому радио в 1981 году. Самое обидное, с горечью отмечает рецензент журнала «Бритиш бук ньюс», — это то, что в издание не вошла самая последняя и, по свидетельству знатоков, самая значительная по своему социальному звучанию пьеса «Красные носы, черная смерть». Как характеризовал ее сам автор, она «адресована не тем, кто стрижет купоны, а тем, с кого их стригут».

Одновременно со сборником издательство «Хайнеман» выпустило монографию о драматурге — «Театр Питера Барнса». Ее автор Бернард Дюко, автор книг об Ибсене, Шоу, Брехте, пытается проанализировать причины явного неуспеха драматурга на английской и американской сценах.

Выход в свет этих двух книг, заключает рецензент, уже само по себе знаменательное событие в культурной жизни Англии, которое, может быть, изменит ненормальное положение с пьесами Барнса на англоязычной сцене.

ВЕНГРИЯ

«ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ИСТОРИИ ВЕНГЕРСКОЙ МЫСЛИ»

Институтом мировой литературы Венгерской Академии наук предпринято серьезное и важное начинание — издание истории венгерской литературной критики в пяти томах под редакцией академика Иштвана Шетера. Выпускает этот многотомный труд издательство «Сепиродалми». В настоящее время вышло уже три тома и объявлен четвертый и пятый.

Сейчас это издание широко обсуждается в венгерской печати.

Критик Аттила Пёк отмечает на страницах книжного обозрения «Кёнььвилаг», что в это академическое издание не просто включены работы наиболее значительных представителей венгерской критики, эти работы дают всеобъемлющую картину критики как органической части науки о литературе, показывают ее диалектику на фоне общественно значимых проблем своего времени, раскрывают ее собствен-

Маленькой девочкой увезли Жужу из родного города, в который она возвращается почти двадцать лет спустя. Как складывается ее жизнь в заводском коллективе, сумела ли она найти дело по душе — об этом расскажет новая кинолента режиссера Марты Месарош. Она выступила в этом фильме и автором сценария, в основу которого легли факты ее собственной биографии.

На снимке: актрисы Илдико Баншаги и Жужа Цинкоци в фильме «Немой крик» Марты Месарош.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

ную позицию в идеологической жизни страны.

Критик Пал Фехер, выступая на страницах газеты «Непсабадшаг» с большой статьей, посвященной второму и третьему тому, называет их «чрезвычайно поучительными и полезными».

«Путеводитель по истории венгерской мысли» — так охарактеризовал историю венгерской литературной критики литературовед Имре Бата.

ГДР

ПОВЕСТЬ ЭРИКА НОЙЧА

В издательстве «Миттельдойчер ферлаг» вышла повесть Эрика Нойча «Форстер в Париже». Как отмечает еженедельник «Зоннтаг», Эрик Нойч впервые обратился к историческому сюжету.

Немецкий писатель и просветитель XVIII века Иоганн Георг Форстер давно привлекал внимание Нойча. Человек разносторонне образованный, занимавшийся географией, историей культуры, этнографией, естествознанием, Форстер был по своим убеждениям революционным демократом. В 1793 году он стал вице-президентом рейнско-немецкого конвента и возглавил делегацию от Майнцской коммуны в Париж. После падения коммуны Форстер остался в Париже. О десяти последних месяцах его жизни и рассказывается в повести. Глазами Форстера читатель видит Робеспьера, Сен-Жюста, вместе с ним переживает критическую фазу французской революции. Тяжелая болезнь, предчувствие близкой кончины, семейная драма не могут сломить дух Форстера. Нойч показывает его мужественным, смелым человеком, стойким революционером.

«В новой повести,— пишет рецензент газеты «Берлинер цайтунг»,— писателю удалось показать жизнь Парижа конца XVIII века, отразить противоречия того времени».

«Эрик Нойч рисует своего героя настоящим гуманистом, который верит в будущее и в освобождение человечества,— отмечает еженедельник «Зоннтаг».— Обращаясь к истории, писатель не уходит от современности, он сумел связать прошлое с настоящим».

«Эта очень созвучная истории книга, вместе с тем в высшей степени актуальна»,— пишет Клаус Хёпке в газете «Нойес Дойчланд».

ГРЕЦИЯ

ЮБИЛЕЙ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Прогрессивному греческому издательству «Синхрони эпохи» («Современная эпоха») исполнилось десять лет. Создано оно было в Афинах еще в период военно-фашистской диктатуры группой коммунистов, вернувшихся из ссылки на о. Лерос. Поэтому вначале деятельность издательства носила полулегальный характер. В первый год было издано всего три книги. После падения в 1974 году фашистского режима издательство «Синхрони эпохи» стало расти, набирать силу и быстро завоевало известность. За минувшее десятилетие им издано свыше 400 названий книг: произведения классиков марксизма-ленинизма, общественно-политическая и художественная литература, книги для детей и юношества.

«Издательским подвигом» называют в Греции предпринятое «Синхрони эпохи» издание Полного собрания сочинений В. И. Ленина. Недавно увидели свет 34-й и 35-й тома. Полным ходом идет перевод и подготовка к изданию последующих двадцати томов.

Широкий читательский отклик получили в стране изданные «Синхрони эпохи» книги Л. И. Брежнева «Малая земля», «Целина», «Возрождение», «Воспоминания».

Издательство систематически выпускает официальные документы КПГ, материалы теоретических конференций и симпозиумов, устраиваемых афинским Центром марксистских исследований.

В последние годы «Синхрони эпохи» много внимания уделяет книгам по эстетике, психологии, педагогике, детской и художественной литературе. С большим интересом встретили греческие читатели выпущенные к 40-летию национального Сопротивления поэтические книги «Песни товарищей» Я. Рицоса, «В память» Н. Вреттакоса, «Песни Сопротивления» В. Ротаса.

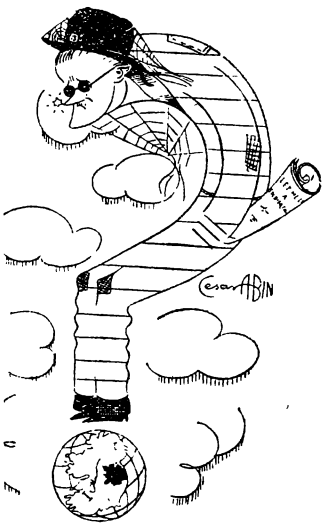
Одним из важных направлений деятельности издательства является популяризация советской литературы. За 10 лет переведено и издано немало книг советских авторов. Среди них произведения М. Горького, В. Маяковского, А. Серафимовича, Н. Островского, А. Макаренко, А. Фадеева, А. Бека, Б. Васильева, В. Распутина, Ч. Айтматова.

Издания «Синхрони эпохи» не раз отмечались призами и премиями. Государственной литературной премии 1981 года были удостоены изданные этим издательством трилогия З. Скароса «Истоки реки» — о крестьянском, рабочем и антифашистском движении в стране, а также биографический роман о М. Горьком «Хлеб и книга» М. Александропулоса.

ИРЛАНДИЯ

ЮБИЛЕЙ ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА

Столетие со дня рождения Джеймса Джойса (1882—1941) включено в список дат, отмечаемых в этом году



Карикатура Цезаря Эбана на Джойса, подсказанная художнику самим писателем и относящаяся к периоду работы Джойса над «Улиссом». На рисунке Эбан постарался представить наиболее типичные черты Джойса: его одержимость Ирландией, которая стала для него фактически всем миром, меломанию, отрешенность от бытовых проблем, любовь к литературным пародиям, постоянную неудовлетворенность тем, что выходило из-под его пера, и, наконец, постоянные сомнения во всем.

ЮНЕСКО. Во многих странах, как сообщает литературный обозреватель газеты «Таймс», пройдут конференции, симпозиумы, выставки, посвященные жизни и творчеству этого писателя. В странах английского языка одна за другой выходят монографии о Джойсе, широко публикуются фактографические материалы. В Англии джойсовский центр выпустил к юбилею марку с портретом писателя. Во Франции вышел полный трехтомный перевод писем Джойса.

Столь пристальный интерес к наследию Джойса в юбилейный год, как отмечено в специальном номере «Франс литтерэр», посвященном Джойсу, неудивителен. Многие страны Европы хотели бы считать его своим писателем. Добровольно обрекший себя на изгнание в 1904 году, он жил во Франции, Австрии, Италии, Швейцарии. Признание пришло к нему поздно: каждая публикация даже тех его произведений, которые сейчас прочно вошли в золотой фонд мировой классики: «Дублинцы», «Портрет художника в юности», сопровождалась скандалом. Цензоры усматривали в его книгах подрыв нравственных и политических устоев. Центральное произведение Джойса, роман «Улисс».

Памятник на могиле Джойса работы скульптора Милтона Хебальда на кладбище Флунтерн в Цюрихе.

впервые был опубликован на английском языке не в Ирландии и Великобритании, но во Франции. А в католической Ирландии еще десять лет назад эту книгу, как и тогда, в 20-е годы, продолжали считать непристойной. Борьба с издателями и изгнание растянулись на всю жизнь и внезапно оборвались в Швейцарии в 1941 году в больнице Цюриха.

Отношения Джойса с Ирландией носили драматический характер. Он покинул родину, обрушив на голову ирландских политиков, религиозных, культурных и общественных деятелей сокрушительные обвинения. Но этот художник, один из создателей современного мифологического искусства («Улисс», «Поминки по Финнегану»), по сути, по своим корням, был ирландским писателем — не только суровым обличителем пороков своей родины, но и ее вдохновенным певцом. Ему принадлежат глубокие в своей человечности и психологической пронзительности образы простых ирландцев («Дублинцы»), он, может быть, самый крупный писатель-урбанист XX века. А Дублин Джойса, как и Лондон Диккенса,— полноправный герой его прозы. Джойс — это и лирический певец ирландской природы, и это писатель, который, несмотря на многие противоречия его сознания, стал выразителем ирландского самосознания своего времени.

И потому, комментирует обозреватель литературного приложения к «Таймс» Харт Клайв, неудивительно, что в списке дат ЮНЕСКО против фамилии Джойса стоят слова: «Классик ирландской литературы XX века».

О Джойсе написано очень много. По данным ЮНЕСКО, по количеству книг, статей он может соперничать с Шекспиром и Диккенсом. Но, как заметил Харт Клайв в рецензии на книгу о Джойсе Роланда Мак-Хью «Опыт «Поминок по Финнегану», которая вышла к юбилею писателя в издательстве Ирландской Академии наук, современных исследователей Джойса влечет не столько «универсальная сторона» его дарования, сколько ирландская природа его искусства. Цитируя Р. Мак-Хью, Харт Клайв пишет: «Улисс» и «Поминки по Финнегану», наиболее сложные произведения Джойса,— книги глубоко ирландские, которые и могут быть поняты лишь в контексте ирландской культуры и истории».

Апофеозом джойсовских юбилейных торжеств станет Блумсдей, названный так в честь одного из главных героев «Улисса» Леопольда Блума. Этот день приходится на 16 июня. 16 июня 1904 года — день, границы которого растянулись на семьсот с лишним страниц «Улисса» Джойса. По единодушному признанию критиков, это самый длинный день в мировой литературе. Это и день, который, по замыслу Джойса, должен был вместить в себя всю жизнь человека. По традиции, которую начиная с 1968 года свято чтут почитатели Джойса, каждый год 16 июня ирландцы посещают те места Дублина, где успел побывать во время своих дневных странствий современный Улисс, герой Джойса.

ИТАЛИЯ

«ВСЕ ВМЕСТЕ — ЗА МИР!»

Еще три года назад Эдуардо Де Филиппо и актер Кармело Бене, один из крупнейших итальянских чтецов, лучший исполнитель стихов Блока, Есенина, Маяковского (см. «ИЛ», 1981, № 2), мечтали выступить вместе в поэтическом спектакле.

Теперь такой спектакль создан и прошел с огромным успехом во Дворце спорта. Около 15 тысяч зрителей с волнением следили за выступлением старейшины итальянского театра (Эдуардо Де Филиппо сейчас 81 год) и представителя сравнительно молодого поколения итальянских чтецов. Кармело Бене читал отрывки из «Божественной комедии» Данте. Дантовские терцины исполнялись под музыку Сальваторе Шаррино.

На снимке: Кармело Бене.

(Газета «Паэзе сера»)

На снимке: Эдуардо Де Филиппо.

(Газета «Унита»)

Программу Эдуардо Де Филиппо составили его собственные стихи. Выдающийся драматург и поэт наряду со своими уже известными поэтическими композициями читал и новые стихи, направленные против ужасов войны, страданий народа, обличающие философию потребительства и торгашества.

«Поэзия собрала здесь мужчин и женщин, стариков и детей,— пишет «Унита»,— чтобы они вместе сказали «да» миру, «нет» смерти, войне, атомному разрушению». Поэтический спектакль так и был назван «Все вместе — за мир!»

Эдуардо Де Филиппо и Кармело Бене многое объединяет, считает корреспондент «Униты»,— и прежде всего способность негодовать против всего, что калечит мир и нас, живущих в этом мире.

КУБА

АНТОЛОГИЯ ПИСАТЕЛЕЙ ВОСЬМИ СТРАН

«Фундаментальной» назвал эту книгу Луис Суардиас в своей рецензии, опубликованной в газете «Гранма». В антологию включены прозаические произведения писателей восьми социалистических стран — СССР, Болгарии, Чехословакии, ГДР, Польши, Вьетнама, Югославии и Кубы.

«Не часто,— отмечает Луис Суардиас,— мы можем испытывать такое удовлетворение от прочитанной книги прозы. В каждом из опубликованных произведений мы видим человека во всей его широте и сложности, интернационализм в действии. Никакая другая книга не может, на мой взгляд, лучше передать дух интернационализма, свойственный ее авторам. Это — великая поэма, посвященная Социалистической революции в мировом масштабе».

КУВЕЙТ

«ПИСАТЕЛИ СТРАН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА»

По сообщению кувейтского журнала «Ан-Нахда», в Кувейте вышла книга журналиста и критика Хафиза Махфуза «Писатели стран Персидского залива». В ней рассказывается о творчестве более двадцати писателей и поэтов Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Объединенных Арабских эмиратов и других стран региона.

Книга написана в форме живых репортажей и интервью с писателями и, как свидетельствует сам автор, не претендует на глубокий критический анализ. Однако она содержит много полезной информации о литературной жизни стран Персидского залива, о которой очень мало известно за пределами региона.

Обозреватель журнала «Ан-Нахда», отмечая высокие достоинства работы Х. Махфуза, выражает сожаление, что в ней мало уделено внимания литераторам таких стран, как Катар и Объединенные Арабские эмираты, и недостаточно полно освещена литературная жизнь Саудовской Аравии и Бахрейна, «изобилующих талантливыми, способными и многообещающими писательскими дарованиями».

Книга кувейтского критика, подчеркивает обозреватель, показывает, что «ни нефтью единой жив Персидский залив», что в этих странах растут и множатся духовные богатства, развиваются культурные ценности.

НОРВЕГИЯ

«СИГРИД УНСЕТ ПИШЕТ ДОМОЙ»

Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающейся норвежской писательницы Сигрид Унсет, чьи произведения пользуются любовью читателей не только в Норвегии, но и далеко за ее пределами. Уже более полувека минуло с тех пор, как увидел свет лучший из романов писательницы — трилогия «Кристин, дочь Лавранса», отмеченная в 1928 году Нобелевской премией. Эта трилогия, знакомая и советскому читателю, прочно вошла в золотой фонд мировой литературы. Недаром несколько лет тому назад, в Год женщины, «Кристин, дочь Лавранса» была признана во Франции «книгой года».

Среди книг, приуроченных к юбилею писательницы, документальное исследование журналиста Арне Скоуэна «Сигрид Унсет пишет домой», выпущенное в Осло издательством «Х. Аскехоуг и К°». Оно посвящено тому периоду жизни Сигрид Унсет, который она провела в США, куда была вынуждена эмигрировать из оккупированной гитлеровцами Норвегии. В своей книге Арне Скоуэн показывает становление Сигрид Унсет как журналиста. Оказавшись в эмиграции, Унсет «не могла сочинять» и, оставив до лучших времен художественное творчество, вступила на путь активной идеологической борьбы с нацизмом за будущее Скандинавии, борьбы «против варварства и тирании», за «все, что придает жизни смысл»: ездила по стране с выступлениями, читала лекции, участвовала в радиопередачах, писала статьи. За работу «на благо Норвегии» она была удостоена по возвращении на родину правительственной награды.

Арне Скоуэн лично знал и сотрудничал с Сигрид Унсет в 1944—1945 годах. Он изучил множество писем Унсет, посланных ею в годы эмиграции в Норвегию, выбрал для публикации и прокомментировал самые значительные и важные из них. В этих письмах и тоска по дому, по родным, и бесконечная боль за униженный Север, и «ненависть к врагу», и, наконец, раздумья о возвращении к будущей, мирной жизни.

Книга «Сигрид Унсет пишет домой» содержит ценный материал для понимания личности писательницы, ее места в ряду тех деятелей мировой культуры, которые поставили свое перо на службу благородным идеалам мира.

ПОЛЬША

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

Как сообщает газета «Трибуна люду», у издательства «Ксенжка и ведза» большие планы. Стотысячным тиражом выйдет здесь «Пан Тадеуш» Адама Мицкевича. Будут изданы произведения Болеслава Пруса, Стефана Жеромского, Леона Кручковского.

В разделе современной польской прозы увидят свет новые книги Владыслава Терлецкого «Тень карлика и тень исполина», Северины Шмаглевской «Белая роза», Кшыштофа Конколевского «Заметка», сборник рассказов Рышарда Лисковского и другие.

Будут переизданы книги «Слово о Бруно Ясенском» Якины Дзярновской и «Бабье лето» Галины Аудерской. Уже несколько лет издательство «Ксенжка и ведза», выпускает «Избранное» современных польских писателей. В текущем году выйдут трехтомник «Избранных произведений» Богдана Чешко, включающий повести, рассказы, репортажи. Готовится к изданию «Избранное» Войцеха Жукровского, которое откроется романом «Каменные таблицы». Из избранного Ежи Путрамента выйдут очередные тома: «Болдын» и «Молодость» (из цикла «Полвека»).

ГОД ШИМАНОВСКОГО

В этом году исполняется сто лет со дня рождения замечательного польского композитора Кароля Шимановского.

Этот юбилей будет проводиться под эгидой ЮНЕСКО, который объявило 1982 год Годом Шимановского. Как сообщает газета «Трибуна люду», в Варшаве образован юбилейный комитет, в который входят виднейшие представители музыкального искусства.

Оркестр Национальной филармонии под управлением Витольда Ровинцкого готовит большую программу, куда включены произведения самого Шимановского и произведения, посвященные ему. Среди последних — «Эпитафия на смерть Кароля Шимановского» Тадеуша Шелиговского и «Голоса издали» Тадеуша Бэрда, произведение, специально написанное по заказу юбилейного комитета на стихи Ярослава Ивашкевича.

РУМЫНИЯ

ТЕПЛЫЕ ВСТРЕЧИ, ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

В минувшем году в Румынии прошел Фестиваль русской и советской драматургии. Как подчеркивает театральный критик П. Тутунджиу на страницах журнала «Театрул», «фестиваль лишний раз подтвердил способность искусства обогащать сотрудничество между нашими социалистическими странами, между нашими народами».

На пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, было сообщено, что в последние пять театральных сезонов в Румынии состоялись сто двенадцать премьер русских и советских пьес, принадлежащих перу классиков русской и советской драматургии. В нынешнем сезоне таких спектаклей шестьдесят шесть. Наибольшим успехом пользовались произведения А. Н. Островского, М. Горького, В. Маяковского, М. Булгакова, В. Катаева, В. Распутина, Л. Зорина, А. Арбузова.

Одновременно — при участии советских и румынских специалистов — был проведен симпозиум на темы «Новые тенденции в драматургии и искусстве спектакля» и «Освоение драматургии социалистических стран в Румынии и СССР».

По словам П. Тутунджиу, «симпозиум прошел на высоком уровне и подтвердил своевременность обмена идеями между театроведами двух социалистических стран... Румынские зрители, — заключает рецензент, — отнеслись с естественным интересом к фестивалю, более того, они ждали его, ждали новой встречи с произведениями русской и советской драматургии».

На снимке: известный румынский актер Виктор Ребенджук в спектакле по пьесе М. Горького «На дне».

(Журнал «Театрул»)

ФРАНЦИЯ

ДНЕВНИК ЖАНА ВИЛАРА

«Мементо» — так называется дневник Жана Вилара, вышедший в десятую годовщину со дня смерти выдающегося режиссера и театрального деятеля в издательстве «Галлимар» с предисловием и комментариями Армана Делькампа. Этот дневник Жан Вилар написал в первые годы своего руководства созданным им Народным национальным театром (ТНП) — в 1952—1955 гг.

Моника Ле Ру пишет в «Кензен литтерэр»: «Мементо» отнюдь не интимный дневник. В нем воссозданы деятельность театра, работа Жана Вилара его как режиссера и руководителя. Это дневник ежедневных битв с министерством культуры, донимающим мелочными придирками, с администрацией, с враждебными кампаниями прессы, целью которых было отстранение Вилара от руководства театром под предлогом финансовых затруднений, на самом же деле по причинам идеологического порядка. Театр, осмелившийся поставить «Матушку Кураж» в разгар «холодной войны», не мог не быть заподозрен в коммунизме!

Вилар осуществлял свою работу в театре в постоянной борьбе с властями, нередко выступал на митингах левых партий...

«Мементо» опровергает идиллическую легенду о ТНП. Это свидетельство и о конфликтах в самом театре, о трудных порой отношениях между членами труппы. Но вопреки всему этому театр всегда оставался для Вилара средством осуществления его мечты — истинного освобождения всех людей. И хотя он признается в том, что его мучают «никогда не заживающие раны», счастье своей жизни, «ощущение победы» он черпает в своем театре.

В «Мементо» создан как бы эскиз автопортрета человека, который выдвигает перед собой все новые и новые задачи, боясь потерять

себя в многообразии своих ролей и забот.

«Мементо» свидетельствует о том, что для Вилара был неприемлем тот тип режиссера, который он называл «жандармом, подчиняющим себе творчество, чувство и активность других». Высшим достоинством театральной постановки он считал «смиренное следование тексту». От актера Вилар ждал прежде всего преданности, благородства, человечности, заключавшихся в самом тексте».

ФРГ

«ЖЕНЩИНА С КАМЕРОЙ»

Известное западногерманское издательство «Карл Ханзер ферлаг» выпустило в свет книгу «Женщина с камерой», посвященную творчеству десяти наиболее известных западногерманских женщин-режиссеров. Выбор темы не случаен: сегодня в ФРГ трудится 80 женщин-режиссеров, причем некоторые из них получили широкую известность и у себя в стране, и за границей.

Наивысшим достижением женщин-кинематографистов ФРГ по праву считается творчество Маргареты фон Тротты. В прошлом известная западногерманская актриса, она дебютировала в кино как режиссер в 1975 году фильмом «Поруганная честь Катарины Блюм», поставленным в содружестве с ее мужем, режиссером Фолькером Шлёндорффом, и шедшим на советском экране.

Тема бесправного положения женщины в западногерманском обществе, поиски ею своего места в жизни, заявленная в этом фильме, получила дальнейшее развитие в самостоятельных работах Тротты — «Второе пробуждение Кристы Клагесс», «Сестры, или Баланс счастья», «Свинцовые времена». Каждый фильм Тротты вызывал широкий интерес не только критики, но и публики, однако наибольший успех выпал на долю ее последней работы — фильма «Свинцовые времена», рассказывающего историю двух сестер, которые видят цель своей жизни в активной работе по преобразованию западногерманского общества, но идут к этой цели разными путями. Старшая — Юлиана — работает в левом женском журнале, младшая — Марианна — становится террористкой. И когда младшая сестра погибает в тюрьме, Юлиана пытается осмыслить причины, приведшие к глубокому разрыву с сестрой, пытается найти истинных виновников ее гибели. Фильм «Свинцовые времена», как сообщает журнал «Шпигель», получил сразу пять наград Венецианского фестиваля 1981 года.

ЧИЛИ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СИЛЫ

ЧИЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА БОРЕТСЯ

По сообщению журнала «Араукария», чилийская поэзия сопротивления набирает силы. Если в первые после убийства Сальвадора Альенде годы поэтическим произведениям чилийских авторов в изгнании в общем были свойственны мотивы горести и страданий, то мало-помалу пессимизм начал вытесняться героическими темами, воспеванием борцов, павших в боях против хунты, и, наконец, сегодняшняя поэзия все более пропитывается верой в конечную победу своего народа, чувством благодарности к прогрессивной общественности всего мира, солидаризирующейся с народом Чили и помогающей поэтам-изгнанникам публиковать за границей свои произведения. За последние годы в свет вышло несколько антологий чилийской поэзии, составленных наиболее известными поэтами чилийского Сопротивления. Так, в ГДР вышел сборник, составленный Серхио Масиасом, в Румынии Омар Лара и Хуан Армандо Эппле издали сборник «Чили: поэзия сопротивления и изгнания». Сборник «Кровь и слово», составленный Игнасио Делоту, вышел в Италии: «Чили: поэзия в тюрьмах и эмиграции» вышел в Испании (имя составителя не названо).

В течение нынешнего года за пределами Чили будут опубликованы новые сборники: «Антология молодых чилийских поэтов», «Свобода — не только мечта. Чилийская антология сопротивления», «Изгнание — это не плач, а борьба».

Из новых прозаических произведений «Араукария» выделяет вышедший в Барселоне роман «Все в порядке» известного чилийского писателя Антонио Скарметы. В основу романа положена история четырнадцатилетнего мальчика Лучо, который вместе с родителями в 1973 году приехал из Чили в Западный Берлин. Автор рассказывает, как в столкновениях с новой реальностью выковывается характер молодого чилийца, который в эмиграции не забывает родину, становится «активным изгнанником». «Лучо, который когда-то хотел стать исполнителем поп-музыки, сегодня хочет быть писателем. Но прежде всего он стал человеком... А затем уже литератором, писателем, представляющим чилийское общество на чужбине, литературу этого общества, существующего в трудных условиях», — пишет рецензент Г. Рохо.

Другой видный чилийский прозаик Фернандо Алегрия, после своего романа «Гусиный шаг», посвященного трагическим событиям 1973 года в Чили, опубликовал в Мексике новый роман «Хорал войны».

В «Хорале войны» главные герои не «видны», они «слышны», перекликаются лишь голоса трех персонажей, названных в романе: Она (молодая женщина), Молодой муж (ее супруг, журналист) и Человек в мундире (лейтенант карабинеров, истязающий женщину). Эта своеобразная перекличка яростных или стонущих, обличающих или жалующихся голосов воссоздает атмосферу гнета и насилия, царящую в Чили.

ШВЕЙЦАРИЯ

«МАТЕРИАЛЫ I — III»

Так называется книга знаменитого швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта, выпущенная цюрихским издательством Диоген. Рецензент газеты «Франкфуртер альгемайне» Вальтер Хинк отмечает в этой работе «своеобразное сочетание автобиографического и новеллистического повествования».

Дюрренматт рассказывает о себе, о своем детстве и юности, о деревушке близ Берна, где он родился в семье местного пастора, и одновременно о возникновении трех замыслов, которые по разным причинам так и не получили окончательного воплощения.

Так, замысел рассказа «Зимняя война в Тибете» связан и с впечатлениями от древнегреческих мифов, которые читал ему отец, и с потрясением, вызванным событиями второй мировой войны. Герои этого фантастического рассказа — горстка людей, переживших катастрофу третьей мировой войны и где-то в горах Тибета продолжающих абсурдную и жуткую «войну всех против всех». Гротескно-пародийное звучание сюжету должен был придать неожиданный поворот: с происходящих в нем событиях узнают уже много лет спустя туристы, нашедшие на местах боев наскальную надпись с этим рассказом. Надпись оставил предводитель одного из воюющих отрядов, некто Комендант, который еще продолжает скрываться, словно в мифическом лабиринте, в системе штолен и ходов, план которых он не знает.

Образ Коменданта даже в этих незавершенных фрагментах исполнен большой выразительной силы, отмечает рецензент. Многие части тела у этого вояки уже заменены протезами, но так, что рука, например, превращена в автомат, и сам он становится словно бездумным, жестоким и разрушительным орудием войны. Этот страшный образ, как и некоторые другие, первона-

чально возник на картинах Дюрренматта, который, как известно, занимается и живописью. Невозможность столь же впечатляюще перенести их в повествование оказалась одной из причин, почему рассказ остался незавершенным.

Другому рассказу, «Лунное затмение», суждено было послужить исходным материалом для знаменитой трагикомедии Дюрренматта «Визит старой дамы» (1956). Только герой здесь не женщина, а мужчина, зловещий миллионер, который своими деньгами растлевает жителей горной швейцарской деревушки. Свою лепту в это вносит и правительство, соблазненное возможностью соорудить в окрестностях деревушки большой «центр отдыха». История работы над этим сюжетом также оказывается вплавлена в автобиографическое повествование.

То же относится и к третьему разделу книги — замыслу рассказа «Бунтарь». Герой его, студент, участник демонстрации, вдруг оказывается в зеркальном зале и, увидев там сотни собственных отражений, воображает себя предводителем огромных масс. Так снова в книге возникает мотив лабиринта, запавший в сознание писателя еще со времен, когда отец читал ему древнегреческий миф о Тезее и Ариадне.

«Автобиографическая реальность и воображение в этой книге уравновешивают друг друга, — пишет Вальтер Хинк. — Дюрренматт сам порой чувствует себя обитателем лабиринта... Он не уверяет, будто владеет нитью Ариадны... Но он надеется выстоять. Более чем когда-либо его взгляд на мир отмечен скепсисом. Можно назвать это пессимизмом, но можно — ясностью, не нуждающейся в иллюзиях... Он всегда видел в истории «всемирную комедию», но комедию трагическую».

ЭКВАДОР

ИНТЕРЕСНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Громкий успех на театральных подмостках Эквадора и соседних с ним стран выпал на долю артистов труппы театра «Ла-Маскара» из Кито, поставивших спектакль под названием «Покупка меди» по драме Бертольта Брехта.

Уже не впервые эквадорская труппа обращается к творчеству выдающегося немецкого драматурга. В сегодняшних условиях, когда миру угрожает новая опасность, идейная концепция брехтовского спектакля оказалась весьма актуальной, поэтому постановка вызвала интерес эквадорцев, а равно жителей Венесуэлы, Колумбии, Перу.

Спектакль шел в таких известных залах эквадорской столицы, как «Дом Гумбольдта», «Новый Акрополь», в Центральном университете Кито.

Труппа театра, в состав которой входят такие известные эквадорские артисты, как Лус Марина Хиль, Луси Боланьос, Эктор Диас, Диего Вильегас, Эктор Кобо и другие, работает в Эквадоре уже около десяти лет. За это время было осуществлено много постановок, но, как отмечает эквадорская пресса, наиболее значительный успех театру принесла постановка пьесы Брехта.

ЮАР

«СМЕРТЬ СИЗВЕ БАНЗИ»

Пьеса южноафриканских авторов А. Фугарда, Дж. Кани и У. Нтчона, рассказывающая об одном из бесчеловечных проявлений расизма — принудительных резервациях для коренного населения,— была поставлена в амстердамском Сутерейн-театр.

Сизве Банзи потерял работу. Теперь ему, как и многим другим его безработным соотечественникам, запрещено находиться в любом другом месте страны, кроме места своего рождения. А это означает: покинуть Порт-Элизабет, начинать поиски работы на новом месте, а быть может, и не иметь ее долгие годы. Но Сизве Банзи «везет», к нему случайно попадает паспорт умершего, родина которого Порт-Элизабет. Остается одно: считать умершим себя и попытаться начать новую жизнь под чужим именем. Так, утратив собственное «я», герой, возможно, отыщет работу и прокормит своих четверых детей. А как быть остальным африканцам, тем, кому не так повезло? Этот вопрос задают авторы пьесы.

Спектакль положительно отмечен нидерландской театральной критикой. Обозреватель газеты «НРК — Хандельсблад» Я. Хейер подчеркивает социальное звучание пьесы, разоблачающей человеконенавистническую суть законов апартеида, которые лишают человека возможности сохранить даже собственное «я».

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: Москва, 109017, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

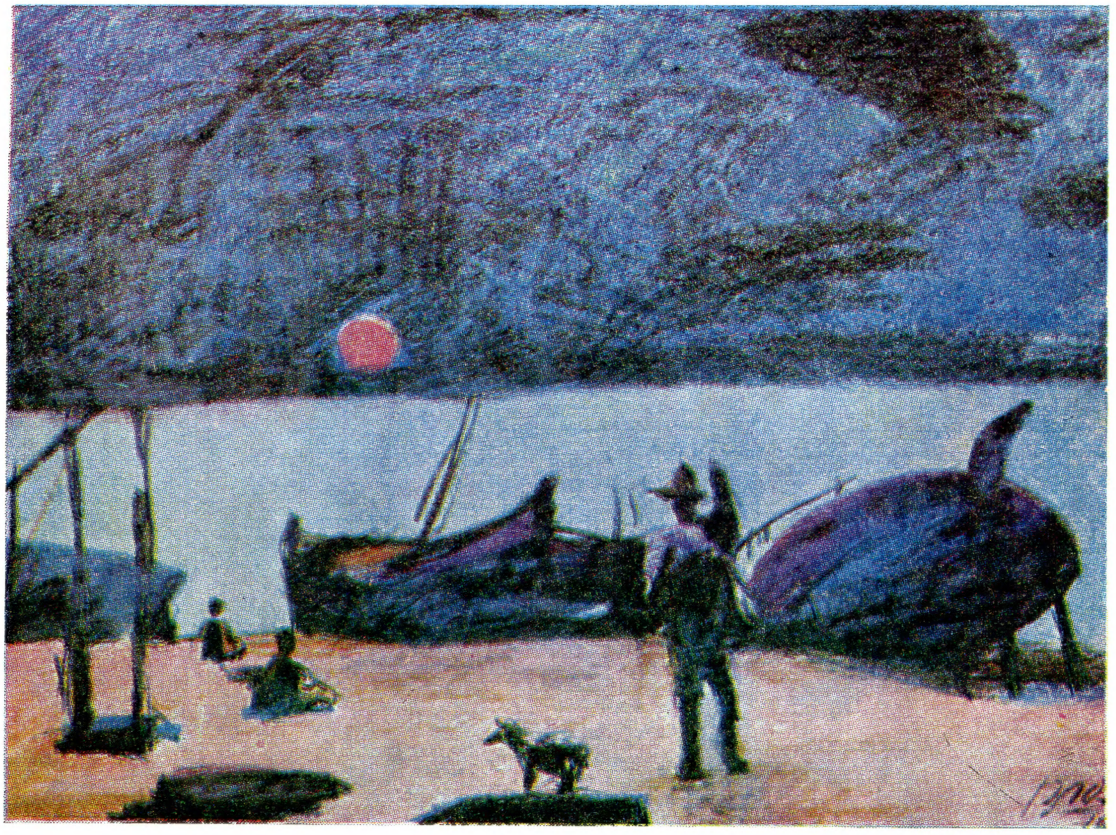
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 1. 03. 82. Подписано в печать 9. 04. 82. А08175. Формат 70×108 1/8.
Печать высокая, 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч-изд. л. 28,65.

Тираж 449 000 экз. (1-й завод: 1—400 000 экз.) Зак. 766.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

ЛЕС

Цена 1 руб. 80 коп. ИНДЕКС 70394